ISSN 0130–6545

3. 1989

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Знаки. 1986 г. Дерево, холст, клей, зола, деревянные диски.

Цветные иллюстрации номера — работы Гюнтера Юккера (ФРГ)

На I-й и 4-й страницах обложки —

Раздвоено. 1983 г. Дерево, холст, латексная краска, гвозди.

Небесная дуга для Ефа Верхейена. 1987 г. Дерево, холст, чернила, гвоздь, проволока, камень.

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ с 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

3 март 1989

Содержание

МИГЕЛЬ ОТЕРО СИЛЬВА — И стал тот камень Христом *(Перевод с испанского Маргариты Былинкиной. Послесловие Юрия Дашкевича)* 3

ТАДЕУШ РУЖЕВИЧ — Западня *(Пьеса. Вступление Д. Затонского. Перевод с польского И. Щербаковой).* Из стихотворений 1956 — 1968 годов *(Перевод с польского и послесловие Владимира Британишского)* 77

Из классики XX века

ДЖЕЙМС ДЖОЙС — Улисс *(Роман. Продолжение. Перевод с английского В. Хинкиса и С. Хоружего)* 114

Е. Гениева — Комментарий 161

Публицистика

ИСААК ДОЙЧЕР — Адски темная ночь *(Глава из книги «Пророк в изгнании». Вступление Роя Медведева. Перевод с английского Ю. Зараховича и А. Злобина)* 167

Критика

СЕРГЕЙ БЕЛОВ — Нежелательные ассоциации — «Поправка-22» Джозефа Хеллера 231

Резонанс

На анкету «ИЛ» отвечают писатели русского зарубежья

Василий Аксенов, Ефим Эткинд, Лев Копелев, Раиса Орлова, Ирина Одоевцева, Саша Соколов, Сергей Довлатов, Алексей Цветков *(Окончание)* 238

Д. Затонский — Вынос кривых зеркал 248

Из зарубежной печати

Уолтер Лакёр — «Купить в Москве книгу...» *(Перевод с английского А. Волкова)* 250

Хелен фон Сахно — Обратная сторона медали *(Перевод с немецкого М. Харитонова)* 253

Авторы этого номера 255

© «Иностранная литература», 1989

МИГЕЛЬ ОТЕРО СИЛЬВА

И стал тот камень Христом

Перевод с испанского МАРГАРИТЫ БЫЛИНКИНОЙ

Моей дочери Мариане Отеро

И стал тот камень Христом,
ради которого тебя я оставил!
Сан Хуан де ла Крус

Иоанн Предтеча

Все сначала поспешили за водой к колодезю, а потом разговорились, хотя раньше никто из них друг друга не знал.

Елеазар пришел с двумя верблюдами, тащившими разную кладь. Тени человека и одногорбых животных пересекли под белым блистанием полудня перешеек серой пустыни, под вечер солнце украсило их золотыми бликами, а наступавшая ночь окаймила их фиолетовой бахромой.

Гамалиил спустился с Иерихона со своими осликами, которые грациозно и гордо ступали по камням, красуясь разноцветием яблок и разнося аромат альбааки.

Фома, иначе называвшийся Фома Близнец, рыбак с рыжей квадратной бородой, оставил свою лодку с веслами в одном из заливов Тивериадского озера и пришел послушать голос пророка.

Старый Иаков принес неизбывную пыль Исхода на своих сандалиях, думы, припорошенные пеплом Вавилона, и мутную темень Мертвого моря в своих зрачках.

Единственной женщиной среди людей была Мисаила: яркий кувшин на бедре, небесно-голубая тюлевая шаль, туманящая смоль волос, огромные глаза, мерцающие любопытством.

Старый Иаков сказал:

— По всем тропам Иудеи идет, сотрясая горы, молва об Иоанне пророке.

(Его престарелые родители — священнослужитель Захария со своей супругой Елисаветой, оба священнического рода — были людьми праведными и любящими, но хилыми и бездетными. Как они смолоду ни старались, никого не могли явить на свет белый, и прослыла Елисавета бесплодной: так ей сказали ученые врачеватели и повитухи-знахарки, да и сама она в это уверовала после тщетных потуг нутра своего. И решили они наконец ни о чем больше не хлопотать, кроме как о семи пляшущих огоньках светильника, успокоиться тихой мольбой своих губ, отойти от гомона всеобщих молений, больше услаждать себя верой, нежели благоуханием роз. Захарии исполнилось

© Miguel Otero Silva, 1984.

восемьдесят лет, и соитие было для него лишь смутным воспоминанием.)

Старый Иаков продолжал:

— И вдруг однажды утром, когда в полутьме святилища Захария, не заботясь ни о чем другом, раздувал угольки под курильницей, он поднял глаза к алтарю и разглядел в дымке облик архангела Гавриила, который сошел на землю, чтобы возвестить о неслыханном чуде.

(Это было третье явление Гавриила, посланца Божьего, нам, рожденным от женщины. В двух первых архангел пожелал в своих откровениях сообщить Даниилу, последнему великому пророку, о предстоящих тяжких войнах и о рождении Мессии, который будет загублен людьми. И вот опять вернулся архангел, но на сей раз не в образе человека, не в холщовых одеждах, а парусами раскинул свои огромные, всеми цветами радуги сверкающие крылья, выпрямил свое светящееся тело, будто вышедшее из горнила вулканов, озарил все вокруг своими глазами, разившими словно молнии, а голос гремел, как клич громовый всего восставшего народа. Но ни одному живому существу, кроме Захарии, не было дано увидеть и услышать его, ибо только лишь для того, чтобы явиться Захарии и обратиться к старцу, спустился теперь архангел с небес на землю.)

Старый Иаков продолжал рассказывать:

— Колени Захарии часто застучали, как кимвалы, а руки затряслись мелкой дрожью, как пойманные оленята.

(Но ангел явился не изничтожить его, а ублажить ему душу. Грустному одиночеству приближался конец. Елисавета произведет на свет младенца, который по велению Божьему должен быть наречен Иоанном, и вырастет их сын, исполненный Святого духа и награжденный уразумением и силой пророка Илии, а слова его приготовят народ к встрече Мессии, чьи стопы уже попирают ветер и звезды. Предсказание такого счастья и такой неслыханной славы всколыхнуло робкую душу старого священнослужителя. «Сын в мои-то немалые годы? Сын, зачатый в усохшей утробе моей несчастной Елисаветы?» — бормотал он чуть слышно, почти про себя. «А как я его узнаю?» — недоверчиво спросил он архангела, повторив слова, сказанные Авраамом, когда Господь известил Авраама, что будет дана ему в собственность земля Ханаанская. «У тебя язык прилипнет к небу, и будешь ты нем, пока глазам своим не поверишь, а немота твоя станет знаком того, что приемлешь ты истину чуда свершенного»,— сказал архангел, и видение постепенно рассеялось под сладчайшую музыку лютен, которую никто не слышал, даже сам Захария, потому как он сделался не только нем, но и глух. Он жестами пытался рассказать о том, что случилось, но люди, толпившиеся у дверей храма, никак не могли взять в толк, о чем он их оповещает, ибо его волнение и странные телодвижения трудно было понять. Потом-то они поняли, но не раньше чем месяцев через пять, когда живот Елисаветы стал выказывать признаки того, что позор бесплодия смывается, и все с ума посходили от радости, когда она произвела на свет сына, и, как повелел Гавриил, в храме назвали его Иоанном, что означает «Бог милосердный», а Захария обрел тогда речь и сочинил псалом из семнадцати слов, в котором возвестил:

И нарекут тебя люди отныне, сын мой, пророком Всевышнего,
Ибо пойдешь ты впереди Господа расчищать стези его.)

Фома, рыбак с рыжей квадратной бородой, ответил первым:

— Чтоб поверить в явление архангела Гавриила, мне бы надо увидеть его своими глазами, а не подслеповатыми глазами старика Захарии. Да и как верить в историю про старуху, которая спустя восемь десятков лет пустопорожней жизни вдруг затяжелела и родила младенца?

(Но разве так уж важно, что Фома не верит в эти мелкие подробности, если он верит вести, растревожившей ему душу? Главное, что пророк по имени Иоанн ходит босым по каменным тропам и под листвой дерев, и обрушивает на людей гнев и слова Илии, и возвещает народу Израиля скорое пришествие Спасителя: «Вот придет к нам Христос как царь царей, как сын Давида и хранитель его силы и собьет спесь с наших наглых врагов, разнесет их в куски, как глиняный сосуд. Народ — а когда Фома говорит «народ», он хочет сказать «беднота»,— бедный народ Израиля век за веком льет слезы от козней и притеснений, чинимых ненавистными пришельцами, ярыми идолопоклонниками и злодеями: персами, греками, египтянами, скифами, сирийцами — об этих-то, о сирийцах, и вспоминать страшно. В наше время мы народ страждущий и униженный, не тот, что шел за посохом Авраама и золотил пшеницей холмы Ханаана, не тот, что горделиво ступил на землю обетованную под хоругвью Моисея уже усопшего, не тот, что воздвиг из мрамора и золота храм Соломона, и совсем не тот, что побеждал в ста тысячах сражений мечом и силой духа». Громовым колокольным звоном отзовется в бунтарской душе Фомы проповедь пророка по имени Иоанн, который голосом своим вздымает зыбучие пески, провозглашая скорое пришествие Мессии, отмщающего и всемогущего.)

Тогда сказала Мисаила-водоноска:

— Вчера я видела его во весь рост, видела его огромную тень, когда он реку переходил. Пророк спустился к берегу Иордана, а за ним шло несколько учеников, в его тени совсем неприметных.

(Никогда на нее не глядели такие отчаявшиеся и такие круглые от гнева глаза, как у него. На лоб ему спадали лохмы и вились как змейки. А высок он, как кедры, мимо которых идет по дорогам. А при ходьбе под грубой одеждой из верблюжьей шерсти у него проглядывают бедра, крепкие, будто железные, и колени, острые и костлявые. Он так опален солнцем пустыни, что больше походит на черного ангела, чем на белого человека. В его глазах то всполохи проклятий, то приливы темной и мрачной ночи. Его проповеди осуждают покорность угнетенных, обрушивают на них поток безжалостных упреков. Проживи Мисаила еще хоть тысячу лет, никогда не потускнеет для нее блеск его глаз и звук его голоса как у древних пророков.)

Елеазар, торговец тканями, свернувший со своими верблюдами с дороги, чтобы послушать пророка, сказал:

— Кто он таков? Чего от нас хочет? Какие помыслы, праведные или нечестивые, им завладели?

(Может, он влиятельный саддукей[1], скинувший свои красивые одежды, чтобы потрудиться до седьмого пота да искупить свои потворства иноземцам; может, он сын или внук саддукеев, богатых священнослужителей, обрядившийся нищим отшельником, чтобы скрыть свое желание завладеть их землями? Или это фарисей[2], обуянный патриотизмом и религиозным пылом, фанатик-буквоед, жаждущий представить себя самим Христом, чтобы обратить в жизнь свои туманные представления о справедливости? Или это ессей[3], спустившийся из своей подоблачной обители, чтобы в открытую проповедовать целомудрие плоти и общность благ как выражение душевной чистоты, которая необходима, чтобы достойно встретить Учителя

[1] Саддукеи — религиозно-политическая группировка в Иудее (2 в. до н. э.— 1 в. н. э.), состоявшая из жреческой аристократии, землевладельческой и служилой знати. *(Здесь и далее прим. перев.)*

[2] Фарисеи — древнеиудейская религиозно-политическая секта (2 в. до н. э.— 2 в. н. э.), выражавшая интересы преимущественно средних слоев населения; стремились истолковать Пятикнижие в соответствии с новыми социально-экономическими условиями. В Евангелии фарисеи названы лицемерами.

[3] Ессеи (или эссены) — древнеиудейская общественно-религиозная секта (2-я пол. 2 в. до н. э.), в общинах которой отсутствовала частная собственность и деньги, осуждалось рабство, отвергалась плотская любовь.

справедливости? Или это зелот[1] с кривым кинжалом за кожаным поясом, наемный убийца, непокорный и страшный, который витиеватыми речами прикрывает намерение поднять мятеж, ради чего он и живет на свете?)

Старый Иаков заговорил снова:

— Нет, и не то и не другое. Да, он мог быть знатным саддукеем, если бы пожелал, ибо кровь его — чистый сок великого священного древа, его кость — от костей Аарона и Надава, а рукам его дано приумножать и порабощать, если бы к господству мирскому были направлены его склонности. Мог он быть и уважаемым фарисеем, который испил чашу мудрости в храме и в синагогах, и, будучи человеком набожным по природе, потянулся бы к несчастным, жаждая их любви. Мог он быть и ессеем, чистым и непорочным, ибо ненавидит богатство, рабство и войну и влечется к целомудрию, труду и учению. Мог быть и упрямым зелотом, ибо не знает страха и с охотой дал бы себя прикончить за свои убеждения. Но нет, он и не то и не другое, дети мои, он — сам пророк Илия во плоти, возвращения которого мы так долго ждали. Он — здесь, могущественный и прозорливый, как Илия; упорный враг идолопоклонства и лжи, как Илия. Он — глас, вопиющий в пустыне, предсказанный Исаией в его Книге пророчеств. По прошествии пяти столетий молчания и мрака явился в пустыне израилевой настоящий пророк. Он очищает от камней и крапивы путь Мессии, идущего вослед. А заодно очищает наши души той светозарной водой, которой нас крестит.

Фома, рыбак с рыжей квадратной бородой, снова засомневался:

— Никак он хочет отмыть наши души от грехов, окуная наши тела в гнилые заводи Иордана, в верблюжьи лужи и в ослиную жижу?

Гамалиил, садовник, добавил в свою очередь:

— Я слышал, как на базарах левиты[2] говорили, что обряд погружения в речную воду с просьбой простить прегрешения существовал уже в давние времена в других верованиях, среди других народов.

Терпение старого Иакова было крепостью неприступной. Он погладил свою белую, как хлопок, бороду, сделал два шага в сторону сомневающихся и заметил:

— Крещение от рук пророка не упоминается ни в одной книге, разве лишь в прорицаниях Иезекииля, где сказано, что Бог очистит людей, употребив для того безгреховность воды. Не важно, что сегодня — это грязная вода Иордана, а завтра — невинно-чистая вода источников, ибо не пальцы Крестителя ее источают, дабы отмыть человечье тело, а служит она ему, дабы в своем же теле вызрел другой человек. Иоанн берет наши раскаяния, смывает грехи наши водой крещения и выпускает нас в иную жизнь.

Мисаила-водоноска под конец добавила:

— Сильнее его взгляда только его голос — это ураган, который срывает с нас платья; его голос — трубный глас, который волнует наши души, но его голос — это и свирель, которая нас утешает.

(Его голос — как рев рабов, устрашающий господ; как праведная молния, карающая разбойников; как заря, разгоняющая лесную темень. Мисаила проползла бы на коленях всю пустыню, если бы так было нужно, чтобы послушать его речи.)

И тут все приумолкли, словно опомнившись, ибо солнце уже село, о чем возвестило воркование горлицы, а на западе разлилась молочно-розовая река. Люди вместе потянулись вниз среди пустынных земель и островерхих скал. Старый Иаков тащился сзади, то бормоча псалмы, то сетуя на жизнь. Со дна ущелья поднималась густая спираль дыма — там метался огонь костра. Заглушая шум

[1] Зелоты—социально-политическое и религиозное течение в древней Иудее (2-я пол. 1 в. до н. э.); сторонники его выступали против римского владычества и местной знати.

[2] Сословие низших храмовых служителей у древних евреев.

реки, возносясь над гудением толпы, гремел голос Иоанна Крестителя:

— Я — глас вопиющего в пустыне, чистый голос разума и крови; я — грохот грома, возвещающий о сильных ливнях; я — дуновение ночи, которая взыграет всеми огнями и красками над скалами, где кузнецы Господни куют рассвет.

Я — голос, разносимый ветром, я сам ветер, который свищет в песках, дабы восславить приближение Царства Божьего, ибо уже видимы его неповторимые черты, ощутимы волны его аромата и слышна победная дробь его барабанов, различима амброзия его снеди, уловимо совершенство его духовного образа. Я — глас вопиющего в пустыне; наследный голос других голосов, уже мертвых; тысячекратный голос, который снимает с вас гнет грехов ваших, ибо лишь очищение ваших сердец приведет вас на празднество в Царство Божие. Я возвещаю вам пришествие Царства Божьего, которое уподобится морю равенства, разливающемуся по земле правдой и справедливостью. Я возвещаю вам явление огнища, которое испепелит дом ростовщика, и топоров, которые вырубят корни деспота, и каменьев, которые размозжат череп предателя. Стервятники в ярости склюют глаза и требуху всех, кто превратил свой народ в орудие притеснителей, свою власть — в ярмо для несчастных, свою религию — в бич, свой род — в секиру.

Я говорю вам, что высокомерие — это трава ядовитая, что спесь — это аспид, затаившийся в щелях души, что дух касты — это гиена, пожирающая доброту человеческую.

Мы — сыны Авраама, это истина, но слеп тот, кто не ведает, что десница Божья может сделать и так, чтобы дети Авраама родились на скалах, дети Иакова — в грязи, дети Моисея — на поленнице, если будет на то его святая воля.

Ни место, где родился, ни цвет кожи не есть те добродетели, что спасут человека от геенны огненной, а спасение его — тот крохотный улей, где согревается его сердце, где голубой фитилек пробуждает в нем совесть.

Более достойны быть в лоне Господа Бога голодный араб, оборванный вавилонец, нищий египтянин, чем богатый и могущественный израильтянин, если он приумножил свои богатства, ложно толкуя Святое писание, и укрепил свою власть, заведомо искажая написанное, дабы погубить обездоленных.

Клубок змей, воедино свитых сластолюбием и алчностью, злопыхательские уста, брызжущие слюной наговора и лжи; хищные руки, окропленные слезами бедняков и кровью невинных; лицемерные святоши, смердящие блевотой пьяниц и затхлым потом всех блудниц, не вам принадлежит слава Израиля, которым вы завладели; не вам называться сынами Сиона, который вы так бесчестите.

Царство Божие близко, я возвещаю о нем, в радости и упоении, и предупреждаю вас — да не войдут туда ни разбойники, ни злоумышленники, ни кровопийцы, ни воры, ни совращатели.

Иоанн Креститель

Чтобы спуститься к излучине Иордана, где Иоанн крестил людей, приходилось с трудом преодолевать скалистые гряды — эти морщины веков и буранов, застывшие в конвульсиях серебристые извилины, эти затвердевшие волны дюн. Неожиданно, как мираж, перед глазами возникало оливковое дерево с желто-зеленой листвой, но через несколько шагов снова начинались владения песка и скал, скал и песка, желтизны и белизны — этих земных отпечатков солнца.

Паломников было великое множество, и оставалось лишь идти за процессией, чтобы без всяких расспросов попасть к берегу Вифанийской заводи, где Иоанн очищал души кающихся. Взоры, тусклые от бесконечно сурового пейзажа, снова оживали при виде малень-

кого залива, где свершался обряд. Трудно было сказать, действительно ли эти прозрачные, почти недвижные воды вливаются в Мертвое море, или каким-то непонятным образом поднимаются к другому устью, или вообще остаются там стоячей лагуной. Об этом знали только камыши, склонявшиеся над вялым течением, и пальмы, тайно ловившие с берега его отблески, и кустики дикой ежевики, зло сцепившиеся среди реки.

Толпами шли те, кто сеял пшеницу на холмах Хоразина, кто жал оливковое масло в маслодельнях Гефсимании, кто пас коз и овец на лугах Ефрона, кто торговал кувшинами для вина на базарах, кто мастерил сандалии из кожи жертвенных телят, кто продавал голубей и ягнят у входа в храм, кто ударами молота гнул неподатливое железо и бронзу, кто прял и ткал шерсть в самых грязных предместьях Иерусалима, кто превращал ткани в прекрасные хитоны и шали с кистями, кто делал из ливанского дерева столы и ложа, кто помогал роженицам и облегчал страдания недужных, кто вырывал из тела каменоломни ее гранитные и мраморные позвонки. Вместе со всеми шел обагренный кровью мясник, и побеленный мукой пекарь, и тот, кто вывозил грязь и навоз из конюшен, и тот, кто охранял могилы от надругательств и грабежей, и ненавистный мытарь[1], и солдат, улизнувший из лагеря Ирода Антипы, и раб, понявший, что он свободный человек; и даже продажная женщина, которая еще вчера ночью спрутом извивалась от сладострастия на циновках в злачных местах.

Почему они шли? Долгое время израильтяне находились в рабской зависимости, терпели поражения, подвергались гонениям, но никогда не теряли своего национального достоинства и своей веры в Яхве[2]. Греки обладали философской и эстетической мудростью куда большей, чем они; наука египтян оставила далеко позади их невыносимую догматику, но ни одна другая нация не была привержена такому экзальтированному верованию в существование единого Бога, их избравшего, одного-единственного Бога, который сегодня их наказывает, а завтра спасает. Бог обещал им в пророческих книгах доблестного Исаии и бесхитростного Малахии, что громоподобный голос возвестит о пришествии Христа, что сам Илия наведается в Палестину, чтобы предуведомить о неизбежности великого и судного дня Господня. Тем не менее Малахия стал последним ветхозаветным пророком, а после его смерти на народ Израиля обрушились еще четыре века всяких пертурбаций и несчастий, когда воины-язычники спускали с него по три шкуры, когда его грабили купцы-идолопоклонники, когда его одурачивали фальшивые пророки, а обещанный Мессия так и не приходил, не приносил освобождения.

Теперь же где-то в пустыне объявился сын священнослужителя Захарии по имени Иоанн, который велит им скоро, он говорит — скоро, встречать Спасителя и немедля, он говорит — немедля, готовиться вступить в Царство Божие. И такова сила его слова, аскетизм его бытия и суровость его обвинений, что восторженная решимость овладевает обделенным людом Иудеи, Галилеи и Переи[3]. Апокалипсическое предчувствие освобождения, жажда справедливости возмездия сливают их в единый поток, хлынувший к берегу Иордана. Хотя сам Иоанн это всячески отрицает, он, конечно, не кто иной, как сам пророк Илия, который — воскресший или никогда не умиравший — появился в том самом месте пустыни, откуда его вознесла на небо колесница и огненные кони; это Илия, вернувшийся в той же своей грубой одежде, со своим неуемным желанием изничтожить самых могучих врагов веры израилевой. Иоанн предупреждает, что надо каяться в грехах и искупить их, дабы обрести хоть малое место в узкой келье Царства Божьего; Иоанн утверждает, что необходимо креститься в

[1] Сборщик налогов, установленных Римом.
[2] Бог в дохристианском иудействе.
[3] Области Древней Палестины.

речных водах, если желаешь начать новую и чистую жизнь. Мы покаемся публично, омоемся нагими в Иордане, откажемся от веселящего душу вина и услаждающих тело совокуплений, сделаем все, что нам прикажет этот мужественный и таинственный отшельник, в тени которого затачивается острый меч Мессии, который сведет все счеты и отомстит за обиды.

Смешавшись с толпой верующих, плетется с ними и кое-кто из книжников и священнослужителей, движимых отнюдь не стремлением к совершенствованию, а желанием сбить с толку и запутать пророка, прибегая к своим скрупулезным знаниям Писаний и к словоблудию, которым они овладели в повседневном общении с народом. Здесь также шныряют шпионы синедриона[1], доверенные лица Каиафы, которые станут запоминать каждое незадачливое словцо Иоанна, чтобы потом шепнуть на ухо тем, кто их нанял. Иоанн выслушивает тех и других, не моргнув глазом, точно так же, как выслушивает исповедь кающихся и лепет колеблющихся, и всем отвечает громко и внятно.

— Ты, наверное, сам Илия? — говорит какой-то книжник.

— Нет, я не Илия; не войну я пришел развязывать, как Илия; не свершаю я чудес, как Илия; не предсказываю будущее, как Илия. Мое единственное назначение — объявить о скором расцвете Царства Божьего.

— Тогда, значит, ты Христос?

— Нет, я не Христос. Я возглашал и возглашаю на все четыре стороны света, что я только земледелец, который без устали вырывает сорняк, прокладывая путь Господу Богу. Я не Христос, но говорю вам, что Христос — у порога наших долин, и что он гораздо сильнее меня, и что я недостоин развязывать ремни его сандалий. Я крещу водой, но он будет крестить Святым Духом и огнем.

— Почему ты славишь крещение, будто этот обряд никому не известен и ни с чем не сравним? Разве погружение в воду вот уже сколько столетий не входит в обряды богослужения самых разных религий? Разве наши собственные предки, жившие еще до Авраама, не топили своих первенцев в реке, принося их в жертву Богу? Разве не крестились вавилоняне, ассирийцы, персы, египтяне? — спрашивал один священнослужитель.

— Крещение, принятое от меня, совсем иное. Крещение принятое от меня, это покаяние, стремление к очищению, осветлению души, дабы уже незапятнанными, с достоинством встретить Помазанника, который грядет.

— А кроме того, чтобы каяться и креститься, что нам еще надо делать? — спросил один фарисей.

— Тот, у кого два хитона, пусть отдаст один тому, кто его не имеет; а у кого есть пища, пусть поделится ею с голодным; а у кого есть дом, пусть поселит в одной из комнат обездоленного бродягу.

— А нам, сборщикам налогов, что надо делать? — спросил мытарь.

— Не вымогайте денег у народа, не берите ни на тысячную драхмы больше, чем положено.

— А нам, людям с оружием, что делать? — спросил воин.

— Не совершайте насилия ни над кем, не требуйте денег, угрожая силой; довольствуйтесь тем, что получаете.

— А если я припомнил все свои проступки и оплакал их наедине со своей совестью, зачем мне еще выбалтывать их толпе? — спросил, паясничая, какой-то саддукей.

---

[1] Синедрион (греч.— «совет») — высший судебный и политический орган власти в Иудее. Его члены — жрецы и представители светской аристократии — действовали под контролем римского прокуратора с 63 по 37 г. до н. э., а затем (после смерти Ирода) со 2 в. н. э. и далее.

— В судный час не помогут вам, лицедеям, никакие уловки и притворства, ибо тот, кто придет, принесет с собой лопату, дабы отделить зерна от плевел, и он очистит свое гумно и соберет пшеницу в свою житницу, и будет жечь солому на негасимом огне, и всякое бесплодное дерево тоже будет срублено и брошено в костер.

— Будет ли срублено и брошено в этот негаснущий костер древо империи, которая с далеких холмов опекает и защищает нас, а также и мудрые ветви царского рода, властвующие в Галилее и Перее от имени империи? Или, напротив, все это будет храниться, как избранные зерна, в житницах Господа? — спрашивает один из доносчиков.

От негодования Иоанна бросает в жар, но ответить на вызов ему не доводится, ибо как раз в этот самый момент толпа раздается и перед ним встает плотник по имени Иисус [1], который пришел из Назарета. Человек этот сутуловат и потому кажется невысоким, но когда он поднимает глаза, потом и голову к небу, распрямляясь, то неожиданно оказывается такого роста, что все окружающие приходятся ему по плечо. На нем белый хитон, не замаранный ни дорожной грязью, ни поднятой ветром пылью. С веревочного опояска свисает кусок дерева — отличительный знак его профессии. Черные прямые волосы, разделенные пробором, мягко падают на спину и плечи. Темна и борода его, темны, наверное, и глаза, но они светлеют, становясь почти опаловыми, когда он говорит с детьми, и чернеют, становясь почти базальтовыми, когда он слушает речи книжников. На его продолговатом лице с заметными скулами брови сливаются почти в сплошную прямую линию, а четкие грани носа будто выточены самым искусным греческим мастером. Как и лошадник, который всегда распространяет вокруг себя запах сбруи и конского волоса, плотник из Назарета разливает вокруг аромат кедровых брусьев, можжевеловых ягод, древесной смолы, сандаловых досок или всего этого вместе. У него нет грехов, в которых надо признаться, он солгал бы, если бы признался. И когда он сбрасывает одежду, чтобы погрузиться в реку, из складок хитона вырастает крепкий мужской торс, еще более белый, чем ткань, его прикрывавшая.

Иоанн сердцем чувствует, что явился тот, кто должен был явиться, Иоанн слышит звуки золотых и серебряных рожков, на которых никто не играет; видит, как холмы пляшут перед ним подобно зеленым козлятам, как воды Иордана взметнули вверх своих рыб, а там, вдали, над утесами Мертвого моря, слышится пение ангелов. «Вот кто пришел после меня, а встал передо мной, ибо существует дольше меня»,— думает Иоанн, но к толпе обращается с краткими словами:

— Среди вас тот, о ком вы не ведаете.

Иисус делает вид, что не слышит слов о себе. Опустив глаза, он подходит, касается рук пророка и говорит:

— Я здесь, чтобы ты меня крестил.

Иоанн отвечает:

— Это я должен быть крещен тобою, а ты приходишь ко мне?

Иисус говорит:

— Я такой же человек, как все люди, сын человеческий и брат остальным всем людям. Крести меня.

— Мое крещение — это покаяние и отпущение грехов. А ты их не совершал.

Но Иисус возражает:

— Дай мне сейчас исполнить волю Божью, ибо мы должны быть во всем справедливы и следовать предначертаниям Господа.

Иисус решительно окунается в речную воду; у Иоанна в первый раз дрожат пальцы в момент обряда. Он стряхивает несколько капель на голову плотника и говорит:

---

[1] Иисус — греческая транслитерация древнееврейского имени Иешуа, означающего «Спаситель».

— Крещу тебя во имя Духа Святого, дабы все кривое исправилось и все неровное сгладилось.

Иисус складывает ладони и шепчет мольбу:

— Душа моя, восславь Господа! И да переведутся грешники на земле, да сгинут злодеи! Да будь благословен Господь, прибежище угнетенных, сирых и покинутых! Да преисполнит слава Его навсегда землю нашу, ибо милосердие Его вечно и вечна Его любовь! Возлюбим мир и радость, эти самые сладостные дары, ниспосланные нам Господом! Да будет благословен Господь!

Вот и все, что увидели и услышали мужчины и женщины, в смущении теснившиеся на левом берегу реки. Но тут опять загремел среди скал голос Иоанна Крестителя:

— Не будучи слепым, не возымели вы глаза; не будучи глухими, не возымели вы уши; не будучи в нетях, не смогли увидеть великую бурю, блиставшую молнией и нежнейшей радугой перед вами. Вы не видели, как воды Иордана обратились в сапфировую лестницу и вихрем вознеслись до кровли Вселенной, разрезая тучи, раскалывая звезды.

Вы не видели, как отверзлись небеса, словно море огромное; как поток света вырвался из их чрева, ослепляя птиц и устилая золотом пропасти.

Вы не видели, как пролетел голубь, белее белого цветка лимонного дерева, нежнее дыхания мирного, чище целомудрия, святее любви; голубь, который спустился к нам и сел на темя избранника, чтобы свить гнездо в недрах сердца его.

Вы не слышали, как звенели каплями цитры, как градом сыпали кимвалы, как молнией сверкали трубы, как громом грохотали барабаны, провозглашавшие явление Святого Духа, воспарившего из туч к солнцу.

Вы не слышали голос, тот самый чудотворный голос, что говорил с Авраамом, с Моисеем и с Исаией; голос, вобравший в разлитой тиши все звучание Вселенной, не позволивший и слова сказать природе и возвестивший: ты — сын мой, избранный, возлюбленный.

Я говорю вам, что на глазах у вас, у зрячих, но ничего не видящих, Отец небесный и Святой Дух принесли Сына в жертву, сделав его агнцем для заклания во искупление прегрешений ваших.

Иоанн — уступатель

Иисус семь дней живет вместе с Иоанном и его учениками, углубившись в размышления об удивительной яви, открывшейся ему на берегу Вифанийской заводи. Он потрясен тем, что разгадал скрытый смысл речей пророка. Иоанн, сын Захарии, пришел из пустыни для того, чтобы возвестить людям о явлении Мессии, но также и для того, чтобы вселить в душу Мессии сокровенную веру, что он именно тот, кого ждут. Я скромный плотник из Назарета, мастер своего дела, ибо Иосиф, мой отец, учил меня ремеслу с пониманием и любовью; я знаю книги, которые Иосиф, мой отец, давал мне читать; я люблю бедных, ибо моя кровь, стиснутая берегами податей и налогов, течет в море бедности, но рука моя готова сражаться и победить Дьявола, который завладел Вселенной и сеет зло и беззаконие. Я пришел из Назарета, чтобы Иоанн крестил меня, как других, но Иоанн здесь открыл мне, что я — возлюбленный Сын Господа. После этого провозвестия я перестал быть простым плотником из Галилеи и должен взять на себя бремя, доверенное мне Отцом небесным, и тяжкую ответственность —

вызволить бедных из нищеты и распахнуть перед ними, только перед ними одними, врата Царства Божьего.

Иисуса восхищают пламенные речи Крестителя, мужество, с каким он бросает камни анафем в богатых и власть имущих, его удивительный дар привлекать к себе и убеждать народ. Назарянин часами сидит в тени терпентинового дерева и наблюдает, как Иоанн блестками воды кропит людей, священнодействуя так благородно и красиво, что даже не замечается рубище на его плечах; Иисус наслаждается артистичными изменениями тона его речей, которые секут виновных и завораживают праведников.

Этим вечером, по завершении обряда крещения, когда толпы каявшихся и получивших отпущение грехов рассеялись, Иоанн с Иисусом вместе идут по тропе, огибающей прибрежные заросли, и наконец входят в грот, где Иоанн обычно предается отдыху. Оба садятся на землю друг против друга, их лица освещены светом масляного светильника, зажженного Иоанном. В последний раз видятся они в этом мире, и оба это знают. Иисус уйдет на заре в поисках своей смерти, а Иоанн останется у края пустыни в ожидании своей.

Иоанн говорит:

— Близятся великая денница Господня, полуденный час Его истого гнева, страшная ночь для злодеев и клятвопреступников. Ни один лиходей не спасется, ибо Господь вытащит их всех из пропасти, где они затаились, сорвет со скал, на которые они взобрались; достанет со дна морского, где они прячутся. О том говорит наводящее ужас пророчество Софонии: Это будет *«день гнева... день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака... день трубы и бранного крика... и разметана будет кровь их как прах, и плоть их — как помет... в день гнева Господа»*.

Иисус думает: «Но ведь Божья справедливость — это неисчерпаемый источник милосердия и великодушия, бурный дождь, изливающийся любовью на не ведающие страха головы праведников и больно бьющий по темени грешников. Иосиф, мой отец, часто вспоминал псалом Давида, который молился так: *«Господи! милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков!.. Человеков и скотов хранишь Ты, Господи!»*

Иоанн говорит:

— Я крещу водой, но Сын человеческий будет крестить огнем негасимым, который сожжет и солому лишнюю, и ветви сухие. Огонь, зажженный Сыном человеческим, станет лавой кипящей, которая испепелит мозги, замаранные скверной, и языки, произносившие ложные клятвы, и руки тех, кто курил фимиам чужеземным богам в алтарях.

Иисус думает: «Да, Сын человеческий будет крестить огнем и Святым Духом, так ты возвещал толпе. Но огонь Святого Духа — это не костер всесожжения и возмездия, а очистительное пламя, о котором говорится в Книге Малахии; печь, где плавятся металлы; очаг, где выпекается хлеб; фитиль, на котором живет огонек; факел, указывающий заблудшим путь во мраке ночном».

Иоанн говорит:

— Я нашел правду в пустыне, на бесприютных равнинах, где Моисей и Илия слыхали громом гремевшие заветы Яхве. Я возопил во весь голос, оглушенный молчанием пустыни, которая ныне ревущим самумом взывает о карах в моих речениях.

Иисус думает: «Однако сама по себе пустыня — всего только голос и безлюдное место, наказание Господне для тех, кто бросил свои поля. В пустыне не цвести ни акациям, ни миртам, здесь одни змеи и смертоносные скорпионы. Пустыня — недруг воде, а вода — самое светлое благословение Божье. В пустыне нет ни газелей, ни младенцев, ни любви. В пустыню я пойду не иначе как сражаться с Дьяво-

лом, вступить с ним в рукопашную на его собственных землях, в его безлюдной обители.

Иоанн говорит:

— Воздержание от пищи, страдание и целомудрие приближают нас к Богу, укрепляют на борьбу с Дьяволом, а это — наша прямая обязанность. Если нам предназначено идти вослед за Илией, надо идти за ним, продираясь сквозь чертополох по суходолу, терпя голод, который бичом должен нас подстегивать.

Иисус думает: «Ты подкрепляешься варевом из акрид[1] и корневищ дрока. Я ценю твою жертвенность и преклоняюсь перед твоей твердой волей, но я не последую твоему примеру, ибо не хочу отличаться от людей, а хочу быть как они. Буду есть хлеб и пить вино и сяду за стол ближнего своего, если буду приглашен от чистого сердца. Истину тебе говорю, что, хотя наши привычки несхожи, недруги наши не будут смотреть на нас по-разному и отнюдь не умерят своей ненависти к нам, которую не скрывают. Тебя они считают бесноватым, ибо ты живешь среди скал и ходишь в одеждах из верблюжьей шерсти. Меня они назовут обжорой и пьяницей, ибо я не откажусь ни от хорошего блюда, ни от доброго вина. Фарисеев и книжников выводит из себя не то, какую пищу мы едим, а то, что мы — и ты и я — хотим утолить голод и жажду справедливости, которые нас точат».

Иоанн говорит:

— Наши самые заклятые враги — те, кто наживаются на верованиях и труде бедняков; священники, разбогатевшие под сенью храма; книжники, развращенные деньгами за ложное толкование Писаний; торговцы, готовые исповедовать иудейство, дабы вывозить засовы и древесину из Святого города; лицемеры, которые бродят по улицам, прикидываясь благочестивцами, хотя они всего лишь ходячие гробы, побеленные ханжеством и лживостью.

Иисус думает: «Ты прав».

Иоанн говорит:

— Друзья же наши — униженные и немощные, сироты и вдовы, страждущие и больные, те, кто громко взывают о помощи, и те, кто втихомолку оплакивают свои печали. Я многие месяцы жил с отшельниками в их хижинах на скалистых берегах Мертвого моря. Никто с таким рвением не предается размышлениям и молитвам, как они; никто, кроме них, не отвергает с подобным презрением блага земные; никто, кроме них, не изучает так самозабвенно Закон[2], предсказания пророков; только они одни равно делят между собой — собратьями по вере — пищу и одежду, ибо для них все сущее — это общая собственность всех сынов света. Но я покинул их, потому что в их пустошь не поднимался народ, а они не спускались к нему. Я нашел людей на берегах Иордана, и грешники толпами идут слушать мое пророчество и из рук моих получить очистительную воду.

Иисус думает: «Ты прав, но иногда мало быть правым. Рыбак не сидит в своей лодке у самого берега, а далеко уходит на ней в поисках глубоководья, где бывает самый богатый улов; старается так крепить паруса, чтобы выдержать любой шквал, и сражается за свою добычу с чайками, налетающими на сети. Так же и ловец отчаявшихся душ не станет, подобно эвкалипту, ждать появления ростков возле себя, а будет усердно искать нуждающихся, где бы они ни были: в селениях ли поденщиков у озера Генисаретского, в малых синагогах Капернаума и Магдалы, куда ходят молиться рыбаки; у столов ростовщиков и собирателей дани, где пастухи и землепашцы платят свои десятины; на холмах, где бегает овца, отбившаяся от стада; на базарах, где торговцы голубями делятся друг с другом своими бедами; на паперти,

[1] Акрида — вид саранчи.

[2] Закон — заповеди Моисея, так называемое Пятикнижие Моисея, пять первых книг Ветхого завета.

где ищут прибежища слепые и калеки; в диких ущельях, где безропотно страдают прокаженные. Надо идти к ним, чтобы сказать им доходчиво и просто, что Отец небесный не покарает их, а облегчит мученья, ибо несчастные и так уже настрадались на нашей земле от Дьявола, который сеет зло и горе. Надо сказать им всем о рождении царства радости и о конце горестей, застилающих душу мраком».

Иоанн говорит:

— Я требую от тех, кто хочет меня слушать и спастись, чтобы они неукоснительно следовали Закону, чтобы черпали вдохновение и опыт в речениях пророков, чтобы не упустили ни одного из заветов, содержащихся в Священном писании.

Иисус думает: «Я пришел не для того, чтобы пренебречь Законом, и не для того, чтобы хоть как-то опорочить Пророков [1]. Я пришел только для того, чтобы возвестить о Царстве Божьем и разъяснить его подлинное таинство. Истину говорю: никто не ставит новую заплату на старые одежды, ибо старое прежде порвется, новое испортит старое. Никто не наливает вино в старые мехи, ибо молодое вино их разорвет — и само выльется, и мехи испортит. И кроме того, говорю я тебе, что никто не сможет удержать слово Божие, ни заточить его как дорогую реликвию в башню древностей».

Иоанн говорит:

— Близко, совсем близко Царство Божие. В его врата войдут без различия роду и племени все праведники, а также те нечестивцы, которые искупили свои проступки раскаянием.

Иисус думает: «Царство Божие уже здесь, и все мы в его бурной реке духовного обновления. Ты говоришь, Царство Божие совсем близко. Ты верно говоришь, если считать «совсем близко» не во времени, а «совсем близко» — в пространстве. Оно и вправду так близко, что стоит протянуть руку, и мы до него дотронемся. Царство Божие — это ведь любовь, которая будет строить судьбу человеческую».

Один говорит, другой слушает, а ночь проходит. Огонек светильника уже погас, и лица обоих утратили очертания, но рассвет стал мало-помалу снова их вырисовывать. Дуновение влажного ветерка над скалами добирается и до них, уже слышится ликующий гомон птиц и далекий надрывный вой хищников. Через узкий пролом в грот входят три последователя Иоанна, вероятно его самые преданные ученики. Пророк, указывая на Иисуса, говорит им:

— Вот агнец божий, искупающий грехи мира. Вы этого не ведаете. Я тоже не ведал, но теперь увидел его и свидетельствую, что он — Сын Божий.

Один из учеников спрашивает Иоанна:

— Учитель, разве не ты посланец Всевышнего?

Иоанн отвечает:

— Никто не может себе ничего присваивать, если Бог того не велит. Я вам сказал, я не Мессия, но послан идти впереди того, кто сильнее меня. Тот, кто приходит сверху, становится превыше всех; кто внемлет его словам, подтверждает, что Бог говорит правду, ибо посланец Божий, исполненный Святого Духа, передает заветы Бога. Отец любит Сына своего и все передал в его руки; кто верит в Сына Божьего, тот обретает вечную жизнь, но кто отказывается верить в Сына, никогда не узнает, что́ есть жизнь.

Другой ученик говорит Иоанну:

— Учитель, несметные вереницы паломников тянутся к берегам Иордана получить от тебя крещение.

Иоанн ему отвечает:

— И я их крещу. Но мое предназначение глашатая зари окончи-

[1] Книги древнееврейских пророков, как и Закон,— часть Ветхого завета.

лось. Так же, как цветы превращаются в плоды, моя надежда обратилась в веру.

И, повернувшись к Иисусу, добавляет:

— Тебе должно расти, а мне — умаляться.

Иисус ничего не говорит. Шепчет «Прощай, брат» так тихо, что никто не слышит, огибает каменный выступ при выходе из грота и не спеша отправляется в дальнюю дорогу, которая не вернет его обратно в Галилею, а поведет в пустыню. Вскоре он оборачивается и видит, что все три ученика Иоанна идут вслед за ним. Иисус ждет их и обращается к ним:

— Он говорит, что ему — умаляться, а мне — расти, но я говорю вам, что, если и умаляется его плоть, тень его будет увеличиваться из века в век. Иоанн — живой и сияющий факел, и народ воздает ему должное, прося от него крещения. Иоанн не тростник, качающийся на ветру, каким желали бы видеть его левиты, не придворный оракул, пышно одетый, каким хотели бы его видеть в царских покоях; он — пророк. Он больше чем пророк. Он — тот Илия, который должен был прийти, он — Илия Провозвестник, который явился. Истину вам говорю: среди рожденных женщиной нет другого, кто был бы более велик, чем Иоанн Креститель.

Иисус молвит это с такой внутренней убежденностью, и с таким искренним чувством, что Фома-близнец чуть было не бежит со всех ног назад, к Вифанийской заводи.

Иоанн — узник

В том мрачном зале со стенами черного дерева Ирод Антипа давал аудиенцию своим сановникам и управляющим, священнослужителям, приходившим доложить ему о положении дел в храме; казначеям, ведавшим денежными доходами; посланникам дружественных стран, родственникам-прихлебателям. В центре прямоугольного зала возвышался подиум, а на подиуме помещалось неопределенного стиля кресло с белой инкрустацией и золочеными ручками, куда, как на трон, усаживался тетрарх[1]. Посетитель стоял внизу или в лучшем случае присаживался на голую скамью, с которой взирал на фигуру тетрарха, как на истукана, подвешенного в выси на невидимых нитях.

Себастьян, начальник стражи, глядящий исподлобья самаритянин с тяжелыми руками, которые никогда не шевелились, докладывал об исполнении приказа:

— Пророк уже перестал крестить в заводи, что близ Вифавары[2], как раньше, а перешел в Енон, что возле Салима, в местности, где много источников. Стадо тупоумных людей слушало его проповеди и ждало, не могло дождаться, когда он их начнет водой поливать, вроде бы смывать прегрешения. А зев его — грязный сток злобы и ругани, каждое слово — кусок дерьма, которым он запускал в лица достойных и уважаемых особ. Как только мог, он поносил богатые благородные семьи; грозил секирой, которая лежала под деревом, и пожаром опустошительным, который никогда не погаснет. А потом стал распускать лживые сплетни о тебе и твоей супруге Иродиаде. Он, конечно, не назвал ваших имен, но все поняли, о ком идет речь. Тут я и отдал приказ своим стражникам взять его. Он так распалился, когда хулил вас, так дьявольски в нас вперился, когда смолк, что я подумал: «Не дастся нам старый живым, а сотни этих его бесноватых нас в куски разорвут». И очень я удивился, когда пророк смиренно махнул рукой свое-

[1] Тетрарх (греч.—четвертовластник) — один из четырех правителей Древней Палестины.

[2] Второе название Вифании в Перее.

му полчищу, сам подошел и спросил меня: «Кто тебя послал и зачем?» Я ему ответил: «Меня послал тетрарх Ирод Антипа и отдал мне приказ взять тебя под стражу, чтобы прекратить твои безобразия». Он только дико глянул на меня, как на пса паршивого, и сказал: «Пошли». Снова махнул спокойно рукой люду бешеному, который так и норовил на нас броситься, встал впереди нашей маленькой когорты вроде как проводник, хорошо знающий дорогу, и уверенно зашагал по тропке вдоль ущелий прямо к Махерону. И всю дорогу не проронил ни слова.

— Где ты его запер? — спросил Ирод Антипа.

Начальник стражи ответил:

— Ты велел обходиться с ним милостиво, тетрарх. Мы отвели его в галерею на башне, в цепи не заковали; свет туда падает из слуховых оконец, выходящих на море.

— Приведите узника, хочу говорить с ним,— сказал Ирод Антипа.

Тетрарх остался один в зале, ожидая странного босоногого проповедника, который осмелился бросить вызов его всевластию, а вместе с ним, получается, бросить вызов и всем знатным иерархам, и богатым саддукеям, и хитроумным фарисеям, и даже, может быть, самому Риму; впрочем, было бы слишком глупо так думать. Черная бабочка влетела через портик, выходивший в сад, растерянно заметалась в мрачной полутьме зала, начала биться о стены — такие же черные, как ее крылышки,— наткнулась на алебастр окна, обманутая белизной и тусклым светом, но, наконец, в торжествующем порыве метнулась обратно к солнечному выходу и упорхнула в небо зеленого сада.

Немного спустя в том же самом портике обрисовалась фигура Иоанна Крестителя, который приближался шаг за шагом, отпечатывая грязные следы босых ног на ярко-желтом мозаичном полу. Стражники, приведшие его, остались у порога. Иоанн Креститель остановился перед подиумом тетрарха и скрестил руки на груди, словно в ожидании приговора. Его потрепанное одеяние из верблюжьей шерсти, всклокоченные космы и борода резко контрастировали с роскошной черно-белой полосатой туникой тетрарха, с его завитыми и надушенными придворным брадобреем волосами, с его заученной позой вершителя судеб.

Тетрарх сказал:

— До меня дошло, что ты человек справедливый, что речи твои призывают народ не сходить с пути избранного, с пути благоразумия и вести скромный образ жизни, верить в милосердие Божие. До меня дошло, что толпы паломников идут к тебе послушать твои речи и возвысить свою душу в свете твоих наставлений. Другие сказали мне, что ты — глас неба и самый великий пророк, что ты прекрасно знаешь и понимаешь пять свитков Моисея и три псалма Исаии. Я велел тебе предстать предо мной, чтобы ты помог мне разобраться в таком пророчестве провидца Даниила: «*...с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки — семь седмин...*» Так вот, и Иерусалим и храм восстановлены моим отцом, Иродом Великим, а после его смерти уже прошло тридцать лет. Я желаю знать, что означают в нашем летосчислении те семь седмин, о которых пророчил Даниил. У тебя требую ответа я, Ирод Антипа, тетрарх Галилеи и Переи, законный сын Ирода Великого.

Иоанн Креститель начал говорить, не глядя на тетрарха, словно бы и не слышал его вопроса и обращался не к нему, а к балке черного дерева, пересекавшей потолок, или к неясному лику луны за окнами.

— Не дано продажным эллинам оценивать, велик ли монарх или нет, скипетры и короны не в силах возвеличить сердце человека, много было царей в Вавилоне и Ассирии, которые и не пытались себя превозносить. Великим царем был Давид, который сломил гордыню Голиафа и восстановил честь своего народа; великим царем был Соломон, чьи познания и мудрость взяла земля и наполнилась его песно-

пениями из чистого золота; великим царем был Кир, ибо написано, что был он Помазанником Божьим и что Бог сам вел его за руку покорять народы. Это не величие — быть внуком вольноотпущенного раба и хотеть слыть отпрыском знатного рода; это не величие — проникнуть в архивы храма и приписать себе благородное происхождение, какого и в помине нет. Это не величие — давить бедняков податями, тяжелыми, как возы с дровами; это не величие — насиловать невинных дев и позорить чужих жен; роскошь и бахвальство тоже не величие, а скудость духа. Воздвигнуть храм, чтобы пытаться завоевать расположение угнетенного народа; разграбить сокровища гробницы Давида, угодливо строить города и крепости во славу языческой империи; прикончить собственную супругу и пятерых своих сыновей, поверить глупым выдумкам неведомых магов и умертвить двадцать младенцев в одном иудейском селении, жечь живьем всякого праведника или бунтаря, который приоткроет уста, чтобы молить о справедливости,—это ли называешь величием?

С каждой фразой пророка лицо Ирода Антипы становилось все более жестким и желтым, наподобие старого пергамента. Он поклялся себе ни в коем случае не уронить своего холодного достоинства, хранить бесстрастное молчание стража, не слышащего гнусных воплей этого несносного хулителя. Однако не хватило выдержки, и он разразился криками:

— Молчи, змеиное отродье! Своими словами ты сам приговорил себя к истязанию — к тысяче ударов кнутом; сам выковал гвозди, которыми будешь распят; сам наточил меч, который снесет тебе голову; ты уже мертв и плаваешь в своей крови под солнцем, как четвертованный бык, хотя утроба твоя еще силится осквернить память моего отца. Оставь в покое моих предков и обрушь свою брань на меня, если тебе это нравится и если у тебя хватит смелости.

Иоанн Креститель ответил, нимало не смутившись:

— В Писании сказано: *кто открывает наготу жены брата своего — прелюбодей, ибо он оскорбляет брата кровного.* Тень кровосмешения тучей саранчи ложится на поля Галилеи и Переи; чумная зараза кровосмешения разливается потоком нечистот по равнинам Иудеи.

Ирод Антипа снова прервал его:

— Молчи, змея!

Иоанн Креститель добавил:

— Достойный сын идет по пятам своего праведного отца, а порочный сын следует примеру растленного отца. Если отец позволил войскам иноземным над собой надругаться, то сын сам лижет им пятки, как блудница продажная. Если отец насылал стаи доносчиков, губивших народ своими наветами, то еще более многочисленны и опасны полчища наушников, натравленных на людей сыном.

В третий раз вскричал Ирод Антипа:

— Молчать, ехидна!

И зычным голосом позвал:

— Себастьян! Себастьян!

Спешно подбежал начальник телохранителей, и тетрарх отдал ему приказ бросить пленника в сырое подземелье, сковать цепями и посадить на хлеб и на воду.

— Пусть потерпит до своего смертного часа, тот не за горами,— сказал тетрарх.

Иоанн Креститель направился к озаренному светом портику таким же размеренным шагом, каким вошел, и, дойдя до порога, проговорил сквозь зубы:

— *Сохнет трава, увядает цветок, но слово Божие пребудет вечно.*

На закате явилась Иродиада, супруга тетрарха, в сопровождении

двух рабынь-набатеянок[1], которых тут же прогнала, резко от них отмахнувшись. Ее тело источало сильный, хотя и чудесный запах неведомых бальзамов, сложной смеси благовонных слез мирры и нектара цейлонской корицы. Она не села на скамью для придворных, не осталась стоять внизу, как прислужница, а поднялась на подиум по бронзовым ступеням, взяла правую руку тетрарха в свои ладони и спросила:

— Что говорил тебе пророк?

Ирод Антипа ответил:

— Он не в своем уме, в него вселился дьявол. Я никогда не позволю себе разомкнуть губы, чтобы повторить грязные слова, вылетавшие из его глотки.

Иродиада настаивала:

— Что говорил тебе пророк?

Ирод Антипа стал нести всякую околесицу, рассказывать о римском после, который приедет к Пасхе и привезет послание от императора Тиберия. «Надо будет оказать ему пышный прием. Преподнесем ему в подарок самую статную кобылу из наших конюшен, ту, белую, с тонкой, как шелк, гривой». Иродиада спросила, не слушая его:

— Что говорил тебе пророк?

Тогда острый и лживый язык Ирода Антипы начал, как лезвие ножа, строгать фразы:

— Он открыл рот только для того, чтобы вылить на тебя море мерзости. Сказал, что ты меня соблазнила в Риме, подбила на подлость, вынудила обмануть моего брата Ирода Боэтуса[2], твоего законного мужа; уговорила меня взять с собою в Палестину.

Иродиада сказала:

— Дикие бредни, и ты это прекрасно знаешь. Ты сам меня соблазнил, и ты это прекрасно знаешь.

Ирод Антипа продолжал злить жену новыми выдумками:

— Конечно, бредни, но он их повторяет на каждом шагу. Он упрекает тебя в тех же страшных грехах, в каких пророк Иезекииль обвинял Охолу и Охолибу[3], эту нечисть. Он говорит, что твоя пылкость и сластолюбие — ядовитые змеи, которые погубят нас обоих. Он говорит, что сам дух нашего Тивериадского дворца отравлен твоей смердящей блудливостью. Он говорит, что глубокой ночью ты шныряешь по закоулкам у порта, чтобы затащить в кусты первого встречного моряка. Он говорит, что особый вкус ты находишь в египтянах, с их огромными, как у онагров[4], срамными частями, и в сирийцах, которые без устали гарцуют на тебе. Он говорит, что ты не требуешь платы, как уличные распутницы, а сама осыпаешь дарами своих любовников, чтобы они с благодарностью кидались к тебе в постель. Он говорит, что ты нагишом катаешься по коврам с вавилонцами, дабы послушать, как они рычат от удовольствия, и дабы заполучить в свое нутро их скотское семя. Он говорит, что ты, стараясь угодить им всем, натираешь чресла свои благовонными мазями, заставляешь массажистов лупить себя по ягодицам, мажешь себе веки нектаром фиалок, смягчаешь свою промежность крепким отваром мандрагоры.

Иродиада воздела руки к небу и вскричала:

— В твоем присутствии он говорил обо мне такие непотребства, и ты не убил его? Почему ты его не убил, тетрарх?

---

[1] Набатеи — древнее наименование арабских племен на территории современной Иордании.

[2] Имеется в виду Ирод Филипп (Старший), единокровный брат Ирода Антипы, рожденный Марианной, дочерью первосвященника Боэтуса (или Боэфа) Александрийского.

[3] Иезекииль ассоциировал Израиль и Иудею с двумя блудницами, изменявшими своему супругу, богу Яхве.

[4] Онагр — дикий осел, обитавший в Юго-Западной Азии.

Ирод Антипа ответил:

— Народ собирается вокруг него и восхищенно внемлет его мерзким речам. Ничего бы я так не желал, как вырвать ему язык, умертвить его, но если я устрою казнь без всякого суда, большинство израильтян встанет на защиту своего мученика, и, хочешь не хочешь, придется вырезать их всех и нарушить мир, который я обещал сохранять. Ни на секунду нельзя мне забывать, что мой жезл тетрарха принадлежит Риму. Рим мне его дал, и Рим может его отнять у меня когда пожелает. Ни на секунду нельзя забывать, что император Август сверг и изгнал отсюда брата моего Архелая [1] в наказание за то, что мой брат Архелай повелел отсечь головы трем тысячам бунтарей у стен храма. Я не упущу случая прикончить Иоанна Крестителя, но не хочу, чтобы его смерть привела к мятежу в Палестине и чтобы все эти беспорядки снова вызвали у Тиберия ненависть к нашему роду.

Иродиада сказала:

— Что еще говорил тебе пророк?

Ирод Антипа опять начал сочинять небылицы, всячески стараясь задеть жену за живое:

— Он говорит, что ты пробираешься за полог ложа, где спит евнух Габаза, будишь его среди ночи и кусаешь его жирную грудь, лижешь там, где и лизать-то нечего, и вонзаешь ногти в его мясистые ляжки. Он говорит, что ты велишь доставлять тебе в постель девочек-эдомитянок [2], чтобы разрывать их девственную плеву своими длинными, как у фурии, пальцами, и велишь доставлять тебе мальчиков-сирийцев, чтобы откусывать им крайнюю плоть своими острыми зубами и потом облизывать свои губы, залитые словно розовым нектаром. Он говорит, что ты пробираешься тайком в конюшни римских легионеров, чтобы своими ласками доводить до бешенства их вороных жеребцов.

Иродиада взвыла:

— Ты повторил за ним столько пакостной лжи и даже руку на него не поднял? Да правда ли, что ты действительно законный сын Ирода Великого, а не просто приблудный сын несчастной потаскухи?

Ирод Антипа ответил:

— И не одни поденщики и землепашцы восстанут против его казни. Иоанн Креститель — сын благородного священнослужителя, знаменитый плод Левиина колена, потомок любимого сына Моисея. Некоторые книжники считают, что он и в самом деле глас, возвещающий пришествие Мессии. Если я его обезглавлю без судилища, саддукеи возропщут: мол, оскорблен весь их род; фарисеи будут лить слезы: мол, как они его возлюбили; ессеи будут рвать на себе одежды; зелоты вытащат ножи из-за пояса. Его необъяснимая смерть может стать поводом для таких кровопролитных войн, какими были войны Матафии из Модина и Иуды Маккавея.

Иродиада, не будучи в силах вымолвить слово из-за душившей ее темной ненависти, спустилась с подиума и пошла к выходу. Она уже переступила порог, когда услышала звенящий голос тетрарха:

— Надо найти повод, который оправдал бы его смерть.

Иоанн Креститель между тем был заключен в самое темное подземелье, кишащее крысами, залитое гнилой водой. Его левую щиколотку сжимала цепь с тяжелым железным шаром на свободном конце, а цепь, охватившая правую руку, была прикована к громадному кольцу в стене. По ночам приходил, ковыляя, тюремщик и приносил ковригу хлеба с кувшином воды. Узник брал воду, но от хлеба отказывался.

---

[1] Один из четырех сыновей Ирода Великого, римский наместник Иудеи в древней Палестине.

[2] Эдом (то же Идумея) — область на юге Палестины.

Иоанн — смертник

Махеронский замок, который был возведен Александром Яннаем в военных целях, разрушен римлянами и заново отстроен Иродом Великим, сохранил в память о своем военном предназначении только искалеченные крепостные стены. Перестраивая интерьер, Ирод Великий отнюдь не придерживался иудейского стиля прежних времен. Просторные залы были убраны коврами и подушками для сидения, и при этом в них преобладали пронзительно красный и убийственно черный цвета. Длинные коридоры, украшенные тонкой деревянной резьбой, ветвились и пересекались, образуя лабиринт. Арки, инкрустированные бирюзой и зеленым эйлатом, соединяли высокие стены. В открытых двориках многочисленные водоемы и купели, одетые в бронзу, отражали облака и пополнялись дождевой водой. Многоцветные кирпичные террасы, выдававшиеся наружу, позволяли созерцать темное волнение Мертвого моря, смотреть на островерхие холмы, шеренгами уходившие в сторону иудейской пустыни, или вглядываться в тропки, прорезавшие кровоточащими царапинами голые крутые склоны. Внизу, в конюшнях, ржали резвые арабские кони. А еще ниже, в подземном узилище, вот уже десять месяцев томился в цепях Иоанн Креститель, не видя рядом никого, кроме пауков и крыс.

Махеронский замок пышно украшен, дабы со всей торжественностью отпраздновать день рождения Ирода Антипы, пятидесятый день рождения, если Иродов старый учитель греческой риторики Ириний не сбился со счета в своих воспоминаниях. На рассвете потянулись цепочки рабов, сгорбившихся под тяжестью всякой снеди, к огромной кухне, сверкавшей, как начищенная бронзовая лампа, где перед печами старший повар Бохус, огромный широкобедрый евнух, повелевал, подобно визирю. Щекочущий ноздри запах блюд, специй, ароматических трав, сочных фруктов распространялся по залам легкими аппетитными волнами.

В пятом часу пополудни начали съезжаться приглашенные. Их встречали у правых крепостных ворот слуги из рабов и вольноотпущенных, вели к главным воротам, откуда, пройдя сквозь двойной строй солдат-фракийцев — телохранителей тетрарха,— гости попадали в церемониальную галерею, где их принимал Ирод Антипа со своей супругой Иродиадой. Наиболее важной персоной среди этих именитых гостей был римлянин Люций Вителий, который в ту пору разъезжал по городам Сирии и Палестины посланцем императора Тиберия, сумев выслужиться перед Римом ценой долготерпения, лести и унижений. Люций Вителий преодолел горную дорогу к замку, удобно возлежа в крытом темно-зеленом паланкине, который тащили шесть рабов-нубийцев и охраняли десять декурионов в полном обмундировании: шлемы, щиты, доспехи, мечи, металлические краги и кованные железом сандалии, воинственный грохот которых разгонял пугливых ящериц. На гнедом жеребце со сбруей, украшенной серебром, и в сопровождении разнаряженных воинов явился родной брат тетрарха Ирод Филипп [1], тетрарх Итуреи и Трахонтиды. Также верхом, но на буланом и более горячем коне прибыл Арбелай, повелитель Каппадокии, великолепные одежды которого не скрывали уродливости его корявой физиономии. Трясясь на коренастых сивых мулах, покрытых голубыми попонами или ничем не покрытых, но как один звеневших колокольчиками на шее, приехали из Иерусалима весьма достойные персоны. Синедрион направил на празднество Гершона бен Хануна, находившегося в родстве с первосвященниками Анной и Каиафой. Вместе добрались до замка крупнейший землевладелец Иосиф из Аримафеи и Симон бен Иоханан, самый известный торговец хрустальными кубками.

---

[1] Ирод Филипп — второй единокровный брат Ирода Антипы, сын Клеопатры.

На какое-то время забросил свои пергаменты мудрый Исаак Аталеф, знаток древнейших утопий. Стекались к крепости аристократы-саддукеи, пальцы которых были унизаны аметистами и топазами; благочестивые фарисеи в бархатных митрах, всезнающие левиты, самодовольно поглаживающие свои курчавые, книзу раздвоенные бороды. Последними на конях-полукровках с равнин Сарона явились правительственные чиновники тетрарха: первый советник, хранитель казны и главный военачальник.

Стены зала, где происходило пиршество, призрачно мерцали, словно фосфоресцирующие берега какого-то моря. То там, то сям из искусно скрытых щелей вырывались огненные вспышки и обдавали струями света мантии и тюрбаны пирующих. Два огромных ветвистых светильника, вытянувшись вверх бронзовыми кактусами, искрились своими горящими плошками. С трех сторон главного стола, украшенного гирляндами из виноградных лоз и веток лаванды, располагались ложа Ирода Антипы, римлянина Люция Вителия и Иродиады. Женщинам Палестины было запрещено участвовать в общественной жизни, но тетрарх, испросив разрешения у своих гостей, получил их согласие на то, чтобы его супруга — моя любимейшая супруга, так он сказал,— могла бы присутствовать на праздновании его дня рождения. В курильницах слегка дымились благовонные смолы и бальзам из тубероз, наполнявшие ароматом воздух и услаждавшие души. Мелодичная взволнованность арф сопровождалась легким посвистом флейт, нежными переборами цитр и стрекотом кастаньет, а все вместе создавало благозвучие под стать пению Суламифи. Разноплеменные рабы и рабыни несли над головой серебряные блюда с произведениями кулинарного искусства, созданными евнухом Бохусом, бесспорным творцом новой восточной кухни. Яичные бульоны, приправленные орехами из Смирны; супы из кислого молока, подаваемые в китайских фаянсовых чашах и покрытые зонтиками укропа; морской окунь из Великого моря под соусом из кунжутных семян и имбирного корня; форель из Иордана, осыпанная свежим виноградом и коринфским изюмом; филе антилопы, залитое соусом из тутовых ягод; тушканчики, жаренные с корицей и гвоздикой; птенцы горлицы, копченные с мятой; дикие утки, начиненные жирными маслинами из Переи; куропатки с нежной вареной чечевицей, украшенные спелой смоквой и вялеными абрикосами; козий сыр с Царской горы; клубника из Иерихона в апельсиновом сиропе, присыпанном зеленым перцем из Мадраса; варенье на розмариновом меду. Подоспевали и амфоры с вином, которые то и дело опустошались, чтобы наполнять кубки гостей иудейскими винами из давилен Иерихона и Адораима; ароматными винами, привезенными из Библа и Дамаска, сладкими винами с Самоса и густыми и терпкими из Спарты.

Внезапно раздался негромкий торжественный глас трубы, и тотчас умолкла музыка, стих шум разговоров и позвякивание кубков. Сложился веером огромный золототканый занавес в глубине зала, и появилась в дымке фимиама принцесса Саломея, дочь Иродиады от ее первого мужа, Ирода Боэтуса Покинутого. Саломее еще не минуло и тринадцати лет, но она была прекрасна, как финиковая пальма, ее талия покачивалась, как пшеничный колос. Сверху донизу ее окутывала красно-синяя шаль наподобие плаща бедуинских шейхов, а по плечам рассыпались волосы, перевязанные золотой с драгоценными камнями лентой, пересекавшей лоб. Ее ноги в атласных, шитых серебром туфлях на каблучках засеменили к столам с яствами. Тут она сбросила шаль, обнажила, скинув туфли, свои лилейно-белые ножки, легким взмахом руки подала знак арфам и флейтам и начала танцевать.

И тринадцати лет еще не исполнилось Саломее, но ее маленькие груди были как новорожденные газельки, а соски — как их носики-зернышки. Не было ей и тринадцати, но ее руки трепетали в экстазе

танца, как у гетеры, вздрагивающей от страстных порывов любовника. Не было ей и тринадцати, но ее упругие бедра созревшей женщины раскачивались, словно зовя к любви. Не было ей и тринадцати, и ни один мужчина еще не побывал на ее ложе, но в ее глазах сверкали зеленые светлячки желания, а животик дрожал мелкой дрожью, как розовая медуза; ее лобок все четче рисовался под парчой, будто на глазах зреющий, манящий и запретный плод.

Саломея не была обнажена, но все они видели ее нагой. Принцесса из династии Иродов, девственница асмодейского [1] рода-племени, не смела оголяться перед мужчинами, но все они видели ее голой. Когда кончился танец, она рухнула наземь — косуля, сраженная мечом музыки. Когда приутихли восторженные голоса, она встала — воскресшая жестокая богиня,— а гости погрузились в бездну молчания, будто пантера сладострастия одним ударом лапы сбросила их туда вместе с их шумом и гамом. Ирод Филипп, тетрарх Итуреи и Трахонтиды, повернул лицо к соседнему ложу, занятому его братом Иродом Антипой, и сказал:

— Сколько лет принцессе Саломее?

Ирод Антипа ответил:

— На сорок меньше, чем тебе.

— Я на ней женюсь,— сказал Ирод Филипп.

— Хочу, чтобы ты знал: ей еще нет и тринадцати,— сказал Ирод Антипа.

— Я на ней женюсь,— сказал Ирод Филипп, будто говорил сам с собой.— Я женюсь на ней до того, как поспеют хлеба.

— Хорошо, ты женишься на ней,— согласился, улыбаясь, Ирод Антипа.

В эту минуту тихо заворковали тамбурины, и Саломея легкими шагами направилась к столу, у которого на главном ложе из трех возлежал тетрарх.

— Ты так танцевала, как никогда не станцевать и ангелу небесному,— сказал Ирод Антипа, и его громко произнесенные слова были услышаны всеми присутствующими.— Проси у меня все, что хочешь, и я тебе дам. Даже если попросишь полцарства, получишь его.

Саломее было неполных тринадцать, и она не знала, что ответить, чуть не сказала, что ничего не хочет, что танцевала просто так, но ее мать успела шепнуть ей на ухо:

— Проси голову Иоанна Крестителя!

Саломее было неполных тринадцать, и она даже слышать не слышала о существовании пророка и ведать не ведала, зачем матери понадобилось обезглавить какого-то безвестного человека.

— Проси у меня полцарства и получишь,— настаивал Ирод Антипа, глядя на мать, хотя обращался к дочери.

— Проси голову Иоанна Крестителя! — повторил злой голос Иродиады.

И Саломея сказала:

— Я хочу голову Иоанна Крестителя на серебряном блюде.

Ирод Антипа скорбно уставился на гостей, особенно долго смотрел на священников-фарисеев, которые более всех были смущены неслыханным требованием принцессы. Потом сказал:

— Не требуй этого у меня, Саломея, Иоанн Креститель — нищий пророк, который никому не вредит своими проклятиями и сквернословием. Я сам спущусь в темницу, где он сидит, чтобы наставить его и успокоить. Умоляю тебя, проси у меня полцарства взамен его головы. Я подарю тебе самые красивые замки у Галилейского моря, осыплю тебя брильянтами и жемчугами, велю сделать корону с топазами и сапфирами, ты станешь разъезжать по городам Иудеи в карете из золота и серебра, запряженной лошадьми цвета белого мрамора; ты

[1] Асмодей — злой дух, умерщвлявший женихов Сарры (Книга Товита, 3, 8).

выйдешь замуж за моего брата Ирода Филиппа, за этого скромного и щедрого тетрарха Итуреи и Трахонтиды, но только не проси у меня голову узника.

Шепот матери впивался ей в ухо:

— Проси голову Иоанна Крестителя!

Саломее надоело это странное препирательство, смысла которого не понимала. И она сказала Ироду Антипе:

— Ты всегда держишь свое слово, тетрарх. Я хочу, чтобы перед двумястами свидетелями ты выполнил свое обещание и велел принести мне голову Иоанна Крестителя на серебряном блюде.

Ирод Антипа в деланном отчаянии откинулся на свое ложе, складки туники прикрыли сивую бороду. Палач, все видевший, стоявший у одной из боковых стен как статуя колосса — ноги врозь, в руках огромная острая сабля,— шагнул вперед, чтобы получить приказ, которого ждал:

— Отруби в темнице узнику голову и принеси ее сюда на серебряном блюде!

Снова заиграли цитры и флейты, но теперь их тихие звуки сливались в скорбную и заунывную мелодию. Рабы наливали из золотых амфор последнее вино, самое густое и сладкое, но кубки стояли нетронутыми. Глаза всех были устремлены на дверь, где исчезла фигура палача и где он должен был появиться вновь.

Он и появился вскоре, неся страшную отрубленную голову. Длинные космы свисали с краев серебряного подноса и кропили кровью шероховатый мозаичный пол; черные капли загустевали во взлохмаченной бороде, рот кривился застывшей гримасой негодования и отвращения; глаза, никем не закрытые, продолжали смотреть с дикой яростью затравленного волка.

Палач пересек зал и протянул Саломее этот ужасающий дар, который она требовала, но девочка повернулась и, громко плача, побежала по коридорам и не останавливалась, пока не ворвалась в свои покои, где, содрогаясь всем телом, упала на подушки ложа.

Немного спустя туда же на цыпочках вошел Ирод Филипп, и Саломея тотчас поняла, что он пришел ее насиловать. Она не сопротивлялась, потому что была изнурена бурным танцем и ошеломлена видом головы без туловища. Была и еще одна, не менее веская причина уступчивости: ее отчим Ирод Антипа объявил ей о предстоящей свадьбе с этим похотливым козлом, который так хрипло дышал, раздевая ее.

Ирод Филипп довольствовался малым, ибо для продолжения у него не было сил, о чем он и сам прекрасно знал. Он так же ушел на цыпочках, как и пришел, оставив Саломею в полной растерянности подростка, пытающегося представить себе свое будущее, и с мазком крови на чреслах, гораздо более светлой крови, чем та, что капала из перерубленных вен пророка. Саломее еще не было полных тринадцати, а в ту нескончаемую ночь она испытала самые сильные потрясения в своей жизни. Как же так? Я выйду замуж за тетрарха Ирода Филиппа, который приходится мне дядей, потому что он брат моего отца Ирода Филиппа Боэтуса, и он же брат моего дедушки, потому что он дядя моей мамы Иродиады, а я сама — внучка Ирода Великого по линии моего отца и его правнучка по линии моей матери, потому что она тоже внучка Ирода Великого от асмонеянки Мариамны; мой отец, Ирод Филипп Боэтус,— сын Ирода Великого и Мариамны (второй), которая была дочерью первосвященника Симеона бен Боэтуса; а этот Ирод Филипп (который меня сейчас обесчестил и хочет стать моим супругом) — тоже сын Ирода Великого и одной иудейки из Иерусалима по имени Клеопатра, и, наконец, мой отчим Ирод Антипа — тоже сын Ирода Великого и самаритянки Мальфасы. В каком же родстве между собой будут дети из моего чрева от Ирода Филиппа? Выходит, сама я буду свояченицей моего отца, теткой моей мате-

ри, внучатой племянницей моего супруга и правнучкой моего деда? Мысли Саломеи бились в этой паутине, пока ее не сковал сон.

Ирод Антипа, сумрачный и одинокий, бродил по большому дворцовому залу. Гости распрощались один за другим, не приходя в себя от потрясения,— в их числе был и Люций Вителий, который, казалось бы, достаточно нагляделся на гладиаторов, приконченных на аренах Рима. Потом исчезли музыканты, палач, евнухи, рабы, телохранители. Последней покинула тетрарха Иродиада, которая и осталась бы, но ей было больше невмоготу ощущать на себе взгляд мертвых очей Крестителя. Слуги погасили огни; в зале тихо мерцали желтые язычки четырех фитилей. Голова пророка виделась в полутьме отсеченной головой черной лошади. И тут Ирод Антипа услышал слова, срывавшиеся с мертвых губ, вопли, несшиеся из перерезанной глотки, страшные поношения, которые не могла прервать даже смерть:

— Твои мозги — зловонный тлен, верблюжий навоз, облепленный мерзко-зелеными мухами. Твои руки воздвигли башни мнимого господства, построенного на песке лжи и предательства, украшенного лестью и подлостью, опирающегося на грабеж и насилие, скрепляющего стены свои смесью крови и слез, берущего гранит основы своей из неистощимой каменоломни страданий народных.

Ты отнял у брата своего его законную жену, чтобы насытиться ею, похотливый кабан, утолить свою чувственность, а не чувство любви. Ты соблазняешь безвольных подкупами и подачками, запугиваешь трусливых угрозами и пытками, бросаешь куски со своего стола сквалыгам и блудницам, лицемерно поклоняешься храму Всевышнего, не обретя веры в святость его, ибо скверна твоя пропитала тебя еще в утробе матери, и как ни тщись отмывать свою душу жавелем, ополаскивать ее благовонными водами, никогда тебе не стереть с нее пятен позора, не развеять ее смрада.

Дабы умертвить меня преступным образом, ты вместо сабли использовал голые ноги юной девы, связал себя публичной клятвой, дабы сбить с толку тех, кто желал быть сбитым с толку; ты явил всем супругу свою зачинщицей казни, моей казни, жажду которой ты сам заронил в ее сердце. Много честных людей попадет и завтра в твою западню: они будут винить в моей гибели Саломею и Иродиаду, но тебе не дано обмануть Сына человеческого; он раскроет твое коварство, злоказненность грязной лисицы и выплеснет на твое величие тетрарха свое презрение плотника.

Услышь от меня пророчество Господа Бога:

Ты, сын первого Ирода, тетрарх Галилеи и Переи, слушай меня. Царь набатейский[1] *никогда не забудет, что ты выгнал его дочь без всякой на то причины, царь набатейский выполнит клятву отомстить тебе за свое поругание, его тараны разрушат стены твоей крепости, пыль из-под копыт его коней покроет саваном твои города, а в это самое время умрет и римский император, который сейчас тебя опекает и охраняет; и его место займет другой, который с большой охотой выслушает жалобы твоих врагов, и ты будешь отсюда изгнан, и бросишь эти горы и долины, какими тут владеешь; твои рабы и наложницы тебя не пожелают знать, и побредешь ты по голым полям, отравленным ненавистью оскорбленных, и только одна Иродиада разделит твое несчастие, но присутствие сообщницы не позволит тебе забыть улицы, мощенные окровавленными трупами, а проказа каленым железом выжжет на твоем теле свои клейма, и ты будешь выть, как роженица, а голодные псы будут лизать твои раны, и только полубезумная Иродиада будет бдеть возле тебя без слез в последнюю ночь твоей смертной агонии.*

Таково прорицание Господа Бога.

---

[1] Речь идет о Гарете, царе набатейском, чьи владения граничили с палестинской Переей. Дочь Гарета была первой женой Ирода Антипы.

Мое рассеченное горло снова сможет заговорить, чтобы вынести твои преступления на суд Божий. Мои вновь ожившие руки взмахнут бичом, чтобы заставить тебя пасть к ногам ангелов, карающих без пощады; мои расправленные плечи столкнут тебя в геенну огненную. И когда твоя гордыня развеется прахом, когда твое имя станет всего лишь символом беззакония, Иоанн Креститель будет славиться в грядущем старцами и детьми, которые под звуки лютни в песнопениях своих, сложенных моим отцом Захарией, станут называть меня пророком Всевышнего, ибо шел я впереди Господа, чтобы расчищать его стези.

Таково прорицание Господа Бога.

Дьявол

Расставшись с Иоанном Крестителем, Иисус не разрешает своим трем спутникам идти за ним в пустыню. Он просит их направиться в Галилею, где в синагоге Капернаума они снова встретятся перед севом хлебов. Фома-рыбак знает те места как свои пять пальцев, рыбаки Андрей и Иоанн тоже избороздили на лодках все озеро. Иисус признается, что после крещения Святой Дух зовет его одного предаться размышлениям в горниле пустыни, прежде чем посвятить себя выполнению предначертаний Отца небесного.

Он сворачивает с дороги, ведущей в Иерусалим, на каменистую тропу, которая тянется наверх к темной и оголенной громаде гор. Чтобы дойти до самой вершины, надо пробираться сквозь заросли крапивы, стегающей одежды и обжигающей тело; надо осторожно ступать по камням, срывающимся вниз из-под ног, и прокладывать дорогу в частом кустарнике. Клубком свернувшиеся змеи таятся среди колючек, следя за пришельцем, нарушившим их покой; огромные пауки качаются на ветках кустов, полчища скорпионов расползаются по земле живыми черными пятнами; ненасытные стервятники кружат низко, высматривая, не подаст ли кто признака жизни под засохшей травой.

Иисус добрался до вершины горы и стал обозревать окрестности. В северной стороне лесные дебри Самарии не позволяют видеть голубизну Генисаретского озера, но и не заслоняют белую голову горы Ермонской, которая господствует над всей далью. На юг медленно движется тонкая лента Иордана. В западной стороне раскинулся Иерусалим, и отсюда можно видеть его стены, или они ему только видятся.

Карканье хищных птиц, вой гиен и шакалов, скорбные всхлипывания ветра — здесь единственные голоса Вселенной.

Иисус постится сорок дней и сорок ночей, не освежаясь ягодами можжевельника, не призывая ангелов-хранителей, как это делал Илия, а стойко претерпевает все лишения. Только иногда решается испить гнилой водицы, которую после редких дождей оставляет жара в расщелинах скал. Двадцать первых дней проходят час за часом в молитвах и размышлениях. Иисус пытается понять еще не познанную суть самого себя, Иисус повторяет псалмы, которым учил его отец Иосиф: *«Господи, сердце мое — ладан образу Твоему, руки мои, воздетые к небу — как подношение вечернее»*, *«Спаси и помилуй нас, Господи, ибо исчезает верность, пропадает честность»*; Иисус думает, вспоминая книгу Исаии, на страницах которой брильянтом сверкает мессианское пророчество: *«И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его; И почиет на Нем Дух Господень...» «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их». «...Земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море».*

Последние двадцать дней — самые долгие и тяжелые, его силы истощаются, как вода в летнюю засуху, голодание грозит изнурить вконец, сон и бодрствование начинают сливаться воедино, стирается грань между явью и дремой, шумом льющихся слез отдается в мозгу плач Иеремии: *«Язык грудного младенца прилипает к гортани его от жажды; дети просят хлеба, и никто не подает им»*.

И в этот момент является Дьявол, нет, не как образ во плоти, вынырнувший из мрака, а как облако цвета меди и с запахом меди; или как сгусток дыхания зелени, облепившей склоны горы, где лежит кающийся, или как начало начал, не в облике человека, но со своими словами и доводами. Иисус ощущает его присутствие и понимает, что предстоит одолевать искушения.

Соблазну подверглись Адам и Моисей, да и весь народ Израиля не раз подвергался соблазнам. Искушение — это риск, неотделимый от разумного бытия, и если хочешь жить с людьми и подобно людям, необходимо пройти испытание.

Искуситель говорит:

— Если ты Сын Божий, прикажи этим камням обратиться хлебами.

Иисус отвечает:

— Если раньше твоя злокозненность разбилась о смирение и покорность Иова, то какими силами сможешь ты ввести во грех меня? Из-за твоих злодеяний Иов потерял весь свой скот, молния испепелила его пастухов и овец, три халдейских отряда увели его верблюдов и закололи кинжалами сторожей, страшная буря лишила его семерых сыновей и трех дочерей, тело его покрылось гнойными язвами, кожа его прилипла к костям, братья и друзья его бросили, гниющая плоть отвратила от него даже его собственную жену, и все же тебе не удалось склонить Иова к подлости и заставить согрешить хотя бы в речах. И ты думаешь, что моя воля слабее, чем у Иова? Ты, наверное, считаешь меня бóльшим ослушником и худшим слугой Господа Бога, чем Иов? Или ты пришел уже уверенный в своей победе? Я никогда не превращу эти камни в хлеба, ни эти лужи в кувшины вина, ни эти обломки скал в изысканные яства, подававшиеся царю Соломону. Ибо во Второзаконии написано: *«Не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа»*.

Спрашивает Дьявол:

— Ты хочешь сказать, что хлеб и вовсе не нужен, что вся пища человека — это пища духовная; что одного слова Божьего хватит, чтобы насытить всех страждущих?

Отвечает Иисус:

— Нет, не духом единым жив человек. Он жив и хлебом. Но всегда найдется тот, кто будет втолковывать людям, что нуждаются они только в хлебе, дабы скрыть от них все значение духа. Всегда найдется и тот, кто присоветует людям жить только духом, дабы отказать им в праве на хлеб. И то и другое претит справедливости Отца небесного.

Тогда Дьявол взмывает в небо, прихватив с собой Иисуса, хотя тело спящего Назарянина остается лежать в пыли. Две пары чертенят — как черные волчата, запряженные цугом,— несут по воздуху призрачную карету с Дьяволом и Иисусом. Во мгновение ока пересекают они небо Иудеи и оказываются на самом верху Иерусалимского храма, над галереями, примыкающими к главному входу. Иисус обводит глазами стены из белого мрамора и округлости коринфских колонн, задерживает взгляд на портике, где бродят жрецы и простые люди, не смешиваясь друг с другом, и глядит еще ниже, туда, где ломаной трещиной уходит в землю сухое русло Кедрона.

Обернувшись, он видит, что Дьявол утратил свои расплывчатые очертания и превратился в знатного церковнослужителя. На нем длинные одежды из белого шелка, легкие шальвары, шитые золотом

и серебром; пояс, унизанный драгоценными камнями, тюрбан с павлиньими перьями. На пальце правой руки, указующей в пропасть, сверкает рубин.

Искуситель говорит:

— Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо в псалме Давида сказано: *«Ангелам своим (Бог) заповедает о тебе — охранять тебя на путях твоих: на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею»*.

Отвечает Иисус:

— Сначала ты просил сотворить чудо, чтобы я мог утолить свой голод, а теперь просишь у меня знамения, чтобы ошеломить людей. Истину говорю тебе, что желание творить чудеса на благо самому себе — это мошенничество, и вместо чудесных зерен получишь семена плевел. Можно обменять камень на хлеб, чтобы накормить голодного, но никто не утолит чудом собственный голод. Можно вылечить больного и облегчить страдание, но никому не избавиться чудом от своей агонии и собственной смерти. Сила божия — не колдовство во имя себялюбия и спеси. Броситься вниз с храма, и быть спасенным у самой земли ангелами Господними, и тем самым удивить толпы народные — это не божественный знак, а хвастливое деяние чародея.

Иисус смотрит на Дьявола с презрением и добавляет:

— Не всегда тот, кто сверзится с высоты, будет подхвачен ангелами, и ты это знаешь лучше других. Потому что во Второзаконии написано: *«Не искушайте Господа, Бога вашего»*.

Снова сажает его Дьявол в свою сказочную карету, опять следы ее звездами метятся на небесах; мимо проносятся тучи, беременные дождями и молниями; видно, как рождаются и умирают жемчужные рассветы, глазурованные солнцем полудни и черные обсидиановые ночи. Внизу мелькают равнины, приговоренные навечно быть белой сушью; моря, наводящие тоску кровавыми пятнами кораллов и саванами пены; загадочные замки, воздвигнутые кем-то в безлюдной тьме леса. И вот наконец они прибывают на высочайшую гору, с вершины которой открывается великолепие всех царств мира.

Дьявол быстро обращается в благоденствующего и могущественного царя с кудрявой бородой ассирийского властелина, ниспадающей ему на грудь широкой волной. Одет он в длиннополую шелковую хламиду ярко-синего цвета, спускающуюся складками от шеи до пят и позволяющую видеть только острые кончики золотистых туфель. Тонкий льняной шнур опоясывает талию. Поверх хламиды накинута мантия из тяжелой парчи, расшитой арабским узорчатым орнаментом из цветов и пальм по белому полю. В руке — скипетр из чистого серебра, украшенный изящной серебряной обезьянкой. Вместо пышной короны — обруч из тусклого золота, усеянный сапфирами и жемчугами. Монарх величественным жестом указывает на необъятные долины и говорит:

— Я дам тебе власть над всем этим и славу, ибо и слава и власть даны мне, а я даю их тому, кому пожелаю.

Иисус его прерывает:

— Ты лжив, и ты — отец всей лжи, так же как когда-то ты стал заносчив, стал отцом гордыни с самого ее начатия. Эти земли, которые по-хозяйски обводишь рукой, принадлежат Богу, нашему Господу, ибо написано: *«Только ты Бог во всех царствах земных»*.

Дьявол продолжает настаивать:

— Вся власть и вся слава будут твоими, если передо мной преклонишь колена и восславишь меня.

Отвечает Иисус:

— Дом Израилев не раз поддавался соблазну идолопоклонства, это так. Аарон, брат Моисея, сотворил золотого тельца, дабы народ боготворил его, это так. В не столь давние времена дом Израилев поклонялся Ваалу, разливал благовония и совершал возлияния у ног

чужеродных богов, это так. Правда и то, что унижается Израиль, почитая и тебя, Дьявола, врага Господа, когда ты даешь ему кошели с деньгами, чтобы утолять его алчность, и раздуваешь костры насилия, чтобы удовлетворять его жажду мести. Но я устою перед искушениями, которым уступил дом Израилев, ибо мое царство не в этом мире, где царят деспотизм и зависть, а в мире, где править будут равенство и любовь.

Иисус обрывает свой разговор с искусителем резко и кратко:

— Уйди и сгинь, Сатана!

И Дьявол начинает исчезать, расплывается облаком медного цвета с запахом меди. Удаляется злобный голос потерпевшего поражение: «Еще встретимся, время наступит. Еще встретимся, время... Еще встретимся... Встретимся...» — невнятно шипят слова, как последние капли в огне.

В этот же миг с облаков опускаются семь ангелов. Шестеро — с золотистыми локонами и голубыми глазами, а у седьмого грива, как пронзительно черная молния. Одежды, подхваченные поясами и раздувающиеся пузырем у талии, так длинны, что в воздушных кружениях обвивают ангелам ноги, влекутся за ними шлейфом или скручиваются на ветру жгутом (синим, желтым, розовым, изумрудно-оливковым, бежевым, бело-серым). На спинах у них трепещут цветные крылья, покрытые белым пухом у оснований и зеленоватыми перьями по краям. На головах — венки из жасмина, а вослед им несется аромат туберозы.

Первые двое дуют в малый и большой рожки, которые свиваются золотыми спиралями; двое других перебирают струны цитр и гуслей, сделанных из розовой древесины; третья пара играет на флейтах из черного дерева и слоновой кости; седьмой ангел чистейшим голосом выводит рулады под легкий аккомпанемент своего ребаба[1]:

— *Поем осанну*[2] *алчущему в пустыне, отвергшему соблазн отведать вина, хлеба и мяса. Восхваляем смиренного, отвергшего на крыле храма соблазн применить магию и колдовство. Благословляем скромного, отвергшего на вершине горы соблазн употребить могущество и власть. Воспеваем Сына человеческого, который поверг Дьявола и изгнал его в царство тьмы, где нечистый зубами скрежещет от злобы.*

Семь ангелов подхватывают Иисуса и в торжествующем песнопении доставляют его на пустынный холм, где он постится и размышляет.

Где он спит.

Двенадцать

Приняв крещение от Иоанна в одной из заводей Иордана и одолев в пустыне Дьявола с его соблазнами, Иисус решает в конце весны и начале лета сеять семена своего учения на землях Галилеи. Обычно он остается на ночлег в деревушках, разбросанных по долине Генисаретского озера. Это озеро простирается до самого горизонта, имеет форму человеческого сердца и прозвано Галилейским морем, ибо в нем тьма-тьмущая всякой рыбы и разыгрываются на нем такие сильные бури, как на морях, омывающих Индию и Грецию. Иисус делает долгие переходы либо пешком, либо верхом на ослике, которого отдал ему один добрый садовник, и так добирается из Наина до Иерусалима, следуя течению Иордана. С неделю он пребывает в Иерихоне, где красные розы и алые анемоны вышивают луга красными узорами, но затем возвращается в Капернаум и находит приют в каменном

[1] Ребаб — арабский музыкальный инструмент типа лютни.

[2] Осанна — молитвенный хвалебный возглас, изначально «Помоги, спаси» *(древнеевр.)*.

домике своих учеников — Симона и Андрея. Там его всегда ждет свободная комнатка и керамический кувшин, расписанный лазурью; матрац, накрытый козьими шкурами, и распахнутое настежь окошко, через которое проникает влажный запах озера, утренний рассвет и мухи с ближней рыбацкой солильни.

Иисус в своих блужданиях избегает и близко подходить к стенам Тивериады. Тетрарх Ирод Антипа возвел этот город лет десять назад на кладбищенских землях, отдав дань своего угодничества императору Тиберию и не помыслив об оскорблении, нанесенном костям захороненных там древних евреев. Иисус обходит Тивериаду и на какое-то время задерживается в Магдале с ее домами-кубиками, издали похожими на игральные кости, словно брошенные в мир могучей десницей архангела Михаила; или располагается в Вифсаиде с ее белыми лачугами, прилепившимися к холму алебастровыми чайками; или бродит от селения к селению по Генисаретской равнине, на полях которой пшеница поднимается в рост сеятеля и заливает вызревшим золотом длинные полоски земли.

Вначале Иисус ходит лишь в сопровождении своих первых учеников, разъясняя людям свое понимание жизни и врачуя больных, но слава о нем распространяется по округе, как вода горных ключей, выбивающаяся наружу и тут же бегущая ручейками вниз с высоких отрогов горы Ермон. Люди говорят:

— Появился пророк в Галилее, который творит чудеса и не хочет говорить о них, проповедует счастье жизни и не ведает страха перед смертью, смело, слово в слово, повторяет псалмы из Торы [1] и мудро толкует их, как сам царь Соломон, и смысл их видит в любви и милосердии; провозглашает наступление Царства Божьего для всех отверженных и сирых; ставит на ноги всех немощных и возвращает разум тем, в кого вселился бес, и называет он себя Иисусом Назарянином.

Больные, верующие и любопытные плутают по дорогам и тропам в поисках Назарянина, его осаждают просьбами рыбаки и землепашцы из Галилеи, но вскоре прибывают караваны из пограничного Декаполиса, из Вифании трансиорданской и из Гадары перейской, из Аримафеи и других селений Иудеи; из таких финикийских городов, как Тир и Сидон, даже из тех портовых селений далекой Идумеи, которые заняли весь южный угол Мертвого моря. С холмов Иерусалима идут за ним не только доносчики, посланные Верховным первосвященником Иосифом Каиафой, но и в самом деле больные и страждущие, которые не побоялись пренебречь запретом синедриона. Из всех уголков Палестины бредут горемыки и мученики. Тот, кто не стоит на ногах, того несут на носилках родственники; другие ковыляют сами, хватаясь за ветви оливковых и апельсиновых деревьев; один слепой, спотыкаясь и держась за полы случайных поводырей, притащился из дальних мест, что за Рамофом Галаадским.

Толпы устремляются в синагоги послушать его слова и целуют края хитона, моля излечить от недугов; ему не дают ни есть, ни спать, ни предаваться размышлениям. Тогда он ищет убежища в лодке старого Зеведея, стоящей на причале в нескольких метрах от берега, чтобы спастись от неустанно взывающих к нему сотен людей.

Среди тех, кто его постоянно окружает, он изберет горстку учеников, назовет их апостолами, и они станут распространять его наставления. Одной безлунной и беззвездной ночью Иисус удаляется на гору, называемую отрогом Гаттина, и, погрузившись в сумрачную тишь, решает, кому быть его апостолами и что каждому из них поручить. Их будет двенадцать, по числу колен израилевых, но не ради особого превозвышения этой народности, как толкуют книжники, а из-за всеобщего преклонения перед этим мистическим числом, потому

[1] Тора — древнееврейское название Закона Моисея.

что в понимании Иисуса избранный народ составляют не только племена, живущие на землях Израиля, а все человечество без границ и пределов. Его апостолы не будут зубьями металлической розы, сцепленными только друг с другом, а станут живыми цветочными лепестками, которыми ветер осыплет всех притесняемых. Его апостолы будут людьми неимущими, немудреными и добросердечными и никогда не станут богатеями и учеными толкователями Закона. Он изберет их, дабы они полностью посвятили себя распространению его веры в спасение, отказавшись от всего на свете: от своих занятий, от своих домов, от своих родителей, от своих детей, от своих предков. Он повелит им не бояться тех, кто убивает тело, ибо нельзя убить дух. Он попросит каждого быть верным своему долгу и бескорыстно разделять страдания несчастных.

Более пятисот человек теснятся в горном ущелье, куда их позвал Иисус. Предвечернее солнце ярко расцвечивает желтые и зеленые одежды и словно бросает горсти раскаленных углей на красные стены обрыва. Иисус задумчиво и внимательно обводит всех взглядом и наконец произносит два имени:

— Симон и Андрей.

Можно сказать, что Андрей — первый ученик Иисуса, самый первый по времени, так как он был у Вифанийской заводи Иордана, когда Иоанн Креститель, указав на Назарянина, сказал: «Вот агнец Божий». Андрей бросился тогда на поиски своего брата Симона сообщить ему, что нашел Мессию. «Пойдем со мной к его пристанищу»,— сказал ему, и они отправились вдвоем. Как только Иисус увидел Симона, он стал называть его Петром [1], что значит «камень», будто предчувствуя стойкость его убеждений, или ощущая каменную твердость его характера, или видя в нем базальтовый фундамент своей будущей церкви. С той самой встречи братья становятся верными друзьями Иисуса и сопровождают его, когда не надо идти на рыбную ловлю, и дают ему приют в своем доме, когда Учитель бывает в Капернауме. Андрею подходит его греческое имя, означающее «мужественность»: он рыбачит среди опасных рифов озера с бесстрашием, которое унаследовал от Ионы, своего отца; он предпочитает работу мысли пустым словам; он не женится, потому что еще не встретил свою избранницу. А Симон, который отныне и навсегда будет зваться Петром, знает все премудрости и хитрости рыбацкого промысла; безошибочно читает предсказания облаков и точно определяет время морских приливов; умеет, как никто другой, разделывать и солить свежепойманную рыбу и чинить паруса, разорванные сильным ветром; и благодаря таким своим познаниям он один удостоился чуда видеть тень Иисуса, идущего по волнам, различать во тьме его руки, укрощающие бурю; слышать его голос, подсказывающий, где проходят поблизости плотные косяки рыбы именно в то утро, когда самые искусные рыболовы возвращаются с ловли без единой сардинки. Порывистый и независимый Петр один среди апостолов отважится оспаривать мнение Учителя (но, сказать по правде, всякий раз будет посрамлен мудростью Учителя). В этот важный момент призвания к апостольству Иисус просит Андрея отказаться от своих птиц и своего плодоносного сада, а Петра — оставить свою жену и своих детей, просит обоих бросить свою лодку и сети, которые их кормят. Сын человеческий знает, что они пойдут на это без колебаний.

Иисус говорит:

— Иаков и Иоанн.

Иаков и Иоанн, сыновья Зеведея и Саломеи, тоже рыбачат с детства, здесь же родились и не умеют читать, точь-в-точь как Андрей и Петр, хотя и не такие бедняки, как они, ибо Зеведей — хозяин пре-

[1] Симон имел арамейское прозвище Кифа (камень); Петрос (Петр) — по-гречески «камень».

красной ладьи и большой донной сети, которая вычерпывает всякую рыбу. Иаков отнюдь не тяготится своей неотесанностью скалы первозданной, в противовес Иоанну, которому семнадцать лет и который снедаем желанием видеть невиданное: его воображение юноши превращает расплывчатые очертания облаков в семерых ангелов и семь фанфар Апокалипсиса. Как Иаков, так и Иоанн горячи по природе, и не раз Иисусу придется умерять их пыл, он с усмешкой назовет их «сынами грома», когда они попросят небеса огнем всесожжения покарать самаритянские деревни, которые не захотят их принять. Сын человеческий и его апостолы идут по миру, не наказывая души, а прощая их, скажет им Иисус. Сыновья Зеведея и Саломеи честолюбивы, но не земные блага их привлекают, а неземная мечта в будущем Царствии Божьем сидеть рядом с Господом Богом, заручиться особой любовью Христовой. Когда Иоанн расскажет эту историю в своих легендарных писаниях, он представит себя как самого «любимого ученика Иисуса», позабыв, что если и существовал действительно любимый ученик Иисуса, то был это не кто иной, как Петр. Но главное то, что четыре первых апостола: Петр и Андрей, Иаков и Иоанн — простые рыбаки, которые с полуночи до рассвета пребывают в одиночестве, испытывая собственное терпение, а Иисус обещал сделать их «ловцами человеков», чтобы в их сети людские души стремились сами, с великой радостью.

Говорит Иисус:

— Филипп и Варфоломей.

Филипп и Варфоломей не братья друг другу, но неразлучные друзья, которые всегда вместе ходят по дорогам и деревням. Филипп — скромный, непритязательный галилеянин, его не волнует ничье превосходство, он не придает значения своим достоинствам, хотя знает иноземные языки и служит толмачом у купцов из Дамаска и Македонии, которые проходят через Капернаум. Однажды днем Филипп остановился послушать равви[1], о котором ему говорили Симон и Андрей. Иисус увидел, как горят его глаза, и сказал ему: «Пойдем со мной». Филипп ответил: «У меня есть друг из Каны по имени Нафанаил, он знает обо всем гораздо больше меня, может читать наизусть целые куски из Святого писания, сейчас он спит после обеда под смоковницей, я пойду позову его». Когда Филипп вернулся с Нафанаилом, Иисус приветствовал его следующим образом: «Вот подлинный израильтянин, верующий в Бога и враг всякого обмана и притворства». Нафанаил спросил, опешив: «Откуда ты меня знаешь?» Иисус ему ответил: «Еще до того, как Филипп тебя позвал, когда ты лежал в тени, я тебя приметил, бар Птоломей». Нафанаил, пораженный даром этого равви угадывать мысли и знать о том, что где происходит, сказал: «Ты — Сын Божий, ты — царь Израилев!» А Иисус ему сказал: «По взгляду твоему настороженному я понял, увидев тебя, что по природе ты подозрителен и не поверишь в истинность моих знамений. Тогда я тебе сказал то, что знают все,— что ты каждый день лежишь под смоковницей, что отца твоего зовут Птоломей,— и ты поверил в меня. И потому скажу тебе еще: ты ничего не видел, но в будущем увидишь чудесные вещи. Увидишь небо, отверстое подобно огромным вратам, а посланцы Божьи будут подниматься и спускаться по светлой лестнице».

С того дня Филипп и Нафанаил всюду следуют за Иисусом. Филипп с охотой применяет свои знания и занимается тем, что встречает и устраивает на ночлег тех, кто приходит к Иисусу из дальних мест. Нафанаил, или Бартоломей, или Варфоломей, уже не ворчит, как прежде, что ничего доброго от Назарета ждать не приходится, а напротив, на каждом перекрестке и в каждой деревушке кричит во весь голос, что Назарет породил Спасителя мира.

[1] Равви (на древнееврейском — рабби) — учитель, наставник.

Говорит Иисус:

— Матфей.

Матфей был сборщиком налогов до того, как последовал зову равви. По матери он арамеянин, но говорит и по-гречески, на языке философов и торговцев. Зовут его Левием, но Иисус, которому по душе менять имена, дабы возвысить униженных в собственных глазах, назвал его Матфеем, что означает «дар божий». В свои юные годы Левий хотел преподавать в школе, читать детям Закон, учить Числам, рассказывать о прошлом израильского народа, но ему не хватило терпения, и благие намерения рассеялись как дым: он решил зарабатывать деньги на торговле оливковым маслом, а кончил тем, что нанялся собирать налоги и пошлину в Капернауме, иначе говоря, стал мытарем. Мытари что пиявки в услужении у тетрарха и Рима, и народ выражает свою злобу к представителям этой ненавистной профессии, сопоставляя их с людьми самыми презренными: «мытари и бандиты», говорят, например, или «мытари и шлюхи», или даже ставят их в один ряд с людьми совсем богомерзкими: «мытари и нечистые». Левий, уныло подпирая склоненную голову руками, сидел за своим казенным столом и, не глядя на караваны, идущие мимо него из Сирии, не слыша, как причаливают и разгружаются корабли, только и смотрел, куда сегодня идет Иисус. Левий не осмеливался обратить к Учителю свое слово отверженного человека и только глазами молил избавить его от людской ненависти. И вот настал день, когда Иисус сжалился и сказал ему: «Иди за мной» — и Левий понял вызволяющий смысл зова, бросил арендованный стол, швырнул в озеро списки тех, кто облагался данью, и пошел вслед за Назарянином. На следующий день он пригласил Иисуса к трапезе в свой дом, и тот пришел на ужин, так как надо было еще раз показать, что нет различий между людьми. У двери дома фарисеи задали ученикам Иисуса вопрос, звучавший обвинением: «Почему ваш Учитель ест за одним столом с мытарями и грешниками?» И Иисус встал сам, чтобы им ответить: «Не здоровые, а больные люди нуждаются в лекаре. Я пришел спасать не праведных, а грешников. Грех — это лишь одна из болезней души, или вы об этом не знаете?» С того вечера Левий, отныне зовущийся Матфеем, ходит вслед за белым хитоном Иисуса и отмечает слова и дела Учителя на деревянных табличках, которые раньше служили ему для записи долгов налогоплательщиков, и ни одного изречения Сына человеческого не упускает его рука. Читать его свидетельства — все равно что глядеть на жизнь Иисуса, отраженную в источнике столь же прозрачном, сколь глубоком.

Говорит Иисус:

— Фома.

Фома, или Фома-близнец,— рыбак с рыжей квадратной бородой. Не достигнув и двадцати лет, Фома нанялся марсовым матросом на финикийский корабль, который бороздил моря с грузом пурпурных льняных тканей и сбывал товар в Афинах и Александрии. Позже Фома прошел Чермное море на другом корабле, тоже загруженном тканями, и попал, одолевая бури и штили, на Цейлон и в Китай. В конце концов он вернулся на море Галилейское, где и оказался в команде одного парусника с языческим фигурным украшением, вырезанным на форштевне, пока его мятущаяся душа и надежда на лучшее не привели к воде, полученной из рук Крестителя. Фома всегда ставит под сомнение чужие мысли, докапывается до сути того, чего не понимает, и сразу верит ответам лишь одного Иисуса, ибо с самого начала знает, что Иисус и есть сам Мессия, но никогда и ни с кем об этом ни слова не молвит.

Иисус говорит:

— Иаков и Фаддей.

Иаков и Фаддей — близкие родственники Назарянина, сыновья

Алфея и Марии Клеоповой, сестры Марии, матери Иисуса. В эту пору Иисус еще не мог отделаться от воспоминания о дурном приеме, оказанном ему в Назарете, когда он возвратился туда Сыном Божьим после того, как ушел оттуда сыном плотника. Он переступил порог синагоги в субботу, за час до начала службы, но толпа, привлеченная слухами о его чудесах, уже заполнила помещение. После благословений и молитв Иисус попросил позволения прочитать с амвона пророческие слова Исаии: «*Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать нищим, послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы*» — и привел всех в восторг своим знанием Святых писаний. Но когда он добавил, что пришел в Назарет не для того, чтобы творить чудеса, которые случались в Палестине, и припомнил старую поговорку: «*Пророк не в чести только в своем отечестве*», то восхищение сменилось недовольством, а преклонение — недоброжелательным гомоном, и его чуть ли не волоком вытащили из синагоги, намереваясь столкнуть вниз с вершины холма, и не сделали этого только потому, что слава равви все-таки требовала к себе уважения. Но даже братья Назарянина (по имени Иаков, Иосиф, Иуда и Симон) и его две сестры, бывшие замужем за своими трудолюбивыми соседями, не захотели довольствоваться только его проповедью, предпочли присоединиться к тем, кто говорил, что Иисус не в своем уме и что лучше запереть его в доме для бесноватых. Даже Мария, мать Иисуса, говорила самой себе: «Пророки, которые выводили на чистую воду все злодеяния богатых и все хитросплетения синедриона; праведники, которые заступались за обиженных,— все они погибли: забиты бичами до смерти, обезглавлены или распяты. Лучше бы мне не слышать слов моего сына, ибо не хочу видеть, как забили бы его слуги наместника или заставили умереть в страданиях на столбе»,— и присоединилась к тем, кто был против него. Иисус сказал с горечью: «Кто же мать мне и кто — братья? Всяк, кто чтит волю Господню, тот брат мне, и сестра мне, и мать мне».

И все-таки среди его близких оказалось двое ослушников: Иаков и Фаддей — сыновья Марии Клеоповой, двоюродные братья Иисуса. Они презрели недовольство родственников и односельчан, бросили свои посевы и своих волов и ушли из Назарета, чтобы следовать за Учителем. Мог ли он не назвать их имен в этот знаменательный день призвания своих апостолов?

Говорит Иисус:

— Симон.

Остальные ученики называют его Симон Зелот или Симон Фанатик, что почти одно и то же. Симон — крестьянин из Хоразина, сын крестьянина из Хоразина, погибшего в восстании Иуды Голонита против римского владычества. Отец по приказу Ирода был сожжен живьем, а сын унаследовал идеи, за которые сожгли отца. Симон пошел за Иисусом не потому, что был заворожен его исцелениями, и уж конечно не для того, чтобы следовать его недопустимым советам прощать врагов. Иисус — сын Давидов и обнажит меч, поднимет народ Израиля на такую войну, чтобы от гнета римского не осталось и духа, а от наместников раболепных и костей не собрать, так думал Симон Зелот. Но думал так только вначале. Позже Иисус сумел внушить ему два завета, которые заставили его мыслить иначе: «Насилие приводит только к ненужной смерти, Симон; царство свободы, к которому ты стремишься, это царство милосердия, к которому я призываю, Симон».

С тех пор от воинственности зелотов у Симона осталось только прозвище, которым его наградили товарищи.

(Иисус уже выбрал одиннадцать апостолов, всех галилеян по рождению и занятиям: четырех рыбаков; двоих селян, занятых рыб-

ным промыслом на суше, одного бывшего сборщика налогов, одного моряка и троих земледельцев. Он их выбрал, чтобы они всегда были рядом с ним и разделяли бы его участь, чтобы несли благую весть о Божьем Царстве; он научил их творить чудеса и изгонять беса из больных людей.)

Говорит Иисус:

— Иуда Искариот.

Чудеса

Красный бархатный убор на голове, лоб, повязанный широкой шелковой лентой, выстроченной серебром; белейшая тонкая борода, похожая на обрывок перистого облака; горбатый нос, воскрешающий в памяти профиль Иакова; взор, обращенный внутрь, словно читающий Писания; лицо, изборожденное морщинами,— Никодим бен Гурион являет собою истого еврея с головы до ног. Он входит в число семидесяти одного члена великого синедриона, и входит не просто по праву, а по двойному праву: во-первых, потому что он отпрыск благородного и богатейшего рода, и, во-вторых,— глубочайший знаток Закона, обладающий к тому же такой высокой нравственностью, которую никто не осмелится взять под сомнение. Никодим — собственник великолепного дома в Иерусалиме неподалеку от храмовых стен, где по большим и тенистым внутренним дворикам снуют бесчисленные слуги. Однако простой народ прощает ему эту унаследованную роскошь, благодаря его подаяниям от щедрот своих всем, кто нуждается и вечно толпится у его дверей с просьбой о помощи. Никодим принадлежит к фарисеям, но это не мешает ему знать греческую философию и уважать любовь греков к познаниям, невзирая на отвращение, вызываемое в его суровой монотеистической душе нескромными, более того — развратными богами Олимпа. Никодим слышал об Иисусе, о его сверхъестественных деяниях, о его призывах к равенству, о его пророческом красноречии и решил пойти к нему, влекомый теми проявлениями неистовой веры в спасение человека, которыми (как ему рассказывают) исполнены проповеди равви. Никодиму непременно надо поверить во что-то и в кого-то, дабы свергнуть иго Пиррона[1], повергающее его в атараксию и скептицизм. Его освободителем вполне может стать этот самый Иисус из Назарета, о котором столько болтают нищие у дверей храма и который причиняет столько беспокойства его собратьям из синедриона. Однажды вечером он спешно идет разыскивать Иисуса, торопливо минуя всякие закоулки и злачные места, и ведет с Иисусом разговор до самого рассвета, а единственный свидетель их беседы — самый юный из апостолов Иисуса, рыбак по имени Иоанн, сын старого рыбака Зеведея.

Никодим, излагая свои суждения, нарочно не связывает их с конкретным местом и временем и часто пользуется умозаключениями софистов, чье построение искусных взаимоотрицаний его всегда восхищало. Иисусу незнакомы творения этих философов, но он так тонко и остро схватывает самую суть природы человеческой, приводит такие бесспорные и блестящие аргументы, что Никодим задается вопросом: действительно ли его собеседник всю жизнь строгал доски в Галилее, или, может быть, он все время путешествовал и обогащал свои знания в Бенаресе, Афинах или Александрии?

Никодим так начинает разговор:

— Равви, мы знаем, что ты Учитель, посланный Богом, ибо таких

---

[1] Пиррон из Элиды (ок. 360—270 г. до н. э.) — древнегреческий философ, основатель скептицизма (пирронизма), проповедующий атараксию, то есть полную невозмутимость духа.

чудес, какие творишь ты, никто не сотворит, если сам Бог не направит его.

Иисус отвечает:

— Истину говорю тебе: кто не родится заново, тому не видеть Царства Божьего.

Никодим притворяется, что не понимает, о каком рождении говорит Иисус — души или тела,— и спрашивает:

— Как может заново родиться человек, уже достигший старости? Может ли он еще раз попасть в утробу своей матери и родиться вновь?

Иисус ему отвечает:

— Истину говорю тебе: кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царство Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть Дух. Ветер может послать свое дуновение куда захочет, и ты не знаешь, откуда оно приходит и куда уходит. Так же бывает с душой каждого, кто родился от Духа.

Никодим изображает на своем лице удивление и говорит:

— Да как же такое происходит?

Иисус ему отвечает:

— Ты — учитель Израилев и этого не ведаешь? Истину скажу тебе: я говорю лишь о том, что знаю, и свидетельствую о том, что видел своими глазами, а вы мои слова мимо ушей пропускаете. Если вы не верите, когда я говорю вам о земных делах, как же вы мне поверите, если я буду говорить вам о делах небесных? Никто не взошел на небо, кроме того, кто сошел с него — Сын человеческий. И как Моисей поднял змею в пустыне, так должен быть поднят Сын человеческий, чтобы все, кто верит в него, не погибли, а жили бы вечно.

Никодим прекрасно знает, что в Палестине пророков поднимают только тогда, когда надо распять на перекладине. Этой страшной темы он не хочет касаться сегодня ночью. Иоанн, сын Зеведеев, уснул в углу, откуда прислушивался к ним, и уже больше ничего не услышит, чтобы изложить в своем Писании.

Никодим говорит:

— Никто не спорит, что творишь ты волей Божьей, так же как воля Божия, дух всесильный, направляла руку Моисея и Аарона, Иосии, Илии и Елисея, когда чудеса этих пастырей израилевых приводили народ в изумление.

Иисус ему отвечает:

— Истину говорю тебе, что Сын человеческий никогда не насылал ни на кого ни кары, ни возмездия, ни погибели. Отец мой небесный бесконечно милосерд к людям, и все дела, которые свершает Сын во имя него, только лишь капли этого источника любви. Сын человеческий никогда пальцем не шевельнет, чтобы разрушить стены и снести города, или призвать болезни, язвы, смерть, или обезглавить даже мнимых пророков, или расправиться с детьми, смеющимися над ним, ибо Сын человеческий пришел не губить здоровых, а исцелять больных.

Никодим говорит:

— Однажды я слышал, как играл и пел один бродячий греческий певец из Смирны. В его песнях говорилось, что, если всемогущее божество еще обладает и властью карать врагов своего народа, но эту власть не употребляет, подобная бездейственность навлекает беды на его народ.

Иисус ему отвечает:

— Все проявления Сына человеческого — это не хвала своему могуществу, а знаки любви. Как семена мести дают ежевичные колючие поросли ненависти, так зерна любви дают пшеничные всходы милосердия.

Никодим говорит:

— Тогда, значит, исцеление, которое несут твои руки, простой знак любви и более ничего?

Иисус ему отвечает:

— И знак веры тоже. Вера так же поднимает, как и любовь. Если в глазах больного, который просит меня об исцелении, я как в зеркале вижу сомнение, любопытство того, кто просто хочет увидеть чудо, мои ноги пронесут меня мимо, ибо я знаю, что его мне не спасти. Укрепленный верой, ты можешь сказать скале: «Поднимись и ввергнись в море» — и скала это сделает. Если же без всякой веры ты скажешь голубю: «Опустись на мои ладони, они полны хлебных крошек», голубь полетит дальше, не обратив на тебя внимания. Истинно говорю тебе: исцеление души несет с собой исцеление тела.

Говорит Никодим:

— Ты утверждаешь, что без душевной любви и без помощи веры творить чудеса нельзя, а я спрошу тебя о третьем условии: можно ли свершить чудо, если не считать народ Израиля Богом избранным, наследием Божьим? Для древних чудодействие было неотделимо от спасения излюбленного народа.

Иисус ему отвечает:

— Однажды в Капернауме ко мне пришел один центурион и попросил вылечить его слугу, который не мог ногой шевельнуть, и меня так тронули его надежда на меня и горе, что я постарался забыть про наряд и род его римские и отослал обратно домой, а там слуга встретил его, поднявшись с постели. Другой раз в Тире одна женщина, язычница-сирийка из Финикии, молила меня со слезами, чтобы я изгнал беса из ее дочери, и рыдала она так искренне и так смело отстаивала свое право на мое милосердие, что, вернувшись домой, нашла свою дочь здоровой и веселой, как козочка. Избранный народ Отца моего — это несчастные люди всех стран, Никодим. Лицемерный и нечистой была бы жалостливость Сына человеческого, если бы, проявляя милосердие к ближнему, он сначала попросил бы того показать ему, свершен ли обряд обрезания.

Говорит Никодим:

— Ты действительно веришь, что бес овладевает людьми и вселяется в них? Когда ты возвращаешь разум безумному или зрение слепцу или заставляешь встать на ноги немощного, ты и вправду веришь, что жар твоих рук и твердь слова твоего изгоняют дьявола из тела? Иерусалимские книжники утверждают, что дьяволы подчиняются одному только Вельзевулу.

Иисус ему отвечает:

— Надо спросить у книжников, уступил бы Вельзевул кому-нибудь место, им уже завоеванное? Истинно говорю тебе: когда больной чувствует, что недуг его от дьявола, терзающего его плоть, он чувствует так потому, что в представлении людей дьявол олицетворяет собой все зло и несчастье. Сатана делает людей глухими, дабы они не слышали голос справедливости; делает их слепыми, дабы они не видели свет правды; делает их немощными, дабы они не шли путем благоволения. Стал бы я тратить попусту время, Никодим, если бы только хотел одолеть древнее верование, насажденное прочною властью дьявола? Сын человеческий пришел не затем, чтобы открывать тайну природы страданий, а затем, чтобы исцелять их именем Отца небесного.

Никодим говорит:

— Не преисполняешься ли ты самодовольством, видя, как возносят тебя те, кого ты спас своим лечением, как почитают тебя пророком и чудотворцем толпы верующих, поющих осанну и преклоняющих пред тобой колена?

Иисус отвечает:

— Больные, которых я вылечил, могли бы сказать тебе, что я их просил не ходить по другим городам и не славить чудо, их спасшее; свидетели моего умения лечить могли бы сказать тебе, как я их упрашивал не говорить о том, что они видели. Не моя вина, если ни те и

ни другие не послушали меня! Ты сам, Никодим, со всей твоей мудростью знатока Закона пришел в мой дом не для того, чтобы внять моим доводам, а чтобы самому увидеть диво, о чем наслышан. Но ты должен знать, что я безжалостно отталкиваю тех, кто просит меня чудодейством доказать мое истинное предназначение. И тебе ли не знать, что, когда народ идет вслед за мной в ожидании чудес, я ухожу в другие провинции провозглашать Царство Божие, ибо для этого я живу на земле. И еще тебе следует знать, что для меня каждое чудо — это работа, самоизнурение и страдание. Я должен преодолевать болезни, которые считаются неизлечимыми; телесные уродства, вызывающие у людей отвращение; неверие тех, кто следует за мной в надежде узреть мои неудачи; я должен преодолевать противление духа тех больных, маловерие которых может мне помешать; должен унимать в своей голове хохот Дьявола, громко бросающего мне вызов. Иногда я так изможден после исцеления, что кажется, будто прошел без отдыха от Капернаума до Гадары; порой грудь болит так, будто мне вонзили копье под ребро. Ибо сила Отца небесного не всегда избавляет меня от слабости, свойственной телу человеческому.

Никодим говорит:

— Если ты это знаешь, для чего творишь чудеса?

Иисус ему отвечает:

— Я тебе уже говорил, что они приносят облегчение скорбящим, и помогают спасать нечестивцев, и возносят имя Отца небесного, который превыше меня. Потому и творю их. А теперь скажу тебе, что самая чистая и стойкая вера та, которая рождается сама по себе и черпает из себя самой, без всяких чудодеяний, ее поддерживающих. Чудеса, сотворенные мною в Хоразине, Вифсаиде и в Капернауме, не умалят моего презрения к этим городам, которые поначалу отвергли меня без веры. Другие народы поверят в меня, хотя и никогда не увидят.

Никодим хранит молчание, ему уже нечего спрашивать. Вдруг Иисус ему говорит:

— Наступят времена, Никодим, когда эти вот чудеса, которые сегодня поражают людей и побуждают следовать за мной, обратятся в доводы для того, чтобы угонять овец из моей овчарни. Написано, что, когда Адам был изгнан из райских кущ, он ел полевые травы и носил звериные шкуры. Но прошли века, и человек стал готовить себе изысканные блюда, одеваться в роскошные одежды, строить великолепные дворцы и снаряжать большие корабли, которые везли его в далекие страны. Какие невероятные вещи он придумает завтра? Он будет усмирять бури своими руками, будет лечить болезни, от которых сегодня спасения нет; его голос покроет расстояния, подобно молнии; он будет парить на крыльях в воздухе, как птицы; невесомо плавать под водой, как рыбы. Мои чудеса, творимые верой и духом и удивляющие теперь, в иродианские времена, тогда будут казаться просто-напросто добрыми делами неученого пророка, и найдется немало таких, кто вспомнит об этом, чтобы посмеяться над царством справедливости, которое я возвещаю. Но истину говорю тебе, что они будут посрамлены, а слова Сына человеческого будут жить в веках, как соль морская.

Никодим не прерывает молчания и вскоре прощается с Иисусом. Восток уже начинает алеть. Один из апостолов, Симон Зелот, предлагает проводить Никодима до дому. Как и все ученики Иисуса, Симон Зелот с великим удовольствием говорит о чудесах Учителя и предпочитает помалкивать о его учении, в котором апостолы порой понимают не все, а бывает, не понимают и ничего. По дороге Симон Зелот рассказывает Никодиму историю о насыщении народа пятью хлебами и двумя рыбами. Законоведу не была известна та версия, что он услышал от Симона Зелота:

— Узнав о подлом убийстве Иоанна Крестителя, Учитель сел в лодку с нами, своими апостолами, и приказал Андрею плыть к Вифсаиде и выбрать там укромное место, пригодное для соблюдения нашего траура и для молений. Но люди из соседних деревень узнали о нашем прибытии и тащились за лодкой вдоль берега по зыбучим пескам, неся с собой своих больных, и пришли раньше нас к той бухте, которую Андрей выбрал для высадки. Учитель пожалел весь этот страждущий муравейник и все утро рассказывал им притчи, а вечером врачевал больных, пока не спустилась ночь, и тогда он сказал Филиппу: «Ты знаешь эти места, ты здесь родился, скажи, где мы можем купить хлеба, чтобы их всех накормить?» Филипп ему отвечает: «И двухсот динариев[1] не хватило бы, чтобы уделить им по куску; у нас у самих только пять ячменных хлебов и две сухие рыбы, это ничто для такого скопища». И правда, там собралось более пяти тысяч женщин и мужчин, которые валились прямо на песок, когда заходило солнце. Тогда Учитель обратился к ним, и велел встать в ряды по сто и по пятьдесят человек, и попросил каждого выложить свои припасы на зеленую траву у подножия ближайшего холма, и мы, его апостолы, пошли первыми и положили свои две рыбы и свои пять хлебов, и то же самое сделали разносчики и ремесленники со своими сумами с едой, и виноделы со своими мехами с молодым вином, и торговцы со своими коробами, полными съестного, и только сирые да убогие (а таких было большинство) не принесли ничего, потому что ничего не имели. Учитель поднял глаза к небу и благословил эту гору снеди, и мы стали делить пищу между людьми, и пять тысяч человек ели и насытились, да еще остатков мы собрали двенадцать коробов.

Говорит Никодим:

— Если верить тому, что ты рассказываешь, Симон, умножение хлебов и рыб, собственно говоря, не есть чудо, а невинная хитрость, всех уравнявшая. Не следует тебе, Симон, низводить чудеса Иисусовы до уровня хитростей. Царь Соломон прибегнул к хитрости, чтобы вернуть сына его настоящей матери и не дать восторжествовать лжи. Иосиф прибегнул к хитрости, чтобы истолковать сны фараона в пользу народа египетского. Но чудеса Иисуса никак не связаны со спасением единожды, а есть свидетельства спасительных намерений Господа Бога. Чудеса Иисуса сами по себе еще не спасение, но они предвещают спасение грядущее. Подумай хорошенько, Симон, а не было ли умножение хлебов и рыб новым предвозвещением о манне небесной, подобной той, которую Бог посылал израильтянам в пустыне? Подумай, не дал ли через Иисуса Отец небесный нам знать, что утолит голод самых разных народов на пиру в своем царстве?

Но ему не удалось убедить в этом Симона Зелота, который, прежде чем стать апостолом, был земледельцем в Хоразине.

Нагорная проповедь

Совсем недалеко от Капернаума возвышается холм, который рыбаки называют горой. С вершины видится голубая гладь озера и даже белое перышко парусника, скользящего по воде. С неба вонзаются в землю яркие лучи солнца, а порой вместе с ними падают нити нежданного дождика; солнце и дождь сплетаются в радужную сеть, которая ложится на луга прозрачной вуалью. Это спорят Дьявол и Дьяволица, говорит с крестьянским простодушием Иуда Фаддей.

Иисус, спускающийся сверху вместе со своими апостолами, и народ, поднимающийся из долины посмотреть на него и послушать, сходятся у подножия горы. Солнце победило дождь, или Дьяволицу, и

[1] Серебряная монета римской чеканки, имевшая хождение в Палестине и весившая от 4,37 до 6,3 г.

землю кропят лишь отдельные капли, будто бы слезы ангелов. Иисус встает у высокого края косогора, как у перил над крутым обрывом. Внизу колышется многоцветное море одежд; никогда еще не собиралось так много народа у ног Назарянина.

И вот, звучно чеканя каждое слово и выдерживая паузы, Иисус начинает излагать свое учение:

— Вам говорилось, что бедные томятся в нищете во искупление проступков, свершенных ими самими или их предками, а я говорю вам: *блаженны нищие, ибо ваше есть Царство Божие.*

— Вам говорилось, что богатство — это награда свыше и дар заслуженный, вознаграждающий трудолюбца, а я говорю вам: *горе богатым, ибо они уже получили свое утешение!*

Вам говорилось, что плач — это излияние трусости, а печаль — прибежище тех, кто падает духом под натиском бед и несчастий, а я говорю вам: *блаженны плачущие, ибо они утешатся.*

Вам говорилось, что смех — это тайна утехи и выражение счастья, а я вам говорю: *горе смеющимся, ибо будут они стенать и плакать!*

Вам говорилось, что земля повинуется властолюбивым и острию меча, а я говорю вам: *блаженны кроткие и униженные, ибо они наследуют землю.*

Вам говорилось, что голод — это следствие лености и небрежности, а я говорю вам: *блаженны голодающие и жаждущие правды, ибо они насытятся.*

Вам говорилось, что пресыщение — это венец изобилия, а пиры — это праздник роскошества, а я говорю вам: *горе тем, кто ныне пресыщен, ибо он еще познает голод!*

Вам говорилось, что свершение мести — это долг и слава каждого обиженного, а я говорю вам: *блаженны те, кто милосерд, ибо помилован будет; блаженны те, кто сердцем чист, ибо узрит Бога; блаженны те, кого зовут миротворцами, ибо они будут наречены сынами Божьими, и блаженны те, кого будут гнать и поносить за правду, ибо они войдут в Царство Божие.*

В плотной толпе, оттеревшей их от оратора, где можно уловить лишь обрывки слов Иисуса, старый Иаков говорит садовнику Гамалиилу:

— Учитель предлагает нам бесконечные и всеобщие изменения. Он изображает человеческое прошлое как вечную битву между притеснителями и притесненными, и хочет идти во главе этого несметного полчища нищих, голодных, недужных, гонимых, и провозвещает царство, где они, люди последние, будут первыми.

Укрывшись за стволом старого дерева, книжник Елиезер шепчет на ухо Акипе, доносчику:

— Иисус Назарянин — лжепророк, который призывает восстать против Закона Моисея. Все слова его — камни, которыми он хочет вдребезги разбить таблицы Десятикнижия. Ослепленный гордыней, он хочет превратить этот маленький холм во второй Синай и провозгласить себя истинным пастырем народа Божьего.

Словно бы расслышав издалека его слова, Иисус говорит:

— Не думайте, что я пришел нарушить Закон или Пророков. Не исчезнет ни одна буква, ни один звук Закона, пока пребудут небо и земля, пока все не исполнится. Но если ваша приверженность вере не превзойдет приверженности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Божие. И еще говорю я вам, что часто вы убивали слово Божие, укореняя обычай, который передавался от отцов детям, из поколения в поколение. Но и воля Божья проявляется не в одних догмах Закона, а в знамении времени. Почему вы сами не судите, что справедливо, а что ложно? Узы любви людской крепче цепей всех законов, написанных рукой человека и алчущих заточить волю Божью в клетку, как соловья. И говорю я вам, что истинная суть законов — это свобода творить добро. Хотят, чтобы Сын человеческий не исце-

лял больных по субботам, словно бы праздность субботняя — мошна, полная запретов, а не время делать добро, как во все остальные дни. Суббота создана для человека, а не человек для субботы. Закон создан, чтобы спасать нас и освобождать нас, а не губить нас и подчинять нас. Самые главные из всех заповедей — это те, которые требуют, как эта: возлюби Бога превыше всего, а ближнего своего, как самого себя. Я пришел не нарушать ни Закона, ни Пророков, но я говорю вам, что Закон и Пророки одни имели силу до Иоанна Предтечи. Он принес новую благовесть о Царстве Божьем. Он возвестил о сотворении нового человека и о восходе новой жизни.

Про злобу он так говорит:

— Вас учили, что древним наказывалось «не убивай». Но я говорю вам: мало только не убивать. Не взъяривайтесь друг на друга, ибо гнев — это кость преступления. Не хулите ближнего своего, ибо хула подобна проклятию и пожеланию смерти. Есть отцы, которые не убивали, но детей своих проклинают, бранят и желают им смерти. Есть писари, которые жестоко бранят своего сотоварища, бедного старца, не имеющего денег на покупку стола. Есть наставники, которые для усмирения малых учеников угрожают им вечным огнем. А я говорю вам: тот заслужит кару геенной огненной, кто со злобой относится к ближнему своему, и оскорбляет его словом, и называет его недоумком или отступником.

Про месть он так говорит:

— Вас учили, что древним повелевалось: жизнь за жизнь, око за око, зуб за зуб, ожог за ожог, рана за рану, рукой платиться за руку, ногой платиться за ногу. Вас учили, что мститель должен убить убийцу, где бы его ни встретил, и кровь пролитая должна быть отмщена кровью того, кто ее пролил. А я говорю вам: никогда не отвечайте злом на злодейство. Если кто ударит тебя по правой щеке, обрати к нему левую. Если кто захочет судиться с тобою, чтобы взять у тебя хитон, отдай ему и другую одежду. Если кто принудит тебя идти с ним тысячу шагов, иди с ним две тысячи. Когда недруг поднимает руку, трусливый предпочитает бежать, а несдержанный отвечает тем же и во сто крат больше обидчику своему. А я говорю вам: не делайте ни того, ни другого, ибо и трусость унижает душу, и отмщение тоже, хотя оно мнит, что возвышает душу. Обуздать себя при чьей-нибудь попытке унизить тебя не означает уступить или сдаться, а означает, что ты поступаешь как человек, который не хочет уподобляться тем, кто унижает себе подобных тысячи лет. Я пришел сеять любовь, как зерна связей людских, и потому злоба и месть — самые большие беды, которые могут сгубить мой посев. Если вы хотите стать добросердны, как Отец небесный, помните, что он повелевает восходить солнцу и над злыми и над добрыми и посылает дождь и на праведных и на нечестивых. Я пришел заново вылепить человека из глины посредством любви и потому говорю вам: всякий раз нам надо ломать собственную природу, когда нам будут нашептывать, чтобы мы закрыли перед любовью двери. Нельзя ставить заслон перед милосердием и холостить его ограничением. Кто имеет очи, да видит; кто имеет уши, да слышит; и да прощает тот, кто имеет сердце.

Про женщину он говорит:

— Вам толковали, что женщина ввергает мужчину во грех, ибо от женщины возникла вина и от этой вины погибнем мы все; что нет ничего сильнее яда змеи и ярости женщины; что отяжеление и муки родовые — это кара за прелюбодеяние той, кто после становится матерью; что природой данные ей месячные грязнят женщину семь дней; что мальчик оценен в пятьсот сребреников[1], а девочка — лишь в триста; что женатый мужчина имеет право выгнать жену по всякому по-

[1] Сребреник, или сикль, по весу и ценности приравнивался к четырем динариям или четырем драхмам (соответственно римские и греческие монеты, имевшие хождение в Палестине).

воду и причине. А я вам говорю: женщина и мужчина — одна плоть, Бог при сотворении мира создал человека мужчиной и женщиной, а то, что Бог сотворил, нельзя изменить и превратить мужчину в хозяина, а женщину в его собственность.

И еще он говорит о женщине:

— Вас учили, что древним было велено — «не прелюбодействуй». А я говорю вам, что не только нельзя совершать прелюбодеяния: всякий, кто смотрит на замужнюю женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем, и нет ему оправдания, даже если она этого и не подтверждает. Мужчинам позволено многоженство, а невоздержанных женщин забивают камнями до смерти. Но я говорю вам, что грешники и те и другие. Вас также учили, что женщины во всем уступают мужчинам и не заслуживают того, чтобы стать ученицами духовного пастыря. Но я зову их следовать за мной в моем предназначении возвестить приход Царства Божьего, и говорю вам, что также и те женщины, которые идут за мной, будут солью земли и светом мира.

О лицемерии он говорит:

— Отец небесный презирает тех, кто творит милосердие на глазах у других, чтобы люди их прославляли и почитали за добродетельных. Тот, кто подает милостыню на улицах и в синагогах, похваляясь своей добротой, попусту кидает свои монеты, ибо Отец небесный не вознаграждает лицедеев и тогда только ценит добросердие твое, когда левая рука твоя не знает, что делает правая. То же бывает и с теми, кто молится в синагогах и на всех перекрестках, чтобы его видели люди,— он бросает молитвы свои на ветер, ибо до Отца небесного доходят только те, которые ты читаешь наедине с собой, затворив дверь в свою комнату. То же суждено и тем, кто во время поста смотрит уныло и жалобно, дабы люди думали, какие лишения этот несчастный претерпевает, а он уже получил награду свою, ибо Отец небесный всегда воздает по заслугам и лицемерам и правдолюбцам. Милостыня кичливых, молитва двуличных и воздержание лицемерных — не что иное, как пыльца бесплодная, которую уносит ветер и которая никогда не попадает в сады Господни.

О деньгах он говорит:

— Для этого поколения, грешного и развращенного, деньги — любимое божество. Деньги — это ложный бог, более пагубный, чем были Ваал и Молох, ибо жажда денег порабощает и растлевает душу с еще большей жестокостью, чем языческие идолопоклонства. Никто не может служить двум господам, ибо со временем возненавидит одного и полюбит другого. Поэтому говорю я вам: не можете вы сразу служить и Богу и деньгам. Тот, кто служит деньгам, копит сокровища на земле, где их точит ржавчина и моль и крадут воры. Кто служит Отцу небесному, собирает сокровища на небе, ибо там, где сокровище ваше, будет и сердце ваше. Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в Царство Божие. Верблюд в конце своем обратится в шерстяную нить, которая пройдет в крохотное отверстие, а богатому надо продать все, что он имеет, и раздать бедным, дабы взамен обрести скромное место в Царстве Божьем. Пока есть бедные на земле, будут и богатые, ибо бедность и богатство не есть особенности рождения нашего, а признаки неравенства, сотворенного сильными себе во благо. В Царстве Божьем не будет ни богатых, ни бедных. В Царстве Божьем будет господствовать любовь и равенство; в лоне его те, кто были первыми, будут последними слугами, а те, кто были слугами, будут первыми.

О раскаянии он говорит:

— Вас учили, что древним приказывали: кто совершит преступление, должен принести Богу покаянную жертву, агнца без порока ценой в двадцать сребреников, и злодеяние прощалось свершением

и милостью жертвоприношения. А я вам говорю: обратитесь, ибо пришло Царство Божие, и возвещением этим указываю единственный путь к спасению. Исаия говорил правителям Содома, что Бог уже пресыщен кровью агнцев и тельцов, что дым курения стал ему ненавистен, что ему отвратительны празднования, что его справедливость — другая. «Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих, перестаньте делать зло; научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову» — такова справедливость, которую проповедовал пророк Исаия. Ибо покаяние — это не преднамеренная отдача долга и не доброе движение души, а образ мыслей и вседневные поступки. Если рвать на себе одежды, и посыпать голову пеплом, и бить себя в грудь каменьями, и лить слезы ручьями — это не поможет смыть грех и очиститься от свершенных злодейств. Покаяться — значит обратиться к Богу, произвести переворот в душе своей, сменить кожу свою, как змеи; из гусениц стать мотыльками. И еще скажу я вам, что покаяние — это не наказание и не страдание, а восторг блудного сына, который возвращается в объятия отца; радость заблудшей овцы, найденной своим пастырем.

Иисус продолжает говорить, а люди смотрят на него во все глаза, ловят каждое его слово. На головы зачарованных слушателей сыплются зерна поэзии:

— И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: не трудятся, не прядут, но говорю вам, что и Соломон во всей своей славе не одевался так, как всякая из них. Взгляните на птиц небесных: они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец небесный питает их... Да и кто из вас, сгибаясь от тяжести, может прибавить себе хотя бы час жизни?[1]

Но вот свистят в воздухе плети, бичующие себялюбие:

— Вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаз брата твоего.

А вот нам преподносят золотую заповедь, заставляющую вспомнить о совести:

— ...как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними.

И заканчивает Иисус свою речь предостережением:

— Всякий, кто слушает эти мои слова и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и он упал... Всякого, кто слушает эти слова мои и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне,— и дом устоял перед всеми силами природы.

— Когда Иисус спустился с горы, его окружили люди, завороженные его учением,— говорит Матфей.

— Глаза у всех были омыты слезами, а души смягчены кротостью,— говорит Петр.

— Дети пели, а женщины повторяли единственную молитву, которую им прочитал Учитель,— говорит Иоанн.

— Это был самый яркий полдень его жизни среди людей, ибо он сказал все, что хотел сказать,— говорит Никодим.

На обратном пути в Наин старый Иаков разговаривает с садовником Гамалиилом. По краям болотцев квакают грязные жабы и трепещут крылышками желтые бабочки. Вдали, там, за стаей серых цапель, над цветущими виноградниками Каны, поднимается высокий купол горы Фавор.

Говорит старый Иаков:

— Его слово — это молодое вино, которое разрывает старые ме-

---

[1] В Евангелии от Матфея, 6.27, иначе: «Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть?»

хи, новая ткань, которая меняет старые одежды, порыв ветра, который дает природе человека иную суть. Его знаки победы — не сражение и грабеж, а любовь и милосердие. Его войско — не ангелы смерти, не легионы воинов, не советы ученых книжников, не свиты властителей, а сборище несчастных калек, прокаженных, кающихся, блудниц, мытарей, бросивших свое дело; шумливых детей, и взрослых, ведущих себя как дети. Его народ — это не народ избранный и вознесенный превыше всех остальных, а все народы, населяющие землю. Его законы не окаменевшие заповеди и не страшные заклинания, а истолкование справедливости как всепрощения. Женщина — не утварь презренная, а супруга, которую муж должен любить, как самого себя. Богатство — это не дар желанный, а обременительный груз, который надо бросить. Бедность — не душная каморка, а широченная дорога, ведущая в Царство Небесное. Под молотом его учения пошатнулись древние устои здания иудаизма.

Отвечает Гамалиил, садовник:

— Один устой не пошатнулся — любовь к Богу, которая превыше всего на свете, она остается для Христа краеугольным камнем нашей веры.

Тогда говорит старый Иаков:

— Это верно, но на Бога Всевышнего он смотрит не так, как фарисеи и саддукеи. Для них, для главных священнослужителей, для старцев и для книжников; Яхве вызвал потоп, затопивший землю, когда бурные воды все стерли с лица земли — и людей, и скотину, и тварей земных, и птиц небесных. Это Яхве обрушил огонь и серу на Содом и Гоморру, и уничтожил их жителей, и сжег всходы на их полях. Это он наслал на Египет десятикратный мор и истребил скот и посевы, и умерщвлял всех первенцев — от первенца фараона до первенца раба[1]. Это он велел избивать камнями без всякой пощады всех земледельцев, по субботам собирающих хворост. Это он, когда гневался на народы, всех обрекал на погибель, и всех убивал, и мертвых не велел убирать, и трупы их долго смердели, а с гор текла кровь ручьями. Своим верующим Яхве вложил в уста слова псалма: да усладит себя честный человек отмщением, да омоет ноги свои кровью злодеев.

— А для Иисуса кто он, Яхве? — с испугом спрашивает Гамалиил, садовник.

Старый Иаков ему отвечает:

— Для Иисуса Яхве просто отец. Очень добрый отец, одинаково любящий всех своих детей, даже неблагодарных и порочных. Древние верили, что Бог — это безграничная далекая-предалекая сила, живущая где-то там, за звездами, за небесной лазурью, употребляющая свое всемогущество, чтобы карать неверных. Иисус видит в Боге словно бы отца близкого и любвеобильного, который выбирает милосердие, чтобы выразить свое всемогущество. Бога — доброго отца, обитающего где-то среди нас, не могут допустить книжники со своими забитыми наукой головами, но для простого народа это ясная и чистая истина. Потому, сын мой, ее и выбрал Иисус.

Шагов через двадцать, задержавшись у насыпи водоема, говорит старый Иаков:

— Обращаясь к Всевышнему, Иисус называет его Авва, папа, по-детски, по-родственному, как никто до него ни в какой религии ни один священнослужитель не называл. Вот молитва, сходящая с его уст, когда он молится: *Авва, папа, Отец, да святится имя твое, да придет Царство твое, пошли хлеб нам насущный и отпусти грехи наши, ибо и мы прощаем должникам нашим.* Вот так и не иначе, так, как говорит сын малый своему отцу.

---

[1] Имеется в виду древнееврейский обычай приносить в жертву богу (Яхве) первого ребенка.

Старый Иаков и Гамалиил, садовник, проходят мимо странного дома, где никто не высовывается ни из окон, ни из дверей. Босоногая девочка перебегает пустынный двор. Порыв ветра колышет ветви смоковницы и стряхивает наземь спелые винные ягоды. Сумерки овладевают небом, выпустив на волю табуны пепельных лошадей. В грустном доме зажигается первая лампа. Молча пройдя последний отрезок пути, говорит старый Иаков:

— Древние призывали Яхве и громко просили его обратить в прах врагов. Иисус Назарянин призывает Отца, чтобы умолять его простить недругов. «Прости их, Авва, они не ведают, что творят»,— говорит он в их оправдание.

Каиафа

Да, тот самый Иосиф Каиафа, иудейский Верховный первосвященник, который исхлопотал такой высочайший сан не самым, казалось бы, естественным образом — ибо раньше был старшим управителем храма[1],— а за взятку в двести талантов, которую его тесть Анна замыслил дать и дал (прокуратору Валерию Грату, который тогда был римским префектом в Иудее и который, взяв левой рукой предложенную мзду, протянул правой назначение Каиафы, и Анна продолжал править иудеями через своего зятя точно так же, как правил ими от собственного лица предыдущие девять лет). Тот самый Иосиф Каиафа, именитый глава еврейской общины, которому подчиняются и льстят более двадцати тысяч человек, трудящихся в храме или живущих под его сенью: жрецы, левиты, литургисты, служки, музыканты, псаломщики, привратники и отряды вооруженных стражников, расправляющихся с нечестивыми; сборщики подати, торговцы со скрепленным печатью разрешением вести торговлю, наследственные нищие. Тот самый Иосиф Каиафа, в чьих руках находится все богатство храмово и который распоряжается им по собственному усмотрению, и пускает в продажу ради собственной выгоды весь скот, предназначенный для жертвенных закланий, и получает немалые доходы от мелких торгашей, которые продают голубей и меняют монеты в священных портиках. Тот самый Иосиф Каиафа, который владеет кораблями, что пересекают проливы и бороздят моря, доставляя из Тира пурпурные ткани и хрусталь, а возвращаясь обратно, забивают трюмы рабами для сбыта их в портах Великого моря. Тот самый Иосиф Каиафа, чей дворец с коринфскими колоннами и вавилонскими садами возвышается на Иерусалимском холме. Тот самый Иосиф Каиафа, единственный из всех смертных, которому дозволено проникать в святая святых в День искупления. Тот самый Иосиф Каиафа, наитипичный саддукей и по рождению и по убеждениям. Тот самый Иосиф Каиафа, недоброхот и проныра, завистник и властолюбец, ханжа и лукавец, который добился наконец своего, к чему так упорно шел — к смертному приговору для Иисуса из Назарета, плотника из Галилеи, который шляется повсюду и твердит про любовь и равенство людей.

Не слишком легко досталась победа высшим иудейским сановникам, горевшим желанием принести в жертву Иисуса, но теперь это уже представлялось неотвратимым и близким будущим. Иосиф Каиафа вполне мог объединить в заговоре против жизни Иисуса всех влиятельных людей Иерусалима, включая римских завоевателей, но мог ли разуверить и разубедить толпы обездоленных, которые шли по городам и весям за Иисусом?

Саддукеи, священническая знать, старейшины синедриона, ростовщики, владельцы крупных лавок — все они с нетерпением ждали

[1] Управитель Иерусалимского храма с помощью стражников и прислужников следил за порядком в храме.

смерти дерзкого проповедника, который своими речами бросал вызов богатым, и намерен был воспрепятствовать им вступить в Царство Божие, и отворачивался от денег, как от навоза сатанинского; и превозносил сказочный мир, где не будет ни богатых, ни бедных и где первые станут последними.

Иродианские царедворцы во главе с тетрархом Иродом Антипой тоже не терпели пророка, напоминавшего им о грозной фигуре Иоанна Крестителя. Этот был обезглавлен, но нашелся другой порицатель, который и учит и проклинает почти как он, словно бы Иоанн Креститель и не думал умирать.

Что касается фарисеев, они проклинали равви, который осмеливался толковать Закон на свой лад и по своему усмотрению, и не почитал традиции древних, и подвергал сомнению незыблемые предписания Торы, и прибегал ко всяким ухищрениям, чтобы не предаваться привычному субботнему отдохновению, и подавал руку блуднице, и запрещал мстить — око за око, зуб за зуб; и пил вино в погребках с рыбаками, и клеймил тех, кто деланно молился или показно раздавал милостыню, и обзывал белёными гробами тех, кто наизусть зазубрил Писания и не мог отойти от буквы псалмов.

Иродианский двор, саддукеи и фарисеи — все боялись растущей славы Иисуса, страшились огнива его учения, распалявшего страсти народа.

— Если его не трогать, чернь уверует в него, возьмется за оружие, а тогда придут римляне и разнесут вдребезги наше Святое место,— говорили они.

— Понтий Пилат заставит все еврейское общество поплатиться за бредни какого-то неученого и болтливого галилеянина,— говорили они.

Верховный первосвященник Иосиф Каиафа рассеивал их притворные сомнения и успокаивал их совесть, говоря:

— Надобно знать и понимать: лучше, чтобы один человек умер за всех людей, нежели чтобы погиб весь народ.

Но какие аргументы мог привести этот Иосиф Каиафа, чтобы уверить в необходимости смерти Иисуса немощных, в руки которых Иисус вложил кедровый посох надежды; прокаженных, тело которых очистил от язв, а сердце — от ужаса; паралитиков, которых заставил ходить по дорогам и улицам Палестины; слепых, которым возвратил завтрашний день; мучимых жаждой, которым возвестил о царстве воды; женщинам, которых обещал освободить от унижений и презрения; детей, которых звал с собой и которые шли с ним рядом, чирикая, как воробьи, и прыгая, как козлята? И к каким доводам мог прибегнуть этот Иосиф Каиафа, чтобы заставить слушать себя других, ярых фанатиков, которые провозглашали Иисуса Сыном Давида, избавителем, способным вышвырнуть римские войска из завоеванного Иерусалима, и укротить своевластие аристократии, и освободить храм от всякой нечисти, и сотворить мессианские чудеса, чтобы воздвигнуть в сиянии Апокалипсиса трон для суда Божьего?

Доносчики, посланные Верховным первосвященником следить за каждым шагом Иисуса, приносили неутешительные вести:

— Народ говорит, что он успокаивает припадочных, заставляет говорить немых и изгоняет беса из больных.

— Народ говорит, что в Кане он превратил воду в вино, а на берегу Тивериадского озера умножил рыб.

— Народ говорит, он не только исцеляет недужных, но и осмеливается отпускать им грехи.

— Народ говорит, что он по-братски обходится с самыми нечистыми врагами нашими. У одной женщины, вольноотпущенной из Самарии, он попросил напиться из кувшина и пообещал ей взамен

воду жизни вечной. В его иносказаниях мерзостные самаритяне выглядят людьми сострадательными и милосердными.

— Народ говорит, что рассказывает он притчи и не дает поймать себя в ловушки жрецов и книжников, слушающих его рассказы, которые приводят жителей деревень в восхищение, хотя, сказать по правде, никто не может докопаться до истинного смысла сказанного.

— Народ говорит, что около Вифании он воскресил из мертвых человека через четыре дня после погребения.

Воскресение из мертвых? Ясно, что это несусветная ложь, но Иосиф Каиафа, Верховный первосвященник, тут же созывает синедрион в полном составе, семьдесят и одного человека, составляющих великое собрание, дабы предложить им казнить Назарянина. Являются двадцать четыре из вызванных, чтобы тут же вынести приговор о смертной казни, но среди них оказываются и такие, кто не разделяет гнева сановных иудеев, например Никодим бен Гурион, всеми уважаемый мудрец; и Иосиф из Аримафеи, представитель городской знати; и равви Симеон из Антипатриды, человек благородного происхождения, потомок славного и великодушного Гиллеля[1], и старый филантроп Симон бен Азель, и учитель логики Авва Саул. Однако богатые коммерсанты-саддукеи, подчиняющиеся воле Иосифа Каиафы (а точнее говоря — воле его тестя Анны), превосходят их числом. Семейства Анны и Боэтуса, которые ненавидят друг друга, будучи непримиримыми соперниками, обычно заключают мирный союз, когда речь идет об угрозе их земельным владениям.

Собрание синедриона, которое в конечном итоге не придет ни к какому решению, происходит в большом зале Великого Камня, называемом так потому, что ползала представляет собой шлифованный каменный монолит. По правую руку Первосвященника Иосифа Каиафы занимают места сановные лица, которые вместе с ним руководят высоким собранием: Ионафан, управитель храма и начальник храмовой стражи, и Ариэль бен Леви, священнослужитель, помазанный на ведение военных действий и главный начальник левитов-доносчиков.

— Закоренелый преступник, зовущийся Иисусом из Назарета, пророк-оборванец, возымевший дерзость говорить от имени всех евреев с тайным умыслом поссорить нас со всемогущим императором Тиберием, да хранит его Господь, заслуживает не одну, а тысячу смертей,— говорит Ионафан, управитель храма.

— Если надо с ним покончить, мы не одного человека, а целые селения в прах обратим, не дрогнув, дабы отстоять достоинство Израиля! — говорит Ариэль бен Леви, священнослужитель, помазанный на ведение военных действий.

Никодим бен Гурион отваживается возразить:

— А разве наш закон может осудить человека, если его прежде не выслушать и если не ведать, что он творит?

На это Верховный первосвященник Иосиф Каиафа отвечает с неприкрытым ехидством:

— Или ты тоже из Галилеи, Никодим?

Никодим чует опасность и предпочитает прикусить язык. Но внук Гиллеля и учитель Авва Саул не сдаются и настаивают, чтобы закон исполнялся неукоснительно. Возникает дискуссия, которой Иосиф Каиафа не ожидал, и ему приходится отложить до праздника Пасхи свое намерение расправиться с Иисусом.

Иисуса не столько тревожит мысль о смерти, сколько возникшее убеждение в том, что народ не понимает подлинного смысла

[1] Гиллель — древнееврейский проповедник (I в. до н. э.), изречения которого, направленные против лицемеров и жрецов, имеют сходство с афоризмами Иисуса.

его слов. Тотчас вслед за чудом умножения хлебов и рыб сытая пятитысячная толпа в неистовой радости окружила Назарянина. Один винодел-кананит, богатырь с небольшой бородкой, первым закричал во всю мочь:

— Осанна Сыну Давида!

Другие галилеяне громко вторили ему:

— Вот истинный пророк, к нам пришедший!

А присутствующие зелоты заревели громовыми голосами:

— Стань нашим вожаком, и мы снесем горы и стены, чтобы освободить Иерусалим!

— Стань царем иудейским и употреби силу свою чудотворную, дабы истребить племя тиранов и обманщиков, расправиться с врагами твоего народа!

— Да исполнятся тобою пророчества, слуга Яхве! Да не ослабнет твой дух, пока на земле не установится справедливость! Освободи пленников из узилищ и из темниц тех, кто томится во мраке, Сын Давидов, избранник Божий, царь иудейский!

Иисус упорно отстранял от себя скипетр, который ему совали в руки:

— Я не приму славы от людей. Истину вам говорю: вы идете ко мне, ибо съели хлеб и насытились. Но я не царь, которого вы жаждете, и не воин, которого вы хотите венчать на царство против его воли. Я всего лишь бедный плотник, посвятивший себя тому труду, какой поручил мне мой небесный Отец, а труд этот — освобождение всех угнетаемых. Это Отец мой дает вам истинный хлеб с небес, это Отец мой дал вам своего Сына, но больше того он дать ничего не может. Я — хлеб, который сошел с небес, дух, который дает жизнь миру. И слова, какие вам говорю, это дух и это жизнь.

Нет, не был он тем Мессией, которого они так ждали, который испепелил бы своими молниями врагов, как испепелил Давид иевусеев, филистимлян, моабитов, арамеян, который использовал бы свою мощь, чтобы создать прямо сейчас и на этой самой земле царство такое же явное, как явна шлифованная глыба Соломонова храма.

Спускаются сумерки над свинцовыми водами. Небо затягивается багровым пологом, предвещающим бурю. Тучи на западе вспыхивают светлячковыми искрами. Иисус наказывает своим ученикам сесть в лодку и держать путь на Капернаум. «А потом мы видим, как он идет к нашей лодке по бурному морю»,— говорит Иоанн Зеведеев. Но Иоанн Зеведеев говорит также, что с той поры множество людей, которые шли за Учителем, дальше за ним не пошли; многие ученики вернулись назад и за ним не последовали, забыли про чудеса исцеления и утешения и желают возмездия и войны. Иисус начинает понимать, что смерть его неизбежна.

Он никогда не говорил своим апостолам, что он — Мессия, что его спину будут полосовать бичами, что изверги будут плевать ему в лицо. Но через семь дней после всех этих событий он появился в Кесарии Филипповой, присоединился к остальным двенадцати возле инжирной рощи и задал им такой вопрос:

— Кого видят люди в Сыне человеческом?

Отвечает Андрей:

— Одни говорят, что ты — Иоанн Креститель, воскресший из мертвых.

Отвечает Матфей:

— Другие говорят: мол, ты пророк Илия, который возвратился на землю в своей огненной колеснице; Илия, который вернулся, дабы откупить веру ценой молитв и чудотворений.

Отвечает Варфоломей:

— А еще говорят: ты — Иеремия, который вознамерился снова выковать единение людское на наковальне любви и сострадания.

Тогда спрашивает Иисус:

— А вы что думаете, кто я таков?

Петр делает шаг вперед и говорит:

— Ты — Христос, Сын Божий во плоти.

И, не думая возражать, Иисус говорит:

— Блажен будешь, Симон-Петр, сын Ионы, ибо тебе это открылось не плотью моей и не кровью, а моим Отцом небесным.

Но с этой минуты он начинает говорить о своей смерти как о близком и неизбежном будущем. Он пойдет в Иерусалим, примет великие страдания от старейшин, от первосвященников и книжников из синедриона, и будет ими погублен, и воскреснет на третий день, так он говорит. И тогда его смерть станет славной и не напрасной жертвой во имя пришествия обещанного Царства Божьего. «Как агнца на заклание поведут меня, и как овен, которого стригут, нем и тих, так и я не разомкну уст своих»,— так звучало пророчество.

Петр и слушать не желает такого жуткого предсказания. Он дергает себя за бороду и говорит:

— Зря печалишься, Господи! Никогда этого не будет.

Тогда Иисус отводит его в сторону и корит его:

— Ты мой позор, Симон-Петр, ибо мысли твои направлены не к Богу, а к людям, и направлены, наверно, самим Дьяволом.

Да, самим Дьяволом. Петр, словно став искусителем, зовет его избежать страданий и жестокости жертвоприношения. Впрочем, Иисус и сам не желает собственной смерти, но он не намерен выторговывать свою жизнь, отрекаясь от той миссии, которую возложил на него Отец небесный. Когда кости перестают быть костями и среди их жесткой белизны прорастают, трепеща, семена, в этом и проявляется животворное знамение смерти. Когда пшеничное зерно падает в землю и умирает, во время его умирания уже зарождается много колосьев. Тот, кто слишком любит свою жизнь, ее теряет; тот, кто презирает свою жизнь в этом неправедном мире, сохранит ее на вечные времена.

— Кто мне служит, да последует за мной,— говорит Иисус.

— Господи, я готов идти с тобой и в темницу, и на смерть,— говорит Симон-Петр.

— Идемте все умирать с ним,— говорит Фома-рыбак.

Однако Иисус понимает, что никто из двенадцати не уловил истинного смысла его призыва.

Они пойдут в Иерусалим на праздник Пасхи. Написано, что все иудеи должны являться в это время к храму Божьему, кроме безумных, калек, слепых, младенцев, прокаженных, гермафродитов и женщин. Пасха — это празднество из празднеств, ибо это дни великого благодарения израильского народа за свое освобождение, происшедшее тысячу двести лет тому назад, за освобождение от рабства, которое более четырех веков терпели в чужих землях потомки Авраамовы. «*И избавил Господь в день тот Израильтян из рук Египтян, и увидели (сыны) Израилевы Египтян мертвыми на берегу моря*»,— сказал Моисей. Весь Иерусалим высыпает на улицу в середине месяца нисана отпраздновать Пасху пением псалмов, бормотанием молитв, закланием скота и обильными трапезами. Тысячи паломников стекаются сюда из всех углов Палестины, из всех достопримечательных мест земли и заполняют все пристанища Святого города, и спят по четверо на одном ложе, а многие разбивают свои шатры на пригородных пустырях или проводят ночи в чистом поле, считая звезды.

Они войдут в Иерусалим на праздник Пасхи, и Иисус обратится к этому городу, который являет собой трепещущее сердце Израиля, ибо возник на том самом месте, где Авраам сделал себе жертвенное обрезание, а Давид построил стены и взял себе наложниц. В словах Иисуса обычно слышится порицание при виде холмов Сиона:

— Иерусалим, Иерусалим, ты избиваешь пророков и побиваешь камнями тех, кто тебе послан! Сколько раз хотел я собрать твоих детей воедино, как птица собирает птенцов под своими крыльями, но вы этого не захотели!

Ему внушает отвращение запах крови и гниющих потрохов, валяющихся на улицах в дни праздника. Сотни быков, телят и коз порублены для жервоприношений, камни пламенеют от крови голубей, отовсюду несется предсмертное блеяние овец. На каждом перекрестке толпятся лицедеи, истово молясь напоказ и шумно раздавая милостыню. Во дворах храма ученые проповедники опрокидывают ушаты риторики и софизмов на головы людей, ошалевших от казуистических выкрутасов. Надменность сынов Сиона просвечивает в их нескрываемом презрении к неимущим паломникам, к неучтивым селянам, пришедшим сюда из глухих селений Иудеи; к галилеянам, чей певучий говор и языковые огрехи вызывают насмешки.

Иисус войдет в Иерусалим, и обратится к народу, и не станет скрывать свое имя. Назарянин уже не тот, кто молил людей, исцеленных его чудодеяниями: «Не говорите никому о том, как я это делаю»; уже не тот, кто наказывал своим ученикам: «Не провозглашайте меня Сыном Божьим»; уже не тот, «чей час еще не пришел», а тот, кто решил открыто возвестить о своей роли Мессии и претворить в жизнь возвещение пророков об искуплении.

Вначале, когда он обращался к народу, его слова падали на благодатную почву, и бедняки подхватывали их как семена, и плоды были так обильны, что трудно сосчитать. Но со временем вера народа пошла на убыль: его чудеса не приносили политических побед, о которых они просили,— а по мере того, как убывала вера, убывали и чудеса, которые в конечном итоге были чудодейством, вызываемым верой. Он войдет в Иерусалим как Божий Сын и встретится лицом к лицу с противниками, которые замышляют его уничтожить: он разоблачит коварство жрецов, и повергнет в прах фальшивую ученость фарисеев, и бросит вызов кровавому мечу иродианских прислужников. Он теперь не кто иной, как Мессия, Помазанник Божий, Спаситель, и огромные толпы, запрудившие Иерусалим, его признают и за ним пойдут. А если мужчины и женщины за ним не последуют, он должен один идти на смерть, чтобы спасти их. Кто имеет уши слышать, да слышат!

Они идут к Святому городу, проходят Иерихон, пересекают апельсиновые рощи и розарии. Иисус меж тем исцеляет одного слепого нищего, просившего милостыню у дороги. Слепой непрерывно кричал, и в его крике слышалась безмерная вера: «Помилуй меня, Сын Давидов!»

С высоты крутого склона горы можно разглядеть маленькую группу идущих. Впереди развевается белое одеяние Назарянина, чистое и приметное, как парус. Чуть поодаль, вслед идут двенадцать апостолов в молчаливом сомнении, отягощенные дурными предчувствиями. Шествие замыкает слепой из Иерихона, правда уже прозревший, но еще спотыкающийся и нелепо хватающий воздух руками, потому что еще не привык к яркому солнцу.

Говорит апостол Матфей:

— Уже невдалеке от Иерусалима, войдя в Виффагию, что рядом с горой Елеонской, Иисус послал вперед двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и там найдете ослицу, привязанную, а рядом с ней ослика; отвяжите их и приведите сюда. А если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте: мол, они надобны Господу, который их скоро вернет». Все было сделано так, чтобы исполнилось прорицание Захарии. Пошли ученики, как Иисус им велел, и привели ослицу и осла, на них положили одежды, и Учитель сел

поверх них. Толпы народа бросали перед ним свои плащи на дорогу, а некоторые срывали ветки с деревьев и устилали ему путь. Множество народа, шедшего впереди и сзади, славили его: «Осанна Сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» А когда мы вошли в Иерусалим, весь город взволновался, одни говорили: «Кто это?» Другие отвечали: «Это Иисус, пророк из Назарета Галилейского».

Рассказывает апостол Иоанн:

— Войдя в Иерусалим, Иисус увидел, что в храме продают волов, овец и голубей и сидят менялы за своими столами. Сделав из веревок бич, он выгнал их всех бичом из храма вместе с их овцами и волами, опрокинул столы менял и рассыпал все их монеты, а продавцам голубей сказал: «Возьмите это отсюда, и дом Отца моего не делайте домом торговли». А мы, ученики, тут вспомнили один из псалмов Давида: «Ревность по доме твоем снедает меня». Иудеи же ему на это сказали: «А каким знамением докажешь, что имеешь власть так говорить?» Иисус им ответил: «Разрушьте этот храм, и я в три дня его воздвигну». Иудеи заметили: «Храм строился сорок шесть лет, а ты в три дня воздвигнешь его?» Они не поняли, что Иисус имел в виду самого себя.

Наймиты-шпионы и левиты-доносчики уже бегут к домам Анны и Каиафы и рассказывают тестю и зятю все, что якобы видели и слышали:

— Иисус победно вступил в Иерусалим, его встречали пальмовыми ветвями и криками «Осанна Сыну Давидову». Иисус ворвался в храм и посек бичом почтенных торговцев. Иисус велел народу всю дань делить между Цезарем и Богом. Иисус грозил развалить храм и опять построить его за три дня.

Верховный первосвященник Иосиф Каиафа понимает, что у него уже предостаточно улик, чтобы велеть схватить Назарянина: Галилейский проповедник пытается соблазнить народ лживыми обещаниями, с удовольствием слушает, как его величают Сыном Давидовым, силой препятствует свободной торговле скотом и свободному обмену чужеземных денег; двусмысленно толкует неукоснительное право Рима на подати да еще собирается превратить в развалины колонны храма. Его можно обвинить в богохульстве, колдовстве, подстрекательстве к бунту.

— Взять его! — приказывает он вооруженной страже синедриона.

Иисус устраивает этим вечером пасхальную трапезу, которую он обращает в прощальную вечерю, ибо говорит, что это будет последний стакан вина, который он выпьет на этой земле, и добавляет, что один из двенадцати здесь присутствующих апостолов изменит ему и выдаст врагам. Его уже предали. Учитель это знает. Завершив вечерю, они поют Аллилуйю и отправляются к Елеонской горе. Впервые Иисус ощущает страх и печаль. Он умрет завтра в страшных муках: с разорванным ртом и разбитой камнями головой, если его прикончат иудеи; или с перерубленной мечом шеей, если казнь будет поручена стражникам Ирода; или с прибитыми к деревянной перекладине на столбе руками и ногами, если его убийцами станут римские центурионы. Или его живьем сожгут на охапке дров, или повесят на дереве, где он будет качаться в петле; или пробьют копьем грудь, или заколют, как быка на скотобойне, или вырвут глаза из глазниц. Да к тому же палачи станут полосовать хлыстом ему спину и бить по лицу, пока наконец смерть не освободит его. Опустившись на колени в саду, не смахивая капель пота, струившихся по лбу, как кровь, он говорит:

— Авва, Отец наш, ты можешь все. Пронеси эту горькую чашу мимо меня, если можно. Но не так, чтобы того хотел только я, Авва, а чтобы того хотел ты сам.

Люди из отряда, который спешит взять под стражу Иисуса, бесшумно скользят по тропам, мелькают привидениями меж деревьев Елеонской горы. Прислужники синедриона и стражники храма, озлобленные старейшины, приковылявшие насладиться зрелищем; римские солдаты, несшие ночной дозор в городе; люд, захмелевший от вина, лившегося за пасхальным ужином; ученые книжники, высеченные хлестким словом Иисуса, как розгами,— все собираются вместе, дабы выполнить или посмотреть, как будет выполнен, приказ Иосифа Каиафы. Истекает последний вечер полнолуния, но небо заволочено облаками, и луна — как призрачно-зеленоватый вспугнутый лик — едва бросает на оливковые деревья свой тусклый свет. Палачи Верховного первосвященника Иосифа Каиафы вооружены короткими мечами и кольями, в руках у некоторых — факелы, освещающие путь. Они спускаются вниз из дворца Первосвященника, пересекают главные улицы города, загаженные навозом и огрызками фруктов; проходят мимо портиков храма, а потом старый мост переводит их через невидимый поток Кедрона; впереди все время идет апостол Иуда Искариот, показывая путь к убежищу Учителя в Гефсимании.

Марк, почти еще мальчик, обычно замыкавший шествие остальных апостолов, рассказывает о том, что видел той ночью:

— Иисус еще не кончил говорить, когда вдруг приходит Иуда, один из двенадцати, а за ним отряд, вооруженный кольями и мечами, посланный первосвященниками, книжниками и старейшинами. Тот, кто пришел предать Учителя, предупредил: «Кого я поцелую, он самый и есть, возьмите его под охрану и уводите». Тут же подходит к Учителю, обращается к нему: «Равви!» — и целует его. Они и набросились на него. Кто-то из апостолов не удержался, выхватил меч и ранил слугу Первосвященника, отсек ему ухо. Иисус говорит: «Пришли вы с мечами и кольями, хотели схватить меня как разбойника, а ведь я бывал каждый день в храме с вами вместе, и вы не трогали меня, но да будет так, как сказано в Писании» [1] В этот же миг все его ученики разбежались кто куда. Я хотел пойти за Учителем, накинул на себя льняное покрывало, но они вцепились в меня, я вырвался и голым убежал от них.

Вооруженные стражники связали руки пленного веревкой и пустились в обратный путь, чтобы доставить его в дом Анны, достопочтенного тестя Иосифа Каиафы, старца, чьи седины, чья мудрость, чье богатство и чье почитание римлян (он водрузил бюст Августа в зале своего дома) понуждали видеть в нем самую именитую особу Святого города Обитатели Иерусалима и паломники дрожали, как оленята, если попадали к Анне. Старейший первосвященник всех умел вогнать в дрожь своими злонамеренными речами и леденящими кровь намеками.

— Кто твои ученики? — спрашивает Анна пленного галилеянина, приведенного к нему.

Иисус молча смотрит на него — неужто эта старая лиса думает, что он способен предать своих апостолов? — и переводит взгляд на медную лампу, свисающую с потолка.

— Говорят, как я слышал, ты выдумал новую религию. В чем же суть твоего учения? — спрашивает Анна.

На сей раз Иисус ему отвечает:

— Об этом я говорил открыто всему свету, учил в синагоге и в храме, где собираются иудеи, и никогда ничего не утаивал. Почему ты спрашиваешь меня о сути моего учения? Спроси тех, кто меня слушал, они скажут тебе.

Начальнику стражи ответ пленного кажется непочтительным. В ярости он бьет Иисуса по лицу и велит своим подчиненным быстро

[1] Иисус ссылается на слова из Книги Исаии: «к злодеям причтен был» (53, 12).

вести его, толкая в спину, в дом Иосифа Каиафы, что стоит неподалеку от дома Анны.

Там Верховный первосвященник спешно созывает членов синедриона. Закон дает ему право устраивать отдельные судилища «соответственно велению времени», как гласит текст. Никакое веление времени не может быть важнее для Иосифа Каиафы, чем убийство Назарянина. Под покровом ночи шныряют его посланцы, приглашая членов синедриона, хотя его приглашение минует и Никодима бен Гуриона, и Иосифа из Аримафеи, и кого-то еще, кто мог бы поднять голос в защиту обвиняемого,— приглашение к ним не попадет, ибо оно им не было послано.

Во дворец Каиафы сходятся старейшины, первосвященники и ученые книжники,— все в строгих темных одеждах с черно-белыми накидками на плечах, словно собираются держать совет о судьбах Израиля. Там уже самые важные сановные лица из рода Анны, из рода Боэтуса, из рода Фиаби, из рода Камифа. В главном зале состоится церемония суда. Верховный первосвященник и его писари поднимаются на возвышение в центре зала, а внизу полукругом поставлены жесткие кресла для членов синедриона. В центре полукружья остается свободное место, на которое скоро вступит Иисус со связанными руками в окружении стражи.

Свидетели, нанятые и подученные Иосифом Каиафой, дают показания.

Первый говорит:

— Он советовал народу не платить дань Риму.

Второй поправляет:

— Нет. Правильнее сказать — он уменьшал духовную дань, положенную Господу Богу.

Третий говорит:

— Он вышвырнул из храма торговцев в пятом часу пополудни.

Четвертый его поправляет:

— Нет. Он высек менял и торговцев голубями уже на заходе солнца.

Пятый говорит:

— Он грозил разрушить святилище нерукотворное и похвалялся поднять его рукотворно всего за три дня.

Шестой его поправляет:

— Нет. Он говорил, что дьявольская сила изничтожит храм, а он его опять возведет своим чудодеянием.

Седьмой говорит:

— Он объявил сам себя Сыном Давидовым.

Восьмой его поправляет:

— Нет. Он отрекся от Давида и всего рода его.

Закон устанавливает (и синедрион не может идти против этого), что, если слова даже одного свидетеля не совпадают с показаниями других свидетелей, нельзя осудить обвиняемого, коль скоро он сам не сознается в своей вине.

Тогда Верховный первосвященник Иосиф Каиафа выпрямляется на своем седалище, приказывает замолчать нерадивым свидетелям и обращается к Иисусу:

— Заклинаю тебя Господом Богом на небесах сказать мне — Христос ли ты, Сын ли Божий?

Этот вопрос Иисус ожидает уже с прошлого вечера, но пока никто не задавал его. Он отвечает обдуманно и размеренно:

— Да, я — как ты сказал. И возвещаю вам, что отныне увидите вы Сына человеческого, сидящего одесную Силы, как пел Давид, и грядущего на облаках небесных, как предрекал Даниил.

Он произнес себе приговор. Верховный первосвященник Иосиф Каиафа спускается в гневе с помоста, рвет на себе свои шелковые одежды и пурпурную мантию и вопит, воздевая руки к небу:

— Он богохульствует! Теперь нам не нужны свидетели! Вы слышали? Он богохульствует собственными устами. Что же теперь вы скажете?

Члены синедриона отвечают хором:

— Приговорить к смертной казни!

И некоторые плюют на него и бьют по щекам, а другие, набросив ему платок на лицо и наградив тумаками, посмеиваются:

— Если ты Христос, открой нам, кто тебя сейчас ударил?!

— Это ты, Иосиф Каиафа, Верховный первосвященник Израиля, высший и благороднейший служитель храма, помазанный благовонным миром помазания, облаченный в священные одежды и наделенный святостью вечной, единственный из всех смертных, кому дозволено проникать в тишь святая святых, главнейший распорядитель сокровищ и жизней народа, властелин несметных богатств Палестины и части Ливана, женатый на дочери всемогущего Анны, ты, Иосиф Каиафа, ты — самый обыкновенный убийца! Покарай его, Господи, ибо он-то уж знает, что творит! — бормочет по-арамейски какой-то нищий в портике храма.

Иуда

Хотелось бы (да никак нельзя) воздержаться от упоминания об Иуде Искариоте, этом самом ненавистном предателе в истории человечества и в то же время самом никчемном и самом жалком из всех предателей, живших на земле. Ему заплатили тридцать сребреников, чтобы он показал Христа стражникам, шедшим его схватить, но ведь Иисус сам, по собственной воле встал перед ними и сказал: «Я — Назарянин, которого вы ищете». Или, может быть, тридцать сребреников ему дали, чтобы он засвидетельствовал перед синедрионом, что Иисус своим ученикам объявляет себя Мессией, но и на этот раз Иисус опередил исполнение коварного замысла, сказав внятно и недвусмысленно Каиафе, старейшинам и книжникам: «Я — Сын Божий». Позже, раскаявшись в своем поступке или устыдившись самого себя, Иуда хотел вернуть членам синедриона цену крови, но те не взяли, и ему пришлось бросить монеты в Святилище. В конце же концов он повесился на дереве. А в довершение всех его бед ты его ненавидишь, я его ненавижу, все мы его ненавидим.

Ничего бы не получил Иуда за свое намерение предать Учителя, если бы в тот момент Каиафа лихорадочно не искал бы выход из затруднительного положения. Верховный первосвященник не добился того, чтобы синедрион единогласно одобрил его идею: лучше, чтобы умер один человек за людей, нежели чтобы погиб весь народ,— эту его своевременную и патриотичную идею. Ибо из Рима долетали тревожные вести: император Тиберий снял и казнил своего палестинского наместника Люция Сеяна, а Люций Сеян был покровителем Понтия Пилата, а Понтий Пилат был римским прокуратором Иудеи, а именно римские прокураторы возносили или сбрасывали первосвященников Иерусалимского храма, ибо события в Риме колокольным звоном отзывались в самых отдаленных римских провинциях. Что будет с прокуратором Понтием Пилатом? Что будет с Верховным первосвященником Иосифом Каиафой? Самая простая стратегия состояла в том, чтобы предупреждать и пресекать беспорядки, сохранять согласие любой ценой — это больше всего заботило римлян, которых Август приобщил к цивилизации. Но в бурлении пасхального празднества, как правило, сильно разогревались националистические чувства евреев, а масло в огонь народной экзальтации подливала негасимая память об освобождении от египетского ига, во славу чего пе-

лись бунтарские псалмы, опустошались кувшины горячительного вина. Не унявшиеся сторонники покойного Иуды Голонита использовали накал страстей, чтобы затевать свары и убивать врагов. Один зелотский вожак по имени Иисус Варавва прирезал в схватке римского легионера. Понтий Пилат заточил его в башню Антонии, перед тем как распять. А теперь еще появился в Иерусалиме этот голодранец, галилейский пророк, и позволил толпе фанатиков превозносить себя, и осыпал бранью ученых людей, и допустил безобразное рукоприкладство в храме Божьем. Надо покончить с ним, не теряя времени: да подвергнет его Израиль тем мукам, на которые он хотел обречь нас!

В этот самый момент дверь в покои Иосифа Каиафы приоткрыл его домоправитель и сказал:

— В твоих садах находится человек, который говорит, что зовется он Иуда Искариот, и, мол, он один из двенадцати апостолов Иисуса Назарянина и хочет говорить с тобой.

Верховный первосвященник велел впустить его. Иуда Искариот был высок и широкоплеч, острые черные глаза и темные вьющиеся волосы, резко очерченный нос и небольшая бородка; на зеленый хитон накинут желтый плащ. В его внешнем облике не было ничего отталкивающего, напротив, он выглядел живописно и мужественно, как языческий вождь.

— Чего ты хочешь? — спросил Каиафа.

— Если вы мне хорошо заплатите, я вам его выдам,— ответил Иуда.— Приведу вас к тому месту, где он проводит ночи в одиночестве, без этой оравы, которая его окружает и может помешать вашей страже.

— Мы прекрасно осведомлены о его прибежищах и его телохранителях,— сказал Каиафа угрюмо.— Однажды он добрался даже до города Эфрона, к самой пустыне. Теперь он обычно укрывается в Вифании, в полулиге от Иерусалима, или ночует под открытым небом в садах на горе Елеонской. Наши люди повсюду следят за ним.

— Послушай меня, Верховный первосвященник,— сказал, нимало не смутившись, Иуда.— Я готов тогда засвидетельствовать перед тобой и перед всем синедрионом, что Иисус Назарянин открылся нам, своим ученикам, будто он и есть Сын Божий, Христос. Поведал он нам это однажды вечером возле Кесарии Филипповой, и только я один могу выдать его, ибо среди всех там бывших только я один намерен от него отречься.

Лицо Каиафы прояснилось. Нашлось как раз то, чего ему не хватало: для обвинения Иисуса достаточно было одного свидетеля, показывающего, что тот святотатствует, выдавая себя за Мессию.

— Я дам тебе тридцать сребреников, если ты это сделаешь,— сказал Каиафа.

— В тридцать серебряных сиклей Вторая Книга [1] оценивает жизнь раба,— сказал Иуда.

Каиафа воспринял его слова как подтверждение сделки и протянул Иуде кошель с тридцатью монетами.

В тот уже довольно далекий полдень, когда Иисус, выбирая своих апостолов, назвал в конце церемонии имя Иуды Искариота, не менее сотни удивленных лиц обернулось в сторону последнего избранника. Иуда не был галилеянином, как первые одиннадцать, не был он, как они, ни простолюдином, ни сыном бедных родителей. Он так ярко описывал свою жизнь, что почти никто из последователей Иисуса не принимал его речи всерьез, и его считали любителем прихвастнуть, дабы прослыть человеком, повидавшим свет.

Но ночам при свете звезд или под шум дождя, стучавшего по на-

[1] Имеется в виду Исход — вторая книга из Пятикнижия Моисея.

весу житницы, где они укрывались от непогоды, Иуда вел свой рассказ:

— Родился я в Кариоте, селении, неподалеку от города Хеврона, на юге Иудеи. Отец мой, Симон Искариот, владел оливковыми рощами и хранилищами для ячменя и пшеницы. С самого моего рождения он возлагал на меня большие надежды, даже назвал меня Иудой, что означает «да будешь хвалим», и старался учить меня распоряжаться нашим богатством и приумножать его. Но я родился на свет не для того, чтобы считать деньги, хотя все, кто меня знал, думали, что в этом и состоит мое жизненное назначение. Одним прекрасным утром я бросил родительский дом и испарился, как летнее облако. Сначала я пересек Мертвое море на лодке эдомейских контрабандистов, спустился через Моав и Эдом к Аравийскому заливу, добрался кружными путями до египетского Мемфиса, потом воды Нила вынесли меня к морю, а по морю доплыл я до берегов финикийских; ходил на кораблях и торговал бусами и браслетами у островов Греции, собирал сладчайшие винные ягоды на Кипре, водил караваны верблюдов в Византию, рубил гигантские кедры в Ливанских горах и неведомо как снова оказался в Палестине. В порту Тира, куда я причалил после долгих скитаний, кто-то сказал мне, что один галилейский равви творит чудеса у Тивериадского озера и возвещает скорое Царство Божие. И я пришел внимать ему с чистым сердцем, следовать за ним, служить ему учеником.

Меньше всех верил его историям Иоанн, сын Зеведея; с самого же начала чутье рыбака навело его на подозрение. Однако, вопреки всеобщему изумлению, Иисус сделал Иуду Искариота двенадцатым апостолом и доверил ему ящик с немногими бронзовыми монетами, составлявшими все имущество бедной бродячей общины.

Сновидением канула в вечность та весна в Галилее, где Иисус творил чудеса и выбирал себе апостолов. Настали иные времена. Иисус осужден синедрионом на смертную казнь — апостолы Петр и Иоанн, которым удалось пробраться во внутренний двор дома Каиафы, не подавая, конечно, и виду, что оба они последователи Назарянина, приносят страшную эту весть в домик, где скрываются девять остальных. Домик принадлежит тому самому водоносу, другу Иисуса, в нем они накануне собирались на праздничную вечерю. Сюда, не сговариваясь, все и поспешили, презрев на какое-то время опасность, ибо его слова, сказанные за тем ужином — «берите и ешьте хлеб, это — тело мое», «берите и пейте вино — это кровь моя»,— теперь звучали как единственная светлая реальность, оставшаяся им от Учителя.

Иисус должен вот-вот умереть в муках от рук иудеев или римлян, и та же самая ужасная смерть постигнет всех его учеников,— так они думают и страшатся собственных дум. Но, собравшись снова вместе, они вспоминают не смерть, которая их пугает, а иудино предательство, смысл которого не могут постичь. Каждый из них пытается что-то понять и объяснить, но убедить остальных не удается никому.

— То была алчность,— говорит Матфей.

Алчность — это змея, которая клубком свивается в сердцах людей и высасывает соки любви и нежности. Когда Матфей был мытарем, он видел, как бледнеют лица богатых, когда наступает час платить подати, видел, как они корчатся не хуже рожениц, когда расстаются со своими драхмами. Этот Иуда, бывший их казначеем, не раз удивлял Матфея тем, как ласково он гладил монеты, подобно сластолюбцам, руки которых поглаживают тело голой женщины. Первосвященники предложили ему тридцать серебряных сиклей за выдачу Сына человеческого, и Иуда, ослепший и оглохший от жадности, уже не мог оценить всю меру своей подлости, ему лишь виделись толстые круглые монеты и слышался звон металла — Матфей не сомневался.

Алчность — это ворон, который может растерзать самую благородную душу; капкан, который подстерегает нас в жизни; поток, который несет нас к смерти.

— То было властолюбие,— говорит Иаков-старший.

Властолюбие — это мрак, обволакивающий людей и сбивающий с пути; грязь, мутящая светлую воду дружбы; скверна, отравляющая чистоту души. Иаков-старший думает, что Иуда шел с ними не из-за любви к Иисусу, а дабы заполучить часть царства, обещанного Иисусом. Когда в Галилее толпы пели победные гимны, славя приход Учителя, и завороженно слушали его притчи, Иуда Искариот считал, что уже завоевано это царство, подобное тем земным царствам, которые он так вожделел. Он уже видел Иисуса сидящим на золотом троне, с усыпанной рубинами короной на голове и с серебряным скипетром в руках. Он видел апостолов вокруг него, правящих суд и вкушающих власть над покорными им народами. Но когда люди стали отходить от них, ибо Иисус уже представлялся не Сыном Давида, а потомком Иова, Иуда тоже утратил веру в Учителя, затаил злобу на его милосердие, от которого нет никакого проку, и решил предать его, чтобы отомстить за крушение родившейся надежды на собственное возвеличение.

— То была ярость,— говорит Симон Зелот.

Ярость — это волк, вспарывающий клыками спокойствие людей; ураган, швыряющий их в кровавую бездну. Симон Зелот не раз слышал, как Иуда говорил во сне громким голосом о мечах, ножах, копьях и пиках. Душа Иуды возмущалась и горела нетерпением добыть свободу Израилю, стремилась заполучить ее сегодня же, не дожидаясь завтрашнего дня. Но не ему было дано затеять это сражение, а Сыну Божьему, ибо Отец небесный наградил Сына даром творить чудеса, и не виделось Иуде чуда более славного, чем изничтожить врагов народа нашего, как это сделали Моисей, Давид, Самсон и Илия. Гнев уязвил сердце Иуды, и он донес на Учителя, отдал в руки палачей, дабы заставить его своей силой чудодейственной разбить в щепы перекладину, на которой его должны распять, и сделать это так, чтобы началась война и закончилась победой и жесточайшей местью.

— То была трусость,— говорит Петр.

Трусость — это смердящее болото, которое засасывает в гнилую трясину достоинство человека. Иисус четырежды возвестил о том, что будет иссечен бичами и прикончен своими врагами, и боязнь пыток овладела его учениками, и страх смерти преследовал их по ночам, как привидение, которое сотрясает засовы старого замка, крича: тебе тоже исполосуют спину плетями, тебе раздробят твои кости, ты захлебнешься в верблюжьем дерьме, все вы умрете, оросив слезами дорожную пыль. Сам Петр, который сейчас говорит, сам Петр, который вчера вечером собрался с духом и ранил мечом одного из людей, схвативших Иисуса, и который шел за пленным Иисусом до самого дворца Каиафы, сам Петр оробел и с перепугу трижды сказал, что знать не знает Учителя. Петр уверен, что отречение — это не такая подлость, как предательство, и уверен, что когда-нибудь громко и открыто скажет правду, которую не был в силах сказать той ночью. Иуда же Искариот предал Иисуса, потому что его трусость гнездилась в душе, которая не смогла ее одолеть, а его дрожащие руки не встретили ветвь смоковницы, за которую можно было бы уцепиться.

— Так было написано,— говорит Фома.

Фома научился читать Священные Книги и как истый израильтянин знает, что наставления Писаний и предсказания Пророков будут почитаемы людьми и претворены в жизнь. Не может не исполниться чудесное откровение Святого духа, вложенное в уста Давида: «Даже человек, мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня свою пяту». И другое: «Если бы еще враг мой меня презрел, я смог бы стерпеть, но не ты, друг мне близкий, с которым

вместе шел я, радуясь, в обитель господню». Иисус в двух случаях упомянул эти изречения, указав таким образом, что один из апостолов готов предать его. Нет, он не избрал преднамеренно кого-то из них, скажем, Искариота, чтобы словом своим подтвердить предсказание Псалмов, нет! Ибо предположить такое — значило бы усомниться в милосердии Сына Божьего. Однако Иисуса тревожила и смущала уверенность, что один из его учеников продаст его врагам, ибо Отец небесный это ему открыл, но имени предателя еще не назвал. Позже, поняв, что коварный замысел затаил Иуда, он отнюдь не выказывал ему своего презрения, а старался удержать его от бесчестия, говорил с ним душевно и посадил с собою рядом во время вечери, и только когда понял, что преступления не отвести, сказал ему: «Что делаешь, делай скорее». И тогда Иуда побежал предавать его стражам Каиафы, ибо так было написано, говорит Фома.

— То был Дьявол,— говорит Иоанн.

Иуда и Дьявол — один злой дух в двух разных телах, так говорит Иоанн. Учитель как-то сказал об этом апостолам у дверей синагоги в Капернауме. Холодные огненные сумерки заливали кровью остекленелое озеро, все двенадцать окружили Учителя. Петр пылко заверял его в верности их всех и в их вере в слова о вечной жизни, а Иисус вдруг сказал: «Один из вас — Дьявол». Иисус сразу понял, что Дьявол — это Иуда Искариот, как только увидел его среди своих учеников. Они не встречались лицом к лицу со времени испытаний, когда Дьявол признал себя поверженным и сказал перед уходом: «Мы еще свидимся, время настанет». Теперь настало время четвертого испытания, но Лукавый уже не был ни безликим облаком, ни высокородным жрецом, ни величавым царем, а простым селянином из Иудеи в желтом плаще на зеленых одеждах. Иисус издали распознал его, когда фигура Иуды еще только появилась на поле и приближалась к ним; Учитель со вниманием отнесся к незнакомцу, выбрал его в число апостолов и вверил ему общинные деньги, и никто из одиннадцати и думать не мог о жестоком безмолвном сражении, которое опять началось между Божьим сыном и недругом Божьим. Иоанн говорит: настал, мол, решающий час поединка и завтра же утром все кончится. Дьявол, то есть Иуда, отдал Иисуса его палачам, которые готовятся истязать его и распять. Четвертое испытание Дьявола состоит в том, чтобы искусить Иисуса освободиться с помощью последнего чуда от таких мук и от такой смерти. Это испытание будет гораздо труднее трех предыдущих, ибо легче отказаться от хлеба, от власти и от славы, которых еще не имеешь, чем выносить уже пришедшее страдание, которое болью режет тело, и видеть смерть, которая уже сжимает сердце.

Все одиннадцать, кто был другом и собратом Иисуса, говорили вплоть до утра, но так и не убедили и не поняли друг друга. Наверное, только два человека на этом свете знали разгадку тайны: тот, кто был предан и находился во власти Каиафы и кого больше не увидят в живых,— Иисус Назарянин и предатель Иуда Искариот, который тем смутным утром бежал как безумный подальше от стен Иерусалима в поисках дерева, чтобы повеситься на его ветвях, или бездны, чтобы броситься вниз и разбиться насмерть.

Понтий Пилат

Каиафе принесли победу его старания обрушить гнев синедриона на Иисуса. Великое собрание приговорило Назарянина к смертной казни, и не только в наказание за святотатство, но и в отместку за его дерзость. Именно это, второе, преступление решительно осуждается Второзаконием: если кто ведет себя не смиренно, не внемлет ни жрецам, которые служат Яхве, ни старейшинам, да будет этот человек истреблен.

Иисус безучастно хранил молчание и во время обвинительных показаний свидетелей, и во время обращений к нему судей с вопросами, и во время злонамеренных допросов жрецов, и только однажды разомкнул уста, чтобы провозгласить себя Христом.

Однако Палестина была не свободной землей, а римской провинцией (точнее, римской колонией). Иудейские власти не имели права свершать смертные казни уже более двадцати лет, с тех пор как этнарх Архелай был обвинен собственными подданными в тирании и смещен по велению императора Августа. Иисус Назарянин должен был умереть, но, чтобы его убить, надо было получить санкцию римского прокуратора.

С первыми лучами солнца отправились иудейские священнослужители — с Анной и Каиафой во главе процессии — в преторию к Понтию Пилату, чтобы вымолить у него крайне необходимое одобрение их приговора и, более того, просить, чтобы он отдал своим солдатам приказ распять преступника. Понтий Пилат был человек образованный, самоуверенный и циничный, который не слишком верил даже в своих римских богов (у какого-то греческого философа он вычитал, что счастье состоит в равнодушии). Для него ровным счетом ничего не значили грозные обвинения первосвященников и старейшин, которые вопили, выкатив глаза и потрясая бородами: «Иисус Назарянин — богохульник! Иисус Назарянин не почитает служителей Яхве! Согласно букве Второзакония, Иисус Назарянин должен умереть!» Анна и Каиафа поняли умонастроение прокуратора и пошли на приступ, вооружившись не религиозными догмами, которые отнюдь не задевали его за живое, а клеветой на Иисуса, обвинив его в неслыханно тяжких политических преступлениях:

— Он старался совратить народ, подстрекал людей к восстанию против Римской империи.

— Он обращался к народу с призывами не платить Риму установленную подать.

— Он величал себя царем иудейским против нашей воли, ибо у нас, у иудеев, нет иного царя, кроме цезаря Тиберия.

А поскольку Пилат оглядывал Иисуса с недоверчивым любопытством, про себя, наверное, думая, что едва ли этот пророк, с виду такой неказистый, способен совершить все эти преступления, которые приписывали ему доносчики, Анна позволил себе добавить еще несколько слов, таивших угрозу:

— Не скроем от тебя, что просьба наша — для нас вопрос жизни или смерти. Мы намерены донести нашу жалобу до стоящего над тобой Вителия, римского легата Сирии, и даже до самого императора Тиберия, если в том будет необходимость. Им обоим мы расскажем, что происходит в Иерусалиме, если в том случится нужда. Мы сообщим, что смутьян из Назарета по имени Иисус затевает недоброе против Рима, а римский прокуратор Иудеи не может решиться его казнить.

Понтий Пилат, римский прокуратор Иудеи, не питал и не питает симпатий к народу, который отдан ему под начало Тиберием. Пилату одинаково противны и саддукеи и фарисеи, ессеи и зелоты, ученики Гиллеля и потомки Ирода Великого, знать священническая и знать мирская, выходцы из Галилеи и из Переи, чванные сыны Сиона и прижитые от нечистых дети Самарии. Ему одинаково ненавистны все области и все секты Палестины. Понтий Пилат, римский всадник, сын начальника легиона, в свое время удостоенного наград в войнах Агриппы против кантабров; муж, имеющий супругу из благородного семейства; человек, заполучивший свой высокий пост не благодаря собственным заслугам, а благодаря отличиям своего отца и родовитости своей жены,— этот Понтий Пилат, рожденный на берегах бурого Тибра, исполнен явного презрения к еврейскому народу, кото-

рый, по его мнению, скареден и лжив, не видит разницы между человеком злонамеренным и добропорядочным, честным и подлым, богатым и нищим.

Враждебность, которую Понтий Пилат испытывает к евреям (в полной мере отвечающую ненависти, какую они питают к нему), в прошлом уже привела к трем столкновениям между ними, и не все из них завершились в пользу римского магистрата. Первое произошло, когда Пилат пожелал, чтобы его легионеры водрузили на улицах Иерусалима стяги с изображением Цезаря; второе случилось, когда Пилат попробовал установить в иродианском дворце двадцать золотых щитов во славу Императора. В обоих случаях иудейские сановники проявили все свое упрямство и всю способность к интригам и уловкам, чтобы воспрепятствовать осуществлению сих кощунственных замыслов. Оскорбленные получили поддержку со стороны Вителия, легата Сирии,— который всегда косо посматривал на Пилата,— добрались в поисках справедливости даже до Рима и пали на колена перед троном Тиберия. Пилату пришлось убрать стяги и переправить щиты со славословием в Тивериаду. Третью тяжбу, напротив, выиграл Пилат. Это было, когда высокие иудеи воспротивились выдаче части святых сокровищ храма на строительство акведука, в котором Иерусалим весьма нуждался. Тут Пилат не дал им времени опомниться: он внедрил своих легионеров, одетых под евреев, в толпы бунтовщиков, дико вопивших и грозно потрясавших кулаками. И в одну прекрасную минуту все вопли и кулаки были подчистую сметены ураганом дубин — много народу полегло на месте, а римский прокуратор построил акведук. Выигранная схватка за акведук не столь порадовала Понтия Пилата как политический триумф, сколь еще более распалила его страсть к театру (комедии и драмы доставляли ему такое же наслаждение, как пост прокуратора Иудеи, как награды отца и любовь Клавдии Прокулы). Пилат сам отбирал для своих легионеров одежды и накладные бороды, которые скрыли их юные лица, и лиловые капюшоны вместо шлемов, и белые ленты, обвязывающие им лоб и голову; Пилат сам учил их ходить вразвалку, чтоб никто не заподозрил в них римлян; Пилат сам научил их замаскировать смертоносные дубины под пастушьи посохи.

В годы юности Понтий Пилат отнюдь не мечтал стать воином и соваться в сражения, как его отец, и никогда не стремился выбиться в префекты цезаря, к чему его со временем привела жизнь. В ту пору он желал лишь одного, желал горячо и страстно — играть на театральных подмостках Рима, являться в роли вестника ужасных событий, побеждать, как Орест, погибать, как Ксеркс, хранить тайну, как Прометей. Ему не удавалось блистать в греческих трагедиях, ибо кровь его не закипала до такой степени, чтобы он мог пылать такой страстью или так рыдать, как требовалось, зато его бархатный голос и мужская стать позволяли ему красоваться в пьесах латинских поэтов. В одной из лирических комедий Теренция его увидела юная Клавдия Прокула, шестнадцатилетняя патрицианка, витавшая в мире идиллий и легенд, падчерица Тиберия и любимая ученица старого Сенеки. Клавдия Прокула влюбилась в актера Понтия Пилата не без содействия тех прекрасных юношей, которых он изображал. Она велела своим рабам внести себя на амфитеатр, дабы сказать ему такие слова: «Клянусь тебе всеми богами всегда быть твоей сладчайшей возлюбленной, хотя бы это заставило меня порвать со всем миром, ибо только смерть могла бы разлучить нас». Клавдия Прокула была нежна, как аромат, бела, как жасмин; к тому же — внучка Августа и падчерица Тиберия. Слишком велик был искус, и не выдержало театральное призвание Понтия Пилата, и Понтий Пилат оставил подмостки и женился на Клавдии Прокуле, а Тиберий назначил его прокуратором Иудеи и предоставил ему редкую привилегию — взять жену с собой: только смерть могла бы разлучить их.

Ранним утром накануне Пасхи приходят на встречу с прокуратором старейшины, первосвященники и книжники, образующие синедрион. Приводят с собой связанного галилейского пророка с черными волосами и в белых одеждах. Они приговорили его к смерти по своим законам и желают, чтобы Пилат обратил приговор по-иудейски в смерть по-римски. Пилата очень мало волнует — умрет обвиняемый или нет, если умрет — одним евреем будет меньше на земле. Чуть больше его волнует то обстоятельство, что эти синедрионские гиены хотят тогда заставить его пролить кровь, когда это не входит в его обязанность. Но его пленяют подобные сцены, словно взятые из античных трагедий Эсхила: вспыхивает ненависть, требующая ужасных жертв и роковых решений; мрачный хор вздымает к небу кулаки, прося человеческой смерти; грозный гул — проклятия, порицания — приглушает шепот совести.

— Вы обвиняете этого пленника в злодействах? — спрашивает Понтий Пилат Каиафу и Анну.

— Если бы он не был злодеем, мы бы не привели его к тебе,— отвечают они.

— Возьмите его и судите сами, по вашему закону,— говорит Пилат.

— Но нам не позволено предавать смерти,— говорят они.

Тогда Пилат обращается с вопросом к Иисусу:

— Ты — царь иудейский?

Иисус ему отвечает:

— Мое царство не от мира сего. Если бы царство мое было от мира сего, мой народ встал бы за меня и я не был бы предан в руки моих врагов.

— Все же царь ты иудейский или нет? — спрашивает Пилат.

— Ты называешь меня царем, но не знаю, по своему ли разумению говоришь или другие так говорили тебе обо мне. Я отвечу, что пришел в мир свидетельствовать истину. Все, что есть истина, то вещает мой голос,— отвечает Иисус.

— А что есть истина? — спрашивает Пилат. Это единственный вопрос, подтверждающий доброжелательство римского прокуратора к обвиняемому. Иисус Назарянин дал бы ему ответ, исполненный глубокой мудрости — можно ли в том сомневаться? — но Пилат не стал ждать христианского определения истины, которой человечеству никогда не познать, повернулся спиной к пленнику и стал торжественно подниматься вверх по ступеням в претории (ни дать ни взять — Агамемнон, поднимающийся по дворцовой лестнице), а тем временем хор, управляемый Каиафой, снова принялся поносить и оплевывать Назарянина.

Пилату очень хочется, чтобы финальные сцены этого процесса превзошли по своему патетизму трагедии Ливия Андроника и Гнея Невия, которым аплодировали римляне в театре Помпеи. Прокуратор велит доставить в преторию скованного цепями Иисуса Варавву, вожака зелотов, который брошен в одно из подземелий башни. Иисус Варавва всегда считал убийство врага самой действенной местью, и потому зарезал легионера в пылу затеянной в очередной раз драки, и теперь лежит на своем матраце, ожидая с закрытыми глазами исполнения приговора, а приговорен он к распятию на перекладине.

Иисус Варавва, рыжебородый гигант, является в преторию из подземелья в грязной одежде, кажущейся еще более грязной рядом с белым, ничем не запятнанным одеянием Назарянина. Люди теснятся на плитах большого внутреннего двора башни Антонии, а Пилат находится тут же и направляет ход событий, сидя в своем курульном [1] кресле. Внезапно он встает и говорит, обращаясь к толпе:

— Есть старый обычай, который я хотел бы соблюсти: я могу отпустить на свободу к празднику Пасхи одного осужденного на смерть.

[1] Инкрустированное слоновой костью кресло высших римских правителей.

Вам, народ иерусалимский, только вам принадлежит право выбрать преступника, который будет прощен. Я готов подарить свободу одному узнику. Хотите, я отпущу царя иудейского?

Толпа людей задвигалась, заволновалась: на одних наседают первосвященники, жаждущие смерти Иисуса; другим угрожают вожаки зелотов, стремящиеся освободить Варавву. И все кричат в один голос:

— Нет, отпусти Варавву!

Понтий Пилат стонет (как застонал бы Эдип, не будучи в силах освободить город) и говорит сокрушенно:

— Что же мне делать с тем, кого вы называете царем иудейским?

— Распни его! — кричит толпа.

— Но какое зло он причинил? — говорит Пилат, зная, что никто из стоящих перед ним не откроет рта в защиту Иисуса.

— Распни Назарянина! — кричат одни.

— Отпусти Варавву! — кричат другие.

Трагедия близится к своему несчастливому концу. Голос Понтия Пилата (уже смирившегося с жестокой необходимостью под явным натиском Зевса) прошелестел над бурлящим морем голов:

— Я не нахожу в деяниях Иисуса из Назарета никакой вины. Я не хочу марать свою совесть его смертью.

И приказывает префекту преторианской стражи принести амфору, умывальный таз и полотенце, чтобы разыграть перед толпой сцену ритуала, нет, не римского, а иудейского, и притом очень древнего (священники — сыны Левия и старейшины города умывали руки над зарезанной телкой, чтобы Яхве не винил народ Израиля в пролитии невинной крови). Префект сам приносит амфору, таз и полотенце и медленно льет воду на руки прокуратора. Понтий Пилат говорит первосвященникам синедриона:

— Я не виновен в крови этого праведника. А там смотрите сами!

Хор левитов и старейшин, руководимый Анной и Каиафой, обтекает двумя ровными струями курульное кресло Пилата, окружая его, и причитает гнусавыми голосами:

— Не страдай по крови, которая прольется, и не скорби напрасно, о могущественный прокуратор Понтий Пилат! Ибо только мы будем в ответе за эту смерть. Праведник не должен быть казнен, это так, но бунтари, превозносящие себя и хулящие небо, должны быть наказаны. Тот, кто святотатствует, выдавая себя перед народом за Сына Божьего, должен умереть. Тот, кто, не страшась суда праведного, почитает себя за царя иудейского, должен умереть, и никто не станет его оплакивать. Не терзай свое щедрое сердце укорами и сомнениями, о великодушнейший Понтий Пилат! Ибо смерть галилеянина-богохульника не заденет и тенью твою чистую совесть. Мы, законные представители Израиля, возглашаем смерть Назарянина подвигом, который кроет нас славой. Да будет кровь Иисуса из Назарета на нас и на наших детях!

Драма в претории завершилась. Понтий Пилат встает на своем помосте и скрещивает руки на груди, словно в ожидании восторженных возгласов и рукоплесканий.

Один из свидетелей этой страшной истории рассказал обо всем Никодиму бен Гуриону. Мудрый друг Иисуса со вниманием выслушал рассказ, а потом заперся в комнате наедине со своими книгами и стал сам с собой рассуждать:

— Если какому-нибудь ученому писцу в далеком будущем придет на ум отобразить в своих писаниях суд над скромным плотником из Галилеи, объявившим себя Сыном Божьим, такой описатель этих в общем обычных событий, если он и найдется, скажет, что римский прокуратор Понтий Пилат сделал все, что было в его силах, чтобы спасти пленника от смерти, которой громогласно добивались люди из Иерусалима. Великий комедиант Понтий Пилат, мол, хотел спасти, да не

смог, но ведь римский магистрат среди других своих прав имеет и право отпускать на свободу узника, если сам считает его невиновным, а римлянин этого не сделал. Великий гистрион [1] Понтий Пилат, мол, хотел спасти, да не смог, но ведь он презрел, пожав плечами, и мольбу своей супруги Клавдии Прокулы, которую так любит и которой обязан своей высокой должностью, хотя она просила помиловать Назарянина. Великий лицедей Понтий Пилат, мол, хотел спасти, но отдал пленника палачам, чтобы его привязали к столбу, полосовали плетями, плевали в лицо, надели терновый венец и выставили на посмешище перед толпой, как истерзанного до крови бродягу. Великий лжец Понтий Пилат, мол, хотел спасти, но повелел своим легионерам вести его на Голгофу, пиная и взвалив на израненные плечи бревно, к которому его должны прибить. Великий злоумышленник Понтий Пилат хотел спасти его, но приказал в конце концов распять, что считается самой жестокой и самой позорной среди всех казней, придуманных человеком. Все это сделал милосердный римский прокуратор Понтий Пилат своими очень чисто вымытыми руками.

Варавва

По велению римского прокуратора Понтия Пилата Иисус Назарянин и Иисус Варавва заточаются в одно и то же подземелье под башней Антонии, во тьме которого закованный в цепи Иисус Варавва пребывает в одиночестве уже не первую неделю.

Обоих возмутителей спокойствия ведут через толпу, которая уже безмолвствует, ибо ее желания удовлетворятся: Иисус Варавва получит свободу, а Иисус Назарянин будет распят. Приговоренный к смерти Иисус Назарянин идет, устремив вдаль ясный, отсутствующий взор; Иисус Варавва, который должен быть выпущен этим же вечером, шагает, не скрывая своей ненависти к освобождающим его тюремщикам и своего презрения к властелину, его помиловавшему.

Иисус Варавва отнюдь не разбойник с большой дороги, как говорится в смертном приговоре Пилата, а вожак повстанцев-зелотов. Обвинение, которое против него выдвинул прокуратор, было законным, поскольку римское право карает «распятием, смертью от диких зверей на арене цирка или ссылкой на остров» тех, кто свершает тягчайшие преступления, как, например, Варавва, убивший императорского солдата (но в этой дальней провинции Иудее представители Цезаря не тешили себя ни кровожадными зверями и не спроваживали преступников на острова, а попросту распинали). Иисус Варавва — вождь зелотов, приверженный своей земле и поднимающий народ против римского владычества, а все люди такого рода считаются бандитами и убийцам, как гласит надпись на дощечке, прибитой к перекладине, на которой их распинают.

Это старая история печальной борьбы иудейского народа, в частности, его самых обездоленных слоев, против идумейских угнетателей и римских захватчиков. Прошел почти век в междоусобных войнах и мятежах, заливших кровью палестинскую землю. Тысячи евреев были обезглавлены Иродом и его сыновьями, тысячи евреев были распяты римским воинством, тысячи евреев были проданы в рабство. Осады городов и сражения в открытом поле всегда завершались уничтожением плененных евреев. Последние восстания были подняты фарисеем Садоком в Иерусалиме (ибо вначале фарисеи были глашатаями израильских низов, поднимавшихся против иродианской деспотии и аристократии) и Иудой Голонитом в Галилее. Это движение, как и прежние, было разгромлено, однако на его пепелище родилось сообщество зелотов, которое не принимает покорности («затаись на

[1] В Древнем Риме — профессиональный актер из народа.

время, народ мой, пока не схлынет ярость») сановных фарисеев, а пытается фарисейской доктриной [1] оправдать наступательный порыв, приближающий освобождение и достижение конечной цели. Главный постулат зелотов: «Один Яхве — царь, ему одному мы служим»; под таким стягом силятся они выкинуть из Израиля завоевателей-язычников и установить теократию. Они решительно отвергают подати цезарю, налоги цезаря, обожествление цезаря, ибо сердцем своим не приемлют иного Бога и повелителя, кроме Яхве. Потерпев поражение от армий цезаря, они устраивают засады, затевают схватки, в которых умерщвляют римских солдат или жестоко избивают тех, кто помогает завоевателям. Прокураторы и префекты травят зелотов, как мелких хищников, но те снова объявляются там, где менее всего их ждут, и продолжают сражаться. Они не составляют какого-то политического единства, а действуют разрозненными группами, хотя все охвачены одним пламенем борьбы за независимость и равенство. Беспощадной мощи поработителей они противопоставляют фанатическую мощь порабощенных. Иисус Варавва — один из самых неистовых вожаков.

Прозвание «Варавва» означает «сын отца» (бар авва) или, по мнению других, «сын учителя» (бар раббан). Впрочем, оба толкования совместимы, так как и учитель и отец в Израиле почитаемы одинаково. Итак, Иисус Варавва идет в свое узилище вместе с Иисусом Назарянином.

Оба входят за железную решетку, и каждый опускается на предназначенный ему матрац. Их ложа не что иное, как два серых мешка, набитых дроком и воняющих мочой и калом.

Первым заговаривает Иисус Варавва:

— Я рад своему освобождению, равви, но никогда не думал, что получу его в обмен на кровь невинного.

Говорит Иисус Назарянин:

— Истину говорю тебе: не твоя вина в том, что сотворили Иосиф Каиафа и Понтий Пилат. Первосвященники готовили смерть мою потому, что мои проповеди о любви и милосердии потрясали столпы их алчности и человеконенавистничества. Римский же прокуратор хотел нашей смерти, твоей и моей, потому что боялся, как бы твои поступки и мои слова не повели к мятежам против владычества империи, которую он представляет. Пилаты и каиафы, волки и лисы — звери одной породы.

Говорит Иисус Варавва:

— Послушай-ка, равви: те, кто кричал «Отпустите Варавву!», были не те, кто кричал «Распять Назарянина!» Мои соратники разошлись на праздник Пасхи, чтобы кричать «Отпустите Варавву!», по всем селениям и дорогам Иудеи. Те, кто кричал «Распять Назарянина!», были не мои друзья, а твои враги. Но Пилат хитро подстроил дело так, чтобы свобода одного обернулась смертью другого.

Говорит Иисус Назарянин:

— Ученики мои сильны духом, но слабы телом. Твои последователи не жалели жизнь свою, чтобы отвоевать тебе свободу; мои апостолы бежали в страхе с того места, где меня схватили, а возле претории уже не было тех народных толп, которые меня превозносили при въезде в Иерусалим. Требуя твоей свободы, а моей смерти, люди, отвечающие на вопросы Пилата, высказались в пользу искупления насилием и против искупления любовью. Но истину говорю тебе: они ошибаются.

Говорит Иисус Варавва:

— Они не ошиблись, равви. Народ шел за тобой и ждал, когда ты укажешь им путь, чтобы сломить своих насильников, и ты казался людям новым Давидом, который повторит его чудеса и добьется спасения Израиля. Но они тебя покинули, когда услышали, как ты пропо-

[1] В частности, учением о существовании загробной жизни.

ведуешь согласие и послушание. Я сам хотел стать твоим учеником, но когда услыхал, как ты на одной горе галилейской сказал, что в ответ на пощечину врага надо подставить и другую щеку, я ушел от твоих овец.

Говорит Иисус Назарянин:

— А потому, что ты не понял меня, Иисус Варавва. Народ Израиля вечно сбивают с пути его неистребимая жажда мести и его упорное желание отплатить за обиду и кровь еще пущей кровью. Против этого укорененного злопамятства и говорил я, прося подставить недругу вторую ланиту, но говорил я не о ланитах лица и никоим образом не о ланитах души, а о воображаемых ланитах, таящих пагубный гнев самолюбцев. Никогда не учил я бедных быть трусливыми, равнодушными и податливыми. Истину говорю тебе: пришел я не мир принести земле, но меч, и пришел принести огонь, и как бы мне хотелось, чтобы этот огонь уже воспылал! Но меч мой — это меч правды, а огонь мой — огонь жизни, и никоим образом это не металл и не костер, обращенные в орудия мести. Превыше всего я возношу любовь, и быть ей горнилом, преобразующим человека, и быть ей краеугольным камнем для построения иного мира. Любовь побуждает меня защищать гонимых и бросать вызов деспотам; ради любви к добру я сражаюсь со злом, ибо невозможно любить бедных и не биться за них. Завтра я буду распят, и смерть моя обратится в бурю любви, которая повергнет в прах крепостные стены душегубов, меня распинающих.

Говорит Иисус Варавва:

— А правда ли, когда ты говорил, чтобы кесарю воздавали кесарево, ты призывал смириться и платить подати Риму? Знаешь ли ты, что платить эти подати — значит признавать власть императора-язычника превыше власти Господа Бога? Знаешь, что из-за отказа платить налоги гибли целые поколения израильтян, а многие израильтяне готовы умереть и теперь? Знаешь, что сопротивление поборам стало ярким факелом самых грозных наших восстаний?

Говорит Иисус Назарянин:

— Как мог бы я восхвалять поборы, делающие бедных еще беднее, отнимающие хлеб у детей бедняков? Но я не возвел в религиозную заповедь отказ платить подати. Когда у дверей храма слуги первосвященников спросили меня, надо ли платить налоги, они хотели узнать, не бунтовщик ли я, подстрекающий нарушать законы цезаревы, чтобы в подобном случае схватить и судить меня как врага их политики. Но Сын человеческий не угодил в западню и ответил им, что любовь к богу не имеет ничего общего с уплатой налогов. То, что я предлагаю,— несравнимо более величественно и обновляюще. Я предлагаю изменить этот несправедливый мир и сделать мир иным, где ничего не будет дано цезарю и все будет отдано Богу.

Говорит Иисус Варавва:

— К завоеванию царства Бога Израилева мы шли вместе, хотя того и не знали, равви. На костях наших предков нечистые воздвигли свои роскошные дворцы, кровью наших предков полили свои бескрайние виноградники, а иноземные стражники охраняют стены Святого города; Израиль — это пес, привязанный к позорному столбу захватчиками. Но написано: настанет день, когда Иаков пустит корни, Израиль даст ростки и цветы его, и плоды покроют землю. И еще написано: с господом восторжествует и прославится род Израилев.

Говорит Иисус Назарянин:

— А я говорю тебе, Иисус Варавва, что Царство Божие —это не клад, зарытый в чистом поле и ждущий, пока отроют его руки, богом избранные; это и не сад плодовый, уготованный только нам, израильтянам, а горизонт, открытый для всех людей мира сего, и в первую очередь для бедных, которые ныне — последние. Отец небесный не только Бог евреев, а единый Бог всех сущих и пока еще неведомых народов. Цепи, опутывающие руки человека, не будут разорваны од-

ной нацией, мнящей себя для того предназначенной, а Отцом небесным, который растворит двери Царства всякому, кто постучит в них с любовью к ближнему и с верой в справедливость. Царство Божие подобно малому зернышку, которого в поле не видно среди остальных, но потом, когда оно выбьется ростком из земли, станет самым высоким кустом с такой роскошной листвою, что птицы будут вить гнезда в его тени, и не только воробьи, ласточки, вороны и дикие голуби Палестины, но птицы любой страны, любого оперения, любой песни.

Говорит Иисус Варавва:

— Ты говоришь так, будто бы сегодня ничего не случилось, равви. Будто ты и слыхом не слыхивал, что завтра тебя будут сечь бичами и прибивать к перекладине римские легионеры по наущению иудейских жрецов. Говоришь, словно ты и не видел, как разбежались кто куда твои ученики; будто и не слышал, как толпа требовала твоей смерти. Не спрашивал ли ты себя, что останется от твоих проповедей о Царстве Божьем после того, как ты в муках умрешь на столбе? Не боишься ли, что твое учение будет навсегда погребено вместе с твоими останками и что жертвуешь ты собой без всякой пользы?

Говорит Иисус Назарянин:

— Ты до сих пор не ведаешь, что Мессия, Сын Божий — это я, тот, кто с тобой говорит, Иисус Варавва. Я пришел в мир как свет, чтобы всяк, кто верует в меня, не остался во тьме. Сын человеческий был предан одним из своих апостолов и отдан в руки первосвященников и книжников синедриона. Они приговорили меня к смерти и отдали во власть язычников, язычники станут издеваться надо мной, истязать меня и убьют, но на третьи сутки я воскресну. Мир меня больше не увидит, но те, кто меня любит и следует моим заветам жить по справедливости, меня увидят, да. И я попрошу Отца небесного дать им другого заступника, который был бы с ними навечно,— дух правды. Я ухожу, чтобы вернуться, Иисус Варавва.

Говорит Иисус Варавва:

— А я скажу тебе про себя: я выйду из этой темницы, чтобы снова, как раньше, ни перед кем не гнуть спину, драться за свободу и равенство. Со мной рука об руку будет биться несметная масса безвестных мятежников, которые скорее погибнут в страшных мучениях и не устрашатся видеть, как четвертуют их отцов и братьев, чем склонят голову перед кем-либо, кроме Бога. Мы — или наши сыны, а не они, так наши внуки — освободили Иерусалим от ига, которое его гнетет.

Говорит Иисус Назарянин:

— Я предрекаю, Иисус Варавва, что никто в мире не будет сражаться с таким геройством, какое вы щедро проявите, когда встретите врага в тысячу раз более могучего, чем вы. Придет час, и весь народ последует за вами, как река овец, обращенная в бурный поток храбрых львов, и вы разобьете вдребезги римский гарнизон Иерусалима и повергнете закаленные в боях центурии, которые пошлет против вас легат Сирии, и примкнут к вашему восстанию бедные евреи всей Палестины. Суверенная империя цезарей (чьи легионы захватили самые дальние города и усмирили самые строптивые земли) будет вынуждена бросить против вас всю свою безмерную мощь, чтобы заставить вас сдаться или истребить вас навеки. На ваши головы и на ваши семьи обрушатся страшные беды, но вы не отступите. Каждый почти безоружный зелот встанет перед десятком римских солдат в латах, с копьями и на борзых конях, но вы не отступите. Голод и проказа кинутся на вас яростными волчицами, псы будут терзать ваших мертвых братьев, огонь испепелит кровли ваших домов и колыбели ваших детей, вы преклоните колена пред одром и прикоснетесь губами к смертельной ране родителя, но вы не отступите. Ваши женщины испытают муки еще более страшные, нежели ваши... И блаженны будут бесплодные, блаженны будут утробы не родившие и сосцы не питавшие, ибо боль-

шее бедствие постигнет ту, которая увидит сына своего, в муках погибшего, так станут говорить матери, но и они не отступят. Непобедимое войско римское должно будет убить последнего из вас, должно будет сровнять с землей город и храм, а победные стяги врага будут развеваться только над рядами виселиц с повешенными и над столбами с распятыми[1]. Истинно говорю тебе эти пророческие слова, Иисус Варавва, хотя знаю, что мои предсказания великих несчастий не сломят тебя, и ты без страха пойдешь навстречу своей смерти, как всегда шел и раньше.

Диалог обрывается, когда в темницу входят четыре стражника, чтобы выпустить на свободу Иисуса Варавву. Иисус Назарянин прекрасно знает, что вожак зелотов не вернется домой живым. Понтий Пилат ни за что не выполнит своего обещания отпустить злостного врага, который убил одного римского легионера и жаждет смерти многих других. Если узник приговорен к высшему наказанию за тягчайшее преступление — а с Вараввой именно так и было,— никто не имеет права отменить приговор, даже сам судья или губернатор, его вынесший, ибо только цезарь Тиберий может это сделать своей властью. «Понтий Пилат безжалостен по природе, его жестокое сердце полностью лишено сострадания; он ублажает себя тем, что притесняет и унижает тех, над кем поставлен властвовать; ему доставляет радость посылать людей на смертную казнь без всякого судьбища»,— пишут в своих пергаментах иродианские книжники, хорошо его знавшие. Да, Иисус Варавва не вернется домой живым. Дом его — лачуга без светильника и без стола, прилепившаяся к холму неподалеку от Навозных ворот, лачуга с одним оконцем, выходящим в долину Енном, как раз в тот овраг, куда люди свозят мусор и всяческие отбросы. Иисус Варавва живет там вместе с полуслепой старухой, пекущей ему хлеб и варящей похлебку. Вот уже много дней старуха ждет его, сидя у порога, но Иисус Варавва не приходит и никогда не придет. На безлюдной улице, проходящей вдоль южной стены Святого города, четверо стражников обнажат свои мечи и пронзят ими грудь и спину могучего зелота. Его огромное мертвое тело будет валяться на земле три дня и три ночи, и никто — кроме мух — не осмелится тронуть его: ни мужчины, ни женщины, ни дети. Более ничего не будет известно в Иерусалиме об Иисусе Варавве, никто не узнает даже, кому вздумается предать земле его кости.

Иисус Назарянин поднимается со своего матраца, подходит к Иисусу Варавве, который уже повернулся к решетчатому выходу, целует его в щеку и говорит:

— Истину говорю тебе: завтра будешь со мною в блаженной обители.

Голгофа

Палачи раздевают Иисуса, чтобы распять. Его тело уже не тот прямой белый ствол, что погружался в воды Иордана при крещении от рук Иоанна. Теперь его тело — изрубленное дерево, покрытое ранами и ссадинами. Его спина — полоска поля, изрытого кровавыми бороздами после сечения. Его плечи истерты в кровь корявой и тяжелой перекладиной. На его коленях, разбитых при падении о дорожные камни, запеклась кровь и пыль. Шипы тернового венца когтями впиваются в лоб, в голову. Его глаза — мутное и скорбное стекло, равнодушное к слепящему солнцу.

В последние часы он перенес самую страшную боль всей своей жизни. По воле Пилата он был привязан к мраморной колонне и жесточайше избит палачами, поочередно его истязавшими. Эти низкорослые и жидкобородые изверги распаляли самих себя истошными

[1] Речь идет об Иудейском восстании 66—73 гг. н. э. против римского владычества.

воплями и люто орудовали плетьми: палки с пятью длинными кожаными ремнями, каждый из которых нес на себе тяжелый и колючий металлический еж, со свистом резали воздух. Пилат приказал дать узнику тридцать девять ударов (это число было такой же иудейской традицией, как омовение рук), но палачи не утруждали себя счетом. Когда число ударов перевалило за шестьдесят, истязание сменилось бранью и плевками — старания изуверов отнюдь не были направлены на смягчение бесчеловечной расправы прокуратора. «Привет тебе, царь иудейский!» — кричали они жертве, оплевывая и пиная ее. Затем на изувеченное тело накинули пурпурную мантию, которая, впрочем, была не мантией [1], а куском старой римской хламиды; сплели терновый венец, напялили на голову, и казалось, будто тернии зелеными побегами выбиваются из-под волос. Сам Пилат показал его еще раз орущей толпе (уже избитого, уже истекающего кровью, уже в шутовском наряде царя), дабы еще раз услышать вопль «Распни его!» и окончательно успокоить свою совесть. Сам Пилат написал на дощечке слова «Иисус Назарянин, царь иудейский», чтобы все их видели на предназначенном ему столбе. Напрасно первосвященники и книжники возражали против такой надписи, заверяя, что иудеи не признают иного царя, кроме Тиберия, и клянясь, что дадут отрубить себе руку, лишь бы Иисус не был объявлен иудеем. Центурион, ведавший церемонией казни, и четверо его солдат вывели узника из крепости Антонии, взвалив ему на плечи бревно для креста. Конный центурион возглавлял процессию, обливаясь потом под солнцем, искрившимся на золотой чешуе его кирасы. Процессия направлялась к Эфраимовым воротам по узким улочкам, битком набитым людьми, отовсюду пришедшими на празднества Пасхи; из верхних окошек домов выглядывали широко раскрытые глаза, испуганные лица. Какой-то карлик, одетый в красное, семенил рядом и оглушительно бил в барабан, хотя делать этого никто его не просил и не обязывал. Следом бежали зловещие псы, которые умели карабкаться на столбы, чтобы урвать кусок-другой от тела казненных. Иисус спотыкался и падал на колени, но палачи стегали его и заставляли вставать. Центурион, боясь, что этот изможденный человек умрет раньше срока, подозвал крестьянина, возвращавшегося с работы, и велел ему помочь смертнику тащить бревно. В толпе поднялся дикий гам, но ни один крик не был криком одобрения или радости за Назарянина. Только ученица Иисуса по имени Мария Магдалина и другие женщины, в отдалении следовавшие за ней, заплакали и стали бить себя в грудь в знак печали. Одна из них подошла ближе, чтобы обтереть платком испачканное лицо мученика; ему почудилось, будто он узнал лицо Марфы, той, что всегда старалась услужить ему. Марфа бережно вытерла кровь на лбу и спрятала на груди платок, запечатлевший на своих нитях Христову боль. Подчиняясь пророчеству Исаии, раб Божий не издавал ни звука, ни стона, как агнец, ведомый на заклание. Был уже шестой час, и солнце сияло на небе, когда процессия подошла к холму, где должны были распять Иисуса.

Палачи обнажают изувеченное тело приговоренного к смерти. Его кладут спиной на бревно, которое он тащил от претории. Раскидывают в стороны его руки, как крылья альбатроса, и торопливо прибивают их к дереву. Сосновое бревно небрежно обтесано и усеяно струпьями коры и острыми зубьями щепок. Палачи, орудующие молотками с ловкостью кузнецов, бьют по шляпкам гвоздей. Гвозди пронзают кожу, ткани, нервы, дробят мелкие кости ладони. Ручейки крови струятся из перебитых вен. Пальцы судорожно скрючиваются, как корешки, а большие пальцы, словно вывихнутые, топырятся в сторону. Палачи привязывают веревкой перекладину вместе с телом Иисуса к голому стволу, который одиноко высится на холме в ожи-

[1] В синодальном русском переводе Библии — «багряница».

дании двух своих ветвей, и столб становится крестом. Так же, как прибивали руки, прибивают болтающиеся ноги: пронзая мускулы, разрывая нервы, разбивая кости, проливая ручьи крови. Во время этого действа жрецы Каиафы трясутся в патриотическом экстазе: они убивают одного человека, чтобы спасти целый народ. «Ты, разрушающий храм Божий и снова созидающий его в три дня, спаси себя, сойди с креста!» — говорят они. «Если ты Сын Божий, если ты угоден Богу, пусть Он избавит тебя теперь»,— говорят они. Солдаты Пилата чуть не падают со смеху и ждут минуты, когда смогут поделить между собой одежду умирающего. Обессиленный, полумертвый Иисус едва шевелит губами, тщась произнести слова покаяния.

Рядом высятся еще два креста, на которых висят мужчины, как и он, приговоренные к смерти. Иисус не видит их, но слышит их проклятия и хриплые стоны. Это два зелота, последователи Вараввы, которые должны были быть распяты со своим вожаком, но Пилат распорядился иначе. На дощечке, где указана их вина, кратко написано: «бандит». Так именуют римляне всякого, кто участвует в мятежах против власти цезаря. Это же слово должно было стоять и на дощечке Иисуса, если бы не злокозненность Пилата, придумавшего издевательскую фразу. Одного из обреченных зовут Димас, и он очень известен в бедняцких кварталах Иерусалима. Имя другого осталось тайной: он отказался отвечать на допросах в претории и не выдал себя под пыткой. Оба в криках изливают муку, но люди слышат не жалобные вопли, а дикий рев проклятий.

Иисус Назарянин не кричит. Молча страдающий, обливающийся кровью и потом, он терзается еще и жаждой, мучающей всех распятых, жгущей нутро каленым железом. Он видит облака, слышит шум, ощущает свои страдания, но гвозди обрекают его на неподвижность, руки не могут отогнать даже мух, облепивших раны; когда ноги тянутся к земле, которая от них так далека, пытка становится невыносимой, боль пуще того обостряется. Там, внизу, горланят торговцы съестным, тявкают собаки, спорят из-за его хитона солдаты, плачет и целует его ступни Мария Магдалина, непрерывно бьет в барабан мрачный карлик. В его мозгу, бесконечно страдающем, и по его губам, бесконечно сухим, легким отзвуком скользят строки псалмов Давида, которые Иосиф, его отец, читал ему в Назарете: *Боже мой! Боже мой! Для чего Ты оставил меня? Боже мой! Я вопию днем,— и Ты не внемлешь мне, ночью,— и нет мне успокоения... Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет... Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои... Поспеши на помощь мне; избавь от меча душу мою и от псов...*

Смерть наступает неторопливо, по капле вычерпывая жизнь изнурением и жаждой. Один из солдат прикоснулся губкой, смоченной в уксусе, к его рту. Воздух уже не проникает в опавшие легкие; голова болит больше всех ран, дуновением проносится стих Давида: *«К Тебе, Господи, возношу душу мою. Боже мой! на Тебя уповаю...»* В начале псалма сердце разрывается, он роняет голову на грудь и умирает.

Мария Магдалина

Из всех учеников не бросила Иисуса после взятия его под стражу одна только Мария Магдалина, женщина, которая теперь рыдает и целует ему ступни, скорчившись у деревянного креста.

Мария родилась в Магдале, в поселке рыбаков на берегу Генисаретского озера, в семье зажиточного владельца пшеничных полей, оливковых рощ, виноградников и многих рыбачьих лодок. Позже семья переселилась в Тивериаду — город, воздвигнутый тетрархом Иродом Антипой во славу императора Тиберия. Ирод Антипа перенес

столицу Галилеи из Сефориса в Тивериаду, построил в новом городе роскошный царский дворец, великолепные термальные бани, стадион для олимпийских игр, снабдил столицу советом — или парламентом — из шестисот членов; открыл школу, где обучением занимались раввины, а также другие школы, где изучали латынь и греческий язык. Ирод Антипа всячески старался заманить сюда именитых посетителей. Богатые евреи, устремлявшиеся со всех сторон в Иерусалим на праздники, обычно не миновали пышного портового города Галилеи, чтобы посмотреть турниры атлетов, испытать блаженство в термах, почтить своим присутствием пиры, которые устраивал в своем дворце тетрарх. Приезжали иноземцы из Сирии, с Кипра, из Каппадокии, из Фракии, из Аравии, из Египта, и все возвращались домой с уймой подарков и ярких воспоминаний. Но более всех расцвету города Ирода Антипы содействовали римляне и афиняне: Рим был колыбелью войн, а Афины — колыбелью идей. В школы Тивериады из Греции приглашали учителей музыки, танцев, истории, ваяния и всяческих наук. Познание вызволяет человека из тьмы и мира суеверий, наслаждение и счастье суть конечная цель нашего бытия, поверхность всех вещей источает флюиды, проникающие в наш мозг и открывающие нам образ мироздания; истина состоит в том, что́ открывают нам наши чувства (даже когда мы спим),— такую философию несли эллинские менторы молодым галилеянам, устремившимся в их аудитории.

Мария Магдалина предоставила полнейшую свободу своим чувствам и скоро стала самой прославленной куртизанкой Тивериады. Ее красота пьянила, как кровь винограда, ее волосы отливали янтарным блеском, голубым солнцем сверкали ее глаза, аромат лаванды и апельсиновых цветов возвещал о ее появлении, на языке у нее были мед с молоком, а грудь ее была трепетна, как газель, в ее скрытом саду был колодезь с живой водой. Знатные царедворцы и ценители красоты восхищались ее ногами, всегда оголенными в неистовой пляске; ее ртом, всегда полуоткрытым для жаркого поцелуя.

Мария Магдалина верила всей душой, что наслаждение и счастье — это одно и то же, одно единое целое, пока семь бесов не вселились в ее тело и не толкнули на греховную стезю. Первым овладел ею бес тщеславия: она самая прекрасная женщина Галилеи, говорили глядевшие на нее мужчины; об этом же говорили зеркала в ее доме и воды озера; это выдавали завистливые взгляды придворных матрон. Вторым был бес сладострастия, бес, подстрекавший к распутству, дававший знать о себе стоном мужчин, которые ею обладали, и униженными мольбами тех, кто не мог и никогда не смог бы ею обладать. Третий бес звал ее отведать самые изысканные кушанья на серебряных блюдах и пригубить самые душистые ликеры в золотых кубках. Четвертый бес погружал в долгий сон, словно усыпляя беленой, и заставлял нежиться на пуховых подушках и шелковых простынях, пока солнце не перебиралось на другую сторону небосвода. Пятым был демон лжи, который побуждал ее говорить нелюбимому любовнику, что она его любит, шептать, что жаждет его, когда на самом деле она его презирала; обещать ему, что убежит с ним туда, куда и не думала убегать. Шестым демоном стало горькое чувство обманутых надежд, сознание того, что все волшебство ее наготы никогда не поможет ей повлиять на судьбу человека или на историю страны; в мечтах перед ней представали несравненные образы Далилы, Иудифи, Есфири, Фрины, Клеопатры, Юлии.

Последним в ее сердце проник бес грусти и сомнения, и вошел он в настежь распахнутые двери. Не была ли та девушка, что, не помня себя, танцевала на празднествах, и поднимала кубок с густым вином, и поутру просыпалась на груди чужеземца, не была ли та девушка не она, а другая, не нашедшая своего настоящего места в жизни; не были ли ее красота и обаяние маской, подобной той, что скрывает

лица актеров в трагедиях греческих поэтов? Бес тоски и печали стал ветром пустыни, уносившим радость жизни, стал воображаемой горестью, заставлявшей ее плакать в темных углах; повязкой на глазах, мешавшей разглядеть в глубине самой себя черты собственного «я».

Как раз в эту пору пришла утешить ее Иоанна, жена Хузы, одного высокого сановника при дворе Ирода Антипы, и рассказала ей об Иисусе, галилейском равви, в которого сама она верила и которому помогала всеми своими средствами. Иоанна повторила ей изречения и притчи Учителя и поведала историю, которая заставила Марию онеметь от изумления. Иоанна сказала:

— Однажды в Иерусалиме, когда Иисус сидел на паперти у дверей храма, к нему подошли книжники и фарисеи, силой таща за собой женщину. Ее на рассвете застали в постели с мужчиной, который не приходился ей мужем, и книжники с фарисеями выволокли ее на улицу, чтобы забить камнями. Книжники и фарисеи сказали Иисусу: «Эта женщина убежала из дому, предалась блуду с иноземцем, стонала от блаженства и плотского ублаготворения под римским солдатом, которого раньше и в глаза не видала; мы должны побить ее камнями, а ты что на это скажешь?» Иисус молчал, сидел на паперти и выводил на камнях какие-то знаки своим ясеневым посохом. Фарисеи и книжники, тая желание получить такой ответ, чтобы потом можно было бы состряпать извет в синедрион, повторили свой вопрос: «Моисеев закон велит насмерть побивать камнями женщин за прелюбодеяние, а ты что скажешь?» Иисус наконец встал, посмотрел им прямо в лицо и вымолвил: «Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень!» Лицедеи переглянулись: каждый из них хорошо знал грехи другого... Сначала стали уходить старики, а потом ушли и другие, и Иисус остался один с женщиной, изменившей мужу. Тогда Иисус обратился к ней: «Где же твои обвинители? Видишь, ведь никто не посмел осудить тебя?» «Никто, Господи»,— ответила женщина со слезами. А Иисус сказал еще: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». А сам опять сел на паперть и стал чертить на камнях какие-то знаки своим ясеневым посохом.

Иоанна, жена Хузы, рассказала ей также и о чудесных исцелениях, сотворенных Иисусом: он уврачевал язвы прокаженного, поднял на ноги паралитика, изгнал бесов из одержимого, вернул к жизни мертвую девочку,— однако ничто так не поразило воображение Марии Магдалины, как история о прощении блудницы, ибо эта история несла в себе противление жестокому закону древних и власти первосвященников, а еще потому, что такого же прощения жаждала ее душа, чтобы возвратить радость жизни.

Мария Магдалина решила увидеть Иисуса. Учитель, ни разу не ступивший на мерзостные камни Тивериады, находился в то время в Магдале. Куртизанка Мария Магдалина проделала путь к тому месту, где она родилась, где все знали ее и все презирали. Там она прослышала, что Иисуса пригласил на ужин фарисей по имени Симон. Мария Магдалина вошла в дом Симона и тотчас узнала среди гостей Иисуса, хотя ей никто его не указывал. Она с решимостью направилась к нему, бросилась ему в ноги и стала их целовать, и лить на них слезы, и умащивать ароматическим маслом, которое принесла с собой в алебастровом сосуде. Хозяин дома Симон вышел из себя и шепнул Иисусу, что эта женщина — известная в городе грешница. На это Иисус ответил: «Когда я вошел в твой дом, ты не предложил мне воды омыть ноги, а эта женщина омыла их своими слезами, и отерла их своими волосами, и умастила благовониями. Ты в знак приветствия не поцеловал меня в щеку, а она целует мне ноги. И говорю тебе: если в ней столько надежды и благодарности, значит, пришла она за прощением своих великих грехов и знает, что они будут ей прощены». А Марии Магдалине он сказал: «Твои грехи тебе отпущены во имя твоей душевной любви. Твоя вера дарует тебе спасение, иди с миром».

И в этот самый миг все семь бесов, устрашась твердой и милосердной руки Иисуса, испарились из тела куртизанки.

Вот так Мария Магдалина родилась заново на свет с помощью раскаяния, которое перевертывает сознание; с помощью веры, которая дает душе крылья; с помощью любви, которая обращает сажу в светлую россыпь звезд. Мария Магдалина, освободившись от семи бесов, присоединилась к апостолам, шедшим вослед за Иисусом. Она, блудница, перестала быть блудницей, чтобы обратиться в возлюбленную Бога, так же как Матфей перестал быть мытарем, чтобы снова стать слугой обездоленных. Мария Магдалина села у ног Иисуса, и задумчиво слушала его наставления, и понимала то, чего апостолы так никогда и не поняли. Мария Магдалина следовала через все селения за Назарянином, прикованная к нему любовью душевной, ничего общего не имеющей с любовью плотской, так как свою душевную любовь мы желаем разделить со всеми, кто нас окружает, а телесная близость — это страсть, которая не терпит дележа.

Гибель Иисуса, его распятие станет несчастьем, которого не избежать, Мария Магдалина знала это с поразительной твердостью. Он никогда не употребит свою силу Сына Божьего, чтобы уничтожить врагов, собравшихся его погубить,— это означало бы изменить собственным принципам, согласно которым лишь любовь может обновить и спасти нас. Он предпочтет врачевать раны мира своими собственными ранами и взвалить на собственные плечи страдания и слабости всех людей. Его мучения и смерть не погасят пламени справедливости, а разожгут огромный костер искупления.

Апостолы не были теми, кто имеет уши и слышит. Петр осмелился возразить Учителю, когда тот возвестил о своей близкой и страшной смерти. «С тобою этого никогда не случится»,— сказал Петр, и Иисус был вынужден отчитать его. Но сколько бы раз он потом ни говорил апостолам о своем предназначении скорбящего раба Божьего, они не могли постичь сути его слов и боялись просить разъяснения.

За шесть дней до Пасхи Иисусу захотелось посетить селение Вифанию, где он сотворил свои самые благие дела и где жили его самые добрые друзья. Он ужинал за столом Симона Прокаженного — прозванного так за свою болезнь до того, как Иисус излечил его,— когда в комнату вдруг вошла Мария Магдалина с великолепным алебастровым сосудом в руках, наполненным дорогим нардовым миром. Мария Магдалина пришла помазать ему ноги, как в ночь их первой встречи, опасаясь, что эта ночь будет последней. Она открыла сосуд и пролила благоуханное масло на голову Учителя. Апостолы проявили недовольство такой расточительностью, а Иуда, казначей, который носил общий денежный ящик и пока еще не предал Иисуса, громко выразил их досаду, сказав, что триста динариев, которые стоили этот сосуд и это миро, лучше было бы раздать нищим, таково было его объяснение. Но Иисус заступился за женщину, сказав:

— Оставьте ее, не троньте. Нищие всегда будут при вас, и вы проявите свое милосердие, но я не всегда буду с вами. Она помазала мои волосы миром заранее, чтобы сберечь его в день моего погребения, ибо земля уже шевелится, чтобы принять меня.

Апостолы не слышали этих возвещений Учителя о его скорой и насильственной смерти, и только Мария Магдалина предчувствовала, что агнца Божьего вот-вот поведут на заклание. Поэтому, когда нагрянула беда и Иисуса схватили, когда пришел час истязаний и распятия, одиннадцать апостолов бежали в поисках укрытия, а Мария Магдалина осталась с ним. Они обратились в бегство, пораженные тем, что случилось нечто совсем непредвиденное. Иисус не был ни Сыном Давида, ни воинствующим Мессией, который обратил бы в прах любого, кто посмел бы поднять на него руку; он оказался беззащитным плотником из Назарета, которому предстоит умереть, прибитым к столбу, как умирали все мятежники из Галилеи. Скорее поэ-

тому, нежели из страха подвергнуться той же участи, бежали апостолы. Напротив, Мария Магдалина не отступила, ибо она поняла спасительный смысл этой смерти, которую ее истерзанная душа не умела предотвратить.

Мария Магдалина застыла, скорчившись, у подножия креста. Один из солдат Пилата вонзил копье под ребро распятого, и из раны скатились только последние капли крови и лимфы — смертной воды. Двое слуг богатого и великодушного Иосифа из Аримафеи сняли труп и унесли, чтобы похоронить в ближайшем саду. Мария Магдалина и еще бывшие с ней четыре женщины следовали за ними до склепа в скале, а потом разошлись по домам приготовить благовонную смирну для умащения тела.

Мария Магдалина потом снова поднимется на Голгофу, влекомая желанием еще раз увидеть возлюбленного своей души. Он воскрес, и она это знает. История Иисуса не может закончиться таким поражением, таким отчаянием, прийти к такому бесплодному, трагедийному финалу. Нужно, чтобы он преодолел смерть, чтобы он победил смерть, как не побеждал ее еще никто и никогда,— иначе будет бесплодной легендой его чудесная жизнь, а семена его учения не дадут ростков и развеются среди скал и забвения. Он возвестил пришествие Царства Божьего, и Царство Божие родится из его смерти, как рождается из ночи дивное разлитие зари. Своим воскресением Иисус Назарянин победит ненависть, нетерпимость, жестокость и самых заклятых врагов любви и милосердия. Вместе с ним воскреснут все те, кого он любил и защищал: униженные, оскорбленные, бедняки, которые никогда не дождутся освобождения, если он не разобьет вдребезги стены, возводимые смертью.

Мария Магдалина видит, что камень, закрывавший склеп, отодвинут, а в склепе нет тела Иисуса. Его ученица в изумлении смотрит на траву, которая не смята вокруг скалы с гротом, куда положили Учителя. Вдруг ей слышатся шаги, а голос, который она принимает за голос садовника, ей говорит:

— Почему ты плачешь, женщина? Кого ищешь?— Она отвечает:

— Кто-то взял тело моего Господина, и я не знаю, куда его дели; если ты его взял, скажи, куда положил, я побегу туда.

Но, оказывается, не садовник с ней говорит, а сам Иисус; никогда она не видела на земле что-нибудь белее, чем белизна его одежд: его глаза источали вековечный свет того, кто на миг узрел вечность,— именно этот взгляд и помешал ей его узнать. Тогда голос Иисуса говорит: — Мария! — А она отвечает: — Учитель! — и хочет броситься к его ногам, целовать их. Но Иисус ее отстраняет и говорит: — Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вознесся к Отцу небесному. Иди и скажи моим братьям, что ты меня видела.

Ночью бежит она сообщить об этом апостолам, как велел ей Иисус. Только Мария Магдалина знает, где они укрываются. Они укрываются в предместье Иерусалима, в доме с запертыми дверями, сраженные горем и потерявшие всякую надежду. Она приносит им благую весть, рассказывает им о чудесном явлении, но никто из одиннадцати ей не верит. Фома, рыбак с квадратной рыжей бородкой, говорит: «Если я не увижу на его руках ран от гвоздей, если не дотронусь своими пальцами до этих ран и не положу руку свою на его ребра, не поверю». Варфоломей, знающий наизусть всего Екклезиаста, говорит, что женщина — сеть и ее лживость и выдумки всегда сбивают мужчину с пути. Мария Магдалина повторяет, рыдая, слова Иисуса, сказанные в саду, но они отказываются ей верить. В конце концов ей удается убедить Петра, только одного Петра, которого Иисус предназначил продолжать свое дело и которому дал ключи от будущего.

Петр, уже осознавший, какая всеобъемлющая мощь будет исходить от Иисуса, распятого и овеянного мученической славой, идет за

женщиной к Голгофе. Самый выдающийся из апостолов Христа и самая преданная из его учениц вместе поднимаются посмотреть на пустой грот и брошенную плащаницу. По дороге Мария Магдалина говорит Петру:

— Он воскрес, чтобы сбылись пророчества Писаний и обрели силу его собственные заветы. Он воскрес, и уже никто снова не предаст его смерти. Хотя новые саддукеи и постараются превратить его учение из меча бедняков в щит для богачей, оберегающих свое добро, они не смогут убить его. Хотя новые ироды и вознамерятся использовать его имя, чтобы утяжелить ярмо, взваленное на их узников, им не удастся убить его. Хотя новые фарисеи и попытаются изуродовать его заповеди в клещах фанатизма и задушить вольную мысль людскую, они не в силах убить его. Хотя под хоругвями его убеждений и возгорятся несправедливые войны, и запылают костры для пыток, и будут унижены женщины и порабощены народы и расы, никому не удастся убить его. Он воскрес и будет жить вечно в музыке воды, в цветении роз, в смехе ребенка, в глубинной жизненной силе людей, в мире между народами, в возмущениях бесправных, да, в возмущениях бесправных и в любви без слез.

Краеугольный камень творчества Мигеля Отеро Сильвы

Свыше трех лет Мигель Отеро Сильва напряженно работал над последним в его жизни произведением, не раскрывая кому-либо своего творческого замысла. Даже на расспросы бравшего у него в декабре 1982 года интервью корреспондента крупнейшей венесуэльской газеты «Эль насьональ», основателем которой был писатель, он полусерьезно-полушутливо ответил:

«Не говорю никому об этом. Я — марксист, но все же суеверен. Если заранее разглашу название или тему романа, боюсь — падет на мою голову заклятие цыганки или нечто похожее».

Впервые, как сообщила латиноамериканская пресса, он заговорил о новом романе спустя почти два года, незадолго до выхода книги в свет.

Однако в письме, датированном 24 марта 1983 года, Мигель Отеро Сильва писал автору этих строк:

«...конфиденциально уведомляю тебя насчет моего будущего романа, до сих пор я не позволял себе проговориться об этом. Речь идет о некоем старческом сумасбродстве, коему нет прощения Божьего. Работаю, мой дорогой Юрий, над беллетризированной биографией персонажа, который трактовался больше всех в истории мировой литературы, которого изучали и истолковывали просвещеннейшие мастера, включая Достоевского и Толстого. Я имею в виду, разумеется, Иисуса из Назарета, и вероятнее всего — не то непременнее всего,— после этого эксперимента у меня будет больше переломанных ребер, чем у Дон Кихота после его очередного приключения. Так или иначе, мною уже написана половина книги, и завершу работу над ней, если удастся сбежать за пределы моей ошалевшей родины, но теперь не в Англию, а в Италию, которая не воюет за Мальвинские острова, да и не за что на свете.

О таком Иисусе из Назарета публиковались миллионы книг на всех языках Вселенной. Чтобы вникнуть в соответствующую библиографию, потребовалось бы прожить еще полвека, заточив себя в библиотеке, а подобным биологическим чудом только сам Иисус мог бы меня удостоить. Посему ограничусь несколько поэтическим повествованием о том, что сотворил Назарянин в течение двух или трех лет жития в Палестине; в качестве основных источников использую рассказы четырех евангелистов...»

Далее Мигель с присущей ему ироничностью присовокупляет: «Как бы то ни было, ставка сделана, знаю — влетит мне, но ведь один китайский ученый замечал: «Никогда не поздно выглядеть смешным».

В творчестве Мигеля Отеро Сильвы создание романа о Христе, по суждению латиноамериканских критиков и литературоведов, явилось чем-то неожиданным.

Да и вообще взгляд в прошлое, тем более в далекое прошлое, прежде воспринимался бы как нечто несвойственное писателю, жившему современностью и ее проблемами, что соответствовало его гражданской позиции, и на протяжении десятилетий воссоздавшему широкую панораму действительности Венесуэлы XX века, рисовавшему в своих произведениях портреты соотечественников, зачастую знакомых, друзей, соратников по совместной борьбе за демократию и прогресс.

Ярким свидетельством того служат его романы — кстати, все они переведены на русский язык и издавались в Советском Союзе — «Лихорадка», «Мертвые дома», «Контора № 1» (в русском переводе — «Город в саванне»), «Смерть Онорио» (у нас издан под названием «Пятеро, которые молчали»), «Когда хочется плакать — не плачу»...

Все-таки заглянем в заключающий этот перечень роман (он так же, как и кое-какие другие, печатался в нашем журнале), в котором поднимаются жгучие вопросы, будоражащие молодое поколение венесуэльского — да и не только венесуэльского — народа.

Жизненные пути трех молодых героев — или антигероев — в романе «Когда хочется плакать — не плачу», принадлежавших трем различным социальным слоям венесуэльского общества, трагически оборвались в один и тот же день. В один и тот же день трагически оборвались в прологе к роману жизни четырех братьев, служивших в войске Римской империи — по обвинению «в христианстве» они были приговорены трибуналом императора Диоклетиана к жесточайшему наказанию, обрекающему на смерть.

Действие «Христианского пролога» развертывается, как указывает писатель, в начале четвертого века, в эпоху преследования христиан в императорской армии.

Действие самого романа происходит, по определению писателя, с 1948 по 1966 год в столице Венесуэлы.

Ничто как будто не связывает судьбы восемнадцатилетних венесуэльцев нашего времени с судьбой древнеримских молодых солдат, бросивших вызов империи и позднее объявленных великомучениками католической церкви.

— Тебя удивляет ретроспектива «Христианского пролога»? — переспросил Мигель, когда мы беседовали на его вилле в Каракасе.— Верно, у меня это впервые. А почему бы и нет? — добавил он, улыбнувшись, но сразу же перешел на серьезный тон.— В этом романе я пишу о духовном кризисе, охватившем известную часть нашей молодежи, ни во что не верящей, пускающейся на авантюры. Экстремизм всяческого толка приводит к бессмысленным жертвам. Роман прежде всего адресован читателям моей страны, чуть ли не три четверти населения которой моложе двадцати лет,— страны католической. Я подумал об антитезе романа. Так появился пролог с солдатами-христианами, взбунтовавшимися против языческой Римской империи и до смертного часа отстаивавшими идею, которую они считали справедливой.

Обращение к прошлому, столь четко определившееся в «Христианском прологе» к роману «Когда хочется плакать — не плачу», по сути явилось продолжением, дальнейшим развитием неустанных творческих поисков художника. И ранее в любом произведении Отеро Сильвы, имеется в виду его проза, просматривалось экспериментаторство ищущего, всегда находящего что-то новое.

На пороге своего семидесятилетия Мигель Отеро Сильва пишет исторический роман «Лопе де Агирре, Князь Свободы», произведение новаторское не только по своим литературным особенностям — стилю, изобразительным средствам, структуре,— но и выделяющееся новым освещением главного героя — конкистадора XVI века, порвавшего с испанской короной и, по оценке Симона Боливара, выдвинувшегося как предвозвестник независимости Латинской Америки.

Роман о Лопе де Агирре стал поворотным этапом в творчестве Мигеля Отеро Сильвы (подробнее — в моем предисловии к роману, опубликованному в «ИЛ», № 9 за 1981 г.). Не могу не напомнить слова Мигеля Отеро Сильвы, высказанные им на заседании в Венесуэльской академии языка, посвященном обсуждению этого романа: «...своего Лопе де Агирре я писал после многих лет исследований и размышлений, движимый главным образом духом справедливости, тем же самым духом справедливости, который направлял меня в создании всех моих предыдущих произведений».

Дух справедливости — это так характерно для Мигеля: такой путеводной звездой он руководствовался и в своем творчестве, и в своей невероятно активной, насыщенной жизни литератора, политического и общественного деятеля.

Духом справедливости, конечно, продиктован писателю и роман «о камне, который стал Христом».

В связи с этим последним произведением писателя в памяти всплывает одна из наших бесед с Мигелем. Не без чувства гордости он показывал свою богатую коллекцию древних византийских и русских икон, приобретенных им в разных странах (между прочим, ни одна из этих икон не была куплена им или подарена ему в нашей стране). Для него эти иконы были бесценными памятниками мировой культуры, творением человеческого гения. Разговор тогда зашел и о прочтенном им во французском переводе романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В этом романе, по словам Мигеля, произвели на него особое впечатление эпизоды, живописующие последние дни жизни Иисуса Христа: «Ближе моему сердцу... — подчеркнул писатель. — Тут Иисус...»

«Тут Иисус...» Почему это для него особенно важно? Многолетние дружеские отношения с Мигелем тотчас же подсказали мне все, что я знал о нем: борьба против антинародной диктатуры генерала Гомеса; участие в подпольной конференции в марте 1931 года, на которой была основана Коммунистическая партия Венесуэлы; верность прогрессивным идеям, марксистское мировоззрение, приверженность материалистической философии. И заявление Мигеля о том, что изучение трудов Ленина вызвало у него «полную трансформацию взглядов на историю и человека». Вспомнились и антиклерикальные «коплас» — сатирические четверостишия, собранные в книжки «Небесные создания», вышедшей под псевдонимом («баскский иезуит Иньяки до Эррандонеа»).

И вот новый роман увидел свет, вначале появившись в Колумбии, он молниеносно приобрел континентальную известность, несколько раз переиздавался, вызвав большой резонанс. На книгу откликнулись историки, богословы, литературоведы, критики, писатели.

Видный писатель и религиозный деятель академик Педро Пабло Барнола отмечал: исключительный случай в литературе Венесуэлы, что пользующийся высоким авторитетом в стране и за границей литератор посчитал своим долгом написать книгу об Иисусе. По мысли Барнолы, у книги нет определенного жанра — автором не уточнено, история это или биография, романизированное жизнеописание или просто роман, да в этом и нет нужды, каждый читатель воспримет ее в соответствии с собственным пониманием и убеждением...

Падре Барнола припомнил следующее: великий мексиканский художник Сикейрос, проведший более четырех лет в тюрьме, почти в строгой изоляции, тоже по-своему увидел Христа, взял кисть и черной краской изобразил на белом фоне фигуру измученного, изуродованного, обезображенного, но сохраняющего гениальные черты человека, и назвал его «Мой Христос». Грубый набросок будто кричит: «Христианин, что ты сделал из Христа в течение этих двадцати веков?» А теперь, продолжал падре Барнола, ветеран литературы, создавший блестящие произведения, вызывающие всеобщее восхищение, написал такую книгу, которая заставляет вспомнить о «краеугольном, драгоценном камне», когда профанация идеалов стала знамением времени, и будто вновь звучит голос, призывающий людей построить лучший мир.

В другой статье падре Барнола сообщал, что Мигелю Отеро Сильве, обратившемуся к нему за консультацией в процессе работы над рукописью книги, он выразил свое полное одобрение. На вопрос Барнолы «Мигель, зачем ты написал это?» писатель ответил: «Видите ли, монсеньор, это великая тема, основа основ культуры, и мы, христианские народы, не можем допустить, чтобы ее игнорировали, поскольку сыграла она значительную роль в истории человечества».

Позднее Мигель Отеро Сильва скажет в интервью для прессы: «Я не богослов, не историк, не эрудит, всего-навсего скромный романист, и потому меня повергли в ужас джунгли литературы о Христе, но поддержала меня муза поэзии и непримиримость к любой несправедливости. А после того как я пробежался по этим торжественнейшим, возвышеннейшим, мудрейшим трудам немецких философов и французских епископов, решил придерживаться евангелистов» (в цитированном выше письме он ссылался на то, что начал работать над рукописью в Лондоне, где, в частности, мог ознакомиться с нужными для книги материалами, которых, как видно, не оказалось в Каракасе).

Как «выдающееся произведение» оценил роман член Национальной академии истории Венесуэлы Рамон Гонсалес Паредес, по мнению которого, Мигель Отеро Сильва предложил «новое прочтение Евангелия, выявляя духовную суть христианства». Его точку зрения разделяет большинство рецензентов разных идейных взглядов, полагающих, что в данном случае Отеро Сильва не свел свое произведение к простому пересказу библейского сюжета, а с позиции писателя-реалиста, мыслителя, человека конца XX столетия на первый план выдвинул те непреходящие общечеловеческие ценности, которые изначально были заложены в первоэлемент христианства.

Кульминацией творчества Мигеля Отеро Сильвы, «всегда стоявшего на стороне правого народного дела», находит роман «И стал тот камень Христом», наряду с романом о Лопе де Агирре, член Центрального комитета Коммунистической партии Венесуэлы, экс-кандидат в президенты республики, писатель Эктор Мухика.

Содержательному, глубокому анализу последний роман Отеро Сильвы подверг профессор Центрального университета Венесуэлы Алексис Маркес Родригес, в обширном исследовании рассмотревший это произведение в аспектах историческом, социальном, политическом, а не только религиозном. В труде, изданном Национальной академией истории, проф. Алексис Маркес Родригес обращает внимание на то, что Мигель Отеро Сильва не ставил своей задачей дать лишь образ, «лик» Иисуса — проповедника свободы для всех народов, обличителя зла, пороков современного ему общества: писатель видит Христа концептуально, подчеркивает, что его враги «выдвигали против него обвинения преимущественно политического характера». Идеями равенства и братства между народами, гуманизма человеческих отношений, высокой нравственности проникнуто послание проповедника со страниц книги Мигеля Отеро Сильвы, отвергающего все, что использовалось правящими классами и реакцией в своих интересах, против интересов народа. По суждению проф. Маркеса Родригеса, в названиях всех пятнадцати глав, составляющих книгу, не случайно отсутствует имя Иисуса — речь идет о принципах христианства вообще.

Ключом к постижению важной идеи романа Маркес Родригес, как и другие критики, считает беседы Иисуса зи Назарета и Иисуса Вараввы в темнице Понтия Пилата. Иисус из Назарета говорит «вожаку партизан»: «Никогда не учил я бедных быть трусливыми, равнодушными и податливыми. Истину говорю тебе: пришел я не мир принести земле, но меч, и пришел принести огонь, и как бы мне хотелось, чтобы этот огонь уже воспылал! Но меч мой — это меч правды, а огонь мой — огонь жизни, и никоим образом это не металл и не костер, обращенные в орудия мести. Превыше всего я возношу любовь, и быть ей горнилом, преобразующим человека, и быть ей краеугольным камнем для построения иного мира. Любовь побуждает меня защищать гонимых и бросать вызов деспотам; ради любви к добру я сражаюсь со злом...»

«...и быть ей краеугольным камнем для построения иного мира». Сколь бы ни были различны, даже полярны, суждения невольно встретившихся собеседников, оба они стремятся к изменению существующего строя, опирающегося на насилие и угнетение, и Иисус Назарянин в изображении Мигеля Отеро Сильвы отнюдь не выглядит пассивным, самим воплощением непротивления злу.

Для названия романа Мигель Отеро Сильва избрал финальную строку поэмы-псалма Сан Хуана де ла Круса, одного из представителей Золотого века испанской культуры, современника Сервантеса. Поэт и теолог передает в своем псалме стенания изгнанников, потерявших растерзанную и захваченную врагом родину, оплакивающих священные родные камни, как бы олицетворяющие образ Христа. Скорбные строки мистического псалма поэта XVI века, навеянные Книгой пророка Исаии («...камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный») и Первым посланием к коринфянам апостола Павла («...пили из духовного последующего камня, камень же был Христос»), словно обрели новое преломление в романе Отеро Сильвы, побуждая задуматься о тех событиях, свидетелями, если не участниками, которых стали люди нашего столетия.

В художественном произведении Мигель Отеро Сильва не раз переосмысливает канонические тексты, на правах поэта пополняя творческим воображением, усматривает некую связь между столь разными эпохами, затрагивая актуальную проблематику наших дней. Во имя объединения усилий всех людей — верующих и атеистов — ради сохранения мира на Земле.

Идеи свободы, независимости, социальной справедливости, интернациональной солидарности, защиты общечеловеческих ценностей — краеугольный камень всего творчества Мигеля Отеро Сильвы, лауреата международной Ленинской премии мира.

ЮРИЙ ДАШКЕВИЧ

ТАДЕУШ РУЖЕВИЧ

Творчеством Тадеуша Ружевича я никогда специально не занимался. Но кое-что читал — его и о нем. И знаю, что родился он в 1921 году, участвовал в польском Сопротивлении, после войны учился на филолога, печататься начал в конце 40-х годов. Пишет стихи, пьесы и малую прозу. В поэзии предпочитает верлибр, в прозе — гротеск, а о собственной драматургии отзывается так: «Все свое творчество я рассматриваю как постоянную полемику с современным театром»[1]. Ружевич ненавидит войну, его отвращает механистичность новейшей цивилизации, ужасает перспектива термоядерной смерти.

С творчеством Кафки я знаком лучше, как, впрочем, и с его жизнью. Потому что творчество это и эта жизнь, если брать их порознь, рискуют остаться непонятыми. По-видимому, так думал и Ружевич, когда брал Кафку в герои своей «Западни».

Театром Кафка, конечно, интересовался, но на него не работал. Зато его поклонников так и подмывало превращать неоконченные кафковские романы в пьесы. Начало этому положил Андре Жид, лауреат Нобелевской премии, знаменитый автор «Подземелий Ватикана» и «Фальшивомонетчиков»: в 1947 году он инсценировал «Процесс». Его примеру последовал Макс Брод — тоже писатель, однако более известный не как сочинитель, а как душеприказчик и толкователь Кафки. В 1953 году Брод инсценировал «Замок», в 1957-м — «Америку». Через двадцать семь лет после Жида «Процесс» инсценировал и Петер Вайс, немецкий антифашист, сделавший себе имя удивительной пьесой о Жан-Поле Марате и странным романом «Эстетика сопротивления».

Казалось бы, неблагодарное это занятие — персонифицировать символы Кафки, выводить на подмостки его приватную мифологию. Но Кафка и сам все это персонифицировал, даже как бы выводил на подмостки. «Несколько раз,— читаем в его дневнике,— меня протащили взад-вперед, посадили и снова положили, тоже несколько раз, дергали за ноги так, что я дыбился от боли, дали немножко полежать спокойно, а потом стали глубоко всаживать в меня что-то острое...»[2]. Разумеется, ничего этого не было. Он испытывал внутреннюю, душевную боль, но воплотил ее в зримом, живом образе. Такая особенность кафковской прозы искушает инсценировщиков.

Правда, Жид, Брод или Вайс инсценировали сочиненное Кафкой, а Ружевич обратился к его жизни. Но нечто похожее уже делал наш Марк Розовский, когда создавал пьесу по мотивам «Письма отцу» и новеллы «Приговор», то есть писательской исповеди и вещи художественной. Из столь разного материала, не будь он кафковским, пьеса вряд ли слепилась бы. А у Кафки и роман, и рассказ, и притча, и дневник — это все один жанр, жанр кафковской прозы, которая никаким барьером ни от чего не отделена: ни от театра, ни от жизни.

Это и породило «Западню» Ружевича. В пьесе прослежена почти вся жизнь Кафки — сначала болезненного ребенка, потом болезненного взрослого, чья смерть не за горами. Но есть в жизни этой период, особенно привлекающий драматурга. Он приходится на 1914—1917 годы и замыкается двумя помолвками и двумя разрывами Кафки с девицей по имени Фелица Бауэр.

«Каждая человеческая жизнь, если достаточно хорошо ее знаешь, смешна. А когда узнаешь ее еще лучше, убеждаешься, что она серьезна и ужасна»[3],— эти слова Элиаса Канетти относятся к Кафке. Более того, они навеяны теми же фактами из его жизни, которые так заинтересовали Ружевича.

В 1969 году Канетти написал небольшую книгу под названием «Другой процесс». Это не роман, как «Ослепление», и не социологическое эссе, как двухтомная «Масса и власть» (произведения, особенно прославившие Канетти), а всего лишь скрупулезный анализ писем Кафки к уже упомянутой Фелице Бауэр. Анализ породил убеждение, что роман «Процесс», начатый Кафкой в августе 1914 года, спровоцирован июньской помолвкой и июльским разрывом с Фелицей. Что вовсе не значит, будто Канетти отрицает социальную подоплеку кафковского романа. Напротив, он уверен, что роман Кафки стал возможен лишь благодаря «сцеплению внешнего ада с его внутренним адом»[4].

У Ружевича жизнь Кафки «смешна» в том смысле, что как бы вся строится на помолвках и разрывах. И не только с Фелицей Бауэр. Ружевич доводит ситуацию почти до абсурда, когда посылает на сцену Девушку в розовой кофточке, Яну Словик,

---

[1] Tadeusz Różewicz. Teatr niekonsekwencji. Warszawa, 1970, s. 75.

[2] Франц Кафка. Из дневников. Письмо отцу. «Библиотека журнала «Иностранная литература». М., «Известия», с. 158.

[3] Elias Canetti. Der andere Prozess. München, 1973, S. III

[4] E. Canetti. Der andere Prozess, S. 67.

посудомойку, дочь сапожника. Его Кафка и к ней пытается свататься, в то же время не оставляя планов, связанных с Фелицей, и приударяя за ее подругой Гретой Блох.

Кроме Фелицы у Кафки была еще одна невеста — Юлия Ворыцек, дочь синагогального служки, с которой он обручился в январе 1919 года, а в ноябре расторг помолвку. В отношении прочих женщин своей жизни — Милены Есенской, Доры Диамант — Кафка матримониальных планов уже не строил.

Что же до Яны Словик, то упоминаний о ней я не встречал ни у одного из кафковских биографов. Скорее всего она придумана Ружевичем ради усиления эффекта. Мастерская сапожника, где Макс (Брод) разыгрывает роль свата, полная чада, грязи, нечесаных детей — это та сцена, на которой не только реальный, но и сочиненный Ружевичем Кафка не смог бы продержаться и минуты. Ведь даже золотозубый рот Фелицы вызывает у него отвращение.

Однако именно такой Кафка нужен Ружевичу. Не просто слабый, непоследовательный, колеблющийся, но и смехотворный, абсурдный. Словом, никак не положительный герой. Даже преданный Макс, добровольный мальчик на побегушках, бросает ему упрек: «Почему перед лицом жизни ты подставляешь вместо себя других людей?» Даже все еще неравнодушная к нему Грета спрашивает: «Разве он может быть другом?» — и уподобляет его «черному, безмолвному ворону». Даже Отец, олицетворяющий мещанскую безапелляционность, невежественную авторитарность, слепую самовлюбленность, «разгадал» сына, нащупал его червоточину.

Но этот Кафка — не бездушный эгоист, скорее, неисправимый эгоцентрик. «...Наш ворон,— говорит Грета,— предпочитал смерть — Фелице, предпочитал болезнь семейной жизни...», предпочитал потому, что воспринимал Фелицу и семейную жизнь с нею как посягательство на свою личность, на ее внутреннюю свободу. Панически страшился одиночества (отсюда и сватовство, помолвки), и все-таки свободу ставил выше. Не от недостатка человеколюбия и не от гордыни. Просто так был устроен. И это устройство касается не его одного; оно важно для всех.

Подобно принцессе на горошине, Кафка ощущал давящую силу власти и тогда, когда (ввиду малости дозировок) она другими не ощущалась. Оттого он сопротивлялся и там, где другие покорялись. «Есть нечто глубоко волнующее,— пишет Канетти,— в этой упорной попытке бессильного любым путем уклониться от посягательств власти» — и приходит к выводу, что «среди всех поэтов Кафка — величайший эксперт по вопросам власти. Он познал и изобразил ее во всех ее аспектах»[5].

В самом деле, что такое суд в «Процессе», канцелярии в «Замке» или машина для пыток в рассказе «В исправительной колонии», как не «аспекты власти»? Помните, в «Замке»: «Что значила, например, чисто формальная власть, которую проявлял Кламм в отношении служебных дел К., по сравнению с той реальной властью, какой обладал Кламм в спальне К.»?

Не исключено, что Ружевич знаком с «Другим процессом» Канетти. Как правило, польский писатель придерживается фактов кафковской биографии, лишь преувеличивая или преуменьшая их значение (история с девицей Словик не в счет, ибо и это скорее гипербола, чем искажение). Но один раз Ружевич все же преступил собственные правила: превратил Кафку в прокуриста, иными словами — служащего довольно высокого ранга. Ни к гиперболизации конфликта, ни к выпячиванию абсурдности происходящего это отношения не имеет, поскольку Кафка не показан в служебной сфере. Дело, однако, в том, что прокуристом был Йозеф К.— автобиографичный (как всегда у Кафки) герой «Процесса». Тем самым как бы акцентируется связь романа с кафковским «внутренним адом». Возможно, это сделано вслед за Канетти.

В остальном Ружевич следует собственным планам. Скажем, к мотивам власти у Кафки идет отнюдь не через спальню. И не потому, что мебель для нее так и не была куплена несостоявшимися молодоженами. В обличье террористического насилия власть просто врывается в пьесу, форменным образом раздвигая стены.

С критикой тоталитарных режимов, которые в 20—30-е годы наводнили демократизировавшуюся было Европу, мыслимо напрямую связывать только рассказ «В исправительной колонии». Да и то (поскольку написан он в 1919 году) лишь в качестве пророчества. Так лет тридцать назад поступали некоторые публицисты на Западе: искали аналогий между трудностями с захоронением старого коменданта в рассказе Кафки и реальным удалением из мавзолея останков Сталина. Но Кафка пророком не был — он лишь ранее многих почувствовал, что наступает время диктатур.

И Ружевич, когда искал для такого кафковского чувства сценического воплощения, оставлял в стороне литературу. Ведь ему было желательно сцепить наводняющее планету зло именно с «бытом» героя — этими нелепыми помолвками и алогичными побегами из-под венца, этим отчаянным одиночеством и непоправимым эгоцентризмом. Только так, по мысли Ружевича, можно было утвердить связь между «внешним адом» и «адом внутренним», связь в жизни, несомненно существовавшую, но и не лежавшую на поверхности.

Все три сестры Кафки погибли в нацистских лагерях смерти. Это дает Ружевичу повод как бы спроецировать действие в будущее: за спиной у ничего не видящего Франца появляются Палачи с собаками; они гонят нагих узников, в толпе которых исчезают Оттла, Валли и Элли. По мере приближения к финалу подобные сцены учащаются: раздвигается стена, и всеобщее зло затопляет подмостки, где продолжает разыгрываться будто частная, будто «смешная» трагедия.

Начинаешь постигать, что жизнь Кафки и впрямь «серьезна и ужасна», потому что

[5] E. Canetti. Der andere Prozess, S. 86.

обусловлена всем этим злом. А под конец пьесы обусловленность вдруг проглядывает сквозь неожиданную, шокирующую фантасмагорию: еще раз раздвигается стена, и... грузчики вносят шкаф, тот самый, что некогда был куплен Фелицей и Францом.

Так замыкается круг. Круг жизни — единой, общественной и личной. Кафка сполна выстрадал обе. Выстрадал прежде всего как художник. Но и как человек, которого только ранняя смерть спасла от нацистских печей.

В интервью, озаглавленном «Что считать злом, а что добром» («Известия», от 15.IX.1988), Георгий Товстоногов сказал: «Единственный выход я сейчас вижу в том, чтобы обратиться к целому ряду направлений, имен в искусстве, которые были закрыты для нас. К Дюрренматту, Фришу, Беккету...» Пьеса Тадеуша Ружевича «Западня» в этом ряду. И из-за самого Ружевича, и из-за Кафки, которого Ружевич стремится постичь, которому хочет быть адекватным и в нравственных исканиях, и в облекающей их метафорике.

Д. ЗАТОНСКИЙ

Западня

ПЬЕСА

Перевод с польского И. ЩЕРБАКОВОЙ

Картина 1-я

Каморка прислуги

Небольшое помещение с оконцем в потолке. Тут стоит кровать с высокой периной и горой толстых подушек. У стены — большой деревянный сундук, расписанный цветами и птичками. Над кроватью висят цветные, рисованные на стекле картинки: Богоматерь, Сердце Иисуса и святой Георгий, сражающийся с драконом. На полу дорожка. На табурете стоит таз. На стене над табуретом висит маленькое зеркальце, засохшие венки, травы. Помещение очень чистое, побеленное. На табурете сидит красивая крепкая девушка лет тридцати в шерстяных толстых носках. Она штопает чулок, натянутый на «грибок». На сундуке сидит черноволосый худой мальчуган лет шести, держит в руке блюдце с медом, который зачерпывает маленькой ложечкой. Иногда он выливает мед из ложечки в блюдце и смотрит на медленно стекающую золотую нить.

Юзя. Что, козявочка, добрый медок?

Франц. Я боюсь...

Юзя. А чего ты боишься? Ведь я же тут.

Франц. Папы боюсь... он сказал, что разорвет меня, как лягушку.

Юзя. Папа смеется... ведь ни мать, ни отец дитяти своего не обидят, потому как любят его...

Франц. А я боюсь папы: он зубами скрежещет, когда на меня смотрит... И руки у него так шевелились, как клешни у рака. У меня прямо мед горкнет.

Юзя. Господь Бог сказал: надо чтить отца своего и мать... Ничего, Францек, не бойся: мы как заслышим папины шаги, я мигом спрячу тебя под перину или запру в сундуке. Ну что, медок тебе уж боле по вкусу?

Франц. Вроде чуть послаще.

Юзя. Ну то-то!

Франц. А лягушки...

Юзя. И что это вы с лягушками выделывали?.. Сущие живодеры эта ребятня!

Франц. Кароль нам показывал... он разодрал лягушку, и из нее кишки вылезли. Оттла расплакалась и стала бить Кароля, а я убежал... Кароль сказал, будто лягушке можно вставить сзади соломинку и так лягушку надуть, что она превратится в дракона и полетит.

Юзя. Кароль чепуху несет! Он дождется, его отец так отдубасит, что ой-ой-ой!

Франц. А это как — отдубасить?

Юзя. Ешь мед!

Франц. Как это — отдубасить?

Юзя. Ступай-ка сюда, я те враз покажу.

Франц. А этот мед, что я сейчас ем, ты привезла из дому, прямо из улья? Папа вчера говорил мне: у кого есть пчелы — у того и мед, у кого есть дети — у того помет.

Юзя. Эк он!

Франц. А сколько у тебя ульев в деревне?

Юзя. Я тебе уже сто раз говорила, что три.

Франц. Один какой?

Юзя. Один, будто медведь, что стоит на задних лапах, другой по виду — как святой Флориан.

Франц. А третий — как бочка. И у всех в брюхе — пчелы. И одна королева... А трутни? Какие трутни?

Юзя. А такие, как ты!

Франц *(вылизывает блюдечко, подбегает к Юзе)*. Полижи меня Юзя, я такой сладенький!

Юзя *(крепко целует Франца несколько раз в обе щеки, потом вытирает его лицо тыльной стороной руки)*. Бедныш мой! Ну, а теперь улепетывай, не то папа тебя увидит — раздерет, как лягушку!

Франц *(молитвенно складывает руки)*. Разреши мне побыть еще немножко, тут так хорошо пахнет... А у тебя своих детей нет?

Юзя. Ну да, нету.

Франц. А почему?

Юзя отмахивается от него, как от мухи.

Но ты родишь теленка.

Юзя. Мели больше, пустомеля.

Франц. Конечно, теленка, потому что у коровы бывает теленок.

Юзя. Но я же не корова!

Франц. Папа на тебя кричит: «Ты, корова! Старая корова, чего мычишь!» Я слышал... а ты ревела.

Юзя откладывает штопку.

Я не люблю папу, потому что он кричит на тебя и страшно кричит на Валли... и скрежещет зубами на меня.

Юзя. Надо чтить отца и мать — так сказано в заповеди.

Франц. В чьей заповеди так сказано?

Юзя. Господь Бог велел.

Франц. Это тот Господь Бог, которому ты молишься?

Юзя. Тот.

Франц. Это Господь Бог. *(Показывает пальцем на образок).*

Юзя. Это Иисус.

Франц. А почему Иисус висит на кресте, а Господь Бог — нет?

Юзя. Потому что Иисуса злые люди замучили и распяли на кресте.

Франц. А почему?

Юзя. За наши грехи и для нашего избавления.

Франц. Я знаю, какие люди замучили и распяли на кресте Иисуса... но он врет!

Юзя. Кто врет? Что ты опять болтаешь?

Франц. Витек мне говорил, что они учатся исповеди и причастию и что он все знает... *(Подбегает к Юзе, прижимается к ней, прячет голову в ее коленях).* Я не замучил Иисуса, я его не убил... *(Разражается плачем, сквозь слезы повторяет).* Я не убил Иисуса... я не... это нехорошие евреи убили.

Юзя *(сжимает мальчика в объятиях, гладит его по голове, целует. Мальчик постепенно успокаивается).* Не плачь... Идем, я промою тебе глаза, а то мама узнает, что ты плакал. *(Подводит Франца к тазу, моет ему ладонью лицо, вытирает чистым белым полотенцем).*

Франц *(улыбается Юзе).* А Витек говорил, что я... что мы...

Юзя *(гладит лицо мальчика).* Ступай! Побегай по двору! Ну, живо... живо... *(Шлепает мальчика по заду).*

Франц, смеясь, выбегает из комнаты.

Картина 2-я

Спустя годы

Над столом лампа с абажуром, разрисованным цветами. Мебель тяжелая, темная. Стол накрыт скатерью. Сидящие за столом обедают. Франц и Оттла склонились друг к другу и шепчутся, сдерживая смех.

Отец. Молчать за столом!

Слышен смех.

Мало того, что эта корова испоганила жратву... А барышня чего смеется? Ну скажи, над чем ты смеешься? Или твой братишка... всегда молчаливый, понурый... Ну скажите отцу, о чем вы болтаете? Обо мне? Правда? Человек работает целый день, как вол, чтобы накормить скопище дармоедов, и не может спокойно проглотить кусок. Сколько раз я говорил, что за столом надо есть и тут не место для глупых смешков и болтовни. Да этот суп как помои!

Мать *(тихим голосом).* Но... Герман... извини меня...

Отец *(спокойно).* Это ты прости меня, Юлия, прости за твоих детей. *(Отец наклоняется над тарелкой, сёрбает).* Конечно, Францу не по вкусу, он гурман... Я в его возрасте был счастлив, когда получал миску картофеля. Да, картофеля... Я не ел супов, бульонов, домашней птицы, отварного мяса... С десяти лет я начал работать, и так — по сей день. Но кому до этого дело? Наши сиятельные юные домочадцы прохлаждаются и ждут, что им все само в руки приплывет... Франц! Если тебя не устраивает наше общество, можешь уйти.

Франц. Отец, я...

Отец *(бьет кулаком по столу).* Молчи, когда я с тобой говорю! «Я... я... я...» Ничего другого не знает, только «я... я...». А что ты такое? Что? Ничего. И не смей разговаривать со мной таким тоном! Я тебе не приятель, не этот твой сопливый дружок! Посмотрите на него, какую он сделал мину! Может, я тебя оскорбил? В собственном доме рта раскрыть нельзя... Я не требую от тебя ни любви, ни родственных чувств, потому что ты на это не способен. Ну что вы не едите? Чего уставились? Кто как ест, тот так и работает.

Служанка вносит блюдо с мясом, картофель, соус. Нерешительно смотрит на хозяина дома.

Сидят себе господа за столом и изволят есть, а я в семь лет целыми днями должен был возить в тачках картофель или дрова... Я так изматывался, что засыпал за столом, а не как вы — каждый в своей постели, на матрасе, под пуховым одеялом... Было нас восьмеро... все мы спали в одной комнате... мы, мальчики, втроем в общей кровати...

Мать. Герман, извини. *(Делает знак прислуге, которая выходит).*

Отец *(довольно долго выбирает себе на блюде порцию мяса с костью, накладывает в тарелку картофель подвигает блюдо жене. Франц отодвигает от себя тарелку. Оттла с аппетитом принимается за еду. Отец ест быстро, отрезает большие ломти, пальцами вынимает изо рта какой-то твердый кусок или кость. Остальные дети едят молча).* Да... я был счастлив, если наедался досыта картофелем или лапшой... Никто не отодвигал от себя тарелку с едой... Друг за другом донашивали истрепанную одежду и башмаки... здорово нам сквозь лохмотья ветер в задницу надул... *(Берет в руки кость, обгладывает ее. Черные закрученные кверху усы его поднимаются над костью, сверкают зубы. Он часто вытирает пальцы и усы салфеткой, повязанной у шеи. Мать притрагивается рукой ко лбу Франца. Этот тревожный и робкий жест не ускользает от внимания отца. Он прекращает обгладывать кость и бросает ее на тарелку, картошка и брызги соуса летят на стол).* Он наверняка вообразил, что болен, оттого ему и обед не по вкусу. Больной должен лежать в постели, а если сидит за столом, значит, здоров — только кривляется. Может, нарежешь

мясо на кусочки и станешь запихивать ему в рот... Я в его возрасте вынужден был наняться в фирму мальчиком на побегушках, а потом младшим приказчиком... Никто мне руку ко лбу не прикладывал... Случалось, шеф приложит, да только потом ухо горит! Ха-ха-ха! *(Разражается смехом).* Комедиант! Когда кто-нибудь думает только о себе, о своем брюхе, о своих потрохах, то *такому* некогда поинтересоваться ни братьями и сестрами, ни родителями... Юлия, пожалей себя, ведь ты еще куска в рот не взяла... Не переживай из-за них... уверяю тебя, когда мы состаримся, никто нам стакана воды не подаст.

Сидящая в конце стола худенькая Элли вдруг начинает плакать.

(Отец складывает салфетку). А эта что опять устраивает? Всех нас зальешь своими слезами.

Мать. Герман... еще десерт.

Отец. Оттла! Не чавкай за столом... *(Вынимает из кармана зубочистку, начинает старательно чистить зубы, выковыривает мясные волокна. Довольный, оглядывается вокруг, взглядом собственника обводит семью. Вновь принимается ковырять в зубах).*

Мать погладила под столом руку Франца, который сидит с опущенной головой. Оттла очень аккуратно ест ложечкой молочный кисель, наклоняется к Францу и что-то шепчет ему в ухо.

(Другим концом зубочистки ковыряет в ухе). Так! *(Наклоняется к матери).* Может, немного вздремнешь? *(Похлопывает по щеке пухлую Валли и выходит, скрипя ботинками).*

За столом царит тишина. Элли встает, быстро выходит из комнаты. Постепенно нарастает шум голосов, смех. Служанка собирает посуду, ей помогает Оттла.

Мать *(Францу).* Сынок...

Франц. Да, мама?

Мать. Ты болен? Плохо себя чувствуешь?

Франц. Нет, мама.

Мать. Почему ты не поел? Может, съешь позже? Юзя принесет тебе в комнату.

Франц. Спасибо, мама. Я уже могу идти?

Мать целует Франца, смотрит ему вслед, пока он, худой, в черной школьной форме, направляется к выходу.

Оттла. Можно съесть твой молочный кисель?

Кароль вынимает из коробка две спички и начинает ковырять ими в ушах, а потом широко раскрывает рот, как гиппопотам — пасть, и чистит зубы, передразнивая Отца.

Мать. Кароль, прошу тебя... это отвратительно!

Валли хохочет до упаду. Оттла помогает служанке вынести посуду. Возвращается, щеткой сметает со скатерти крошки. Ставит на стол вазу с искусственными цветами.

Кароль. Валли! Ты мычишь, как корова.

Валли. Мама!

Мать. Карл!

Кароль. Я Карл Великий... я съел сегодня столько картофеля, что счастье мое безгранично. Это только Франц — ходячее несчастье... Если бы наш бесподобный pater familiae[1], будучи в возрасте Франца, получил столько картофеля задаром, он был бы самым счастливым из людей в этой юдоли скорби. Вот она, благодарность детей!

Мать. Карл! Не говори таким тоном об отце... это очень некрасиво.

Король. Ich lebe in Saus und Braus! Meine Damen und Herren! In Saus und Braus. . .[2] *(Выходит.)*

Картина 3-я

Сон. Жертвенное животное

Франц в черном костюме, белой рубашке, галстуке спит на кровати. Отец за столом точит два ножа. На столе — пустое блюдо, несколько тарелок. Стол серый, маленький, без ножек, напоминает алтарь, сооруженный из плоских камней. Сноп света падает сверху, из черной пустоты. Душенька Франца — маленький мальчик в белом костюмчике — собирает щепки, прутики, веточки, укладывает их вокруг стола.

Душенька Франца. Папа, много еще нужно собрать щепок?

Отец молча точит ножи.

А где жертвенный ягненок?

Отец *(встает — он огромен).* Ты — жертвенное животное. *(Приближается с веревкой в руках, хватает мальчика. Закрывает его лицо ладонью, связывает ему руки и ноги веревкой. Дотрагивается пальцами до его обнаженной шеи. Берет в руки нож, приставляет его к шее мальчика).*

Франц *(просыпается с криком, потом в темноте слышен как бы плач. Франц обращается к Отцу, в непроглядную темноту).* Отец! Значит, только моя кровь, моя смерть может тебя изменить и смягчить... Ты ненавидишь меня... Но почему? Я боюсь людей, боюсь, что они станут на меня кричать, топать, таскать меня за уши, как дошкольника... Я боюсь, отец... я весь потный, ладони у меня влажные... совсем мокрые... Я хочу под твое отцовское крылышко... Знаю, я слабый, я рассыпаюсь, распадаюсь, боюсь людей, боюсь тебя, боюсь маленьких девочек, злобных, как обезьянки... Я грязное животное...

Картина 4-я

Мебельный магазин

Франц. Шкаф! *(Подходит к шкафу, смотрит на него).* Купим шкаф... Шкаф! Странное слово. *(Усмехается).*

Фелица. Нам нужно купить один трехстворчатый шкаф платяной, ящик для постельного белья, две ночные тумбочки... и кровать... или одну двухспальную, или две кровати рядом... Еще бельевой шкаф...

Франц. Шкаф. Ящик. Значит, покупаем шкаф? *(Удивленно).* Фелица, а эти шкафы нам действительно нужны?

Фелица. А как ты себе все представляешь? Дом без мебели?

---

[1] Отец семейства *(лат.). (Здесь и далее прим. перев.)*

[2] Я прожигаю жизнь! Дамы и господа! Я живу в свое удовольствие...*(нем.)*

Франц. Ведь не в шкафу...

К ним направляется улыбающийся Продавец.

Фелица. Нам нужно выбрать... если не этот шкаф, так, может, тот. Только не надо устраивать тут спектакля. Такое впечатление, что ты боишься шкафа. Я ведь не запру в шкафу тридцатишестилетнего прокурориста и литератора. Два шкафа и две тумбочки в спальне, буфет — в столовой и, конечно, шкафчик в кухне, шкаф у тебя — шкаф или книжная полка... и шкаф в прихожей... стол, два стола, три стола, столик, табурет, шкаф, шкафчик, ящик, тумбочка с ящичками... *(Рот Фелицы раскрывается все чаще и шире).*

Франц смотрит на ее золотые сверкающие зубы.

Франц. Не надо ни шкафа, ни тумбочки, ничего не надо! Если для меня — то стол, кушетку, стул, книжную полку, и все. Надеюсь, ты не вообразила себе, что я буду спать в общей спальне, в общей постели, под одним одеялом. Я ночью работаю! Даже дыхание любимого существа равносильно для меня гулу локомотива. Слушай! Шкафы, кровати — это не то... извини... *(Смотрит на карманные серебряные часы).* Мне пора...

Фелица с интересом рассматривает шкаф. выдвигает и задвигает ящики.

Я отвел час на осмотр нашей мебели — разумеется, нашей, поскольку она в конечном счете также и моя... и шкаф и стол...

Фелица *(улыбается, берет под руку жениха).* Почему ты так воюешь со шкафом? Этот предмет мебели когда-нибудь досадил тебе? Я, конечно, могу от этого шкафа отказаться, хотя не представляю себе дома без шкафов... Мы же не кочевники...

Франц *(серьезно).* Ты будешь жить со мной, а не со шкафом.

Фелица *(с улыбкой).* Надеюсь... Однако хозяйка дома должна иметь какие-то шкафы?

Франц. Если основой наших отношений должен быть стул или шкаф, то я не вижу... я вынужден... кажется, у меня температура... Я должен уехать... Мне нет никакого дела до мебели... Я не хочу стать ее узником, рабом, не могу таскать шкафы... Может, это мой крест? Шкаф...

Продавец, который вертится около Франца и Фелицы, с удивлением прислушивается. В магазин входит какая-то молодая пара. Оба взволнованы. Продавец подходит к ним.

Фелица *(сжимает руку жениха).* Мой дорогой! Люди на нас смотрят... Оставим шкаф в покое. Я завтра приду сюда с Оттлой, и мы выберем шкаф, который тебе наверняка понравится. Хочу, чтобы купленная мебель устраивала также и тебя...

Франц. Все, что купишь, будет... если тебе понравится, то и я... одним словом, если... то я абсолютно...

Фелица. Ты только так говоришь, мой дорогой. А если б я сама, без тебя, выбрала трехстворчатый ореховый шкаф, ты бы, наверное, чувствовал себя несчастным... и смотрел бы не на меня, а только на шкаф! С неприязнью, может, с ненавистью... Наконец, убежал бы от этого шкафа... а вернее — от меня.

Франц *(с улыбкой наклоняется и целует Фелице руку, обтянутую перчаткой).* Извини... у меня немного разболелась голова... Ну ладно, покупаем...

Фелица. Спальня выглядит элегантно, ты не находишь?

Молодая пара оглядывает кровати, сдвоенные ложа. Улыбаются друг другу, шепчутся. Молодая женщина ласково хлопает по руке своего «повелителя».

Франц *(бормочет).* Омерзительно... *(Направляется в другой конец салона, как если бы хотел спрятаться в углу).*

Фелица остается одна. Через какое-то время подходит к Францу. Разговаривают. Фелица раздражена, рассержена. Жених стоит перед ней, как провинившийся ученик. Фелица идет к Продавцу, что-то говорит ему, тот кивает, затем приносит на подносе стакан воды. Франц вытаскивает из кармана порошок, глотает его, запивая водой. Молодые покупатели приближаются к шкафу, открывают его, тщательно осматривают, считают вешалки, выдвигают нижние ящики. Франц подходит сзади, разглядывает шкаф и молодых людей с возрастающим интересом. Он забыл о Фелице, разговаривает с Продавцом. В магазин входят грузчики, до пояса обнаженные. Через плечи у них перекинуты мешки, ремни, веревки. Продавец указывает им на шкаф. Они тащат его к выходу. Их огромные, мускулистые тела, красные лица контрастируют с элегантно одетыми клиентами. Мускулы грузчиков играют под натянутой кожей. Реакция на это мужчин и женщин различна. Только Продавец интересуется исключительно шкафом: как бы грузчики чего-нибудь не попортили, не поцарапали мебель. Вслед за грузчиками выходит молодая пара. В магазине становится пусто. Франц и Фелица молчат.

Франц *(с напускным оживлением).* Фелица, ты прочитала книжечку, которую я подарил тебе в прошлом месяце?

Фелица, погруженная в свои мысли, не слышит, а может, притворяется, что не слышит. Подходит к двухспальной французской кровати, снимает перчатки, медленно, как бы в раздумье, проводит ладонью по краю кровати. Рассматривает свою ладонь.

Фелица!

Фелица *(поднимает голову, с удивлением смотрит на Франца, как на чужого человека).* Давай возьмем эту двухспальную кровать... весь этот гарнитур... зеркало, тумбочки, кресла, туалетный стол... шкуру перед кроватью. Твоя мама подарила нам чудесное покрывало из зеленого плюша... как раз годится для двухспальной кровати... Твоя мама с моей мамой завели от нас секреты.

Франц *(берет Фелицу за руку).* Фелица!

Фелица. Извини.

Франц. Дорогая, я спрашивал тебя: ты прочла «Крейцерову сонату», которую я подарил тебе в прошлом месяце?

Фелица *(неуверенно).* Да... не помню... у меня в бюро столько работы, может, я начала... не знаю... наверно, где-то положила... ведь это ж не срочно? Разве я должна теперь, уже сейчас это читать?.. Возьмем с собой... у нас будет целый месяц... наш, медовый.

Франц Значит, ты даже не раскрыла эту книжку.

Фелица. Еще сегодня прочту и завтра подробно отчитаюсь перед тобой о прочитанном.

Франц. Если не хочешь — не читай... в конце концов, у тебя свои любимые авторы. Почему ты мне ничего не говорила о покрывале! Почему не показала! Я не уверен,

что это практично... мне не кажется, что общие кровати имеют какие-либо преимущества... может, для наших дедов... Но не забывай, что, учитывая характер моей работы, я должен иметь у себя в кабинете кушетку... ты что думаешь... ведь ты же знаешь мою работу...

Ф е л и ц а. Знаю, мой дорогой, все знаю и все помню. Не бойся, я тебя не съем! *(Фелица вдруг расхохоталась и показала ряд огромных зубов Она смеялась свободно и широко, так что видны были не только зубы, но десны и язык).*

Франц смотрит на ее обнажившуюся влажную полость рта, ряд зубов и подвижный язык. Фелица продолжает смеяться, когда в магазин возвращается Продавец. Она вынимает из сумочки маленький платочек, обшитый кружевами, и вытирает глаза. Франц в задумчивости смотрит на Фелицу, которая, не обращая на него внимания, подходит к зеркалу, смотрит в него, поправляет шляпу.

Не беспокойся, попросим Оттлу переделать нам покрывало...

Ф р а н ц. Какое покрывало?

Ф е л и ц а. Оттла попросту разрежет покрывало на две части и обошьет края. Она на это мастерица. Не беспокойся: будут два покрывала на две кровати, а между ними — это замечательное зеркало. *(Продавцу).* Из чего эти матрасы? Они не слишком жесткие?

П р о д а в е ц. Из морской травы! *(Нажимает ладонями на матрас).* Пожалуйста, господа, попробуйте! Очень эластичный и в то же время прямо-таки необычайно нежный.

Ф е л и ц а. Ты не хочешь попробовать? *(С размаху садится на кровать. Слышно звяканье пружин. Франц молчит. Развеселившаяся Фелица подпрыгивает на кровати, в конце концов опрокидывается навзничь, протягивает руки к Францу).* Подними меня... прости! Помоги мне... *(Продолжая смеяться, она сама поднимается Затем становится серьезной. Продавцу.).* Я невероятно... Собственно говоря, мы помолвлены уже второй раз... мой жених... то есть мы вместе оборудуем квартиру, обставляем ее... я невероятно волнуюсь... потому что никогда не делала таких серьезных покупок: ведь мебель — это не перчатки.

П р о д а в е ц. Мебель нашей фирмы служит клиентам всю жизнь. А потом еще их детям и внукам. *(Фелице).* Вы можете быть в этом уверены совершенно так же, как в своем счастливом супружестве. Если господин не готов теперь принять решение касательно этой мебели, прошу пожаловать в наш магазин через две недели: мы получим наимоднейшие образцы с венской фабрики Тонет.

Ф е л и ц а. Мой жених сегодня немного нездоров... отложим это до будущего месяца... Большое спасибо... *(Фелица подает руку Продавцу, идет к выходу).*

Ф р а н ц надевает шляпу. Выходят. Продавец, проводив их взглядом, с удивлением крутит указательным пальцем возле виска, смотрится в зеркало, поправляет галстук.

Картина 5-я

Родители

Спальня родителей. Сдвинутые кровати, тумбочки, этажерка с альбомами и бумагами.

О т е ц. Никогда доброго слова... Я никогда не слышал ничего, кроме невнятного «спасибо», какое бросают официанту или парикмахеру... Ничего! Хоть бы чуточку души, заинтересованности... Дом... он только для того, чтобы тут поесть, отправить нужду, выспаться... Ты хорошая, пока обслуживаешь их... Нет, ты ничего не видишь... не видишь, потому что их любишь... Я старый осел... не слушай эту мою глупую болтовню. *(Подходит к кровати, на которой лежит жена, присаживается с краю, берет ее за руку).*

М а т ь. Они не плохие... Они...

О т е ц. Я им совершенно безразличен... будто чужой человек... будто старый башмак... Франц... ведь он никогда не подойдет ко мне, не улыбнется... сидит надутый, вечно оскорбленный... Двадцать лет я работал на него, как вол, как последняя скотина... А он смотрит, будто на стену... губы сжаты... Что-то там буркнет, черт знает что. А чужим — улыбки, любезности, книжки, билеты в театр.

М а т ь. Может, это наша вина?

О т е ц. Это твоя вина, что они нас не любят. Они ведь превратили тебя в прислугу, а меня в ломовую лошадь. Я думаю, они хотят нас доконать.

М а т ь. Это добрые дети! Они нас очень любят.

О т е ц. Любят так же, как паразиты любят организм, за счет которого питаются... как блохи — собаку.

М а т ь. Не говори так... это наши дети... это я... *(Отворачивается к стене).*

О т е ц. Одна ты... Они уйдут... впрочем, они никогда не были с нами.

М а т ь. Франц...

О т е ц. О нем не хочу... не могу больше слушать... Разве это взрослый человек?! Ведь это что-то... Я не могу понять!.. Эти его несчастные помолвки, невеста... Я на месте Фелицы вышвырнул бы его за дверь.

М а т ь. Видишь, он пишет, он художник... Макс говорил мне, что Франц — большой писатель.

О т е ц. Макс — большой говнюк, у которого потеют руки и ноги... У них у всех потеют руки... это омерзительно... Пожав Максу руку, я вытираю ладонь. Знаю, Франц что-то пишет... Я не осилил... Я слишком прост, чтобы понять, что молодой господин изволит сочинять ночами. Да, я читал Гете, читал Раабе... это тоже писатели... может, даже побольше Макса и Франца... И я както все мог понять... а тут — ничего... как если б жевал бумагу.

М а т ь. Но если бы ты проявил хоть немного интереса... сказал бы ему какое доброе слово...

О т е ц. Это не хлеб, это не профессия... Как может прокурист... Нет, я не буду ни перед собой, ни перед вами притворяться. Врать — не в моем характере. Для меня его писанина гроша ломаного не стоит. Я когда-то спросил Фелицу, что она думает о книжках Франца. Она усмехнулась и ничего не ответила.

М а т ь. Я иногда так изматываюсь... хотелось бы заснуть, дорогой... отдохнуть...

О т е ц. Я утомил тебя этой болтовней... *(Наклоняется над женой, укрывает ее одеялом).* Спи! Я еще посижу рядом... Может, тебе что-нибудь почитать? Ты засыпаешь,

когда я читаю вслух. Не огорчайся. *(Гладит жену по голове. Она целует его руку и отворачивается к стене).*

Картина 6-я

На выручку

Номер в отеле.

Ф е л и ц а. Когда ты тонешь, то хватаешься за все, что подвернется тебе под руку... Кельнерша — ладно, пусть будет кельнерша; кухарка в доме — пускай; случайная девица в приемной у врача — очень хорошо... Я, жена, постоянно буду под рукой — это лучше всего... только обременительно... Тогда, может, удобнее моя подруга Грета?.. Ты пишешь два письма и одновременно делаешь предложение Грете и мне. Но больше тебя устроила бы первая встречная, только бы не проститутка, ведь это негигиенично... Малыш Франц боится венерических болезней и папы. Временами, когда я смотрю на тебя с любовью, мне хочется выблевать тебя и себя... «На помощь! На помощь! — вопишь ты.— Тону! Умираю! Караул! Боже! Что со мной?!» Мчатся все: мама, Оттла, кухарка, все твои «женщины» и я, идиотка. Только твой отец, который тебя знает как облупленного, усмехается в усы и ждет... И он прав, что ждет, поскольку вода доходит тебе едва до колен, впрочем, какое там до колен! А ты кричишь, что уже захлебываешься! Мама чуть со страху не умерла, я бросила работу... В течение трех часов ты прислал три телеграммы. Ну да, у тебя болит голова! Но разве весь мир должен об этом знать? Скажи мне, пожалуйста, зачем я сюда приехала, зачем примчалась в этот гостиничный номер? Чего ты от меня хочешь? Ты сам-то знаешь? И хочешь ли? Чего захочешь через неделю, через день, через час? *(Фелица снимает пальто, вешает его на подлокотники кресла. На ней прямая юбка и белая кружевная блузка. На голове — шляпка или берет).*

Франц лежит на кровати в черных брюках, жилете, белой рубашке, темном галстуке, черных лакированных ботинках. Под ноги подложена газета. Его визитка висит на стуле.

(Фелица снимает шляпку, подходит к зеркалу, поправляет и закалывает густые черные роскошные волосы, держа в зубах шпильки. Когда она поднимает вверх руки, обнажаются волосатые подмышки). Я не желаю участвовать в этой комедии... я не актриса, не художница... я служащая... мне тридцать лет, я хочу выйти замуж, создать своему избраннику домашний очаг, родить детей, прожить с ним двадцать или пятьдесят лет и умереть раньше, чем он... или его похоронить... Вот и вся моя философия... Я никогда не изображала перед тобой ни нимфу, ни сфинкса... Ты уже раз оставил меня с носом. Сделал из меня посмешище, а из себя идиота, инфантильного идиота... Ну вот, я здесь, я приехала, вижу, что ты жив, отлеживаешься и не хочешь разговаривать. А я ходила с ним покупать мебель, занавески, кастрюли, миски и кухонные полотенца... Наверно, ты здорово потешался, глядя на мою суетню.

Ф р а н ц. Не выпускай меня из рук... у меня нет сил... Мне противно мое тело... Я чувствую, как во мне все гниет, распадается...

Ф е л и ц а. Я приехала не затем, чтобы устраивать твои похороны... Ты боишься? Боишься меня? Как я могу тебе помочь? Знаю, что тебе не нужны ни мой ум, ни моя смекалка, ни опыт, ни душа... Тебе нужно мое тело. Даже мое имя и фамилия тебя не интересуют. Да, тут, на моем месте, может стоять Грета, Милена, Власта, Эльза... Любая... Лишь бы она имела... Так чего ты хочешь? Я здесь! Тело ехало к тебе пятьсот километров, тряслось в духоте... Я везла тебе то, что может тебя спасти; я вымою для тебя это тело... сейчас, сию минуту... и тело придет в постель... Чего еще? Ну говори, только быстро, а то телу надоест и оно уйдет.

Ф р а н ц. Ты сама жизнь... моя жизнь... Ты раздражена...

Фелица выходит в ванную комнату, вскоре возвращается, подходит к зеркалу, душит виски, шею, за ушами, садится на кровать.

Ф е л и ц а. На, ешь меня, ешь мое тело, мясо, я привезла тебе на блюде готовенькое... Только открой рот... Разве ты не понимаешь, что я женщина?..

Ф р а н ц. Я болен... Сегодня у меня хлынула кровь из горла и носа... Я хотел тебе сказать, что харкаю кровью... хотел с тобой попрощаться... Это хранилось в тайне... врачи дают мне год, два... Видишь, Фелица, не будет ни шкафа, ни кровати, ни детей, ни пеленок, ни ночных горшочков... Я хотел извиниться перед тобой и попрощаться. Видишь, я отправляюсь на тот свет... Не прикасайся ко мне.

Снизу доносятся звуки вальса, шум из ресторана.

Ты, наверно, голодна? Может, спустимся в ресторан?

Фелица сидит, не шевелясь.

А может, заказать ужин в номер? Давай поедим.

Ф е л и ц а. Однако ж он нашел выход.

Ф р а н ц. Ты что-то сказала мне?

Ф е л и ц а. Я сказала себе.

Ф р а н ц. Я снял для тебя соседний номер, сможешь отдохнуть.

Ф е л и ц а. Вместо меня он выбрал болезнь...

Ф р а н ц. Как это хорошо, что ты здесь... я позвоню кельнеру и закажу ужин. *(Подходит к Фелице и кладет руку ей на голову).*

Фелица молчит.

Ты останешься?

Ф е л и ц а. Все-таки ускользнул.

Франц опускает руку, подходит к дверям, звонит. Фелица встает, поправляет волосы перед зеркалом.

Ф р а н ц *(надевает пиджак, становится рядом с Фелицей, одной рукой обнимает ее за плечи. Стоят, будто перед фотографом. Слышны звуки вальса).* Ты съешь бифштекс, а я омлет. Попросим еще фруктовый салат, вино и торт... И кофе.

Фелица судорожно обнимает Франца, утыкается в него лицом.

Погоди... я забыл, как этот торт называется... ты ела его в Будапеште... сластена, как ребенок... ты набила полный рот...

Ф е л и ц а. Однако ты не умер и не умираешь — ведь умирающие не говорят о торте... Мое присутствие здесь... Я не нуж-

на тебе... и в соседнем номере также. *(Осматривается).* Здесь есть все, что тебе необходимо для счастья: стол, лампа, одиночество.

Входит Кельнерша — коренастая, сильная, веселая.

Кельнерша. Слушаю. *(Вытаскивает из фартучка блокнот, ждет).*

Франц. Пожалуйста, ужин на двоих... так... значит... без супа, без холодных закусок... Что-нибудь основательное... бифштекс, картофель фри, салат и омлет со шпинатом... еще компот, торт... знаете, такой венгерский торт... черный, в середине белый... не помню, как называется... Повар поймет, ведь это известный торт... Вино розовое, кофе и минеральная вода.

Девушка улыбается, записывает заказ в блокнот. Фелица молчит, внимательно смотрит на Кельнершу и Франца. Кельнерша с улыбкой выходит. Франц смотрит ей вслед.

Фелица. Я уезжаю. Я не голодная, не устала... так что благодарю тебя... не провожай, не беспокойся и не пиши мне... Я взрослая и не потеряюсь ни на вокзале, ни в поезде... Не присылай мне ни телеграмм, ни приятельниц... Прошу тебя только об одном: оставь меня в покое...

Франц. Могу ли я... ты можешь подать мне руку на прощанье?

Фелица *(подает Францу руку, потом берет сумочку и чемодан).* Не провожай меня. Чемодан легкий.

Франц *(остается в комнате один. Стоит не шевелясь, затем вынимает платок и долго вытирает ладони. Ложится на диван).* Я хотел перед тобой отличиться, проявить силу воли, тянул с письмом к тебе, хотел сначала завершить один акт... Но комната пуста, никто не заботится обо мне, как если бы все сговорились: оставьте его, разве вы не видите, он с головой ушел в свое дело, он будто язык проглотил... И в конце концов, человек, этот старый крот, принимается рыть новые ходы... Да, шкаф. Из-за него разгорится, наверно, наш первый и последний спор. Я буду говорить: «Выбросим его!» Ты будешь говорить: «Оставим!» Я буду говорить: «Выбирай между мной и шкафом!» Ты скажешь: «Сейчас! Кафка не хочет шкафа — видишь, рифмуется. Я выбираю шкаф». «Ладно»,— отвечу я и медленно сойду по ступеням...

Картина 7-я

Ухаживание

Черная стена. На ней — афиши, объявления, вывески магазинов, пивного бара, парикмахерской, сапожной мастерской. Вдоль стены скользят немногочисленные прохожие. Падает свет от невидимого уличного фонаря. Появляется рослая девушка в розовой кофточке, берете, лаковых туфельках. В нескольких шагах за ней идут двое мужчин. Разговаривают, поглядывают на ягодицы девушки, на ее ноги в шелковых, телесного цвета чулках со швом. Девушка и мужчины проходят на фоне стены, исчезают и снова появляются. Мужчины останавливаются под вывеской парикмахера.

Франц. Ты узнал, где она живет? Как ее фамилия?

Макс. Ее фамилия Словик.

Франц. Словик?

Макс. Словик Яна, живет с родителями, дочь сапожника.

Франц. Дочь сапожника... Сапожник! Знаешь, когда я был маленьким мальчиком, отец грозился отдать меня «в сапожники». А мать смотрела испуганными глазами и робко улыбалась... Так ты говоришь, она дочка сапожника и живет с родителями.

Макс. Да, с родителями... Я был там на прошлой неделе, отнес в ремонт полуботинки. Завтра должен забрать.

Франц. А ты ловок, как Мефистофель.

Макс. К вашим услугам, доктор.

Франц. Значит, у нее все-таки есть семья.

Макс. А ты полагал, что она выскочила из твоей головы или из пены морской... что у нее нет ни отца, ни матери, ни бабушки и дедушки по отцовской линии, ни бабушки и дедушки — по материнской... Ошибаешься: у нее есть сестры, братья, родные и двоюродные, тети, дяди — так же, как у тебя.

Франц. Ближе к делу, мой дорогой.

Макс. Я должен забрать ботинки завтра. Ты можешь заглянуть туда вместе со мной. Думаю, это даже необходимо, если у тебя серьезные намерения по поводу девицы. Познакомишься с папой, мамой, братьями, сестрами. Картина прояснится.

Франц. Ну вот! Всегда есть какой-то отец... и, конечно, мать... И сестры с братьями?

Макс. Тебя постоянно удивляет этот необычный факт. Таков сей мир, что даже у господина доктора есть мать и отец, которые произвели его на свет, есть братья и сестры.

Франц *(задумывается).* Да... даже у Иисуса...

Макс. Были сложности с его домашними.

Франц. Я часто размышлял об этом...

Макс. Знаю, ты одинок, был и будешь таким... но у девицы Словик — многочисленная семья.

Франц. Значит, у нее есть отец? А что это за братья и сестры? И много их?

Макс. Без Яны, самой старшей, я насчитал еще десять или девять сопляков разного возраста — от грудного младенца до подростков.

Франц. Десятеро!

Макс. Может, девятеро — я мог и запутаться, они появляются из разных углов.

Франц. Сколько девочек?

Макс. Вроде пять, с Яной — шесть.

Франц. А как выглядит квартира?

Макс. Живут в подвале, в двух комнатах... Одна — мастерская, а в другой — спальня, кухня... Впрочем, кухня, может, в нише, за занавеской. Где ванная — не знаю... Что касается туалета — сам догадываешься...

Франц. Благодарю.

Макс. Пожалуйста... Нужно признать, что в этом семейном гнезде сравнительно чисто и аккуратно. Окно, выходящее из мастерской на улицу, задернуто белой занавеской, на подоконнике — пеларгонии в горшках. Pater familiae показался мне, несмотря

на раннюю пору, под хмельком. Он неразговорчив, но вежлив и деловит.

Франц. Так когда ты идешь за ботинками?

Макс. Отправишься со мной?

Франц *(обняв Макса за плечи)*. Я хочу просить тебя...

Макс. Нет!

Франц. Для меня это вопрос жизни и смерти.

Макс. Не могу.

Франц. Это последнее желание, последняя просьба обреченного.

Макс. Нет! *(Освобождается от объятий друга, снимает очки, протирает их)*.

Франц. Это единственный для меня шанс вернуться к жизни... Ich friere und starre in dem Winter, der mich umgibt...[3]

Макс. Какую роль ты отвел мне?

Франц. Ты сердишься?

Макс. Нет, слушаю.

Франц. Нужно, чтоб ты подготовил почву... Я не могу завтра прийти с тобой в подвал... Как ты себе это представляешь: ты будешь забирать починенные ботинки, а я — просить руки старшей дочки?!

Макс. Это не моя помолвка, и потому я себе ничего не представляю.

Франц. Я ведь не буду делать предложение среди этой кучи детей.

Макс. Почему бы нет?

Франц. Но мать может как раз стоять перед лоханью, а отец — быть нетрезвым... Если б Яна жила отдельно...

Макс... в садовой беседке... А тут поди ж ты — просто кишмя кишит родственниками... И как это девицы не рождаются на дереве! Созреет, зарумянится плод и свалится в объятия — без мамы и папы, шестерых сестричек и семерых братьев... А у каждого брата — свои проблемы.

Франц. Но я же не могу войти туда и попросить благословения.

Макс. Еще бы! Когда я там был, варилась капуста. Ты как почувствуешь запах вареной капусты, сразу убежишь!

Франц. Я обручусь и женюсь, невзирая на капусту.

Макс. Ты необычайно остро реагируешь на разные запахи. Я помню, что запах вареной цветной капусты помешал тебе сделать предложение швейцарке.

Франц *(усмехается)*. Я начинаю подозревать, что ты в заговоре с моим отцом, что ты его агент.

Макс снимает очки, смотрит на друга близорукими глазами.

Ты должен подготовить почву для моего прихода.

Макс. Я не достоин, ваша честь.

Франц. В свободной, ни к чему не обязывающей беседе ты скажешь отцу Словику, что у тебя есть давний друг, холостяк, чиновник на хорошей должности, которому понравилась его дочка Яна. Можешь сказать, что у твоего друга большая квартира, меблированная... да, меблированная.

Макс. Меблированная квартира.

Франц. Скажешь, что у меня серьезные намерения и я хочу нанести официальный визит родителям... В зависимости от их настроения можешь упомянуть о желательности скорейшей помолвки... Меня поджимает время, понимаешь... Итак, даю тебе все полномочия, можешь даже назначить срок обручения. Одним словом, у тебя полная свобода действий. На этот раз я не хочу откладывать свадьбу.

Макс. Яна — судомойка. Не кельнерша, не буфетчица, а всего лишь — судомойка.

Франц. Ты говоришь о том, что я знаю. Яна моет посуду — это полезнее, чем писать плохие книжки или рисовать дрянные картины... Это также менее вредно, чем фельетоны в газетах... Столяр, садовник, сапожник...

Макс *(раздраженно)*. Кокетничаешь... Что ж! Мы, посредственности, зарабатываем писанием на хлеб и сапоги.

Франц. Im Leben ein einziges gutes Buch geschrieben zu haben ist mehr als genug [4].

Макс. Знаю, мой грузчик, мой плотник, знаю твои афоризмы. Разумеется, пара сапог, которую сшил Толстой, была более значительным творением, чем «Война и мир». К тому же тебе не надо в этих сапогах ходить! Послушай, а ты подумал о своих родителях?

Франц. Да, вот именно... родители! Постоянно возникают какие-то родители, вылезают изо всех углов, как мыши... Конечно, подумал... Пока ты будешь прощупывать родителей Яны, я попробую подготовить моего отца. Пожалуй, прежде — через маму, а уже потом самолично. Однако отложу это до твоего отчета.

Макс. Ты забыл об одной мелочи.

Франц молчит.

О молодой особе. Ведь это она должна дать согласие. Может, ты сначала поговоришь с Яной, а потом я отправлюсь в подвал как postillon d'amour?! [5]

Франц. Нет, я уверен в ее благосклонности. Ее лицо обращено ко мне, оно вбирает в себя мои взгляды и мысли. Ее глаза и губы заверяют меня в расположении. Ты обратил внимание на ее великолепные зубы, мелкие, острые, как дробленые жемчужины. У нее особенная улыбка, улыбочка, предназначенная только для меня... мы понимаем друг друга без труда, без слов.

Макс. Она тоже начнет когда-нибудь разговаривать — к тому же с тобой.

Франц. Купи цветы... розы... нет, не розы, купи цветы, подходящие случаю, и большую коробку конфет... помни, большую и чтобы там были разные конфетки с ликером или ромом.

Макс и Франц уходят, снова появляются и исчезают. Возвращается один Макс. Потом среди прохожих появляется Яна, останавливается перед витриной парикмахерской. Свет гаснет.

Картина 8-я

Колечки

Большой номер в отеле. Жених с невестой — Франц и Фелица. Их родители, подруга Фелицы — Грета. На всех парадная одежда. Фелица в белой кружевной блузке сидит рядом с отцом

[3] Я стыну и цепенею в ледяных объятиях... *(нем.)*.

[4] Написать за всю жизнь одну-единственную хорошую книгу — это более чем достаточно *(нем.)*.

[5] Гонец любви *(франц.)*.

Франца, слегка наклонив голову в его сторону. Отец целует Фелице руку. Она рассматривает свою ладонь.

Отец. Будь я моложе...

Фелица разражается смехом, видны ее огромные зубы и множество золотых коронок.

В этой блузке вы похожи на лилию... Будь я моложе, я похитил бы вас, а Франц остался бы с мамой!

Франц как завороженный смотрит на открытый рот Фелицы, потом трет лоб ладонью и опускает голову.

Счастливец... Вот таким все само плывет в руки.

Фелица. Но он ничего не говорит.

Отец. Как придет в себя от счастья, так заговорит... *(Присматривается к Фелице).* Красивая блузочка! Вы, женщины, настоящие волшебницы: какая-то оборочка, вуалька, кружево, родинка — и мужчина теряет голову.

Фелица. Мужчины — как дети. Они хотят быть околдованными, вот мы и превращаемся в волшебниц. Правда, у нас порой болят зубы, и тогда чары развеиваются. *(Заливается смехом, обнажая все зубы и даже нёбо).*

Отец. Я голоден, мои дорогие!

Фелица. Мужчины — это мотыльки, оттого мы должны выглядеть, как цветы. Окраска, форма, запах — для мужчин главное. Мы маним, раскрываемся на солнце, расцветаем в лучах любви.

Отец. Дитя мое, как видавший виды мотылек, я радуюсь, что моему сыну достался такой цветок. А между тем господин доктор — он же прокурист — что-то не в себе

Франц. Я...

Отец. Для юриста наш сын не слишком красноречив: хотя и раскрыл два раза рот, но произнес только одно слово. Короткое, однако для него самое важное на свете — «Я».

Мать. Герман, пожалуйста...

Отец. Дорогие гости, дорогие дети, сегодня мы съехались сюда на помолвку, торжество важное, радостное и многообещающее. Правда, жених сидит, как на похоронах... два раза раскрыл рот, но язык, видно, проглотил. А тем временем в животе у нас от голода музыка — это еще не свадебный марш а только обручальная прелюдия. Я думаю, нам всем невредно подкрепиться. Накрытый стол дожидается уже час. *(Зачитывает приглашение).* «Die Verlobung ihrer Kinder Felice und Franz zeigen Sie ergebenst an»[6]. Теперь же оставим влюбленных, а сами идем в ресторан. Прошу!

Все встают, направляются к выходу.

Фелица. Я тут не останусь. Я даже не знаю: невеста ли я?

Мать подходит к Францу, хочет прикоснуться к его опущенной голове, но боится.

Отец. Идем.

Фелица. Я хоть и цветок, но проголодалась... *(Идет к выходу).*

Франц. Фройляйн... Грета...

Удивленная Грета останавливается.

Останьтесь...

Грета. Фелица, слышишь?

Фелица. За время этого представления я проголодалась. Мне нужно чего-нибудь перекусить. *(Выходит. За дверью слышен ее смех).* Может, он тебе исповедуется.

Грета стоит возле дверей, опустив руки.

Франц *(встает, молча ходит по комнате, садится на диван. Из ресторана доносится шум. Франц вытаскивает из кармана коробочку, открывает ее, смотрит на колечко).* У меня к вам просьба.

Грета молчит.

Грета, сядьте тут, рядом со мной.

Грета молчит.

Почему вы...

Грета. Господин прокурист, я тоже голодна...

Франц. Вы меня осуждаете?

Грета. Моя особа тут ни при чем. Ведь это не моя помолвка... У вас есть невеста.

Франц. Вы говорите банальности... Что такое — невеста? Есть люди, которые сеют вокруг себя скуку, смертную скуку...

Грета. Я не могу этого слушать... Фелица — моя подруга. Это отвратительно.

Франц. Почему? Ведь это правда.

Грета. Стоило ей выйти...

Франц. Ведь я же не мог сказать этого при ней. Я ужасно скучал!

Грета *(невольно улыбается).* Во время своей помолвки?

Франц. Вот именно... Во время помолвки Макса я отлично развлекался, был душой общества... но моя помолвка как-то меня не интересует.

Грета. Вы надо мной смеетесь? Или же вы больны? Чего вы хотите от женщин?

Франц. Хочу... чтобы вы сели рядом. Хочу попросить, чтобы вы помогли мне и Фелице. Для моей работы женщины — погибель, но для моей живой, точнее, умирающей плоти — они спасение... Да, для моей работы женщины — погибель... Они разрушают процесс творения уже на стадии замысла, в зародыше.

Грета присаживается на диван, смотрит внимательно на Франца.

Так вот нужно... молчать... Вы умеете молчать, это более ценно, чем дар красноречия. Ваше молчание очень содержательно, оно всеобъемлюще. Молчание таит в себе несравненно большие возможности, чем речь, звуки. Ваши слова могут меня отталкивать, а молчание притягивает, завлекает... Ваше молчаливое присутствие значило больше, чем вся болтовня, которая обрушилась на мою голову. У животных бывают длительные периоды безмолвия, деревья молчат, молчат четыре стихии, молчит живопись — картины немы... Даже музыка бессловесна. При вас я чувствую себя первозданным, как зверь... Ваше тело волнует меня своей настороженной пассивностью, запахом.

Грета встает.

(Франц хватает ее за руку). Грета, прошу вас, держите меня! Разве вы не чувствуете, что я тону? Я прошу о капле снисхождения, если у вас нет ко мне никаких иных человеческих чувств... У вас ведь возникает побуждение обласкать больную собаку, поцеловать ее... Никакой я не доктор, не жених Я раненое связанное животное, которое загнали в эту комнату, как на бойню.

[6] «Имеем честь уведомить вас о помолвке ваших детей Фелицы и Франца» *(нем.).*

Грета. Как... как вам не стыдно? Ведь это вы... вы всех сюда позвали: и Фелицу, и меня, и родителей Фелицы, и своих мать и отца! Вы поместили объявление в газетах! Это вы втянули нас в свою нору... Вы нас пригласили на обручение, на прекрасное торжество, а теперь сидите на диване и с видом мученика рассказываете глупые истории!

Франц. Однако ты тоже говорящая.

Грета. Разве вы не понимаете: то, что вы делаете, смешно и достаточно неприлядно.

Франц *(слегка дотрагивается до девушки)*. Одно твое прикосновение может меня исцелить. Прошу... ничего не говори... Соки, нас питающие, молчат. Слов у меня предостаточно... но мне необходима пища, которая войдет в мою кровь и плоть. Ну да! Слова все портят. Однако я не понимаю: почему Фелица? Это ты невеста, а не она.

Грета. Господин прокурист, гости ждут нас обедать, а вы тут устраиваете представление!

Франц. Не уезжайте... прошу вас завтра прийти сюда ко мне.

Грета. Вы делаете людей несчастными и паясничаете. *(Встает)*.

Франц. Подайте мне, пожалуйста, руку...

Грета. Вы меня приглядели на роль жертвенной телки, не правда ли? Оглушите, втянете в свою нору и съедите живьем... или принесете на алтарь литературы... Только я не гожусь для жертвы, мой вид вас обманул... Я бы вас так приручила, выдрессировала, что с этой ручки вы бы ели до конца жизни, как цирковая собачка или лошадка... Ели бы все послушно, без капризов и жалоб. Вас, господин прокурист, надо держать в узде.

Франц *(задумчиво смотрит на руку девушки, не слушая ее)*. Ваша лапка похожа... Я вот сейчас думал, что у вас шесть пальчиков... но ошибся... жаль... а то бы этот шестой, ни для чего не пригодный палец был бы моим избранником... Я бы надел на него обручальное колечко... Прошу вас сейчас пойти туда и объявить собравшимся, что я считаю помолвку с Фелицей расторгнутой. А колечко? *(Надевает колечко на палец Греты)*.

Грета. Вы издеваетесь над людьми! Это вы пригласили нас всех на прием по случаю обручения. Вы, вы, вы...

Франц. У меня мигрень... У меня каждый кусок обратно полезет.

Грета. Вы просто боитесь... Разве вы не понимаете, что я ее подруга? Ведь вы же писатель. *(Пытается снять колечко)*.

Франц. Не знаю... У меня в голове топор... Я не могу идти на обед с топором, вбитым в череп. Разве вы не видите, что я кровоточу... что мое тело истекает кровью и пóтом.

Грета. Я не разбираюсь в метафорах и разных аллегориях... Вы попросту боитесь, как маленький мальчик, который наделал в штанишки! Вы боитесь папы, мамы, Фели, ну да! А я понадобилась, чтобы вас подтереть, сменить штанишки и убаюкать. Подобное шутовство пристало школьнику, но не прокуристу, доктору права... Он якобы умирает, а меж тем тащит женщину в постель! Вы идете на этот обед или не идете?

Франц ложится на диван, складывает руки на груди. Молчит. Грета срывает колечко с пальца, бросает его. Смотрит на Франца, сжимает руку в кулак, грозит ему, выбегает.

Картина 9-я

Вестник

Мастерская Сапожника в подвале. Белая занавеска на окне отдернута. Через окно видны ноги прохожих. Мелькает дамская и мужская обувь. Иногда пробегает босой ребенок. Перед верстаком на табурете сидит сапожник, чинит ботинок. Рядом на полу семилетний взъерошенный мальчик наводит блеск на дамскую и мужскую обувь всех видов — лаковые туфли, сапоги... Временами задумывается, но потом с удвоенной энергией снова принимается за работу.

Помещение разгорожено занавеской или ширмой. За занавеской, в кухне, хлопочет жена сапожника. Доносится звон посуды, детский щебет, смех, плач малыша, стук деревянной колыбели. Парад ног за окном не прекращается, но ритм, в котором они маршируют, меняется. Раздается звонок. В мастерскую по лестнице спускается Макс. В одной руке он держит огромный букет гвоздик, в другой — коробку конфет с розовым бантом и зонт. На нем летнее пальто, котелок, светлые перчатки, лаковые ботинки. Полагая, что новость, которую он должен «возвестить» этой семье, требует торжественной обстановки, говорит несколько приподнятым тоном. Поскольку семья девушки не знает, что их ждет, то все ведут себя обычно, предупредительно. Время от времени приоткрывается занавеска, отделяющая мастерскую от кухни, и показываются головы детей. Это немного напоминает обстановку в любительском театре перед началом представления. За занавеской слышен приглушенный шепот, смешки. На протяжении всей сцены дети выходят и снова прячутся. На мгновение показывается потное лицо Сапожничихи.

Сапожник *(отрывается от работы, кивает головой. Зубами сжимает гвозди, поэтому говорит нечетко)*. Мое почтение, господин префессор... Зенек, принеси что-нибудь, чтобы господин префессор мог сесть.

Мальчик, начищавший обувь, поднимается с полу, подает Максу табурет, на который предварительно плюет, а затем вытирает его рукавом. Макс поглядывает на табурет, но не садится.

Сапожничиха *(приоткрыв занавеску, выставляет стул)*. Извиняюсь... *(Вытирает стул тряпкой)*. Не извольте сомневаться... *(Исчезает за занавеской)*.

Макс *(продолжая стоять, говорит в сторону кухни)*. Благодарю. Но зачем столько беспокойства, в самом деле... Мне все равно, могу присесть и на табурет... Убедительно прошу вас не отрываться от своих дел... Я хорошо знаю, как складывается день хозяйки дома, жены и матери. *(Приближается к табурету, но Зенек подвигает ему стул, потом становится перед Максом*

и смотрит на него. Макс нерешительно садится на стул, продолжая держать цветы, коробку конфет и зонт. Затем кладет цветы и коробку на колени, снимает котелок. Ему жарко в пальто, он вспотел. Макс надевает котелок, расстегивает пальто, снимает и протирает очки. Он ни минуты не сидит спокойно).

Сапожник. Зенек! Ботиночки господина профессора! Мигом!

Макс. Отбросим официальные звания, господин Йозеф, я сегодня у вас по личному делу.

Сапожник. Видно, господин профессор, вы торопитесь куда-то с визитом, я вижу тут разное... и для дам... Зенек, запакуй господину профе... Зенек, чего ты уставился на господина профессора как баран на новые ворота? Запакуй как следует ботиночки в газету... Может, Зенек за пролеткой сбегает?

Макс *(кладет коробку конфет на пол).* Эти цветы... в некотором смысле... предназначены моим другом для фройляйн Яны, а в случае ее отсутствия я позволю себе преподнести их вашей уважаемой супруге... если вы разрешите, дорогой господин Йозеф... *(Зенеку).* Молодой человек! Вручите, пожалуйста, этот букет маменьке и попросите поставить его в воду *(подает букет Зенеку, который продолжает глазеть на Макса).*

Сапожник прерывает работу и всем корпусом поворачивается в сторону гостя.

(Макс треплет по голове Зенека и подталкивает его к занавеске. Вскоре из кухни доносится громыханье кастрюлями, неясные голоса Сапожничихи и детворы.
Макс кладет на табурет коробку конфет, на нее котелок. Глядя на Сапожника, медленно снимает перчатки, протирает очки платком. Сапожник вытирает руки о фартук. К табурету подходит девочка, дотрагивается до конфет, но, как ошпаренная, убегает с оттопыренным пальцем). Дело, побудившее меня, а вернее, моего друга, которого я сейчас представляю, исключительно деликатного свойства... В некоторых интимных сферах эмоциональной и личной жизни мой друг ориентируется не слишком свободно. Состояние его психики не позволяет ему непосредственного соприкосновения с действительностью... Это не означает отсутствие смелости — упаси боже! И хотя в своей профессиональной работе он сталкивается с самыми прозаическими проявлениями жизни, все же часто не может понять простейших вещей... Скажем, видит девушку и думает, что сия особа... трудно это объяснить... ну, он попросту удивляется, что у этой девицы есть отец, мать, какой-то брат или сестра, не говоря уже о тетке либо дедушке... Такое же удивление вызывает наличие мужа... Одним словом, мой друг, все постигающий в сфере духа, остается ребенком в области человеческих отношений. Он думает, что его избранница появилась из головы Юпитера или из морской пены... Он совершенно неожиданно реагирует на всякие раздражители: может со всей обстоятельностью вить будущее гнездо, но стоит ему случайно ощутить в доме невесты запах вареной цветной капусты, он в панике убегает, и все идет прахом.

Входит девочка с метлой. Набирает в рот воды, опрыскивает пол и принимается подметать. Смотрит на Макса, подметает вокруг него.

Сапожник. Вроде мы говорим на одном языке, но я никак не возьму в толк, куда вы, господин профессор, собственно, клоните... Сдается мне, что старушенция моя простую капусту варит, а вовсе — извиняюсь за выражение — не цветýху.

Макс. Дорогой господин Йозеф! Оставим пока капусту и вернемся к делу, которое привело меня сегодня к вам. Еще раз подчеркиваю, что друг мой отличается смелостью в большей степени, чем обыкновенный смертный, но эта храбрость не распространяется на сферу семейной жизни и отношений с прекрасным полом... Одним словом, он думает, что девушка созревает, как плод на дереве, без участия родителей, без братьев и сестер, без близких и дальних родственников. Перед обыкновенным дядей или шурином он пасует, как перед чем-то неожиданным и даже несколько пугающим. Его не удивляют разные явления, но поражает сам факт существования шурина. Я помню, что из-за моего шурина у нас с другом дошло до неприятного столкновения. Когда я представил этого родственника Францу, он, вместо того чтобы поздороваться или хотя бы пожать руку, молча смотрел на моего шурина, вернее, не смотрел, а оглядывал его в высшей степени бестактно. И неожиданно, будто в большом изумлении, начал склонять на разные лады слово «шурин». А потом стал смеяться. Оскорбленный шурин вышел из комнаты, а Франц, глядя на меня, сказал с грустью: «Так значит, приятель, у тебя есть шурин...»

Во время своего монолога Макс разгорячился, под конец перешел на писк, потом умолк и начал вытирать лицо платком. Он застегивал и расстегивал пальто, протирал очки, потирал руки и складывал их на груди.

Сапожник. Может, господин профессор, вы изволите снять пальто и расположиться как у себя дома, не стесняясь... Зенек, возьми пальто у господина профессора! О! Теперь уже лучше? Не подать ли воды?

Сапожничиха *(стоит на фоне занавески, держа обеими руками вазу с гвоздиками).* Благодарствую за букет и стократно извиняюсь за беспорядок!

Макс *(садится, встает).* Уважаемые господа, я имею честь от лица моего друга, чиновника высокого ранга с надлежащей квартирой, имеющего высшее образование, просить вас как родителей фройляйн Яны позволить моему другу нанести официальный визит в ваш дом, если моя миссия встретит также доброжелательное отношение дочки.

Сапожник встает и кланяется. За занавеской раздаются голоса детей, писк, смешки, слышна детская считалка: «Эне-бене раба, интер винтер жаба... раз, два три — выходишь ты!» Из-за шторы дети выталкивают рыжую девочку с венком на голове. Она серьезно разглядывает Макса.

Сапожничиха. Извиняюсь *(исчезает с цветами за шторой).*

Сапожник. Что-то мне невдомек, где тут собака зарыта... Зеня, сбегай-ка к господину Грайцареку и принеси три бутылки пива... Постой, захвати пустые и принеси пять.

Зенек собирает в сумку пустые бутылки.

Скажи господину Грайцареку, что отец, мол, сам ему заплатит... Насколько я уразумел, дело касается нашей Яны, которая только вечером вернется с работы. А нельзя ли узнать, почему этот господин не пожаловал собственной персоной просить руки?

Макс. Обычай допускает брачное предложение, а также обручение per procura, то есть через доверенное лицо.

Сапожник. Зенек! Чтоб я тебя тут не видел! Ишь ты — уши развесил! Такие слова не для детей. Ну, марш отсюда! Простите, господин профессор, но при детях лучше не выражаться, а то они потом все это разносят, и люди болтают невесть что.

Макс встает.

(Сапожник садится). Через доверенное лицо! А ведь ботинок без ноги клиента не сошьешь! Если он мне доверится, то должен самолично прийти на примерку: хоть он и интеллигент, а нога у него такая, что, не примеряя, я или кто другой... *(Сапожник наступает на Макса и говорит с воодушевлением).* Без искры божьей ни в каком деле нельзя! Оттого теперь столько разных артистов, а хороших сапожников все меньше.

Сапожничиха *(на мгновение высовывается, а потом говорит уже из кухни).* Господин профессор, вы эту болтовню не слушайте! Он с утра пьет пиво — вот и несет околесицу. Может, вам чаю подать? Старик, не забывайся! Стыд! Это при детях-то!

Макс. Но я с огромным удовольствием выслушал господина Йозефа. *(Натягивает перчатки).*

Сапожник. Не знаю, какой вы веры, уважаемый господин профессор, но так красиво и чисто по-чешски умеют говорить только бывшие евреи.

Макс *(похлопывает Сапожника по плечу).* My friend[7], запомните: у молчащего человека — одно лицо, у заговорившего два. Это старое изречение дзэн.

Сапожничиха *(из кухни).* Вот видишь, умник, как тебя господин профессор осадил. *(Максу)* Извольте располагаться... присядемте, и вы мне все выложите как на ладони. Возьми-ка у господина профессора пальто.

Макс снимает пальто, перчатки, шарф и подает все Сапожнику. Тот держит вещи и смотрит на Макса.

Вы все просто, прокуро, как вы говорите, расскажете матери, и уж будьте уверены: сердце матери — это сердце матери.

Сапожник *(мотает головой).* Дзэнек-то Дзэнек, а порядок должен быть. Хочешь девицу — бери, но чтоб беспременно все честь по чести: обручение, свадьба, а уж потом всякое такое. Прокурва это или не прокурва — серьезный жених должен приличия блюсти... Зенек, слетай к господину Грайцареку и принеси еще пять бутылок пльзенского. Только мигом!

За шторой раздаются голоса, смешки, писк, как если бы вся орава ребят играла в прятки. Через окно подвала видны теперь обутые в сапоги ноги марширующих солдат. Доносятся звуки бодрого марша. Все подходят к окну и, завороженные, долго смотрят на улицу. К ногам марширующих солдат падают цветы.

[7] Мой друг *(англ.)*.

Картина 10-я

Брат и сестры

В глубине сцены — черная стена. Перед ней—зеленый газон. В тени яблони спит Франц. На нем белая рубашка с подвернутыми рукавами, поверх которой надета черная жилетка. Подходит Оттла в простом деревенском платьице, с косынкой на голове. Останавливается над спящим, наклоняется, смотрит на его лицо. В сад вбегают в летних цветных платьях сестры — Элли и Валли. Держатся за руки и танцуют. Оттла прикладывает палец к губам. Сестры наклоняются над Францем.

Сестры *(поют).*

Schlaf, Herzli, schlaf,
schlaf, mein kleiner Graf,
bis der Hahn am Morgen früh
lustig ruf sein Güggehü!
Schlafe schlafe sieben Stund
bis der Vater wieder kummt[8].

Оттла. Франц все утро работал... Ведь он закупил секатор, лопаты, пилки для подрезания веток... и целый ящик учебных пособий: «Разбивка сада», «Климат и садоводство», «Омолаживание деревьев», «Хранение фруктов»... Он штудирует их по ночам... Вчера во время обеда прочел нам лекцию о минеральных и органических удобрениях. Сказал, что я должна завести в своем хозяйстве компост. Упрекнул нас, что мы осенью сжигаем картофельную ботву, вместо того чтобы приготовлять из нее компост, поскольку сгнившая ботва образует удобрение, отлично заменяющее навоз. Но особый энтузиазм он проявил во время десерта: даже поднял кверху указательный палец и ex cathedra[9] прочел нам в назидание *(Оттла поднимает кверху указательный палец и произносит речь, подражая Францу).* «Малоиспользованным источником органических удобрений являются фекалии. Из гигиенических соображений нельзя использовать фекалии для удобрения овощей, но против применения фекалий в садах мы не имеем никаких возражений. Можно прямо из бочки разливать их в борозды, вспаханные или вырытые сразу за пределами крон деревьев, а потом присыпать фекалии землей...

Элли и Валли грызут яблоки.

Фекалии — очень насыщенное и эффективное удобрение, поэтому их доставка из города в сад окупится с лихвой!» Этот пассаж на тему фекалий и легкомыслия жителей больших городов, губящих ценный физиологический продукт, наш брат закончил сентенцией о том, сколь различны могут быть суждения — например, о яблоке:

[8] Спи, наш принц, малыш,
Ночная настала тишь.
Петушок запоет на заре:
«Кукареку, кукаре...»
Спокойно усни наконец,
Пока не вернулся отец.
(Здесь и далее стихи в переводе Г. Ратгауза.)

[9] Авторитетно, непререкаемо *(лат.)*.

«суждение маленького мальчика, вынужденного вытягивать шею, чтобы с трудом увидеть лежащее на столе яблоко, и суждение хозяина дома, который берет яблоко и свободно подает его сидящему за столом».

Сестры перешучиваются, смеются, бегают по саду. Оттла сортирует фрукты. На фоне черной стены, в глубине, появляются Палачи, одетые в черные мундиры, с полицейской собакой на поводке. Они быстро проходят вдоль стены, потом слышен собачий лай. Никто их не заметил. Валли и Элли шепчутся друг с другом, разражаются смехом. Оттла подрезает секатором ветки. Франц просыпается, прислушивается, где-то далеко лают собаки. Охранники-палачи могут появляться на сцене в любое время. Могут молча пройти мимо или же задержаться перед отдельными особами. Действия Палачей непредсказуемы. Их появление может быть замечено либо всеми персонажами, участвующими в сцене, либо каким-то одним. В этом случае остальные ведут себя так, как если бы Палачей не было. Франц смотрит на Оттлу.

Оттла. Ты весь потный... *(Гладит его).*

Франц. Я голодный... Что сегодня на обед?

Оттла. Spinat mit Setzei und Kartoffeln[10].

Франц. Ausgezeichnet! [11].

Оттла. Mit guter Butter gemacht! [12].

Франц. Ausgezeichnet!

Оттла. Gemüseschnitzel, dann Nudeln mit Apfelmus! [13].

Франц. Ausgezeichnet!

Оттла. Tomatensalat, Semmel, Pflaumenkompott[14].

Франц, Валли, Элли *(хором.)* Ausgezeichnet!

Элли и Валли выходят. Оттла садится, либо становится на колени рядом с Францем. Он прислоняется головой к ее коленям, и теперь он может видеть над собой только небо или лицо Оттлы.

Франц. Я отгоняю сон, потому что боюсь проспать жизнь, и сейчас у тебя в деревне. я хотел бы бодрствовать всю ночь и весь день... Я боюсь проспать, проворонить самое прекрасное: тень под яблоней, свет на твоем лице, пение петуха... Боюсь, что засну и кто-нибудь выкрадет у меня все это, одно за другим... Проснусь в закрытом ящике или шкафу, где пахнет мышиным пометом, падалью...

Оттла. Не можешь забыть.

Франц. Я уже сам не знаю, был это сон или только мои мысли... Может, это был рассказ, который я не написал, и потому он меня так мучает, грызет, пытается пробиться сквозь мою кожу, осуществиться... Это был какой-то огромный платяной или бельевой шкаф с нижним ящиком... Я один в темноте, нет ни стен, ни потолка, как бывает ночью... Я слышал шуршание, писк, шарканье... Я затаил дыхание... и снова услышал шорох и царапанье — наверно, мыши едят мои бумаги, письма и рассказы... Но о том, чтобы открыть ящик, я думал с отвращением. Писк и царапанье стали настойчивыми, я на коленях нерешительно подполз к ящику... Там стало тихо... Я медленно начал его выдвигать... Там что-то шевелилось, клубилось, дышало. Я задвинул ящик, потом снова стал осторожно тянуть его на себя и уже мог заглянуть внутрь... А там клубилась черная смердящая масса... Но это не были мыши — это были люди... человеческий муравейник... И были они в капотах, как старозаветные евреи... Меня затошнило, к горлу подступила рвота, и я задвинул ящик, а потом снова стал тихонечко выдвигать... У них там, очевидно, не было ни воздуха, ни еды, поскольку они с писком и визгом протискивались к щели. Но во мне вдруг проснулась жестокость, какая иногда вспыхивает в тихих, хорошо воспитанных детях.

Оттла. Даже в снах ты мучаешь себя... и других... Иногда мне хочется проникнуть в твою голову, в твой мозг и навести там порядок, выгнать страхи и кошмары, которые тебя изводят... Я тебя очень люблю... И хочу, чтоб ты это знал.

Франц. Они там задыхались и пищали, а я выдвигал и задвигал ящик, с отвращением глядя на их маленькие волосатые лапки, розовые рыльца, обезумевшие глаза, на их бороды, пейсы... Я испытывал к ним чувство гадливости, как к мухам на липучке, которую Юзя кидала в огонь, где эти мухи жарились, трещали... Из клубящегося роя выскочила только одна особь, оказавшаяся проворнее меня: я не успел задвинуть ящик. Она остановилась передо мной, приняла облик маленького мальчика, в отличие от остальных евреев одетого в тесный, наглухо застегнутый пиджачок. Это был Макс. Я узнал его. Он все время расстегивал и застегивал пиджачок, проверял пуговицы... На слюнявых губах — дьявольски злобная усмешка, и весь он пропитан страстью поучать других. Вытянутая в мою сторону рука... палец, нацеленный в грудь... Макс беспрерывно о чем-то спрашивает пронзительным голосом и тут же на все отвечает сам... Голос его переходит в рулады канарейки, сверлит мне уши, голову... Макс пищит, кричит, как бы ставит мне ультиматум: да или нет. Я знаю, чего ему надо, и меня охватывает невыразимый ужас, который человек испытывает только в минуты агонии.

Оттла. Это все от затворничества. Ты замыкаешься, отгораживаешься от всего мира, с огромным трудом, в поте лица роешь себе нору, забиваешься в нее — больной, истерзанный... Стоит отворить двери, и сразу за ними начинается жизнь. Делаешь первый шаг, второй — и уже летишь!

Франц. Я — западня, мое тело — западня, в которую я попал, родившись на свет.

Оттла. Я тоже боялась того, что меня ждет за дверями, но однажды я изо всех сил толкнула эти двери, которые придавило чье-то огромное тело. Они раскрылись: это отец забаррикадировал их собой. Теперь он от меня отрекся... Я вылетела и позади оставила всех... Снаружи была деревня, были поля, огороды, сады, пасеки, были луга, пахло сеном... Я убежала, и только твои глаза мне сопутствовали, придавали смелости... Сам запертый, ты толкал меня к свету и жизни. А теперь ты здесь, со мной... и можешь остаться навсегда, мой защитник и мое дитя.

Франц. Иногда я думаю о бегстве... Может, наконец, я вырвусь, буду жить писани-

[10] Глазунья со шпинатом и картофелем *(нем.)*.
[11] Превосходно! *(нем.)*.
[12] На хорошем масле! *(нем.)*.
[13] Овощной шницель, потом лапша и яблочный мусс! *(нем.)*.
[14] Салат из помидоров, булка и сливовый компот *(нем.)*.

ем, уеду куда-нибудь, может, за границу — в Палестину или Россию... Россия! Ее притягательная сила беспредельна... Вылезу где-нибудь за Тулой и пойду куда глаза глядят. Великая, необъятная река катит желтые волны... Фелица глуха ко всем моим просьбам, к ней бесполезно обращаться даже на языке глухонемых. Она жаждет обывательского счастья, комфортабельной квартиры, спальни, натопленных комнат, полных шкафов, шкафчиков для белья и буфетов. Она все ждет, что я заинтересуюсь фабрикой отца... Любит сытно поесть, особенно мяса, хотя оно застревает в зубах. Только у хищных зверей зубы приспособлены для раздирания мяса. Как и все ее подруги, Фелица мечтает спать до одиннадцати часов... а ночью? Не знаю... На моих часах, которые вот уже год спешат на час, она ставит правильное время. Она не понимает моего измерения, моего времени, в котором часы могут спешить на час, поскольку это измерение не имеет ни малейшего значения для основного и единственно важного занятия, каким для меня является писание.

О т т л а. Ты боишься этого брака? Если боишься, то я скажу...

Ф р а н ц. У нее во рту полно золотых зубов! Скажу тебе по секрету, что вначале, сразу после нашего знакомства, я закрывал глаза от стыда и страха, когда Фелица смеялась. Она показывает все зубы и нёбо!

О т т л а. Ты дурачок!

Ф р а н ц. И это у нее во рту!

О т т л а. Дорогой братик, а где же, потвоему, должны быть зубы у этой девушки?

Ф р а н ц. Адская бездна, полная сверкающих зубов! По правде говоря, здоровые зубастые челюсти — тоже страшно. В сущности, из-за своего изъяна Фелица стала мне ближе... Этот маленький недостаток нельзя скрыть, оттого он будит чувства... Мне трудно выразить... Это что-то вроде нежности... Хотя как жених я мог бы иметь некоторые претензии по поводу золотых зубов, но никогда этого Фелице не сказал... Знаешь, а все же люди не заботятся о зубах.

О т т л а. Мама страшно огорчена разрывом... Люди придают определенное значение условностям. Ты снова дал объявления, пригласил ее родителей, а потом говоришь, что у тебя болит голова и что ты расторгаешь помолвку, а точнее, ничего не говоришь... Я всегда буду с тобой и на твоей стороне, но мама рассуждает как обыкновенная женщина... А отец?

Ф р а н ц. Это кровь... кровь из недр моего организма хлынула и разорвала помолвку... Мой организм дал мне понять, что я должен делать только одно: писать. Браки, деторождение, покупку шкафов нужно оставить избранникам счастья. Однако, возвращаясь к зубам: представь себе, на прошлой неделе я получил письмо от некой девицы, где она жалуется на зубную боль и пишет, что виной тому сквозняки. Ну как взрослая особа может писать такую ерунду! Для здоровых зубов как раз наиболее благоприятен воздушный поток. Хотя с молодой дамой и следует обходиться деликатно, я спросил у нее, как она ухаживает за своими зубами и чистит ли их каждый раз после еды.

О т т л а *(вертит головой)*. Нет, нет, Франц, поставь себя, однако, на место невесты и ее родителей!

Ф р а н ц. Liebes Fräulein Grete[15], говорю я ей...

О т т л а. Грета? Подруга Фелицы?

Ф р а н ц. ...быть может, вы старательно чистите зубы, но, поверьте мне, зубы портятся прежде всего от употребления мяса: я знаю это по себе... Сидишь за столом, смеешься, наслаждаешься беседой, а тем временем в полости рта гниют оставшиеся между зубами мясные волокна, и в них плодятся микробы, как в дохлой крысе, закиданной камнями.

О т т л а. Но при чем тут Грета?

Ф р а н ц. Так именно Грета мне много рассказывала о зубной боли, часто беспокоящей Фелицу. Да будет тебе известно, сестричка, что из всех болезней именно зубная боль вызывает у меня страх и отвращение. Конечно, ковыряние в зубах за столом вовсе не приятно для присутствующих, но мясные волокна надо удалять сразу же... Помнишь, только отец имел неписаное право ковырять за столом в зубах. Он ковырял зубочисткой и даже вилкой или ногтем, разгрызал кости, высасывал костный мозг, чавкал, иногда вытягивал пальцами мясные волокна из щелей между зубами, а на нас кричал, если мы за столом начинали ковырять в зубах.

О т т л а *(улыбается)*. Так, значит, речь идет о ковырянии в зубах...

Ф р а н ц. У плотоядных животных зубы остроконечные, широко расставленные, приспособленные для раздирания и пережевывания мяса, в то время как люди...

О т т л а. ...в то время как люди прислали вам подарки! Дядя Альфред из Мадрида написал чудесное письмо и в качестве свадебного подарка для тебя и Фелицы приложил чек на тысячу крон. Скажи, что делать с этим чеком? Мама вынуждена отослать его и объяснить дяде Альфреду...

Ф р а н ц. Фелица говорила исключительно об устройстве квартиры, хоть я определенно высказался, что и после свадьбы должен иметь свой угол для работы, свою нору, как крот или барсук... В норе не принимают гостей. Непрошеный гость, который суется в нору, становится нашим врагом... Фелица требует от меня чувств, которых не питает к моим братьям и сестрам. Валли она называет гладильной доской, Элли — гусыней, а твоего существования еще вовсе не заметила. Ты для нее какое-то никчемное, комичное существо, а не моя младшая сестра. Она обязана знать, что ты — мой единственный союзник в борьбе... Подозреваю, что она не прочитала целиком ни одного моего рассказа, хотя читает романы разных австрийских и других писателей... Я не ревнив... Когда-то я дал ей «Крейцерову сонату» — уверен, что она не прочла.

О т т л а. «Крейцерова соната» — не слишком ободряющее чтение для будущей супруги и матери. Жену Толстого тоже не обрадовала эта книжка: она чувствовала себя глубоко уязвленной... Мне кажется, что письма к Грете...

Ф р а н ц *(про себя)*. Боюсь ли я брака? Может... может, потому боюсь, что в браке

---

[15] Дорогая фройляйн Грета *(нем.)*.

рождаются дети... которые могут нам воздать с лихвой за то, в чем мы провинились перед собственными родителями... Если бы я оказался лицом к лицу с собственным сыном, который был бы таким же черствым, замкнутым, молчаливым... одним словом, если б я родил сына, похожего на себя? Пожалуй, я убежал бы от него, переселился, как это хотел сделать наш отец.

Появляется Палач, показывает на Оттлу. Франц этого не видит, складывает в корзину яблоки Удивленная Оттла дотрагивается рукой до груди как бы желая спросить: «Я? Это — меня?» Палач кивает головой, Оттла разглаживает ладонями блузку и юбку, на цыпочках идет за Палачом. Они проходят вдоль черной стены, исчезают в темноте. Франц не видит того, что происходит за его спиной на фоне черной стены. Вдали раздается лай собак. На фоне черной стены появляется Человек с книжкой, открывает ее, читает.

Человек с книжкой. «На пути от газовой камеры к могилам, то есть на протяжении нескольких сотен метров, стояли дантисты с клещами... Они открывали рот покойника, заглядывали туда, вытаскивали золотые зубы и коронки, бросали их в корзину. Дантистов было восемь—в основном молодые люди, их набрали специально из эшелонов. Одного из них, по фамилии Цукер, я немного знал: он был родом из Жешува. Дантисты занимали отдельный маленький барак. В сумерки они приносили туда корзины, полные золотых зубов, снимали золото и перетапливали в бруски. Надзирал за ними гестаповец. И бил, если работа шла слишком медленно. Зубы перетапливались в бруски толщиной в сантиметр, шириной — полсантиметра и длиной двадцать сантиметров».

Вдоль черной стены Палачи молча гонят, будто стадо, толпу нагих людей. Франц этого не видит и не слышит, целиком погрузившись в созерцание дерева, листьев, веток, фруктов. От толпы отделяются три женские фигуры — Оттла, Валли, Элли. Они прикрывают свою наготу руками и волосами. Кто-то бросает в их сторону какую-то одежду, тряпки,— обувь на деревянной подошве, туфли. Оттле достается мужская рубашка, рваные кальсоны, старые, разодранные брюки, гимнастерка с русского военнопленного. На голове у Оттлы — косынка, на руке — белая повязка со звездой Давида. На ногах — обувь на деревянной подошве Элли и Валли роются в груде одежды. Оттла подходит к Францу сзади и закрывает ему глаза ладонями.

Оттла. Eins zwei drei,
du bist frei,
Франц. Vier, fünf sechs
du bist nexchs[16].

Оттла *(снимает с головы косынку, завязывает Францу глаза).*

Eichen, Buchen, Tannen,
und du musst fangen.
Eichen, Tannen, Buchen,
und du musst suchen! [17]

Элли и Валли ищут под стеной что-нибудь съестное. Одна нашла кость, другая — несколько картофелин. Боязливо приближаются к границе сада, но не пересекают ее. Одетые в грязные лохмотья, они жадно съедают свою добычу. На спинах и на груди у них звезды Давида или надписи «Jube»[18]

Элли, Валли и Оттла бегут вдоль черной стены, исчезают в темноте. В саду — тишина. Франц еще какое-то время кружит по саду, наконец, срывает с глаз повязку, с улыбкой осматривается, прикладывает рупором руки ко рту.

Франц *(кричит).* Элли... Валли... Оттла... Элли... Элли... Оттла!

Эхо из глубины отвечает ему, множа звуки, имена, и пропадает.

Сцену медленно обволакивает мертвый, зимний свет. Краски умирают. Все превращается в дым, мглу, пепел.

Картина 11-я

Огонь разведу руками друга

Большая комната. Печь, облицованная узорчатыми изразцами. Дверцы раскрыты, в печи полыхает огонь. За окном, где видна крона дерева, постепенно темнеет. Франц ходит по комнате, останавливается, греет руки. Мерцающий красный свет окутывает его темную фигуру. Франц берет кочергу, ворошит угли. На столе возле печи лежат бумаги, тетради, газеты. Франц говорит про себя, сначала не слишком разборчиво, потом отчетливее, делает паузы, наконец, слова складываются в фразы.

Франц.

Dort unten in der Mühle
Sass ich in süsser Ruh,
Und sah dem Räderspiele
Und sah den Wassern zu,
Sah zu der blanken Säge,
Es war mir wie ein Traum,
Die bahnte lange Wege
In einen Tannenbaum,
Die Tanne war wie lebend
In Trauermelodie. [19]

(Франц наливает рюмку красного вина, некоторое время смотрит на просвечивающую жидкость и медленно пьет).

Входит Макс.

Макс. Вот и я.

Франц отступает на шаг-другой, смотрит на Макса.

Что случилось? Твою телеграмму мне вручили вечером. Я ехал всю ночь.

Франц. Ничего не случилось... собственно, ничего... *(Зажигает лампу).* Как видишь, просматриваю бумаги...

Макс. Бумаги?

Франц. Жгу бумаги... письма...

Макс. Сжигаешь чужие письма, в то время как твои...

Франц. Сжигаю также свои произведения... прощаюсь с ними и бросаю в печь. В зольнике уже много пепла... Это не «бумаги», я жгу живые существа, слышу плач и крик... это мои неудачные дети, которых я родил сам с собой — семя изверглось внутрь... Я переоценил свои силы, Макс, я

---

[16] Раз, два, три — выходи!
Четыре, пять — води опять!

[17] Дуб, ель, бук.
Стань-ка в круг.
Ельник густой впереди.
Побегай-ка поводи!

[18] Еврей *(нем.).*

[19] У мельницы, возле плеса,
Я отдыхал без забот.
Глядел, как вращались колеса
И как быстро вода течет.
Я видел: пила сверкала...
(наяву или в грезах сна).
Пила свой путь пролагала,
И в ель вгрызалась она.
А ель была как живая,
Напев похоронный звучал...

не могу сжигать своих детей... Только ты можешь это сделать.

Макс. Ты болен, бредишь!

Франц. Я хочу сжечь твоими руками все, что я произвел на свет.

Макс. Эту пытку ты придумал для меня, как расплату за то, что я был удостоен твоей дружбы. Ты не терпишь меня, никому из близких, которые тоже пишут, ты не можешь этого простить... У тебя начинаются спазмы, когда кто-то говорит, что и он пишет... Ты смеешься до слез! Ведь так? Ты хочешь наказать меня еще и после смерти за то, что я литератор, что я тоже пишу, что люблю твое творчество, которое ты презираешь. Так зачем откладывать? Давай вместе сожжем все сегодня, сейчас. Потом выпьем по стаканчику вина — и дело с концом!

Франц. Видишь ли, я уже не способен на эту экзекуцию... Они просят об отсрочке... Запертые в ящиках, лишенные воздуха, они задыхаются, но хотят жить... Тебе будет легче, хоть ты их любишь, как утверждаешь, больше, чем свои собственные. Сожжение рукописей, книжек — это вовсе не такая жестокая или глупая акция, какой ее объявляют. Книги уничтожались и будут уничтожаться разными религиями, институциями, идеологиями... Уничтожались и будут уничтожаться творцами, которые прозрели и впали в отчаяние, которые не хотят, чтобы их детища жили на этом свете, гонимые цензорами, оплеванные глупцами, препарированные схоластами... Часть я сжег! Эти, в чемодане, предназначены для тебя — сожжешь их в день моих похорон.

Макс *(смотрит на чемодан, стоящий у стены)*. Я хочу задать тебе вопрос... много лет хочу задать тебе этот вопрос, но не осмеливаюсь.

Франц *(смеется)*. Итак, час пробил! Что ж, обнажи невидимый клинок!

Макс. Этот клинок, к сожалению, мягкий, как рука твоего друга.

Франц. Мягкая рука друга...

Макс *(вытягивает перед собой руку и «целится» указательным пальцем в грудь друга)*. Почему всю жизнь ты подставляешь вместо себя других людей?

Франц подходит к печи, стоит спиной к Максу, молчит.

Всегда, во всех случаях, кроме писания и умирания, ты хотел себя кем-то подменить — Оттлой, матерью, другими женщинами и верным Максом... Ты можешь мне ответить на этот вопрос?

Франц *(стоя спиной к Максу)*. Прежде всего, располагайся, умойся... видишь, я живу с удобствами и даже комфортабельно. У меня есть ванна...

Макс *(берет чемодан, высоко поднимает его)*. Тяжелый!.. Я мылся в поезде, спасибо... Ты позвал — я примчался.

Франц. Я люблю тебя, ведь ты это знаешь... Хотя с момента твоей женитьбы к моим чувствам примешалась крупица жалости и брезгливости... Не сердись...

Макс. Роешь новые ходы, крот! Снова хочешь спрятаться... Но ты должен ответить на вопрос.

Франц. Это силок, а не вопрос.

Макс. Ответь мне!

Франц. Не понимаю тебя.

Макс. Я помогу твоей памяти... Это началось в школе... Я поймал твои пристальные взгляды, почувствовал, что ты хочешь со мной познакомиться... Но ты выпытывал обо мне других ребят, даже когда я находился рядом и слышал твой голос. В четвертом классе у нас был рыжий деревенский мальчишка, и это его ты выбрал послом. Он пришел ко мне и сказал, что ты поздравляешь меня с сочинением на тему стихотворения Кёрнера «Путник на лесопильном заводе».

Франц *(декламирует)*.

Du kehrst zur rechten Stunde,
O Wanderer, hier ein,
Du bists, für den die Wunde
Mir dringt ins Herz hinein. [20]

Макс *(продолжает)*.

Du bists, für der wir werden,
Wenn kurz gewandert, du,
Dies Holz im Schoss der Erde,
Ein Schrein zur langern Ruh! [21]

Франц *(продолжает)*.

Vier Bretter sah ich fallen,
Mir ward's ums Herze schwer... [22]

(Подходит к столу, наливает в рюмки вино).

Макс. На перемене подходит ко мне этот рыжий — глазки у него как незабудки...

Франц *(берет рюмку)*. Vergißmeinnicht! [23]

Макс *(чокается с Францем)*. Он смотрит на меня и важно говорит, что ты просил его, чтобы он от твоего имени поздравил меня с прекрасным сочинением! Это было так необычно и комично в отношениях между соучениками да еще из одного класса, что я начал смеяться... Смеялся долго и громко, даже стукнул кулаком по скамейке... Посол терпеливо ждал моего ответа, а ты сидел в углу и не обращал на нас внимания... Я хотел подойти к тебе, но ты начал что-то писать — наверно, притворялся занятым, поэтому я не двинулся с места. Таким было наше первое общение... А позже я уже сам стал твоим заместителем и посыльным. *(Макс выпил вино)*. Когда в школе начались уроки танцев, впоследствии на них приглашали девочек из женской гимназии, ты не пришел на первое занятие, предупредив меня, что из-за температуры должен лежать в постели, и попросил сразу же после урока прийти к тебе... Лежа в постели, ты подробно расспрашивал, что было на занятии, просил точно показать первые па и фигуры бальных танцев. А так как танцор из меня был никудышный, ты хохотал до слез! На уроке вместо партнерш в нашем распоряжении имелись однокашники или стулья. И я должен был показать, как Хельмут танцевал со стулом, а Петр — с Каролем. Потом ты часто танцевал со стулом...

---

[20] Ты, путник долгожданный,
Пришел сюда, в наш дом.
А боль твоя — словно рана,
Горит она в сердце моем.

[21] Тебе недолго по свету
Бродить: мы простимся с тобой,
Живое дерево это
Станет доской гробовой.

[22] Я видел, как гроб мастерили,
И сжалось сердце мое...

[23] Незабудка *(нем.)*.

Франц *(тихо)*. Это все кончилось, вытекло вместе с кровью из моих легких...

Макс. Ты хочешь моими руками сжечь свои рукописи, а я хочу сейчас узнать: почему ты решил воспользоваться мной? Почему я должен убивать то, что составляет твою жизнь, убивать твое потомство? Объясни: это ты так меня любишь или так презираешь? Почему ты не выбрал для этого уборщицу, которая подметает у тебя, топит печь? Наверно, ей часто требуется бумага для растопки — ты мог бы дать свои рукописи. Я знаю, почему ты не дал их уборщице. Сказать тебе?

Франц ворошит кочергой в топке.

Потому что эта женщина не умеет читать! Именно поэтому. Не умеет читать! *(Макс приблизил свое лицо к лицу друга.)* А я умею писать и читать, и оттого ты выбрал меня.

Франц. Я выбрал тебя, потому что люблю тебя и верю, что исполнишь мою последнюю волю.

Макс. Ты сделал такой выбор, так как хочешь меня наказать за то, что я *тоже* пишу.

Франц. Ты раздражен... Конечно, в блеске этого пламени, рвущегося из печи, все приобретает зловещий оттенок. Нам нужно другое освещение. *(Зажигает электрический свет.)* Обыкновенным вещам ты даешь демоническое толкование... У меня уже просто нет твердости... начинаю читать... теряюсь... Я выбрал тебя единственным свидетелем и последним читателем. После моей смерти прочтешь рукописи, а потом все сожжешь...

Макс. Если я должен их сжечь, то зачем тогда читать? Ты непоследователен.

Франц *(как бы пойманный с поличным)*. Да... так... пожалуй, ты прав... можешь не читать, но сжечь должен... Дай мне руку в знак согласия... дай слово...

Макс протягивает Францу руку, но тот не видит или притворяется, что не видит, ворошит кочергой угли.

Спасибо тебе... садись и рассказывай, что у меня дома... вернее, в доме моего отца. Макс! У меня есть замечательные сыры... Ты видел мать, отца? Они писали, что собираются навестить меня... Этот визит мне ни к чему... не вижу необходимости... Впрочем, по возвращении ты можешь дать им подробный отчет о нашей встрече, о том, как я живу, что пью, что ем... Я не такой уж и больной... может, скорее я выберусь в Прагу... Ем фрукты, орехи, пью молоко, пиво... Одним словом, от меня они услышат и узнают не больше, чем от тебя.

Макс. Я разговаривал с твоей матерью и с Оттлой. Отца не было дома... хотя, может, и был...

Франц *(смеется, вынимает из корзинки грецкие орехи, раскалывает их металлическим «щелкунчиком», протягивает на ладони Максу)*. Вижу, ты не забыл, что он о тебе когда-то сказал... Сколько уже лет прошло, а он все давит меня собой!

Макс. Твой отец!..

Франц. Ошибаешься! Он не только мой отец, он также и твой, он наш общий Отец. Отец миллионов молодых людей, которые сейчас воюют и гибнут... Это единый, коллективный Отец, который обрекает сынов на бойню уже тем, что производит их на свет в нашем поганом мире. Это Отец, который говорит голосом Бога Отца: Die Liebe kann nur durch Opfer und Schlachtung des Sohnes erreicht werden!»[24]. У моего отца зычный голос, быть может, он специально говорил так громко, чтобы мы слышали его слова в прихожей. Он обращался к матери, но выжег эти слова у тебя на лбу, как клеймо: «И что это Франек выбрал себе в приятели такого гнуса! Ладони теплые и влажные, как мочалка, б-р-р! А эти косые глазки, эти проволочные окулярчики на прыщавой мордочке-гузке! А эти брюзгливые малиновые губки — тьфу!» Окаменев, мы смотрели друг на друга, а поскольку мама его утихомиривала, он еще громче добавил: «Я уверен, что этот шпентик онанирует по всем темным углам... Ты видела эти крысиные зубки, эту усмешку? Мне хотелось схватить его за воротник и снести по лестнице, как щенка...» Не застегнув пальто, ты вылетел из нашего дома сломя голову, а я — за тобой, несчастный и обозленный на отца.

Макс *(расстегивает и застегивает пиджак, снимает очки, протирает их платком, его губы складываются в гримасу, и не ясно, то ли он сейчас расплачется, то ли улыбнется)*. Помнишь каждое слово...

Франц. Ведь это он меня оскорблял, не тебя... Для тебя он просто хам, делец, а для меня — Родитель, тот, кто произвел меня на свет... Все прошло, миновало, ты теперь отличный фельетонист, признанный писатель, муж, глава семьи... Я — доктор права, автор книг.

Макс берет со стола банан, очищает.

Женщин можно обманывать — мать, сестру, бабушку... По-настоящему они ничего не знают о сексуальной жизни шестилетнего мальчика, тринадцатилетнего подростка, а потом юноши, мужчины, наконец, старика... Ничего не знают о нашем скрытом огне, о наших адских муках... Женщины обеспокоены нашей бледностью, синяками под глазами, отсутствием аппетита, они поражены вспышками необузданного гнева, самоубийствами... Но отцы и старшие братья знают все, а младшие догадываются, подглядывают и молчат, испуганные... Если б женщины увидели нас, мечущихся в клетке, увидели, как мы бьемся о стены-прутья, как стонем, подавляя в гортани рык самца, лишенного самки... Да, хорошо, что они нас не видят... что совокупляются с нами, закрыв глаза... что не видят лиц прирожденных насильников, хищников... убийц... А потом мы как дети плачем на груди у женщин.

Макс *(продолжает есть, потом тщательно вытирает руки платком)*. Бывают разные натуры: одни рычат, другие — скучают...

Франц. Да, бывают разные натуры... мой отец хорошо знал об этом, когда хотел отвести меня в бордель... Я никогда не мог ему этого простить, хоть он был прав, а я струсил... Мужчины знают друг о друге все... Помнишь рассказ Толстого «Смерть Ивана Ильича»? «Сын всегда жалок был ему. И страшен был его испуганный... взгляд». На лице своего сына он читает этот стыдливый знак, каким природа метит ма-

[24] Любви можно добиться только жертвоприношением и закланием сына! *(нем.)*.

лолетних онанистов. И мой отец читал на наших лицах... Мы были мальчиками, перекормленными мясом и всеми теми вкусными вещами, от которых портятся зубы и желудок. Ленивые, чувственные, равнодушные к спорту и физической работе, такие дети вечно заняты собой. Таким был я, таким был ты. Отец это знал и испытывал к нам чувство брезгливости. Ты показался ему мозглявым и гаденьким. Он никогда не скрывал своих суждений, резал правду в глаза. Когда-то он рявкнул на меня — а мне было уже тридцать лет: «Wie lange hast du gezögert, ehe du reif geworden bist?!» [25]. Это относится и ко мне, и к тебе, хотя ты обзавелся семьей, состоишь в нормальных супружеских отношениях с женой и будешь отцом, а я отправляюсь на тот свет... Несмотря на то, что мы оба созрели — ты для жизни, а я — для смерти, мы боимся моего отца так же, как двадцать лет назад. В его присутствии мы — недоростки, у которых потеют руки и ноги.

Макс *(пожимает плечами, берет с тарелки яблоко)*. Твой отец никогда тебя не понимал, его интересовала фабрика, магазин, еда, здоровье его самого и семьи, поскольку семью он считает своей собственностью. А ты бежал в мир, для него недоступный, в мир искусства, литературы... ну, и украл у него Оттлу... Он тебя не поймет ни до смерти, ни после смерти.

Франц. Он меня не понял, но видел меня насквозь, а это высшая форма понимания. Я знаю, отец никогда не читал моих книжек, откладывал их неразрезанными на ночной столик. Ну что ж, зато он читал «Али-Баба и сорок разбойников», читал, кажется, Диккенса, Гете и наверняка — Вильгельма Раабе «Хронику воробьиной улицы». А ни меня, ни тебя не читает... мы как-то не доросли... И я уверен, если бы мой отец вдруг вошел сюда и закричал на нас: «Вы что тут, сопляки, делаете?» или «Небось, пакостничаете?» — я бы окаменел, а ты обмяк.

Макс. Чепуха! Ерунду болтаешь!

Франц. Мы действительно «пакостничаем». Поэты «пакостничают» и стыдятся серьезных взрослых людей, потому что перед лицом жизни, дорогой друг, наша писанина — это постыдная, непристойная забава. Ты уже проголодался? Может, пойдем в вегетарианский ресторан? Я теперь животное травоядное, разве только запиваю траву вином и пивом.

Макс. Я не голоден.

Франц. Для отца мы остались малолетними онанистами, которые играют в театр и писание книжек... Но он не дал себя обмануть, полностью раскусил нас. Ты в лучшей ситуации, почти сравнялся с ним: ты женился! Сам не знаешь, какой поступок ты совершил... Ты муж, самец, оберегающий гнездо. Теперь оскаливайте друг на друга клыки, а я с поджатым хвостом убегаю в угол.

Макс. Ты экзальтирован, и эти твои возгласы в честь моей женитьбы, прости меня, смешны. Ведь каждый день, да нет, каждую минуту какая-нибудь пара соединяется, рожает детей... Если бы брак и совокупление относились к наивысшим достижениям человечества, то до сих пор не изобрели бы ни шрифта, ни паровоза, ни электричества. Сделать ребенка легче, чем сшить хорошие брюки, и именно поэтому нас два миллиарда, а потом будет десять и двадцать, а потом мы съедим друг друга, и наступит тишина. Ты устраиваешь мистерию из чего-то столь естественного, как дыхание или физиологическое отправление, обманываешь девушек, делаешь несчастными женщин. Ты перенес половой акт в сферу интеллекта и потому не оправдываешь ожиданий как любовник или же кандидат в мужья. А может, ты просто не хочешь поступиться личными удобствами?! Идем же в этот твой вегетарианский ресторан!

Франц закрывает дверцы печи, гасит свет, выходит вместе с Максом.

Картина 12-я

У парикмахера

Два зеркала, умывальник, кресла, шкафчики, сверкающие машинки для стрижки, бритвы, флаконы. Возле кресла, сбоку — вешалка, столик. В кресле, спиной к зрительному залу сидит Франц, накрытый белой простыней. Лицо его отражается в зеркале. Парикмахер смуглый, толстый, лысеющий, с усами. Он прерывает стрижку, удобнее усаживает клиента. Глаза у Франца закрыты. Мальчик-подросток подметает пол. Потом спрыскивает свою голову водой, тщательно причесывает, всматривается в свое лицо, садится на стульчик и начинает ковырять в носу.

Парикмахер *(распуская мыло)*. Юзек! Не ковыряй в носу, а то мозги себе повредишь! Сбегай за газетами! Мир летит под откос, а этот сидит и в носу колупает!

Подросток. Мой нос...

Парикмахер. Извольте себе представить: этот растяпа не читает газет. Нам, людям, трудно понять, чем набита эдакая тупая башка... быть может, это и не голова вовсе, а капустный кочан, извиняюсь за столь грубое слово... Я вот читаю «Hlas Naroda». Разве я могу общаться с людьми без культуры и веры? Хоть я и абсолютно против классовых предрассудков, однако не согласен, чтобы Юзек был, скажем, на равных со мной или, если позволите, с господином прокуристом... Ну чего, дворняга, чешешься?

Подросток. Потому как вы все говорите-говорите, а денежек на газеты не даете.

Парикмахер *(дает Подростку «денежки», правит бритву на ремне)*. У тебя только денежки в голове! Господин прокурист, не откажите в любезности принять мое поздравление по случаю анонса в газете, где я имел удовольствие прочитать о вашем обручении с избранницей сердца... Как истинный демократ я абсолютно против классовых предрассудков, особенно если дело касается нашего прекрасного пола. Хочу от всего сердца поздравить вас с выбором, поскольку имел удовольствие причесывать головку фройляйн Словик. И поверьте мне, что более чуткого наперсника наши дамы не найдут ни в какой другой профессии. Конечно, священник или врач может быть по-

[25] Когда, наконец, ты станешь взрослым мужчиной? *(нем.)*.

веренным души, но только парикмахеру доверяют, я бы сказал, сполна, то есть и секреты телесные, и сердечные тайны, и сокровенные мысли. А фройляйн Словик обладает разными достоинствами, отвечающими положению господина прокуриста. И есть в ней «что-то», что только мы, мужчины, ценим в женщине... А если это «что-то» отсутствует, то будь женщина даже эрцгерцогиней либо имей диадемы, шубы, салоны, для нас она останется фарфоровой куклой.

Слышны звуки военного марша. Входит пожилой элегантный господин в пенсне, с седой длинной бородой, в черном пальто, котелке. За ним появляется Подросток с газетой, которую кладет на столик. Подросток кланяется, услужливо подбегает к вошедшему господину, тот подает Юзеку котелок, потом перчатки, потом трость и, наконец, пальто. Каждую вещь Подросток забирает с поклоном, все вешает и раскладывает. Подвигает Клиенту кресло. Тот садится, удобно устраивается. Вся эта сцена отражается в зеркале.

Парикмахер *(на мгновение прекращает стричь Франца, обращается к седобородому Клиенту).* Желаете ли вымыть голову, господин советник? Если да, то эту процедуру я буду иметь удовольствие принять досточтимую головку в свои руки... Юзек! *(Продолжает стричь Франца и с этого момента не обращает внимания ни на седобородого Клиента, ни на поведение Юзека. Франц сидит с закрытыми глазами. Парикмахер может закрыть ему лицо мокрой салфеткой. Франц неподвижен, как манекен. Подросток стоит за Клиентом и ждет его указаний. Парикмахер снимает салфетку с лица Франца, намыливает его).* Извольте головку совсем вправо... прошу прощения... Так вот, возвращаясь к прежней теме... значит, женщина, доверяя нам свою головку на время, пока мы ее причесываем, становится в некотором смысле нашей невольницей, нежной и податливой... А мы оказываемся не только поверенными, но часто исповедниками, перед которыми женщина открывает тайники своего сердечка... И это не только, извиняюсь, какие-то кухарки, но дамы образованные, нередко из высших сфер. Они раскрываются перед нами, как роза перед мотыльком, и часто говорят о таких вещах, связанных с их супружеской жизнью, что я, хоть и старый греховодник, тертый калач, как говорится, но прямо-таки краснею... Будьте любезны — влево... И когда такая дама открыто говорит о бессилии своего супруга, я, право, не знаю, не притвориться ли глухим... Я имел честь услышать от нашего общего знакомого, что вы, господин прокурист, в свободные от более важной работы минуты изволите сочинять романные книжки, ценимые также в Вене. Вот и я пописывал в школе, одно из моих произведений было перепечатано в «Kriegs — Echo»[26].

Подросток *(вынимает цветные салфетки и полотенца, показывает Клиенту).* Господин советник, чиво жилаете — белое, красное, голубое?

Клиент. Спасибо, белое.

Подросток наклоняется, Клиент что-то говорит ему, жестикулирует. Подросток снова становится перед креслом Клиента, вдруг рывком погружает его голову в умывальник и держит ее так долго, что Клиент начинает задыхаться, потом тянет голову за волосы вверх и снова погружает ее в воду. Клиент захлебывается, кашляет.

Клиент. Что... что это... *(Закашливается.)* ...я... полиция... где полиция?!

Подросток *(спокойно прижимая его голову к умывальнику).* Mensch... Mensch...[27]

Клиент. Я...

Подросток. Du alter Strohsack...[28]

Клиент. Я...

Подросток. Alte Pipe![29]

Клиент. Я...

Подросток. Maul halten![30]

Клиент. Я кавалер Железного креста второй степени. Это обо мне писали в «Kriegs — Echo» в августе 1915 года — у меня есть эта вырезка! Я ношу ее в бумажнике, на сердце, как реликвию, вот уже двадцать пять лет... *(Лихорадочно ищет, вытаскивает бумажник).* Вот, пожалуйста, читайте!

Подросток берет пожелтевшую газетную вырезку.

Моя фамилия Фриденталь, доктор Фриденталь...

Подросток *(читает, запинаясь).* «Торт из соломы... На вечеринке военных врачей в Берлине были поданы торты, испеченные из муки, которая изготовлена из овсяной соломы по методу химика, профессора Фриденталя. Обозреватели берлинских газет очень хвалят это кондитерское изделие, утверждая, что оно вкусно, сытно и легко переваривается. Свое заявление они подкрепляют мнением профессора Фриденталя, который считает, что желудку для благоприятного пищеварения требуется некий балласт и что человек или животное, долгое время потребляя только калорийную пищу, не может оставаться здоровым...»

Во время чтения Клиент с гордостью оглядывается, как бы ища признания своих достоинств со стороны присутствующих. Но Парикмахер и Франц недвижимы. Ничего не слышат и не видят.

Подросток *(рвет вырезку на мелкие куски и бросает на пол).* Scheiss![31].

Клиент *(вскакивает с кресла).* Господа, я протестую! Господа, я призываю вас в свидетели!

Подросток. Alte Latrine![32]. Ты видишь, кто с тобой говорит? Железный Густав с тобой говорит...

Клиент *(изумленный).* Железный Густав! *(Протягивает руку в сторону Подростка).*

Подросток *(берет трость Клиента).* Alter Hut![33].

Клиент. Я...

Подросток *(дергает Клиента за бороду).* Du alter Pinsel![34]. Ты... Одевайт... los, los...[35] ваш пожитки! *(Бросает Клиенту пальто, котелок, шарф, калоши).* Собирайт пожитки! Los, los...

Черная стена раздвигается, в глубине — полумрак. Над стулом горит одна лампочка. Подросток подталкивает Клиента тростью в

[26] «Эхо войны» *(нем.).*

[27] Тварь... тварь... *(нем.).*
[28] Старый тюфяк... *(нем.).*
[29] Старый хрен! *(нем.).*
[30] Заткнись! *(нем.).*
[31] Дерьмо! *(нем.).*
[32] Старый говнюк! *(нем.).*
[33] Старая шляпа! *(нем.).*
[34] Ты старый болван! *(нем.).*
[35] Давай, давай... *(нем.).*

сторону черной стены. Оба исчезают во мраке. В этот момент Парикмахер оживает и продолжает брить Франца.

Парикмахер. Смею утверждать, что мы, парикмахеры, ну и, конечно, портные, сапожники знаем подноготную наших клиенток лучше, чем вы, славные поэты... Ведь что может поэт разгадать в женщине? Только душу... или ум... Однако женщина понимает, что не душа, а прическа, платье, духи, туфелька, чулочек завлекают мотылька, то есть в данном случае — мужчину, как венчик цветка, который раскрывается, чтобы приманить к своему меду насекомое... Что ж, свет так устроен... И поэт или писатель, как каждый мужчина, попадается на эти краски, запахи, тряпки, украшения и слепо тянется к чаше с медом... Юзек! Где флакон с одеколоном? *(Парикмахер прерывает бритье, правит бритву на ремне).* Юзек, растяпа! Простите, господин прокурист, но этого балбеса никогда не найдешь, если он нужен.

Во время монолога Парикмахера за раздвинутой черной стеной, в темноте, продолжает разыгрываться сцена между Подростком и Клиентом. Обе сцены накладываются друг на друга. За черной стеной свет усиливается, в парикмахерской — убывает.

Подросток *(подгоняет Клиента тростью).* А теперь раздевайт! Личный досмотр! Барахло положи налево! Все снять, сложить.

Клиент начинает снимать костюм, ботинки, носки, белье. Все складывает рядом со стулом.

Открой рот! *(Подросток пальцем залезает в рот Клиента, роется там, затем подталкивает Клиента к стулу, заглядывает между пальцами его рук и ног, в уши, под язык. Держит в руке никелированную, блестящую машинку для стрижки волос).* Теперь сделаем тебе через середину голова карош Lauspromenad...[36], широкий... в три пальца... Ну, карашо! Теперь у тебя пробор... вши будут иметь где шпацировать! А сейчас одевайт... это твои манатки... *(Из груды тряпок Подросток вытаскивает тростью рубашки, ботинки и т. д. и бросает Клиенту).*

Тот надевает длинную ночную рубашку, зеленую дырявую дамскую кофточку, старые рваные брюки, портянки, обувь: один огромный мужской ботинок с высокой шнуровкой и маленький дамский ботиночек, в котором не помещается ступня. На рукав натягивает белую повязку со звездой Давида.

Подросток *(стоит сбоку).* Raus! Raus![37] *(Подталкивает Клиента тростью. Тот быстро проходит через парикмахерскую, спотыкается, исчезает за дверьми. Черная стена смыкается. Подросток подходит к зеркалу, вглядывается в свое лицо, причесывает волосы).*

Парикмахер. Юзек, перестань ковырять в носу, не то мозги продырявишь! Ну и что, рохля, ты даже не заглянул в газету? Простите, господин прокурист. *(Осторожно, двумя пальцами берет Франца за нос и слегка задирает его вверх).* Так вот извольте представить себе, этот увалень...

Подросток. Мне газета ни к чему.

Парикмахер. ...извольте себе представить, этот увалень не читает газет... Однако ж нам, людям начитанным, трудно понять, что в таком тупице кроется.

Подросток *(берет газету, читает, бормочет).* Дум... дум... ультиматум...

Парикмахер. Ну и бубнит! И ведь что-то вычитал там, олух.

Подросток... что мы объявили войну Сербии.

Парикмахер *(вздрогнул, порезал Франца).* Простите великодушно... я правда... рука дрогнула... сию минуту остановим кровь... сейчас... Юзек, где квасцы, осел? В другой раз как-то предупреждай... Тут человек бреет, а он: «Война началась!» Сейчас продезинфицируем... совсем пустяковая ранка... все из-за этого дурака! Буквально капелька крови! Тысяча извинений! *(Прикладывает квасцы, смачивает ранку одеколоном, дует, приклеивает пластырь...).* Простите великодушно, однако известие обрушилось так неожиданно... *(Парикмахер подает Францу газету, тот читает).* Сию минуточку закончим, надеюсь, ранка уже не беспокоит вас, господин прокурист. *(Из пульверизатора опрыскивает лицо Франца, вытирает полотенцем).*

Слышны звуки военного марша. Музыка приглушается. Когда свет начинает гаснуть, Палачи выносят всю мебель и аксессуары. Подросток подметает пол.

Картина 13-я

Иди и посмотри

Скромно меблированная комната с нишей, которая отгорожена занавеской или ширмой, достаточно экзотической, с «китайской» росписью. На стене какая-то картина. За столом сидит мальчик лет десяти—двенадцати, крупный, толстый, с непомерно огромной и деформированной головой, с лицом, заросшим густым черным пухом. Ребенок глухонемой, он издает только урчание и писк. Рядом молодая женщина, блондинка. Она держит в руке кубик. На столе — пирамида из разноцветных кубиков. Между ребенком и женщиной стоит миска с едой — макаронами или манной кашей. Женщина ставит кубик на верхушку пирамиды, набирает ложкой еду, пробует, чмокает в знак того, что «это очень вкусно», подносит ложку ко рту ребенка. Мальчик сидит, не шевелясь, не открывая рта. Еда течет у него по подбородку, женщина вытирает его салфеткой, снова зачерпывает ложкой еду. Мальчик отворачивает в сторону голову, стискивает зубы. Женщина всячески пытается его накормить, но в конце концов откладывает ложку, сидит молча, подперев голову рукой. Потом придвигает к себе миску.

Грета. Сынок не хочет ням-ням... сынок бяка... собачка все съест, правда? *(Ставит миску под стол.)*

Мальчик берет кубики и бросает на пол, один попадает в еду. Ребенок садится на корточки рядом с миской, вытаскивает оттуда кубик, потом наклоняется над миской, погружает лицо в еду, чавкает, поднимает миску, вылизывает ее и швыряет. Затем снимает башмачок и, сидя под столом, внимательно его разглядывает. На мать внимания не обращает.

(Грета отодвигает ширму: в нише — только кровать, тумбочка, под кроватью валяются игрушки. На табурете — таз, кувшин с водой, полотенце. Грета вытаскивает мальчика

[36] Бульвар для вшей *(нем.)*.
[37] Вон! Вон! *(нем.)*.

из-под стола, раздевает, моет ему лицо и руки в тазу, укладывает в постель, укрывает одеялом. Загораживает нишу ширмой. Оттуда доносится колыбельная: Грета поет чистым, красивым голосом.)

Schlaf, Püppchen, Schlaf!
Da draussen gehen die Schaf,
die schwarzen und die weissen,
die wolln mein Püppchen beissen [38].

Песенка вдруг прерывается, слышится бормотание, писк, звериное сопение, женский голос... Внезапно наступает тишина, потом начинается возня, на пол с грохотом падает тело, раздается крик боли, затем снова тишина, прерываемая спазматическим, учащенным дыханием.

В комнату входит Грета. Блузка на ней разорвана, волосы встрепаны, лицо поцарапано. Она проводит языком по губам, как бы слизывая кровь. Стоит посередине комнаты. Подходит к зеркалу, расчесывает волосы, прислушивается, но за ширмой тишина. Грета протирает лицо одеколоном. Открывает шкаф, надевает темное платье, смотрится в зеркало, убирает со стола. Звонок в дверь. Входит Макс в белом плаще и с черным чемоданом. Останавливается в дверях, не выпуская чемодана из рук.

Макс. Простите за опоздание.

Грета. А, это вы... можете не извиняться: даже хорошо, что вы запоздали... Поставьте же чемодан!

Макс. Я был у него...

Грета. Слушаю вас.

Макс. Он умирает.

Грета. Умирая, путешествует, пишет и даже обручается! Для умирающего он ведет достаточно разнообразную жизнь... тем временем у нас, здоровых... у нас, здоровых женщин, жизнь не слишком привлекательна... Я вас слушаю...

Макс. Он не дал мне никакого поручения, ни письма, только сказал: «Иди и посмотри». У него был жар, небольшое кровотечение... эти слова стекли с его уст вместе с кровью... Я спросил, что вам сказать. Он долго смотрел мне в глаза, потом отвернулся к стене и повторил: «Иди к ней и посмотри» — и уже больше не отзывался. *(Привычно снимает и надевает очки, протирает их, улыбается Грете, разводит руками).*

Грета. И что вы увидели?

Макс. Врачи дают ему два-три месяца, но он может умереть раньше... Я простился с ним... Но в нем сейчас вспыхнула надежда, он строит планы, говорит, что ему по вкусу портер... Я пробыл в Берлине несколько дней, за это время наступило некоторое улучшение, он начал гулять... Там вышла его книжка, я взял с собой несколько экземпляров... Несмотря на слабость и кровохарканье, он обрадовался при виде этой маленькой книжечки... Если вас это интересует...

Грета молчит.

Вы видитесь с Фелицей?

Грета. Иногда пишем друг другу...

Макс. Еще раз прошу прощения за вторжение... Я сам не понимаю цели... порой солдат не понимает приказа, но должен его выполнить...

За ширмой слышны шорохи и сопение.

Грета. Может, выпьете чаю?

Макс *(прислушивается, из-за ширмы доносится сопение, скуление).* Пожалуй, охотно выпью. *(С беспокойством смотрит на ширму, потом на Грету. Она выходит из комнаты. Макс снимает плащ, кладет его на чемодан, ходит по комнате. Приближается к ширме и прислушивается.)*

Тишина.

Грета *(входит с подносом, на котором чайная посуда, банка с вареньем; все расставляет на столе).* Пожалуйста...

Макс. Могу ли я быть чем-то вам полезен?

Грета. Спасибо...

Макс. Я его друг. Может, он предполагал, что вы в беде... Прошу вас быть со мной абсолютно искренней.

Грета *(усмехается).* Абсолютно? Ну что ж... у меня есть работа, кусок хлеба и, как видите, жилье... Напишите ему, что я думаю о нем по-доброму и желаю выздоровления.

Макс. Разумеется, я еще сегодня телеграфирую, что был у вас и что вы передаете ему сердечный привет. *(Снимает очки, протирает платком.)*

Грета. Как хотите.

Макс. Я выполнил просьбу больного... он самый близкий мой друг.

Грета. Вы так думаете?

Макс смотрит удивленно.

Он — ваш самый близкий друг? Разве он может быть другом?

Макс. Да.

Грета. Он когда-нибудь говорил вам, что *он*—ваш друг? Он всегда называл *вас* своим другом. Но говорил ли, что *он*—ваш друг?

Макс. Таких вещей не говорят.

Грета. Не говорят? Но ведь вы говорите. *(Улыбается Максу.)*

Макс. Видите ли, это только женщины признаются друг другу в любви и дружбе, с утра до вечера заверяют друг друга в своих чувствах... Между мужчинами о дружбе или любви не говорится никогда... может, только раз — при окончательном расставании или перед лицом смерти...

Грета *(с усмешкой).* Или когда один из друзей женится?

За ширмой — шорох. Макс обеспокоенно смотрит на Грету.

Ах, не обращайте внимания... это всего лишь собачка... у нее воспаление легких... бедное животное спит, наверно, видит тревожные сны... Вы женаты — судя по обручальному кольцу... Но вы просили согласия на брак у своего ближайшего друга?

Макс. Не понимаю.

Грета. Вы не говорили с другом о своих планах, намерениях, о невесте?

Макс. У него не было никаких возражений, мне казалось, что он обрадовался.

Грета. Вам «казалось»... А вы случайно не заметили, какую мину сделал ваш «ближайший друг», когда вы сказали ему, что женитесь?

Макс. Не помню... пожалуй, он немного развеселился... не помню его «мины»...

Грета. А жаль, что не помните... Я хоть и не видела в тот момент лица нашего друга, но могу себе представить, как он выглядел, когда вы, счастливый и оживленный, рассказывали о невесте, о свадьбе, подарках,

---

[38] Родной, усни наконец,
Проходит стадо овец.
Черный баран опять
Мое дитятко хочет сожрать.

ну и о свадебном путешествии — одним словом, о «медовом месяце», поскольку ведь и вы провели медовый месяц... Медовый месяц! И я когда-то о нем мечтала... Какое красивое, сладостное название: ме-до-вый! Мёд... это слово такое теплое, сладкое, тягучее, золотистое, пахучее...

Макс *(улыбается).* Не понимаю, что общего между моим медовым месяцем и нашим другом. Вы иронизируете!

Грета. Упаси бог! Я уверена, что вы гурман. Глядя на ваши губы, женщины инстинктивно угадывают в вас гурмана. А я, глядя на вас, знаю, что вы не только вкусили весь мед, но и вылизали чашу до дна... Как это восхитительно — после трудов праведных оказаться в любовном плену. *(Грета усмехается.)* Не сердитесь... вы очень симпатичный... Я плохая хозяйка... Пожалуйста, варенье... я сама варю — загубленный талант... Я была бы превосходной кулинаркой, женой... Но ваш лучший друг дал драпака... то есть сбежал... сначала — от Фелицы, потом — от нескольких других... Бедная Фелица! Два раза птенчик был у нее в руках, но выпорхнул... Господин прокурист испугался шкафа или кровати... Фелица мне рассказывала, но у меня все из головы вылетело... Он панически боится мебели... шкафа... Фелица пыталась это понять, плакала, объясняла... Я тоже плакала... Вам нравится мое варенье? Я смеялась до слез!

Макс приглядывается к Грете.

Друг мой!.. Да, да! Я смотрю на вас и вижу хорошего мужа, который не убегает, а вместе со своей самочкой вьет гнездо для птенцов... Вы игривый, бойкий воробушек... а тот... пожалуй, ворон — черный, безмолвный ворон... Вы меня еще слушаете? Спасибо... Не удивляйтесь, что я благодарю: ведь в наше время никто никого не слушает. Это не наша вина: ну что может одно ничтожество сказать другому ничтожеству?.. Полагаю, в театре люди тоже пропускают мимо ушей большинство диалогов: все равно, будь то Шекспир или Шиллер... Люди минуту слушают, а потом только глазеют, ждут, когда же что-нибудь произойдет... Вы странный тип! Мне все время кажется, что вы меня подслушиваете, а не слушаете... Считаете меня глупой бабой... но я много страдала, поэтому теперь рассказываю вам всякие сказочки о птичках... Вы приносите в гнездышко перышки, соломку, денежки... Фью-ю — она соломку, фью-ю — он перышко, она — шкафчик, а вы — кровать, она — стол, вы — фельетон, она — диван, вы — рассказ, она — пуховое одеяльце, вы — картину, она — вазу, вы— цветы... *(Хватает Макса за руку.)* А наш ворон предпочитал смерть — Фелице, болезнь предпочитал семейной жизни... Его всегда тянуло к самочкам, в теплое убежище под мышкой, но он боялся шкафа... и меня тоже боялся! Поэтому я имею фигу вместо гнездышка... Он взял мою душу и оставил меня с носом... *(Грета смеется.)*

Макс. Вы разбудите... *(Красноречиво смотрит на ширму.)*

Грета. Никого я не разбужу... Я же сказала, это больной песик... Иногда я думаю, не усыпить ли его... Нет, не уходите! Если вы посланы с «миссией», то не убегайте. «Иди к ней и посмотри...» Вы еще ничего не видели, а уже перебираете ногами от страха и хотите убежать к женушке под бочок, в пуховое супружеское гнездышко. Именно ей вы расскажете о безумной Грете, оставшейся у разбитого корыта... именно ей, поскольку теперь, когда *тот* умирает, ближайшим вашим другом — прелестным, мягким, податливым — будет жена... Так для вас удобней: ведь даже в постели вы сможете говорить о *нем,* покидающем сей бренный мир... Одним словом, вы понимаете меня?..

Макс. Я пойду...

Грета. А если я вас не пущу? Вы пугливы, но я знаю способ вас задержать... Как видите, живу здесь монахиней... А я ведь еще ничего, правда? Я заметила, каким жадным взглядом вы ощупывали мою грудь, бедра, ягодицы... и это все, если можно так выразиться—сдается внаем... *(Грета прислушивается к тяжелому сопению за ширмой, идет туда. Доносится ее голос.)* Тихо, песик! Спокойно, собачечка... *(Выходит из-за ширмы.)*

Макс, который как раз подкладывал себе из банки варенье, вздрогнул, будто пойманный с поличным.

(Грета, улыбаясь, смотрит на него. Садится. Оба долго молчат. Грета закрыла лицо руками.) Значит, вы не можете припомнить, какое было лицо... какая была мина у вашего ближайшего друга, когда вы объявили, что намерены жениться... Не дожидаясь вопросов, вы начали ему рассказывать о своей невесте, а позже, вернувшись из свадебного путешествия, — об итальянских озерах... А он слушал, и его это отчасти веселило. Но вы, к сожалению, были слепы и глухи... Вы пришли к нему радостный, весь «в меду», сладкий и еще липкий от счастья и не заметили, что лицо его выражало отвращение... Вы ничего не заметили? А я вижу, хоть и не была с вами, как украдкой он вытирал свои ладони, когда вы хватали его то за одну, то за другую руку и в упоении рассказывали о путешествии... И не стыдитесь, что вы любите варенье — ведь взрослые тоже падки на сладости, дорогой господин Альфонс!

Макс. Я от рождения — Макс. И к вашим услугам, сударыня.

Грета. Но для меня вы — Альфонс. Пожалуйста, не сердитесь, это мягкое имя больше подходит для вашей роли и даже фигуры...

Макс. Как вам угодно...

Грета. Так вот, господин Альфонс, вы посланец, рассыльный, сват, заместитель и что угодно, только не друг. Вы служили ему протезом, которым он прикасался к некоторым жизненным проблемам, вызывавшим в нем омерзение и страх... Ведь это вы были «гонцом любви» в его романе со швейцаркой, припоминаете? Потом была еще дочка сапожника... забыла ее имя... это, кажется, последняя невеста, наиболее серьезная кандидатка в жены... последняя... Я положу вам еще целое блюдце варенья, отдам вам все, только расскажите, как это выглядело — ухаживание поэта за дочкой сапожника, мывшей посуду в пивной.

Макс *(встает, застегивает пиджак, путая пуговицы, так что одна пола оказывается вздернутой; расстегивает, поправляет).*

Нет... я не расскажу вам... Он умирает... и над чем тут смеяться?

Грета. Ведь я плачу... разве вы этого не видите? Уходите... вы слепы... Уходите...

Картина 14-я

Он никогда не повзрослеет

Столовая в квартире родителей Франца. Обстановка прежняя. Слабое освещение. За столом сидят Франц и Мать. На столе — супница, два прибора. Франц ест молча, размеренно поднося ложку ко рту. На стене, напротив Франца, висит огромный скверно написанный портрет большеглазого мужчины в расцвете сил, с усами, коротко остриженными волосами, в визитном костюме. Это Отец. Франц смотрит на Мать, поднимает глаза на портрет, перестает есть. Усмехается и показывает пальцем на портрет.

Франц. Vereidigter Sachverständiger bei Gericht [89].

Мать. Это я сделала отцу подарок ко дню рождения... Заказала художнику-живописцу по старой фотографии. Между нами говоря, этот художник содрал с меня три шкуры, но надо признать, что портрет удался. Несколько раз я заставала отца, когда он с удовольствием приглядывался к своему изображению... Франек, тебе не нравится суп?

Франц. Очень нравится... Суп из сельдерея, мама, это замечательно. Ты смотришь на меня и ничего не ешь.

Мать молча смотрит на сына и так же, как много лет назад, робко и нежно гладит его руку.

Мама, я бы хотел после обеда поговорить с отцом... хотел сообщить отцу и тебе... так вот... хотел просить вашего согласия на мой брак с фройляйн Яной Словик... с которой я уже неделю обручен... Я не известил вас раньше, поскольку не был уверен в согласии невесты и ее родителей.

Мать хочет что-то сказать, но не решается.

В твоем согласии я уверен, потому что уверен в твоей любви... но не знаю, как отреагирует отец...

Мать. Не знаю... боюсь... Он считает, что ты над ним издеваешься, что все эти обручения, предложения ты придумываешь, чтобы его осмеять и скомпрометировать в глазах знакомых, друзей и врагов... Он плакал...

Франц. Я... мама...

Мать *(прикладывает палец к губам)*. Говори тише... он спит... он болен... не надо его волновать...

Франц *(испуганно)*. Болен?

Мать. Вчера, вернувшись с работы, он молчал, ничего не ел, сидел и не отвечал на мои вопросы... Ночью что-то бормотал — у него был небольшой жар... Сегодня не завтракал, отказался от обеда... Понимаешь, что это значит, если отец отказывается от еды... Даже когда началась война, он с аппетитом позавтракал. Так вот, я была невероятно перепугана... На мой вопрос, идет ли он на фабрику, отец ответил односложно: «Нет». Когда через час я опять спросила, не голоден ли он, отец снова ответил: «Нет». Я спросила: «Что-нибудь случилось?» — он ничего не ответил, потом закрылся, а я стояла под дверью и прислушивалась, но там было тихо... А потом я услышала, как он страшным голосом кричит: «Разорву его, как лягушку!» Тогда через минуту я спросила, звал ли он меня, не нужно ли чего, и сказала, чтоб он открыл дверь... Когда я вошла, то увидела, что он сидит одетый и смотрит на меня как на чужого человека. Я снова стала уговаривать его что-нибудь съесть, но он сказал, что должен срочно уйти, однако не ушел, продолжал сидеть, не шевелясь... Тогда я уложила его в постель, и сейчас он спит.

Франц. Подозреваю, что эта болезнь связана с моей помолвкой... Это — форма протеста... И дело тут в личности моей невесты... Надо было разорвать меня, как лягушку, сразу, как я родился, или когда мне было шесть лет! Теперь я высокое должностное лицо, доктор права, признанный писатель... Теперь у меня огромная меблированная квартира... Почему он не разодрал меня раньше? *(Франц говорит громко.)*

Мать смотрит на него со страхом, закрыла рот ладонью.

Я должен с ним увидеться. Думаю, он симулирует болезнь, чтобы избежать разговора. Будет лучше, если я пойду к нему. *(Встает.)*

Мать *(хватает его за руку)*. Подожди... может, я первая... как-то его подготовлю... посмотрю, может, он уже не спит... скажу, что у тебя к нему важное дело... А может, будет лучше, если я сегодня его подготовлю, а ты придешь завтра? Тогда известие не обрушится на него так неожиданно... Отец уже не такой сильный...

Франц. Нет, мама! Я должен с ним поговорить теперь и с глазу на глаз. Он не болен... это комедия... он мучает тебя, у него осталась только ты... Подозреваю, что он нас подслушивает.

Мать. Нельзя так говорить об отце. Он вас всегда любил... и, собственно, кроме работы, в жизни ничего не имел... Может, это не была деликатная, книжная любовь... Он любил обычно... ведь он работал, чтобы содержать нас, и заботился о нас... И что ж с того, что он не умеет красиво говорить, как твои друзья — актеры и литераторы... Ты несправедлив... Он тоже нуждается в ласке и тепле, тоже страдает... только что не исписывает из-за этого целые горы бумаги... извини... *(Мать закрывает лицо руками.)* Не буду вас судить, потому что люблю вас... но я уже очень устала... от всего... даже от своей любви...

Франц. На этот раз я сам... Ты не будешь ни посредником, ни ходатаем в моих брачных делах. Отец что-то знает и устраивает представление... Я не буду шептать, я буду кричать! *(Франц говорит это почти шепотом.)* Годами ты разрывалась между нами, ограждая своей любовью. Теперь твой гореребенок стал взрослым. Это будет разговор между двумя мужчинами. Я только прошу тебя: разбуди отца и предупреди его о моем приходе. Можешь ему сказать, что появилась в печати моя книжка и я хочу ее вручить ему... Хотя когда-то он дал мне понять, что у него нет времени на чтение... *(Вытаскивает из кармана маленькую книжечку,*

[89] Присяжный эксперт при суде *(нем.)*.

рассматривает обложку, открывает книжку, захлопывает и кладет в карман.)

Вдруг в черной стене открывается дверь. В ярком свете стоит Отец. Он очень изменился. В старом, слишком свободном теперь костюме — том самом, что на портрете — он выглядит, как мальчик, который надел вещи старшего брата. Отец усох и сжался, даже голова уменьшилась, так что котелок держится на отстающих ушах. Только усы по-прежнему густые, черные, залихватски закрученные кверху. Отец подошел к Матери и поцеловал ее в лоб.

Отец. Я пойду... нужно немного проветриться.

Франц. Отец...

Отец притворяется, что не видит Франца, удивленно озирается, хочет выйти, но Франц преграждает ему дорогу.

Отец!

Отец. А... это ты.

Франц. Папа, я принес тебе мою книжечку, она как раз вышла на этих днях.

Отец. Слышишь? Он мне принес книжечку.

Франц. Прошу тебя, отец, сядь, пообедай с нами и выслушай меня...*(Кладет книжечку на стол.)*

Отец. Только быстро, потому что я тороплюсь, у меня тоже есть дела.

Мать. Прошу тебя, Герман, сядь... может, поешь... прости...

Отец садится у стола под своим портретом.

Франц. Я хотел тебя просить... хотел сообщить тебе...

Отец *(движением руки прерывает его)*. Я все знаю... *(Обращается к Матери.)* Наверняка приглашает нас на очередную помолвку и встречу с семьей «невесты»!

Мать ставит перед Отцом тарелку, наливает ему суп. Она испугана, робко улыбается то сыну, то мужу.

(Отец усаживается за стол, не снимая котелка.) Ты уже напечатал уведомления, приглашения? Уже согласовал меню для свадебного стола? Уже знаешь фамилию своей невесты, ее имя? Он пришел мне «сообщить»... Так вот знай, мой любезный, что отец твоей судомойки сообщил о вашей сладостной тайне вчера вечером всем посетителям пивнушки «Под гусиной гузкой»... Вернее, он сообщал это в течение целого вечера всем подряд — и трезвым, и пьяным, соседям и приезжим... Целый вечер он развлекал всех рассказом о помолвке «через доверенное лицо» своей дочери с господином прокуристом. А поскольку сапожники остроумнее чиновников и писателей, то он приправил свой рассказ разными хохмами и крепкими словечками. Сапожник нашел благодарных слушателей и зрителей, так как некоторые сценки он разыграл, будто в театре. Ты лучше меня знаешь театр, потому получил бы истинное удовольствие, глядя на тестя... Представление длилось до полуночи... *(Отец снимает котелок, вытирает лоб платком.)* Я вышел из этого заведения, когда сапожник начал изображать, как полномочный посол расхваливал родителям невесты персону господина прокуриста. И должен признать, что тесть копировал твоего Макса великолепно: перебирал ногами, протирал окулярчики, шепелявил, таращил глаза, расстегивал и застегивал ширинку, плевал вокруг, фыркал, слюнявился и пел дискантом... Люди покатывались со смеху. Я и сам не мог не рассмеяться, но пришлось пожертвовать этим зрелищем, поскольку все шло к тому, что бравый сапожник угостит меня пивом и предложит брудершафт. Какой-то извозчик очень высоко оценил представление. «Усраться можно со смеху!» — кричал он мне...

Франц встает, садится, какое-то время Отец и сын молча смотрят друг на друга.

А он хочет мне «сообщить»... Усраться можно со смеху...

Франц. Отец... я...

Отец. Делай что хочешь, ты взрослый...

Франц. Отец...

Мать выходит, закрыв лицо руками.

Отец. А я, сын, я?

Франц. Отец... я...

Отец. Он все начинает с «я» — «я-я-я»... Ты никогда не выдавишь из себя слова «мы»?

Франц вынимает из кармана книжечку, которую принес Отцу, листает ее, может быть проглядывает. За черной стеной раздаются тяжелые шаги, покрикивания, проклятья. Стена раздвигается, в комнату входят, а скорее, протискиваются грузчики с огромным шкафом. Это тот самый шкаф, который много лет назад рассматривали в мебельном магазине Франц с Фелицей, будучи «женихом и невестой». Отец обегает вокруг грузчиков, влезает на стул, снимает портрет: изображенная фигура крупней самого Отца.

(Отец ходит с портретом по сцене.) Поставьте шкаф тут, у стены... или в углу... да, лучше в углу...

Грузчики устанавливают шкаф.

(Отец сует им в руки мелкие деньги, заглядывает в шкаф.)

Грузчики осматривают комнату.

До свидания, спасибо. Найдете дорогу?

Грузчики не слушают. Один разжал огромную ладонь и смотрит на монетку. Другой ходит по комнате, рассматривает в буфете фарфор, трогает ковер, останавливается перед портретом Отца, затем подходит к коллеге, шепчет ему что-то в ухо, тот вертит головой, пожимает плечами. Оба со смехом выходят из комнаты. Черная стена смыкается, за ней слышен смех уходящих грузчиков.

Франц *(все это время читал книжку, не обращая внимания на грузчиков. Закрывает книжку, взвешивает ее на ладони)*. Это «Письмо отцу».

Отец. Какое письмо? Чьему отцу?

Франц. Это мое письмо тебе.

Отец. Твое письмо мне? Что ты опять выдумал? Оставь ты эту затею с книжечкой, с письмом! Мне не до твоих фантазий и причитаний, у меня на шее целая семья... Где тут всех спрятать? *(Открывает шкаф.)* Сколько человек сюда войдет? *(Входит в шкаф.)* Стоя?.. нет, сидя... ведь они не могут все время стоять! Нужно также немного жратвы и воды, какие-то пледы, пальто... Сколько сюда войдет человек? Мать — это раз, я — два, Валли с мужем и мелюзгой — это пять, нет, это уже семь... а дедушка? а бабушка? Ведь дедушка должен сидеть, значит, еще и кресло... того и гляди, их из деревни привезут!

Франц. Папа!

Отец *(говорит, стоя в шкафу)*. Папа... папа... мама... Ты юрист, а ничего не соображаешь, ничего не видишь, не слышишь...

или это образование вас так оглупило?.. Дядя Альфред прислал из Мадрида телеграмму, что собирается на нашу серебряную свадьбу... наверно, со всеми медалями и автомобилем... он тоже умный дурак... пожалуйста, ваше превосходительство, в шкаф... ну и, конечно, твой любимый Onkel[40] Зигфрид приедет верхом на лошади... я и лошадь приглашаю... *(Выходит из шкафа).* Я простой человек, обыкновенный коммерсант, мой отец был мясником, не умел ни писать, ни читать, но знал, как жить и как умирать... А что ты знаешь? Ты со своими званиями или твои господа литераторы, философы, ученые?.. Вы даже не знаете, то ли живете, то ли умираете... Помнишь этого своего коллегу... как его фамилия?.. Лиссауэр... Что он понаписал в первую мировую войну! Какой он был глупый! А тот другой, доктор, как и ты — господин Хуго Цукерман?.. Ты помнишь, он написал в «Österreichische Armee-Zeitung»[41] такое стихотворение... называлось «Österreichisches Reiterlied»[42], я тебе сейчас продекламирую. *(Становится около своего портрета по стойке «смирно».)*

Drüben am Wiesenrand
Hocken zwei Dohlen —
Fall ich am Donaustrand?
Sterb ich in Polen?
Was liegt daran?
Ehe sie meine Seele holen,
Kämpf ich als Reitersmann.

Drüben am Ackerrein
Schreien zwei Raben —
Werd ich der erste sein,
Den sie begraben?
Was ist dabei?
Viel Hunderttausend traben
In Österreichs Reiterei.

Drüben im Abendrot
Fliegen zwei Krähen —
Wann kommt der Schnitter Tod,
Um uns zu mähen?
Es ist nicht schad!
Seh ich nur unsere Fahnen wehen
Auf Belgrad! [43]

А скажи мне, умник, какое Цукерману дело до Белграда?.. Вы поэты, вы ученые... а мы что? Господин Цукерман хочет водрузить свое знамя над Белградом, потому что он австрийский улан? А тот, другой... Лиссауэр... что ему нужно от Англии? А я, глупый коммерсант, должен сейчас прятаться в шкаф. *(Отец открывает нижний ящик, пробует там улечься.)*

Франц. Папа... *(Становится на колени возле ящика.)* Что ты вытворяешь в шкафу?! У тебя жар... Ты болен! *(Прикладывает ладонь к лицу Отца.)*

Отец. Что я... в шкафу? Глупый! А тебе шкаф мешает? Тебе всегда все мешало... я знаю твои письма к Фелице, она мне все прочитала... *(Отец подражает голосу Франца, копирует его манеры.)* Ах, Фелица! Ох, Фелица! Ой-ой, Фелица! Итак, Фелица, мы обставляем квартиру! Конечно, Фелица, наша мебель должна быть такая солидная, такая тяжелая, чтобы ее нельзя было сдвинуть с места... *(Отец встает.)* Ты хочешь меня обиходить! Ты хочешь солидную мебель, огромные шкафы, тяжелые буфеты, супружеские ложа! Ты, Фелица, больше всего ценишь солидность... солидность людей и солидность мебели. *(Отец бегает вокруг шкафа, дотрагивается до него.)* А ты знаешь, Фелица, что этот буфет давит мою грудь, этот шкаф — как тяжелый камень на моей могиле, что все это могила и надгробие чиновничьей жизни... Ты разглядываешь мебель, а я слышу похоронный звон. *(Отец останавливается перед сыном и указательным пальцем дотрагивается до его груди.)* Тьфу! Мышигене![44] Сколько Фелица слез пролила из-за того, что ты так осмеял эту мебель: кровать, видите ли, ему не нужна, а буфет — это надгробие, которое давит ему грудь! И это взрослый, образованный человек! Стыд! А ты знаешь, что такой шкаф может спасти жизнь твоей матери, и твоей бабушке, и твоему дедушке, и твоим сестрам с их мужьями и детворой, и твоему дяде Зигфриду с его конем, и твоему отцу?.. Но какое тебе дело до семьи?.. Что ты знаешь о жизни? Ты такой же пророк, как Цукерман — улан! Твоя сестра Оттла и эта фрау Милена... они все вытерпят, они это все одолеют... их и спрашивай. Они в этом аду погибнут... Шкаф тебе не нужен, кровать тебе не нужна, ты можешь жить в норе, в убежище, потому что ты барсук, крот! Ты в наш шкаф не входи, ведь ты ненавидишь людское тепло, семейное тепло... Вырой себе убежище в земле, где-нибудь в поле или в лесу... Тихо! ш-ш-ш... *(Отец прикладывает палец к губам, потом пытается вползти под ковер. Видны его худые ноги в подвернутых брюках. Франц пробует вытащить Отца, тот шипит и пищит, как зверек. Наконец, Франц отгибает ковер. Отец переворачивается на спину, лежит беззащитный, с вытянутыми руками и ногами. Франц наклоняется и берет Отца на руки. Отец улыбается, а может, только кривится, считает пуговицы на пиджаке, вытаскивает часы на цепочке, слушает — ведет себя, как маленький ребенок.)*

Раздвигается черная стена в ярком свете — кровать с высокой периной и горой подушек. Это постель служанки Юзи. Франц укладывает Отца, накрывает периной, садится на край кровати.

Франц. Лежи спокойно, я сейчас пойду за доктором... спи... ничего не бойся, папа... ты будешь жить еще долго... похоронишь меня и поставишь в изголовье такой огром-

---

[40] Дядя *(нем.)*.
[41] «Австрийская военная газета» *(нем.)*.
[42] «Песнь австрийских конников» *(нем.)*.
[43] Грач важный ходит тут,
Нивы — без края.
В Польше меня убьют
Иль на Дунае?
Важность какая!
Конники боя ждут,
Смерть презирая.
В поле — грай воронья,
Раненый стонет.
Буду ли первым я,
Кого схоронят?

Мне все равно!
Тысячам конников
Пасть суждено.
Близится ночь с грозой.
Ворон на страже.
Смерть скосит нас косой,
Только когда же?
Много видал я атак,
Не устрашить меня адом.
Знаю: увижу наш флаг
Над Белградом!

[44] Искаженное слово, производное от meschugener *(евр.)* — сумасшедший, дуралей.

ный надгробный камень, что я никогда уже его не сдвину.

О т е ц *(садится).* Умник, хоть раз послушай отца... Ты слепой крот... ты глухой, как пень... не видишь этой своры собак, которая рыщет по земле, по деревням и городам, по лесам и улицам... Не слышишь их лая... А я чую своим крестьянским носом, носом бедняка, знающим запах и земли, и дерева, и хлеба, и мяса, что Они идут по нашему следу... Они настигнут нас на земле и под землей, они найдут тебя в твоем убежище... Они всех нас передушат и сожгут... Они найдут тебя в подполе и под кроватью, в шкафу и в стене... Лучше тебе, умник, поехать в деревню к дяде Зигфриду... верхом на лошади он выглядит как фон-барон... Или поезжай к Оттле... надо выкопать себе нору под шнем этого старого дерева... только сделать два выхода... или три — подальше от норы... а то собаки ищут, у них хороший нюх... *(Отец прислушивается.)* Вместе с собаками *Они* приближаются... Они идут за нами...

Черная стена медленно смыкается.

Под стеной

Пустая сцена. В глубине — черная стена. Мелькает свет прожекторов. Из темноты поодиночке выходят все участники спектакля. Актеры держатся за руки, приближаются к рампе, кланяются зрителям. Кто-то выносит на сцену декоративную корзину цветов с прикрепленной к ней белой карточкой.

Черная стена медленно, сантиметр за сантиметром, раздвигается. На сцене появляются П а л а ч и. Они ходят среди стоящих тут людей, покрикивают, потом начинают их теснить в сторону черной стены. Гонят людей, как стадо, в вагон для скота, вталкивают их, уминают. Видны лица, руки... Один из Палачей бросает туда же корзину с цветами. Черная стена медленно смыкается, еще видны руки... пальцы... Палачи уходят. Стена сомкнулась. Стена Смерти.

Animula[45]

Во всех сценах спектакля может присутствовать Душенька Франца. Это маленький мальчик в белом костюмчике. Сидит в стороне. Временами кажется, будто он слушает, будто все видит вокруг себя. А порой он производит впечатление незрячего. Душенька не интересуется Францем. Она не участвует в жизни Франца.

---

[45] Уменьшительное от «animus» — душа, дух *(лат.).*

■

Из стихотворений 1956~1968 годов

■

Перевод с польского и послесловие ВЛАДИМИРА БРИТАНИШСКОГО

Вот человек
кумир сотворенный людьми
когда от него отвернутся
останется кукла

говорят о нем Мудрый
каждое его слово
входит в пословицу

приделывают к его настоящему
прошлое яркое пышное
как хвост павлина
как задница павиана

ретушируют фотографии
монтируют фотомонтажи
уменьшают уши
подрисовывают усы и бороду
подкладывают ватные плечики
из человека среднего
делают
великого

подымают набитое чучело
на чужих плечах
и поверив в свое существование
оно начинает действовать

1956

Убегающий

Я читал книгу
это была книга
из жизни насекомых
„...личинка бронзовки убегая
переворачивается вверх брюхом
сама по собственной глупости
принимает позу
облегчающую мечнику нападение..."
Так убегает
личинка бронзовки

но я видал человека
убегавшего
пряча голову под крыло
и крича „да здравствует"

© Tadeucz Różewicz, 1988.

этот же человек хотел
убежать от себя
но ему это не удалось
и он замкнулся в себе

однако торчали уши
которые тем временем выросли

он был обнаружен
и убегал еще дальше
его наконец поймали
связали руки и ноги
сунули в мешок

Но он убегал еще дальше
в мешке и кричал „да здравствует"

1956

Посмертная реабилитация

Мертвые припоминают
наше равнодушие
мертвые припоминают
наше молчание
мертвые припоминают
наши слова

Мертвые видят наши губы
улыбающиеся от уха до уха
мертвые видят
наши трущиеся тела
мертвые слышат
чавканье наших ртов

Мертвые читают наши книги
слушают наши речи
произнесенные так давно
мертвые штудируют доклады
участвуют в дискуссиях
давно законченных
мертвые видят наши руки
готовые к аплодисментам

Мертвые видят стадионы
толпы скандирующие хором

все живые виновны
виновны малые дети
вручавшие букеты цветов
виновны влюбленные
виновны те кто

те кто убежали виновны
и те кто остались
те которые говорили да
те которые говорили нет
те которые не говорили ни слова

Мертвые пересчитывают живых
мертвые нас не реабилитируют

1956/57

Предостережение

Смотри он снова уверовал Это хорошо
он обнимает тело женщины
Он будет жить и плодить жизнь
Смотри он берет в руки орудие труда
Припоминает себе из чего
люди строили будущее
Это хорошо Он будет строить

Он идет полями
Различает вкусы и цвета
Припоминает себе смех
Это хорошо Не спугнуть бы

Столы уставлены
хрусталем и фарфором
Каждая рука женщины
держащая розовый цветок
имеет пять пальцев

Все волосы на головах
пирующих сочтены
и ни один волос не упадет
без позволения власти

Розовый цветок загорается и гаснет

почему у женщин
по три черных ноги
и ни одной головы
где же палец
с золотым колечком

ковры густого дыма
сами себя пожирают
животные и деревья заволакиваются огнем
розовый цветок загорается и гаснет

живые и мертвые общаются друг с другом
летают в воздухе
и не могут найти себе места
на земле

(Из книги 1958 г.)

Живодеры

В Лодзи которая считается городом бесцветным и грязным я увидел вдруг на рассвете пронзительно ясную улицу. По канавам струилась голубая краска.
Вдоль улицы тянулась стена у стены стоял человек в поношенной куртке. За стеной валялись пустые бутылки из-под уксуса. Кости животных. Белые гипсовые головы.

Человек который стоял у стены знал о себе все меньше. Какую дорогу прошел где находится куда он идет кто он кем будет. Улица была длинная-длинная в самом ее конце светилась сейчас одна незабудка. Трамваи шли звеня по каменному лугу. Все было холодное человек хотел одного: согреться. В том и в другом конце улицы одновременно появились живодеры. Посреди улицы стал зеленый фургон с железной решеткой. Человек под забором затрясся ощетинившийся оскалил зубы и попробовал ускользнуть. Живодеры приближались к нему шаг за шагом. Шаг их был строевой парадный. Старая женщина проходившая мимо вскрикнула. Человек упал на четыре лапы и положил ей голову на колени.
Она гладила его морду теплой большой рукой и говорила: Это же мой сыночек.
Живодеры отдирали его от женщины. Ее левую руку запутавшуюся в его волосах оторвали и вместе с человеком бросили внутрь фургона.
Фургон поехал. По канавам вдоль лезвия улицы струилась красная краска.

1957

Кара

Уже сегодня
сию минуту
жизнь без веры это наказанье
вещи становятся богами
тело становится богом

это божество жестокое и слепое
поклоняющегося пожирает переваривает
извергает

(Из книги 1960 г.)

Детвора

Теперь подбегают дети
вручают цветов букеты

все вокруг улыбаются
детям все умиляются

этот человек с лисьей мордой
наклоняется к девочке
он берет ее на руки

не берет ли он ее в зубы
не перегрызет ли ей горло
подымает на руках ангелочка
на руках у него перчатки
высоко подымает малышку

не кровь ли течет из пасти
это сочится улыбка
диктатор любит детей
дети стоят на трибуне
как разноцветные куколки

почему же взрослые не как дети
взрослые это плохие дети
нужно наказывать взрослых
пусть стоят на коленках на горохе
переписывают сто раз в наказанье
„Я мыслю значит я существую"

Солнце светит дождик льется
злая ведьма к нам крадется
жизнь как лужайка
по лужайке скачет черный министр
как зеленый кузнечик
шеф разведки пускает змея
шеф безопасности
с Ясем и Малгосей
плетет веночки
из незабудок

министр Геббельс
отравил своих деток
их не спросил хотят ли
умирать в бетонной норе

в травке тихо пищат поэты
дети молвят серьезно и грустно
вам забава дяди и тети
а нам жить на свете

(Из книги 1961 г.)

Патетическая поэма

Оплевали поэта
веками будут
утирать землю и звезды
веками будут утирать свои лица

Поэт живьем погребенный
подобен реке подземной
он в себе сохраняет
имена ли́ца
надежду
отчизну

Поэт который оболган
слышит голоса
слышит собственный голос
озирается
как человек
разбуженный среди ночи

Но ложь поэта
многоязыка
и колоссальна
как Вавилонская башня
чудовищна ложь поэта
и не умирает

1967

Диалог

На берегу
черного моря

я беседовал с русским поэтом
о поэзии о Гоголе
Шекспире
Сталине о страхе
ветер развеивал тут же
наши слова

солнце закатывалось
залило ало
кровью
воду воздух землю

Шекспир море
держал на своих плечах
груженные зерном корабли

Мы говорили о кризисе
лирики романа драмы

Шекспир оплодотворял Европу
хоронил мертвых
вел войны

Смеялся от уха до уха
спрашивал шутовски
по вкусу ль пришелся навоз
салат лавровый лист
посмеивался добродушно

Он нас держал на ладони
оставил нас на песке
и начал входить в море
открыв себе жилы

1966

Воскресение фильма

Памяти Сергея Эйзенштейна

«Эйзенштейн
потерял доверие товарищей
его считают дезертиром
он перерезал узы
связывающие с родиной»

промолвил Сталин
попыхивая трубкой

рабочую копию фильма
вывезли
в неизвестном направлении

негатив
уничтожили грунтовые воды
в подвале
киностудии музыка
растворилась в воздухе

Эйзенштейн
признал свою вину
выступил с самокритикой
осудил свое ви́дение
форму
обещал исправиться

палачу картины
дали орден

герои этого повествованья
повымерли
ушли в обитель теней

от волшебного фонаря
от чистой радости киноглаза
двигались к страху
к провокации
к смерти

Много лет спустя
нашли в квартире Покойного
жестяную банку
с тысячью отдельных ячеек

в 1967 году
фильм
был реабилитирован
неподвижный изуродованный
немой
начал свою посмертную
жизнь
на экране

1967—1968

Публикуемый цикл стихотворений Тадеуша Ружевича, написанных им в 1956—1968 годах, но еще неизвестных русскому читателю, образовался сам собой из переводов, остававшихся неопубликованными и даже не предлагавшихся для печати. Неожиданно оказалось, что эти стихи, будучи расположены в хронологическом порядке, в порядке книг, складываются в цикл — цельный, законченный и самодостаточный. В то же время все эти стихи связаны многочисленными нитями и с остальной поэзией Ружевича, и с его прозой, эссеистикой, драматургией. Вот почему соседство этих стихов с пьесой Ружевича о Кафке, соседство, не запланированное заранее ни редакцией журнала, ни тем более мною, оказывается возможным и естественным.

Пьеса о Кафке — единственная биография среди пьес Ружевича, но если взглянуть на все многожанровое творчество Ружевича, то биография Кафки сразу же находит свое место в большом ряду биографий поэтов (и прозаиков, живописцев, кинорежиссеров) в стихотворениях и поэмах Ружевича 60—80-х годов.

Ружевич пристально прослеживает взаимоотношения художника с властью, с государством, с обществом.

Стихотворение «Воскресение фильма» посвящено судьбе Эйзенштейна и его фильма. Фильм не назван Ружевичем, и это, конечно, не случайно. Многие киноленты Эйзенштейна — и не одного только Эйзенштейна — имели сложную или трагическую судьбу. Ружевич изображает обобщенную ситуацию осужденного и реабилитированного «посмертно» художественного произведения, причем монтирует в стихотворении два

разных эпизода из творческой биографии Эйзенштейна. Еще недавно это стихотворение потребовало бы пространных комментариев, сейчас можно просто сослаться на последние публикации наших журналов и газет 1988 года. На статью Р. Трофимова «От «Мексики» до «Грозного» («Родник», 1988, № 2), где приведен текст телеграммы Сталина Эптону Синклеру в ноябре 1931 года: «...Эйзенштейн теряет доверие своих товарищей в Советском Союзе. Его считают невозвращенцем, отщепенцем...» На предисловие того же Р. Трофимова к публикации «Грозные тени 1947 года» («Московские новости», 1988, № 32), где упоминается об уничтожении в 30-х годах фильма «Бежин луг». На статью О. Ковалева («Искусство кино», 1988, № 1) о «воскрешении» этого фильма Н. Клейманом и С. Юткевичем в 1967 году. Тогда же, по следам события, написал свое стихотворение Ружевич.

Художник — унижен и оплеван («признал свою вину выступил с самокритикой осудил свое ви́дение форму обещал исправиться»). Но именно он занимает в стихотворении главное место. Сталину же дана одна реплика, портрет его обозначен одним деепричастным оборотом: «попыхивая трубкой».

Ружевича интересует художник, а не диктатор. Он знает, что материалом для создаваемого общими усилиями диктатора, для творимого людьми кумира может быть личность самая заурядная, никакая. Сама личность диктатора не интересна. («Он казался коммивояжером фирмы готового платья»,— рассказывал один иностранец, видевший Гитлера в 20-х годах.) Но интересно, как, почему рождается их культ. Это интересно для всех, потому что касается всех, а не только поэтов и кинорежиссеров. Диктаторы уродуют и уничтожают не только фильмы и книги, унижают и убивают не только создателей фильмов и книг. Да, диктаторы (вспоминая известную фразу одного из них) «приходят и уходят», а «народ остается». Но что остается от народа? Лучшие люди истреблены, и лучшее истреблено в людях. Опустошение в душах и деморализацию оставляет по себе диктатура.

Число стихотворений Ружевича, посвященных теме диктатур, диктаторства, культа личности диктаторов, невелико, почти все они присутствуют в этой журнальной публикации, но без этих стихов нельзя понять и всего остального, что написал Ружевич, нельзя понять его творческую биографию.

1939—1945 годы, гитлеровская оккупация Польши и почти всей Европы для тех, кто это видел, были апокалипсисом, «концом света». История «кончилась», культура, цивилизация, гуманизм, человек «кончились». Чтобы восстановить их в себе, нужно было время. «Восстановлением человека» называл Ружевич свои послевоенные годы.

Время приносило новый личный и исторический опыт. Были годы 1945—1948. Годы 1949—1954. И тот перелом в польской общественной, идеологической, литературной жизни, который датируется 1956 годом, но охватывает всю середину и вторую половину пятидесятых.

В 1945—1946 годах Ружевич резко и бесповоротно ушел «от себя вчерашнего», от всех политических иллюзий, связанных с довоенной Польшей. Единственный из крупных польских поэтов он назвал события, происходившие в Польше, «польской революцией», а в одном из стихотворений 1946 года даже сетовал на то, что «эта революция ласкова как лебединая шея», что она недостаточно решительна в отношении «темновельможных панов». Ружевич стал поэтом Народной Польши, поэтом польского народа. «Счастлив народ, который имеет своего поэта»,— писал в 1948 году в стихотворном послании «Тадеушу Ружевичу, поэту» Чеслав Милош из Вашингтона, где он находился тогда на дипломатической работе.

Трудно пришлось Ружевичу в 1949 году, когда польскую культуру стали втискивать в прокрустово ложе догматизма, ломая и обрубая все «лишнее». Ружевич не мог быть таким, каким хотели бы его видеть, не получалось. «Наряду с натурализмом, мы явственно наблюдаем у Ружевича рецидивы экспрессионистической макабричности и сюрреалистического гротеска»,— писал в 1951 году в газете «Нова культура», увы, не безымянный конъюнктурщик, а человек тоже талантливый, тоже участник Сопротивления в годы войны, не сумевший выстоять теперь, когда нужно было сопротивляться давлению сталинщины и ее доктрин. Ружевич сопротивлялся упорнее других. Среди его стихов и поэм даже 1950—1952 годов удивительно много, для такого времени, удач. Что еще удивительнее, в его стихах тех лет есть известная внутренняя свобода. «Принуждение не возобладало над ним»,— констатировал в 1956 году честнейший и умнейший польский критик Казимеж Выка. Но без потерь, без деформаций, без — даже — элементов фальши не обошлось. И сам Ружевич судит себя строже, чем строгий Казимеж Выка.

«— Все аплодировали,— утешает старик-дядя героя пьесы Ружевича «Картотека» (1958—59).

— Что мне до всех? — отвечает тот.— Я о себе думаю. А я аплодировал... Я знаю, что многие аплодировали, но они уже забыли об этом...»

Ружевич, как и его герой, забыть об этом не может. «Мертвые нас не реабилитируют»,— восклицает он в стихотворении 1956 года «Посмертная реабилитация». «Все живые виновны». Ведь именно в с е живые, то есть и мы тоже, из «человека среднего» делали и сделали «великого».

«В сущности говоря, я не был диктатором,— писал Муссолини за месяц до конца своей политической карьеры и жизни.— Моя власть идеально совпадала с желанием послушания со стороны итальянского народа». Ружевича интересует как раз это «желание послушания» со стороны народа (увы, не только итальянского), «эта потребность общности преклонения» (выражаясь словами Великого Инквизитора из поэмы

Ивана Карамазова). Ружевича интересует, как, почему мы сами «набиваем» то «чучело», которое, поверив в свое существование, «начинает действовать».

«Набитое чучело» в стихотворении Ружевича «Вот человек...» не имеет портретных черт. Это стихотворение — о «диктаторе вообще», об «идоле вообще», стихотворение о «Мудром». «...Родном и любимом» — восстанавливается в нашей памяти вся триада эпитетов из нашей холопской песни, которую мы когда-то хором исполняли на уроках пения. Но имени, которым начинается строка этой песни, Ружевич не произносит.

Сюжет стихотворения Ружевича «Детвора» — «девочка с букетом» — любому советскому читателю моего поколения и старше неотвратимо навязывает фотографию Сталина на трибуне с первоклассницей какой-нибудь московской школы на руках. Но достаточно открыть книгу Кристофера Лидса «Италия под властью Муссолини» (Лондон, 1972), чтобы увидеть на фронтисписе фотографию Муссолини, наклоняющегося, чтобы поцеловать маленького мальчика, преподносящего ему букет. Вот почему «человек с лисьей мордой» в стихотворении Ружевича не имеет черт внешнего сходства ни со Сталиным, ни с Муссолини, ни с кем другим. Детвора. Дети и «добрый» диктатор. Дети и «добрый» шеф безопасности. Шеф безопасности «плетет веночки» с Ясем и Малгосей (из польской сказки, известной в Польше каждому ребенку), но на месте Яся и Малгоси могут быть Иванушка и Аленушка или какие-нибудь Ганс и Грета того же возраста.

Обобщенность образа диктатора в стихах Ружевича конца 50-х и начала 60-х годов — свидетельство того, что поэт пробует осмыслить диктатуры XX века в том общем, что можно в них усмотреть, при всех — несомненных и особенно важных для тех, кому приходится жить в условиях именно данной диктатуры,— «оттенках».

В польской литературной печати 1956—1957 годов слово «сталинизм» отнюдь не было табуированным, оно было одним из самых расхожих. Но Ружевича не удовлетворяли, раздражали скоропалительные и поверхностные статьи и памфлеты, не содержавшие, как ему казалось, достаточно глубокого анализа ни самого феномена, ни его корней в социальной истории, в общественной психологии. Даже само словосочетание «культ личности», повально распространившееся тогда и у нас, и в Польше, Ружевич в своей эссеистике ставит в кавычки. Но — пользуется этим выражением (например, в воспоминаниях о Тадеуше Боровском).

Стихотворение Ружевича «Вот человек...», открывающее публикуемый сейчас цикл, впервые появилось в феврале 1957 года в краковском еженедельнике «Жиче литерацке». Я не раз перелистывал в библиотеках подшивки польских газет того времени. Помню и этот номер. Страницы полторы или две занимал там польский перевод большого фрагмента книги Владимира Дудинцева «Не хлебом единым». Но человек, монтировавший номер, понимал, сколь важное место в номере занимает маленькое стихотворение Ружевича. Редактор (не знаю, главный или дежурный) поместил маленькое стихотворение в самом центре второй страницы, взяв его в рамку и вырезав для него место в массе текста чьей-то очень длинной статьи, переходившей на вторую страницу с первой.

Ружевич — страстный читатель газет, по его признанию, он не может начать день, не перелистав две-три газеты, и только после этого садится работать. Он далек от снобистского высокомерия некоторых поэтов в отношении журналистики и газетчиков, хороших журналистов он очень ценит. Но сам он — не журналист. Его как поэта интересуют лишь большие волны времени. И стихи он пишет — долговременные. Однако бывают такие переломные моменты, когда стихи Ружевича оказываются и злободневными тоже.

Мне кажется, что сейчас у нас такой момент и что Ружевич этих стихов, Ружевич, которого у нас еще не знают, окажется актуальным в контексте наших нынешних раздумий, разговоров, дискуссий.

ДЖЕЙМС ДЖОЙС

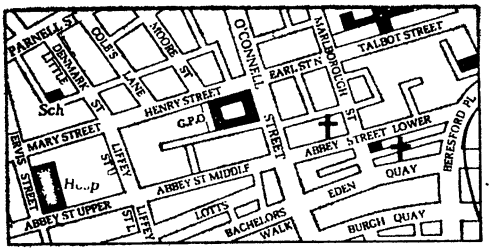
Улисс

РОМАН

Перевод с английского В. ХИНКИСА и С. ХОРУЖЕГО

Джойс в Цюрихе.
Декабрь 1918 г.

7



В СЕРДЦЕ ИРЛАНДСКОЙ СТОЛИЦЫ

Перед колонною Нельсона трамваи притормаживали, меняли пути, переводили дугу, отправлялись на Блэкрок, Кингстаун и Долки, Клонски, Рэтгар и Тереньюр, Пальмерстон Парк и Верхний Рэтмайнс, Сэндимаунт Грин, Рэтмайнс, Рингсенд и Сэндимаунт Тауэр, Хэролдс-кросс. Осипший диспетчер Объединенной Дублинской Трамвайной Компании раскрикивал их:

— Рэтгар и Тереньюр!

— Заснул, Сэндимаунт Грин!

Параллельно справа и слева со звоном с лязгом одноэтажный и двухэтажный двинулись из конечных тупиков, свернули на выездную колею, заскользили параллельно.

— Поехал, Пальмерстон Парк!

ВЕНЦЕНОСЕЦ

У дверей главного почтамта чистильщики зазывали и надраивали. Его Величества ярко-красные почтовые кареты, стоящие на Северной Принс-стрит, украшенные по бокам королевскими вензелями E. R.*, принимали с шумом швыряемые мешки с письмами, открытками, закрытками, бандеролями простыми и заказными, для рассылки в адреса местные, провинциальные, британские и заморских территорий.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРЕССЫ

Ломовики в грубых тяжелых сапогах выкатывали с глухим стуком бочки из складов на Принс-стрит и загружали их в фургон пивоварни. В фургон пивоварни загружались бочки с глухим стуком вы-

Продолжение. Начало см. в № 1, 2.

катываемые ломовиками в грубых тяжелых сапогах из складов на Принс-стрит.

— Вот оно,— сказал Ред Мерри.— Алессандро Ключчи.

— Вы это вырежьте, хорошо? — сказал мистер Блум,— а я захвачу в редакцию «Телеграфа».

Дверь кабинета Ратледжа снова скрипнула. Дэви Стивенс*, малютка в огромном плаще, в маленькой мягкой шляпе, венчающей кудрявую шевелюру, проследовал со свертком бумаг под плащом, королевский гонец.

Длинные ножницы Реда Мерри четырьмя ровными взмахами вырезали объявление из газеты. Ножницы и клей.

— Я сейчас зайду в типографию,— сказал мистер Блум, принимая квадратик вырезки.

— Разумеется, если он хочет заметку,— сказал Ред Мерри серьезно, с пером за ухом,— мы можем это устроить.

— Идет,— кивнул мистер Блум.— Я это ему втолкую.

Мы.

ВИЛЬЯМ БРАЙДЕН*, ЭСКВАЙР, ОКЛЕНД, СЭНДИМАУНТ

Ред Мерри тронул рукав мистера Блума своими ножницами и шепнул:

— Брайден.

Мистер Блум обернулся и увидал, как швейцар в ливрее приподнял литерную фуражку при появлении величественной фигуры, что, войдя, двинулась между щитами газет «Уикли фримен энд нэшнл пресс» и «Фрименс джорнэл энд нэшнл пресс». Глухое громыхание пивных бочек. Она прошествовала величественно по лестнице, зонтом себе указуя путь, с лицом недвижно-важным, брадообрамленным. Спина в тонких сукнах возносилась с каждой ступенью выше: спина. У него все мозги в затылке, уверяет Саймон Дедал. Плоть складками обвисала сзади. Жирные складки шеи, жир, шея, жир, шея.

— Вам не кажется, что у него лицо напоминает Спасителя? — шепнул Ред Мерри.

И дверь кабинета Ратледжа шепнула: скрип-скрип. Они вечно поставят одну дверь напротив другой сквозняки. Вот тебе вход. Вот выход.

Спаситель: брадообрамленный овал лица; беседа в вечерних сумерках. Мария, Марфа. За путеводным зонтом-мечом к рампе: Марио, тенор *.

— Или Марио,— сказал мистер Блум.

— Да,— согласился Ред Мерри.— Но всегда говорили, что Марио — вылитый Спаситель.

Иисусмарио с нарумяненными щеками, в камзоле и тонконогий. Прижал руку к сердцу. В «Марте» *.

Ве-е-рнись моя утрата,
Ве-е-рнись моя любовь

ПОСОХ И ПЕРО

— Его преосвященство звонили дважды за это утро *,— сказал Ред Мерри почтительно.

Они смотрели как исчезают из глаз колени, ноги, башмаки. Шея.

Влетел мальчишка, разносчик телеграмм, кинул пакет на стойку, вылетел с телеграфной скоростью, бросив лишь слово:

— «Фримен»!

Мистер Блум неторопливо проговорил:

— Что же, ведь он действительно один из наших спасителей.

Кроткая улыбка сопутствовала ему, когда он поднимал крышку стойки и когда выходил в боковые двери и шел темной и теплой лестницей и потом по проходу по доскам, уже совсем расшатавшимся. Спасет ли он однако тираж газеты? Стук. Стук машин.

Он толкнул створки застекленных дверей и вошел, переступив через ворох упаковочной бумаги. Пройдя меж лязгающих машин, он проследовал за перегородку, где стоял письменный стол Наннетти *.

Хайнс тоже тут: сообщение о похоронах наверно. Стук. Перестук.

С ГЛУБОКИМ ПРИСКОРБИЕМ СООБЩАЕМ О КОНЧИНЕ ВЫСОКОЧТИМОГО ГРАЖДАНИНА ДУБЛИНА

Сегодня утром прах опочившего мистера Патрика Дигнама. Машины. Перемелют человека на атомы если попадется туда. Правят миром сегодня. И его машинерия тоже трудится. Как эти, вышла из подчинения: забродило. Пошло вразнос, рвется вон. А та серая крыса старая рвется чтоб пролезть внутрь.

КАК ВЫПУСКАЕТСЯ КРУПНЕЙШАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА

Мистер Блум остановился за спиной щупловатого фактора, дивясь гладкоблестящей макушке.

Странно, он никогда не видал своей настоящей родины. Моя родина Ирландия. Избран от Колледж Грин. Выпячивал как мог что он работяга на полном рабочем дне. Еженедельник берут из-за реклам, объявлений, развлекательных пустячков, а не протухших новостей из официоза. Королева Анна скончалась *. Опубликовано властями в тыща таком-то году. Поместье расположено в округе Розеналлис, баронские владения Тиннахинч *. Для всех заинтересованных лиц согласно установлениям приводим сведения о числе мулов и лошадей испанской породы, запроданных на экспорт в Баллине. Заметки о природе. Карикатуры. Очередная история Фила Блейка из серии про быка и Пэта. Страничка для малышей, сказки дядюшки Тоби. Вопросы деревенского простака. Господин Уважаемый Редактор, какое лучшее средство, когда пучит живот? В этом отделе я бы хотел, пожалуй. Уча других, кой-чему сам научишься. Светская хроника. П. О. К. Почти одни картинки. Стройные купальщицы на золотом пляже. Самый большой воздушный шар в мире. Двойной праздник: общая свадьба у двух сестер. Два жениха глядят друг на дружку и хохочут. Купрани, печатник, он ведь тоже. Ирландец больше чем сами ирландцы.

Машины лязгали на счет три-четыре. Стук-стук-стук. А положим, вдруг у него удар и никто их не умеет остановить, тогда так и будут без конца лязгать и лязгать, печатать и печатать, туда-сюда, взад-вперед. Мартышкин труд. Тут надо хладнокровие.

— Давайте пустим это в вечерний выпуск, советник,— сказал Хайнс.

Скоро начнет его называть лорд-мэр. Говорят, Длинный Джон * покровительствует ему.

Фактор молча нацарапал печатать в углу листа и сделал знак наборщику. Все так же без единого слова он передал листок за грязную стеклянную перегородку.

— Прекрасно, благодарю,— сказал Хайнс и повернулся идти.

Мистер Блум преграждал ему путь.

— Если хотите получить деньги, то имейте в виду, кассир как раз уходит обедать,— сказал он, указывая себе за спину большим пальцем.

— А вы уже? — спросил Хайнс.

— Гм,— промычал мистер Блум.— Если вы поспешите, еще поймаете его.

— Спасибо, дружище,— сказал Хайнс.— Пойду и я его потрясу.

И он энергично устремился к редакции «Фрименс джорнэл».

Три шиллинга я ему одолжил у Маэра. Три недели прошло. И третий раз намекаю.

МЫ ВИДИМ РЕКЛАМНОГО АГЕНТА ЗА РАБОТОЙ

Мистер Блум положил свою вырезку на стол мистера Наннетти.

— Прошу прощения, советник,— сказал он.— Вот эта реклама, вы помните, для Ключчи.

Мистер Наннетти поглядел на вырезку и кивнул.

— Он хочет, чтобы поместили в июле,— продолжал мистер Блум.

Фактор наставил свой карандаш.

— Минутку,— сказал мистер Блум,— он бы кое-что хотел изменить. Понимаете, Ключчи. И он хочет два ключа наверху.

Адский грохот. А он как не слышит. Наннан. Железные нервы. Может он понимает что я.

Фактор повернулся, готовый выслушать терпеливо, и, подняв локоть, не спеша принялся почесывать под мышкой своего альпакового пиджака.

— Вот так,— показал мистер Блум, скрестив указательные пальцы наверху.

Пускай до него сначала дойдет.

Мистер Блум, поглядев вверх и наискось от устроенного им креста, увидел землистое лицо фактора, похоже у него легкая желтуха, а за ним послушные барабаны, пожирающие нескончаемые ленты бумаги. Лязг. Лязг. Мили и мили ненамотанной. А что с ней будет потом? Ну, мало ли: мясо заворачивать, делать кульки: тысячу применений найдут.

Проворно вставляя слова в паузы между лязганьем, он быстро начал чертить на исцарапанном столе.

ДОМ КЛЮЧ(Ч)ЕЙ*

— Вот так, видите. Тут два скрещенных ключа. И круг. А потом имя и фамилия, Алессандро Ключчи, торговля чаем и алкогольными напитками. Ну, и прочее.

В его деле лучше его не учить.

— Вы сами представляете, советник, что ему требуется. И потом наверху по кругу вразрядку: дом ключей. Понимаете? Как ваше мнение, это удачная мысль?

Фактор опустил руку ниже и теперь молча почесывал у нижних ребер.

— Суть идеи,— пояснил мистер Блум,— это дом ключей. Вы же знаете, советник, парламент острова Мэн. Легкий намек на гомруль. Туристы, знаете ли, с острова Мэн. Сразу бросается в глаза. Можете вы так сделать?

Пожалуй можно бы у него спросить как произносится это voglio. Ну а вдруг не знает тогда выходит поставлю в неудобное положение. Не будем.

— Это мы можем,— сказал фактор.— У вас есть эскиз?

— Я принесу,— заверил мистер Блум.— Это уже печатала газета в Килкенни. У него и там торговля. Сейчас сбегаю и попрошу у него. Стало быть, вы сделайте это и еще коротенькую заметку, чтобы привлечь внимание. Знаете, как обычно. Торговый патент, высокое качество. Давно ощущается необходимость. Ну, и прочее.

Фактор подумал минуту.

— Это мы можем,— повторил он.— Только пускай он закажет на три месяца.

Наборщик поднес ему влажный лист верстки, и он молча принялся править. Мистер Блум стоял возле, слушая, как скрипуче вращаются валы, и глядя на наборщиков, склонившихся в молчанье над кассами.

НА ТЕМУ ПРАВОПИСАНИЯ

Должен все назубок знать как пишется. Охота за опечатками. Мартин Каннингем утром забыл нам дать свой головоломный диктант

на правописание. Забавно наблюдать бес а не без прецеде перед дэ эн не ставим нтное изумление уличного на конце ого разносчика через эсче внезапно оценившего изысканную тут два эн симме а тут двойное эм, верно? трию сочного грушевого плода заблаговременно в середине о а не а оставленного на мостовой неизвестным после эс надо тэ доброжелателем. Нелепо накручено, правда же?

Мне стоило бы сказать когда он напяливал свой цилиндр. Спасибо. Надо было сказать насчет старой шляпы или что-то этакое. Нет. Можно было сказать. Смотрится почти как новая. Поглядеть бы на его физию в этот момент.

У-ух. Нижний талер ближайшей машины выдвинул вперед доску с первой — у-ух — пачкой сфальцованной бумаги. У-ух. Почти как живая ухает чтоб обратили внимание. Изо всех сил старается заговорить. И та дверь тоже — у-ух — поскрипывает, просит, чтобы прикрыли. Все сущее говорит, только на свой манер. У-ух.

ИЗВЕСТНЫЙ ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛЬ В РОЛИ КОРРЕСПОНДЕНТА

Неожиданно фактор протянул оттиск назад, со словами:

— Погоди. А где же письмо архиепископа? Его надо перепечатать в «Телеграфе». Где этот, как его?

Он обвел взглядом свои шумные, но не дающие ответа машины.

— Монкс, сэр? — спросил голос из словолитни.

— Ну да. Где Монкс?

— Монкс!

Мистер Блум взял свою вырезку. Пора уходить.

— Так я принесу эскиз, мистер Наннетти,— сказал он,— и я уверен, вы дадите это на видном месте.

— Монкс!

— Да, сэр.

Заказ на три месяца. Это надо сперва обдумать на свежую голову. Но попробовать можно. Распишу про август: прекрасная мысль: месяц конной выставки. Боллсбридж *. Туристы съедутся на выставку.

СТАРОСТА ДНЕВНОЙ СМЕНЫ

Он прошел через наборный цех мимо согбенного старца в фартуке и в очках. Старина Монкс, староста дневной смены. Какой только дребедени не прошло у него через руки за долгую службу: некрологи, трактирные рекламы, речи, бракоразводные тяжбы, обнаружен утопленник. Подходит уж к концу своих сроков. Человек непьющий, серьезный, и с недурным счетом в банке, я полагаю. Жена отменно готовит и стирает. Дочка швея, работает в ателье. Простая девушка, безо всяких фокусов.

И БЫЛ ПРАЗДНИК ПАСХИ

Он приостановился поглядеть, как ловко наборщик верстает текст. Сначала читает его справа налево. Да как быстро. мангиД киртаП. Бедный папа читает мне бывало свою Хаггаду справа налево, водит пальцем по строчкам. Пессах. Через год в Иерусалиме *. О боже, боже! Вся эта длинная история об исходе из земли Египетской и в дом рабства аллилуйя. Шема Исраэл Адонаи Элоим *. Нет, это другая *. Потом о двенадцати братьях, сыновьях Иакова. И потом ягненок и кошка и собака и палка и вода и мясник. А потом ангел смерти убивает мясника а тот убивает быка а собака убивает кошку *. Кажется чепухой пока не вдумаешься как следует. По смыслу здесь правосудие а на поверку о том как каждый пожирает всех кого может. В конечном счете, такова и есть жизнь. Но до чего же он быстро. Отработано до совершенства. Пальцы как будто зрячие.

Мистер Блум выбрался из лязга и грохота, пройдя галереей к площадке. И что, тащиться в эту даль на трамвае, а его может и не

застанешь? Лучше сначала позвонить. Какой у него номер? Да. Как номер дома Цитрона. Двадцатьвосемь. Двадцатьвосемь и две четверки.

ОПЯТЬ ЭТО МЫЛО

Он спустился по лестнице. Кой дьявол тут исчиркал все стены спичками? Как будто на спор старались. И всегда в этих заведениях спертый тяжелый дух. Когда у Тома * работал — от неостывшего клея в соседней комнате.

Он вынул платок, чтобы прикрыть нос. Цитрон-лимон? Ах, да, у меня же там мыло. Оттуда может и потеряться. Засунув платок обратно, он вынул мыло и упрятал в брючный карман. Карман застегнул на пуговицу.

Какими духами душится твоя жена? Еще можно сейчас поехать домой — трамваем — мол забыл что-то. Повидать и все — до этого — за одеванием. Нет. Спокойствие. Нет.

Из редакции «Ивнинг телеграф» вдруг донесся визгливый хохот. Ясно кто это. Что там у них? Зайду на минутку позвонить. Нед Лэмберт, вот это кто.

Он тихонько вошел.

ЭРИН, ЗЕЛЕНЫЙ САМОЦВЕТ В СЕРЕБРЯНОЙ ОПРАВЕ МОРЯ*

— Входит призрак,— тихонько прошамкал запыленному окну профессор Макхью полным печенья ртом.

Мистер Дедал, переводя взгляд от пустого камина на ухмыляющуюся физиономию Неда Лэмберта, скептически ее вопросил:

— Страсти Христовы, неужели у вас от этого не началась бы изжога в заднице?

А Нед Лэмберт, усевшись на столе, продолжал читать вслух:

— *Или обратим взор на извивы говорливого ручейка, что, журча и пенясь, враждует с каменистыми препонами на своем пути к бурливым водам голубых владений Нептуна и струится меж мшистых берегов, овеваемый нежными зефирами, покрытый то играющими бляшками света солнца, то мягкою тенью, отбрасываемой на его задумчивое лоно высоким пологом роскошной листвы лесных великанов.* Ну, каково, Саймон? — спросил он поверх газеты.— Как вам высокий стиль?

— Смешивает напитки,— выразился мистер Дедал.

Нед Лэмберт хлопнул себя газетою по коленке и, заливаясь хохотом, повторил:

— Играющие бляхи и задумчивое лоно. Ну, братцы! Ну, братцы!

— И Ксенофонт смотрел на Марафон*,— произнес мистер Дедал, вновь бросив взгляд на нишу камина и оттуда к окну,— и Марафон смотрел на море.

— Хватит уже,— закричал от окна профессор Макхью.— Не желаю больше выслушивать этот вздор.

Прикончив ломтик-полумесяц постного печенья, которое непрерывно грыз, он тут же, оголодалый, собрался перейти к следующему, уже заготовленному в другой руке.

Высокопарный вздор. Трепачи. Как вижу Нед Лэмберт взял выходной. Все-таки похороны, это как-то выбивает из колеи на весь день. Говорят, он пользуется влиянием. Старый Чаттертон*, вице-канцлер, ему двоюродный то ли дедушка, то ли прадедушка. Говорят, уж под девяносто. Небось и некролог на первую полосу давно заготовлен. А он живет им назло. Еще как бы самому не пришлось первым. Джонни, ну-ка уступи место дядюшке. Достопочтенному Хеджесу Эйру Чаттертону. Я так думаю, по первым числам он ему выписывает иногда чек а то и парочку дрожащей рукой. То-то будет подарок, когда он протянет ноги. Аллилуйя.

— Очередные потуги,— сказал Нед Лэмберт.

— А что это такое? — спросил мистер Блум.

— Вновь найденный недавно фрагмент Цицерона, — произнес профессор Макхью торжественным голосом.— *Наша любимая отчизна.*

КОРОТКО, НО МЕТКО

— Чья отчизна? — спросил бесхитростно мистер Блум.

— Весьма уместный вопрос,— сказал профессор, не прекращая жевать. — С ударением на «чья».

— Отчизна Дэна Доусона,— промолвил мистер Дедал.

— Это его речь вчера вечером? — спросил мистер Блум. Нед Лэмберт кивнул.

— Да вы послушайте,— сказал он.

Дверная ручка пихнула мистера Блума в поясницу: дверь отворяли.

— Прошу прощения,— сказал Дж. Дж. О'Моллой, входя.

Мистер Блум поспешно посторонился.

— А я у вас,— сказал он.

— Привет, Джек.

— Заходите, заходите.

— Приветствую.

— Как поживаете, Дедал?

— Жить можно. А вы?

Дж. Дж. О'Моллой пожал плечами.

ПРИСКОРБНО

Раньше был самый способный из молодых адвокатов. Скатился, бедняга. Этот чахоточный румянец вернейший признак, что песенка спета. Теперь только прощальный поцелуй. Интересно, с чем он пожаловал. Трудности с деньгами.

— *Или задумаем достигнуть горных вершин, сомкнувшихся мощным строем.*

— Вид у вас просто люкс.

— А редактора можно сейчас увидеть?— спросил Дж. Дж. О'Моллой, кивая в сторону другой двери.

— Сколько угодно,— сказал профессор Макхью.— Не только увидеть, но и услышать. Он с Ленеханом* в своем святилище.

Дж. Дж. О'Моллой не спеша подошел к конторке с подшивкой газеты и начал перелистывать розовые страницы.

Практика захирела. Неудачник. Падает духом. Азартные игры. Долги под честное слово. Пожинает бурю. А раньше имел солидные гонорары от Д. и Т. Фицджеральдов. В париках, чтоб показать серое вещество. Мозги, так сказать, выставлены наружу как сердце у той статуи в Гласневине. Кажется, он пописывает какие-то вещицы для «Экспресса» вместе с Габриэлом Конроем*. Неплохо начитан. Майлс Кроуфорд начинал в «Индепенденте». Просто смешно как эти газетчики готовы вилять, едва почуют что ветер в другую сторону. Флюгера. И нашим и вашим, не поймешь чему верить. Любая басня хороша, пока не расскажут следующую. На чем свет грызутся друг с другом в своих газетах, и вдруг все лопается как мыльный пузырь. И на другое утро уже друзья-приятели.

— Нет, вы послушайте, послушайте,— взмолился Нед Лэмберт.— *Или задумаем достигнуть горных вершин, сомкнувшихся мощным строем...*

— Пустозвонит! — вмешался профессор с раздражением.— Довольно нам этого надутого болтуна!

— *Строем,*— продолжал Нед Лэмберт,— *уходящих все выше в небо, дабы словно омыть наши души...*

— Лучше омыл бы глотку,— сказал мистер Дедал.— Господи, твоя воля! Ну? И за этакое еще платят?

— Души бесподобною панорамой истинных сокровищ Ирландии, непревзойденных, несмотря на множество хваленых прообразов в иных шумно превозносимых краях, по красоте своих тенистых рощ, оживляемых холмами долин и сочных пастбищ, полных веселнею зеленью, погруженной в задумчивое мерцание наших мягких таинственных ирландских сумерек...

— Луна,— сказал профессор Макхью.— Он забыл «Гамлета»*.

ЕГО РОДНОЕ НАРЕЧИЕ

— Застилающих вид вдаль и вширь, покуда мерцающий диск луны не воссияет, расточая повсюду свое лучезарное серебро...

— Ох! — воскликнул мистер Дедал, испустив безнадежный стон.— Ну и дерьмо собачье! С нас уже хватит, Нед. Жизнь и так коротка.

Он снял цилиндр и, раздувая в нетерпении свои густые усы, причесался по валлийскому способу: растопыренной пятерней.

Нед Лэмберт отложил газету, довольно посмеиваясь. Через мгновение резкий лающий смех сотряс небритое и в темных очках лицо профессора Макхью.

— Сдобный Доу! — воскликнул он.

КАК ГОВАРИВАЛ ВЕЗЕРАП

Теперь когда в печати над этим можно вдоволь острить, но публика-то это хватает как горячие пирожки. Кстати, он, кажется, сам из булочников? А то почему его зовут Сдобный Доу. Но кто бы ни был, гнездышко он себе устроил недурно. У дочки жених в налоговом управлении, имеет автомобиль. Ловко подцепила его. Приемы, открытый дом. Угощение до отвала. Везерап всегда это говорил. Проводи захват через брюхо.

Дверь, ведущая в кабинет, распахнулась резким толчком, и в комнату вдвинулась красноклювая физиономия, увенчанная хохлом торчащих как перья волос. Дерзкие голубые глаза оглядели присутствующих и резкий голос спросил:

— Что тут происходит?

— И вот он, собственною персоной, самозваный помещик!* — торжественно объявил профессор Макхью.

— Анепошелбыты, жалкий преподавателишка! — выразил редактор свою признательность.

— Пойдемте, Нед,— сказал мистер Дедал, надевая шляпу.— После такого мне надо выпить.

— Выпить! — вскричал редактор.— Перед мессой спиртного не подают.

— Что верно, то верно,— отвечал мистер Дедал, уже выходя.— Пойдемте, Нед.

Нед Лэмберт боком соскользнул со стола. Голубые глаза редактора, блуждая, остановились на лице мистера Блума, осененном улыбкой.

— А вы не присоединитесь, Майлс? — спросил Нед Лэмберт.

ВОСПОМИНАНИЯ О ДОСТОПАМЯТНЫХ БИТВАХ

— Ополчение Северного Корка!* — вскричал редактор, устремляясь к камину.— Мы всегда побеждали! Северный Корк и испанские офицеры!

— А где это было, Майлс? — спросил Нед Лэмберт, задумчиво разглядывая носки своих башмаков.

— В Огайо! — крикнул редактор.

— Там все и было, готов божиться,— согласился Нед Лэмберт.

По пути к выходу он шепнул О'Моллою:

— Начало белой горячки. Печальный случай.

— Огайо! — кричал редактор петушиным дискантом, задрав багровое лицо вверх.— Мой край Огайо!

— Образцовый кретик! — заметил профессор.— Долгий, краткий и долгий.

О, ЭОЛОВА АРФА!

Он достал из жилетного кармана катушку нитки для зубов и, оторвав кусок, ловко натянул его как струну между двумя парами своих нечищеных звучных зубов.

— Бинг-бэнг. Бэнг-бэнг.

Мистер Блум, увидав берег чистым, направился к двери кабинета.

— Я на минуту, мистер Кроуфорд,— сказал он.— Мне только позвонить насчет одного объявления.

Он вошел.

— А как с передовицей для вечернего выпуска? — спросил профессор Макхью, подойдя к редактору и веско положив руку ему на плечо.

— Все будет в порядке,— сказал Майлс Кроуфорд уже несколько спокойней.— Можешь не волноваться. Привет, Джек. Тут все в порядке.

— Здравствуйте, Майлс,— произнес Дж. Дж. О'Моллой, выпуская из рук страницы, мягко скользнувшие к остальной подшивке.— Скажите, это дело о канадском мошенничестве* — сегодня?

В кабинете зажужжал телефон.

— Двадцать восемь. Нет, двадцать. Сорок четыре, да.

УГАДАЙТЕ ПОБЕДИТЕЛЯ

Ленехан появился из внутренних помещений с листками бюллетеней «Спорта» о скачках.

— Кто хочет верняка на Золотой Кубок? — спросил он.— Корона, жокей О'Мэдден.

Он бросил листки на стол.

Крики и топот босоногих мальчишек-газетчиков, доносившиеся из вестибюля, внезапно приблизились и дверь распахнулась настежь.

— Тсс,— произнес Ленехан.— Слышится чья-то пустопь.

Профессор Макхью пересек комнату и ухватил съежившегося мальчишку за шиворот, а остальные врассыпную бросились наутек из вестибюля и вниз по лестнице. Сквозняк с мягким шелестом подхватил листки и они, описав голубые закорючки в воздухе, приземлились под столом.

— Я не виноват, сэр. Это тот длинный меня впихнул, сэр.

— Да вышвырни его и закрой ту дверь,— сказал редактор.— А то целый ураган поднялся.

Ленехан, нагибаясь и покряхтывая, начал подбирать листки с пола.

— Мы ждали специального о скачках, сэр,— сказал мальчишка.— Это Пэт Фаррел меня впихнул, сэр.

Он указал на две рожицы, заглядывающие в дверную щель.

— Вон тот, сэр.

— Ладно, проваливай,— сердито скомандовал профессор Макхью.

Он вытолкал мальчишку и крепко захлопнул дверь.

Дж. Дж. О'Моллой шелестел подшивкой, что-то отыскивая и бормоча:

— Продолжение на шестой странице, четвертый столбец.

— Да, это из редакции «Ивнинг телеграф»,— говорил мистер Блум по телефону из кабинета.— А хозяин?.. Да, «Телеграф»... Куда? Ага! На каком аукционе?.. Ага! Ясно. Хорошо. Я найду его.

ПРОИСХОДИТ СТОЛКНОВЕНИЕ

Когда он положил трубку, телефон снова зажужжал. Он быстро вошел и натолкнулся прямо на Ленехана, боровшегося со вторым листочком.

— Пардон, месье,— сказал Ленехан, на миг ухватившись за него и скорчив гримасу.

— Это я виноват,— отвечал мистер Блум, покорно перенося цепкий зажим.— Я не ушиб вас? Я очень спешу.

— Колено,— пожаловался Ленехан.

Он сделал смешную мину и захныкал, потирая колено:

— Ох, набирается годиков нашей эры.

— Прошу прощения,— сказал мистер Блум.

Он подошел к двери и, взявшись уже за ручку, немного помедлил. Дж. Дж. О'Моллой захлопнул тяжелую подшивку. В пустом вестибюле эхом отдавались звуки губной гармошки и двух пронзительных голосов мальчишек, усевшихся на ступеньках:

Мы вексфордские парни
В сраженье храбрецы*.

БЛУМ УХОДИТ

— Я должен бежать на Бэйчлорз-уок,— объяснил мистер Блум,— насчет этой рекламы для Ключчи. Надо договориться окончательно. Мне сказали, что он там рядом, у Диллона.

Какой-то миг он смотрел на них в нерешительности. Редактор, который облокотился на каминную полку, подперев голову рукой, внезапно широким жестом простер руку вперед.

— Гряди! — возгласил он.— Перед тобою весь мир*.

Дж. Дж. О'Моллой взял листки у Ленехана из рук и начал читать, осторожными дуновениями отделяя их друг от друга, не говоря ни слова.

— Он устроит эту рекламу,— сказал профессор, глядя через очки в черной оправе поверх занавески.— Полюбуйтесь, как эти юные бездельники за ним увязались.

— Где? Покажите! — закричал Ленехан, подбегая к окну.

УЛИЧНОЕ ШЕСТВИЕ

Оба посмеялись, глядя поверх занавески на мальчишек, которые выплясывали гуськом за мистером Блумом, а у последнего белыми зигзагами мотался под ветром шутовской змей с белыми бантиками по хвосту.

— Поглядеть на свистопляску этих разбойников,— объявил Ленехан,— и тут же загнешься. Ох, пуп с потехи вспотел! Подхватили, как тот вышагивает своими плоскостопыми лапищами. Мелкие бесенята. Стащить-ка штучку.

Он живо начал выделывать карикатурные движенья мазурки, скользяще устремляясь мимо камина к Дж. Дж. О'Моллою, который вернул листки в его подставленные руки.

— Что это здесь? — спросил Майлс Кроуфорд, словно очнувшись.— А где остальные двое?

— Кто? — обернулся профессор.— Они отправились в Овал малость выпить. Там Падди Хупер, а с ним Джек Холл. Приехали вчера вечером.

— Пошли, раз так,— решил Майлс Кроуфорд.— Где моя шляпа?

Дергающейся походкой он прошел в кабинет, отводя полы пиджака и звеня ключами в заднем кармане. Потом ключи звякнули на весу, потом об дерево, когда он запирал свой стол.

— А он явно уже хорош,— сказал вполголоса профессор Макхью.

— Кажется, да,— раздумчиво пробормотал Дж. Дж. О'Моллой, вынимая свой портсигар.— Но знаете, то, что кажется, не всегда верно. Кто самый богатый спичками?

Он предложил сигареты профессору, взял сам одну. Ленехан чиркнул проворно спичкой и дал им по очереди прикурить. Дж. Дж. О'Моллой снова раскрыл портсигар и протянул ему.

— Мерсибо,— сказал Ленехан, беря сигарету.

Редактор вышел из кабинета в соломенной шляпе, криво надвинутой на лоб. Он продекламировал нараспев, тыча сурово пальцем в профессора Макхью:

> Да, мощь и слава завлекли тебя.
> Империя твое пленила сердце*.

Профессор усмехнулся, не разомкнув своих длинных губ.

— Ну, что? Эх, ты, несчастная Римская Империя! — сказал Майлс Кроуфорд.

Он взял сигарету из раскрытого портсигара. Ленехан тут же гибким движением поднес ему прикурить и сказал:

— Прошу помолчать. Моя новейшая загадка!

— Imperium Romanum,— произнес негромко Дж. Дж. О' Моллой.— Это звучит куда благородней чем британская или брикстонская*. Слова чем-то напоминают про масло, подливаемое в огонь.

Майлс Кроуфорд мощно выпустил в потолок первую струю дыма.

— Это точно,— сказал он.— Мы и есть масло. Вы и я — масло в огонь. И шансов у нас еще меньше чем у снежного кома в адском пекле.

СЛАВА, ЧЬЕ ИМЯ — РИМ*

— Одну минуту,— сказал профессор Макхью, подняв два спокойных когтя.— Не следует поддаваться словам, звучанию слов. Мы думаем о Риме имперском, императорском, императивном.

Он сделал паузу и ораторски простер руки, вылезающие из обтрепанных и грязных манжет:

— Но какова была их цивилизация? Бескрайна, согласен: но и бездушна. Cloacae: сточные канавы. Евреи в пустыне или на вершине горы говорили: *Отрадно быть здесь. Поставим жертвенник Иегове.* А римлянин, как и англичанин, следующий по его стопам, приносил с собою на любой новый берег, куда ступала его нога (на наш берег она никогда не ступала), одну лишь одержимость клоакой*. Стоя в своей тоге, он озирался кругом и говорил: *Отрадно быть здесь. Соорудим же ватерклозет.*

— Какой соответственно и сооружали,— сказал Ленехан.— Наши древние далекие предки, как можно прочесть в первой главе книги Пития, имели пристрастие к проточной воде.

— Они были достойными детьми природы,— тихо сказал Дж. Дж. О'Моллой.— Но у нас есть и римское право.

— И Понтий Пилат пророк его,— откликнулся профессор Макхью.

— А вы слышали историю про первого лорда казначейства Полласа? — спросил О'Моллой.— Был парадный обед в королевском университете. Все шло как по маслу...

— Сначала отгадайте загадку,— прервал Ленехан.— Как, готовы?

Из вестибюля появился мистер О'Мэдден Берк, высокий, в просторном сером донегальского твида. За ним следовал Стивен Дедал, снимая на ходу шляпу.

— Entrez, mes enfants![1] — закричал Ленехан.

— Я сопровождаю просителя,— произнес благозвучно мистер О'Мэдден Берк.— Юность, ведомая Опытом, наносит визит Молве.

— Как поживаете? — сказал редактор, протянув руку.— Заходите. Родитель ваш отбыл только что.

---

[1] Входите, дети мои! *(франц.).*

? ? ?

Ленехан объявил всем:

— Внимание! Какая опера страдает хромотой? Думайте, напрягайтесь, соображайте и отвечайте.

Стивен протянул отпечатанные на машинке листки, указывая на заголовок и подпись.

— Кто? — спросил редактор.

Край-то оторван.

— Мистер Гэрретт Дизи,— ответил Стивен.

— Старый бродяга,— сказал редактор.— А оторвал кто? Приспичило ему, что ли?

Приплыв сквозь бури
Сквозь пены клубы
Вампир бледнолицый
Мне губы впил в губы *.

— Здравствуйте, Стивен,— сказал профессор, подойдя к ним и заглядывая через плечо.— Ящур? Вы что, стали..?

Быколюбивым бардом.

СКАНДАЛ В ФЕШЕНЕБЕЛЬНОМ РЕСТОРАНЕ

— Здравствуйте, сэр,— отвечал Стивен, краснея.— Это не мое письмо. Мистер Гэрретт Дизи меня попросил...

— Знаю, знаю его,— сказал Майлс Кроуфорд,— да и жену знавал тоже. Мерзейшая старая карга, какую свет видывал. Вот у нее уж точно был ящур, клянусь Христом! Вспомнить тот вечер, когда она суп выплеснула прямо в лицо официанту в «Звезде и Подвязке». Ого-го!

Женщина принесла грех в мир. Из-за Елены, сбежавшей от Менелая, греки десять лет. О'Рурк, принц Брефни.

— Он что, вдовец? — спросил Стивен.

— Ага, соломенный,— отвечал Майлс Кроуфорд, пробегая глазами машинопись.— Императорские конюшни. Габсбург. Ирландец спас ему жизнь на крепостном валу в Вене*. Не забывайте об этом! Максимилиан Карл О'Доннелл, граф фон Тирконнелл в Ирландии. Сейчас он отправил своего наследника и тот привез королю титул австрийского фельдмаршала*. Когда-нибудь будет там заваруха! Дикие гуси. О да, всякий раз. Не забывайте об этом!

— Забыл ли об этом он, вот вопрос? — тихо произнес О' Моллой, вертя в руках пресс-папье в форме подковы.— Спасать государей — неблагодарное занятие.

Профессор Макхью обернулся к нему.

— А если нет? — спросил он.

— Я расскажу вам, как было дело,— начал Майлс Кроуфорд.— Как-то раз один венгр...

ОБРЕЧЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. УПОМИНАНИЕ О БЛАГОРОДНОМ МАРКИЗЕ

— Мы всегда оставались верны обреченным предприятиям,— сказал профессор.— Успех для нас означает гибель разума и воображения. Мы никогда не хранили верность преуспевающим. Мы им прислуживаем. Я преподаю назойливую латынь. Я говорю на языке расы, у которой вершина мышления это афоризм: время — деньги. Материальное господство. Domine! Господин! А где же духовное? Господь Иисус? Господин Солсбери?* Диван в клубе в Уэст-Энде. Но греки!

КЮРИЕ ЭЛЕЙСОН!*

Светлая улыбка оживила его глаза в темной оправе, еще больше растянула длинные губы.

— Греки! — повторил он.— *Кюриос!* Сияющее слово! Гласные, которых не знают семиты и саксы*. *Кюрие!* Лучезарность разума.

Мне бы следовало преподавать греческий, язык интеллекта. *Кюрие элейсон!* Строителям клозетов и клоак никогда не быть господами нашего духа. Мы наследники католического рыцарства Европы, которое пошло ко дну при Трафальгаре, и царства духа — а это вам не imperium,— которое потонуло вместе с флотом афинян при Эгоспотамах*. Да-да. Они потонули. Пирр, обманутый оракулом, совершил последнюю попытку повернуть судьбы Греции. Верный обреченному предприятию.

Он отошел к окну.

— Они выходили на бой,— продекламировал мистер О'Мэдден Берк тусклым голосом,— и гибли они неизменно*.

— У-у! Ох-хо-хо! — негромко взрыдал Ленехан.— Получил кирпичом в самом конце представления. Бедняга, о бедняга, бедняга Пирр!

Потом он стал нашептывать в ухо Стивену:

ЛИМЕРИК ЛЕНЕХАНА

Вот ученый профессор из Дублина.
Протирает очки он насупленно.
Но успел он напиться,
И в глазах все двоится.
Так что труд сей — впустую погубленный.

В трауре по Саллюстию *, как выражается Маллиган. У которого мамаша подохла.

Майлс Кроуфорд сунул листки в карман.

— Ладно, пойдет,— сказал он.— Остальное потом прочту. Все будет в порядке.

Ленехан протестующе замахал руками.

— А как же моя загадка? — сказал он.— Какая опера страдает хромотой?

— Опера? — сфинксоподобное лицо мистера О'Мэддена Берка еще более озагадочилось.

Ленехан объявил торжествующе:

— «Роза Кастилии». Уловили соль? Рожа, костыль. Гы!

Он шутливо ткнул мистера О'Мэддена Берка под селезенку. Мистер О'Мэдден Берк манерно откинулся назад, на свой зонтик, и сделал вид, будто задыхается.

— Помогите! — выдохнул он.— Мне дурно.

Ленехан, привстав на носки, принялся быстро обмахивать его лицо шелестящими листочками.

Профессор, возвращаясь на место мимо подшивок, легонько тронул рукой распущенные галстуки Стивена и мистера О'Мэддена Берка.

— Париж в прошлом и настоящем. Вы выглядите как коммунары.

— Как те парни, что взорвали Бастилию,— сказал Дж. Дж. О'Моллой с мягкой иронией.— Или, может, это как раз вы с ним пристрелили генерал-губернатора Финляндии? Судя по виду, вы бы вполне могли. Генерала Бобрикова *.

— Мы еще только собирались,— отвечал Стивен.

ОМНИУМ ПОНЕМНОГУМ

— Соцветие всех талантов,— сказал Майлс Кроуфорд.— Юриспруденция, древние языки...

— Скачки,— вставил Ленехан.

— Литература, журналистика.

— А будь еще Блум,— сказал профессор,— тогда и тонкое искусство рекламы.

— И мадам Блум,— добавил мистер О'Мэдден Берк.— Муза пения. Любимица всего Дублина.

Ленехан громко кашлянул.

— Гм-гм! — произнес он, сильно понизив голос.— Глоток свежего воздуха! Я простудился в парке. Ворота были отворены.

«ВЫ ЭТО МОЖЕТЕ!»

Редактор положил Стивену на плечо нервную руку.

— Я хочу, чтобы вы написали что-нибудь для меня,— сказал он.— Что-нибудь задиристое. Вы это можете. Я по лицу вижу. *В словаре молодости...*

По лицу вижу. По глазам вижу. Маленький ленивый выдумщик.

— Ящур! — воскликнул редактор с презрительным вызовом.— Великое сборище националистов в Боррис-ин-Оссори *. Сплошная дичь! Надо таранить публику! Дайте-ка им что-нибудь задиристое. Вставьте туда нас всех, черт его побери. Отца Сына и Святого Духа и Говнюка Маккарти.

— Мы все можем предоставить пищу для ума,— сказал мистер О'Мэдден Берк.

Стивен, подняв глаза, встретил дерзкий и блуждающий взгляд.

— Он вас хочет в шайку газетчиков,— пояснил Дж. Дж. О'Моллой.

ВЕЛИКИЙ ГАЛЛАХЕР

— Вы это можете,— повторил Майлс Кроуфорд, подкрепляя слова энергичным жестом.— Вот погодите. Мы парализуем Европу, как выражался Игнатий Галлахер, когда он мытарствовал, подрабатывал маркером на бильярде в отеле «Кларенс». Галлахер, вот это был журналист. Вот это перо. Знаете, как он сделал карьеру? Я вам расскажу. Виртуознейший образец журнализма за все времена. Дело было в восемьдесят первом, шестого мая, в пору непобедимых, убийства в парке Феникс, я думаю, вас тогда еще и на свете не было. Сейчас покажу.

Он двинулся мимо них к подшивкам.

— Вот, глядите,— сказал он, оборачиваясь,— «Нью-Йорк уорлд» запросил специально по телеграфу. Припоминаете?

Профессор Макхью кивнул.

— «Нью-Йорк уорлд»,— говорил редактор, приходя в возбуждение и двигая шляпу на затылок.— Где все происходило. Тим Келли, или, верней, Кавана. Джо Брэди и остальные. Где Козья Шкура правил лошадьми. Весь их маршрут, понятно?

— Козья Шкура,— сказал мистер О'Мэдден Берк.— Фицхаррис. Говорят, теперь он ночлежку держит, «Приют извозчика», у Баттского моста. Это мне Холохан сказал. Знаете Холохана?

— Прыг-скок, этот, что ли? — спросил Майлс Кроуфорд.

— И Гамли, бедняга, тоже там, так он мне сказал, стережет булыжники для города. Ночной сторож.

Стивен с удивлением обернулся.

— Гамли? — переспросил он.— Да что вы? Тот, что друг моего отца?

— Да бросьте вы Гамли,— прикрикнул сердито Майлс Кроуфорд.— Пускай стережет булыжники, чтобы не убежали. Взгляните сюда. Что сделал Игнатий Галлахер? Сейчас вам скажу. Гениальное вдохновение. Телеграфировал немедленно. Тут есть «Уикли фримен» за семнадцатое марта? Прекрасно. Видите это?

Он перелистал подшивку и ткнул пальцем.

— Вот, скажем, четвертая страница, реклама кофе фирмы «Брэнсом». Видите? Прекрасно.

Зажужжал телефон.

ГОЛОС ИЗДАЛЕКА

— Я подойду,— сказал профессор, направляясь в кабинет.

— Б — это ворота парка. Отлично.

Его трясущийся палец тыкал нетвердо в одну точку за другой.

— Т — резиденция вице-короля. К — место, где произошло убийство. Н — Нокмарунские ворота.

Дряблые складки у него на шее колыхались как сережки у петуха. Плохо накрахмаленная манишка вдруг выскочила, и он резким движением сунул ее обратно в жилет.

— Алло? Редакция «Ивнинг телеграф». Алло?.. Кто говорит?.. Да... Да... Да.

— От Ф до П — это путь, которым ехал Козья Шкура для алиби. Инчикор, Раундтаун, Уинди Арбор, Пальмерстон Парк, Ранела *. Ф.А.Б.П. Понятно? Х — трактир Дэви на Верхней Лисон-стрит.

Профессор показался в дверях кабинета.

— Это Блум звонит,— сказал он.

— Пошлите его ко всем чертям,— без промедления отвечал редактор.— Х — это трактир Дэви. Ясно?

ЛОВКО, И ДАЖЕ ОЧЕНЬ

— Ловко,— сказал Ленехан.— И даже очень.

— Преподнес им все на тарелочке,— сказал Майлс Кроуфорд.— Всю эту дьявольскую историю.

Кошмар, от которого ты никогда не проснешься.

— Я видел сам,— с гордостью произнес редактор.— Я сам был при этом. Дик Адамс*, золотое сердце, добрейший из всех мерзавцев, кого только Господь сподобил родиться в Корке,— и я.

Ленехан отвесил поклон воображаемой фигуре и объявил:

— Мадам, а вам Адам. А роза упала на лапу Азора.

— Всю историю! — восклицал Майлс Кроуфорд.— Старушка с Принс-стрит* оказалась первой. И был там плач и скрежет зубов*. Все из-за одного рекламного объявления. Грегор Грэй * сделал эскиз для него и сразу на этом пошел в гору. А потом Падди Хупер обработал Тэй Пэя *, и тот взял его к себе в «Стар». Сейчас он у Блюменфельда*. Вот это пресса. Вот это талант. Пайетт!* Вот кто им всем был папочкой!

— Отец сенсационной журналистики,— подтвердил Ленехан,— и зять Криса Каллинана.

— Алло?.. Вы слушаете?.. Да, он еще здесь. Вы сами зайдите.

— Где вы сейчас найдете такого репортера, а? — восклицал редактор.

Он захлопнул подшивку.

— Лесьма вовко,— сказал Ленехан мистеру О'Мэддену Берку.

— Весьма ловко,— согласился мистер О'Мэдден Берк.

Из кабинета появился профессор Макхью.

— Кстати, о непобедимых, вы обратили внимание, что нескольких лотошников забрали к главному судье...

— Да-да,— с живостью подхватил Дж. Дж. О'Моллой.— Леди Дадли шла домой через парк, хотела поглядеть, как там прошлогодний циклон повалил деревья, и решила купить открытку с видом Дублина. А открытка-то эта оказалась выпущенной в честь то ли Джо Брэди, то ли Главного или Козьей Шкуры. И продавали у самой резиденции вице-короля, можете себе представить!

— Теперешние годятся только в департамент мелкого вздора,— продолжал свое Майлс Кроуфорд.— Тьфу! Что пресса, что суд! Где вы теперь найдете такого юриста как те прежние, как Уайтсайд, как Айзек Батт, как среброустый О'Хейган?* А? Эх, чушь собачья! Тьфу! Гроша ломаного не стоят!

Он смолк, но нервная и презрительная гримаса еще продолжала змеиться на губах у него.

Захотела бы какая-нибудь поцеловать эти губы? Как знать! А зачем тогда ты это писал?

СКЛАД И ЛАД

Губы, клубы. Губы — это каким-то образом клубы, так что ли? Или же клубы — это губы? Что-то такое должно быть. Клубы, тубы, любы, зубы, грубы. Рифмы: два человека, одеты одинаково, выглядят одинаково *, по двое, парами.

. . . . . la tua pace
. . . . . che parlar ti piace
. . . mentre chè il vento, come fa, si tace[2].

Он видел, как они по трое приближаются, девушки в зеленом, в розовом, в темнокрасном, сплетаясь, per l'aer perso[3], в лиловом, в пурпурном, quella pacifica orifiamma[4], золото орифламмы, di rimirar fe piu ardenti[5]. Но я старик, кающийся, в ногах свинец, подчернотою ночи *: губы клубы: могила пленила.

— Говорите лишь за себя,— сказал мистер О'Мэдден Берк.

ДОВЛЕЕТ ДНЕВИ...*

Дж. Дж. О'Моллой, со слабою улыбкою, принял вызов.

— Дорогой Майлс,— проговорил он, отбрасывая свою сигарету,— вы сделали неверные выводы из моих слов. В настоящий момент на меня не возложена защита третьей профессии qua профессии, но все же резвость ваших коркских ног* слишком заносит вас. Отчего нам не вспомнить Генри Граттана и Флуда или Демосфена или Эдмунда Берка?* Мы все знаем Игнатия Галлахера и его шефа из Чейплизода, Хармсуорта *, издававшего желтые газетенки, а также и его американского родича * из помойного листка в Бауэри, не говоря уж про «Новости Падди Келли», «Приключения Пью» и нашего недремлющего друга «Скибберинского орла». Зачем непременно вспоминать такого мастера адвокатских речей как Уайтсайд? Довлеет дневи газета его.

ОТЗВУКИ ДАВНИХ ДНЕЙ

— Граттан и Флуд писали вот для этой самой газеты,— выкрикнул редактор ему в лицо.— Патриоты и добровольцы. А теперь вы где? Основана в 1763-ем. Доктор Льюкас *. А кого сейчас можно сравнить с Джоном Филпотом Каррэном? Тьфу!

— Ну, что ж,— сказал Дж. Дж. О'Моллой,— вот скажем, королевский адвокат Буш.

— Буш? — повторил редактор.— Что же, согласен. Буш, я согласен. У него в крови это есть. Кендал Буш, то есть, я хочу сказать, Сеймур Буш.

— Он бы уже давно восседал в судьях,— сказал профессор,— если бы не... Ну ладно, не будем.

Дж. Дж. О'Моллой повернулся к Стивену и тихо, с расстановкой сказал:

— Я думаю, самая отточенная фраза, какую я слышал в жизни, вышла из уст Сеймура Буша. Слушалось дело о братоубийстве, то самое дело Чайлдса. Буш защищал его.

И мне в ушную полость влил настой.

Кстати, как же он узнал это? Ведь он умер во сне. Или эту другую историю, про зверя с двумя спинами?

— И какова же она была? — спросил профессор.

---

[2] ...тебя он спас
...беседа есть у вас
...безмолвен вихрь, как здесь сейчас (*итал.*— Данте. Ад, V, концовки строк 92, 94, 96; перев. М. Лозинского).

[3] в тьме неизреченной (Ад, V, 89).

[4] там орифламма (Рай, XXXI, 127).

[5] и мои сильней воспламенил (Рай, XXXI, 142).

ITALIA, MAGISTRA ARTIUM[6]

— Он говорил о принципе правосудия на основе доказательств, согласно римскому праву,— сказал О'Моллой.— Он противопоставлял его более древнему Моисееву закону, lex talionis[7], и здесь напомнил про Моисея Микеланджело в Ватикане *.

— М-да.

— Несколько тщательно подобранных слов,— возвестил Ленехан.— Тишина!

Последовала пауза. Дж. Дж. О'Моллой извлек свой портсигар.

Напрасно замерли. Какая-нибудь ерунда.

Вестник задумчиво вынул спички и закурил сигару.

Позднее я часто думал, оглядываясь назад, на эти странные дни, не это ли крохотное действие, столь само по себе пустое, это чирканье этой спички, определило впоследствии всю судьбу двух наших существований *.

ОТТОЧЕННАЯ ФРАЗА

Дж. Дж. О'Моллой продолжал, оттеняя каждое слово:

— Он сказал о нем: *это музыка, застывшая в мраморе, каменное изваяние, рогатое и устрашающее, божественное в человеческой форме, это вечный символ мудрости и прозрения, который достоин жить, если только достойно жить что-либо, исполненное воображением или рукою скульптора во мраморе, духовно преображенном и преображающем.*

Волнистое движение его гибкой руки эхом сопровождало фразу.

— Блестяще! — тотчас отозвался Майлс Кроуфорд.

— Божественное вдохновение,— промолвил мистер О'Мэдден Берк.

— А вам понравилось? — спросил Дж. Дж. О'Моллой у Стивена.

Стивен, плененный до глубины красотой языка и жеста, лишь молча покраснел. Он взял сигарету из раскрытого портсигара, и Дж. Дж. О'Моллой протянул портсигар Майлсу Кроуфорду. Ленехан, как и прежде, дал им прикурить, а потом уцепил трофей, говоря:

— Премногус благодаримус.

ВЫСОКОНРАВСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

— Профессор Мэйдженнис мне говорил про вас,— обратился О'Моллой к Стивену.— Скажите по правде, что вы думаете обо всей этой толпе герметистов*, поэтов опалового безмолвия*, с верховным мистом А. Э.? Все началось с этой дамы Блаватской. Уж это была замысловатая штучка. В одном интервью, которое он дал какому-то янки, А. Э. рассказывал, как вы однажды явились к нему чуть свет и стали допытываться о планах сознания. Мэйдженнис считает, что вы, должно быть, решили попросту разыграть А. Э. Он человек высочайшей нравственности, Мэйдженнис.

Говорил обо мне. Но что он сказал? Что он сказал? Что он сказал обо мне? Нет, не спрошу.

— Спасибо,— сказал профессор Макхью, отклоняя от себя портсигар.— Погодите минуту. Позвольте, я кое-что скажу. Прекраснейшим образцом ораторского искусства, какой я слышал, была речь Джона Ф. Тэйлора* на заседании университетского исторического общества. Сначала говорил судья Фицгиббон*, теперешний глава апелляционного суда, а обсуждали они нечто довольно новое по тем временам, эссе, где ратовалось за возрождение ирландского языка.

Он обернулся к Майлсу Кроуфорду и сказал:

— Вы ведь знаете Джеральда Фицгиббона, так что можете себе представить стиль его речи.

---

[6] Италия, наставница искусств *(лат.)*.

[7] Закон возмездия *(лат.)*.

— По слухам, он заседает с Тимом Хили*,— вставил Дж. Дж. О'Моллой,— в административной комиссии колледжа Тринити.

— Он заседает с милым крошкой в детском нагрудничке,— сказал Майлс Кроуфорд.— Валяйте дальше. Ну и что?

— Прошу заметить,— продолжал профессор,— что это была речь опытного оратора, с безупречной дикцией, исполненная учтивого высокомерия и изливающая, не скажу чашу гнева*, но скорей горделивое презрение* к новому движению. Тогда это было новым движением. Мы были слабы и, стало быть, ни на что не годны.

На мгновение он сомкнул свои тонкие длинные губы, но жаждая продолжать, поднес широко отставленную руку к очкам и, коснувшись черной оправы подрагивающими пальцами, безымянным и большим, слегка передвинул фокус.

ИМПРОВИЗАЦИЯ

Нарочито будничным тоном он обратился к Дж. Дж. О'Моллою:

— А Тэйлор, надо вам знать, явился туда больной, встал с постели. И я не верю, что он заранее приготовил речь, потому что во всем зале не было ни единой стенографистки. Лицо у него было смуглое, исхудалое, с лохматой бородой во все стороны. На шее болтался шелковый белый платок, а сам он выглядел едва ли не умирающим (хотя таковым и не был).

Взгляд его тут же, хотя и без торопливости, двинулся от Дж. Дж. О'Моллоя к Стивену и тут же потом обратился книзу, будто ища что-то. За склоненною головой обнаружился ненакрахмаленный полотняный воротничок, засаленный от редеющих волос. Все так же ища, он сказал:

— Когда Фицгиббон закончил речь, Джон Ф. Тэйлор взял ответное слово. И вот что он говорил, вкратце и насколько могу припомнить.

Твердым движением он поднял голову. Глаза его снова погрузились во вспоминание. Неразумные моллюски плавали в толстых линзах туда и сюда, ища выхода.

Он начал:

— Господин председатель, леди и джентльмены! Велико было мое восхищение словами, с которыми только что обратился к молодежи Ирландии мой ученый друг. Мне чудилось, будто я перенесся в страну, очень отдаленную от нашей, и в эпоху, очень далекую от нынешней, будто я нахожусь в Древнем Египте и слушаю речь некоего первосвященника той земли, обращенную к юному Моисею.

Его слушатели, все внимание, застыли с сигаретами в пальцах, и дым от них восходил тонкими побегами, распускавшимися по мере его речи. *Пусть дым от алтарей**. Близятся благородные слова. Посмотрим. А если бы самому попробовать силы?

— И чудилось мне, будто я слышу, как в голосе этого египетского первосвященника звучат надменность и горделивость. И услышал я слова его, и смысл их открылся мне.

ИЗ ОТЦОВ ЦЕРКВИ

Открылось мне, что только доброе может стать хуже, если бы это было абсолютное добро или вовсе бы не было добром, то оно не могло бы стать хуже. А, черт побери! Это же из святого Августина.

— Отчего вы, евреи, не хотите принять нашей культуры и нашей религии и нашего языка? Вы — племя кочующих пастухов: мы — могущественный народ. У вас нет городов и нет богатств: наши города словно людские муравейники, и наши барки, триремы и квадриремы, груженные всевозможными товарами, бороздят воды всего известного мира. Вы едва вышли из первобытного состояния: у нас

есть литература, священство, многовековая история и государственные законы.

Нил.

Ребенок — мужчина — изваяние*.

На берегу Нила прислужницы преклонили колена, тростниковая люлька — муж, искусный в битве — каменнорогий*, каменнобородый, сердце каменное.

— Вы поклоняетесь темному безвестному идолу: в наших храмах, таинственных и великолепных, обитают Изида и Озирис, Гор и Амон Ра. Ваш удел — рабство, страх, унижения: наш — громы и моря. Израиль слаб и малочисленны сыны его: Египет — несметное воинство, и грозно его оружие. Бродягами и поденщиками зоветесь вы: от нашего имени содрогается мир.

Беззвучная голодная отрыжка ворвалась в его речь. Повышением голоса он отважно поборол ее:

— Но, леди и джентльмены, если бы юноша Моисей внял этой речи и принял бы этот взгляд на жизнь, если бы он склонил свою голову, склонил свою волю, склонил дух свой пред этим надменным поучением, то никогда бы не вывел он избранный народ из дома рабства и не последовал бы днем за столпом облачным. Никогда бы не говорил он с Предвечным средь молний на вершине Синая и не сошел бы с нее, сияя отсветами боговдохновения на лице, неся в руках скрижали закона, выбитые на языке изгоев.

Он смолк и оглядел их, наслаждаясь молчанием.

ЗЛОВЕЩИЙ ЗНАК — ДЛЯ НЕГО!

Дж. Дж. О'Моллой не без сожаленья заметил:

— И все же он умер, не ступив на землю обетованную*.

— Внезапная — в — тот — миг — хотя — и — от — продолжительной — болезни — нередко — задолго — ожижаемая — кончина,— изрек Ленехан.— И позади у него лежало великое будущее.

Послышалось, как стадо босых ног ринулось через вестибюль и вверх по лестнице.

— Вот что такое искусство речи,— сказал профессор, не встретив ничьего возражения.

Унесено ветром. Людские скопища в Моллахмасте* и в Таре королевской. На целые мили — ушные полости. Громовые речи трибуна звучат — и развеиваются ветром. Народ обретал убежище в его голосе. Умершие звуки. Акаша-хроника* где все что происходило когда-нибудь где-нибудь где угодно. Обожайте его и восхваляйте — но с меня хватит.

У меня есть деньги.

— Джентльмены,— произнес Стивен.— Следующим пунктом повестки дня позвольте мне внести предложение о переносе заседания в другое место.

— Вы меня изумляете. Надеюсь, это не пустая любезность на французский манер? — спросил мистер О'Мэдден Берк.— Ибо, мыслю, сие есть время, когда винный кувшин, выражаясь метафорически, особливо приятствен в древней вашей гостинице.

— Быть по сему и настоящим решительно решено. Все кто за говори в глаза,— возгласил Ленехан.— Прочим молчок. Объявляю предложение принятым. В какое же именно питейное заведение..? Подаю свой голос за Муни!

Он возглавил шествие, поучая:

— Мы резко отвергнем возлияния крепких напитков, разве не так? Так да не так. Ни под каким видом.

Мистер О'Мэдден Берк, шедший за ним вплотную, произнес, делая соратнический выпад зонтом:

— Рази, Макдуф!

— Весь в папашу! — воскликнул редактор, хлопнув Стивена по плечу.— Двинулись. Где эти чертовы ключи?

Он порылся в кармане и вытащил смятые листки.

— Ящур. Помню. Все будет в порядке. Пойдет. Где же они? Все в порядке.

Он снова сунул листки в карман и ушел в кабинет.

БУДЕМ НАДЕЯТЬСЯ

Дж. Дж. О'Моллой, собравшись последовать за ним, тихо сказал Стивену:

— Надеюсь, вы доживете, пока это напечатают. Майлс, одну минутку.

Он прошел в кабинет, затворив дверь за собой.

— Пойдемте, Стивен,— позвал профессор.— Это было блестяще, не правда ли? Прямо-таки пророческие виденья. Fuit Ilium![8] Разграбление бурной Трои*. Царства мира сего*. Былые властители Средиземноморья — ныне феллахи.

Первый мальчишка-газетчик, стуча пятками, промчался по лестнице и ринулся мимо них на улицу с воплем:

— Специальный выпуск, скачки!

Дублин. Мне еще многому, многому учиться.

Они повернули налево по Эбби-стрит.

— Меня тоже посетило видение,— сказал Стивен.

— В самом деле? — сказал профессор, подлаживаясь с ним в ногу.— Кроуфорд нас догонит.

Еще один мальчишка пронесся мимо них, вопя на бегу:

— Специальный выпуск, скачки!

ДОБРЫЙ ДРЕМОТНЫЙ ДУБЛИН

Дублинцы.

— Две дублинские весталки,— начал Стивен,— престарелые и набожные, прожили пятьдесят и пятьдесят три года на Фамболли-лейн.

— Это где такое? — спросил профессор.

— Неподалеку от Блэкпиттса.

Сырая ночь с голодными запахами пекарни. У стены. Пухлое лицо поблескивает под дешевою шалью. Неистовые сердца. Акашахроника. Поживей, милок!

Вперед. Попробуй, рискни. Да будет жизнь.

— Они желают посмотреть панораму Дублина с вершины колонны Нельсона. У них накоплено три шиллинга десять пенсов в красной жестяной копилке в виде почтового ящика. Они вытряхивают оттуда трехпенсовые монетки и шестипенсовики, а пенсы выуживают, помогая себе лезвием ножа. Два шиллинга три пенса серебром, один шиллинг семь пенсов медью. Они надевают шляпки и воскресные платья, берут с собой зонтики на случай дождя.

— Мудрые девы*,— сказал профессор Макхью.

ЖИЗНЬ БЕЗ ПРИКРАС

— Они покупают на шиллинг четыре пенса грудинки и четыре ломтя формового хлеба у мисс Кейт Коллинз, хозяйки Северных Столовых на Мальборо-стрит. Потом они покупают двадцать и четыре спелые сливы у девчонки, торгующей у самого подножия колонны Нельсона, чтобы утолять жажду после грудинки. И, заплатив две трехпенсовые монетки джентльмену у турникета, они медленно начинают взбираться по винтовой лестнице, кряхтя, подбадривая друг друга, пугаясь темных мест, борясь с одышкой, переспрашивая одна другую а грудинка у вас, вознося хвалы Господу и Пречистой Деве,

[8] Миновал Илион! *(лат.)* *

грозясь повернуть назад и выглядывая в смотровые щели. У-уфф, слава Богу. Мы и понятия не имели, что это так высоко.

Зовут их Энн Карнс и Флоренс Маккейб. Энн Карнс страдает радикулитом и растирается от него лурдской водой, которую ей дала одна леди, а та получила бутылочку от одного монаха-пассиониста. У Флоренс Маккейб каждую субботу на ужин свиные ножки и бутылка двойного пива.

— Антитезис,— молвил профессор, кивая дважды.— Девы-весталки. Так и вижу их. Но что же наш друг там мешкает?

Он обернулся.

Стая стремглав летящих мальчишек неслась вниз по ступеням, разлетаясь во все стороны, вопя, размахивая белыми листами газет. За ними на лестнице появился Майлс Кроуфорд, в нимбе шляпы вокруг малиновой физиономии, продолжая беседовать с Дж. Дж. О'Моллоем.

— Нагоняйте,— крикнул ему профессор и помахал рукой.

Затем он снова зашагал рядом со Стивеном.

— Да-да,— сказал он,— я их вижу.

ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУМА

Мистер Блум, весь запыхавшийся, попавший в оголтелый водоворот мальчишек-газетчиков возле редакций «Айриш католик» и «Дублин пенни джорнэл», воззвал:

— Мистер Кроуфорд! Минуточку!

— «Телеграф»! Специальный выпуск, скачки!

— Ну, в чем дело? — спросил Майлс Кроуфорд, замедляя шаг.

Выкрик газетчика раздался перед самым носом мистера Блума:

— Ужасная трагедия в Рэтмайнсе! Ребенка защемило тисками!

ИНТЕРВЬЮ С РЕДАКТОРОМ

— Все об этой рекламе,— начал мистер Блум, проталкиваясь к ступеням, отдуваясь и вынимая вырезку из кармана.— Я только что говорил с мистером Ключчи. Он сказал, что закажет на два месяца. А там посмотрит. Но он еще хочет заметку в «Телеграфе», в субботнем розовом, чтобы привлечь внимание. Я уже говорил советнику Наннетти, он хочет такую же, как была в «Килкенни пипл», если еще не слишком поздно. Я бы мог ее взять в Национальной Библиотеке. Понимаете, дом ключей. Его фамилия Ключчи, получается игра слов. Но он, можно считать, обещал, что закажет. Но он только хочет, чтобы это немножко раздуть. Что мне ему передать, мистер Кроуфорд?

П. М. Ж.

— Передайте, что он может поцеловать меня в жопу! — отрезал Майлс Кроуфорд, сделав выразительный жест.— Вот так в натуре и передайте.

Слегка нервничает. Надо поосторожней. Все двинулись выпить. Рука об руку. Морская фуражка Ленехана поспешает на дармовщинку. Как всегда подольстился. Интересно кто всех подбил молодой Дедал что ли. Сегодня на нем вполне приличные башмаки. В последний раз как я его видел у него пятки высвечивали. И где-то вляпался в грязь. Беззаботный малый. Что же он делал в Айриштауне?

— Что же,— сказал мистер Блум, снова переводя взгляд на редактора.— Если я достану эскиз, стоит, по-моему, поместить маленькую заметку. Думаю, он даст это объявление. Я ему передам...

П. М. Б. И. Ж.

— Он может поцеловать мою благородную ирландскую жопу! — громогласно объявил Майлс Кроуфорд.— Совершенно в любое время, так вот и передайте.

И покуда мистер Блум стоял, взвешивая положение и нерешительно улыбаясь, он двинулся дальше своей подергивающейся походкой.

В ПОИСКАХ ССУДЫ

— Nulla bona[9], Джек,— сказал он, поднося руку к подбородку.— Я и сам вот посюда. Тоже крупные передряги. Не далее как на прошлой неделе разыскивал, кто бы дал поручительство под мой вексель. Мне очень жаль, Джек. Будь хоть малейшая возможность. Если бы мог где-нибудь найти, я бы со всей душой.

Дж. Дж. О'Моллой кисло поморщился и молча зашагал дальше. Они нагнали остальных и пошли рядом с ними.

— И когда они съели свою грудинку и хлеб и вытерли все двадцать пальцев о бумагу от хлеба, тогда они подошли поближе к перилам.

— Тут кое-что для вас,— пояснил профессор Майлсу Кроуфорду.— Две дублинские старушки на вершине колонны Нельсона.

НУ И КОЛОННА! — ВОТ ЧТО СКАЗАЛА ПЕРВАЯ ИЗ ВЗОБРАВШИХСЯ

— Это свежо,— одобрил Майлс Кроуфорд.— Это материал. Выбрались на гулянье сапожников в Дагл. Две старых плутовки, а дальше что?

— Но они боятся, что колонна упадет,— продолжал Стивен.— Они глядят на крыши и спорят о том, где какая церковь: голубой купол в Рэтмайнсе, Адама и Евы, Святого Лаврентия О'Тула. Но, когда смотрят, у них начинает кружиться голова, так что они задирают платья...

ЛЕГКАЯ НЕОБУЗДАННОСТЬ ЭТИХ ЖЕНЩИН

— Полегче,— сказал Майлс Кроуфорд.— Без поэтических вольностей. Мы тут в епархии архиепископа.

— И усаживаются на свои полосатые исподние юбки, взирая вверх на статую однорукого прелюбодея*.

— Однорукий прелюбодей! — воскликнул профессор.— Мне это нравится. Я уловил мысль. Я вижу, что вы хотите сказать.

МОЖНО ПОДУМАТЬ, ДАМЫ ОДАРИВАЮТ ГРАЖДАН ДУБЛИНА СКОРОСТНЫМИ ПИЛЮЛЯМИ И БЫСТРОЛЕТНЫМИ МЕТЕОРИТАМИ

— Но от этого у них затекает шея,— говорил Стивен,— и они так устали, что уже не могут смотреть ни вверх ни вниз ни даже говорить. Они ставят между собой пакет со сливами и начинают их поедать одну за другой, утирая платочками сливовый сок, стекающий изо рта, и не спеша выплевывая косточки через перила.

В конце у него вдруг вырвался громкий молодой смех. Услышав его, Ленехан и мистер О'Мэдден Берк обернулись и, помахав им, повернули наискосок в сторону Муни.

— Это все? — спросил Майлс Кроуфорд.— Закончим, пока они не сделали чего похуже.

СОФИСТ ПОРАЖАЕТ НАДМЕННУЮ ЕЛЕНУ ПРЯМЫМ ПО СОПАТКЕ. СПАРТАНЦЫ СКРЕЖУЩУТ КОРЕННЫМИ. ИТАКИЙЦЫ БОЖАТСЯ, ЧТО ИХ ПЕН ЧЕМПИОНКА

— Вы мне напоминаете Антисфена,— сказал профессор,— ученика софиста Горгия. О нем рассказывают, что никак не могли решить, кого он яростнее хулил, других или же себя самого. Он был

---

[9] Никакого имущества *(лат.)*.

сыном аристократа и рабыни. И он написал книгу, в которой отнял пальму первенства по красоте у аргивянки Елены и передал ее бедной Пенелопе.

Бедная Пенелопа. Пенелопа Рич*[10].

Они приготовились перейти через О'Коннелл-стрит.

АЛЛО, ЦЕНТРАЛЬНАЯ!

В различных точках на всех восьми линиях стояли на рельсах с застывшими дугами трамваи, шедшие в или из Рэтмайнса, Рэтфарнэма, Блэкрока, Кингстауна и Долки, Сэндимаунт Грин, Рингсенда и Сэндимаунт Тауэр, Доннибрука, Пальмерстон Парк и Верхнего Рэтмайнса, в неподвижном спокойствии короткого замыкания. Наемные экипажи, кабриолеты, ломовые телеги, почтовые фургоны, собственные кареты, повозки для газированных минеральных вод с громыхающими ящиками бутылок, громыхали, катили, влекомые лошадьми,— стремительно.

КАК? — И АНАЛОГИЧНО — ГДЕ?

— А как вы это назовете? — осведомился Майлс Кроуфорд.— И где они взяли сливы?

ИЗ ВЕРГИЛИЯ, ГОВОРИТ ПЕДАГОГ. ВТОРОКУРСНИК ЖЕ ПРИСУЖДАЕТ СЛИВЫ СТАРИКУ МОИСЕЮ

— Назовите это... сейчас, минутку,— сказал профессор, в раздумье широко раздвинув длинные губы.— Постойте, постойте. Назовем так: Deus nobis haec otia fecit[11].

— Нет,— отвечал Стивен.— Я это назову: *Вид на Палестину с горы Фасги или Притча о сливах**.

— Я понимаю,— сказал профессор.

Он звучно рассмеялся.

— Понимаю,— повторил он с явным удовольствием.— Моисей и земля обетованная. Это ведь мы его навели на мысль,— добавил он, обращаясь к Дж. Дж. О'Моллою.

ГОРАЦИО — ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА В ЭТОТ ДИВНЫЙ ИЮНЬСКИЙ ДЕНЬ

Дж. Дж. О'Моллой искоса бросил усталый взгляд на статую, продолжая хранить молчание.

— Понимаю,— сказал профессор.

Он задержался на пятачке у памятника сэру Джону Грэю и глянул наверх на Нельсона сквозь сеть морщинок своей кривой усмешки.

УРЕЗАННЫЕ КОНЕЧНОСТИ ОКАЗЫВАЮТСЯ БОЛЬШИМ ИСКУШЕНИЕМ ДЛЯ ИГРИВЫХ СТАРУШЕК. ЭНН ВЕРТИТСЯ, ФЛО КРУТИТСЯ — НО СТАНЕМ ЛИ ОСУЖДАТЬ ИХ?

— Однорукий прелюбодей,— повторил он, усмехаясь угрюмо.— Надо сказать, это меня привлекает.

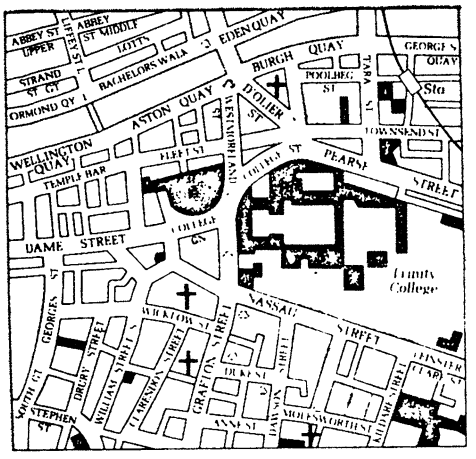
— Старушек тоже привлекало,— сказал Майлс Кроуфорд,— если Всевышний дал бы нам знать всю истину.

---

[10] Rich — богатая *(англ.)*

[11] «...нам бог досуги эти доставил» (*лат.*— Вергилий. Буколики. Эклога 1, 6).

8



Ананасные леденцы, лимонный цукат, сливочные тянучки. Липкослащавая девица целыми совками насыпает ириски учителю из Христианских Братьев*. Какой-нибудь школьный праздник. Один вред для детских животиков. Сладости и засахаренные фрукты, поставщик Его Величества Короля. Боже. Храни. Нашего. Сидит у себя на троне, обсасывает красные карамельки до белой начинки.

Хмурый молодой человек из АМХ[12], зорко стоящий на посту средь душных приторных испарений кондитерской Грэма Лемона, вложил какой-то листок в руку мистера Блума.

Сердце сердцу весть подает.

Блу... Про меня? Нет.

Блудный сын... Кровь агнца...

Небыстрые ноги уносили его к реке, читающего. Ты обрел ли спасение? Все омыты в крови агнца. Бог желает кровавой жертвы. Рождение, девство, мученик, война, закладка здания, жертвоприношение, всесожжение почки, алтари друидов. Илия грядет. Д-р Джон Александр Дауи* восстановитель Сионского Храма грядет.

Грядет! Грядет!! Грядет!!!

Всех просим от души.

Доходное занятие. В прошлом году Торри и Александр*. Многоженство. Его жена это живо пресечет. Где же я видел эту рекламу какая-то бирмингемская фирма светящееся распятие. Спаситель наш. Ночью проснешься в темноте и увидишь как он на стене висит. Призрак Пеппера та же идея*. И Нас Целиком Искупил.

Фосфором это наверно делают. Если оставить кусок трески, например. Я сам видел как она голубовато светится. Когда той ночью пошел в кладовку. Неприятно, все запахи там скопились, едва откроешь, шибает. Чего это ей тогда захотелось? Изюму из Малаги. Все думала про Испанию. Перед тем как Руди родился. Такая фосфоресценция, голубовато-зеленоватая. Для мозга очень полезно.

От угла дома Батлера рядом с памятником он глянул вдоль Бэйчлорз-уок. Дедалова дочка еще все там, возле Аукционов Диллона. Какую-нибудь старую мебель продают. Узнал ее сразу по глазам, совершенно отцовские. Слоняется, ждет его. Всегда дом разваливается после смерти матери. А у него пятнадцать детей. Редкий год не рождались. Так по их богословию, а не то поп не даст бедной женщине чего там исповеди, отпущения. Плодитесь и размножайтесь. Вы где-нибудь про такое слыхали? Этак у тебя проедят все дотла. Им самим-то не надо кормить семью. Сыты туком земли. Их кладовые и погреба. Посадить бы их на черный пост Йом Кипур*. Хлебцы в Страстную Пятницу. За день только обед и легкий завтрак, а то опасно, еще свалится на алтарь. У таких господ экономки ты попробуй что-нибудь из нее вытянуть. В жизни не вытянешь. Как денежки из него. Живет припеваючи. Гостей не бывает. Все только для себя. Следит за своей мочой. Хлеб и масло приносите свои. Его преподобие: тихоня, вот подходящее слово.

---

[12] Ассоциация молодых христиан.

Милость Божья, а платье-то у бедняжки — одни отрепья. И вид совсем отощавший. Картошка да маргарин, маргарин да картошка. Это все потом сказывается. По плодам узнаете их. Подрывает здоровье.

Когда он ступил на мост О'Коннелла, клуб дыма, пышно распускаясь, поднялся над парапетом. Баржа пивоварни с экспортным портером. В Англию. Я слышал он от морского воздуха скисает. Интересно бы как-нибудь получить пропуск через Хэнкока да посмотреть эту пивоварню. Целый особый мир. Кругом бочки с портером, красота. Но крысы и туда забираются. Ушьются раздуются с собаку и плавают на поверхности. Мертвецки упившись портером. Налижутся до блевотины как черти. Пить этакое, это представить только! Бочонок: крысенок. Конечно, если бы мы обо всем знали.

Глянув вниз, он увидел, как, шумно хлопая крыльями, меж мрачных стен набережной кружат чайки. Свежо на море. А если я брошусь вниз? Сын Рувима Дж. наверняка наглотался этих помоев полное брюхо. Переплатил шиллинг и восемь пенсов. Хе-хе. Забавная у него манера вдруг вставить историю ни с того ни с сего. И рассказывать их умеет.

Чайки, кружа, снижались. Ищут себе поживу. А ну-ка.

Он бросил в стаю скатанный бумажный комок. Илия грядет, скорость тридцать два фута в сек. Не обманулись. Комок, оставленный без внимания, закачался на затухающей волне, уплыл под устои моста. Не такие уж полные дураки. Когда я выбросил черствый пирог в тот день с борта «Короля Эрина» небось подобрали в полсотне ярдов за кормой. Соображают. Они кружили, хлопая крыльями.

> Унылая тощая чайка,
> Куда ты летишь, отвечай-ка!

Вот так поэты и пишут, надо чтоб одинаковые звуки. Да, но у Шекспира рифм нет — белый стих. Это поток языка. Мысли. Торжественно.

> Гамлет, я дух родного твоего отца,
> На время поскитаться осужденный.

— Яблоки, яблоки, пенни пара! Пенни пара!

Взгляд его прошелся по глянцу яблок, плотно уложенных у ней на лотке. В такой сезон они из Австралии, должно быть. Кожура блестит: протерла их платком или ветошкой.

Погоди. А бедные птахи.

Он снова остановился, купил у старушки с яблоками два сладких пирожка на пенни, разломал на кусочки и бросил их в Лиффи. Видали? Чайки налетели бесшумно, две, потом все остальные, ринулись вниз, набрасываясь на добычу. Готово. Начисто расхватали. Явственно ощущая их пронырливую жадность, он отряхнул мелкие крошки с ладоней. Такого они не ждали. Манна небесная. Кормятся одной рыбой, у них и мясо отдает рыбой, у всей этой морской птицы, у чаек, гагар. Лебеди из Анны Лиффи иногда сюда заплывают покрасоваться. О вкусах не спорят. Интересно на что похоже лебединое мясо. Робинзону Крузо приходилось ими питаться.

Они кружили, устало хлопая крыльями. Нет уж, больше ничего не брошу. Потратил пенни и хватит. Получил массу благодарности. Хоть бы покаркали. Кстати, они и ящур разносят. Откормить индейку, скажем, каштанами, у нее будет и вкус такой Ешь свинину сам как свинья. А почему тогда рыба из соленой воды сама не соленая? Как же так?

Его глаза поискали ответа на реке и увидали, как барка, стоящая на якоре, лениво колышет на густо-маслянистых волнах свои борта, облепленные рекламами.

Дж. Кайноу
11 шиллингов
Брюки

Недурная идея. Интересно платит ли он за это городу. А как вообще можно владеть водой? Она никогда не та же, вечно течет, струится в потоке, ищет в потоке жизни наш взгляд. Потому что и жизнь поток. Для рекламы любое место годится. Одно время во всех сортирах было налеплено, какой-то шарлатан брался лечить от триппера. Сейчас не встречается, исчезли. Полное соблюдение тайны. Д-р Гай Фрэнкс. Обошелся без расходов на объявления как Маджинни учитель танцев тот сам себе создает рекламу. Нашел людей расклеить или расклеивал сам тайком, когда забегал расстегнуть ширинку. Тать в нощи. Место самое подходящее. РАСКЛЕЙКА ОБЪЯВЛЕНИЙ ЗАПРЕЩЕНА. ЗЛОДЕЙКА ГОНОРЕЙКА ПРЕКРАЩЕНА. Какой-нибудь чудак, довольный, что пронесло.

А вдруг и он..?

Ох!

А если?

Нет... Нет.

Да нет. Не поверю. Уж он не стал бы?

Нет, нет.

Мистер Блум зашагал вперед, оторвав от реки встревоженный взгляд. Не надо об этом думать. Уже больше часу. На часах портового управления шар внизу. Время по Дансинку. Отличная эта книжица сэра Роберта Болла*, так увлекательно. Параллакс. Никогда толком не мог понять. А вот как раз священник. Можно бы у него спросить. Пар это греческое: параллель, параллакс. Метим псу хвост так она это называла пока я ей не объяснил про переселение. Ну и дичь!

Улыбка мистера Блума «Ну и дичь!» досталась двум окнам портового управления. По сути, она права. Выдумывают пышные названия обычным вещам. Звучности ради. Она остроумием не отличается. Бывает и грубой. Может выболтать, что у меня на уме. И все-таки не уверен. Скажем, она придумала, что у Бена Долларда не бас-баритон, а бас-бормотон. Потому что когда поет, половину звуков глотает, и ни слова не разберешь. Чем это не остроумно. Ему раньше дали прозвище Большой Бен. Совсем не так остроумно как бас-бормотон, никакого сравнения. Прожорлив как альбатрос. Уплел подчистую цельный говяжий филей. И в выпивке удержу не знает, нализется как пьяница-обормот. Бас-обормотон. Вот и опять подходит.

Навстречу ему вдоль сточной канавы медленно двигалась цепочка людей, одетых в белое, на каждом рекламная доска с яркоалой полосой поперек. Распродажа. Похожи на этого священника утром: мы грешники, мы страдали. Он прочитал алые буквы на их пяти белых высоких шляпах: H.E.L.Y.'S. Уиздом Хили. «Y» приотстал, вытащил ломоть хлеба из-под своей доски, сунул в рот и принялся жевать на ходу. Наше главное блюдо. Три монеты в день, и тащись вдоль этих канав, улица за улицей. Только на хлеб с похлебкой, чтобы ноги не протянуть. Они не от Бойла — нет — они от Макглэйда. Но этим торговлю не оживишь. Я ему предлагал устроить рекламную повозку: застекленный фургон и в нем две шикарные девицы сидят, пишут письма, а кругом всякие тетрадки, конверты, промокашки. Вот это бы привлекло внимание, я ручаюсь. Шикарные девицы пишут что-то такое — это сразу бросается в глаза. Всякому до смерти любопытно, а что это она пишет. Станешь, уставившись на пустое место — тут же вокруг тебя двадцать человек. Боятся, не упустить бы чего. Женщины тут же. Любопытство. Соляной столп. Конечно, он отказался, потому что не он первый придумал. Или еще я предложил пузырек для чернил с обманным пятном из целлулоида.

А у него идеи насчет рекламы не лучше этого объявления о паштетах Сливи, прямо под некрологами, раздел холодного мяса. Вам не требуется их лизать. Что? Наши конверты. Хэлло! Джонс, можно вас на минутку? Не могу, извините, Робинсон, спешу приобрести единственную надежную чернильную резинку «Канселл», продается у Хили и Ко, Дэйм-стрит, 85. Слава богу что развязался с этой дырой. Адова работа была получать по счетам в монастырях. Монастырь Транквилла. Там была очень милая монашка, на редкость приятное лицо. Клобук вполне шел к ее небольшой головке. Сестра? Сестра? Уверен что у нее была несчастная любовь по глазам ясно. Ужасно неловко когда надо о делах с такой женщиной. В то утро я ее оторвал от молитв. Но рада была пообщаться с миром. Сегодня у нас великий день, сказала она. Праздник Богоматери Кармельской. Тоже приятное название: карамель. Она знала, что я, думаю знала судя по тому как она. Если бы вышла замуж она изменилась бы. Похоже у них и вправду было туго с деньгами. Но при всем том готовили только на лучшем масле. Никакого свиного сала. Мне всегда потом плохо как поешь слишком жирного. Они любят подмасливаться и внутри и снаружи. Молли его пробовала, подняла вуаль. Сестра? Пэт Клэффи, дочка ростовщика. Говорят колючую проволоку придумала какая-то монашка.

Он пересек Уэстморленд-стрит, когда мимо прошаркал устало «S» с апострофом. Торговля велосипедами «Ровер». Гонки сегодня. Сколько же лет с тех пор? В тот год, когда умер Фил Гиллиган. Мы жили на Ломбард-стрит. А я, погоди: я был у Тома. К Хили я поступил в тот год когда поженились. Шесть лет. Десять лет назад: он умер в девяносчетвертом да все верно большой пожар у Арнотта. Вэл Диллон тогда был лорд-мэром. Обед в Гленкри. Советник Роберт О'Рейли вылил себе портвейн в суп еще до того как все начали. И давай Боббоббоб хлебать во здравие своего внутреннего советника. Весь оркестр заглушил. За то что уже нам досталось да будем мы Богу. Милли была еще совсем крошкой. А Молли надела то платье слоново-серое с вышитыми лягушками. Мужского покроя, пуговицы сама обтянула. Она его не любила потому что я ногу растянул в первый день как она надела его. Как будто платье виной. На пикнике с ее хором это было, у горы Шугарлоф. Старому Гудвину цилиндр уделали чем-то липким. Мухам тоже пикник. Потом она уж не носила таких платьев. Оно как перчатка ей всюду было в обтяжку, и в плечах и в бедрах. Тогда только-только начинала полнеть. Ели пирог с крольчатиной. Все на нее заглядывались.

Счастливые дни. Счастливее чем сейчас. Уютная комнатка с красными обоями. От Докрелла, шиллинг и девять пенсов рулон. Купанье Милли по вечерам. Американское мыло тогда купил: бузиновое. Вода в ее ванночке хорошо пахла. Какая смешная она была когда вся в пене. И стройненькая. Сейчас фотография. У бедного папы было ателье дагерротипов. Рассказывал мне про это. Наследственное увлечение.

Он шел по обочине тротуара.

Поток жизни. Как того парня звали, что смахивал на священника и вечно проходя косился на наши окна? Слабые глаза, женщина. Снимал в доме Цитрона на Сент-Кевин-пэрейд. Как-то на пен. Пенденнис*? Память сдает. Пен..? Правда уж столько лет прошло. Наверно трамвайный шум действует. Уж если он не мог вспомнить как зовут старосту дневной смены которого каждый день видит.

А тенора звали Бартель д'Арси*, он тогда только начинал. Провожал ее домой с репетиций. Самодовольный тип с нафабренными усами. Дал ей песню «Южные ветры».

Какой был ветер в ту ночь когда я зашел за ней было это собрание ложи насчет лотерейных билетов после концерта Гудвина в ратуше, то ли в банкетном то ли в дубовом зале. Он, и я следом. Ли-

сток с ее нотами у меня вырвало из рук, застрял в ограде лицея. Хорошо еще не. Такая мелочь может ей отравить все впечатление от вечера. Впереди профессор Гудвин под руку с ней. Весьма нетвердо ступая, старый пьянчужка. Его прощальные концерты. Решительно последнее появление на сцене. То быть может на месяц иль быть может навек*. Помню она хохотала на ветру укутанная в высокий воротник. А помнишь как рванул ветер на углу Харкорт-роуд. Ух! Бр-р! Взметнул все ее юбки, боа обвилось вокруг старины Гудвина, тот чуть не задохся. Она раскраснелась от ветра. Помнишь когда вернулись домой. Мы разгребли угли в очаге поджарили ей на ужин ломти бараньего седла с любимым ее кисло-сладким соусом. Подогрели ром. Мне было видно от очага как она в спальне расшнуровывает корсет. Белый.

С мягким шорохом корсет упал на постель. В нем всегда оставалось ее тепло. А ей было всегда приятно из него высвободиться. Потом сидела на постели почти до двух вынимала из волос шпильки. Милли уютно свернулась в гнездышке. Счастливое время. Счастливое время. В эту ночь...

— О, мистер Блум, как поживаете?

— О, как поживаете, миссис Брин?

— Что толку жаловаться. Как там Молли? Я ее не видела целую вечность.

— Превосходно,— весело отозвался мистер Блум.— А Милли, знаете, получила место в Моллингаре.

— Да что вы! Ведь для нее это большой шаг?

— Да, она там у одного фотографа. Все идет как по маслу. А как все ваши подопечные?

— На аппетит не жалуются,— ответила миссис Брин.

А сколько их у нее? Кругом вроде никого.

— Я вижу, вы в черном. У вас не..?

— Нет-нет,— сказал мистер Блум.— Просто я с похорон.

Теперь целый день так будет, я чувствую. Кто умер, когда, да отчего умер. Не отвяжешься.

— Какое несчастье,— сказала миссис Брин.— Надеюсь, это не кто-нибудь из близких?

Раз уж так вызовем у нее сочувствие.

— Дигнам,— сказал мистер Блум.— Из старых моих друзей. Бедняга, он умер скоропостижно. Кажется, сердечный приступ. Похороны были сегодня утром.

Твои похороны завтра
Пока ты бредешь во ржи *
Трампам тамтам
Трампам...

— Как это грустно, терять старых друзей,— женственно-меланхолически выразил взор миссис Брин.

Ну все, про это за глаза хватит. Спокойно, просто: про мужа.

— А как ваш господин и повелитель?

Миссис Брин возвела к небу свои большие глаза. Все-таки это у ней осталось еще.

— Ах, ради Бога, не будем! — сказала она.— Гремучим змеям, и тем стоит его остерегаться. Сейчас он сидит вон там со своими кодексами, ищет закон против диффамации. Одно мучение с ним. Минутку, я сейчас покажу вам.

Горячий пар телячьего супа, дух свежевыпеченных сладких булочек, пудингов плыли из кафе Гаррисона. От крепкого полдневного запаха у мистера Блума защекотало в глотке. Для хорошей выпечки надо масло, лучшую муку, сахар из Демерары, иначе с горячим чаем сразу почувствуют. Или это от нее? Босоногий мальчишка торчал у решетки, впивая запахи. Пытается притупить грызущий голод. Это

ему удовольствие или страдание? Обед за пенни. Вилка и нож прикованы на цепочке к столу.

Открывает сумочку, потертая кожа. Шляпная булавка: с такими вещами надо поосторожней. Может попасть кому-нибудь в глаз в трамвае. Роется. Все раскрыто. Деньги. Хочешь — бери. Они готовы с ума сойти если потеряют хоть шестипенсовик. Мировой скандал. Муж рвет и мечет. Где десять шиллингов что я дал тебе в понедельник? Ты что, всех родственничков своих кормишь? Платок замусоленный, пузырек от лекарства. Упало что-то таблетка. Что она там..?

— Наверно, сейчас новолуние,— сказала она.— В это время с ним всегда плохо. Знаете, что он в эту ночь сделал?

Рука ее перестала рыться. Глаза смотрели пристально на него, тревожно расширенные, но улыбающиеся.

— Что же? — спросил мистер Блум.

Пускай говорит. Смотри ей прямо в глаза. Я тебе верю. Можешь мне доверять.

— Разбудил меня ночью,— сказала она.— Ему приснился кошмарный сон.

Несваре.

— Сказал, что по лестнице поднимается пиковый туз.

— Пиковый туз! — изумился мистер Блум.

Она вынула из сумочки сложенную вдвое открытку.

— Вот, прочтите,— сказала она.— Он получил ее этим утром.

— Что это такое? — спросил мистер Блум, разглядывая открытку.— К. к.?

— К. к.: ку-ку — сказала она.— Кто-то над ним издевается, мол, он спятил. Это стыд и позор, кто бы ни сделал это.

— Разумеется,— сказал мистер Блум.

Она со вздохом забрала у него открытку.

— И сейчас он собрался в контору мистера Ментона. Он говорит, что намерен вчинить иск на десять тысяч фунтов.

Она сложила открытку, сунула ее в свою неприглядную сумочку и защелкнула замочек.

Тот же костюм синего шевиота что два года назад, только ворс выцветает. Прошли его лучшие времена. Волосы растрепались над ушами. И эта неуклюжая шляпка: три старые виноградные грозди, чтобы хоть малость скрасить. Убогая роскошь. А ведь раньше одевалась со вкусом. Морщинки у рта. Всего на год или около того старше Молли.

Но посмотри как эта женщина ее оглядела проходя. Жестоко. Пристрастный пол.

Он продолжал на нее смотреть, пряча во взгляде разочарование. Острый суп из телятины и бычьих хвостов с пряностями. Я тоже проголодался. Крошки пирога на отворотах ее костюма; следы сахарной пудры на щеке. Пирог с ревенем и плотной начинкой из разных фруктов. И это бывшая Джози Пауэлл. У Люка Дойла, давным-давно. Долфинс-барн, шарады. К. к.: ку-ку.

Переменим тему.

— А вам случается видеть миссис Бьюфой? — спросил мистер Блум.

— Майну Пьюрфой? — переспросила она.

Это я подумал про Филипа Бьюфоя. Клуб Театралов. Мэтчен часто вспоминает своей мастерский удар. А воду-то я спустил? Да. Последний акт.

— Да.

— Сейчас по дороге я как раз заходила узнать, не разрешилась ли она уже. Она в родильном доме на Холлс-стрит. Доктор Хорн ее туда поместил. Вот уже три дня схватки.

— О! — сказал мистер Блум.— Я так ей сочувствую.

— Да,— продолжала миссис Брин.— А дома и без того детишек полно. Эти роды у нее очень трудные, мне так сестра сказала.

— О! — сказал мистер Блум.

Его глубокий полный жалости взгляд вбирал ее слова. Язык сострадательно пощелкал. Це! Це!

— Я так ей сочувствую,— повторил он.— Бедная женщина! Три дня! Ведь это просто ужасно.

Миссис Брин согласно кивнула.

— У нее началось во вторник...

Мистер Блум тронул легонько выступ ее плечевой кости, предупреждая:

— Посторонитесь немного! Пускай этот человек пройдет.

Костлявая фигура, приближаясь со стороны реки, машисто вышагивала по тротуару, застывшим взглядом уставясь в солнечный круг через монокль на грубой тесемке. Крохотная шапочка обтягивала голову так туго, как будто вжималась в череп. На руке в такт шагам болтались сложенный плащ, трость и зонтик.

— Заметьте-ка,— сказал мистер Блум.— Фонарные столбы он всегда обходит по мостовой. Смотрите!

— А кто это, если не секрет? — спросила миссис Брин.— У него не все дома?

— Его зовут Кэшел Бойл О'Коннор Фицморис Тисделл Фаррелл,*— ответил мистер Блум, улыбнувшись.— Смотрите!

— Имен у него хватает,— сказала она.— Таким вот Дэнис станет когда-нибудь.

Внезапно она прервала себя.

— Ага, вот и он,— сказала она.— Мне надо идти к нему. Всего хорошего. Передавайте Молли привет, не забудете?

— Обязательно,— сказал мистер Блум.

Обходя встречных, она подошла к витринам. Дэнис Брин в ветхом сюртуке и синих парусиновых туфлях, шаркая ногами, вышел из кафе Гаррисона, крепко прижимая к сердцу две толстенные книги. Словно с луны свалился. Ископаемое создание. Нисколько не удивившись ее появлению, он тут же очень серьезно принялся говорить, тыча вперед свою грязно-серую бороду и подрагивая отваливающейся челюстью.

Мешуге. Совсем свихнувшийся.

Мистер Блум продолжал свой путь легкой походкой, глядя, как впереди в лучах солнца мелькают туго обтянутый череп и болтающийся тростезонтоплащ. Щеголь хоть куда. Полюбуйтесь! Опять вылез за тротуар. Еще один способ идти по жизни. И тот второй, тронутый волосан в отрепьях. Должно быть тяжко ей с ним приходится.

К. к.: ку-ку. Готов поклясться это Олф Берген или же Ричи Гулдинг. Спорю на что угодно они это выдумали для смеха, сидя в пивной Скотч хаус. Собрался в контору Ментона. Тот выпучит на открытку рачьи глаза. На галерке дикий восторг.

Он миновал редакцию «Айриш таймс». Может там новые ответы лежат. Хотел бы на все ответить. Удобная система для преступников. Шифр. Сейчас у них обед. Там клерк в очках, он не знает меня. Да ладно пусть полежат дозреют. И так хватило возни, сорокчетыре уже пришло. Требуется опытная машинистка для помощи джентльмену в его литературных трудах. Я назвала тебя противным мой миленький потому что мне совсем не нравится тот свет. Пожалуйста объясни мне смысл. Пожалуйста напиши какими духами твоя жена. Объясни мне кто сотворил мир. У них манера закидывать тебя вопросами. А эта другая, Лиззи Твигг. Моим литературным опытам посчастливилось заслужить похвалу знаменитого поэта А. Э. (мистера Джор. Рассела). Некогда волосы как следует причесать, прихлебывает жидкий чай за книжкой стихов.

Для небольших объявлений это лучшая газета, всем даст очко.

Сейчас и в провинции закрепилась. Кухарка и прислуга за все, кухня превосх., имеется горничная. Требуется расторопный приказчик в винную лавку. Добропоряд. девушка (катол.) ищет места во фруктовом или мясном магазине. Джеймс Карлайл все наладил. Дивиденд шесть с половиной процентов. Крупно заработал на акциях Коутсов. Не перетруждая себя. Хитроумные шотландские скряги. В новостях сплошь угодничество. Наша милостивейшая всеми любимая вице-королева. Купил теперь еще «Айриш филд». Леди Маунткэшел вполне оправилась после родов и приняла участие в лисьей охоте с гончими, устроенной вчера в Рэтхоуте охотничьим обществом. Лису не едят. Хотя охотники-бедняки ради еды. От страха выделяет соки, мясо мягчает так что годится им. Верхом ноги в стороны. По-мужски ездит. Двужильная охотница. Седло дамское, подушка — этого ни за что. Первая прибудет и первая с полем. Эти дамы-лошадницы бывают дюжие как племенные кобылы. Прохаживается важно возле конюшни. Стаканчик бренди махнет не успеешь моргнуть. Та что утром у Гровнора. Следом бы за ней в кэб: пощебечем? Стену или барьер метра в два на лошади запросто возьмет. Небось этот курносый водитель нарочно так постарался. Кого-то она напоминает. Ну да! Миссис Мириэм Дэндрейд у которой я покупал ношеное белье черное и старые покрывала в отеле Шелборн. Разводка из Южной Америки. На ноготь не проявила смущения когда я копался в ее белье. Как будто я это мебель. Потом ее видел на приеме у вице-короля когда Стаббс королевский лесничий провел меня туда вместе с Хиланом из «Экспресса». Доедали остатки после высшего общества. Плотный ужин. Я сливы там полил майонезом спутал с заварным кремом. У нее бы от стыда уши целый месяц горели. С такой надо быть не хуже быка. Прирожденная куртизанка. Возня с пеленками не для нее, большое спасибо.

Бедная миссис Пьюрфой! Супруг методист. Методичен в своем безумии. На завтрак булочка и молоко с содовой в семейном кафе. АМХ. Ест по секундомеру, тридцать два жевка в минуту. Но при всем том отрастил баки котлетками. Имеет говорят хорошие связи. Кузен Теодора в Дублинском замке. В каждом семействе по бонтонному родичу. Подносит ей ежегодно один и тот же сюрприз. Как-то видел его у «Трех гуляк» идет с голой головой а за ним старший мальчуган тащит еще одного в кошелке. Пискуны. Бедное создание! Приходится кормить грудью из года в год по ночам в какое угодно время. Все эти трезвенники эгоисты. Собака на сене. Мне в чай только один кусочек, пожалуйста.

Он остановился на перекрестке Флит-стрит. Перерыв на завтрак. За шесть пенсов у Роу? Надо посмотреть эту рекламу в национальной библиотеке. Тогда за восемь у Бертона. Как раз по пути. Это лучше.

Он шел мимо магазина Болтона на Уэстморленд. Чай. Чай. Чай. Забыл поговорить с Томом Кернаном.

Ай-яй. Це-це-це! Представить только три дня стонет в постели, живот раздут, на голове уксусный компресс. Фу! Просто ужас! Голова у младенца слишком большая — щипцы. Скорчен внутри нее в три погибели тычет вслепую головой, нащупывает, пробивает путь наружу. Меня бы это убило. Счастье что у Молли было легко. Что-то должны придумать чтоб прекратить такое. В жизнь — через каторжные работы. Идеи насчет обезболивания: королеве Виктории применяли. Девять у нее было. Добрая несушка. Старушка в ботинке жила детей у ней куча была. Говорят у него был туберкулез*. Давно уж пора чтобы занялись этим, а не заливали бы нам про как там про серебристое лоно да задумчивое мерцание. Морочат головы дурачкам. А тут бы легко организовалось крупное дело полное обезболивание потом каждому новорожденному из налоговых сумм начисляется пять фунтов под сложные проценты до совершеннолетия пять процентов это будет сто шиллингов да те самые пять фунтов помножить на двадцать по десятичной системе подтолкнуло бы людей откладывать деньги сто

десять и сколько-то еще до двадцати одного года это надо на бумаге выходит кругленькая сумма больше чем сразу кажется.

Конечно не мертворожденным. Их даже не регистрируют. Потерянный труд.

Забавное было зрелище, они обе рядом, животы выпячены. Молли и миссис Мойзел. Собрание матерей. Чахотка проходит на время а потом снова. Какими плоскими они вдруг кажутся после этого. Глаза умиротворенные. Бремя с души. Миссис Торнтон была милейшая старушка. Они все мои детки, так она говорила. Прежде чем их кормить, первую ложку себе в рот. У-у, это просто ням-ням. Сын Тома Уолла изуродовал ей руку. Его первое приветствие публике. Голова с отборную тыкву. Старый ворчун доктор Моррен. Народ к ним стучится в любое время. Доктор, ради всего святого. У жены началось. А потом заставляют ждать месяцами, пока заплатят. За врачебные услуги при родах вашей жены. В людях нет благодарности. А врачи очень гуманные, почти все.

Перед большими высокими дверями Ирландского парламента вспорхнула стая голубей. Резвятся после кормежки. Ну что, на кого б нам попробовать? Я вон на того, в черном. Так, пошел. Так, удачно. Должно быть, интересные ощущения, когда с воздуха. Эпджон, я и Оуэн Голдберг на деревьях возле Гус Грин, когда играли в мартышек. Они меня прозвали деляга.

Отряд полиции показался с Колледж-стрит, следуя шеренгой в затылок. Гусиным шагом. Лица, разгоряченные плотной едой, пот из-под шлемов, помахивают дубинками. Только что поели, заправили под ремни по доброй порции супа. Как завидна судьба полисмена. Они разбились на группы и, отсалютовав, двинулись на свои посты. Выпущены пастись. Лучший момент для нападения — сразу же после пудинга. С правой — прямо ему в обед. Еще один отряд, шагая вразброд, обогнул ограду Тринити Колледжа, направляясь к полицейскому участку. Устремились к кормушкам. Готовьсь к атаке на кавалерию. Готовьсь к атаке на суп.

Он перешел улицу под озороватым перстом Томми Мура*. Правильно сделали, что поставили ему памятник над писсуаром: слияние вод. Для женщин тоже должны устроить такие места. А то забегают в кондитерские. Надо мол шляпку поправить. *Нет на всем белом свете долины такой**. Знаменитая песня Джулии Моркан*. Сохранила голос до самого конца. А Майкл Болф был ее учитель, кажется?

Он проводил взглядом широкую накидку последнего полицейского. С такими клиентами лучше не связываться. Джеку Пауэру дано коснуться тайн*: папаша у него сыщик. Если парень заставил их понервничать при аресте, то уж потом в кутузке ему покажут райские кущи. Но в конце концов их тоже нельзя винить при такой работе какая им достается особенно молодым. В день когда Джо Чемберлен* получал степень в Тринити тот конный полисмен уж отработал свое жалованье сполна. Уж тут ничего не скажешь! Как за нами стучали копыта его коня по Эбби-стрит. Счастье что я сообразил занырнуть к Маннингу, а то крупно бы влип. Но как он грохнулся, черт возьми. Наверняка раскроил себе череп о булыжники. Не стоило мне там путаться с этими медиками. Да с новичками из Тринити в квадратных шляпах. Сами на рожон лезут. Но зато познакомился с этим юношей, с Диксоном, что потом мне в Скорбящей забинтовал ранку от укуса. Сейчас он на Холлс-стрит где миссис Пьюрфой. Колесо в колесе. Те полицейские свистки до сих пор у меня в ушах. Все наутек. Потому он ко мне и привязался. Вы задержаны. Вот на этом месте и началось.

— Молодцы, буры!

— Ура Де Вету!*

— На суку корявом Чемберлена вздернем!

Дурачье: молодые щенки готовые лаять до хрипоты. Винигер

Хилл.* Оркестр гильдии молочных торговцев. А через какую-нибудь пару лет половина из них в судьях или в чиновниках. Начинается война — и все в армию как миленькие — те же которые. Если нас погибель ждет *.

Никогда не знаешь с кем говоришь. Корни Келлехер того же поля ягода что Харви Дафф.* Как и тот Питер или Дэнис или может Джеймс Кэри что выдал непобедимых. Член муниципалитета. Разжигал зеленых юнцов чтобы выведывать а сам все время за деньги работал на тайную полицию. Потом от него быстренько отделались. Понятно почему эти в штатском всегда обхаживают служанок. Легко заприметить человека привыкшего носить форму. Полюбезничает с ней у черного хода. Слегка потискает. А потом следующий номер программы. Скажи а кто этот господин что все захаживает сюда? А молодой хозяин что-нибудь говорил? Подглядывает в замочную скважину. Подсадная утка. Юный пылкий студент дурачится, вертится возле ее пухлых рук, пока она гладит.

— Это не твои, Мэри?

— Я этакого не ношу... Оставьте не то скажу про вас барыне. Полночи не были дома.

— Близятся великие времена *, Мэри. Скоро сама увидишь.

— Вот и милуйтесь с энтими вашими временами.

Так же они и барменш. И продавщиц сигарет.

Лучше всего придумал Джеймс Стивенс. Он-то их знал. Кружки по десять человек, так что каждый знает только свой собственный. Шинн Фейн. Пойдешь на попятный тебя ждет нож. Невидимая рука. Останешься. Расстреляют. Дочка тюремщика устроила ему побег из Ричмонда, и через Ласк фюйть. Останавливался у них под носом, в отеле «Букингемский дворец». Гарибальди.

Тут надо личное обаяние. Парнелл. Артур Гриффит прямой честный малый но он зажечь толпу не способен. Ей надо чтоб разводили треп про нашу любимую отчизну. Чушь на постном масле. Чайная Дублинской хлебопекарной компании. Дискуссионные клубы. Что республиканская форма правления наилучшая. Что проблема языка должна решаться прежде экономических проблем. Пускай ваши дочери заманивают их к вам в дом. Кормите и поите их до отвала. Жареный гусь на святого Михаила. Тут вот для вас под шкуркой чудный кусочек с травками. И жирком полейте как следует покуда он не застыл. Полуголодные энтузиасты. На пенни хлеба и шагай за оркестром. Хлеборезу не остается. Мысль что не ты платишь лучший соус к обеду. Устраиваются как у себя дома. А подайте-ка нам вон те абрикосы то бишь персики. Не за горами тот день. Солнце гомруля восходит на северо-западе.

Он шел дальше, и улыбка тускнела на его лице, меж тем как тяжелое облако медленно наползало на солнце, закрывая тенью горделивый фасад Тринити. Катили в разные стороны трамваи, съезжаясь, разъезжаясь, трезвоня. Слова бесполезны. Ничего не меняется, изо дня в день: полицейские маршируют взад-вперед, трамваи туда-обратно. Те двое чудиков бродят по городу. Дигнам отдал концы. Майна Пьюрфой на койке с раздутым брюхом стонет чтоб из нее вытащили ребенка. Каждую секунду кто-то где-то рождается. Каждую секунду кто-нибудь умирает. Пять минут прошло как я кормил птиц. Три сотни сыграли в ящик. Другие три сотни народились, с них обмывают кровь, все омыты в крови агнца, блеют беееe.

Исчезнет с целый город народу, появится столько же других, потом и эти исчезнут, следующие являются, исчезают. Дома, длинные ряды домов, улицы, мили мостовых, груды кирпича, камня. Переходят из рук в руки. Один хозяин, другой. Как говорится, домовладелец бессмертен. Один получил повестку съезжать — тут же на его место другой. Покупают свои владения на золото, а все золото все равно у них. Где-то тут есть обман. Сгрудились в городах и тянут веками

канитель. Пирамиды в песках. Строили на хлебе с луком. Рабы Китайскую стену. Вавилон. Остались огромные глыбы. Круглые башни.* Все остальное мусор, разбухшие пригороды скороспелой постройки. Карточные домишки Кирвана, в которых гуляет ветер. Разве на ночь, укрыться.

Никто ничего не значит.

Сейчас самое худшее время дня. Жизненная сила. Уныло, мрачно: ненавижу это время. Чувство будто тебя разжевали и выплюнули.

Дом ректора. Досточтимый доктор О'Сетр: консервированный осетр. Прочно он тут законсервирован. Как кладбищенская часовня. Мне приплати и то не стал бы тут жить. Авось у них будет сегодня печенка и бекон. Природа боится пустоты.

Солнце медленно вышло из-за облака и зажгло зайчики на серебре, разложенном через улицу в витрине Уолтера Секстона, мимо которой проходил Джон Хауард Парнелл*, жмурясь от света.

Вот и он: родной брат. Как две капли воды. Это лицо всюду меня преследует. Совпадение, конечно. Сто раз бывает что думаешь о человеке и не встречаешь его. Идет как во сне. Никто не узнает его. Должно быть сегодня заседание в муниципалитете. Говорят ни разу не надевал своего мундира с тех пор как сделался церемониймейстером. А Чарли Кавана всегда выезжал на громадном коне, в треуголке, выбритый, напудренный и надутый. Какой у него удрученный вид. Яйцо тухлое съел. Мешки под глазами, как привидение. Я в таком горе. Брат великого человека: брат своего брата. Славно бы он выглядел на казенном скакуне. Наверняка улизнет в ДХК* пить кофе да играть в шахматы. Для его брата люди были как пешки. Пускай все хоть загнутся. Про него боялись слово сказать. Замирали на месте под его взглядом. Вот что действует на людей: имя. У них в роду все со сдвигом. Сумасшедшая Фанни и вторая сестра, миссис Дикинсон*, у которой лошади с красной упряжью. Держится прямо, в точности как хирург Макардл. А все-таки Дэвид Шихи обошел его на выборах в Южном Мите. Устроить отставку. Удалиться в политику. Банкет патриота. Поедают апельсинные корки в парке*. Саймон Дедал сказал когда его провели в парламент что Парнелл восстанет из гроба чтоб вывести его за руку из палаты общин.

— Про двуглавого осьминога, у которого на одной голове концы света забыли сойтись между собой, а другая разговаривает с шотландским акцентом*. Щупальцы же...

Они обогнали мистера Блума, обойдя его сбоку по тротуару. Борода и велосипед*. Молодая женщина.

И этот тут как тут. Вот уж точно совпадение: второй раз. От грядущих событий заранее тени видны*. Похвалу знаменитого поэта, мистера Джор. Рассела. Может это Лиззи Твигг с ним. А. Э.: что бы это значило? Наверно инициалы*. Алъберт Эдвард, Артур Эдмунд, Альфонс Эб Эд Эль Эсквайр. Что он такое нес? Концы света с шотландским акцентом. Щупальцы, осьминог. Что-то оккультное — символизм. Разглагольствует. Этой-то все сойдет. Слова не скажет. Для помощи джентльмену в его литературных трудах.

Глаза его проводили рослую фигуру в домотканой одежде, борода и велосипед, рядом внимающая женщина. Идут из вегетарианской столовой *. Там одни фрукты да силос. Бифштекс ни-ни. Если съешь глаза этой коровы будут преследовать тебя до скончания всех времен. Уверяют так здоровей. А с этого одни газы да вода. Пробовал. Целый день только и бегаешь. Брюхо пучит как у обожравшейся овцы. Сны всю ночь снятся. Почему это они называют то чем меня кормили бобштекс? Бобрианцы. Фруктарианцы. Чтобы тебе показалось будто ты ешь ромштекс. Дурацкие выдумки. И пересолено. Готовят на соде. Просидишь у крана всю ночь.

У ней чулки висят на лодыжках. Терпеть этого не могу: настолько безвкусно выглядит. Эта литературная публика, они все в облаках

витают. Туманно-эфирные символисты. Эстеты. Не удивлюсь если вдруг докажут что такой вот род пищи он как бы и рождает поэзию как какие-то что ли волны в мозгу. Вот взять любого из тех полисменов у которых все рубахи в поту после бараньей похлебки: попробуй из него выжми хоть полстрочки стихов. Да он вообще не знает что такое стихи. Для этого нужен особый настрой.

Туманно-эфирная чайка,
Куда твой полет, отвечай-ка!

Он перешел улицу на углу Нассау-стрит и остановился перед витриной магазина «Йейтс и сын», разглядывая цены биноклей. А может завернуть к Харрису, поболтать малость с молодым Синклером? Вот благовоспитанный юноша. Наверно обедает. Пора починить мои старые очки. Стекла фирмы Герц шесть гиней. Немцы пролезают всюду. Продают на льготных условиях чтобы захватить рынок. Сбивают цены. Может случайно повезет найти пару в бюро забытых вещей при вокзале. Поражаешься чего только люди не оставляют в раздевалках и поездах. О чем они думают? И женщины. Просто удивительно. Когда ехал в Эннис в прошлом году подобрал сумку что дочка того фермера позабыла и передал ей на пересадке в Лимерик. И за деньгами не являются. На крыше банка там у них маленькие часы чтобы проверять эти бинокли.

Веки его приспустились до нижнего краешка зрачков. Нет, не вижу. Если представить их там тогда почти видишь. Все равно не вижу.

Он повернулся к солнцу и, стоя между витринными навесами, вытянул в направлении к нему правую руку. Давно собирался попробовать. Так и есть: целиком. Кончик его мизинца закрыл весь солнечный диск. Должно быть тут фокус где сходятся все лучи. Жаль что нет темных очков. Интересно. Сколько было разговоров о пятнах на солнце когда мы жили на Ломбард-стрит. Эти пятна — это огромные взрывы. В этом году будет полное затмение: где-то в конце осени.

Ну вот, как только я про это подумал так шар упал. Время по Гринвичу. Эти часы управляются по электрическим проводам из Дансинка. Стоило бы как-нибудь туда съездить в первую субботу месяца. Если бы получить рекомендацию к профессору Джоли или что-нибудь разузнать про его семью. Тоже должно подействовать: всегда приятно для самолюбия. Лесть где ее совершенно не ждешь. Аристократ гордится происхождением от любовницы короля. Достославная прародительница. Главное, налегай на лесть. Ласковое теля двух маток сосет. А не так, чтобы вошел и брякнул с порога то что сам знаешь не по твоей части: а что такое параллакс? Проводите-ка этого господина к выходу.

Эх.

Он бессильно уронил руку.

Никогда об этом ничего не узнают. Пустая затрата времени. Газовые шары вращаются, сливаются, разлетаются. И так без конца эта карусель. Газ: потом твердые частицы: потом возникает мир: потом остывает: потом несется в пространстве одна мертвая оболочка, заледенелая корка, вроде ананасного леденца. Луна. Она сказала что сейчас новолуние. Кажется это верно.

Он проходил мимо ателье «La Maison Claire».

Вот смотри. Полнолуние было в ту ночь когда мы в воскресенье две недели назад значит в точности сейчас новолуние. Шли по берегу Толки. Неплохо для лунной ночи в Фэрвью. Она напевала. Юный май и луна, как сияет она, о, любовь. Он рядом с ней, по другую сторону. Локоть, рука. Он. И в траве светлячок свой зажег огонек, о, любовь. Коснулись. Пальцы. Вопрос. Ответ. Да.

Стоп. Стоп. Что было то было. Должно было.

Мистер Блум — его дыхание участилось, а шаг замедлился — миновал Адам-корт.

Понемногу уфф тихо не дури тихо успокаиваясь его глаза доносили это улица середина дня вислые плечи Боба Дорена. В своем ежегодном загуле, как сказал Маккой. Напиваются чтобы высказать что-то или отчудить или cherchez la femme. Погудят в Куме с дружками да с девками а потом весь остальной год как стеклышко.

Ну да. Так я и думал. Нацелился в Эмпайр. Вошел. Ему бы самое лучшее чистой содовой. Там раньше был мюзик-холл Арфа Пэта Кинселлы до того как Уитбред стал управляющим в театре Куинз. Отличный малый. Потешал публику в том же духе как Дайон Бусико, с физиономией как блин и в старой шапчонке. Три Юных Красотки со Школьной Скамьи*. Как летит время, а? В женской юбке, из-под которой длиннейшие красные подштанники. Сидели пьянчуги, пили, хохотали, брызжа слюной, захлебывались. Поддай жару, Пэт. Побагровелые — пьяная потеха — гогот и дым от курева. Сними-ка этот белый колпак. Глаза у него как у вареной рыбы. Где-то теперь он? Где-нибудь нищенствует. Арфа дивная голодом нас уморила*.

Я был тогда счастливей. Хотя был ли это я? И сейчас я это я ли? Двадцать восемь мне было. Ей двадцать три. Когда переехали с Западной Ломбард-стрит что-то сломалось. После Руди никогда уже не получала от этого удовольствия. Времени не вернешь назад. Воду не удержишь в ладонях. А хотел бы? Вернуться назад. К самому началу. Хотел бы? Так ты несчастлив в семейной жизни, мой бедненький противный мальчишка? Хочет мне пуговицы пришивать. Надо ответить. Напишу ей в библиотеке.

Грэфтон-стрит, пестревшая яркими навесами и витринами, приятно дразнила чувства. Набивной муслин, шелколеди, величественные матроны, звяканье сбруи и звук копыт, низкозвеняще цокающих по раскаленным булыжникам. Какие толстые ноги у этой в белых чулках. Надеюсь ближайший дождь заляпает их грязью как следует. Типичная деревенщина. Все толстомясые припожаловали. В таких у женщины всегда неуклюжие ноги. И у Молли не выглядят стройными.

Беззаботной походкой он шел мимо витрин шелковой торговли Брауна Томаса. Водопады лент. Воздушные китайские шелка. Наклоненный сосуд струил потоком из своего разверстого зева кровавокрасный поплин: сверкающая кровь. Это сюда гугеноты завезли*. *Лакауз эсант*[13] *тара-тара.* Замечательный хор. *Тари-и тара.* Стирать исключительно в дождевой воде. Мейербер. *Тара: бум бум бум.*

Подушечки для булавок. Я уж давно грозился ей что куплю. А то втыкает их где попало по всему дому. В занавесках иголки.

Он слегка отвернул левый рукав. Царапина: уже почти зажила. Нет все-таки не сегодня. Еще ведь надо вернуться за тем лосьоном. А может на ее день рождения? Июниюль, августентябрь восьмое. Еще почти три месяца. А может это ей вовсе и не понравится. Женщины не любят подбирать булавки. Говорят оборвется лю.

Блестящие шелка, нижние юбки на тонких медных прутах, шелковые чулки, разложенные расходящимися лучами.

Что толку о старом. Так надо было. Скажи мне все.

Звонкие голоса. Солнценагретый шелк. Звяканье сбруи. Это все для женщины, дома и домашний уют, паутинки шелков, серебро, лакомые плоды, сочные из Яффы. Агендат Нетаим. Богатства мира.

Теплая округлость человеческой плоти заполонила его мозг. Мозг сдался. Дурман объятий всего его захлестнул. Оголодалою плотью тайно, он немо жаждал любить.

Дьюк-стрит. Приехали. Поесть наконец. У Бертона. Сразу полегче станет.

---

[13] Искаж. La causa é santa — дело свято *(итал.).*

Он повернул за угол у Комбриджа, еще весь во власти своего наваждения. Звяканье, стук копыт. Благоухающие тела, упругие, теплые. И все — жаждущие поцелуев, отдающиеся: среди высоких летних лугов, на перепутанной примятой траве, в сырых подъездах многоквартирных домов, на диванах, на скрипучих кроватях.

— Джек, милый!

— Ненаглядная!

— Поцелуй меня, Регги!

— Мой мальчик!

— Любимая!

С неутихающим волнением в сердце он подошел к столовой Бертона и толкнул дверь. От удушливого запаха перехватило дыхание. Острая мясная подливка, овощное месиво. Смотрите на кормежку зверей.

Люди, люди, люди.

У стойки, взгромоздились на табуретах в шляпах на затылок, за столиками, требуют еще хлеба без доплаты, жадно хлебают, поволчьи заглатывают сочащиеся куски еды, с налившимися глазами, утирают намокшие усы. Юноша с бледным лоснящимся лицом усердно вытирает салфеткой свои стакан нож вилку ложку. Новая порция микробов: Мужчина, заткнувший за воротник детскую салфетку, всю в пятнах соуса, с шумным звуком заправляет в рот ложку за ложкой супа. Другой выплевывает назад на тарелку: хрящи не осилил — голые десны — зубов нету разгрыгрыгрызть. Филе, жаренное на угольях. Глотает кусками, спешит разделаться. Глаза печального пропойцы. Откусил больше чем может прожевать. И я тоже такой? Видеть себя какими нас видят другие. Голодный всегда зол. Работают челюстями. Осторожно! Ох! Кость! В том школьном стихотворении Кормак последний ирландский король-язычник подавился и умер в Слетти к югу от Бойна *. Интересно что он там ел. Что-нибудь этакое. Святой Патрик обратил его в христианство. Все равно не смог проглотить целиком.

— Ростбиф с капустой.

— Порцию тушеной баранины.

Человечий дух. Заплеванные опилки, тепловатый и сладковатый дым сигарет, вонь от табачной жвачки, от пролитого пива, человечьей пивной мочи, перебродившей закваски.

У него подступило к горлу.

Я тут не смогу проглотить ни куска. Вон малый затачивает ножик об вилку готовый пожрать все что глаз видит, старик ковыряет в последних зубенках. Легкая отрыжка, сыт, пережевывает жвачку. До и после. Благодарственная молитва после еды. Вот два изображенья: вот и вот*. А этот уписывает остатки, подгребает соус размокшими катышками хлеба. Давай, друг, вылизывай прямо с тарелки! Нет, убираться отсюда.

Зажав нос, он оглядел застоечных и застольных едоков.

— Два портера сюда.

— Порцию солонины с капустой.

Вон тот герой так рьяно подпихивает в рот капусту ножом как будто его жизнь зависит от этого. Мастерский удар. Дрожь смотреть. Для безопасности ему есть бы тремя руками. Отрывает по жилкам. Его вторая натура. Родился в рубашке и с ножом в зубах. Остроумно вышло. А может, и нет. В рубашке значит счастливый. Тогда просто: родился с ножом. Соль пропадает.

Служитель в развязавшемся фартуке с грохотом собирал липкие тарелки. Рок, судебный исполнитель, стоя у стойки, сдувал со своего пива пенистую корону. Отлично исполнил: она расплылась желтым у его сапога. Один из обедающих, поставив локти на стол, подняв вилку и нож, уставился поверх запятнанного листа газеты на подъемник с блюдами. Поджидает второе. А сосед ему что-то рассказывает

с набитым ртом. Сочувственный слушатель. Застольная беседа. Чавчавстенько встречав-чавкаемся по чавк-вергам. А? Да неужто?

Мистер Блум в нерешительности приложил два пальца к губам. Взгляд его говорил:

— Не здесь. Не вижу его.

Прочь отсюда. Не переношу свиней за столом.

Он попятился к двери. Лучше перекусить у Дэви Берна. Сойдет чтобы заморить червячка. На какое-то время хватит. Завтрак был плотный.

— Мне бифштекс с картошкой.

— Пинту портера.

Тут каждый сам за себя, зубами и ногтями. Глотай. Кусай. Глотай. Рыла.

Он вышел на свежий воздух и повернул назад, в сторону Грэфтон-стрит. Жри или самого сожрут. Убивай! Убивай!

Представим себе что когда-нибудь будет коммунальная кормежка. Все рысью несутся с котелками и с мисками чтоб им наполнили. Что урвали пожирают прямо на улице. Джон Хауард Парнелл к примеру ректор Тринити все без разбора про ректоров ваших и ректора Тринити не будем друзья говорить дети и женщины извозчики священники католические протестантские фельдмаршалы архиепископы. С Эйлсбери-роуд, с Клайд-роуд, из ремесленных кварталов, из северной богадельни, лорд-мэр в своей пышной карете, дряхлая королева в кресле на колесиках. У меня пустая тарелка. Я за вами, вот моя казенная чашка. Как у фонтана сэра Филипа Крэмптона. Микробов смахивайте платком. Следующий натрясет своим новую кучу. Отец О'Флинн их на смех всех поднял в тот же миг. Устраивают свары. Каждый лезет вперед. Детишки подрались кому выскребать котел. Суповой котел тут нужен величиной с Феникс-парк. И гарпуном из него добывать цельные четверти туш и бока солонины. Ненавидят всех кто вокруг. В гостинице Городской герб она это называла табльдот. Суп, жаркое, десерт. Никогда не знаешь чьи мысли пережевываешь. А кто будет потом мыть все тарелки и вилки? Может к тому времени все начнут питаться таблетками. Зубы будут все хуже и хуже.

По сути вегетарианцы во многом правы что из земли растет то вкусней и полезней конечно от чеснока потом воняет итальянцами-шарманщиками, хрусткий лук грибы трюфли. И потом ведь животные страдают. Птицу надо ощипать выпотрошить. Бедная скотина на рынке дожидается пока ей раскроят череп. Му-у. Несчастные дрожащие телята. Ме-е. Валкие телки. Жаркое из телятины с овощами. В ведрах у мясников колышутся легкие. Подайте-ка вон ту грудину что на крюке. Плюх. Кровавая жуть. Освежеванные овцы с остекленелыми глазами свисают подвешенные за окорока, овечьи морды обернуты окровавленной бумагой, кровавые сопли капают с носов на опилки. Осердье и требуху выносят. Поосторожней с теми кусками, молодой человек.

При чахотке прописывают свежую еще теплую кровь. Всегда нужна кровь. Подстерегающие. Лизать ее жаркодымящуюся густоприторную. Алчущие призраки *.

Ох, как проголодался.

Он вошел к Дэви Берну. Вполне пристойное заведение. Он не болтлив. Бывает и поднесет стаканчик. Но это если год високосный, не чаще чем раз в четыре. Однажды обменял мне чек на наличные.

Чего бы взять в такое время? Он вынул часы. Давай сообразим. Имбирного лимонаду с пивом?

— Привет, Блум,— сказал Флинн Длинный Нос, сидевший в своем углу.

— Привет, Флинн.

— Как дела?

— Полный порядок... Надо сообразить. Возьму стаканчик бургонского и еще... надо сообразить.

Сардины на полках. Посмотришь и уже ощущение вкуса. Сандвич? Ветчинкер и сыновья с горчицей и с хлебом. Паштет. Как живется в доме без паштетов Сливи? Ну и дурацкая реклама! И дали прямо под некрологами. Вот уж точно тоскливо. Паштет из Дигнама. Для людоедов, с рисом и ломтиками лимона. Белых миссионеров не едят, слишком солоны. Как острого засола свинина. Я думаю вождю выделяются почетные части. Жестковаты наверно от усиленных упражнений. Все жены собрались вокруг смотрят что будет. *Был один негритянский царек. Ел он патера в летний денек.* А с ними жизнь словно рай. Ну и намешали всего. Хрящик горло требуха и гнилые потроха вместе навалено и мелко нарублено. Загадочная картинка: найдите мясо. Кошер. Молоко и мясо вместе нельзя. Теперь то же самое называется гигиена. Пост Йом Кипур: весенняя чистка внутренностей. Война и мир зависят от чьего-то пищеварения. Религии. Индейки и гуси на Рождество. Избиение младенцев. Ешь пей и веселись. А потом толпы в приемный покой за помощью. Головы перевязаны. Сыр все переваривает кроме себя самого. Был сух стал сыр.

— У вас есть сандвичи с сыром?

— Да, сэр.

И хорошо бы немного маслин, если у них есть. Лучше всего итальянские. Добрым стаканом бургонского все запить. Пойдет как по маслу. Том Кернан отлично готовит. Салат всегда на чистом оливковом масле. Свеженький как огурчик. Старается. Милли мне подала отбивную с веточкой петрушки. Добавить одну луковицу. Бог создал пищу, а дьявол поваров *. Краб по-дьявольски.

— Жена здорова?

— Спасибо, вполне... Так значит, сандвич с сыром. У вас есть горгонзола?

— Да, сэр.

Длинный Нос потягивал свой грог.

— Случается ей петь последнее время?

Поглядеть только на его губы. Мог бы сам себе насвистывать в ухо. И уши лопухами, под стать. Музыка. Он в ней понимает как свинья в апельсинах. Но при всем том, стоит ему расписать. Вреда не будет. Даровая реклама.

— В этом месяце у нее ангажемент на большое турне. Возможно, вы уже слышали.

— Нет, не слыхал. Ну, это шикарно. А кто это устраивает?

Принесли заказ.

— Сколько с меня?

— Семь пенсов, сэр... Благодарю, сэр.

Мистер Блум разрезал свой сандвич на тонкие ломтики. *Летний денек.* Так-то проще чем в их туманно-кефирном стиле. *Он кой-что проглотил и подъем ощутил.*

— Горчицы не угодно ли, сэр?

— Да, спасибо.

Он усеял каждый ломтик желтыми каплями. *Подъем ощутил.* Ага, готово. *И кой-чем он достал потолок.*

— Устраивает? — переспросил он.— Вы знаете, дело задумано на паях. Совместное участие в прибылях и издержках.

— А, припоминаю теперь,— сказал Длинный Нос, запустив себе руку в карман и почесывая в паху.— Кто же мне это говорил? И кажется, с этим связан Буян Бойлан?

Жар от горчицы теплым толчком заставил вздрогнуть сердце мистера Блума. Он поднял глаза и увидел, как на него желчно уставился циферблат. Два. В трактирах на пять минут вперед. Время идет. Часы тикают. Два. Пока еще нет.

В груди у него что-то тоскливо поднялось, потом упало, опять поднялось тоскливо, тоскующе.

Вина.

Он посмаковал благотворную влагу и, резко приказав горлу отправить ее, аккуратным движением поставил стакан.

— Да,— сказал он.— Действительно, это он организатор.

Риска нет: мозгов нет.

Длинный Нос сопел и почесывался. Блоха за хорошим плотным обедом.

— Джек Муни мне говорил, он цапнул хороший куш на боксерском матче, когда Майлер Кео победил того солдатика в Портобельских казармах. Он малыша этого держал в графстве Карлоу, ей-богу, так он мне говорил...

Я надеюсь, эта капля росы не упадет прямо ему в стакан. Нет, втянул обратно.

— Почти что месяц держал, смекаете, до самого матча. И чтоб одни сырые утиные яйца ел, ей-богу, пока не будет распоряжений. А выпивки чтоб ни капли, это подумать, а? Ну, Буян — дошлый мужик, ей-богу.

Из двери за стойкой появился Дэви Берн в рубашке с засученными рукавами, утирая губы салфеткой. Румяная серость. Улыбка радости играет на его — каком-то там — лице. Сверх меры елейно-масляный.

— Сыт, пьян и нос в табаке,— приветствовал его Флинн.— Вы нам не подскажете ставочку на Золотой Кубок?

— Я этим не занимаюсь, мистер Флинн,— отвечал Дэви Берн.— Никогда не ставлю ни единого гроша.

— И правильно делаете,— сказал Флинн Длинный Нос.

Мистер Блум поглощал ломтики сандвича, свежий, тонкого помола хлеб, испытывая небесприятное отвращение от жгучей горчицы и зеленого сыра, пахнущего ногами. Вино освежало и смягчало во рту. Нет вяжущего привкуса. В такую погоду у него лучше букет, когда не холодно.

Приятное спокойное место. Красивая деревянная панель на стойке. Красивые линии. Нравится это закругление.

— И ни за что бы не стал этим заниматься,— продолжал Дэви Берн.— Эти самые лошадки уже стольких пустили по миру.

У трактирщика своя ставка. Патент на торговлю в розлив пивом, вином и крепкими. Орел — я выигрываю, решка — ты проиграл.

— Как есть истина,— подтвердил Длинный Нос.— Если только ты не в сговоре. Честного спорта теперь не сыщешь. Иногда Ленехан подсказывает верные ставки. Сегодня советует на Корону. А фаворит — Мускат, лорда Хауарда де Уолдена выиграл в Эпсоме. Жокей — Морни Кэннон. Две недели назад я мог получить семь к одному, если б поставил на Сент-Аманту.

— Да неужели? — сказал Дэви Берн.

Он отошел к окну и, взяв расчетную книжку, принялся ее листать.

— Вот те крест, мог,— говорил Длинный Нос, сопя.— Просто редкостная кобылка. От Сент-Фрускена, хозяин — Ротшильд. Выиграла в самую грозу, уши заткнули ей. Голубой камзол и желтый картуз. Да тут черт принес верзилу Бена Долларда с его Джоном О'Гонтом. Он меня и отговорил. И пропало.

Сокрушенно он прихлебнул из стакана, побарабанил по нему пальцами.

— Пропало,— повторил с тяжким вздохом.

Поднявшись и дожевывая, мистер Блум созерцал его вздох. Вот уж где олух царя небесного. Сказать ему на какую лошадь Ленехан? Он уже знает. Пускай лучше позабудет. Пойдет, еще больше проиграет. У дурака деньги не держатся. Снова капля повисла. Как бы это он целовал женщину со своим насморком. Хотя может им это нравит-

ся. Нравится же когда колючая борода. У собак мокрые носы. В гостинице Городской герб у старой миссис Риордан был скай-терьер, у которого вечно бурчало в брюхе. Молли его ласкала у себя на коленях. Ах ты собачка, ты мой гавгавгавчик!

Вино пропитывало и размягчало склеившуюся массу из хлеба горчицы какой-то момент противного сыра. Отличное вино. Лучше его чувствуешь когда не хочется пить. Конечно это ванна так действует. Ладно слегка перекусили. Потом можно будет часов в шесть. Шесть. Шесть. Тогда уже будет всё. Она.

Вино мягким огнем растекалось по жилам. Мне этого так не хватало. Совсем было сник. Глаза его неголодно оглядывали полки с жестянками: сардины, яркие клешни омаров. Каких только диковин не приспособили в пищу. Из раковин моллюсков шпилькой, с деревьев, улиток из земли французы едят, из моря на крючок с приманкой. Тупая рыба в тысячу лет ничему не научится. Если заранее не знаешь опасно отправлять в рот что попало. Ядовитые ягоды. Боярышник. Округлость всегда привлекательна. А яркая окраска отпугивает. Один предупредит другого и так далее. Сначала испробовать на собаке. Привлекает запахом или видом. Искусительный плод. Мороженое в стаканчиках. Сливки. Инстинкт. Те же апельсиновые плантации. Нужно искусственное орошение. Бляйбтройштрассе. А как же тогда устрицы. Мерзкий вид. Как густой плевок. Грязные раковины. Вдобавок чертовски трудно открыть. Кто их придумал есть? И кормятся разной дрянью, в сточных водах. Шампанское и устрицы с Ред бэнк. Имеет сексуальный эффект. Афроди. Он был сегодня утром в Ред бэнк. Может устрицы не станет жалкий омлет небось в постели атлет да нет в июне ни устриц ни буквы эр. Но есть и кто любят этакое. Дичь с душком. Заяц в горшке. За двумя зайцами погонишься. Китайцы едят яйца которым полсотни лет уже стали сине-зеленые. Обеды из тридцати блюд. Каждое по отдельности безвредно а может когда смешается. Идея для детектива с отравлением. Кто это был кажется эрцгерцог Леопольд. * Нет не он нет он или это был Отто который из Габсбургов? Словом кто это был который имел привычку поедать перхоть с собственной головы? Самый дешевый завтрак в городе. Конечно аристократы а потом остальные подражают чтоб не отстать от моды. Милли тоже нефть и мука. Сырое тесто я сам люблю. Из пойманных устриц половину выкидывают обратно чтобы не сбить цену. Будет дешево, никто не купит. Икра. Разыгрывают из себя вельмож. Рейнвейн в зеленых бокалах. Роскошный кутеж. Леди такая-то. Шея напудрена, жемчуга. Élite. Crème de la crème [14]. Требуют особенных блюд, чтоб показать какие сами. Отшельник с горсткой бобов умерить искушения плоти. Хочешь меня узнать поешь со мной. Королевская осетрина. Как указано начальнику полиции, мяснику Коффи дано право торговать олениной из лесов его сият. Полтуши обязан отсылать ему. Я видел как готовили для банкета на кухне Королевского Архивариуса. Шеф-повар в белом колпаке как раввин. Утку поливали коньяком и поджигали. Савойская капуста à la duchesse de Parme[15]. Хочешь знать что ты ел непременно надо меню где все было бы написано. Если валишь всё в смесь то нельзя будет есть. По себе знаю. Навалил бульонных кубиков Эдвардса. Гусей для них раскармливают до одурения. Омаров варят живьем. Г'екомендую вам попг'обуйте этой куг'опатки. Я бы не отказался официантом в шикарном отеле. Чаевые, вечерние туалеты, полуобнаженные дамы. Вы не отведали бы кусочек этого угря, мисс Дюбеда? О, я бы, да. Ясно она бы да. Надо полагать гугенотская фамилия. Помнится, какая-то мисс Дюбеда жила в Киллини. Дю де ля это во французском. Но рыбка-то та же самая может из улова старого Мики Хэнлона с Мур-стрит что лезет из кожи

[14] Высший свет. Сливки общества *(франц.)*.
[15] По способу герцогини Пармской *(франц.)*.

наживая деньгу сам ловит сам потрошит а расписаться на чеке для него такой труд такую состроит мину будто шедевр живописи должен создать. Мэаикраткоекэлэ А Ха. Туп как чурбан, и пятьдесят тысяч капиталу.

Бились об оконное стекло две мухи, жужжали, бились.

Жар вина на его небе еще удерживался проглоченного. Давят на винокурне бургундский виноград. Это в нем солнечный жар. Как коснулось украдкой мне говорит вспоминается. Прикосновением разбуженные его чувства увлажненные вспоминали. Укрывшись под папоротниками на мысе Хоут под нами спящий залив: небо. Ни звука. Небо. У Львиной Головы цвет моря темнолиловый. Зеленый у Драмлека: Желтозеленый к Саттону. Подводные заросли, в траве слегка виднеются темные линии, затонувшие города. Ее волосы лежали как на подушке на моем пальто, я подложил руку ей под затылок жучки в вереске щекотали руку ах ты все на мне изомнешь. Какое чудо! Ее прохладнонежная душистая рука касалась меня, ласкала, глаза на меня смотрели не отрываясь. Вне себя от восторга, я склонился над ней, ее полные губы раскрылись, я целовал их. Ум-м. Мягким движением она подсунула ко мне в рот печенье с тмином, которое она жевала. Теплая противная масса, которую пережевывал ее рот, кислосладкая от ее слюны. Радость: я глотал ее: радость. Юная жизнь, выпятив губки, она прильнула ими к моим. Губы нежные теплые клейкие как душистый лукум. Глаза ее были как цветы, глаза, полные желания, возьми меня. Невдалеке посыпались камешки. Она не пошевелилась. Коза Больше никого. Высоко в рододендронах Бен Хоута разгуливала как дома коза, роняя свои орешки. Скрытая папоротниками она смеялась в горячих объятиях. Лежа на ней, я целовал ее неистово и безумно: ее глаза, губы, ее открытую шею где билась жилка, полные женские груди под тонкой шерстяной блузкой, твердые соски глядящие вверх. Целуя, я касался ее своим горячим языком. Она целовала меня. Я получал поцелуи. Уже вся поддаваясь она ерошила мои волосы. Осыпаемая моими поцелуями, целовала меня.

Меня. И вот я теперь.

Бились, жужжали мухи.

Опустив глаза вниз, он проследил взглядом безмолвные линии прожилок на дубовой панели. Красота: линии закругляются: округлость это и есть красота. Совершенные формы богинь, Венера, Юнона: округлости, которыми восхищается весь мир. Можно посмотреть на них, библиотечный музей, стоят в круглом холле*, обнаженные богини. Способствует пищеварению. Им все равно кто смотрит. На всеобщее обозрение. Никогда не заговорят. По крайней мере с таким как Флинн. А допустим она вдруг как Галатея с Пигмалионом что она первое сказала бы? О, смертный! Знай свое место. Вкушать нектар с богами за трапезой золотые блюда амброзия. Не то что наши грошовые завтраки, вареная баранина, морковка и свекла, да бутылка пива. Нектар представь себе, что пьешь электричество: пища богов. Прелестные женские формы изваяния Юноны. Бессмертная красота. А мы заталкиваем себе еду в дырку, входная спереди, выходная сзади: еда, кишечные соки, кровь, кал, земля, еда: без этого мы не можем как без топлива паровоз. А у них нет. Не приходило в голову посмотреть. Посмотрю сегодня. Хранитель не заметит. Что-нибудь выроню и нагнусь. Погляжу есть ли у нее.

Из его мочевого музыря просочился неслышный сигнал пойти сделать не делать там сделать. Как мужчина в готовности, он осушил свой стакан до дна и вышел, они отдаются и смертным, влекутся к мужскому, ложатся с любовниками-мужчинами, юноша наслаждался с нею, во двор.

Когда затих звук его шагов, Дэви Берн от своей книги спросил:

— А что он такое? Он не в страховом бизнесе?

— Это дело он давно бросил,— отозвался Флинн Длинный Нос.— Сейчас он рекламный агент во «Фримене».

— На вид-то я его хорошо знаю,— сказал Дэви Берн.— У него что, несчастье?

— Несчастье? — удивился Флинн Длинный Нос.— В первый раз слышу. А почему?

— Я заметил, он в трауре.

— Разве? — спросил Флинн Длинный Нос.— А ведь верно, ей-ей. Я у него спросил, как дела дома. Убей бог, ваша правда. В трауре.

— Я никогда не завожу разговор об этом,— сказал человеколюбиво Дэви Берн,— если вижу, что у джентльмена такое несчастье. Им это только лишний раз напоминает.

— Точно, что это не жена,— сказал Флинн Длинный Нос.— Я его встретил позавчера на Генри-стрит, он как раз выходил из молочной «Ирландская ферма», где торгует жена Джона Уайза Нолана, и нес в руках банку сливок для своей драгоценной половины. Она отлично упитана, я вам доложу. Пышногрудая птичка.

— А он, значит, трудится во «Фримене»? — сказал Дэви Берн.

Флинн Длинный Нос значительно поджал губы.

— С тех объявлений, что он добывает, на сливки не заработаешь. Можете всем ручаться.

— Это как же так? — спросил Дэви Берн, оставив свою книжку и подходя ближе.

Флинн Длинный Нос проделал пальцами в воздухе несколько быстрых пассов фокусника. И подмигнул глазом.

— Он принадлежит к ложе,— промолвил он.

— Это вы что, серьезно? — спросил Дэви Берн.

— Серьезней некуда,— сказал Длинный Нос.— К древнему, свободному и признанному братству. Самый примерный член. Свет, Жизнь и Любовь*, во как. И они его всячески поддерживают. Мне это сказал один, э-э, не важно кто.

— Но это факт?

— У, да это отличное братство,— сказал Длинный Нос.— Они вас никогда не оставят в беде. Я знаю одного парня, который к ним пытался попасть, но только к ним попробуй-ка попади. Скажем, женщин они вообще не допускают, и правильно делают, ей-богу.

Дэви Берн единым разом улыбнулсязевнулкивнул:

— Иииаааааааахх!

— Как-то одна женщина,— продолжал Длинный Нос,— спряталась в часы подсмотреть, чем они занимаются. Но, будь я проклят, они как-то ее учуяли и тут же на месте заставили дать присягу Мастеру ложи. Она была из рода Сент-Леже Донерайль*.

Дэви Берн, еще со слезами на глазах после сладкого зевка, сказал недоверчиво:

— Но все-таки факт ли это? Он такой скромный, приличный. Я его часто тут вижу и ни одного разу не было, чтобы он — ну знаете, что-то себе позволил.

— Сам Всемогущий его не заставит напиться,— энергично подтвердил Длинный Нос.— Как почует, что уже по-крупному загудели, тут же смывается. Не заметили, как он посмотрел на часы? Хотя да, вас не было. Если его позовешь выпить, то первое, что он сделает, это вытащит свои часы и по времени решит, чего ему надо принять внутрь. Всегда так делает, вот те крест.

— Бывают некоторые такие,— сказал Дэви Берн.— Но он человек надежный, вот что я вам скажу.

— Мужик неплохой,— опять согласился Длинный Нос, шмыгнув носом.— Про него знают, что он и кошельком поможет при случае. Каждому надо по заслугам. Без спору, есть у Блума хорошее. Но вот одну штуку он ни за что не сделает.

Его рука изобразила как бы росчерк пера подле стакана с грогом.

— Я знаю,— сказал Дэви Берн.

— Черным по белому — ни за что,— сказал Длинный Нос.

Вошли Падди Леонард и Бэнтам Лайонс. Следом появился Том Рочфорд, морщась и поглаживая по бордовому жилету ладонью.

— Почтение, мистер Берн.

— Почтение, джентльмены.

Они остановились у стойки.

— Кто ставит? — спросил Падди Леонард.

— Как кто, не знаю, а я на мели,— ответил Флинн Длинный Нос.

— Ладно, ну а что будем? — спросил Падди Леонард.

— Я возьму имбирный напиток,— сказал Бэнтам Лайонс.

— Чего-чего? — воскликнул Падди Леонард.— Это с каких же пор, мать честная? А ты, Том?

— Как там канализация работает? — спросил Флинн Длинный Нос, прихлебывая.

Вместо ответа Том Рочфорд прижал руку к груди и громко икнул.

— Вас не затруднит дать стаканчик воды, мистер Берн? — попросил он.

— Сию минуту, сэр.

Падди Леонард оглядел своих собутыльников.

— Ну и дела пошли,— сказал он.— Вы только полюбуйтесь, чему я выпивку ставлю. Вода и имбирная шипучка. И это парни, которые слизали б виски с волдыря на ноге. Вот у этого за пазухой какая-то чертова лошадка на Золотой Кубок. Удар без промаха.

— Мускат, что ли? — спросил Флинн Длинный Нос.

Том Рочфорд высыпал в свой стакан какой-то порошок из бумажки.

— Проклятый желудок,— сказал он перед тем, как выпить.

— Сода хорошо помогает,— посоветовал Дэви Берн.

Том Рочфорд кивнул и выпил.

— Так что, Мускат?

— Я молчу! — подмигнул Бэнтам Лайонс.— Сам на это дело пускаю кровные пять шиллингов.

— Да скажи нам, если ты человек, и черт с тобой,— сказал Падди Леонард.— Сам-то ты от кого узнал?

Мистер Блум, направляясь к выходу, поднял приветственно три пальца.

— До скорого! — сказал Флинн Длинный Нос.

Остальные обернулись.

— Вот это он самый, от кого я узнал,— прошептал Бэнтам Лайонс.

— Тьфу,— произнес с презрением Падди Леонард,— мистер Берн, сэр, так значит, вы дайте нам два маленьких виски «Джеймсон» и...

— И имбирный напиток,— любезно закончил Дэви Берн.

— Вот-вот,— сказал Падди Леонард.— Бутылочку с соской для младенца.

Мистер Блум шагал в сторону Доусон-стрит, тщательно прочищая языком свои зубы. Верно что-то зеленое: вроде шпината. С помощью рентгеновских лучей можно бы.

На Дьюк-лейн прожорливый терьер вырыгнул на булыжники тошнотворную жвачку из косточек и хрящей и с новым жаром набросился на нее. Неумеренность в пище. С благодарностью возвращаем, полностью переварив содержимое. Сначала десерт потом оно же закуска. Мистер Блум предусмотрительно обошел. Жвачные животные. Это ему на второе. Они двигают верхней челюстью. Интересно сумеет ли Том Рочфорд что-нибудь провернуть с этим своим изобретением. Зря трудится втолковывая этому Флинну ему бы только в глотку залить. У тощего мужика глотка велика. Должны устроить специальный зал или другое место где изобретатели могли бы на свободе изобретать Правда конечно туда бы все чокнутые сбежались.

Он стал напевать, удлиняя торжественным эхом последние ноты каждого такта:

Don Giovanni, a cenar teco
M'invitasti.[16].

Получше стало. Бургонское. Славно подняло самочувствие. Кто первый начал вино гнать? Какой-нибудь сердяга впавший в тоску. Пьяная удаль. Сейчас надо в национальную библиотеку за этой «Килкенни пипл».

Сияющие чистотой унитазы, ждущие своего часа, в витрине Уильяма Миллера: оборудование для ванн и уборных,— вернули прежний ход его мыслям. Да, это могли бы: и проследить весь путь, иногда проглоченная иголка выходит где-нибудь из ребер через несколько лет, путешествует по всему телу изменяются желчные протоки селезенка брызжет печень желудочный сок кольца кишок как резиновые трубки. Вот только горемычному старикашке пришлось бы все это время стоять, выставив нутро напоказ. Ради науки.

— A cenar teco.

Что бы это значило teco. Наверно сегодня вечером.

О, Дон Жуан, меня ты пригласил
Прийти на ужин сегодня вечером
Та-рам тара-там.

Нескладно выходит.

Ключчи: если уговорю Наннетти на два месяца. Это будет примерно два фунта десять или два фунта восемь. Три мне должен Хайнс. Два одиннадцать. Фургон из красильни Прескотта вон стоит. Если устрою рекламу для Билли Прескотта: два пятнадцать. Итого около пяти гиней. Вроде везет.

Пожалуй можно будет купить для Молли какую-нибудь из тех шелковых комбинаций, под цвет к новым подвязкам.

Сегодня. Сегодня. Не думать.

Потом турне по югу. Чем плохо бы — по английским морским курортам? Брайтон, Маргейт. Гавань при свете луны. Ее голос плывет над водой. Те приморские красотки. Напротив пивной Джона Лонга сонно привалился к стене бродяга, в тяжком раздумье кусая коростовые костяшки пальцев. Мастер на все руки ищет работу. За скромное вознаграждение. Неприхотлив в еде.

Мистер Блум повернул за угол у витрины кондитерской Кэтрин Грэй с нераскупленными тортами и миновал книжный магазин преподобного Томаса Коннеллана. «*Почему я порвал с католической церковью*».* «Птичье гнездышко»*. Женщины там заправляют всем. Говорят во время неурожая на картошку они подкармливали супом детей бедняков, чтобы переходили в протестанты. А подальше там общество куда папа ходил, по обращению в христианство бедных евреев. Одна и та же приманка. *Почему мы порвали с католической церковью.*

Слепой юноша стоял у края тротуара, постукивая по нему тонкой палкой. Трамвая не видно. Хочет перейти улицу.

— Вы хотите перейти? — спросил мистер Блум.

Слепой не ответил. Его неподвижное лицо слабо дрогнуло. Он неуверенно повернул голову.

— Вы на Доусон-стрит,— сказал мистер Блум.— Перед вами Моулсворт-стрит. Вы хотите перейти? Сейчас путь свободен.

Палка, подрагивая, подалась влево. Мистер Блум поглядел туда и снова увидел фургон красильни, стоящий у «Парижской парикмахерской» Дрейго. Где я и увидел его напомаженную шевелюру как

[16] О, Дон Жуан. поужинать с тобою
Меня ты пригласил *(итал.)*.

раз когда я. Понурая лошадь. Возчик — у Джона Лонга. Промочить горло.

— Там фургон,— сказал мистер Блум,— но он стоит на месте. Я вас провожу через улицу. Вам нужно на Моулсворт-стрит?

— Да,— ответил юноша.— На Южную Фредерик-стрит.

— Пойдемте,— сказал мистер Блум.

Он осторожно коснулся острого локтя — затем взял мягкую ясновидящую руку, повел вперед.

Сказать ему что-нибудь. Только не разыгрывать сочувствие. Они не верят словам. Что-нибудь самое обыкновенное.

— Дождь прошел стороной.

Никакого ответа.

Пиджак его в пятнах. Наверно не умеет как следует есть. Все вкусы он чувствует по-другому. Кормить приходилось сначала с ложечки. Ручка как у ребенка. Как раньше у Милли. Чуткая. Я думаю он может представить мои размеры по моей руке. А интересно имя у него есть. Фургон. Палка чтоб не задела лошади за ноги: пускай натруженная скотина дремлет. Вот так. Все как надо. Быка обходи сзади — лошадь спереди.

— Спасибо, сэр.

Знает что я мужчина. По голосу.

— Все в порядке? Теперь первый поворот налево.

Слепой нащупал палкой край тротуара и продолжал путь, занося палку и постукивая ею перед собой.

Мистер Блум следовал позади, за незрячими стопами и мешковатым твидовым костюмом в елочку. Бедный мальчик! Но каким же чудом он знал что там этот фургон? Стало быть как-то чувствовал. Может у них какое-то зрение во лбу: как бы некоторое чувство объема. Вес или размер, что-нибудь еще чернее, чем темнота. А интересно почувствует он если что-нибудь убрать. Чувство пустоты. Какое у него должно быть странное представление о Дублине из этого постукивания по камням. А смог бы он идти по прямой, если без палки? Бескровное и смиренное лицо как у того кто готовится стать священником.

Пенроуз! Вот как фамилия того парня.

Смотри сколько разных вещей они могут делать. Читать пальцами. Настраивать рояли. А мы удивляемся что у них есть какой-то разум. Любой калека или горбун нам сразу кажется умным едва он скажет что-то что мы бы сами могли. Конечно другие чувства обостряются. Могут вышивать. Плести корзины. Люди должны им помогать. Положим я бы подарил Молли корзинку для рукоделья ко дню рождения. А она терпеть не может шитья. Еще рассердится. Темные, так их называют.

И обоняние у них наверно сильней. Запахи со всех сторон, слитые вместе. У каждой улицы свой запах. У каждого человека тоже. Затем весна, лето: запахи. А вкусы? Говорят вкус вина не почувствуешь с закрытыми глазами или когда простужен. И если куришь в темноте говорят нет того удовольствия.

А скажем с женщинами. Меньше стыда если не видишь. Вон проходит девчонка, задравши нос, мимо Института Стюарта. Глядите-ка на меня. Вот она я, при всех доспехах. Должно быть это странно если не видишь ее. В воображении у него есть какое-то понятие о форме. Голос, температуры: когда он касается ее пальцами должен почти уже видеть очертания, округлости. К примеру, он проводит рукой по ее волосам. Допустим, у нее черные. Отлично. Назовем это черным. Потом он гладит ее белую кожу. Наверно другое ощущение. Ощущение белого.

Почта. Надо ответить. Чистая волынка сегодня. Послать ей перевод на два шиллинга или на полкроны. Прими от меня маленький

подарок. Вот и писчебумажный магазин рядом. Погодим. Сначала подумаю.

Легкими и очень медленными касаниями его пальцы осторожно пощупали волосы, зачесанные назад над ушами. Еще раз. Как тонкие-претонкие соломинки. Затем, столь же легко касаясь, он пощупал кожу у себя на правой щеке. Тут тоже пушистые волоски. Не совсем гладкая. Самая гладкая на животе Вокруг никого. Только тот поворачивает на Фредерик-стрит. Не иначе, настраивать рояль в танцевальных классах Ливенстона. Может быть, это я поправляю подтяжки.

Проходя мимо трактира Дорена, он быстро просунул руку между брюками и жилетом и, оттопырив слегка рубашку, пощупал вялые складки на своем животе. Но я же знаю что он беловатый желтый. Надо посмотреть что будет если в темноте.

Он вытащил руку и оправил свою одежду.

Бедняга! Еще совсем мальчик. Это ужасно. Действительно ужасно. Какие у него могут быть сны, у незрячего? Для него жизнь сон. Где же справедливость если ты родился таким? Все эти женщины и дети что сгорели и потонули в Нью-Йорке во время морской прогулки*. Гекатомба. Это называется карма такое переселение за твои грехи в прошлой жизни перевоплощение метим псу хвост. Боже мой, боже, боже. Жаль конечно — но что-то такое есть почему с ними нельзя по-настоящему сблизиться.

Сэр Фредерик Фолкинер входит в здание масонской ложи. Важный как Трой*. Успел плотно позавтракать у себя на Эрлсфорт-террас. Со старыми приятелями-судейскими изрядно заложили за воротник. Истории о судах и выездных сессиях, рассказы про синемундирную школу. И приговорил я его к десяти годам. Я думаю он бы только скривился от того вина что я пил. Для них из фирменных погребов, бутылки пыльные, на каждой поставлен год. У него есть свои понятия о том что такое справедливость в суде. Старикан с добрыми побуждениями. Полицейские сводки битком набиты делами, это они натягивают себе проценты, фабрикуют преступления из любых пустяков. А он им все такие дела заворачивает обратно. Гроза для ростовщиков. Рувима Дж. уж совсем смешал с грязью. А что, ему только по заслугам если его назовут грязным жидом. Большая власть у судей. Старые сварливые пьяницы в париках. Смотрит зверем. И да помилует Господь твою душу.

Гляди, афиша. Благотворительный базар Майрас. Его сиятельство генерал-губернатор. Шестнадцатого. Значит, сегодня. В пользу больницы Мерсера. Первое исполнение «Мессии» было в пользу этой больницы. Да. Гендель. А может сходить туда: Боллсбридж. Заглянуть к Ключчи. Да нет, не стоит уж так приставать к нему. Только отношения портить. Наверняка при входе кто-нибудь попадется знакомый.

Мистер Блум вышел на Килдер-стрит. Сюда первым делом. В библиотеку.

Соломенная шляпа блеснула на солнце. Темно-рыжие ботинки. Брюки с манжетами. Так и есть. Так и есть.

Его сердце дрогнуло мягко. Направо. Музей. Богини. Он повернул направо.

А точно? Почти уверен. Не буду смотреть. У меня лицо красное от вина. Что это я? Слишком помчался. Да, так и есть. Шагом. И не смотреть. Не смотреть. Идти.

Приближаясь к воротам музея размашистым и нетвердым шагом, он поднял глаза. Красивое здание. По проекту сэра Томаса Дина.* Он не идет за мной?

Может быть не заметил меня. Солнце ему в глаза.

Его дыхание стало коротким и прерывистым. Быстрей. Прохладные статуи: там спокойствие. Еще минута и я спасен.

Нет, он меня не заметил. После двух. У самых ворот.

Как бьется сердце!

Его зрачки пульсируя неотрывно смотрели на кремовые завитки камня. Сэр Томас Дин был греческая архитектура.

Ищу что-то я.

Торопливую руку сунул быстро в карман, вынул оттуда, прочел, не разворачивая, Агендат Нетаим. Куда же я?

Беспокойно глядя.

Быстро сунул обратно Агендат.

Она сказала после полудня.

Я ищу это. Да, это. Смотри во всех карманах. Носовой. «Фримен». Куда же я? Ах, да. В брюках. Картофелина. Кошелек. Куда?

Спеши. Иди спокойно. Еще момент. Как бьется сердце.

Рука его искавшая тот куда же я сунул нашла в брючном кармане кусок мыла лосьон забрать теплая обертка прилипшее. Ага мыло тут я да. Ворота.

Спасен!

(Продолжение следует)

Комментарии

VII. Эол

Время действия — 12 часов. Место действия — редакции «Фрименс джорнэл» и «Ивнинг телеграф». Этим определяется своеобразная техника построения эпизода, разбитого на небольшие отрывки по типу газетных заметок. Каждому предпослан отдельный заголовок.

По схеме гомеровских параллелей сцена в редакциях соответствует десятой песни «Одиссеи»: Одиссей на острове бога ветров Эола. Эол в эпизоде — Кроуфорд, его «остров плавучий» — пресса, а сами отрывки эпизода соотносятся с бурными ветрами, которые спутники Одиссея выпустили из мешка, подаренного Эолом.

На примере этого эпизода видно, сколь подвижны и необязательны для читательского восприятия мифологические параллели.

Центральный образ эпизода — ветер, упоминаемый множество раз в прямом смысле («Сквозняк с мягким шелестом подхватил листки... целый ураган поднялся»), в переносном («Просто смешно, как эти газетчики готовы вилять, едва почуют, что ветер в другую сторону», «Эолова арфа»), а также в различных эллиптических и метонимических оборотах.

Текст эпизода перенасыщен именами издателей, общественных деятелей, а также упоминаниями о событиях, попавших в газетные заголовки 16 июня 1904 г. Из множества этих имен и событий комментируются, однако, только те, без которых затруднено понимание текста.

«Искусство» эпизода — риторика, поэтому текст насыщен различного рода риторическими фигурами, список которых мог бы составить оглавление учебника по риторике.

Орган, который символически представляет эпизод,— легкие. Цвет — красный. Основной, смыслонесущий символ — редактор.

E. R.— то есть Edward Rex, английский король Эдуард VII.

Дэви Стивенс — реальное лицо, держал газетный киоск, но вел себя как «король» дублинской прессы Ему приписывают множество анекдотов, имевших широкое хождение в Дублине начала века. *«Королевский гонец»* — прозвище, утвердившееся за Стивенсом после его встречи с королем Эдуардом VII во время посещения последним Ирландии в 1903 г.

Уильям Брайден (1865 — 1933) — ирландский юрист, издатель «Фрименс джорнэл».

Марио, тенор — Джованни Матео Марио (1810 — 1883), итальянский певец, который в последний раз появился на сцене в 1871 г. (Блуму тогда было пять лет).

«Марта» (1847)— опера немецкого композитора Фридриха фон Флотова (1812 — 1883).

Его преосвященство звонили дважды за это утро — речь идет о дублинском архиепископе Уильяме Уолше (1841 — 1921).

Джозеф Патрик Наннетти (1851 — 1915) — ирландский издатель и политический деятель итальянского происхождения В 1900 — 1906 гг. член парламента от Колледж Грин (см. текст ниже), в 1906 — 1907 гг.— лорд-мэр Дублина. Блум иронически называет Наннетти «работягой на полном рабочем дне», потому что Наннетти любил повторять, что он не профессиональный политик.

Королева Анна скончалась — журнал Аддисона «Зритель» объявил о кончине королевы Анны (1665, прав. 1702—1714) с большим опозданием. С тех пор выражение «Королева Анна скончалась» на журналистском жаргоне стало синонимом «протухших новостей».

Тиннахинч — имение, которое в 1797 г. было пожаловано ирландским парламентом известному ирландскому государственному деятелю, блестящему оратору Генри Граттану (1746 — 1820) «за его заслуги перед ирландским народом в борьбе за национальную независимость». Блум вспоминает разного рода новости и разные газетные и журнальные рубрики.

Длинный Джон — прозвище Фэннинга, главного инспектора полиции, персонажа рассказа «Милость божия» из сборника «Дублинцы».

Дом Ключ(ч)ей — так называлась нижняя палата парламента острова Мэн (эм-

блема — два скрещенных ключа), добившегося в отличие от Ирландии прав на самоуправление. С другой стороны, в этом названии содержится аллюзия на «ключи Царства Небесного» (Евангелие от Матфея, 16, 19), т. е. на власть церкви.

Боллсбридж — город неподалеку от Дублина, где ежегодно проводятся конные выставки, привлекающие большое количество посетителей.

Через год в Иерусалиме — фраза, которой по традиции завершаются домашние празднования седера, т. е. первого дня еврейской пасхи (Пессаха). Фраза восходит к молитве, просящей Бога о соединении евреев в Иерусалиме.

Шема Исраэл Адонаи Элоим (евр.) — «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть» (Второзаконие, 6, 4) — главная из иудейских молитв.

...это другая — Блум вспоминает церемонию второго дня седера.

А потом ангел смерти убивает мясника а тот убивает быка а собака убивает кошку — слова из песнопения во время второго дня седера.

Александр Том — дублинский издатель.

Эрин, зеленый самоцвет в серебряной оправе моря — аллюзия на строчку из «Ричарда II» Шекспира (акт II, сц. 1). Эрин — древнее название Ирландии.

И Ксенофонт смотрел на Марафон — ср. Байрон, «Дон Жуан», Песнь 3, строфа 86: «Холмы глядят на Марафон, а Марафон — в туман морской» (перев. Т. Гнедич).

Хеджес Эйр Чаттертон (1820 — 1910) — видный ирландский общественный деятель.

Ленехан — персонаж рассказа «Два рыцаря» из сборника «Дублинцы».

Габриэл Конрой — главный герой центрального рассказа «Мертвые» из сборника «Дублинцы».

Луна... Он забыл «Гамлета» — Даусон прерывает свой поток описаний, например, Ирландии при лунном свете, приблизительно так же, как Горацио в «Гамлете»: «Но вот и утро, рыжий плащ накинув, ступает по росе восточных гор» (акт I, сц. 1, перев. М. Лозинского).

...самозваный помещик — Фрэнсис Хиггинс (1746—1802), клерк, удачно женившийся на состоятельной женщине и объявивший себя «в обществе» помещиком. Этот самозванец сумел стать владельцем игорного дома и журнала «Фрименс», на страницах которого он печатал материалы, порочащие ирландских патриотов. Известно, что Хиггинс также был осведомителем.

Ополчение Северного Корка — военные части, сформированные английскими властями в Корке во время восстания 1798 г.

В Огайо — видимо, речь идет об англо-ирландском генерале Эдварде Брэддоке (1695—1755), который предпринял в 1755 г. неудачную попытку захвата долины Огайо, имея в основе своего войска два полка, часть солдат в которых составили жители Корка.

...дело о канадском мошенничестве — подразумевается афера некоего Шапиро, сулившего проезд в Канаду за 20 шиллингов. Самая низкая плата за билет в Канаду в 1904 г. составляла 2 фунта. Суд над Шапиро состоялся 11 июля 1904 г.

Мы вексфордские парни... — строки из одноименной народной баллады, относящейся ко времени восстания «Объединенных ирландцев» в 1798 г. Вексфорд был главным районом восстания.

Грядu!.. Перед тобою весь мир — ср. Мильтон, «Потерянный рай», Песнь 12.

Да, мощь и слава завлекли тебя... — ария из оперы «Роза Кастилии» (1857) англо-ирландского композитора Майкла Уильяма Балфа (1808 — 1870).

Брикстон — индустриальный пригород Лондона, пользовавшийся в начале XX в. весьма скверной репутацией из-за низкого уровня жизни и нравов.

Слава, чье имя — Рим — строка из стихотворения Эдгара По (1809—1849) «К Елене» (1831).

...одержимость клоакой — почти прямая цитата из язвительной рецензии Герберта Уэллса на роман Джойса «Портрет художника в юности». «Подобно Свифту и любому ирландскому писателю, Джойсу свойственна одержимость нечистотами...» Вот что по этому поводу заметил в одной из бесед Джойс: «Пристрастие к нечистотам!.. По-моему, это соотечественники Уэллса первым делом строят ватерклозеты, куда бы они ни попали. Впрочем, я не обижаюсь. Уэллс — тот критик, который всегда с интересом относился ко мне; собственно, только один тип критика вызывает у меня живейшее отвращение. Я не переношу критиков, которые утверждают, что я пишу неискренне, что в моих книгах присутствует задняя мысль...»

...в первой главе книге Пития — ироническое фонетическое обыгрывание названия Книги Бытия.

Приплыв сквозь бури... — несколько измененные строки из стихотворения ирландского поэта Дугласа Хайда (1860 — 1949) «Печаль на море».

Ирландец спас ему жизнь на крепостном валу в Вене — во время прогулки 18 февраля 1853 г. на императора Франца Иосифа было совершено нападение вооруженным венгром-портным. Жизнь ему спас Максимилиан Карл О'Доннелл граф фон Тирконнелл (1812— ?), сын ирландского эмигранта.

Сейчас он отправил своего наследника и тот привез королю титул австрийского фельдмаршала — сын короля Эдуарда VII, пользуясь своими дружескими отношениями с императором Францем Иосифом, предпринял несколько попыток ослабить напряженность в отношениях между Австро-Венгрией и Германией. 9 июня 1904 г. наследник Франца Иосифа Франц Фердинанд во время своего официального визита в Англию пожаловал английскому королю от имени императора звание фельдмаршала.

Роберт Артур Талбот Сесил, третий маркиз Солсбери (1830 — 1903) — глава консервативной партии в Англии, премьер-министр Великобритании, противник Гладстона и всех уступок Ирландии.

Кюрие элейсон! (греч.) — Господи, помилуй!

Гласные, которых не знают семиты и саксы — речь идет о двадцатой букве греческого алфавита, гласной ипсилон, которой нет эквивалента ни в еврейском, ни в английском алфавите.

Они выходили на бой... — строка из стихотворения У. Б. Йейтса «Роза» (1893).

Гай Саллюстий Крисп (86—34 до н. э.) — римский историк, сторонник Цицерона.

Николай Иванович Бобриков (1857 — 1904) — генерал-губернатор Финляндии (1890 — 1904), проводил антидемократические реформы, заслужил прозвище «типичного русского тирана». Был убит 16 июня 1904 г. сыном финского сенатора.

В словаре молодости... — цитата из пьесы английского драматурга Эдварда Бульвера-Литтона «Ришелье» (1838).

Боррис-ин-Оссори — городок вблизи Дублина, где в 1848 г. Дэниэл О'Коннелл провел один из своих «грандиозных митингов» протеста против Акта об унии. В 1904 г. националисты, решив возродить традицию О'Коннелла, провели такой же митинг в этом городке. После смерти Парнелла раскол среди националистов стал очевиден, и митинг в Боррис-ин-Оссори превратился в скандал. Маккарти — реальное лицо, сотрудник «Фрименс джорнэл».

Семнадцатое марта — день св. Патрика, национальный праздник Ирландии.

Инчикор... Ранела — путь «непобедимых» в объезд Феникс-парка.

Дик Адамс (1846 — ?) — ирландский журналист, юрист, острослов, балагур, один из защитников «непобедимых» в судебном процессе.

Старушка с Принс-стрит — шутливое название «Фрименс джорнэл». Это название вызывало ассоциации с традиционным названием Ирландии, а также намекало на половинчатую политику журнала в отношении гомруля.

И был там плач и скрежет зубов — ср., например, Евангелие от Матфея, 8, 12.

Грегор Грэй (1886 — ?) — дублинский гравер.

Тэй Пэй — прозвище ирландского журналиста, издателя и политического деятеля Томаса Пауэра О'Коннора (1848 — ?).

Ральф Блюменфельд (1864 — 1948) — американский газетчик, издававший, в частности, «Дейли экспресс» в 1904 г. в Лондоне.

Феликс Пайетт (Пиа, 1810—1889) — французский революционер, журналист, сотрудничал со многими периодическими изданиями. По мнению современников, обладал легким и язвительным пером.

Джеймс Уайтсайд (1804—1876), Айзек Батт (1813 — 1879), Томас О'Хейган (1812 — 1885) — видные ирландские юристы.

...два человека, одеты одинаково, выглядят одинаково — ср. Данте, «Чистилище», Песнь XXIX: «За этим скопищем предстали взгляду/Два старца, сходных обликом благим/И твердых, но несходных по наряду» (перев. М. Лозинского).

Но я старик, кающийся, в ногах свинец, подчернотою ночи — ср. Данте, «Чистилище», Песнь XXIX: «Прошли смиренных четверо потом;/И одинокий старец, вслед за ними,/Ступал во сне, с провидящим челом» (перев. М. Лозинского).

Довлеет дневи... — ср. Евангелие от Матфея, 6, 34: «Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний *сам* будет заботиться о своем: довольно для *каждого* дня своей заботы».

...защита третьей профессии — т. е. правоведения. Две другие профессии — богословие и медицина.

...резвость ваших коркских ног — обыгрывается не только тот факт, что Майлс Кроуфорд родом из Корка, но и название баллады «Эти резвые коркские парни».

Генри Граттан (1746 — 1820), Генри Флуд (1732 — 1791), Эдмунд Берк (1729 — 1797) — ирландские политические деятели, выдающиеся ораторы.

Альфред Хармсуорт (1865 — 1922) — видный английский журналист, издатель, барон. Родился в Чейпизоде, западном пригороде Дублина.

...его американского родича — имеется в виду не только родственник Хармсуорта Джозеф Пулицер, американский газетный магнат, но также и название весьма второстепенной комедии (1858) Тома Тэйлора (1817 — 1888), в которой рассказывается о том, как Линкольн наблюдает за собственным убийством.

Доктор Льюкас (1713 — 1771) — ирландский врач, патриот, журналист, заслуживший особую похвалу Граттана, сказавшего, что он заложил «основы ирландской свободы».

Джон Филпот Каррэн (1750 — 1817) — ирландский юрист, патриот, блестящий оратор, защищал участников восстания 1798 г., которых власти считали предателями.

И мне в ушную полость влил настой — Шекспир, «Гамлет», акт I, сц. 5 (перев. Б. Пастернака).

...напомнил про Моисея Микеланджело в Ватикане — статуя Моисея стоит не в Ватикане, а во дворце Сан Пьетро Винкели в Риме. Статуя Моисея в окружении двух других фигур — Правосудия и Милосердия — украшает галереи здания Верховного суда в Дублине.

Позднее я часто думал, оглядываясь назад... — ироническая парафраза отрывка из главы X «Больших надежд» Диккенса.

...обо всей этой толпе герметистов — подразумевается увлечение теософскими идеями в кругах ирландской интеллигенции рубежа веков. Здесь также речь идет о дублинском кружке, в который входили поэт-мистик Джордж Рассел, писавший под псевдонимом А. Э., Йейтс и другие.

Опаловое безмолвие — один из любимых образов Джорджа Рассела.

Джон Ф. Тэйлор (ок. 1850 — 1902) — ирландский юрист, блистательный оратор, журналист. Макхью пытается вспомнить речь, произнесенную Тэйлором 24 октября 1901 г.

Джеральд Фицгиббон (1837 — 1909) — ирландский юрист, политический деятель, противник гомруля, сторонник английского владычества в Ирландии.

Тим (Тимоти) Майкл Хили (1855—1931) — ирландский политический деятель, вначале горячий сторонник Парнелла, позднее «предатель», сделавший немало, чтобы опорочить Парнелла. Молодой Джойс написал гневное стихотворение о Хили — «И ты, Хили», где проводил отчетливую аналогию между ним и Брутом.

Пусть дым от алтарей... — см. Шекспир, «Цимбелин», акт V, сц. 5 (перев. П. Мелковой).

Ребенок — мужчина — изваяние — намек на судьбу Моисея — от ребенка в тростни-

ковой люльке до статуи работы Микеланджело.

...каменнорогий — намек на «Моисея» Микеланджело. Традиционное изображение Моисея с рогами восходит к долго державшемуся неправильному прочтению библейских строк (ср. Исход, 34, 29).

И все же он умер, не ступив на землю обетованную — ср. Второзаконие, 34, 1 — 5.

Людские скопища в Моллахмасте... — подразумевается публичное выступление О'Коннелла, который в тексте соотносится с Моисеем.

Акаша-хроника — в теософии Акаша — универсальный медиум, а также книга — хранительница вечной памяти природы.

Миновал Илион — ср. Вергилий, «Энеида», II, 325.

Бурная Троя — образ, заимствованный из стихотворения «Улисс» (1842) Теннисона.

Царства мира сего — см. Евангелие от Иоанна, 18, 36.

Добрый дремотный Дублин — строчка, принадлежащая ирландской писательнице Сидни Морган (1780 — 1859).

Мудрые девы — ср. Евангелие от Матфея, 25, 1 — 13.

...взирая на статую однорукового прелюбодея — намек на лорда Нельсона (1758 — 1805) и его связь с Эммой Гамильтон.

Пенелопа Рич (1562 — 1607) — возлюбленная английского поэта Филипа Сидни.

Притча о сливах — иронический намек на частое обращение Христа в своих поучениях ученикам и народу к притче.

VIII. Лестригоны

Время действия — час дня. Место — паб. Орган, который символизирует эпизод,— пищевод. Искусство — архитектура. Символический цвет отсутствует. Основной смысловой символ — полицейский.

По гомеровской схеме восьмой эпизод соответствует десятой песни «Одиссеи». Лестригоны — каннибалы, к которым попадает Одиссей, покинув остров бога ветров Эола. Тема людоедства несколько раз проскальзывает в тексте эпизода. Стержень текста составляют мысли Блума о еде, преследующие его все время, даже когда он уходит из паба. Лестригонами «физически» в эпизоде становятся зубы.

Сохранилось высказывание Джойса о его работе над «Лестригонами». Однажды Фрэнк Баджен спросил, ищет ли Джойс в работе над текстом «le mot juste» (франц. «точное слово» — понятие, введенное Флобером). «Нет,— ответил Джойс,— слова у меня есть. Теперь я ищу безукоризненный порядок слов в предложении. Такое точное построение фразы существует для каждой мысли. Его я и пытаюсь нащупать... Я говорил, что моя книга — это современная „Одиссея"... Сейчас я работаю над „Лестригонами", что соответствует пребыванию Одиссея у каннибалов. Мой герой заходит в паб. Есть мотив соблазна и в „Одиссее" — там это дочь короля каннибалов. Соблазн появляется у меня тоже только в виде женских шелковых нижних юбок в витрине магазина».

Христианские Братья — братство католиков-мирян, посвятивших себя воспитанию детей бедняков.

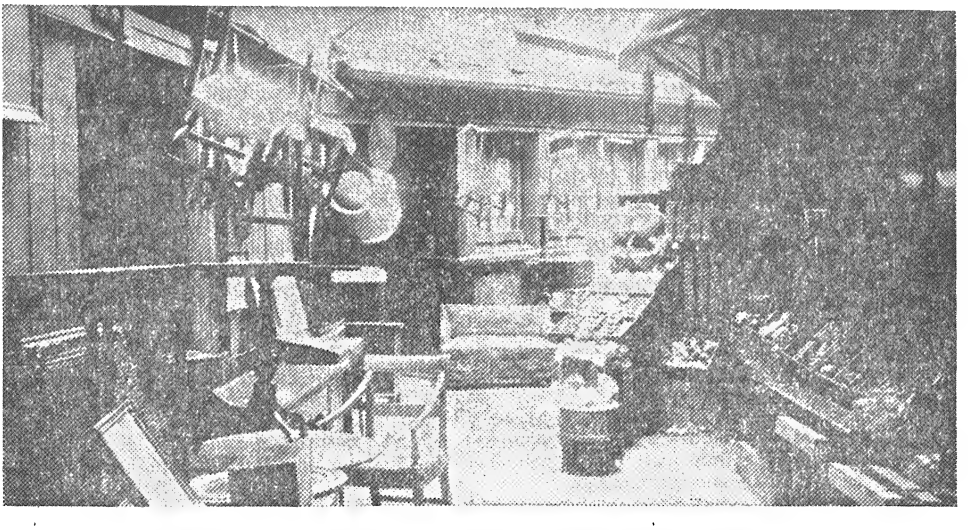
Джон Александр Дауи (1847—1907) — австро-американский деятель «христианского обновления», «восстановил» Сионский храм, основав город Сион вблизи Чикаго в 1901 г. В 1906 г. жители города Сион обвинили Дауи в мошенничестве и аморальном поведении.

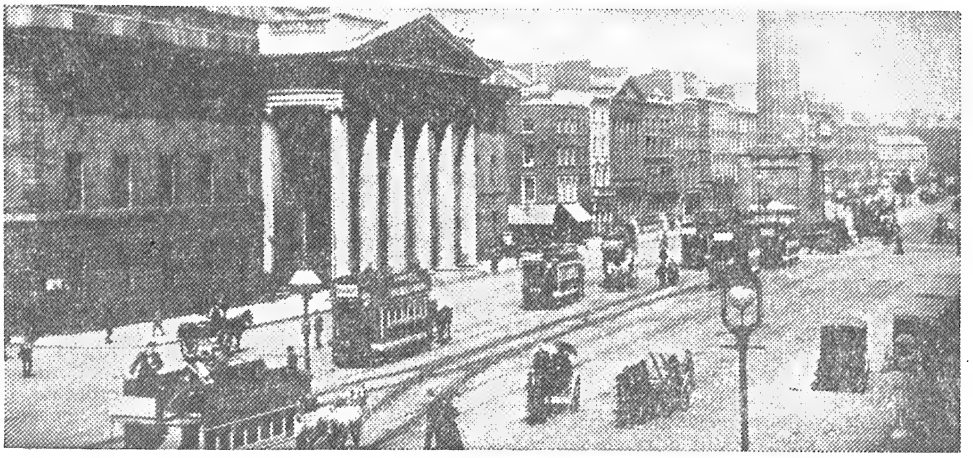
Рейбен Арчер Терри (1856—1928) и Чарльз Маккэллон Александр (1867—1928) — американские «возрожденцы»-миссионеры.

Призрак Пеппера, та же идея — трюк, изобретенный неким англичанином Джоном Пеппером в 1870 г. для циркового представления. Использование фосфоресцирующих костюмов создавало эффект «призраков».

Йом Кипур — еврейский праздник искупления грехов. Празднуется за несколько дней до праздника кущей.

Распродажа в дублинском магазине.





О'Коннелли-стрит и колонна Нельсона.

Гамлет, я дух родного твоего отца, на время поскитаться осужденный — Блум искажает цитату из «Гамлета» (акт I, сц. 5).

Роберт Болл (1840—1913) — королевский астроном, директор обсерватории в Кембридже. Родился в Дублине. Его книги и лекции по астрономии были очень популярны среди населения.

Пенденнис — в сознании Блума, пытающегося вспомнить фамилию некоего Пенроуза, ассоциативно всплывает название известного романа Уильяма Мейкписа Теккерея «Пенденнис» (1850).

Бартель д'Арси — персонаж рассказа «Мертвые» из сборника «Дублинцы».

То быть может на месяц иль быть может навек — несколько измененные слова из песни «Душечка Кэтлин» Энни Бэрри Кроуфорд на музыку Фредерика Крауча.

Твои похороны завтра... — Блум соединяет строки из двух стихотворений: «Его похороны завтра» Феликса Макгленнона и «Пробираясь до калитки» Роберта Бернса.

Кэшел Бойл О'Коннор Фицморис Тисдел Фаррелл — лицо реальное, дублинский чудак и острослов, прозванный «Эндимионом».

Говорят у него был туберкулез — в народе считали, что принц Альберт умер от туберкулеза, хотя на самом деле — от тифозной горячки.

...под озороватым перстом Томми Мура — памятник Томасу Муру, действительно, стоит над общественной уборной Дублина. Отношение Джойса к Муру было весьма сдержанным.

Нет на всем белом свете долины такой... — строки из одноименного стихотворения Томаса Мура.

Джулия Моркан — персонаж рассказа «Мертвые» из сборника «Дублинцы».

...дано коснуться тайн — ср. Шекспир, «Гамлет», акт I, сц. 5.

Джо (Джозеф) Чемберлен (1836—1914) — английский политический и государственный деятель, противник гомруля.

Кристиан Де Вет (1854—1922) — известный военачальник буров, отличавшийся не только личной отвагой, но и высокой нравственностью. Ирландские националисты поддерживали буров и, напротив, гневно осуждали империалистическую политику Чемберлена.

Винигер Хилл — место решительного сражения во время восстания «Объединенных ирланцев» в 1798 г.

Если нас погибель ждет — из песни «Боже спаси Ирландию» Т. Салливана (1827—1914).

Харви Дафф — полицейский осведомитель из пьесы ирландского драматурга Дайона Бусико (1822 — 1890) «Шогрон» (1874).

Близятся великие времена... — строчка из одноименной пьесы английского поэта Генри Рассела (1813—1900).

Остались огромные глыбы. Круглые башни — Блум вспоминает строения древней Ирландии, в первую очередь, башни, которые сооружались для защиты от врагов в IX—XII вв.

Джон Хауард Парнелл (1843—1923) — брат Чарльза Стюарта Парнелла, член парламента в 1895—1900 гг.; в 1904 г. церемониймейстер Дублина.

ДХК — дублинская хлебопекарная компания.

Сумасшедшая Фанни... миссис Дикинсон — речь идет о сестрах Парнелла: Фрэнсис Айзабел (1854—1882), активной участнице движения за самостоятельность страны, и Эмили Дикинсон (1841—1918), авторе довольно двусмысленной биографии Парнелла «Ошибка патриота».

Банкет патриота. Поедают апельсинные корки в парке — во время своих собраний в Феникс-парке ирландские националисты ели апельсины в знак своего неприятия «оранжистов» (orange по-английски — апельсин), их антипатриотической позиции.

Про двуглавого осьминога... с шотландским акцентом — видимо, намек на оккультные теории Макгрейда Мейтера (ум. 1916), друга Джорджа Рассела, по происхождению шотландца.

От грядущих событий заранее тени видны — строчка из баллады Томаса Кемпбелла (1777—1844) «Предупреждение Лошиля» (1802), в которой предрекается поражение принца Чарли.

А. Э... наверно инициалы — в Дублине времен Рассела бытовало немало шуток относительно псевдонима поэта, например, «агрикультурный экономист». Однако, по замыслу самого Рассела, псевдоним восходил к греческому «аэон» — «вечность».

...велосипед... из вегетерианской столовой — намек на любовь Джорджа Рассела и людей из его окружения к путешествиям по Ирландии на велосипеде, а также на их убежденное вегетерианство, типичные для ирландских «опрощенцев».

Три Юных Красотки со Школьной Скамьи — песенка из оперы Гилберта и Салливана «Микадо» (1885).

Арфа дивная голодом нас уморила — ироническое обыгрывание строки из стихотворения Томаса Мура «Молчит просторный тронный зал».

Это сюда гугеноты завезли — Блум вспоминает, что в конце XVIII в. гугеноты, нашедшие убежище в Ирландии, основали колонии в Дублине и на протестанском севере, где преимущественно занимались производством тканей. Эта ассоциация вызывает у Блума другую — с арией из оперы немецкого композитора Джакомо Мейербера (1791—1864) «Гугеноты» (1835).

В том школьном стихотворении Кормак... — Блум вспоминает стихотворение ирландского поэта, фольклориста, переводчика старой ирландской поэзии Сэмюэла Фергюсона (1810—1886) «Погребение короля Кормака». В стихотворении Фергюсон отразил одно из преданий о легендарном короле Кормаке Мак-Арте (прав. ок. 254—ок. 277), внуке знаменитого ирландского правителя Коннахта Ста Битв. По некоторым преданиям, Кормак был основателем и первым законодателем Ирландии. По тем же легендам, он за 135 лет до святого Патрика принял христианство, чем настроил против себя друидов, которые, якобы вступив в сговор с нечистой силой, погубили Кормака: за обедом он подавился костью.

Вот два изображенья... — см. Шекспир, «Гамлет», акт III, сц. 3. Гамлет умоляет мать сравнить портреты двух братьев — отца и отчима.

Алчущие призраки — в Песни XI «Одиссеи» Гомера Одиссей встречается с душами умерших, которые для того, чтобы заговорить, должны прежде насытиться кровью.

Бог создал пищу, а дьявол поваров — строчка из стихотворения английского поэта Джона Тейлора (1580—1653).

Кто это был кажется эрцгерцог Леопольд — Блум путает принца-регента Баварии Леопольда фон Байерна (1821—1912) с королем Баварии Отто. Судьба Леопольда была тесно связана с судьбой Отто: Леопольд стал принцем-регентом, когда король Отто был признан безумным в 1872 г. Отто, однако, не был из династии Габсбургов.

...библиотечный музей, стоят в круглом холле — в холле Национального музея в Дублине стоят копии известных скульптур, в том числе копия Венеры Праксителя.

К древнему, свободному и признанному братству... Свет, Жизнь и Любовь — Флинн цитирует слова из ритуальных текстов масонов, а также вспоминает символы ложи.

Она была из рода Сент-Леже Донерайль — Элизабет Олдворт (?—1773), единственная дочь виконта Донерайля, в возрасте семнадцати лет стала свидетельницей тайного собрания масонов в доме отца и с тех пор приняла обязательство хранить тайну, став членом ложи.

«Почему я порвал с католической церковью» (1883) — памфлет канадского пресвитерианского священника Чарльза Паскаля Телесфора Чикини (1809—1899), который в 1858 г. перешел из католичества в пресвитерианство.

«Птичье гнездышко» — дублинская миссионерская организация, посвятившая себя обращению молодежи в протестантизм.

Все эти женщины и дети что сгорели и потонули в Нью-Йорке во время морской прогулки — как сообщил «Фрименс джорнэл» от 16 июня 1904 г., более 500 человек, в основном дети, погибли во время пожара парохода на Ист-Ривер.

Важный как Трой — дублинский архиепископ Джон Томас Трой (1739—1823), сторонник проанглийской политики, в одном из своих публичных выступлений в печати в весьма высокопарных выражениях осудил восстание 1798 г.

Томас Дин (1792—1871) — ирландский архитектор, автор проектов многих зданий в Дублине. Однако проект Национальной библиотеки и Национального музея принадлежал не ему, а его сыну Томасу Ньюхему Дину (1830—1899).

Е. ГЕНИЕВА

Джойс пишет предложение. Карикатура Гая Дэвенпорта.

Публицистика

ИСААК ДОЙЧЕР

АДСКИ ТЕМНАЯ НОЧЬ

Глава из книги «Пророк в изгнании»

Перевод с английского Ю. ЗАРАХОВИЧА и А. ЗЛОБИНА

Троцкий: штрихи к политическому портрету

Трехтомная политическая биография Троцкого, принадлежащая перу Исаака Дойчера, считается до сих пор в западной советологии и исторической науке, а также в обширной литературе о Троцком не только лучшей, но даже классической работой. И. Дойчер — бывший троцкист и автор нескольких получивших известность исторических и политических книг, среди которых можно назвать и опубликованную еще при жизни Сталина одну из его политических биографий, первым получил доступ к обширному архиву Л. Троцкого и с согласия вдовы Троцкого стал поэтому главным из его биографов.

Работа над трилогией о Троцком заняла у Дойчера больше 10 лет. Первый том — «Вооруженный пророк» — был издан в Лондоне еще в 1954 году. Второй том — «Разоруженный пророк» — был опубликован там же в 1959 году. Последняя часть этой трилогии — «Пророк в изгнании» — вышла в свет в 1963 году. С тех пор эта книга была издана на многих языках и почти во всех крупных странах мира. Однако по причинам, которые не требуется подробно разъяснять, никогда не издавалась и не переводилась в СССР.

И после Дойчера многие авторы писали о Троцком. Так, например, несколько книг появилось к 100-летию со дня его рождения, то есть в 1979 году. В 1980 году стал доступен для исследователей еще один архив Троцкого, который он разрешил открыть лишь через 40 лет «после смерти». В этом архиве не оказалось каких-либо сенсационных документов, но здесь находилась большая часть обширной переписки Троцкого, которую он вел уже в изгнании с сотнями своих приверженцев из многих стран мира. И все же любой из западных историков, который считает нужным писать о Троцком, почти всегда начинает эту работу с чтения книги Дойчера.

Журнал «Иностранная литература» публикует ниже только одну из глав книги Дойчера — о самых последних годах жизни Троцкого, которые тот провел в Мексике. В своем предисловии к этой, несомненно, крайне важной для всех нас и очень нужной публикации я не хотел бы разбирать достоинства и недостатки книги И. Дойчера, которая практически еще недоступна советскому читателю. Однако я считаю нужным привести краткую справку о Троцком, о котором даже многие из наших профессиональных историков имеют крайне искаженное и неточное представление.

Лев Давыдович Троцкий (Лейба Бронштейн) родился в 1879 г.— всего на два месяца раньше Сталина в имении своего отца — одного из очень немногих в России еврейских помещиков. Он окончил начальную еврейскую школу, а затем реальное училище, основанное немецкими колонистами в Одессе. К социал-демократическому движению молодой Троцкий примкнул в 1898 году после своего первого ареста. Будучи сосланным в Сибирь, Троцкий бежал в 1902 году за границу. Он участвовал во II съезде РСДРП, на котором примкнул к меньшевикам. Фракцию меньшевиков он, правда, вскоре покинул, но большевиком не сделался, надолго предпочтя амплуа одного из тех, кто называли себя «независимыми социал-демократами». Это помогло ему стать выдающимся полемистом, но сделаться взыскательным и последовательным политическим организатором он не смог никогда.

Когда началась первая русская революция, Троцкий возвратился в Петербург. Он принял активное участие в работе Петербургского Совета и некоторое время был одним из трех его сопредседателей, а также редактором «Русской газеты», которую совместно со своим тогдашним другом и политическим единомышленником А. Л. Парвусом (Гельфандом) в течение месяца превратил из маленького либерального листка в массовую газету с 500-тысячным тиражом. Немало статей Троцкий публиковал и в ежедневной меньшевистской газете «Начало».

Петербургский Совет просуществовал всего 50 дней. Троцкий же возглавлял его всего около двух недель. В начале декабря 1905 года столичный Совет был разогнан, а его руководство арестовано.

Тем не менее эти короткие недели сделали Троцкого известным в революционных кругах. Ленин в ту пору относился к Троцкому с иронией, называя его «пустомелей», «пустозвоном», «фразером», «типичным полуобразованным семинаристским болтуном», «стряпчим по темным делишкам».

После разгона Петербургского Совета Троцкий был арестован и вновь сослан в Сибирь. Он, однако, бежал по дороге, сумел уехать из России и в 1907 году участвовал в работе V Лондонского съезда РСДРП. И здесь на съезде Троцкий не примкнул ни к фракции большевиков, ни к фракции меньшевиков, выступая, в сущности, лишь от своего собственного имени. Опираясь на разработанную им и Парвусом теорию «перманентной революции», он пытался поучать как большевиков, так и меньшевиков. На Лондонском съезде впервые встретили друг друга Троцкий и Сталин. Троцкий при этом не заметил Сталина и не запомнил этой встречи. Зато Сталин хорошо запомнил Троцкого.

В эмиграции Троцкий познакомился почти со всеми наиболее известными лидерами европейской социал-демократии; с большим трудом ему удалось наладить издание своей небольшой газеты «Правда», которая печаталась еще с 1903 года группой украинских меньшевиков, а с 1908 года стала личным органом Троцкого, выходящим примерно раз в две недели в Вене.

В то время как раскол между большевиками и меньшевиками обозначался все резче и Ленин вел дело к тому, чтобы провозгласить большевиков самостоятельной партией, Троцкий опять выступил с примиренческой позицией, организовав так называемый «августовский блок», который объединял лишь очень малое число его приверженцев. Именно в этот период Троцкий особенно резко критиковал Ленина и его политику. Эта критика стала особенно яростной, когда большевики начали издавать в Петербурге свою ежедневную газету под тем же названием — «Правда». Троцкому казалось, что не только крошечная венская газета, но и ее название являются едва ли не его личной собственностью.

Нападки Троцкого не остались без ответа со стороны Ленина. Именно в 1912—1913 годах были высказаны Лениным в его статьях и особенно в частных письмах те крайне резкие и нелестные характеристики Троцкого, которые в более позднее время и на совсем иных этапах внутрипартийной борьбы постоянно цитировались в нашей печати. Ленин обвинял Троцкого в прямом обмане рабочих и в сокрытии от них правды о «ликвидаторах». Он писал о Троцком как о «подлейшем карьеристе», «авантюристе», «интригане» и т. п. Именно в это время Ленин употребил свое выражение «Иудушка Троцкий», сравнивая таким образом примиренческую деятельность Троцкого и лицемерные попытки примирения своей семьи со стороны Иудушки Головлева — одного из героев Салтыкова-Щедрина.

Случалось в последующие годы, как мы знаем, и Ленину отзываться о Троцком куда более похвально.

«Августовский блок» просуществовал недолго, и вскоре после начала первой мировой войны все свои формальные связи с меньшевиками Троцкий порвал. Позиция его в годы войны становилась все более близкой к позиции большевиков. Когда после февральской революции Троцкому удалось вернуться из США в Россию — на месяц позже возвращения из эмиграции Ленина,— огромная толпа под красными знаменами вынесла его на руках из поезда.

В Петрограде Троцкий возглавил небольшую группу так называемых «межрайонцев», возникшую еще в 1913 году. В этой группе было не более 50 человек, но в нее входили такие блестящие пропагандисты и ораторы, как В. Володарский, А. А. Иоффе, А. В. Луначарский, Д. З. Мануильский, М. С. Урицкий и другие. Уже на выборах в районные думы Петрограда в мае — июне 1917 года большевики выступали в блоке с «межрайонцами». На конференции в начале июля «межрайонцы» приняли решение о вступлении в партию большевиков. VI съезд большевистской партии поддержал это решение. Троцкий был избран членом ЦК РСДРП(б). После завоевания большевиками большинства мандатов в Петроградском Совете Троцкий снова, как и в 1905 году, был избран председателем этого Совета.

Как председатель Петроградского Совета и как член ЦК партии, Троцкий проделал в решающие недели перед Октябрем очень большую работу.

«Вообще в 1917 году,— писал в своих воспоминаниях старый большевик А. П. Спундэ,— Троцкий проявил свои лучшие качества. Он был кумиром петроградских митингов, его политическая линия вызывала тогда большую симпатию к нему. В этот период его действия напоминали Дантона в варианте 1917 года. Решительность и смелость проявлялись у него во всем. А то, что ему не хватало ни ленинской глубины перспективы, ни ленинского беспредельного подчинения всех своих человеческих чувств делу победы социализма, в тот период практически не чувствовалось... Троцкий был одним из лучших ораторов революции. Говорил он всегда с изумительным блеском, с высоким мастерством популярной передачи даже трудной мысли, хотя принципиальный фундамент часто был несоразмерен с ораторским талантом» [1].

Незадолго перед Октябрьским вооруженным восстанием большие заслуги Троцкого отметил и В. И. Ленин, когда он говорил о выдвижении кандидатов в

[1] А. П. Спундэ был заместителем наркома финансов в первом Советском правительстве, позднее членом ЦИК СССР и зам. председателя правления Госбанка СССР. Он не был арестован в 1937 году, но был исключен из партии и работал кассиром-счетоводом в Мосторге. Свои воспоминания Спундэ писал в 1947—1949 годах. Умер он в 1962 году. Его воспоминания хранятся в архиве его семьи. *(Здесь и далее, кроме оговоренных особо, прим. автора.)*

Учредительное собрание от большевиков. «...никто не оспорил бы,— сказал Ленин,— такой, например, кандидатуры, как Троцкого, ибо, во-первых, Троцкий сразу по приезде занял позицию интернационалиста; во-вторых, боролся среди межрайонцев за слияние; в-третьих, в тяжелые июльские дни оказался на высоте задачи и преданным сторонником партии революционного пролетариата» [2].

Много самых различных легенд существует относительно роли Троцкого в непосредственной практической организации Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде. С одной стороны, можно встретить тенденцию к непомерному преувеличению роли Троцкого.

«В этот период,— писал, например, в 1965 году профессор И. Дашковский,— имена Ленина и Троцкого неизменно шли рядом и олицетворяли собой Октябрьскую революцию не только на знаменах, плакатах и лозунгах Октября, но и в прочном сознании партии, народа, страны...»[3]

Подобные утверждения ошибочны, и они противоречат общеизвестным фактам. Имя Троцкого в дни Октября действительно стояло рядом с именем Ленина, но слова «рядом» и «наравне» имеют разный смысл. Даже широкая публика отдавала отчет в различии политического веса Ленина и Троцкого. Не было это секретом и для врагов большевистской партии. Что касается «прочного сознания партии», то имена Ленина и Троцкого не стояли здесь ни «рядом», ни «наравне». У партии большевиков был только один вождь — Ленин, и только он один был вдохновителем и руководителем Октябрьской революции. Кстати, в том самом примечании Ленина к тезису «О списке кандидатов в Учредительное собрание», которое мы цитировали выше, говорится: «Само собою понятно, что из числа межрайонцев, совсем мало испытанных на пролетарской работе в направлении нашей партии, никто не оспорил бы такой, например, кандидатуры, как Троцкого...» и т. д. **[Подчеркнуто нами.— Р. М.]**

Еще с августа 1917 года вся работа по практической подготовке вооруженного восстания проводилась не только под руководством, но под сильным давлением Ленина, который почти ежедневно писал статьи, брошюры, посылал в ЦК и ПК записки и письма. В начале октября Ленин был уже в Петрограде, и именно он руководил заседаниями ЦК большевистской партии, на которых было принято окончательное решение о восстании. Тот факт, что Ленин все еще скрывался на конспиративной квартире, а Троцкий выступал легально как председатель Петроградского Совета, никак не может служить основанием к преувеличению роли Троцкого в революции.

Однако было бы неправильным и принижать значение Троцкого в дни Октября. В многотомной «Истории КПСС» в разделе о вооруженном восстании в Петрограде мы можем прочесть лишь о «дезориентирующем влиянии на ВРК выступлений Троцкого» [4]. Не упоминается его имя и в статье о Петроградском Совете, его можно найти лишь в общем перечислении имен многих членов Петроградского Военно-революционного комитета. Фальсифицируется роль Троцкого в дни Октября и в трехтомной «Истории Великого Октября» академика И. И. Минца [5].

При всех разногласиях между Лениным и Троцким относительно условий и юридического обоснования переворота, разногласий, которые ход событий свел к минимуму, роль Троцкого в практической подготовке и проведении Октябрьского переворота была несомненно велика. Здесь можно было бы сослаться на множество свидетельств непосредственных участников и очевидцев Октябрьского вооруженного восстания и даже на статью «Октябрьский переворот», которая была опубликована в «Правде» 6—7 ноября 1918 года за подписью Сталина.

Мы не будем останавливаться здесь на поведении и политике Троцкого во время переговоров в Брест-Литовске о заключении мирного договора с Германией. Ошибочность его позиции была доказана уже через несколько месяцев, когда германские войска начали свое февральское наступление. Но каждому объективному историку ясно, что в действиях и выступлениях Троцкого в эти критические дни не было и тени «преднамеренного предательства», «капитулянтства», «измены», «провокации», «сговора с контрреволюцией», «смыкания с агрессивным империализмом» и т. п. Все эти определения, которые можно встретить в исторических работах не только 30—40-х, но и 60—70-х годов, были привнесены в историческую науку во времена культа личности Сталина. Вводя в оборот эти формулировки, Сталин рассчитывал косвенным образом скомпрометировать и Ленина, ибо нужно было быть политическим слепцом, чтобы поручить через несколько месяцев «пособнику империализма» и «помощнику буржуазно-помещичьей контрреволюции» формирование и руководство Красной Армией.

Немало легенд существует также о деятельности Троцкого в период гражданской войны. Сторонники Троцкого предпринимали много попыток представить его едва ли не главным организатором Красной Армии и ее основных побед над белыми армиями. С другой стороны, можно упомянуть о многих попытках полностью перечеркнуть значение всей военной работы Троцкого, который был с 1918 года народным комиссаром по военным и морским делам, а также председателем Реввоенсовета республики. Эти попытки делались не только историками последующего периода, но и непосредственно по ходу событий.

---

[2] В. И. Ленин. ПСС, т. 34, с. 345.

[3] «Открытое письмо в редакцию журнала «Вопросы истории КПСС», рукопись из архива автора статьи *(прим. ред.)*. Дашковский вступил в партию в 1917 году и активно участвовал в революции и гражданской войне. Автор многих работ по экономике.

[4] История КПСС, т. 3, кн. I, М., 1967, с. 321.

[5] И. И. Минц. История Великого Октября. М .,1978, с. 807—809, 827, 893 и др.

Неприязнь к Троцкому была распространена и среди многих военных работников партии.

Как писал, например, своему другу А. Сольцу старый большевик и военный работник В. Трифонов:

«Южный фронт — это детище Троцкого и является плотью от плоти этого бездарнейшего организатора.. Армию создавал не Троцкий, а мы, рядовые армейские работники. Там, где Троцкий пытался работать, там сейчас же начиналась величайшая путаница. Путанику не место в организме, который должен точно и отчетливо работать, а военное дело именно такой организм и есть» [6].

Серго Орджоникидзе писал Ленину с того же Южного фронта:

«Что-то невероятное, что-то граничащее с предательством... Где же порядки, дисциплина и регулярная армия Троцкого?! Как же он допустил дело до такого развала? Это прямо непостижимо...»[7]

Подобных сигналов Ленин получал немало — и от уполномоченных ЦК РКП(б), и от командующих отдельными армиями и фронтами. Но он получал подобные сигналы и относительно таких районов военных действий, где решающую роль играли не Троцкий, а Сталин или Зиновьев, Ворошилов или даже Тухачевский. Ленин, однако, более трезво смотрел на многие события, высоко оценивал военно-организационную деятельность Троцкого и никогда не ставил вопроса о замене его на посту наркома по военным и морским делам и председателя Реввоенсовета.

Дело в том, что Красная Армия создавалась в исключительно трудной обстановке, и Ленин, который был, безусловно, главным ее организатором и главным стратегом гражданской войны, хорошо понимал всю важность той работы, которую проводил в этом же направлении Троцкий.

Несомненно, что деятельность Троцкого сыграла существенную роль в превращении Красной Армии из сложного конгломерата партизанских и полупартизанских формирований в регулярную и достаточно дисциплинированную военную машину. Троцкий сумел организовать работу в Красной Армии десятков тысяч царских офицеров — от младших офицеров до генералов включительно, и если Красная Армия не смогла бы выиграть гражданскую войну без военных комиссаров, то она не смогла бы ее выиграть и без военных специалистов.

Троцкий был одним из главных инициаторов и проводников твердой дисциплины в Красной Армии. Его меры помогли превращению Красной Армии в более или менее четко действующий военный механизм, хотя при этом они были суровы и далеко не всегда справедливы.

Даже историки и биографы, благожелательно относящиеся к Троцкому, признают, что не только Сталин, но и в еще большей мере Троцкий был тем человеком, который открыл «зеленую улицу» жестокости, без которой редко обходится любая гражданская война. Слово «безжалостно» стало надолго любимым словом Троцкого. Именно по требованию Троцкого был приговорен к смертной казни бывший морской офицер Балтийского флота, капитан I ранга А. М. Щастный. Этот человек не только принял Октябрьскую революцию, но и оказал огромные услуги Балтийскому флоту, моряки которого составили одну из важнейших ударных сил революции. А. М. Щастный фактически организовал знаменитый «Ледовый поход Балтийского флота», в результате которого основные силы флота перебазировались из Таллинна и Гельсингфорса в Кронштадт. Заслуги А. М. Щастного были так велики, что декретом СНК он был назначен в апреле 1918 года командующим Красным Балтийским флотом. Новый командующий флотом оказался, однако, человеком твердым и не всегда сговорчивым. Некоторые приказы народного комиссара по военным и морским делам Л. Троцкого Щастный отказался выполнить. В Царицыне то же самое делал и Сталин, но Сталин все же был одним из лидеров партии, а Щастный — недавним офицером царского флота. Обвиненный в саботаже, он был приговорен революционным трибуналом к расстрелу. При этом Троцкий выступал на заседании суда единственным свидетелем и, не затрудняя себя доказательствами, заявил о том, что Щастный — «опасный государственный преступник, который должен быть безжалостно наказан».

Широко известна была в годы гражданской войны и жестокая расправа Троцкого с одним из полков, покинувшим позиции без приказа. Троцкий приказал расстрелять не только командира и комиссара этого полка, но и каждого десятого из красноармейцев. Мы говорили выше о мобилизации в Красную Армию многих тысяч военных специалистов — офицеров царской армии. Менее известно, что по приказу Троцкого был составлен список родственников этих офицеров, уходящих на фронт. Их предупреждали — в случае измены их родные понесут суровое наказание.

Подобной суровостью Троцкий нажил себе немало врагов среди партийных и военных работников. Но он приобрел также и много сторонников в армии и партийном аппарате, хотя и не сумел организовать из них какую-либо свою фракцию, что с немалым успехом начал еще тогда делать Сталин.

В. И. Ленин обычно одобрял суровые меры Троцкого и вводимые им методы руководства армией.

«Я был очень удивлен,— пишет в своих воспоминаниях о Ленине А. М. Горький,— его высокой оценкой организаторских способностей Л. Д. Троцкого.— Владимир Ильич подметил мое удивление.— Да, я знаю, о моих отношениях с ним что-то врут. Но что есть — есть, а чего нет — нет, это я тоже знаю. Он вот сумел организовать военных специалистов»[8].

[6] Ю. Трифонов. Отблеск костра. М. 1966, с. 151—152.

[7] С. Орджоникидзе. Статьи и речи, т. I. М., 1956, с. 101—102.

[8] М. Горький. В. И. Ленин. М., 1959, с. 12.

Конечно, у Троцкого и как председателя Реввоенсовета было немало ошибок, хотя в итоге деятельность его на этом посту может быть оценена все же положительно. Троцкий не стремился стать полководцем в точном смысле этого слова, он оставался по-прежнему штатским человеком. Он был именно народным комиссаром, а не командующим Красной Армией. Сам Троцкий поэтому настоял на введении в РВС должности главнокомандующего Вооруженными Силами Республики. С 6 сентября 1918 года до июля 1919 года на этом посту находился бывший полковник царской армии И. И. Вацетис, а после него — С. С. Каменев, также бывший полковник царской армии, перешедший на сторону Советской власти.

В сущности главным средством организации и сплочения Красной Армии для Троцкого оставалось слово. Речи и статьи, воззвания и развернутые приказы играли в его деятельности более заметную роль, чем повседневная практическая работа.

Гражданская война в огромной степени способствовала росту известности и популярности Троцкого не только среди большого числа участников войны, зарубежных наблюдателей и друзей Октябрьской революции, но и внутри большевистской партии. Мало кто вспоминал теперь, что Троцкий вступил в партию большевиков лишь за несколько месяцев до революции, а перед этим активно боролся против большевиков. Острая профсоюзная дискуссия 1920—1921 годов, в которой Ленин и Троцкий снова оказались противниками, заметно ослабила влияние и вес Троцкого в партии. После победы в этой дискуссии ленинского большинства на X съезде РКП(б) многие из сторонников Троцкого не были избраны в состав ЦК, а тем более в состав Оргбюро и Секретариата ЦК.

Тем не менее и в 1921—1922 годах Троцкого считали вторым по значению деятелем большевистского руководства. На многих митингах и собраниях провозглашались здравицы в честь «товарищей Ленина и Троцкого», во многих советских и партийных учреждениях можно было видеть портреты Ленина и Троцкого. Имя Троцкого звучало в песнях и военных маршах. Это была, несомненно, высшая точка карьеры Троцкого как революционера и политического руководителя Советского государства. Ленин относился в этот период к Троцкому с подчеркнутым уважением, так же как и Троцкий к Ленину. Поэтому утверждать, подобно Палму Датту, что «у Троцкого всегда была злобная, почти патологическая ненависть к Ленину, к основным принципам его учения вообще и к большевикам в частности»,— это значит говорить явную неправду [9].

«Троцкий,— писал в своих воспоминаниях старый большевик В. Громов,— выдающийся революционер. Он, конечно, не ленинец, но с Лениным в нашей партии работал вполне лояльно. Наша партия, созданная Лениным, являлась той силой, которая парализовала необузданное самолюбие и неприкрытый карьеризм Троцкого... Троцкого в нашей партии никто не знал лучше Ленина. Все, что было хорошего и плохого в этом противоречивом человеке, описано с точностью и добросовестностью нашим вождем... Не верьте тому, что писал о Троцком Сталин» [10].

Положение Троцкого в партии и государстве к началу 1923 года было таково, что по мере развития болезни Ленина, принимавшей все более тяжелый и необратимый характер, не только сторонние наблюдатели, но и значительная часть большевиков искренне считали, что наиболее вероятным преемником Ленина как вождя партии и государства может стать только Л. Д. Троцкий. Но в руководстве партии были, однако, очень влиятельные силы, которые решили во что бы то ни стало помешать подобному развитию событий.

Все то, что мы так кратко изложили выше, составляет главное содержание первой книги И. Дойчера о Троцком — «Вооруженный пророк», хотя, конечно, мои оценки и не всегда совпадают с оценками Дойчера. Все же надо отметить, что Дойчер выступает в своей книге отнюдь не как апологет Троцкого, и мы можем найти у него немало критических замечаний в адрес своего героя. Но ни одно из этих замечаний и многих других, для которых у нас нет места, не позволяют называть Троцкого «демоном революции», как это сделал Д. Волкогонов в своей большой статье в «Правде» и в книге «Триумф и трагедия» [11]. Если уж кто и заслуживает такой оценки, то как раз Сталин, а не Троцкий.

Нет нужды останавливаться здесь на оценке Троцкого, которую дал Ленин в своем «Завещании»; эти оценки сейчас уже хорошо известны. Я не буду также подробно говорить о сложных перипетиях той внутрипартийной борьбы, которая развернулась в нашей партии в 1923—1927 годах и в которой Троцкий выступал в качестве лидера «левой» оппозиции. Это была не только борьба за власть в стране и в партии, но и борьба различных течений и тенденций в политике ВКП(б), а также всего Коминтерна.

Хотя и Троцкий, и Зиновьев, и Каменев высказывали в ходе этой борьбы немало верных суждений, их общая линия не была верна и могла бы повести к быстрому свертыванию политики НЭПа и нарушению союза рабочего класса и крестьянства. Хорошо известно также, что основную часть этой троцкистской политики вскоре взял на вооружение сам Сталин и осуществил ее с такой невероятной жестокостью, на которую, по-видимому, был бы не способен и сам Троцкий.

После поражения Троцкого во внутрипартийной борьбе он был исключен из партии и сослан в Казахстан. Когда стало известно о предстоящей высылке Троцкого из Москвы, его все еще многочисленные сторонники решили устроить ему

[9] П. Датт. Интернационал (перевод с английского). М., 1966, с. 188.

[10] В. Е. Громов (псевдоним). Сталин. Мысли и факты. Рукопись. 1966—1967 гг. (Из архива автора.)

[11] «Правда», 9 сентября 1988.

торжественные проводы. Отъезд был намечен на 18 января 1928 года. Однако еще 17 января на квартиру Троцкого пришли работники ГПУ и аппарата ЦК и потребовали его немедленного отъезда. Троцкий отказался, но его силой вынесли на руках и затолкали в стоявшую у подъезда машину. Затем его отвезли на Ярославский вокзал и посадили в поезд, отправляющийся в Казахстан. Сын Троцкого — Лев Седов — стал кричать, обращаясь к железнодорожникам: «Смотрите, они увозят Троцкого!» Но никто не вмешался, и поезд отошел от перрона.

В течение года Троцкий вместе с семьей жил в Алма-Ате, продолжая поддерживать легальную и нелегальную связь со своими сторонниками и ведя обширную переписку. Он был настроен еще весьма оптимистически. В письме, которое было направлено им в Политбюро и которое распространялось в списках среди ссыльных троцкистов, говорилось:

«Неизлечимая слабость аппаратной реакции при ее внешнем могуществе состоит в том, что она не ведает, что творит. Она выполняет заказ враждебных классов. Не может быть большего исторического проклятия для фракции, вышедшей из революции и подрывающей ее.

Величайшая историческая сила оппозиции, при ее внешней слабости в настоящий момент, состоит в том, что она держит руку на пульсе мирового исторического процесса, ясно видит динамику классовых сил, предвидит завтрашний день и сознательно подготовляет его» [12].

Однако письма Троцкого своим сторонникам не подтверждали того, что он «ясно видит динамику классовых сил». Когда в партии обнаружился «правый» уклон, Троцкий выступил вначале за союз с «центром (то есть со Сталиным) против «правых», которых он считал более опасными, чем группу Сталина. Однако очень скоро Троцкий стал добиваться установления нелегальных контактов с группой Бухарина против Сталина. Некоторое время Троцкий опасался установления под давлением крестьянства военной диктатуры во главе с Ворошиловым и Буденным против Сталина. В этом случае он предлагал своим сторонникам поддерживать Сталина против Буденного и Ворошилова. Троцкий еще надеялся, а временами даже твердо верил в победу своей фракции.

Борьба в оппозиции, поведение и положение Троцкого после смерти В. И. Ленина, его борьба в Коминтерне и формирование «левых» фракций в коммунистических партиях Запада и Востока, а также жизнь в ссылке в Алма-Ате составляют основное содержание второй книги И. Дойчера — «Разоруженный пророк». В своей третьей и последней книге И. Дойчер пишет уже о жизни и деятельности Троцкого в изгнании.

Решение о высылке Троцкого за границу было принято на Политбюро в 1929 году. Позднее Сталин не раз выражал сожаление по этому поводу и особенно негодовал на то, каким образом было разрешено Троцкому вывезти за границу весь свой огромный архив. Так или иначе, но в феврале 1929 года Троцкий с семьей был тайно привезен в Одессу и отсюда на пароходе «Ильич» покинул пределы СССР. По договоренности с Турцией, у которой были в те годы хорошие отношения с СССР, Троцкому было предложено поселиться на острове Принкипо (Принцевы острова) в Мраморном море. Здесь он провел более четырех лет, занимаясь главным образом литературной деятельностью. Кроме нескольких книг и множества статей, которые издавались на Западе, Троцкий был автором большей части материалов созданного им «Бюллетеня оппозиции». Он был все еще полон надежд на успех своего движения и утверждал, что «левая оппозиция, вопреки лживым сообщениям официозной печати, идейно крепнет и численно растет во всем мире. Она сделала крупнейшие успехи за последний год» [13].

Это были иллюзии, которые очень быстро стали рассеиваться.

Высылка Троцкого из СССР, политика суровых репрессий против оппозиционеров, начавшаяся борьба с «правым» уклоном, проведение все более жесткой антикулацкой и антинэпмановской политики, ускорение индустриализации и начало сплошной коллективизации, означавшие явный поворот Сталина «влево»,— все это вызывало быстрый распад троцкистской оппозиции. У большинства видных оппозиционеров воля к борьбе со Сталиным была сломлена, под разными предлогами они стали переходить на его сторону.

«Сталинисты,— писал Радек в одном из писем,— оказались достойнее, чем думала оппозиция». Радек и Преображенский решительно отмежевались от теории «перманентной революции», которую они ранее поддерживали. Они должны были отмежеваться и от Троцкого. В своем обращении «Ко всем товарищам по оппозиции» Е. Преображенский писал, что оппозицию привело к поражению именно торжество ее идей.

Фактически из всех лидеров «объединенной» оппозиции попытался продолжить борьбу со Сталиным из-за границы только один Троцкий. Он вел громадную переписку со своими сторонниками в других странах, стараясь создать троцкистские фракции или группы. Он пытался наладить доставку троцкистской литературы и «Бюллетеня оппозиции» в СССР. Однако даже тайных сторонников в СССР у него почти не осталось. Субъективно Троцкий и теперь оставался революционером, а не «фашиствующим контрреволюционером», как об этом заявлял Сталин. Однако из-за присущего Троцкому догматизма, недостатка информации и тенденциозности он не смог понять и в должной мере оценить те сложные процессы, которые происходили в 30-е годы в СССР и в мировом коммунистическом движении. В результате он не су-

[12] Л. Троцкий. Моя жизнь. Берлин, 1930 ч. 2 с. 310, 311.

[13] «Бюллетень оппозиции». *(Далее в сносках—«Б. О.»)* 1929, № 10, с. 4.

мел сформулировать никакой альтернативной марксистской программы. Он даже не смог правильно разобраться в причинах своего поражения.

Капитуляция перед Сталиным большинства прежних сторонников Троцкого была для последнего большим разочарованием. Но он реагировал на этот факт весьма своеобразно. Размышляя об утрате одного за другим своих последователей, Троцкий писал:

«Чередование политических поколений есть очень большой и очень сложный вопрос, встающий по-своему, по-особому перед каждым классом, перед каждой партией, но встающий перед всеми. Ленин не раз издевался над так называемыми «старыми большевиками» и даже говаривал, что революционеров в 50 лет следовало бы отправлять к праотцам. В этой невеселой шутке была серьезная политическая мысль. Каждое революционное поколение становится на известном рубеже препятствием к дальнейшему развитию той идеи, которую оно вынесло на своих плечах. Политика вообще быстро изнашивает людей, а революция тем более. Исключения редки, но они есть: без них не было бы идейной преемственности. Теоретическое воспитание молодого поколения есть сейчас задача задач. Только этот смысл и имеет борьба с эпигонами, которые, несмотря на видимое могущество, идейно уже вышли в тираж» [14].

Троцкий не был «старым большевиком», и он, вероятнее всего, искажает здесь смысл и форму возможных ленинских высказываний. Впрочем, для Троцкого, находящегося в изгнании, все это были только слова. Он уже не имел возможности отправлять людей к «праотцам». Но Сталин, который читал и в эти годы статьи и книги Троцкого, прислушивался иногда к его словам.

Если сравнить приведенные выше слова Троцкого с тем, что́ осуществил в 1936—1939 годах Сталин, отправив «к праотцам» всю основную часть ленинской партийной гвардии, то есть все то поколение «старых большевиков», которые приближались по возрасту к 50 годам, то можно подумать, что Сталин следовал совету Троцкого. Однако это не так. Сталин был вполне самостоятелен в своем решении, и он уничтожил целое поколение большевиков не потому, что оно «истрепалось нервно» и «израсходовалось духовно». Эти люди мешали не «дальнейшему развитию той идеи, которую они вынесли на своих плечах», а развитию и углублению самодержавной власти Сталина. Это и привело Сталина к мысли отправить всех «старых большевиков», к которым он чувствовал такую же неприязнь, что и Троцкий, «к праотцам» и опереться на более молодое поколение партийных работников, которые не прошли как следует школу революции, но уже достаточно основательно прошли сталинскую школу фальсификации.

На маленьком острове Принкипо Троцкому пришлось провести несколько лет. Среди множества книг и статей, которые он написал и которые еще до ссылки составили 17-томное собрание сочинений, наибольшую известность получила автобиографическая книга «Моя жизнь», которая, однако, разочаровала многих западных интеллектуалов, сочувствовавших Троцкому,— из-за крайней субъективности этой книги. С точки зрения историка, лучшей из книг, написанных в эти годы Троцким, была «История русской революции» — о февральской и Октябрьской революциях.

После победы Гитлера в Германии, которую Троцкий не без основания считал результатом ошибочной политики III Интернационала, он начал предпринимать шаги к созданию нового, IV Интернационала, в программные установки которого, однако, он пытался заложить еще более крайние или левацкие идеи.

Троцкий жаждал покинуть Принцевы острова, но ни одна из стран Европы не стремилась заполучить его в число своих граждан даже в качестве эмигранта. Лишь в июле 1933 года ему разрешили жить в южных районах Франции, но с условием сохранения инкогнито и под наблюдением полиции. Визиты в Париж были запрещены. После того как инкогнито Троцкого было случайно раскрыто, французское правительство решило выслать его из страны, однако и другие европейские страны не соглашались предоставить ему убежище. Троцкого везде рассматривали еще как крайне опасного революционера. К тому же западные правительства не хотели портить отношения со Сталиным. Летом 1935 года Троцкий смог получить убежище в Норвегии.

Как известно, в это время в СССР происходило все более явное ужесточение режима и снова начались массовые репрессии среди бывших участников левой оппозиции. Арестовали тысячи людей, которые давно уже публично отреклись от троцкизма и от Троцкого, но которые поддерживали его в 20-е годы. Прикрываясь жупелом «троцкизма», Сталин стремился уничтожить всю старую партийную гвардию, но он также особенно настойчиво и целеустремленно стремился уничтожить самого Троцкого — где бы тот ни находился.

Уже на первом же московском судебном процессе в августе 1936 года Л. Д. Троцкий был заочно приговорен к смертной казни. В это время Троцкий находился еще в Норвегии, и ему было формально запрещено заниматься политической деятельностью. Однако, узнав первые подробности московского процесса, Троцкий сразу же нарушил это запрещение. Он делал заявления для печати, посылал телеграммы в Лигу Наций, обращения к различным митингам. Это вызвало немедленную реакцию правительства Норвегии — оно предложило Троцкому покинуть страну. И вновь ни одна страна Запада не хотела пускать его к себе. В конце декабря Мексика дала согласие принять у себя Троцкого и предоставить ему политическое убежище. В глубокой тайне, под охраной, не на обыч-

[14] Л. Троцкий Сталинская школа фальсификации. Берлин, 1932, с. 110—111.

ном пассажирском судне, а на танкере, нанятом норвежским правительством, Троцкий с женой отплыл в Америку.

Троцкий прибыл в Мексику 9 января 1937 года, а уже через две недели в Москве начался еще один «открытый» процесс — «параллельного центра», где бывшие троцкисты преобладали среди обвиняемых.

О пребывании Троцкого в Мексике и о последних годах его жизни читатель может прочесть в помещенной ниже главе *, завершающей трилогию Исаака Дойчера.

РОЙ МЕДВЕДЕВ

Все еще выдвигает аргументы. (Снимок сделан за несколько дней до убийства)

Девятого января 1937 года танкер «Рут» подошел к большому нефтяному порту Тампико. Находящихся на его борту Троцкого и Наталью одолевало беспокойство; что ждет их на мексиканской земле? Они даже отказались сойти на берег, если их не встретят друзья. Представители норвежской полиции пригрозили было выдворить их с корабля силой, но в последний момент катер доставил на борт мексиканского генерала, вручившего Троцкому личное послание президента Мексики Ласаро Карденаса. (Президент послал в Тампико за ним и Натальей свой официальный поезд.)

На пирсе приветственно махали руками американские троцкисты Джордж Новак и Макс Шахтман; ждала и Фрида Кало, жена Диего Риверы, чтобы сказать свое «добро пожаловать!» После ледяного выпроваживания из Норвегии столь теплый прием казался нереальным.

Ступив на площадку президентского поезда, Троцкий и Наталья отпрянули назад, увидев стоящего на часах полицейского. «Мы испугались...— отмечает Наталья,— что нас просто могут отвезти в новое место заключения». Но на небольшой станции близ Мехико Троцких восторженно приветствовал Диего Ривера, доставивший их в пригород столицы Койоакан, в свой Голубой Дом, который и стал их пристанищем на следующие два года. Дом будто специально был создан для того, чтобы дать уняться расходившимся нервам: просторный, залитый солнцем, заполненный картинами, цветами, работами мексиканских и индейских мастеров. На каждом шагу его новые обитатели убеждались, с какой заботой мексиканские и американские друзья приготовили им новое жилище, продумали меры личной безопасности и создали условия для работы. Таким образом, первые несколько дней жизни в Мексике принесли нежданное облегчение — в них даже было что-то от быстротечной идиллии[1].

Благоприятствовал беглецам и политический климат страны. Мексиканская революция все еще была в апогее. Совсем недавно Карденас подписал декрет о разделе части латифундий между бедными крестьянами; он намеревался также национализировать принадлежащие американскому и британскому капиталу нефтедобывающие и железнодорожные компании. Иностранные инвесторы, отечественные землевладельцы и католическая церковь оказывали сопротивление, отношения Мексики с США были натянуты. Но за Карденаса стояли крестьяне и Конфедерация трудящихся Мексики, внезапно выросшая в большую политическую силу.

Пустив в страну Троцкого по просьбе Риверы и по рекомендациям собственного окружения, Карденас исходил из чувства революционной солидарности. Он заявил, что не просто предоставил Троцкому убежище, но пригласил его в Мексику в качестве гостя правительства. С самого начала президент делал все что мог, дабы уберечь своего гостя от сгущающихся над ним грозовых туч; и так вплоть до развязки. Однако для самого Карденаса ситуация сложилась весьма сложно. С одной стороны, его политические противники не замедлили выступить с инсинуациями — подхваченными американскими газетами — на тему о Троцком как вдохновителе революционного курса президента. С другой же стороны, Конфедерация трудящихся Мексики, от поддержки которой он зависел, была оплотом сталинистов. Ее руководитель Ломбардо Толедано и руководство компартии яростно протестовали против допуска Троцкого в страну и предупредили президента, что не успокоятся, пока «этот предводитель контрреволюционного авангарда» не будет выслан за границу. Карденас тщательно избегал всего, что могло бы придать вес об-

---

* Глава «Адски темная ночь» печатается с незначительными сокращениями.

[1] Это очевидно из мексиканских писем Троцкого к сыну Лёве, в которых Троцкий восторгается страной своего нового обитания, ее климатом и даже овощами и фруктами. *(Здесь и далее, там, где не оговорено особо, прим. автора.)*

винениям, будто он по наущению Троцкого экспроприирует британских и американских инвеститоров. Еще больше его заботила задача умиротворить Конфедерацию трудящихся Мексики.

Сам Карденас политически был далек от троцкизма в какой-либо его форме, да и от коммунистического мировоззрения вообще. Выходец из бедной крестьянской семьи, он вдохновлялся идеями аграрного радикализма и руководствовался эмпирическим опытом своей патриотической борьбы против иностранного засилья. Посему Карденас никоим образом не хотел оказаться вовлеченным в какие бы то ни было внутрипартийные распри коммунистов. В этих трудных обстоятельствах он с достоинством пренебрег поднятой Сталиным шумихой по поводу допуска Троцкого в страну, но держался подчеркнуто на расстоянии от своего «гостя» — они так ни разу и не встретились.

Карденас попросил Троцкого дать обязательство не вмешиваться во внутренние дела Мексики. Обязательство Троцкий дал незамедлительно, но, наученный горьким норвежским опытом, оставался постоянно настороже и особо оговорил за собой «моральное право» публичного ответа на любые обвинения и клевету. Карденаса это удовлетворило. Он и не намеревался требовать от Троцкого отказа от политической деятельности и сам поддерживал его право защищаться от сталинских нападок. Свою благосклонность к нему — вместе с чувством дистанции и бдительностью — Карденас сохранил и в дальнейшем. Троцкий не раз выражал президенту свою признательность и неуклонно придерживался взятого обязательства, не позволял себе никаких оценок политической ситуации в Мексике даже в частных разговорах, хотя политический курс Карденаса, ограничивающийся «буржуазным этапом» развития революции, вызывал у него, вероятно, до известной степени критическое отношение.

На протяжении первых лет жизни Троцкого в Мексике его преданнейшим другом и опекуном был Диего Ривера. Бунтарь не только в искусстве, но и в политике, великий художник был одним из основателей Мексиканской компартии и с 1922 года членом ее Центрального Комитета. В ноябре 1927-го Ривера оказался свидетелем разгона демонстраций троцкистов в Москве и исключения из рядов партии оппозиционеров, что его глубоко обеспокоило. Впоследствии он порвал с партией, а также и с Давидом Альфаро Сикейросом, еще одним великим художником Мексики, ближайшим его другом и политическим наставником, принявшим сторону Сталина.

Драматический пафос судьбы Троцкого поразил воображение Риверы: художник видел в нем образ героических масштабов, достойный его эпических фресок. И действительно — Ривера сделал Троцкого и Ленина центральными образами переднего плана своей знаменитой стенной росписи, восславившей классовую борьбу и коммунизм, коей он, к вящему ужасу всей респектабельной Америки, украсил стены Рокфеллеровского центра в Нью-Йорке. То, что превратности судьбы занесли вождя и пророка под крышу его дома, воспринималось койоаканским художником как одно из редкостных и ярчайших событий жизни.

Троцкий, в свою очередь, давно был ценителем творчества Риверы. По всей вероятности, он впервые увидел его работы в Париже во время первой мировой войны — они упоминаются в алма-атинских письмах Троцкого 1928 года[2]. Неустанные поиски Риверой новых форм творческого самовыражения наилучшим образом иллюстрировали мнение самого Троцкого о том, что корни болезней современной живописи таятся в ее удаленности от архитектуры и общественной жизни; удаленности, которая органически присуща буржуазному обществу и которую способен преодолеть лишь социализм. Стремление объединить живопись, архитектуру и общественную жизнь как раз и было свойственно искусству Риверы, в коем традиции Ренессанса и Гойи и влияние Эль Греко сочетались с кубизмом и традициями мексиканского и индейского народного творчества.

Подобное переплетение традиций и новаторства отвечало вкусу Троцкого; бунтарская отвага, неистовость и страстность творческой фантазии Риверы, запечатлевшего в монументальных стенных росписях мотивы русской и мексиканской революций, покорили его. К тому же Троцкого по-своему восхитил и озадачил сам Ривера — его стихийный характер, сомнамбулизм и «гаргантюанские размеры и аппетиты»; этакое чудо природы, шумное и буйное, во многом схожее с химерическими образами его полотен. И тут же, как бы в контрапунктной связи с Риверой, его жена Фрида, художница, чье творчество, пронизанное тонкой грустью и символикой, уходит во внутренний мир души. Женщина изысканной красоты, всегда одетая в длинные, красочные, ярко расшитые мексиканские платья, скрывавшие деформированную ногу,— она рождала ощущение экзотической грации и какой-то сказочности. После томительных месяцев, проведенных под стражей, Троцкий и Наталья были счастливы найти приют у таких друзей.

У постороннего наблюдателя, не лишенного способности читать в душах, возник бы, вероятно, вопрос, насколько сумеют ужиться Троцкий и Ривера и не произойдет ли меж ними столкновения. Не довольствуясь одной лишь блистательной славой художника, Ривера почитал себя еще и политическим лидером, в чем был не одинок: художники играли чрезвычайно заметную роль в политической жизни Мексики — большинство в Политбюро Компартии состояло из художников. (Политическая агитация резцом и кистью находила, пожалуй, более верный путь к массам безграмотных, но одаренных художественно кампесинос[3], чем какая-либо иная ее форма.)

И все же в политике Ривера не дотягивал даже до уровня любителя, ибо то и дело оказывался жертвой собственного неугомонного темперамента. Однако в присутст-

[2] Андрес Нин послал Троцкому в Алма-Ату альбом репродукций живописи и скульптур Риверы. В ответном письме Троцкий поблагодарил за подарок и выразил восхищение мастерством художника (Архивы.)

[3] Campesinos *(исп.)* — крестьяне. *(Прим. ред.).*

вии Троцкого, во всяком случае на первых порах, он обуздывал свои политические амбиции и вел себя как скромный ученик. Что же до Троцкого, то он всегда относился к политическим чудачествам художников с сочувственным пониманием, даже если это были менее значительные художники, которым он ничем не был обязан. В случае же с Риверой Троцкий тем более был склонен считать: гений делает то, что ему надлежит делать.

Итак, Троцкий вполне мог бы, при желании, наслаждаться благами нового убежища, не окажись он почти сразу же вновь втянутым в жестокую борьбу. Ежедневно на него сыпались угрозы — как со стороны местных сталинистов, так и из Москвы. Президенту Карденасу пришлось взять Голубой Дом под наружную охрану полиции. Внутри дома несли дозор американские троцкисты, прибывшие служить секретарями и телохранителями. Американские сторонники Троцкого оказывали ему неустанную поддержку, защищая его лично и помогая ему вести кампанию против московских процессов. Они были бедны и малочисленны, но предпринимали все возможное, чтобы Троцкий мог наладить связи с друзьями и сторонниками по всему свету и возобновить работу. «Какая удача,— писал Троцкий Лёве 1 февраля 1937 года,— что мы смогли достичь Мексики как раз накануне нового процесса в Москве».

Новый процесс начался меньше чем через две недели после прибытия Троцкого в Тампико. На скамье подсудимых заняли места Радек, Пятаков, Муралов, Сокольников, Серебряков и еще двенадцать человек. Главным обвиняемым — заочно — снова был Троцкий. Невообразимые, чудовищные обвинения нагромождались одно на другое. Теперь Вышинский говорил об официальной договоренности Троцкого с Гитлером и микадо: в обмен на их помощь в борьбе против Сталина, утверждал Вышинский, Троцкий готовил военное поражение и расчленение Советского Союза, поскольку обязался помимо всего прочего отдать третьему рейху Советскую Украину. Одновременно он организовывал и направлял диверсионно-вредительскую деятельность в промышленности — катастрофы на шахтах, аварии на заводах, крушения поездов, массовые отравления советских рабочих и — одно за другим — покушения на Сталина и других членов Политбюро.

Подсудимые вторили прокурору и сами вносили уточнения в предъявленные им обвинения. Один из них, Ромм, бывший корреспондент «Известий» во Франции, «признался», что в июле 1933 года встречался в Париже с Троцким и получил от него инструкции по организации террористической деятельности. Пятаков заявил суду, что посещал Троцкого в Осло в декабре 1935 года и там получал от него указания.

«Мы слушали радио, читали почту и московские газеты,— писала Наталья,— и ощущали, как безумие, абсурд, возмутительные фальсификации и кровь затопляют нас со всех сторон здесь, в Мексике, как и в Норвегии... Лев Давыдович, в состоянии переутомления и перенапряжения, нередко в лихорадке, тем не менее неустанно с карандашом в руке отмечает фальшивки, размножающиеся так стремительно, что опровергнуть их все становится невозможным». Процесс длился неделю и завершился вынесением смертных приговоров. Только Радека и Сокольникова осудили на десятилетнее тюремное заключение.

И действительно, все усилия Троцкого опровергнуть выдвигаемые против него обвинения походили на борьбу и споры с чудовищами, пригрезившимися человеку в кошмарном сновиденье. Судебные процессы становились все более неправдоподобными, настолько они были ужасны; и они становились все более ужасными в своем неправдоподобии. Казалось, они были рассчитаны на то, чтобы парализовать любую критическую мысль и любой аргумент. Но ряд обвинений лопнул еще до того, как Троцкий смог выстроить свою аргументацию. Министерство иностранных дел Норвегии расследовало заявление о том, что Пятаков якобы летал в Осло из Берлина в декабре 1935 года для встречи с Троцким, и установило, что ни в декабре, ни несколькими неделями ранее или позднее ни один самолет из Берлина в Осло не прилетал. Дирекция аэропорта выступила с соответствующим заявлением. Затем Троцкий направил московскому трибуналу телеграмму со следующими вопросами: когда именно, какого числа и в котором часу приземлился самолет Пятакова? Когда, где и при каких обстоятельствах он, Троцкий, принимал его? Троцкий задал аналогичные вопросы касательно якобы имевших место его встреч с Роммом. Прокурор и судьи оставили эти вопросы без внимания, поскольку вполне отдавали себе отчет, что попытки подсудимых ответить на них вскроют вопиющие противоречия в их показаниях и дискредитируют процесс.

29 января, перед окончанием слушаний, Троцкий в очередной раз бросил вызов Сталину, предложив ему потребовать его, Троцкого, выдачи. Обращаясь к Лиге Наций, Троцкий заявил о готовности предстать перед Комиссией по политическому терроризму, создание которой по инициативе СССР ожидалось в рамках Лиги. Ранее Троцкий уже направил подобное обращение из Норвегии. Лига хранила молчание; Сталин требование выдачи игнорировал. Снова пытаясь схлестнуться с обвинителями, Троцкий заявил во время публичного выступления в Нью-Йорке:

—...Я готов предстать, в обстановке гласности, с документами, фактами, свидетельскими показаниями перед беспристрастной Комиссией по расследованию... и раскрыть истину до конца. Я заявляю: если Комиссия хотя бы в малейшей степени сочтет меня виновным в приписываемых мне Сталиным преступлениях, я заранее обязуюсь добровольно передать себя в руки палачей ГПУ... Я заявляю это перед лицом всего мира. Я прошу прессу донести мои слова до самых отдаленных уголков планеты. Но если Комиссия установит — вы меня слышите? Вы слышите меня? — что московские процессы являются сознательной и намеренно сфабрикованной инсценировкой, я не потребую, чтобы обвиняющие меня добровольно стали к стенке. Нет, с них хватит вечного

позора в памяти поколений! Слышат ли меня мои обвинители в Кремле? Я бросаю вызов им в лицо и жду их ответа!

К этому времени судьбы двух сыновей Троцкого уже оказались тесно связанными с выпавшими ему испытаниями — и здесь повествование оборачивается современной версией легенды о Лаокооне. Лёва, чувствуя слежку ГПУ, опубликовал в одной французской газете заявление: в случае его внезапной смерти мир должен знать, что он пал от рук агентов Сталина, и никакое иное объяснение не должно приниматься в расчет, ибо он здоров и не помышляет о самоубийстве. Сергей, согласно сообщениям русской прессы, был арестован в Красноярске, в Сибири, по обвинению в подготовке массового отравления заводских рабочих по приказу отца[4].

«Сталин намеревается вырвать показания против меня у моего собственного сына,— отмечал Троцкий.— ГПУ, не колеблясь, доведет Сергея до помешательства, а затем расстреляет». Наталья выступила еще с одним призывом, тщетно обращенным к «Совести мира». «Бывали минуты,— вспоминала она позже,— когда Л. Д. ощущал себя сломленным» и «сожалел, что он еще живет на свете». «Может, моя смерть спасет Сергея?» — спросил он меня однажды...» Об этих минутах знала лишь она одна. В глазах мира Троцкий оставался по-прежнему непреклонным и неукротимым, преисполненным неисчерпаемой энергии. Он без устали сзывал сторонников на бой и подстегивал слабодушных друзей. Вот, например, что он писал Анжелике Балабановой, старой знакомой еще по Циммервальду, узнав о глубоком пессимизме, охватившем ее в результате московских процессов: «Возмущение, гнев, отвращение? Да, и даже временная усталость. Все это человеческое, слишком человеческое. Но не поверю, что вы позволили пессимизму взять верх. ...Это равнозначно тому, чтобы самым пассивным и жалким образом обидеться на историю. Разве так можно? Историю следует воспринимать такой, какова она есть; когда же она позволяет себе подобные невероятные и грязные выходки, от нее надлежит отбиваться кулаками»[5].

Вот сам Троцкий и отбивался.

Троцкий поставил целью полностью доказать свое алиби, доказать, что ни одно из сталинских обвинений не было и не могло быть правдой, и высветить политическое значение грандиозной фальсификации. С точки зрения многих — задача невозможная. Троцкому предстояло восстановить в деталях все свои действия и передвижения за годы изгнания, собрать свидетельства из своих гигантских и частично рассеянных архивов, а также разноязычных газет; собрать заявления и показания бывших помощников, охранников и сторонников, многие из которых теперь превратились в противников; и справки от различных министерств, консульств, полицейских участков, турагентств, домохозяев, домочадцев, трактирщиков и случайных знакомых из разных стран.

Однако же в известном смысле сие обширное и дорогостоящее предприятие было изначально бесполезным. Те, кто хотел знать правду, были вполне способны увидеть ее и без столь подробно разработанных доказательств. Тем же, кто находился во власти безразличия или предубеждения, бесполезно было что-то доказывать. Да и потомство вряд ли нуждается в таком количестве доказательств, чтобы вынести свой приговор. Великий полемист, Троцкий вполне мог удовольствоваться разоблачением процессов, основываясь лишь на материалах самих процессов, как ему советовали поступить и Лёва, и некоторые друзья, и Бернард Шоу. Но с характерной для него дотошностью, приняв однажды решение создать документально точную подробную картину, Троцкий не оставлял ничего на волю случая, не позволив ни малейшей существенной подробности остаться незадокументированной, не пропустив ни одного письменного свидетельства для своего досье. Он действовал так, будто не исключал возможности, что сталинские фальсификации переживут века; и вот для этих будущих веков он и готовил доказательное и неопровержимое алиби.

Этому изматывающему нервы труду Троцкий посвятил немало месяцев, вложив в него все силы и безжалостно подхлестывая секретарей и помощников, прежде всех — Лёву, тащившего на себе основной груз в Париже. Троцкий не терпел никаких проволочек, возражений и оправданий. Малейшая провинность вызывала угрозу «разорвать все отношения» — так было сначала с Шахтманом, затем с Навилем — и «разоблачить их саботаж или даже нечто худшее», хотя оба делали все возможное, чтобы помочь ему.

Троцкий намечал начало контрпроцесса на весну и боялся, что не успеет вовремя составить досье. Голубой Дом походил в те дни на каторжные мастерские, все — и секретари, и Наталья, и сам Троцкий — переводили, размножали, печатали бесчисленные документы и бумаги. Наряду с этим Троцкий заполнял своими комментариями страницы американской печати и организовывал в различных странах «следственные комиссии». Одержимый значимостью своего дела, подозревающий в каждой проволочке умысел, везде ищущий руку ГПУ и, наверное, отчаявшийся уже закончить когда-либо начатую работу, Троцкий без зазрения совести подгонял и подхлестывал Лёву, чьи жизнь и честь затрагивались не в меньшей степени. Вот так, должно быть, мог подхлестывать своих сыновей Лаокоон, призывая напрячь все силы, чтобы сбросить стиснувших их — отца и сыновей — в смертельных объятиях гигантских змей.

Лёва был оскорблен в своих сыновних чувствах. Он отважно закрыл брешь в боевых рядах, пока Троцкий был интернирован в Норвегии, но демон, с которым он схватился, оказался куда сильнее его, и Лёва с нетерпением ждал дня, когда вырвавшийся на свободу отец примет основной груз на свои куда более широкие плечи. И был сейчас угнетен издерганностью и раздражительностью отца. Лёва по-прежнему испытывал сомнения в целесообразности всей затеи и писал Наталье, что «Преступ-

[4] В 1935 г. Сергей Седов был осужден на 5 лет, в 1937 м—расстрелян. Посмертно реабилитирован в 1988 г. *(Прим. ред.)*

[5] Троцкий — Балабановой, жившей тогда в изгнании в Нью-Йорке. Письмо от 3.2.1937. (Архивы, закрытый раздел).

ления Сталина», книжка, написанная Троцким по пути в Мексику, явилась куда более эффективным ответным ударом, чем любой «контрпроцесс» или любые следственные комиссии. Но раз уж отец принял решение доказать свое алиби, то Лёва со всем пылом взялся за работу. И не его была вина, если дело шло медленно и все время осложнялось недоразумениями. Так, например, Троцкий приказал Лёве готовить контрпроцесс в Швейцарии, но затем было решено проводить его в Америке. Лёва, ничего не зная о перемене планов, вовсю был занят подготовкой процесса в Швейцарии, за что и получил жесточайшую выволочку от отца, пригрозившего лишить его денег и передать все ведущиеся им дела Навилю (которому он всегда так мало доверял).

Сбор данных осложнялся также трениями между различными троцкистскими сектами: Лёве пришлось добыть целый ряд документов у дезавуированной Троцким группы Молинье, что потребовало немало дипломатического такта. Лёва был переутомлен и удручен. Он тоже участвовал в публичной кампании против процессов: то и дело его статьи появлялись в «Манчестер гардиан». Лёва занимался издательскими делами отца, собирал гонорары, регулярно переводил их в Мексику, оплатил отцовские долги в Норвегии и Франции, а также издавал «Бюллетень». Оскорбленный придирчивостью отца, ощущающий, что со всех сторон его обкладывает ГПУ, глубоко несчастный в семейной жизни тридцатилетний Лёва заболел хронической бессонницей. Он был изможден до предела.

Сначала Троцкий надеялся провести контрпроцесс на уровне, соответствующем процессу, его спровоцировавшему, провести его так, чтобы пробудить совесть международного рабочего движения. Он стремился подключить к нему Второй Интернационал, а также так называемый Амстердамский интернационал профсоюзов. По его настоянию Лёва обратился к секретарю Второго Интернационала Фридриху Адлеру, самолично назвавшему проводимые Москвой процессы «средневековой охотой за ведьмами». Адлер делал все что мог, но добился немногого: после долгих проволочек Исполком Второго Интернационала выступил с заявлением, осуждавшим процессы, но отказался принять участие в каком-либо расследовании либо контрпроцессе.

Такую же позицию занял Интернационал профсоюзов. После подавления немецких и австрийских секций этих организаций Гитлером и Дольфусом, оба они находились под пятой Леона Блюма, Блюм же, как глава правительства Народного фронта, зависел от сталинской поддержки. Даже декларации Второго Интернационала, платонически осуждающей процессы, было достаточно, чтобы обеспокоить Блюма, и он использовал все свое влияние, чтобы не допустить никаких дальнейших шагов в этом направлении ни со стороны своей партии, ни со стороны «братских организаций». Так западные социал-демократы, обычно готовые ретиво отстаивать от коммунизма «права и свободы личности», предпочли на сей раз дипломатично промолчать или даже оправдать Сталина. «Интернационал,— заметил Троцкий,— бойкотировал собственного секретаря», что заведомо подорвало эффективность какого-либо контрпроцесса: без участия социалистических партий и профсоюзов ни одна кампания не сможет привлечь внимание рабочего класса».

Затем сторонники Троцкого предприняли попытки заручиться поддержкой влиятельной левой интеллигенции. Это не совсем устраивало Троцкого, часто высмеивавшего и поносившего «комитеты и конгрессы в защиту мира» и «антифашистские парады», на которые сталинцы созывали созвездия литературных и ученых знаменитостей. Троцкий презирал показуху и снобизм этих театрализованных представлений, особенно когда Коминтерн подменял ими мощные объединенные действия рабочего движения. Он упрекал своих американских сторонников в неспособности привлечь рабочих в «комитеты защиты Троцкого», но выбора у него не было.

Однако и реакция интеллигенции оказалась огорчительной, ибо сталинисты, имевшие на нее мощное влияние и во Франции, и в Испании, и в Британии, и в США, применяли всевозможные методы морального давления, чтобы не допустить ее участия в движении протеста против репрессий. Из Москвы, где истреблялся цвет русской литературы и искусства, звучали голоса Горького, Шолохова и Эренбурга, сливавшиеся с хором истеричных призывов: «Расстрелять бешеных собак!» На Западе к ним присоединялись такие литературные знаменитости, как Теодор Драйзер, Лион Фейхтвангер, Барбюс и Арагон. И Ромен Роллан, поклонник Ганди и противник насилия, «совесть» своего поколения, возвысил сладкий евангельский голос, чтобы оправдать резню в России и восславить главного палача — да столь ревностно, что Троцкий даже собирался подать на него в суд за диффамацию.

Горький и Роллан задали тон несметному множеству гуманитариев и моралистов помельче сортом, не испытывавших или почти не испытывавших в данном вопросе колебаний. Странно читать их манифесты и обращения в поддержку Сталина. В США, например, они объявили бойкот следственной комиссии, учрежденной под руководством Джона Дьюи, и предостерегли «всех людей доброй воли» против оказания ей содействия, заявляя, что критики московских процессов вмешиваются во внутренние дела Советского Союза, играя тем самым на руку фашизму и «нанося удар силам прогресса». Сей манифест подписали Теодор Драйзер, Гренвил Хикс, Корлисс Ламонт, Макс Лернер, Раймонд Робинс, Анна Луиза Стронг, Пол Суизи, Натанаэл Уэст и целый ряд ученых и художников, многие из которых затем оказались в первых рядах антикоммунистических крестовых походов сороковых-пятидесятых годов [6]. Луис Фишер и Уолтер Дюранти, признанные знатоки советских дел, ручались за честность Сталина, правдивость Вышинского и гуманность методов, которыми ГПУ добилось признаний у Зиновьева, Каменева, Пятакова и Радека. Даже Бертрам Д. Вольф, член оппозиции, давно изгнанный из коммунистической пар-

[6] См., например, манифест, опубликованный в мартовском выпуске 1937 года «Совьет Раша тудэй».

тии, все еще воздавал Сталину должное за спасение революции от троцкистско-зиновьевского заговора [7]. На страницах американской еврейской печати на Троцкого обрушились авторы, ранее именовавшие себя «поклонниками Троцкого», стоило ему упомянуть антисемитский подтекст московских процессов. Редактор одной из таких газет писал: «Еврейская печать впервые слышит подобное обвинение. Что касается антисемитизма, то мы привыкли рассматривать Советский Союз как нашу единственную опору против него... Непростительно со стороны Троцкого предъявлять Сталину подобное необоснованное обвинение» [8].

Лицемерие, ханжество? Простодушная боязнь критикой Сталина сыграть на руку Гитлеру? Не только. Некоторые интеллигенты не усматривали никакого смысла в опровержениях Троцкого. Чарльз Э. Биэрд, выдающийся американский историк, держался мнения, что «не дело Троцкого совершить невозможное, то есть опровергнуть отрицательные показания положительными. Это его обвинители обязаны представить не только признания, но и подтверждающие их доказательства...» Бернард Шоу также отвергал идею контрпроцесса и писал: «Я надеюсь, что Троцкий не позволит себе предстать перед каким-то трибуналом, более узким, чем его читательская аудитория, где обвинители зависят от его милости... Его перо — грозное оружие». Месяц спустя Шоу писал менее сочувственно: «Сила Троцкого была в невероятности возведенных против него обвинений... Но Троцкий все портит, прибегая к точно такого же рода нападкам на Сталина. Что ж, я провел в обществе Сталина без малого три часа и наблюдал его с неослабным любопытством, и мне так же трудно считать его вульгарным гангстером, как и Троцкого убийцей» [9]. Шоу, разумеется, обходит суть дела, поскольку Троцкий отнюдь не прибегал «к точно такого же рода нападкам на Сталина». Однако, в отличие от Роллана, Шоу не заходил так далеко, чтобы оправдывать репрессии.

В создавшейся ситуации он видел не конфликт между правым и неправым: но между правым и правым, историческую драму, подобную той, что он запечатлел в своей «Святой Иоанне» (написанной примерно в тот же период, когда Троцкий впервые был предан анафеме), столкновение революционера, сражавшегося за будущее, и власти, отстаивающей законные интересы настоящего. В подобном духе выступил и Андре Мальро, заявив что «Троцкий составляет огромную моральную силу в мире, но Сталин придал человечеству достоинство; и так же, как инквизиция не сумела умалить фундаментального достоинства христианства, московским процессам не умалить фундаментального достоинства (коммунизма)» [10].

Схожую позицию занял и Бертольт Брехт. В известной мере Брехт сочувствовал троцкизму, а репрессии его глубоко потрясли. Но заставить себя порвать со сталинизмом Брехт не мог. Он склонился перед сталинизмом, испытывая груз тягостных сомнений — точно так же, как и капитулянты в России,— и художественно изложил эти свои и их сомнения в пьесе «Жизнь Галилея». Галилея, склонившегося перед инквизицией в силу «исторической необходимости», в силу духовной и исторической незрелости народа, Брехт рассматривал сквозь призму опыта, пережитого большевиками. Галилей его драмы — это Зиновьев, или Бухарин, или Раковский, облаченные в исторический костюм. Его преследует мысль о «напрасном» мученичестве Джордано Бруно; этот страшный пример заставляет его капитулировать перед инквизицией, точно так же, как судьба Троцкого заставила многих коммунистов капитулировать перед Сталиным. Знаменитые строки Брехта: «Счастлива страна, способная родить такого героя», и «несчастен народ, в таком герое нуждающийся», достаточно ясно ставят скорее проблему Троцкого и сталинской России, чем трагедии Галилея в Италии времен Возрождения [11].

Гнев, с каким Троцкий отвечал апологетам Сталина и тем, кто поспешил умыть руки, сколь бы ни был он оправдан, выставлял Троцкого в роли пресловутого animal

---

[7] «Каковы бы ни были сегодня его (Троцкого) субъективные намерения, я не берусь о них судить, его объективная роль заключается в мобилизации настроений рабочих против Советского Союза. Он приказал своим французским сторонникам вступить в Социалистический Интернационал. Он окончательно отошел от основополагающих принципов коммунизма... Он даже выступил за гражданскую войну в СССР, тем самым превратившись в открытого врага класса и страны, которым когда-то так верно служил!»

Так Бертрам Д. Вольф писал о Троцком в 1936-м. И только под занавес «Большого террора», незадолго до того, как на скамью подсудимых сел Бухарин, «принципиальный коммунист» Вольф выразил (в «Нью рипаблик», 24.11. 1937) сожаление по поводу моральной поддержки, оказанной им репрессиям. Троцкому это дало повод заметить, что Вольфу еще многое надо усвоить и многое забыть, чтобы избежать серьезных ошибок в будущем. В последующие годы Вольф обвинял других писателей (всегда обличавших сталинские репрессии) в «апологетике Сталина»

[8] Б. З. Гольдберг в «Нью-Йорк таг» 26—27 января 1937 г. К тому времени Троцкий пересмотрел позицию по еврейскому вопросу. В интервью «Форвертс», другой ежедневной еврейской американской газете, он отмечал, что недавние проявления антисемитизма в третьем рейхе да и в Советском Союзе заставили его отказаться от былых надежд на «ассимиляцию» евреев народами, среди которых они живут. Троцкий пришел к заключению, что даже при социализме еврейский вопрос потребует «территориального решения», то есть евреев придется поселить в их собственном национальном очаге. Однако Троцкий не считал, что сионизм сумеет создать подобный очаг в Палестине и не считал, что эта проблема вообще может быть решена при капитализме. Чем дальше продержится загнивающее буржуазное общество, считал он, тем злобнее и более варварски будет проявляться во всем мире антисемитизм (Архивы, 28 января 1937 г.).

[9] Письма Д. Б Шоу секретарю Британского комитета в защиту Леона Троцкого 20 июля 1937 г. (цит. по архивам комитета и Архивам Троцкого. Закрытый раздел).

[10] Цитируется по изложению речи Мальро на обеде, данном в его честь редакцией «Нейшн». (Текст послан Троцкому одним из его сторонников и хранится в закрытом разделе Архивов.) Мальро прибыл в США при поддержке сталинистов проводить кампанию в пользу сражающихся в Испании Интербригад. Несколько ранее Троцкий выступил с критикой позиции Мальро по вопросу о репрессиях.

[11] Брехт написал первый вариант «Жизни Галилея» в 1937—1938 гг. в самый разгар «Большого террора».

méchant[12] и давал повод отмалчиваться вялым «поборникам правды». Неудивительно, что в кампании протеста отказались участвовать Сидней и Биатриса Уэбб, перешедшие к тому времени в лагерь сторонников Сталина. Но даже такие люди, как Андре Жид и Герберт Уэллс, первым порывом которых было принять участие в контрпроцессе, решили в конце концов держаться подальше. Поэтому кампания так и не набрала размаха; различные комитеты защиты Троцкого состояли в основном из заядлых антисталинистов и ряда антикоммунистов с многолетним стажем, что и обусловило сужение поля их деятельности.

В марте 1937 года американский, британский, французский и чехословацкий комитеты организовали совместную комиссию по расследованию, которой и надлежало провести контрпроцесс. В ее состав вошли: Альфред Розмер; Отто Рюле, прославившийся как единственный член рейхстага, вместе с Карлом Либкнехтом голосовавший против войны в 1914—1915 гг.; Венделин Томас, также бывший член рейхстага от коммунистической партии; Карло Треска, известный анархо-синдикалист; Сьюзанн Ла Фоллетт, радикальная американская писательница ярых антимарксистских взглядов; журналисты Бенджамен Столберг и Джон Чемберлен; Эдвард А. Росс, профессор Висконсинского университета; Карлтон Билс, лектор университета; Франсиско Саморра, латиноамериканский писатель левых взглядов.

Помимо Розмера, никто из них никогда не был связан с Троцким. Большинство были его политическими противниками. Своим авторитетом комиссия больше всего была обязана возглавившему ее Джону Дьюи, ведущему американскому философу и просветителю, имевшему также репутацию друга Советского Союза. Юридическим экспертом комиссии выступал Джон Ф. Финерти, снискавший славу во время крупных политических процессов в США, особенно процессов Тома Муни и Сакко и Ванцетти, на которых выступал защитником.

Троцкий поначалу не был уверен в том, что комиссия способна выполнить стоящую перед ней задачу. Имена большинства ее членов ничего — или мало что — ему говорили, и даже фигура председателя внушала сомнения. Троцкий опасался, что почти уже восьмидесятилетний Дьюи окажется чересчур дряхл и чересчур далек от стоящих перед комиссией вопросов. Не заснет ли он во время слушаний? Осилит ли безбрежное море документов и свидетельств? И не будет ли он, «друг Советского Союза», склонен обелить Сталина?

Эти сомнения рассеял Джеймс Бернхэм, принимавший активное участие в создании комиссии. «Дьюи стар...— писал он Троцкому,— но ум его по-прежнему остер, а личная честность вне всяких сомнений. Напомню, что его перу принадлежит самый проникновенный анализ дела Сакко и Ванцетти. Дьюи будет взвешивать доказательства не как политик... но, пожалуй, как ученый и логик. Он не заснет на заседаниях... Недооценить его было бы величайшей ошибкой... Разумеется, Дьюи — не марксист; при всем своем уме и честности он не может не занимать нейтральную политическую позицию. В этом смысле мы, очевидно, не можем «абсолютно» быть в нем уверены...»

Согласие Дьюи участвовать в работе комиссии было поступком едва ли не героическим. Как философ Дьюи был противником Троцкого — весьма скоро им предстояло схватиться в публичном споре о диалектическом материализме. При всем своем радикализме Дьюи стоял за «американский образ жизни» и парламентскую демократию. Прагматик, он был склонен предпочесть «практически мыслящего» и «неортодоксального» Сталина «догматику-марксисту» Троцкому. Встав — это в его-то годы — во главе расследования, Дьюи вынужден был отказаться от многих своих прежних связей и лишиться многих старых друзей. Сталинисты лезли вон из кожи, пытаясь его переубедить. Когда же их попытки не увенчались успехом, они обрушили на Дьюи оскорбления и клеветнические измышления — самое мягкое из них было такое: Дьюи «клюнул на Троцкого» просто из-за старческого слабоумия. На Дьюи ополчился им же основанный журнал «Нью рипаблик», где он почти четверть века состоял членом редколлегии, из которой пришлось теперь выйти. Близкие родственники умоляли Дьюи не пятнать свое имя участием в сомнительном и шатком деле. Но интриги и нападки лишь упрочили его решимость. То, что столь многие влиятельные силы и тайком и открыто пустились во все тяжкие, лишь бы воспрепятствовать его участию в процессе, служило Дьюи как раз аргументом в пользу такого участия. Он отложил работу над трактатом: «Логика: теория исследования», который считал своим magnum opus (главным трудом жизни), дабы с головой погрузиться в практический опыт данного конкретного расследования.

Неделями и месяцами трудился Дьюи над кровавыми страницами официальных отчетов о московских процессах, над многотомными сочинениями и перепиской Троцкого, над горами иных документов. Дьюи делал заметки, сопоставлял факты, даты и версии, пока тщательно не изучил все аспекты дела. Снова и снова приходилось ему противостоять угрозам и запугиванию. Ничто не могло ни поколебать его невозмутимость, ни ослабить его энергию.

Комиссии предстояло подвергнуть Троцкого перекрестному допросу как главного свидетеля, и поскольку не было ни малейших надежд получить разрешение правительства США на приезд Троцкого в Нью-Йорк, Дьюи решил вести расследование в Мексике. Его предупредили, что Конфедерация трудящихся Мексики воспротивится проведению контрпроцесса, что он и его коллеги будут встречены на границе враждебными демонстрациями, что они подвергнутся нападению толпы. Но старый философ неуклонно шел своим путем. Ум его был свободен от предубеждений. Уверенный в том, что вина Троцкого не была в Москве доказана, Дьюи тем не менее еще не был убежден в невиновности Троцкого. Преисполненный решимости не только сохранять строжайшую беспристрастность, но и сделать ее очевидной для всех, Дьюи ни разу не встретился с Троцким за пределами публичных заседаний Комиссии, хотя ему «и

[12] Злое животное *(франц.)*.

хотелось бы побеседовать с ним просто по-человечески, неофициально» [13].

Комиссия приступила к слушаниям 10 апреля. Сначала для этой цели предназначался большой зал в центре Мехико, но потом ради экономии средств и во избежание беспорядков было принято другое решение. Слушания проводились в Голубом Доме, в кабинете Троцкого. «Атмосфера была напряженной. У входа на часах стоял полицейский... Посетителей обыскивали, чтобы удостовериться, нет ли у них оружия, а затем их личность подтверждал секретарь Троцкого, который сам был вооружен». Окна комнаты, выходящей на улицу, «были затянуты шторами и заделаны сзади шестифутовыми баррикадами кирпичной кладки и мешками с песком... сложенными за ночь до начала слушаний». Присутствовало около пятидесяти человек, включая журналистов и фотографов. Слушания велись согласно принятой в США юридической процедуре. Дьюи пригласил советское посольство и Коммунистические партии Мексики и США прислать представителей для участия в перекрестном допросе, но эти приглашения остались без ответа [14].

В кратком вступительном слове Дьюи заявил, что Комиссия не является ни трибуналом, ни судом присяжных, но всего лишь исследовательским органом. «Наши функции в том чтобы заслушать любые показания г-на Троцкого, подвергнуть его перекрестному допросу и передать результаты проведенного нами расследования на рассмотрение полного состава комиссии, частью которой мы являемся...» Название «Американский комитет в защиту Леона Троцкого» отнюдь еще не означало, что комитет стоит за Троцкого; комитет действовал, исходя из «американской традиции», согласно которой «никто не должен быть осужден, не получив шанса оправдаться». Комитет ставил своей целью добиться честного суда в том случае, когда существовало подозрение, что обвиняемому в таком суде было отказано. Дело Троцкого выглядело схожим с делами Муни или Сакко и Ванцетти, но тем-то хотя бы дали возможность апеллировать к законно созванному суду, в то время как Троцкого и его сына дважды признал виновными заочно высший советский трибунал; настоятельные обращения Троцкого к Советскому правительству — потребовать его выдачи (в результате чего он автоматически предстал бы перед норвежским или мексиканским судом) — игнорировались.

«То, что его осудили, лишив возможности высказаться, является предметом глубочайшего беспокойства для настоящей комиссии и совести всего мира». Объясняя мотивы своего участия в деятельности комиссии, Дьюи сказал, что, посвятив жизнь просвещению общества, он и выпавший сейчас на его долю труд рассматривает как чрезвычайно важную общественную и просветительскую задачу — «действовать иначе противоречило бы принципам всей моей жизни».

Слушания продолжались целую неделю; состоялось тринадцать заседаний. Дьюи, Финерти, Гольдман, адвокат Троцкого, и другие подвергли Троцкого перекрестному допросу по мельчайшим пунктам обвинений и свидетельских показаний. Временами перекрестный допрос чуть ли не выливался в политический диспут — когда некоторые из допрашивающих настаивали на совместной моральной ответственности Ленина и Троцкого за порождение сталинизма, а Троцкий это обвинение отвергал. Не было ни одного вопроса, на который Троцкий отказался бы отвечать или от которого пытался бы уклониться. Несмотря на вспыхивавшие время от времени дискуссии, слушания, в общем, протекали спокойно и ровно, срыв произошел лишь один раз, во время так называемого инцидента Билса.

Член Комиссии Карлтон Билс упорно задавал Троцкому вопросы, мало относящиеся к делу и выдававшие его, Билса, просталинскую ориентацию, к тому же сформулированные в крайне оскорбительной форме. Троцкий отвечал сдержанно и по существу. К концу долгого заседания 16 апреля Билс пустился в политический спор, заявив, что если Сталин, сторонник построения социализма в одной стране, представляет собой зрелую большевистскую государственность, то Троцкий — подрывной элемент, думающий лишь о разжигании мировой революции. Троцкий возразил, что на московских процессах его заклеймили как поджигателя не революции, а контрреволюции и союзника Гитлера. Затем Билс спросил Троцкого, знал ли тот Бородина, бывшего эмиссара Сталина в Китае и советника Чан Кайши. Троцкий ответил, что лично с Бородиным знаком не был, хотя, разумеется, знал о нем. Но, продолжал Билс, разве не командировал Троцкий Бородина в Мексику в 1919 или 1920 году с целью создания здесь коммунистической партии? Вопрос подразумевал, что Троцкий солгал комиссии и, более того, пытался разжечь революцию даже в стране, ныне предоставившей ему убежище.

Атмосфера накалялась. Хорошо помня пережитое в Норвегии, Троцкий подозревал, что вопрос специально рассчитан на то, чтобы возбудить против него общественное мнение в Мексике, лишить его убежища и сорвать контрпроцесс. Он подчеркнул, что всегда возлагал надежды на мировую революцию, но стремился способствовать ее развитию законными политическими средствами, а не путем подготовки переворотов. Утверждение об отправке Бородина в Мексику в 1919—1920 гг.— чистейшей воды фантазия. Тот период (это был самый разгар гражданской войны) он почти безвылазно провел в своем штабном поезде, не сводя глаз с военных карт, и почти напрочь растерял «все свои познания в зарубежной географии».

Билс, в свою очередь, настойчиво повторял выдвинутые им обвинения, добавив, что Бородин сам заявил, что Троцкий направил его в Мексику, а также и то, что еще в 1919 году в Российской Коммунистической партии уже существовал раскол между государственниками и поджигателями мировой революции.

— Позволительно ли мне осведомиться об источнике сего сенсационного заявления,— спросил Троцкий.— Оно опубликовано?

— Нет, не опубликовано,— ответил Билс.

[13] Это сообщение основывается на моих личных беседах с Дьюи и его секретарем д-ром Ратнером в 1950 г.

[14] «Дело Леона Троцкого», приложение III.

— В таком случае могу посоветовать члену комиссии лишь одно: сказать своему информатору, что он — лжец,— заявил Троцкий.

— Благодарю вас, г-н Троцкий. Г-н Бородин — лжец.

— Весьма возможно,— лаконично сказал Троцкий.

Перед окончанием заседания он выразил протест против «тенденциозно сталинистского тона» Билса. В глазах Троцкого этот инцидент приобретал все более и более зловещую окраску. Дело Бородина никакого отношения к московским процессам не имело и казалось притянутым лишь для того, чтобы выставить в невыгодном свете его и мексиканское правительство. Поэтому при открытии очередного заседания Троцкий еще раз опроверг обвинения Билса и обратился к комиссии с просьбой пролить свет на их источник. Если Билс получил эти сведения непосредственно от Бородина, пусть скажет, где и когда именно. Если он получил эти сведения косвенным путем, то как, когда и через кого? Тщательное рассмотрение этих вопросов, вероятно, вскроет замысел, направленный на дискредитацию контрпроцесса. «Если сам г-н Билс не принимает сознательно прямого участия в этой новой интриге — а я надеюсь, что так оно и есть,— он должен как можно быстрее предоставить все надлежащие объяснения, чтобы позволить комиссии вскрыть ее истинный источник». После того как Билс отказался назвать источник информации, комиссия выразила ему порицание на закрытом заседании и Билс подал в отставку. Дальнейших последствий инцидент не имел.

Итоги перекрестного допроса подвел сам Троцкий в своем последнем слове 17 апреля. Явно переутомленный, он попросил разрешения прочитать заранее подготовленный текст сидя. Троцкий начал с того, что либо он и почти все члены ленинского Политбюро предали коммунизм и Советскую власть, в чем их обвиняют в Москве, либо Сталин и члены его Политбюро лгут. Третьего не дано. Утверждается, что изучать этот вопрос — значит вмешиваться во внутренние дела Советского Союза, отечества трудящихся всего мира. «Странное же это отечество», если трудящимся не позволяется обсуждать его дела. Его самого и членов его семьи лишили советского гражданства. У них нет иного выхода, кроме как отдать себя «под защиту мирового общественного мнения». Тем, кто подобно Чарльзу Э. Биэрду считал, что доказывать должен Сталин, а не он и что в любом случае невозможно «опровергнуть отрицательные показания положительными», Троцкий отвечал, что юридическая концепция алиби предполагает возможность подобного опровержения, и он вполне в состоянии установить свое алиби и продемонстрировать тот «положительный факт», что Сталин организовал «величайший в истории подлог».

Юридическое рассмотрение вопроса, однако, «сделало своим предметом форму подлога, но не содержание его», неотделимое от политического фона репрессий «тоталитарного угнетения, которому... подвержены все — и обвиняемые, и свидетели, и судьи, и защита и даже само обвинение» В условиях подобного угнетения суд утрачивает характер юридического процесса и превращается «в пьесу с заранее расписанными ролями. Обвиняемые появляются на сцене лишь после серии репетиций, заведомо убедивших постановщика, что никто из исполнителей не выйдет за рамки роли». Состязательность обвинения и защиты здесь не предусматривалась. Ведущие актеры играли свои роли под дулом пистолета. «Пьеса может исполняться лучше или хуже, но это вопрос инквизиторского мастерства, а не правосудия».

Взвешивая обвинение, следует принимать во внимание политическую репутацию обвиняемых. Обычно преступление вырастает из характера преступника или хотя бы совместимо с ним. Вот почему при перекрестном допросе была воскрешена в памяти общая картина деятельности Троцкого и других обвиняемых в рядах большевистской партии и то, какие роли они играли в революции; в свете чего приписываемые им обвинения выглядели абсолютно несовместимыми с их характерами. И Сталину по этой причине приходилось фальсифицировать историю.

Здесь был уместен классический критерий: cui prodest? (кому выгодно?). Было ли и могло ли быть убийство Кирова на руку оппозиции? Или оно было на руку Сталину, получившему таким образом предлог для физического уничтожения оппозиции? Могла ли оппозиция что-то выгадать от диверсий в угольных шахтах, на заводах и железных дорогах? Или это правительство, чья политика сверхпоспешной индустриализации и чье бюрократическое головотяпство вызвали в промышленности столько катастроф, стремилось обелить себя, сваливая вину за все несчастья на оппозицию? Могла ли выиграть что-либо оппозиция от союза с Гитлером и микадо? Или это Сталин мог нажить политический капитал, связав обвиняемых с Гитлером?

Совершить любое из этих преступлений было бы для оппозиции самоубийственной глупостью. Сами предъявленные обвинения свидетельствовали о том, что в распоряжении обвинителей нет никаких фактов. Заговор, о котором говорил Вышинский, предположительно существовал многие годы и должен был бы быть широко разветвлен как в СССР, так и за рубежом. Большинство его предполагаемых руководителей и участников все эти годы находились в руках ГПУ. И тем не менее ГПУ не смогло привести никаких реальных данных, ни единого вещественного доказательства, которое подтвердило бы существование гигантского заговора — одни лишь признания, бесконечные признания.

«Заговор без плоти и крови». Люди на скамье подсудимых не привели ни одного конкретного факта своей заговорщической деятельности, ограничившись лишь разговорами о них — все судебные заседания были разговором о разговорах. Отсутствие какого бы то ни было психологического правдоподобия и фактического содержания показывало, что весь спектакль затеян на основе специально разработанного «либретто». Однако «подлог такого колоссального масштаба не по плечу даже самой могуще-

ственной полиции... Непомерно огромное количество людей и обстоятельств, характеристик и дат, интересов и документов... не укладывается в рамки заранее заготовленного либретто!» «Если подойти к вопросу с художественной стороны, то подобная задача драматически достоверно увязать сотни людей и неисчислимое количество фактов — не по плечу даже Шекспиру. Но ГПУ не располагает Шекспирами, готовыми к его услугам».

Пока ГПУ изобретало заговоры, ограничивая их пределами СССР, они еще могли показаться более или менее правдоподобными! Инквизиторские методы и насилие могли принудить обвиняемых и свидетелей к известной последовательности в их фантастических измышлениях. Но дело менялось, как только требовалось протянуть нити заговора в зарубежные страны, а ГПУ нуждалось в подобных нитях, чтобы изобличить его, «врага народа номер один». За рубежом, однако, факты, даты и обстоятельства поддавались проверке; и стоило только их проверить, как версия о заговоре рассыпалась в пух и прах. Ни одна из этих «нитей», долженствующих привести к Троцкому, так к нему и не привела. Было установлено, что некоторые из обвиняемых — Давид, Берман-Юрин, Ромм и Пятаков,— которым Троцкий якобы давал указания (в присутствии сына или без него) о террористических актах, не могли иметь встречи ни с ним, ни с его сыном в указанных местах и в указанное время, потому что ни Троцкий, ни его сын, ни они сами не были и не могли там быть.

Таким образом рушилось все обвинение, ибо «заговор» целиком строился на якобы имевших место связях Троцкого с Радеком (через Ромма) и Пятаковым. Все остальные обвинения и показания выводились из признаний Радека и Пятакова, что они якобы действовали в качестве главных агентов Троцкого и служили краеугольными камнями заговоров. «Показания всех остальных обвиняемых основываются на наших показаниях»,— заявил в суде сам Радек; но их собственные показания, в которых центральное место занимали встречи с Троцким в Париже и Осло, не основывались ни на чем. «Вряд ли есть необходимость разбирать здание по кирпичику, если рухнули две его опорные колонны»,— резюмировал Троцкий, не переставая, однако, разбирать здание «по кирпичику».

Он обратил внимание комиссии на тот факт, что его версию как раз и отличает та психологическая и историческая правда, которой столь явно не хватало в версиях Москвы; что документы, представленные им комиссии, дотошнейшим образом отражают его жизнь и деятельность на протяжении многих лет и что, соверши он какие-либо из приписываемых ему преступлений, его документы, безусловно, так или иначе выдали бы его. Люди, легко глотающие слонов, но способные подавиться мухой, говорили, что Троцкий мог так составить свои архивы и досье переписки, чтобы скрыть свои настоящие замыслы. Но маскировки ради можно составить пять, десять, даже сто документов, но не тысячи писем, адресованных сотням людей, не сотни статей и десятки книг.

Нет, Троцкий не «возвел небоскреб, дабы прикрыть дохлую мышь». Объяви, к примеру, кто-либо Диего Риверу тайным агентом католической церкви, разве не обратится любая следственная комиссия к фрескам самого Риверы? И повернется ли у кого язык сказать, что яростный антиклерикализм этих фресок был всего лишь маскировкой? Никто не может «творить кровью сердца и души» — идет ли речь об искусстве, истории или революции — затем лишь, чтобы обмануть мир. Какой неубедительной по сравнению с документацией Троцкого была документация Вышинского, всего-то состоящая из двух писем Троцкого Мрачковскому, трех Радеку, одного Пятакову и одного Муралову, и все — фальшивки!

Но почему же обвиняемые признавались? Вряд ли можно было ожидать от Троцкого точной информации об инквизиторских методах ГПУ. «Мы здесь не в состоянии допросить Ягоду (его самого допрашивает сейчас Ежов), или Ежова, или Вышинского, или Сталина, или... их жертвы, большинство из которых уже расстреляны». Однако комиссия располагала письменными показаниями русских и европейских коммунистов, испытавших методы ГПУ на себе. Слишком часто забывают о том, что признавшие себя виновными — не активные лидеры оппозиции, а капитулянты, годами пресмыкавшиеся перед Сталиным. Их последние признания логически увенчивали длинную цепь капитуляций, завершали воистину «геометрическую прогрессию ложных обвинений». На протяжении тринадцати лет Сталин воздвигал с их помощью вавилонскую башню клеветы. Такое деяние было вполне по силам диктатору, привыкшему ни перед чем не останавливаться и «способному скупать души, как мешки картошки». Но Сталин и сам боялся возведенной им вавилонской башни, ибо знал, что она рухнет, как только даст первую трещину, а трещина неминуема!

Закончил Троцкий апофеозом Октябрьской революции и коммунизма. Даже при Сталине, отметил он, несмотря на все ужасы репрессий, советское общество по-прежнему являло собой величайший прогресс в социальной организации, когда-либо достигнутый человечеством. В трагическом перерождении большевизма надо винить не революцию, а то, что она не сумела распространиться за пределы России. В настоящее же время перед советским рабочим классом стоит выбор между Гитлером и Сталиным. Рабочие предпочли Сталина и были в этом правы: «Лучше Сталин, чем Гитлер». До тех пор, пока не явится иной альтернативы, рабочие сохранят апатию даже перед лицом чудовищного правления Сталина. Но они воспрянут от этой апатии при малейшем проблеске надежды на новые победы социализма за рубежом. «Поэтому я и не отчаиваюсь... Я терпелив. Три революции приучили меня терпеть».

«Опыт всей моей жизни, в которой не было недостатка ни в победах, ни в поражениях, не только не подорвал мою веру в светлое, ясное будущее человечества, но,

напротив, сделал ее несокрушимой. Эту веру в разум, в истину, в человеческую солидарность, с которой я, восемнадцатидетний, пошел в рабочие кварталы провинциального русского города Николаева, я полностью и безраздельно сохранил. Она стала более зримой, но не менее страстной».

Этими словами, а также выражением признательности комиссии и ее председателю и закончил Троцкий apologia pro vita sua[15].

Глубоко потрясенные члены Комиссии долго хранили молчание. Дьюи намеревался официально подытожить и закрыть слушания. Вместо этого он завершил их одной лишь фразой: «Что бы я сейчас ни сказал, кульминация уже прозвучала».

Результаты перекрестного допроса тем более примечательны, что надо учесть ограничения, добровольно наложенные на себя Троцким. Он часто сдерживал себя, чтобы не создавать ненужных осложнений для мексиканского правительства. Он стремился разъяснить многие проблемы своих разногласий со Сталиным не в привычных марксистских формулах, которые остались бы непонятными аудитории, но на языке прагматически мыслящих либералов,— трудность подобного перевода может оценить лишь тот, кто когда-либо пробовал делать его сам.

Желая найти с аудиторией личный контакт, он вел собственную защиту не на родном языке и даже не по-немецки или по-французски, но по-английски. Словарь его был ограничен, грамматикой и идиомами он владел неуверенно. Лишенный возможности блеснуть своим могучим красноречием, отняв у себя преимущества, доступные даже самому занудному оратору, отвечал без подготовки на самые разные, сложные и неожиданные вопросы. Изо дня в день, от слушания к слушанию он боролся с сопротивлением чужого языка, часто подыскивая слова и сбиваясь на неумышленно комичные фразы, иногда говоря вещи, почти полностью противоположные тому, что он хотел сказать, или не понимая адресованных ему вопросов. Как будто бы Демосфен пришел бороться за свою жизнь на суд, не излечившись от заикания и с полным ртом камней. Так Троцкий излагал перипетии своей многолетней политической деятельности, излагал и отстаивал свои взгляды, описывал многие изменения в характере существующего в СССР режима, анализировал проблемы, разделившие его со Сталиным и Бухариным, но также и с Зиновьевым и Каменевым, набрасывая портреты этих деятелей и разбирая каждый этап ужасной схватки.

К концу заседаний ни один вопрос не остался без ответа, ни один серьезный аспект — смазанным, ни одно историческое событие — неосвещенным. Тринадцать лет спустя Дьюи, проведший столь значительную часть жизни в академических дебатах и по-прежнему решительно не приемлющий Weltanschauung (мировоззрение) Троцкого, с восхищением вспоминал «интеллектуальную мощь, с которой Троцкий собрал и организовал массу аргументов и доказательств, изложив нам значение каждого существенного факта».

Проницательность логики Троцкого взяла верх над неуклюжими фразами, а четкость мысли просвечивала сквозь словесный лом. Не угасло даже его остроумие, часто вносившее какие-то проблески в тот мрак, что представлял собою предмет слушаний. Главное же, убежденность в правоте позволила Троцкому преодолеть все внешние помехи и препятствия. Он стоял на том, на чем стоял всегда, как самое истина, неприбранный и ненаряженный, без брони и щита, и все же блестящий и непобедимый.

Комиссия Дьюи вынесла решение лишь несколько месяцев спустя. Троцкому тем временем предстояло пополнить ранее предоставленные комиссии доказательства; он загрузил всех домочадцев напряженной работой. Перекрестный допрос и связанный с ним труд измотали его, а короткий отдых за городом не восстановил силы. Остаток весны и все лето он мучился страшными приступами головной боли, головокружениями, высоким давлением и снова жаловался на «заставшую врасплох» старость. Первые отклики на контрпроцесс были едва слышными[16]. Отношения в семье оставались натянутыми. «Дорогой папа,— писал к концу апреля Лёва,— ты по-прежнему подвергаешь меня остракизму... уже больше месяца, как от тебя нет писем». Троцкий, все еще недовольный тем, как Лёва управлялся с изданием «Бюллетеня», снова предложил перевести его в Нью-Йорк. Лёва спокойно ответил, что газете следует оставаться в Европе, где находится ее основная аудитория, и вновь горько пожаловался матери на грубое с собой обращение. В длинном письме Троцкий оправдывался перед сыном, стремясь загладить конфликт. Он объяснил Лёве, что, потеряв столько месяцев в Норвегии, прежде, чем подготовить контрпроцесс, он приходил в раздражение из-за каждой последующей задержки, ибо хотел предъявить Комиссии Дьюи полностью укомплектованные досье. Задержки же, как он думал, возникали из-за нежелания Лёвы сотрудничать с товарищами. Троцкий советовал сыну отдохнуть и успокоить нервы: «Впереди нас обоих еще ждут большие испытания».

Совет был весьма своевременен. Лёва тоже страдал от головных болей и от лихорадки, отцовской же выносливостью он не обладал. «Что осталось от моего былого здоровья?» — писал он матери, намекая, что в скором времени будет вынужден подвергнуться «небольшой операции». Он жил в нищете, но подумывал о том, как бы помочь родителям деньгами, устроившись работать на завод или получив академическую стипендию. Когда Наталья советовала ему заниматься вместо этого журналистикой, Лёва в минорном тоне отвечал: «Пишется... туго — надо читать, изучать, думать, а все требует времени... Я же, с начала эмиграции, почти постоянно загружен

[15] Оправдание своей жизни *(лат.)*.

[16] Британский и французский комитеты в защиту Леона Троцкого сообщили в Койоакан, что газеты в их странах почти полностью игнорируют контрпроцесс.

техническими и прочими поручениями. Я — тягловый скот, и ничего более. Я не читаю, не учусь. Я и не мечтаю заниматься какой-либо литературной работой: нет у меня таланта и полета, которые отчасти способны заменить знания».

Уныние сочеталось с выражениями преданности и нежности. Когда родители послали ему обратно деньги, собранные им у французских издателей, Лёва оставил себе лишь малую толику, остальное же разделил между нуждающимися товарищами, часть внес в фонд организации. Он переживал за отца — не слишком ли безрассудно расходует тот свои силы, не слишком ли треплет себе нервы? Почему, спрашивал он Наталью, они не купили в Мексике машину, не ездят на охоту и на рыбалку? Почему Л. Д. не играет в крокет, который так любил? «Моя дорогая любимая мамочка...— писал он в ответ на довольно грустное ее письмо,— подумай только, что могло случиться, не соверши Сталин этой «ошибки» — не изгони папу? Его уже давно бы убили... А если бы мне разрешили вернуться в СССР в 1929 году, если бы Сергей занимался политикой, если бы папа был в Норвегии или, еще хуже, в Турции? Кемаль выдал бы его... дела были бы куда хуже». Слабые, разумеется, утешения, но лучших не было...

Между тем в Советском Союзе и дня, наверное, не проходило без огромных человеческих жертв. К концу мая ГПУ объявило о раскрытии заговора, возглавляемого маршалом Тухачевским, заместителем наркома обороны, фактическим руководителем Красной Армии, работавшим над ее модернизацией. Были обвинены в измене выдающиеся военачальники — Якир, Уборевич, Корк, Путна, Примаков и другие, в том числе и начальник ГЛАВПУР РККА Гамарник. Все были казнены, за исключением Гамарника, покончившего жизнь самоубийством. Из четырех маршалов, подписавших смертный приговор — Ворошилова, Буденного, Блюхера и Егорова,— двое последних также были вскоре расстреляны. Все эти люди заняли командные должности в бытность Троцкого наркомвоенмором, но в большинстве своем никогда не принадлежали к оппозиции, и никто из них не поддерживал связей с Троцким после его высылки. Тем не менее всех обвинили в содействии ему и Гитлеру и в деятельности, ставящей целью военное поражение и расчленение Советского Союза. Их казнь послужила прелюдией к репрессиям, унесшим жизни двадцати пяти тысяч командиров и обезглавившим Красную Армию накануне второй мировой войны.

Четверть века спустя, после официальной реабилитации Тухачевского и большинства других военачальников, так и не был пролит свет на истоки репрессий. Согласно различным антисталинским источникам, Тухачевский, встревоженный террором, разрушающим обороноспособность страны и подрывающим моральный дух нации, готовил переворот с целью свержения Сталина и власти ГПУ, но не входил при этом в контакты ни с Троцким, ни тем более с Гитлером или какой-либо иной иностранной державой. Троцкий в существование заговора не верил, но характеризовал падение Тухачевского как симптом конфликта между Сталиным и командным составом Вооруженных сил, который может поставить военный переворот «на повестку дня».

К этому времени ГПУ уже репетировало «процесс двадцати одного», в котором главные роли предназначались Рыкову, Бухарину, Томскому, Раковскому, Крестинскому и Ягоде. (Из них унижений открытого суда и признания избежал лишь покончивший с собой Томский.) И не успел еще подняться занавес этого спектакля, как террор обрушился и на саму сталинскую фракцию. Рудзутак, Межлаук, Косиор, Чубарь, Постышев, Енукидзе, Окуджава, Элиава, Червяков и другие — члены Политбюро, партийные секретари Москвы, Украины, Белоруссии, Грузии, профсоюзные лидеры, руководители Госплана и ВСНХ, почти все сталинисты с немалым стажем, были заклеймены как предатели и иностранные шпионы и казнены. Орджоникидзе, более тридцати лет преданный Сталину, но начавший ему противоречить из-за мук совести, скончался при таинственных обстоятельствах — как полагали многие, был доведен до самоубийства.

Если троцкистов, зиновьевцев и бухаринцев предавали публичному поношению, то этих сталинцев уничтожали тайно, не прибегая к открытым процессам. Погром, учиненный Сталиным в этой среде, остался покрытым мраком. Террор распространялся далеко за рамки большевистской партии, втянув в мясорубку многих немецких, польских, венгерских, итальянских и балканских коммунистов, эмигрировавших в Советский Союз, спасаясь от тюрем и концлагерей у себя на родине. Затем «борьба с троцкизмом» распространилась и за рубеж.

В Испании ГПУ обосновалось в самом начале гражданской войны и обрушилось на ПОУМ[17]. Андрес Нин, вождь ПОУМ, расходился во взглядах с Троцким, критиковавшим его за участие в лоялистском правительстве Каталонии и за «робкую и полуменьшевистскую» линию. Но даже такая политика Нина оставалась слишком радикальной и независимой в глазах сталинистов периода Народного фронта, поэтому Нина и его партию поносили, как «пятую колонну» Франко. В конце концов его похитили и убили. Каждый осмелившийся протестовать навлекал на себя месть ГПУ. Охота за ведьмами, убийства и цинизм, с которым Сталин использовал в своих целях испанскую революцию, деморализовали лагерь республиканцев и подготовили его поражение. И как бы в насмешку Сталин отрядил самого Антонова-Овсеенко, бывшего троцкиста и героя семнадцатого года, руководить репрессиями в Каталонии, оплоте ПОУМ. Затем, когда Антонов-Овсеенко сделал свое дело, Сталин и его объявил шпионом и саботажником и расстрелял.

В Москве больше никто не чувствовал себя в безопасности, даже сами инквизи-

[17] Partido Obrero de Unificacion Marxista — Рабочая партия марксистского объединения, организация испанских троцкистов, входившая в Четвертый Интернационал.

торы и палачи. После ареста Ягоды репрессиям подверглись ГПУ и все остальные секретные службы. Их агентов в Европе заманивали домой, где предъявляли стандартные обвинения. Как правило, эти агенты знали или догадывались, что их ждет, но повиновались как загипнотизированные — многие предпочитали принести себя в жертву, чем просить убежища в капиталистической стране. Поэтому сенсацией явился поступок Игнатия Рейсса, резидента советской разведывательной сети в Европе, покинувшего свой пост в знак протеста против репрессий.

Он принял это решение, хотя его лично в Москву не отзывали. Потрясенный репрессиями, Рейсс связался с Снивлитом, голландским троцкистом-парламентарием (а через него — с Лёвой), чтобы предупредить Троцкого о принятом Сталиным решении «ликвидировать троцкизм» за пределами Советского Союза теми же методами, что и в его пределах. Рейсс описал дьявольский садизм и шантаж, долгие и ужасные допросы, на которых ГПУ выбивало звучавшие на московских процессах признания, нравственные муки и растерянность старых большевиков; но рассказал он и о молодых коммунистах, отказавшихся сдаться, по-прежнему кричавших в тюремных камерах и перед казнью: «Да здравствует Троцкий!»[18]

18 июля Рейсс отправил послание из Парижа в ЦК в Москву, уведомляя о разрыве со сталинизмом и переходе в Четвертый Интернационал. «Недалек день,— заявил он,— когда международный социализм осудит все преступления, совершенные за последние десять лет. Ничто не будет забыто, ничто не будет прощено... «Гениальному вождю, Отцу народов, Солнцу социализма» придется отвечать за все содеянное». «Возвращаю вам орден боевого Красного Знамени, врученный мне в 1928 году. Носить его... было бы ниже моего достоинства»[19].

Шесть недель спустя, 4 сентября, пробитое пулями тело Рейсса обнаружили в Швейцарии, на дороге близ Лозанны. ГПУ дозналось о его решении еще до того, как он вручил письмо сотруднику советского посольства в Париже. Зная о том, какое отвращение вызывают репрессии даже у его бывших коллег по секретной службе, Рейсс надеялся убедить кое-кого из них последовать своему примеру. С этой целью он договорился в Лозанне с Гертрудой Шильдбах, резидентом советской разведки в Италии, с которой дружил на протяжении почти что двадцати лет. Встреча состоялась. Гертруда Шильдбах выразила притворное сочувствие планам Рейсса и после первой беседы заманила его на следующую встречу в окрестностях Лозанны, где он и попал в ловушку ГПУ.

Швейцарским и французским полицейским вскоре удалось кое-что выяснить. Обследовав брошенную окровавленную машину и оставленный в гостиницах багаж, они установили личности убийц. Ими оказались члены Общества содействия возвращению на Родину, работавшего среди русских эмигрантов в Париже при посредстве советского посольства.

Полиция установила также, что убийцы Рейсса давно уже держат под наблюдением Лёву. Женщина, на имя которой была нанята окровавленная машина, имела поручение следить за ним. (Лёва вспомнил, что годом ранее эта женщина выехала следом за ним на юг Франции, где он несколько дней отдыхал, поселилась в том же пансионате, что и он, и время от времени со странной назойливостью приглашала его покататься на яхте.) Дальнейшее расследование показало, что та же банда готовила Лёве ловушку в Мюлузе, близ швейцарской границы, в январе 1937 года, когда он собирался встретиться там со швейцарским юристом, чтобы обсудить возможность иска против швейцарских сталинистов. Заболев, Лёва отказался тогда от поездки, но банда продолжала следить за ним всю первую половину года, и он эту слежку заметил. В июле и августе Лёва с изумлением обнаружил, что слежка за ним почти прекратилась — видимо, убийцы выслеживали в это время Рейсса. Теперь же можно было ожидать их возвращения на старый след.

Лёва был ошеломлен, узнав от полиции, как быстро и точно агенты ГПУ оказывались обычно информированными о планах его передвижений. Но от кого? Кое-кто осведомил их о намерениях Рейсса? Среди троцкистов уже высказывались подозрения, что в ближайшее окружение Лёвы проник провокатор. Эти подозрения сошлись на Этьене (еще не так давно работавшем в Обществе содействия возвращению). Снивлит настолько не доверял Этьену, что сначала даже отказался свести обратившегося к нему Рейсса с троцкистским центром в Париже, считая это опасным. Лёва, однако, не желал и слышать о каких-либо подозрениях в адрес его «лучшего и самого надежного товарища».

Лёва писал в некрологе на смерть Рейсса для «Бюллетеня», ощущая, как горло стягивает невидимая петля: «Отцу народов» и его ежовым достаточно хорошо известно, сколько вокруг них потенциальных рейссов... Сталинским планам не суждено сбыться... Никому не дано заставить историю остановиться, грозя ей оружием. Сталинизм обречен; он гниет и разлагается у нас на глазах. Близок день, когда его смердящий труп будет выброшен на свалку истории». Однако судьба Рейсса послужила острасткой другим потенциальным перебежчикам. В течение нескольких последующих недель его примеру последовали лишь двое: Вальтер Кривицкий, еще один крупный разведчик, и Александр Бармин, временный поверенный советского посольства в Афинах. И они, порвав со своим правительством, искали контакта с Троцким, сторонниками которого никогда не были раньше, потому что, как объяснял Кривицкий, Троцкий «окружен ореолом» даже в глазах сотрудников ГПУ, чья прямая обязанность состояла в борьбе с троцкизмом.

Странные это были новообращенные: Кривицкий опасался, что Троцкий и троцкисты будут презирать его, столько лет служившего Сталину, и не станут ему до-

[18] «Записки Игнатия Рейсса». Б. О. № 60—61. Декабрь 1937.
[19] И. Р е й с с. «Письмо в ЦК ВКП(б)», сентябрь—октябрь 1937.

верять. Поэтому он стремился оправдать свое прошлое в тот самый момент, когда порывал с ним. Вдова Рейсса обвинила Кривицкого в соучастии в убийстве мужа. Кривицкий признал, что он здесь не без греха. Он жаждал искупить свою вину, поведав правду о репрессиях, но в то же время стремился сохранить многие известные ему тайны, имевшие отношение к обеспечению обороноспособности СССР. Лёва выслушивал его вымученные признания не без отвращения, но счел необходимым передать полученную информацию отцу. Он также считал своим долгом помочь и по возможности защитить каждого советского гражданина, решившего порвать со сталинизмом. Троцкий со своей стороны настоятельно призывал Кривицкого и Бармина выступить против Сталина открыто и недвусмысленно, как из соображений их личной безопасности, так и в целях политической ясности. Их метания вызывали у него беспокойство, а Лёвина снисходительность — нетерпение, что, в свою очередь, приводило к новой вспышке ссоры между отцом и сыном.

Тем временем присутствие провокатора в ближайшем окружении Лёвы все больше запутывало ситуацию. Кривицкий подтвердил предупреждения Рейсса о предстоящих убийствах троцкистов и сообщил, что ГПУ имеет «глаза и уши» непосредственно в троцкистском центре в Париже. Установить личность провокатора он, однако, не мог, но подозревал Виктора Сержа. ГПУ, утверждал Кривицкий, не выпустило бы Сержа и не позволило бы ему покинуть СССР, не имей оно уверенности, что он будет шпионить за троцкистами. Никто, разумеется, не подходил столь мало для подобной роли, как Виктор Серж — один из самых ранних сторонников Троцкого, щедро одаренный, хотя и политически наивный, литератор. Худшей его чертой можно было признать склонность к тщеславной болтовне — недостаток, разумеется, серьезный для члена организации, которой надлежало хранить секреты от ГПУ. Как бы то ни было, под подозрение начали попадать все без исключения, даже сам Лёва, настоящий же провокатор тем временем продолжал читать почту Троцкого, знакомился со всеми Лёвиными секретами и уберегал свою репутацию, бросая тень подозрений на других.

Продолжая расследовать дело об убийстве Рейсса, французская полиция обнаружила, что один из банды убийц обратился за въездной визой в мексиканское посольство и обзавелся подробным планом Мехико. Лёва немедленно предупредил об этом Койоакан. Полиция, всерьез обеспокоенная угрозой, которой подвергалась жизнь Лёвы, приставила к нему охранника. Один из его друзей — почти наверное Клемент («Адольф») — принял Лёвины проблемы настолько близко к сердцу, что написал Троцкому и Наталье, умоляя их приказать Лёве немедленно покинуть Францию и выехать к ним в Мексику. Лёва, сообщал он, болен, измотан, постоянно подвергается опасности, но при этом убежден, что «незаменим» в Париже и должен «оставаться на посту». Но это не совсем так, товарищи способны заменить его; оставшись же в Париже, он окажется «абсолютно беззащитен перед ГПУ». Во всяком случае родители должны упросить его приехать в Мехико хотя бы на время отдохнуть и полечиться. «Он одарен, храбр и энергичен, и мы должны его беречь».

Эта трогательная забота не возымела должного действия. Троцкий, разумеется, прекрасно сознавал, что жизнь Лёвы в опасности. Он неустанно призывал Лёву к бдительности, требовал избегать любых контактов с людьми, «которых ГПУ способно держать в руках», особенно из числа мучающихся ностальгией русских эмигрантов. Как раз накануне убийства Рейсса он писал: «В случае покушения на тебя или на меня обвинят Сталина, но ведь ему нечего терять — во всяком случае, в смысле чести». Тем не менее Троцкий не поощрял предложений об отъезде Лёвы из Франции. Когда Лёва настаивал на том, что он «незаменим в Париже» и обещал, что в целях безопасности будет жить инкогнито (как Троцкий в Барбизоне), отец ответил, что отъезд Лёвы из Франции ничего не даст: в США его вряд ли впустят, а в Мексике его безопасность будет обеспечена куда хуже, чем во Франции. Он не хочет, чтобы сын запер себя в «полутюрьме» Койоакана.

Разлад между отцом и сыном тоже, видимо, сыграл роль в том, что ни тот, ни другой не слишком стремились увидеться. Последнее письмо Троцкого на эту тему завершается скупо и натянуто: «Voilà, mon petit, вот и все, что я могу тебе сказать. Немного. Но... это все... Что сумеешь получить от издателей, оставляй теперь себе. Понадобится. Je t'embrasse. Ton Vieux»[20]. Было в этом письме (за которое Троцкий так горько упрекал себя несколькими месяцами спустя), что-то от послания бойцу, удерживавшему обреченный аванпост без малейшей надежды на помощь. Но у Троцкого были основания считать, что в Мексике Лёва не найдет большей безопасности, чем во Франции.

В Мексике осело множество агентов ГПУ, часто под видом беженцев из Испании, а кампания за высылку из страны Троцкого принимала все более широкий характер. К концу года в Мехико все стены были обклеены плакатами, обвинявшими Троцкого в том, что он в сговоре с реакционно настроенными генералами готовится свергнуть президента Карденаса и установить в стране фашистскую диктатуру. Предсказать, куда заведут подобные нападки, было невозможно.

Мрак, сгущавшийся все эти месяцы, лишь один раз прорезал светлый луч — когда в сентябре Комиссия Дьюи завершила контрпроцесс и вынесла вердикт, недвусмысленно гласящий: «На основании всех рассмотренных доказательств... мы признаем (московские) процессы августа 1936-го и января 1937-го фальсифицированными... Мы признаем Льва Троцкого и Льва Седова невиновными»[21]. Троцкий встретил вердикт

[20] «Вот так, малыш... Обнимаю тебя, твой старик» *(франц.)*. (Письмо от 18 ноября 1937 г. Архивы. Закрытый раздел.)

[21] «Невиновен!» (Доклад Комиссии по расследованию обвинений, выдвинутых против Леона Троцкого на московских процессах.)

радостью. Но если он и имел какой-то эффект, то самый небольшой. Голос Дьюи привлек определенное внимание в США, но не был услышан в Европе, занятой драматическими событиями года, последнего года перед Мюнхеном, Народным фронтом во Франции и превратностями гражданской войны в Испании. Вновь Троцкого постигло разочарование. Когда же случилась задержка с изданием номера «Бюллетеня», в котором был напечатан текст вердикта, он настолько разгневался, что обрушился на Лёву за это, как он его назвал, «преступление» и за «политическую слепоту». «Я крайне неудовлетворен, — писал он Лёве 21 января 1938 года, — тем, как издается «Бюллетень», и вынужден вновь поставить вопрос о его переводе в Нью-Йорк».

К этому моменту у Лёвы уже иссякали силы. Он вел, выражаясь словами Сержа, «адскую жизнь». Нищету и личные горести переносил куда легче, чем удары, наносимые его гордости и вере. Еще раз процитируем Сержа: «Не единожды, пробродивши всю ночь до рассвета по Монпарнасу, мы вместе пытались распутать клубок московских процессов. То и дело останавливаясь под уличным фонарем, один из нас восклицал: «Это просто какой-то безумный лабиринт!» [22]. Усталый, без единого су в кармане, вечно озабоченный судьбой отца, Лёва жил в этом лабиринте постоянно, повторяя, как эхо, за отцом его мысли. Но каждый новый процесс что-то надламывал в его душе. С людьми, оказавшимися на скамье подсудимых, были связаны лучшие воспоминания его детства и юности: Каменев был его дядей, Бухарин — чуть ли не товарищем по играм; Раковский, Смирнов, Муралов, многие другие — старшие друзья и товарищи, все пылко любимые им за революционные достоинства и отвагу.

Мучительно размышляя над их падением, Лёва не мог смириться с ним. Как же удалось сломить каждого из них и заставить ползать в луже грязи и крови? Неужели хотя бы один из них не встанет в зале суда, не откажется от вырванного признания, не порвет в клочья лживые и ужасные обвинения? Тщетно ждал этого Лёва. Сообщение о том, что процессы поддержала вдова Ленина, вызвало шок и боль. В который раз повторял он, что сталинская бюрократия, стремящаяся стать новым имущим классом, в конечном счете предала революцию, но и это объяснение не давало ответа на вопрос: почему столько крови? Да, безумный лабиринт — под силу ли найти из него выход даже гению отца?

Душевная усталость, отчаяние, лихорадка, бессонница. Не желая оставлять свой пост, он все откладывал операцию аппендицита, несмотря на повторяющиеся острые приступы. Ел мало, стал очень нервен, ходил понурив голову. Тем не менее в начале февраля выпустил наконец номер «Бюллетеня» с текстом вердикта Комиссии Дьюи, радостно сообщил об этом в Койоакан, приложив гранки и обрисовав планы работы на будущее, ни словом не обмолвившись о своем здоровье. Это было его последнее письмо родителям.

8 февраля он все еще работал, но целый день ничего не ел и провел много времени с Этьеном. Вечером снова приступ, самый тяжелый из всех. Больше откладывать операцию нельзя, и Лёва написал письмо, которое, запечатав, отдал жене, предупредив, что вскрыть его надлежит только в том случае, если с ним что-нибудь случится. Затем снова разговаривал с Этьеном и больше видеть никого не хотел. Они решили, что Лёве не стоит ложиться во французскую больницу под собственным именем, потому что тогда ГПУ легко узнает, где он. Лёве надлежало обратиться в небольшую частную клинику русских врачей-эмигрантов под именем месье Мартена, французского инженера и говорить там только по-французски. Никто из французских товарищей, однако, не должен был знать, где он, и не должен был его навещать. Обговорив детали, Этьен, вызвал «скорую» [23].

Даже на самый поверхностный взгляд все это казалось полным абсурдом. Уж где-где, но только не в среде русских эмигрантов Лёва мог сойти за француза. Тем более, что он вполне мог заговорить по-русски в лихорадке или под наркозом. И просто невероятно, чтобы во всем Париже для него нельзя было подыскать другой больницы, кроме той, где весь персонал укомплектован людьми, которых после убийства Рейса он сторонился как чумы. И однако, он сразу же согласился лечь туда, хотя, когда жена и Этьен доставили его в больницу, он не был ни в бреду, ни в забытьи. Видно, у него притупился инстинкт самосохранения и способность критически осмысливать происходящее.

Оперировали его в тот же вечер. Следующие несколько дней он, казалось, быстро шел на поправку. Кроме жены его навещал один лишь Этьен. Его визиты ободряли Лёву. Они говорили о политике, об организационных делах. Лёва неизменно просил Этьена зайти к нему еще раз как можно скорее. Когда некоторые французские троцкисты выражали желание навестить Лёву, Этьен с видом заговорщика объяснял, что это невозможно и что для того, чтобы утаить адрес больницы от ГПУ, приходится утаивать его и от них. Когда один французский товарищ выразил обеспокоенность столь избыточной секретностью, Этьен обещал переговорить с Лёвой, но к больному так никого и не пустили.

Прошло четыре дня. У больного внезапно наступило ухудшение. Начались приступы боли, он потерял сознание. В ночь на 13 февраля его видели шагающего полуголым в лихорадочном состоянии по коридорам и палатам, почему-то оставленным без охраны и присмотра, и бредившим по-русски. Следующим утром оперировавший его врач был настолько изумлен его состоянием, что спросил у Жанны, не мог ли ее муж покушаться на самоубийство, не было ли у него в недавнее время подобных настроений. Расплакавшись, Жанна отвергла предположения врача и заявила, что Лёву, наверное, отравили агенты ГПУ. Лёву срочно прооперировали заново, но улучшения не

[22] Серж. «Записки революционера».

[23] См. письменные показания м-ме Эстрин, Эльзы Рейсс, Жанны Мартен и самого Этьена, данные во время проведенного полицией расследования, также—доклад префектуры полиции (Архивы. Закрытый раздел).

последовало. Больной испытывал страшные муки, постоянные переливания крови не помогли. 16 февраля 1938 года в возрасте тридцати двух лет Лёва скончался.

Погиб ли он, как уверяла его вдова, от рук ГПУ? Многие косвенные свидетельства подтверждают это. На московских процессах его клеймили как активнейшего помощника отца, как начальника штаба троцкистско-зиновьевского заговора. «Молодой работает хорошо, без него Старику было бы трудно», — часто говорили в здании ГПУ в Москве, согласно свидетельству Рейса и Кривицкого. Лишить Троцкого помощи Лёвы было в интересах ГПУ, тем паче, что это, безусловно, удовлетворило бы мстительность Сталина. ГПУ держало подле Лёвы надежного информатора и агента, доставившего его туда, где он должен был принять смерть. У ГПУ были все основания надеяться, что, убрав с дороги Лёву, этот агент займет его место в русской «секции» троцкистской организации и выйдет непосредственно на самого Троцкого. В клинике не только врачи и сестры, но даже повара и швейцары были из русских эмигрантов, и некоторые из них состояли в Обществе содействия возвращению на Родину. Ничто не могло быть проще для ГПУ, чем найти среди них агента, способного дать пациенту яд. Имея столько убийств на совести, остановилось бы ГПУ перед еще одним?

И все-таки ничего достоверного на сей счет мы не знаем. Дознание, проведенное по настоянию Жанны, следов умышленного отравления не обнаружило. Полиция и врачи категорически отрицали, что на Лёву кто-то покушался. Причины смерти назывались следующие: послеоперационное осложнение (непроходимость кишечника), сердечная недостаточность, низкая сопротивляемость организма. Известный врач, друг семьи Троцких, согласился с их мнением. С другой стороны, Троцкий и его невестка поставили ряд уместных вопросов, так и оставшихся без ответа. Случайно ли Лёва оказался в русской клинике? (Троцкий не знал, что Этьен уведомил об этом ГПУ, как только вызвал «скорую», в чем позже сознался сам.) Персонал клиники заявил, что не имел представления о национальности и личности Лёвы. Но свидетели подтверждают, что слышали, как Лёва бредил и даже спорил по-русски с кем-то о политике. Почему лечащий врач Лёвы был склонен объяснить ухудшение его состояния попыткой самоубийства, а не естественными причинами? По свидетельству Лёвиной вдовы, этот врач, как только разразился скандал, перепугался и набрал в рот воды, сославшись на то, что обязан-де хранить профессиональную тайну.

Тщетно пыталась Жанна обратить внимание следователя на темные обстоятельства дела, тщетно напоминал Троцкий, что рутинное дознание не учитывает того, что ГПУ может применять какие-то особенные, «усовершенствованные и таинственные» методы убийства. Замяла ли французская полиция это дело, как предполагал Троцкий, чтобы скрыть собственную некомпетентность? Или внутри Народного фронта сработал механизм могущественных политических влияний, предотвративший тщательное расследование? Семье не оставалось ничего иного, как требовать нового дознания.

Когда новость достигла Мексики, Троцкого не было в Койоакане. Несколькими днями ранее Ривера засек неизвестных людей, шатающихся вокруг Голубого Дома и ведущих слежку за его обитателями с оборудованного поблизости наблюдательного пункта. Встревожившись, он договорился со своим другом, старым революционером Антонио Идальго, что Троцкий поживет некоторое время у него близ парка Чапультепек. Там 16 февраля Троцкий работал над эссе «Их мораль и наша», когда впервые газеты сообщили о смерти Лёвы. Прочитав об этом, Ривера позвонил в Париж в надежде услышать опровержение и затем отправился к Троцкому в Чапультепек. Троцкий отказывался верить, кричал на Риверу, указал ему на дверь; но затем отправился с ним в Койоакан, чтобы сказать обо всем Наталье.

«Я просто... разбирала наши старые фотографии, фотографии наших детей, — писала она. — Позвонили в дверь, и я с удивлением увидела входящего в дом Льва Давыдовича и пошла ему навстречу. Он склонил голову. Я никогда не видела его таким — внезапно постаревшим, с пепельно-серым лицом.

— Что случилось? — спросила я тревожно. — Ты заболел?

— Заболел Лёва, — тихо ответил он. — Наш маленький Лёва».

В течение многих дней Троцкий и Наталья оставались взаперти, окаменевшие от горя, не в состоянии работать с секретарями, принимать друзей, отвечать на соболезнования. «Никто не сказал ему ни слова, видя, сколь велико его горе». Когда Троцкий вышел из комнаты через восемь дней, глаза его опухли, борода была нестрижена, он не мог выдавить ни слова. Несколько недель спустя он писал Жанне: «Наталья... все еще не в состоянии ответить Вам. Она читает и перечитывает Ваши письма и плачет, плачет. Все время, когда я не работаю... я плачу вместе с ней».

С горем смешивались угрызения совести за резкие попреки, которыми он осыпал сына весь последний год, и за совет остаться в Париже. Вот уже третий раз он оплакивал свое дитя и каждый раз испытывал все большее раскаяние. После смерти Нины в 1928 году он упрекал себя за то, что не смог ее утешить и даже вовсе не писал ей в последние недели. Зина[24] отдалилась от него, а потом покончила с собой. И вот теперь Лёва принял смерть на посту, который он приказал ему удерживать. Из его детей никто не участвовал в такой мере в его жизни и борьбе, как Лёва, ни одна другая утрата не причинила ему такой боли.

В эти траурные дни он написал некролог, своего рода погребальную песнь, уникальную в мировой литературе:

«Сейчас, когда мы вместе с матерью Льва Седова пишем эти строки... мы все еще не можем поверить в его смерть. Не только потому, что он был нашим сыном, верным,

[24] Нина и Зина — дочери Троцкого от его первой жены, Александры Соколовской. *(Прим. ред.)*

преданным и любящим... Но потому, что он, как никто другой, вошел в нашу жизнь и врос в нее всеми своими корнями...

Старшее поколение, с которым мы вступили когда-то на путь революции.. сметено со сцены. Чего не смогли сделать царская тюрьма и каторга, тяготы жизни в ссылке, гражданская война, лишения и болезни, сумел за несколько лет сделать Сталин, злейший бич революции... Лучшая часть среднего поколения, те... кого разбудил 1917 год, кто получил закалку в рядах двадцати четырех армий, сражавшихся на фронтах революции, также подверглись истреблению. Раздавлена и перебита... и лучшая часть молодого поколения, ровесники Лёвы... За годы ссылки мы обрели немало новых друзей, некоторые из них стали... для нас как бы членами семьи. Но мы встретились с ними... уже на пороге старости. Один лишь Лёва знал нас молодыми. Он был частью нашей жизни с тех пор, как помнил себя. Оставаясь молодым, он стал почти что нашим современником...»

Просто и нежно описал он короткую жизнь Лёвы. Вот ребенок, что смело дерется с тюремщиками отца, носит в тюрьму передачи и книги, дружит с революционными матросами, прячется под скамьей в зале заседаний Советского правительства, чтобы подсмотреть, «как Ленин руководит революцией». Вот подросток, «в великие и голодные годы» гражданской войны приносящий домой в рукаве драной куртки буханку свежего хлеба, подаренную подмастерьями булочной, где он вел агитационную работу; подросток, презирающий бюрократические привилегии, отказывающийся ездить в машине отца, переселившийся из родительского дома в Кремле в общежитие пролетарских студентов, вместе со всеми чистящий на субботниках снег, разгружающий паровозы и участвующий в ликвидации безграмотности.

Вот юноша, оппозиционер, «без малейшего колебания» оставивший жену и ребенка, чтобы отправиться с родителями в изгнание; обеспечивающий отцу связь с внешним миром в Алма-Ате. где они жили, окруженные ГПУ, где Лёва часто ночью, в дождь, в снег, встречался с товарищами то в лесу за городом, то в толпе на базаре, то в библиотеке, а то и в бане. «Каждый раз он возвращался счастливый и оживленный, с воинственным огоньком в глазах, с ценным трофеем под полой». «Как хорошо понимал он людей — он знал куда больше оппозиционеров, чем я... Его революционный инстинкт позволял ему безошибочно отличать настоящее от фальшивого... Глаза его матери — а она знала сына куда лучше, чем я,— светились гордостью».

Здесь нашло выход отцовское чувство раскаяния. Он вспоминал о своей требовательности в отношении к Лёве, объясняя ее собственными «педантичными привычками в работе» и склонность требовать наибольших усилий от самых близких людей — а кто был ближе Лёвы? Может показаться, что «наши отношения характеризовались известной отчужденностью и суровостью. Но под ними... жила глубокая, горячая взаимная привязанность, основанная на чем-то неизмеримо большем, нежели просто кровное родство,— на общности взглядов, общности симпатий и антипатий, на вместе пережитых радостях и горестях, на общих великих надеждах».

Кое-кто видел в Лёве всего лишь «сыночка великого отца». Но они заблуждались, как и те, кто долгое время подобным образом воспринимал Карла Либкнехта. Лишь обстоятельства не позволили Лёве проявить себя в полную силу. Здесь дается чересчур, пожалуй, щедрая оценка вклада Лёвы в литературную работу отца: «По справедливости, почти на всех моих книгах, написанных с 1929 года, его имя должно было стоять рядом с моим». С каким чувством радости и облегчения интернированные в Норвегию родители Лёвы получили экземпляр его «Красной книги», «первого сокрушительного удара по клеветникам в Кремле!» Как были правы сотрудники ГПУ, утверждавшие, «что без юнца Старику было бы куда тяжелее» — и насколько же тяжелее ему будет теперь!

Снова и снова вспоминал Троцкий об испытаниях, выпавших на долю этого «чувствительного и тончайшего человека»: бесконечный поток лжи и клеветнических измышлений; дезертирство и капитулянтство со стороны многих бывших друзей и товарищей; самоубийство Зины и, наконец, процессы, «глубоко потрясшие его душу». Какова ни была бы истинная причина Лёвиной смерти, умер ли он, не перенеся всех этих тягот, или был отравлен ГПУ, в любом случае «в его смерти повинны о н и (и их хозяин)».

Поминальный плач заканчивался на той же ноте, на которой начался:

«Его мать, бывшая ближе всех на свете к нему, и я, переживающие эти страшные минуты, вспоминаем одну его черту за другой, отказываясь верить, что его больше нет; и плачем, потому что не верить невозможно... Он был частью нас, нашей молодой частью... С нашим мальчиком умерло все, что оставалось в нас молодого... Ни твоя мать, ни я не думали, не гадали, что судьба вытянет нам такой жребий... что нам придется писать твой некролог... Но спасти тебя мы не сумели».

К тому времени было уже почти ясно, что Сергей тоже погиб, хотя никакой официальной информации о его судьбе не поступало — и не поступит даже двадцать пять лет спустя. Однако мы располагаем следующими сведениями от политического заключенного, сидевшего с ним в одной камере московских Бутырок в начале 1937 года [25]: на протяжении нескольких месяцев 1936 года ГПУ обрабатывало Сергея с целью добиться публичного осуждения отца и всех его взглядов. Сергей получил пять лет каторги в концлагере и был этапирован в Воркуту, куда к концу года свезли троцкистов из многих лагерей. Там. за колючей проволокой, Сергей впервые близко познакомился с ними и, хотя по-прежнему отказывался считать себя троцкистом, отзы-

[25] Эти сведения о поведении Сергея в тюрьме поступили от Иосифа Бергера, одного из основателей Коммунистической партии Палестины и работника Ближневосточного отдела Коминтерна, отсидевшего затем двадцать три года в сталинских тюрьмах и лагерях, освобожденного и реабилитированного в 1956 г.

вался о сторонниках отца с глубокой признательностью и уважением, особенно о тех, кто держались, не капитулируя, уже почти десять лет. Сергей принял участие в объявленной ими голодовке, продолжавшейся более трех месяцев, после которой едва остался жив.

В начале 1937 года его этапировали обратно в Москву для новых допросов. (Тогда-то с ним и познакомился заключенный, предоставивший эти сведения.) Сергей не надеялся на освобождение, или облегчение своей участи, ибо был убежден, что всех сторонников отца — и его вместе с ними — ждет казнь. Однако держался со стоическим спокойствием, черпая силы в недрах своего духа.

«Говоря о методах следствия, применявшихся ГПУ, Сергей высказал мнение, что любой образованный человек... должен быть способен их раскусить, и напомнил, что Бальзак очень точно описал все эти приемы и методы еще век назад, а с тех пор ровным счетом ничего не изменилось... Сергей смотрел в будущее совершенно спокойно и ни разу не проронил ни слова, которое могло хоть в малейшей степени скомпрометировать либо его самого, либо кого-то другого».

Сергей, совершенно очевидно, решил держаться до конца; будь это не так — если бы ГПУ преуспело и выбило бы из него любое признание,— об этом разнесли бы на весь свет. Сергей догадывался об опасениях родителей, что у него, их «аполитичного» сына, может не хватить мужества и убеждений вынести выпавшие на его долю испытания, и «он больше всего сожалел о том, что никто никогда не расскажет им, особенно матери, о перемене, которая с ним произошла, потому что не верил, что кто-либо из встреченных им в заключении доживет, чтобы обо всем рассказать». Автор этих сведений вскоре потерял Сергея из виду, но прослышал о его казни от других заключенных. Много позже, в 1939 году, Троцкий получил сомнительной достоверности сведения через американского журналиста, согласно которым Сергей в конце 1938-го был еще жив, но после этого никаких иных сообщений о нем не поступало.

За пределами СССР из потомков Троцкого оставался в живых лишь двенадцатилетний сын Зины. Об остальных внуках Троцкого ничего не известно. Севу воспитывали Лёва и Жанна, которая, не имея собственных детей, заменила ему мать и горячо к нему привязалась. В первом же письме после Лёвиной смерти Троцкий пригласил ее с ребенком в Мексику. «Я очень люблю Вас, Жанна,— писал он,— а для Натальи Вы не только нежно любимая дочь, но часть Лёвы, того, что осталось самого сокровенного из его жизни...» Троцкий и Наталья хотели лишь одного — чтобы Жанна и Сева жили с ними в Мексике. Но если это не совпадает с желаниями Жанны, пусть она хотя бы приедет погостить, «если же Вам трудно сейчас расстаться с Севой, мы поймем Ваши чувства».

Здесь, однако, печальное повествование переходит в гротеск из-за дрязг и склок, раздирающих троцкистские секты в Париже. Лёва и Жанна принадлежали к разным группировкам: он — к «ортодоксальным троцкистам», она — к группе Молинье. В письме, оставленном Лёвой вместо завещания, он писал, что, несмотря на различия во взглядах (и, добавим, несмотря на их неудавшуюся семейную жизнь), он глубоко уважал Жанну и беспредельно ей доверял. Однако яростное соперничество враждующих сект не прекратилось даже над могилой Лёвы. Теперь его предметом стал мальчик-сирота. Троцкий оказался в дурацком положении. Жанна, отчаянно пытаясь добиться нового расследования причин смерти Лёвы, поручила представлять интересы семьи во французском суде и полиции адвокату, состоящему в группе Молинье. «Ортодоксальные троцкисты» (и Жерар Розенталь, адвокат Троцкого) заявили, что Жанна не имеет права этого делать и что говорить от имени семьи правомочны лишь родители Лёвы. Благодаря этому конфликту суд и полиция легко смогли оставить требование нового дознания без внимания.

Следующая ссора вспыхнула из-за архива Троцкого. После Лёвиной смерти он остался в руках Жанны, и, следовательно, косвенно в руках группы Молинье. Троцкий просил вернуть ему этот архив через одного из своих «ортодоксальных» французских сторонников. Жанна ответила на просьбу отказом. Отношения между ней и родителями Лёвы резко охладели, даже стали враждебными. Архив Троцкий в конце концов получил, но только тогда, когда послал за ним в Париж одного из своих американских приверженцев.

Несмотря на все настойчивые приглашения, Жанна отказывалась ехать в Мексику или отправлять туда ребенка. Жанна была невротиком; теперь ее психика была уже окончательно расстроена и расставаться с подопечным ребенком даже на время она не соглашалась. Соперничающие фракции сцепились также и по этому поводу; они сделали невозможным любое соглашение, как ни старался Троцкий умиротворить невестку. То ли потому, что, потеряв всех детей, Троцкий жаждал забрать к себе внука — единственного, которого он мог к себе забрать, то ли потому, что боялся оставить сироту на попечении, как он выразился, «un ésprit très ombrageux et malheureusement déséquilibré» [26], то ли по обеим причинам сразу, он решил апеллировать к закону. Последовала непристойная судебная тяжба, затянувшаяся на год и лившая воду на мельницу бульварных газет и сектантских листков.

Придя в отчаяние при мысли о возможной разлуке с ребенком, Жанна решила нейтрализовать иск Троцкого заявлением, что он не регистрировал формально ни первый, ни второй свои браки; Троцкому пришлось это заявление опровергать. Но даже несмотря на поступок Жанны, он выразил (в письме суду) понимание ее затруднений и чувств, признавал ее моральное, хотя и не юридическое, право на ребенка и возобновил приглашение, предлагая оплатить стоимость ее проезда в Мексику. Троцкий даже изъявил готовность рассмотреть возможность возвращения ей Севы, но не ранее чем повидается с ним. Суд дважды ре-

[26] Недоверчивого и неуравновешенного человека *(франц.)*.

шил дело в пользу Троцкого и назначал доверенных лиц, которым надлежало проследить за возвращением внука деду, но Жанна отказалась выполнять решение суда, увезла мальчика из Парижа и спрятала его. Лишь в результате долгих поисков и «зимней экспедиции» в Вогезы Маргерита Розмер сумела найти ребенка и вырвать его из рук тетки. Но и на этом дело не кончилось, ибо друзья Жанны предприняли попытку похитить мальчика, и лишь в октябре 1939 года Розмеры доставили его наконец в Койоакан.

В патетическом письме Троцкий пытался объяснить Севе, почему он настаивал на его переезде в Мексику. Избегая каких-либо обидных для Жанны замечаний, он не мог объяснить ребенку истинной причины, поэтому объяснение вышло неуклюжим и неубедительным.

Тем временем ГПУ продолжало плести свою паутину. Этьену не составило труда занять Лёвино место среди парижских троцкистов, теперь он издавал «Бюллетень», служил основным корреспондентом Троцкого в Европе и устанавливал связи с новыми беглецами от сталинского террора, ищущими путей к Троцкому. В «Русской секции» состояли кроме него лишь три-четыре человека, из которых ни один не разбирался так хорошо в советских делах, не был так образован и прилежен, как Этьен. Из Лёвиных писем Троцкий знал, что Лёва считал Этьена самым доверенным и надежным другом; и теперь провокатор лез вон из кожи, чтобы подтвердить свою репутацию.

Играя на отцовском горе, он стремился разжечь его недоверие к людям, способным стать на его, Этьена, пути. Неделю спустя после Лёвиной смерти Этьен с подобающим негодованием писал Троцкому, что Снивлит распускает «клеветнические слухи» о причастности Лёвы к смерти Рейсса. Как бы невзначай он напоминает Троцкому, что ему, Этьену, Лёва доверял безоговорочно, что он все это время хранил ключ от Лёвиного почтового ящика и доставал его почту. Троцкий, имевший со Снивлитом политические разногласия, резко обрушился на «клеветника».

Провокатор, разумеется, вел себя как образцовый ортодоксальный троцкист, ни в чем не расходясь со «Стариком», и вместе с тем старался не выглядеть просто подпевалой. Тщательно создавая впечатление глубокой преданности, не переходящей, однако, в угодничество, он с трогательной заботой справлялся о здоровье и благополучии Старика, адресуя, однако, эти вопросы не самому Троцкому, но одному из его секретарей. Непосредственно же с Троцким он обсуждал политические вопросы и содержание «Бюллетеня», выходившего теперь куда более регулярно, чем во многие предыдущие годы. Этьен попросил Троцкого написать статью, посвященную памяти Рейсса, которую, по его словам, он хотел бы опубликовать в годовщину убийства. Проследил Этьен и за тем, чтобы «Бюллетень» достойно почтил память Лёвы в первую годовщину его смерти. Этьен уведомил Троцкого о предстоящей публикации на страницах «Бюллетеня» статьи «Жизнь Троцкого в опасности», разоблачающей деятельность агентов ГПУ в Мексике. Этьен снабжал Троцкого данными и цитатами из подшивок старых русских газет, а также из иных малодоступных источников; эти материалы требовались Троцкому для его книги о Сталине. Словом, Этьен сделал себя незаменимым, почти таким же незаменимым, как Лёва.

И все это время он незаметно подливал масло в огонь, разжигая конфликт между различными троцкистскими фракциями в Париже и ссору между Троцким и Жанной, пока Троцкий не отказался поддержать апелляцию Жаины о проведении нового официального расследования обстоятельств Лёвиной смерти. Сам Этьен приложил все усилия, чтобы расследования не допустить: представая перед французской полицией «ближайшим другом Льва Седова», он отметал любые подозрения в «нечистой игре» и утверждал, что причиной смерти послужила слабая сопротивляемость организма.

Провокатор также играл ключевую роль в подготовке троцкистами учредительного конгресса Четвертого Интернационала. В самый ее разгар, 13 июля 1938 года, Рудольф Клемент, немецкий эмигрант, бывший секретарь Троцкого в Барбизоне и секретарь будущего Интернационала, таинственно исчез из своего дома в Париже. Недели две спустя Троцкий получил письмо, вроде бы написанное и подписанное Клементом, но отправленное из Нью-Йорка и обвиняющее Троцкого в союзе с Гитлером, сотрудничестве с гестапо и т. д. Повторив весь набор стандартных сталинских обвинений, автор объявлял о своем разрыве с Троцким. (Несколько французских троцкистов получили копии этого письма, отправленные из Перпиньяна.)

В письме было столько нелепостей и ошибок, которых никоим образом не мог сделать Клемент, что Троцкий сразу же заключил: либо это обыкновенная фальшивка, либо Клемента вынудили написать письмо сотрудники ГПУ, приставив к виску револьвер. «Пусть Клемент, если он еще жив, объявится и публично изложит перед полицией, судом, любой беспристрастной комиссией все, что ему известно. Можно предсказать, что ГПУ никоим образом не выпустит его из рук». Вскоре страшно изуродованный труп Клемента выбросили на берег волны Сены. Банда, уничтожившая Рейсса, очевидно, убила и его, а один из убийц от имени Клемента выступил в роли «разочаровавшегося сторонника», решившего порвать с Троцким — поза, которую два года спустя примет убийца самого Троцкого.

Почему ГПУ выбрало именно Клемента? Среди других троцкистов он ничем особенно не выделялся, но был скромным и самоотверженным тружеником, внимательно следившим за происходящим в организации. Мы полагаем, что это он настоятельно просил Троцкого и Наталью отозвать Лёву из Франции. Раскрыл ли он какой-то важный секрет ГПУ? Напал ли на след их агента, собирался ли разоблачить его? Таковы были, по мнению Троцкого, вероятные объяснения того, почему ГПУ вдруг набросилось на Клемента и расправилось с ним столь мстительным и жестоким образом.

К тому времени подозрения Снивлита относительно Этьена превратились в уверенность. И он и Серж заявили об этом открыто. У провокатора хватило наглости обратиться к Троцкому за советом, как ему быть. Троцкий ответил, что он должен немедленно потребовать, чтобы его обвинители изложили свои доводы перед компетентной комиссией: «Товарищ Этьен должен предпринять этот шаг. Чем раньше, решительнее и тверже — тем лучше». Иного совета Троцкий дать не мог: в подобных случаях подозреваемый обязан был требовать расследования, чтобы иметь возможность отстоять свою честь. Но сам Троцкий не верил в выдвинутые обвинения.

Эта странная история стала еще более странной, когда месяц спустя Троцкий получил другое предостережение. Оно поступило от высокопоставленного работника ГПУ, нашедшего убежище в США. Автор письма настолько боялся ГПУ, что не захотел назвать себя и прикинулся старым американским евреем русского происхождения, передающим Троцкому сведения, полученные от своего родственника, сотрудника ГПУ, сбежавшего в Японию. Автор письма заклинал Троцкого остерегаться опасного осведомителя в Париже, действующего под кличкой «Марк». Фамилии «Марка» он не знал, но дал столь точное описание этого человека и его отношений с Лёвой, что не узнать его было нельзя.

Автор письма был крайне удивлен беспечностью и легковерностью парижских троцкистов, чьи подозрения не возбудил даже тот факт (по его утверждению общеизвестный), что «Марк» работал ранее в печально известном Обществе содействия возвращению на Родину. Достаточно понаблюдать за доносчиком, убеждал Троцкого автор письма, чтобы обнаружить, что он по-прежнему тайно встречается с сотрудниками советского посольства. Он не знал, виновен ли «Марк» в смерти Лёвы, но опасался, что «на повестке дня» стоит убийство самого Троцкого, которое поручено либо «Марку», либо какому-то испанцу, притворившемуся троцкистом. Это было серьезное предупреждение. «Главное, Лев Давыдович,— призывал автор письма,— будьте настороже. Не доверяйте никому — ни мужчине, ни женщине,— кого может прислать или рекомендовать Вам провокатор» [27].

Троцкий не оставил это предостережение совсем без внимания. В заметке, опубликованной в троцкистской газете, он попросил автора письма связаться с его сторонниками в Нью-Йорке.

Не желающий выдавать себя автор пытался дозвониться Троцкому из Нью-Йорка, но не сумел. Явное его нежелание вступать в контакт и странная форма предостережения заставили Троцкого скептически отнестись к его содержанию. Тем не менее в Койоакане была создана небольшая комиссия для разбора дела, не обнаружившая, однако, никаких оснований для предъявляемых Этьену обвинений. Троцкий заподозрил, что ГПУ пытается опорочить человека, казавшегося ему самым толковым и преданным из его помощников, к тому же говорящего и пишущего по-русски, прекрасно разбирающегося в советских делах и редактирующего «Бюллетень». Да и вообще против горстки парижских троцкистов выдвигалось уж слишком много обвинений; если все их принимать всерьез, то иных забот не останется, кроме как искать провокаторов.

Троцкий прекрасно понимал, как опасен для любой организации внедренный в нее агент, но знал он и то, что атмосфера постоянной подозрительности и охоты за ведьмами может оказаться еще опасней. И принял решение: не верить никаким обвинениям, если только они не будут обоснованы и недвусмысленно подтверждены. Он предпочел пойти на риск и подвергнуть себя огромной опасности, чем заразить своих сторонников страхами и подозрениями, что, конечно, имело бы деморализующий эффект. Итак, провокатор продолжал действовать в Париже в качестве его доверенного лица до самого начала войны.

Две недели спустя после смерти Лёвы на скамье подсудимых очутились Бухарин, Рыков, Раковский, Крестинский и Ягода. Могло показаться, что мрачная фантазия постановщика исчерпала себя в предыдущих процессах. Но по сравнению с новой фантасмагорией они выглядели чуть ли не упражнениями в умеренном реализме. Снова обвинитель и обвиняемые изобличают Троцкого как главу заговора, включающего на сей раз бухаринцев, бывших смертельных его врагов. Более, чем в прежних обвинительных заключениях, подчеркивалась роль Лёвы как сообщника отца. После робкой попытки отрицать предъявленные ему обвинения, Крестинский сознался, что сговаривался и имел неоднократные встречи и лично с Троцким, и с Лёвой — в Берлине и на различных европейских курортах; что он связал Лёву с командующим рейхсвером генералом фон Сеектом и выплатил два миллиона золотых марок, почти миллион долларов и различные иные суммы на финансирование заговора. Троцкий и его сторонники изображались теперь агентами не только Гитлера и микадо, но и британской военной разведки, и даже польского Второго бюро. К знакомым легендам о покушениях на Сталина, Ворошилова и Кагановича, о диверсиях на железных дорогах и в угольных копях и о массовых отравлениях рабочих прибавились теперь версии об убийствах Горького, Менжинского, Куйбышева и даже Свердлова, умершего в 1919 году — все это оказалось на совести Троцкого.

С каждым признанием заговор не только разрастался в объеме и выходил за пределы постижимого, но и распространялся в глубь истории, вплоть до первых недель существования Советской власти и даже в более ранние времена. Подобно призракам возникли в зале суда Камков и Карелин, некогда лидеры левых эсеров, чтобы свидетельствовать, как во время их антибольшевистского мятежа в 1918 году они действовали в тайном сговоре с Бухариным, готовившим убийство Ленина. Ягода, в течение десяти лет руководивший преследованиями троцкистов, организовывавший их массовые высылки, допустивший применение пыток в тюрьмах и концлагерях, подго-

[27] Мы с женой обнаружили это письмо среди бумаг Троцкого (в «открытом» разделе Архивов) в начале 1950 г. и сняли с него копию.

товивший процесс Зиновьева и Каменева, теперь уверял, что все это время был лишь инструментом в руках Троцкого. Рядом с бывшими членами Политбюро и Центрального Комитета, наркомами и полпредами на скамье подсудимых оказалась группа видных врачей. Один из них, семидесятилетний профессор Левин, со времен революции был личным врачом Ленина и Сталина. Его обвиняли в том, что по приказанию Ягоды он отравил Горького и Куйбышева. В продолжение нескольких судебных заседаний врачи повествовали о своей отравительской деятельности в стенах Кремля, нагромождая садистские подробности преступлений, в которых якобы участвовали.

Троцкий сравнил этот процесс с делом Распутина, ибо, говорил он, от процесса несет тем же «духом загнивания и распада автократии». Сравнение красноречиво свидетельствует, насколько Троцкий был потрясен этим спектаклем. Конечно, дело Распутина было мелким, чуть ли не безобидным эпизодом по сравнению с любым из этих процессов, да и никак не скажешь, что процессы ускорили падение Сталина, хотя и покрыли его имя позором. Но Троцкий не нашел адекватного прецедента или исторической параллели просто потому, что ничего подобного не существовало. В известном смысле Сталин превзошел все, что знала до тех пор история и что допускало воображение: террор приобрел новые, невиданные масштабы и какое-то новое измерение. По мере развертывания процессов какая-либо рациональная реакция на них становилась все более и более беспомощной. Троцкий продолжал изобличать абсурдность обвинений, методично обосновывал алиби, доказывая, что ни он, ни Лёва не могли иметь тайные сношения ни с одним из обвиняемых, не говоря уж о генерале фон Сеекте, в указанных местах и в указанные сроки.

«В своей преступной деятельности (писал он) премьер-министр, министры, генералы, маршалы и послы предстают как люди, неизменно получавшие указания из одного источника — и не от их официального вождя, но от изгнанника. Стоит Троцкому мигнуть, и ветераны революции тут же становятся агентами Гитлера и микадо. «По инструкциям» Троцкого, переданным через первого и лучшего корреспондента ТАСС, руководители промышленности, сельского хозяйства и транспорта уничтожали промышленные ресурсы страны и подрывали ее цивилизацию. По приказу «врага народа», высланного из Норвегии в Мексику, железнодорожники пускают под откос военные эшелоны на Дальнем Востоке, а самые уважаемые врачи отравляют своих пациентов в Кремле. Поразительная картина... нарисована Вышинским... Но возникает одна загвоздка. В условиях тоталитарного режима диктатуру осуществляет аппарат (т. е. партийная и государственная машина). Если все ключевые посты в аппарате занимали мои сторонники, то как же так вышло, что Сталин — в Кремле, а я — в изгнании?»

Троцкий указывал на международную ситуацию и на последствия процессов: гитлеровские войска только что триумфально вошли в Австрию и готовились к дальнейшим захватам:

«Усмехается ли все еще Сталин за кулисами? Не перехватило ли у него дух от этих неожиданных событий? Верно, он оградил себя от мира стеной невежества и холуйства. Верно, он привык считать, что мировое общественное мнение — ничто, а ГПУ — все. Симптомы угрозы становятся все более многочисленными и не могут не быть очевидными даже для него. Массы трудящихся всего мира испытывают острую тревогу. Фашизм одерживает победу за победой и находит главного помощника... в сталинизме. Страшная военная угроза стучится во все двери Советского Союза. Сталин же выбирает именно этот момент, чтобы подорвать армию и растоптать народ... Даже этому тифлисскому самозванцу... должно быть сейчас не до усмешек. Небывалая ненависть нарастает вокруг него, страшное недовольство зависает над его головой...

Вполне вероятно, что режим, уничтожающий лучшие головы нации, может, в конце концов, вызвать в ответ террористическую оппозицию. Более того, будет противно всем законам истории, если этого не случится... Но подобный терроризм, порожденный отчаянием и жаждой мести, чужд сторонникам Четвертого Интернационала... Личная месть... была бы слишком мелкой для нас. В самом деле, какое политическое и моральное удовлетворение получит рабочий класс от убийства Каина-Джугашвили, которого тут же без труда заменит любой другой бюрократический «гений»? Личная же судьба Сталина может иметь для нас интерес лишь в одном отношении: мы бы хотели, чтобы он пережил крах созданной им системы, и этот крах — не за горами».

Троцкий предсказывает «иной процесс, настоящий», на котором перед трудящимися предстанут Сталин и его сообщники. «В человеческой речи не найдется тогда слов для защиты мерзейшего из Каинов, известных истории. Памятники, воздвигнутые им себе, будут низвергнуты либо помещены в музеи, в залы ужасов тоталитаризма. И победоносный рабочий класс пересмотрит все процессы, открытые и закрытые, и воздвигнет памятники несчастным жертвам сталинских гнусностей на площадях освобожденного Советского Союза».

И снова его пророчеству суждено было сбыться, но только лишь много лет спустя. Тем временем репрессии по своему размаху и силе принимали характер колоссального природного бедствия, против которого любой человек ничего не значил. Террор парализовал мысль, ломал волю, сметал любое сопротивление. Небывалая ненависть и страшное недовольство, о которых говорил Троцкий, действительно имели место, но были загнаны далеко вглубь, где им и предстояло копиться до будущих времен. В настоящем же и до конца сталинской эры им не найти выхода. Все — и в первую очередь троцкисты,— в ком подобные чувства сочетались с политическим сознанием и кто мог выдвинуть какие-то идеи и программы действий, систематически и безжалостно уничтожались.

Более десяти лет Сталин держал троцкистов за решеткой и колючей проволокой и, подвергая бесчеловечному угнетению, многих из них деморализовал, разъединил и почти преуспел в изоляции их от общества.

К 1934 году троцкизм, казалось, был полностью искоренен. Однако двумя-тремя годами позже Сталин был напуган им еще больше, чем прежде.

Парадоксально, но толчок троцкизму дали массовые репрессии и высылки, последовавшие за убийством Кирова. Оказавшись среди десятков и даже сотен тысяч вновь репрессированных, троцкисты больше не ощущали себя в изоляции. К ним присоединились массы капитулянтов, горестно размышлявших о том, что они никогда не докатились бы до нынешнего своего положения, держись они заодно с троцкистами. Оппозиционеры помоложе, комсомольцы, повернувшие против Сталина годы спустя после разгрома троцкизма, «уклонисты» всех видов, простые рабочие, осужденные за пустяковые нарушения трудовой дисциплины и просто недовольные и ворчуны, у которых политическое мышление прорезалось лишь за колючей проволокой,— все они составили огромную новую аудиторию для ветеранов-троцкистов[28].

Режим в концлагерях все больше и больше ужесточался; заключенным приходилось работать, как рабам, по 10—12 часов в день; они голодали; болезни и неописуемые условия быта косили их ряды. И все же лагеря заново становились школами и учебными центрами оппозиции, где непревзойденными наставниками выступали троцкисты. Это они становились во главе почти всех забастовок и голодовок, объявленных заключенными, предъявляли администрации требования улучшения условий жизни в лагерях и своим непокорным, часто героическим поведением поддерживали у остальных заключенных волю к сопротивлению. Сплоченные, умеющие владеть собой, хорошо информированные политически, они были подлинной элитой среди огромной части нации, брошенной за колючую проволоку.

Сталин понимал, что дальнейшими репрессиями ничего не добьется. Вряд ли можно было подвергнуть троцкистов, вокруг которых и так уже сложился ореол мученичества, еще большим лишениям и пыткам. Они оставались для него угрозой, пока были живы; а с приближением войны и всего того непредвиденного, что она способна с собой принести, потенциальная угроза могла превратиться в реальную. Мы уже видели, что с тех пор, как Сталин захватил власть, ему приходилось захватывать ее снова и снова. Теперь же он решил избавить себя от необходимости продолжать захватывать власть, он решил завоевать ее раз и навсегда и гарантировать себя от всяких случайностей. Сделать это можно было лишь путем массового истребления противников, прежде всего — троцкистов. Московские процессы были срежиссированы для оправдания этого замысла, основная цель которого осуществлялась сейчас не в залитых светом залах суда, а в темницах и лагерях Дальнего Востока и Заполярья.

Очевидец, бывший заключенный большого лагеря в Воркуте, сам не троцкист, так описывает последние дни троцкистов в лагерях накануне их уничтожения[29]. Только в одном лагере содержали около тысячи старых троцкистов, именовавших себя «большевиками-ленинцами», пишет он. Примерно человек пятьсот из них работали в каменноугольных копях. По всем лагерям Печоры были разбросаны несколько тысяч «ортодоксальных троцкистов», сосланных с 1927 года» и «сохранивших верность своим политическим убеждениям до самого конца».

Автор, видимо, причисляет к «ортодоксальным троцкистам» также и капитулянтов, поскольку в противном случае число их выглядит явно преувеличенным. «Помимо этих истинных троцкистов,— продолжает он,— в воркутинские и иные лагеря были согнаны более ста тысяч заключенных, в бытность свою членами партии и комсомола присоединившихся к троцкистской оппозиции и с тех пор в разные времена и по разным причинам... вынужденных «раскаяться и признать свои ошибки» и выйти из рядов оппозиции». Многие ссыльные, никогда в партии не состоявшие, тоже считали себя троцкистами. К их числу следует также отнести оппозиционеров разного толка, даже некоторых из последователей Рыкова и Бухарина и «новичков» из групп разного возраста молодежи.

«Тем не менее,— замечает наш свидетель,— собственно троцкисты, последователи Л. Д. Троцкого, составили наиболее многочисленную группу». Среди их лидеров он называет Косиора, Познанского, Владимира Иванова и других троцкистов с большим стажем. «Их пригнали в коши летом 1936-го и разместили в двух больших бараках. Работать в забое они категорически отказывались. Работали только наверху и не больше восьми часов в день, а не по десять и двенадцать часов, как того требовали правила и как работали остальные заключенные. Все положения лагерного режима они игнорировали демонстративно и организованно. Большинство из них провело почти десять лет в изоляции, сначала в тюрьмах, затем на Соловках и, наконец, в Воркуте. Троцкисты были единственной группой среди заключенных, открыто критиковавшей сталинскую «генеральную линию», открыто и организованно сопротивлявшейся тюремщикам».

Они по-прежнему заявляли, как заявлял и Троцкий за границей, что в случае войны станут безоговорочно защищать Советский Союз, но будут стремиться свергнуть правительство Сталина, и эту позицию разделяли, хотя и с оговорками, даже «ультралевые», такие, как последователи Сапронова.

Осенью 1936 года, после процесса Зиновьева и Каменева, троцкисты проводили в лагере митинги и собрания в честь своих казненных вождей и товарищей. Вскоре после этого, 27 октября, они начали голо-

[28] М. Файнсод в книге «Смоленск при советской власти» пишет, основываясь на трофейных документах ГПУ, что даже в 1936—1937 гг., в самый разгар репрессий, находились рабочие, которые на вопрос, кого можно считать образцовым большевиком, отвечали: «Троцкого (и/или Зиновьева)», находились школьники, которые на митинге в честь погибшего Кирова предлагали избрать Троцкого членом почетного президиума. В Смоленской области троцкизм не был особенно популярен, подобные случаи чаще имели место в других регионах страны. Все провинившиеся, в том числе и дети, были высланы как «троцкисты».

[29] Эта статья («Троцкисты на Воркуте»), подписанная «М. Б.», появилась в эмигрантском меньшевистском издании «Социалистический вестник», № 10—11, 1961.

довку — в ней, согласно свидетельству, приводимому выше, принимал участие младший сын Троцкого Сергей. В голодовку включились троцкисты всех печорских лагерей, и она продолжалась 132 дня. Голодающие протестовали против их перевода в лагерь из прежних мест заключения и против лишения свободы без суда. Они требовали восьмичасового рабочего дня, одинакового пайка для всех заключенных (независимо от выработки или выполнения нормы), отделения политических заключенных от уголовников и перевода всех женщин, инвалидов и стариков из Заполярья в районы с более мягким климатом. Решение о голодовке было принято на открытом собрании. Старых и больных от голодовки освободили, «но последние категорически отказались быть освобожденными». Призыв троцкистов встретил отклик среди других заключенных, но только «в троцкистских бараках голодали все поголовно».

Администрация, опасаясь распространения голодовки, перевела троцкистов в полуразрушенные брошенные хижины километрах в сорока от лагеря. Из тысячи голодающих несколько умерло и лишь двое не выдержали и прекратили голодовку, причем эти двое не были троцкистами. В марте 1937 года, по приказу из Москвы, администрация лагеря пошла на уступки по всем пунктам, и голодовка была прекращена. В продолжение нескольких следующих месяцев, пока ежовский террор не достиг апогея, троцкисты пользовались завоеванными ими правами, и это настолько ободрило других заключенных, что многие из них с надеждой думали о двадцатой годовщине Октябрьской революции, ожидая частичной амнистии. Но скоро террор вновь обрушился на них с прежней яростью. Паек был сокращен до 400 граммов хлеба в день. Вооружив уголовников дубинками, ГПУ натравило их на оппозиционеров. Начались повальные расстрелы; всех политических заключенных изолировали в лагере внутри лагеря, огороженном колючей проволокой и круглосуточно охраняемом вооруженными до зубов солдатами.

Однажды утром в конце марта 1938 года охрана вызвала двадцать пять заключенных, в основном — руководителей троцкистов, выдала им по килограмму хлеба, приказала собираться с вещами и готовиться к этапу. «Тепло попрощавшись с друзьями, они покинули бараки и после переклички двинулись в путь. Минут пятнадцать — двадцать спустя, примерно в полукилометре от бараков, близ крутого берега речушки Верхняя Воркута, внезапно раздался залп. Затем послышалось несколько одиночных выстрелов, и наступила тишина. Вскоре вернулся конвой, прошагав мимо бараков. Всем стало ясно, в какой этап ушли те двадцать пять».

На следующий день подобным же образом вызвали не менее сорока человек. Им выдали хлебный паек и приказали собираться. «Тех, кто был настолько измотан, что не мог идти, обещали везти на телегах. Затаив дыхание, заключенные в бараках прислушивались к скрипу снега под ногами тех, кого угоняли от них. Вот уже не доносилось ни звука, но все по-прежнему напряженно вслушивались. Примерно час спустя тундра огласилась выстрелами». Теперь заключенные знали, что их ждет, но после долгой голодовки прошлого года, после долгих месяцев холода и истощения сил сопротивляться больше не было.

«Расстрелы в тундре продолжались на протяжении апреля и части мая. Каждый день, или через день, вызывались группы по тридцать — сорок человек...» Из репродукторов звучали сообщения: «За контрреволюционную пропаганду, саботаж, бандитизм, отказ от работ и попытки к бегству расстреляны следующие...» «Однажды вывели большую группу, человек сто, в основном троцкистов... На марше они запели «Интернационал», и их пение подхватили сотни голосов в бараках».

Очевидец описывает казни членов семей оппозиционеров — жена одного троцкиста шла к месту казни на костылях. Детей не казнили только в тех случаях, если им еще не исполнилось двенадцати лет. Бойня в лагерях Печоры продолжалась до мая. В воркутинском лагере «в хижинах осталось в живых немногим более ста человек. Прошли недели две. Затем выживших отправили обратно в копи, где они узнали, что Ежов смещен и ГПУ возглавил Берия».

К этому времени вряд ли остался в живых кто-либо из настоящих троцкистов и зиновьевцев. Когда двумя годами позже в лагеря прибыли сотни тысяч новых заключенных — поляков, латышей, литовцев, эстонцев,— они обнаружили там немало впавших в немилость сталинцев и даже некоторых бухаринцев, но не нашли ни троцкистов, ни зиновьевцев. Об их уничтожении старые зеки рассказывали шепотом и намеками, ибо даже самый многоопытный заключенный ничего не страшился больше, чем навлечь на себя подозрения в малейшем сочувствии и жалости к троцкистам[30].

Ежовщина явила собой политический геноцид: она уничтожила поголовно всех, кого можно было назвать большевиками-антисталинцами. В течение последующих пятнадцати лет владычества Сталина в советском обществе не оставалось ни единой группы — даже в тюрьмах и лагерях,— способной бросить ему вызов. Не оставлено было ни одного центра независимой политической мысли. В самосознании народа образовался колоссальный провал, его коллективная память была разбита вдребезги, преемственность революционной традиции разрушена, уничтожена самая способность к неконформистскому мышлению.

В конечном счете Советский Союз оказался лишен какой бы то ни было альтернативы сталинизму — и не только в сфере практической политики, но даже на уровне самых потаенных духовных процессов. (Аморфность мысли в обществе была такова, что даже после смерти Сталина советское общество оказалось неспособным породить из своих недр какое-либо антисталинистское движение; и реформа наиболее анахроничных черт сталинского режима могла быть предпринята только сверху бывшими подручными и сообщниками Сталина.)

Пока внимание пораженного ужасом ми-

[30] Я обязан подробным и вдумчивым описанием воркутинских лагерей позднего периода известному польскому журналисту Бернарду Сингеру, сосланному туда в начале второй мировой войны.

ра было приковано к московским процессам, бойня в концлагерях оставалась почти незамеченной. Она проводилась в такой глубокой тайне, что сведения о ней просочились лишь много лет спустя. Троцкий лучше, чем кто-либо другой знал, что в процессах проявилась лишь малая толика террора; об остальном он догадывался.

Но даже он не был способен представить, какова вся правда, да и окажись он на это способен, вряд ли его мозг был бы в состоянии вместить всю чудовищность происходящего в оставшийся ему недолгий срок. Троцкий все еще верил, что антисталинские силы, хорошо организованные и политически эффективные, вот-вот выйдут на передний план, что они сумеют свергнуть Сталина в ходе войны, а войну довести до победного и революционного конца. Он все еще рассчитывал на возрождение старого большевизма, крестовые походы против которого со стороны Сталина, казалось, невольно свидетельствовали о том, что он еще сохраняет большое влияние. Он не отдавал себе отчета, что все антисталинские силы уничтожены, что троцкизм, зиновьевизм, бухаринизм утоплены в крови и, подобно некоей Атлантиде, навсегда ушли на дно, исчезнув с политического горизонта. И что сам он теперь — всего лишь единственный уцелевший житель Атлантиды.

Все лето 1938 года Троцкий работал над подготовкой «Проекта программы» и резолюций учредительного конгресса Интернационала. Практически это была небольшая конференция троцкистов, собравшихся в доме Альфреда Розмера в Периньи, деревне близ Парижа, 3 сентября 1938 года. Присутствовал двадцать один делегат, претендуя на представительство организаций из одиннадцати стран. Ход конференции омрачился недавними похищениями и убийствами. Делегаты избрали почетными президентами конференции троих молодых мучеников: Лёву, Клемента и Эрвина Вольфа [31].

Вместе с Клементом, рабочим секретарем конференции, исчезли и отчеты о деятельности троцкистов в различных странах, проект устава Четвертого Интернационала и другие документы. Чтобы не дать ГПУ одержать еще одну победу, конференция провела лишь одно пленарное заседание, продолжавшееся целый день без перерыва, и отказалась допустить наблюдателей от каталонской ПОУМ и французской Социалистической партии рабочих и крестьян [32]. В целях обеспечения строжайшей секретности в выпущенном после закрытия конференции коммюнике говорилось о «Конгрессе, проведенном в Лозанне». На конференции, однако, был Этьен, представлявший «русскую секцию» Интернационала. Присутствовало и двое «гостей». Одной из них была некая Сильвия Агелоф, троцкистка из Нью-Йорка, выполнявшая функции переводчицы. Она прибыла из США несколько ранее, познакомилась в Париже с человеком, именовавшим себя Жак Морнар, и стала его любовницей. Он болтался где-то за пределами зала заседаний, притворяясь, что ему нет дела до столь секретного собрания и он просто ждет, когда выйдет Сильвия.

Председательствовал на конференции Макс Шахтман. Конференция проголосовала по докладам комиссий и резолюциям, большая часть которых вышла из-под пера Троцкого. Повестка дня была так насыщена, что любому обычному конгрессу ее хватило бы на неделю работы. Навиль выступил с отчетом «о проделанной работе», долженствующим оправдать создание Четвертого Интернационала. Отчет, однако, невольно показал, что этот Интернационал — едва ли не фикция; за последние годы ни одно из его так называемых исполнительных и международных бюро не оказалось способным функционировать. В «секциях» Интернационала состояли лишь десятки, в лучшем случае — сотни членов. Это относится и к американской, самой многочисленной из секций, в которую, по заявлениям ее руководителей, будто бы входило две с половиной тысячи человек [33]. Конференция, однако, согласно рекомендациям Троцкого, сохраняла непоколебимую решимость считать себя «учредительным конгрессом».

Лишь двое польских делегатов заявили, что «польская секция возражает против провозглашения Четвертого Интернационала». Они указали на безнадежность попыток создания нового Интернационала в период «усиления реакции и политической депрессии», когда рабочее движение в целом пошло на спад; для сравнения они обратили внимание присутствующих на тот факт, что все предыдущие Интернационалы возникали на волне революционного подъема. «Создание каждого из предыдущих Интернационалов представляло определенную угрозу власти буржуазии... В случае Четвертого Интернационала это будет не так. Трудящиеся массы не откликнутся на наш призыв. Необходимо ждать...» Поляки согласились с выводом Троцкого о «моральной смерти» Второго и Третьего Интернационалов, но предостерегли конференцию, что было бы легкомысленным недооценивать влияние этих Интернационалов на рабочий класс многих стран. Хотя поляки и поддержали «Проект программы» Троцкого, они снова и снова призывали товарищей воздержаться «от пустого жеста» и «глупой акции» [34].

---

[31] Эрвин Вольф, секретарь Троцкого в Норвегии, отправился в 1936 г. в Испанию, где пал от рук ГПУ.

[32] ПОУМ И СПРК (маленькая активная французская партия, руководимая Марсо Пивером) «сочувствовали» троцкизму, но имели с ним расхождения.

[33] «Внутренний бюллетень» американских троцкистов определял частичный состав партии в 1000 человек. Дуайт Макдональд в «Воспоминаниях революционера» отмечает: «Нас было человек восемьсот».

[34] Один из двух польских делегатов, «Штефан», молодой ученый, учившийся во Франции, отбыл несколько лет заключения в польской тюрьме для несовершеннолетних преступников за революционную деятельность. Второй — «Карл», пожилой еврей-рабочий — отсидел двенадцать лет при царе и Пилсудском, принимал участие в Октябрьской революции в Москве, сражался в первых битвах гражданской войны в России, затем вернулся в Польшу, за революционную деятельность был приговорен к смертной казни и сбежал, когда его вели на расстрел. Автором аргументов против создания Четвертого Интернационала, который высказали на конференции оба делегата, был я.

Это были веские возражения, и поступили они от единственной троцкистской группы за пределами СССР, имевшей за спиной опыт многолетней революционной деятельности в условиях подполья и солидную традицию марксистской мысли, восходящую к Розе Люксембург. Конференция посвятила немало времени репликам в адрес польских делегатов, но серьезных попыток опровергнуть их аргументацию не было. Навяль объявил текущий момент «уникально благоприятным» для создания нового Интернационала: «Необходимо положить конец нынешней неопределенной ситуации и выработать четкую программу, создать международное руководство и четко оформленные национальные секции». Шахтман охарактеризовал исторические параллели поляков как «неуместные и ложные» и самих их назвал «меньшевиками в наших рядах», ибо только меньшевики могли обнаружить столь полное непонимание значения организации и такое неверие в будущее Интернационала. Девятнадцатью голосами против трех конференция приняла решение о безотлагательном провозглашении Четвертого Интернационала.

После торопливого и почти единогласного одобрения всех остальных резолюций делегаты перешли к выборам Исполнительного комитета. Этьен, бывший основным докладчиком по «русскому вопросу», заявил протест по поводу того, что «русской секции» в Исполкоме не отвели места. Конференция исправила эту ошибку, избрав «тайным» и почетным членом Исполкома Троцкого. Поскольку Троцкий не смог принять участия в работе Исполкома, представлять «русскую секцию» по-прежнему предстояло провокатору.

Троцкий принял решение об основании нового Интернационала в период, когда подобный акт, как и предупреждали польские делегаты, не мог иметь никакого смысла. Его сторонники в Советском Союзе (сильнейшая секция Четвертого Интернационала) были истреблены. Ряды его сторонников в Европе и Азии редели. Почти во всех странах к востоку от Рейна и к югу от Альп рабочее движение было подавлено. Ни о какой систематической подпольной деятельности под властью Гитлера в Германии, Австрии, а вскоре и в Чехословакии для марксистской организации не могло быть и речи. Народный фронт во Франции распался в обстановке недовольства и апатии. Гражданская война в Испании, в которой левые сами себе нанесли моральное поражение, прежде чем были разбиты в бою, шла к концу. В политическом смысле вся континентальная Европа распростерлась перед Гитлером в ожидании, когда на нее обрушатся его полчища. Понадобятся годы нацистской оккупации, невыносимого гнета и унижения, чтобы рабочий класс ряда стран возобновил политическую борьбу или пришел в ряды Сопротивления. Но в ту пору рабочие, по крайней мере во Франции и Италии, повернулись к сталинистским партиям, которые ассоциировались с Советским Союзом — самой могучей, а с 1941 года самой действенной силой Сопротивления. Как бы ни изменялись обстоятельства, влиянию троцкизма суждено было оставаться незначительным.

Не лучше были перспективы и в Азии, хотя Азия переживала революционное брожение. Троцкий уделял много времени и внимания общественно-политическим процессам в Китае, Японии, Индии, Индокитае и Индонезии. Во всех этих странах он располагал влиянием среди небольших групп коммунистически настроенных интеллектуалов и рабочих. Но нигде, за исключением, как ни странно, Цейлона, его сторонники не смогли создать эффективную политическую партию. Даже в Китае, где противостояние политике Сталина в 1925—1927 гг. могло бы, казалось, оставить глубокий след, Четвертый Интернационал не располагал секцией, достойной подобного названия. Троцкистские группки, работавшие в подполье, в жуткой нищете и преследуемые как гоминьдановцами, так и сталинистами, состояли из двух десятков человек в Шанхае, нескольких десятков в Гонконге и еще более мелких ячеек, рассыпанных по центральным и восточным провинциям. Даже когда на сторону троцкизма перешел Чен Дусю, они не смогли вырваться из изоляции. Чен провел шесть лет в тюрьме, после освобождения был выслан в глухую деревню с запрещением заниматься политикой и публиковать свои труды. Он жил в голоде и страхе, угнетенный чувством вины за поражение 1927 года; ему не доверяли даже троцкисты, маоисты порочили его, чанкайшистская полиция следила за каждым шагом и грозила смертью. В конце концов чанкайшисты арестовали его снова в 1943 году и убили в тюрьме. Но в 1938 и 1939 годах Троцкий отчаянно пытался вывезти его из Китая, надеясь, что «он сыграет в Четвертом Интернационале такую же роль, как Катаяма в Третьем, но... с большей пользой для революции». Однако Чен уже сломался и погрузился в самый черный пессимизм. Тем не менее время от времени он делал проницательные замечания о политической жизни Китая и указывал, где и почему троцкизм терпит неудачи.

В заявлении, написанном два месяца спустя после провозглашения Четвертого Интернационала, он объяснял, например, почему революционное движение в Китае должно опираться на крестьянство, а не на городской рабочий класс (как ожидали Троцкий и он сам). Японцы демонтировали промышленность в наиболее развитых провинциях Китая, соответственно, «китайский рабочий класс значительно сократился численно, был отброшен материально и духовно до состояния, в котором находился лет тридцать — сорок назад». Поэтому тщетно рассчитывать, что города станут оплотами революции.

«Если мы не уразумеем сегодня, какими могут оказаться политические обстоятельства завтрашнего дня, не осознаем ясно слабости китайского пролетариата и состояния его партии, мы обречем себя на изоляцию в своих норах, проспим наши

возможности и, гордясь сами собой, будем жить утешениями». Троцкисты, продолжал он, своей сектантской самонадеянностью, абсолютно отрицательным отношением к маоизму, равнодушием к нуждам антияпонской войны изолируют себя от политических реалий. Он опасался, что провозглашение Четвертого Интернационала лишь поощрит троцкистов в их «самодовольных заблуждениях» и приведет к банкротству. Сам он склонялся к примирению то с гоминьданом, то с маоизмом, но не мог или не хотел найти общий язык ни с теми, ни с другими и последние трагические годы прожил сломанным человеком. Его пророчества и его судьба как бы подвели итог затруднениям троцкизма в этой части света.

Единственной страной, где троцкизм хоть как-то пошевеливался, были Соединенные Штаты. В январе 1938 года, после многочисленных расколов и слияний, сформировалась Социалистическая рабочая партия, вскоре получившая название «сильнейшей секции» Четвертого Интернационала. Партия проявляла известную боевитость в профсоюзах и промышленности и регулярно издавала два периодических издания: «Новый интернационал» (теоретический ежемесячник) и «Борец».

Руководство партии составила довольно большая, по американским меркам, группа опытных и способных лидеров, из которых наибольшей известностью пользовались Макс Шахтман, Джеймс Кэннон и Джеймс Бернхэм. Троцкий всегда был к услугам партии, готовый советовать, критиковать, восхвалять, подстегивать и улаживать дрязги и конфликты. Эмиссары сновали между Мехико и Нью-Йорком, контакт облегчался тем обстоятельством, что почти все секретари и телохранители в Голубом Доме были американцы. Теперь центром троцкизма становился скорее Нью-Йорк, чем Париж. Тем не менее и американская партия оставалась хилым ростком, посаженным в мало пригодную для него почву.

Почему же все-таки Троцкий провозгласил Четвертый Интернационал, несмотря на столь неблагоприятные предзнаменования?

Прошло более пяти лет с тех пор, как он решил, что невозможно «состоять в одном Интернационале со Сталиным, Мануильским и К°». За эти годы Третий Интернационал пал так низко, что Троцкий считал необходимым и самому и своим сторонникам отмежеваться от него самым решительным и демонстративным образом. Когда-то Ленин, возмущенный Вторым Интернационалом, призвал большевиков сбросить старые «грязные одежды» социал-демократии и назвать себя коммунистами. Троцкий говорил о «сифилисе сталинизма», о «раке, который должен быть выжжен из рабочего движения каленым железом», и полагал, что создает организацию, долженствующую сыграть решающую роль в грядущих революционных классовых битвах.

Менее ясно, рассчитывал ли он на успех в недалеком будущем, или трудился «для истории». Его собственные высказывания на сей счет весьма противоречивы. «Все великие движения,— писал он однажды, имея в виду малочисленность своих последователей,— начинались как «откололшиеся группы» старых движений. Христианство начиналось как «осколок» иудаизма, протестантство «откололось» от католицизма, то есть от вырождающегося христианства.

Группировка Маркса и Энгельса появилась на свет, «откололшись» от левого гегельянства. Основу Коммунистического Интернационала заложили группы, «откололшиеся» во время последней войны от Социал-демократического Интернационала. Инициаторы всех этих движений сумели привлечь на свою сторону массы, потому что не боялись остаться в изоляции». Из этой цитаты, при всем ее историческом оптимизме, следует, что скорого и решительного успеха Троцкий не ждал. С другой стороны, проект программы, написанный им для Четвертого Интернационала, являлся не столько изложением принципов, сколько тактическим руководством, предназначенным для партии, с головой ушедшей в профсоюзную борьбу и повседневную политическую деятельность и стремящейся немедленно взять в руки политическое руководство.

В послании учредительному конгрессу Троцкий пишет: «Таким образом перед Четвертым Интернационалом стоит задача превращения в массовое движение... Сейчас это единственная организация, имеющая ясные представления не только о движущих силах... эпохи, но и о всех повседневных запросах, способных сплотить массы на революционную борьбу за власть...» И далее: «Несоответствие наших сегодняшних сил нашим завтрашним задачам видно нам куда яснее, чем нашим критикам. Но суровая и трагичная диалектика нашей эпохи работает на нас. Массы, доведенные (войной) до беспредельного отчаяния и возмущения, не найдут иного руководства, кроме предлагаемого Четвертым Интернационалом».

В обращении к своим американским сторонникам Троцкий превозносит миссию Четвертого Интернационала чуть ли не мистическим языком и с еще большей уверенностью: «В течение грядущих десяти лет программа Четвертого Интернационала привлечет к себе миллионы, и этим революционным миллионам будет под силу штурмовать небо и землю».

В дни мюнхенского кризиса Троцкий снова заявил, что, хотя Четвертый Интернационал еще может быть слаб в начале грядущей войны, «каждый новый день будет работать на нас... В первые же месяцы войны среди трудящихся масс возникнет бурная реакция против миазмов шовинизма. Первыми ее жертвами, наряду с фашизмом, окажутся партии Второго и Третьего Интернационала. Их крах станет необходимым условием развития открытого революционного движения... руководимого... Четвертым Интернационалом». Кингсли Мартину, посетившему его в 1937 году, Троцкий говорил: «Уверяю вас, через три или пять лет Четвертый Интернационал будет величайшей силой в мире!»

Его расчеты строились на двойной предпосылке: «что вслед за грядущей мировой войной последует революция, схожая с той, что последовала за первой мировой войной, но еще большей силы и размаха, и что сталинистские партии, как и социал-

демократы, выдохнутся, пытаясь остановить революцию. Более, чем когда-либо ранее, он видел в развитых индустриальных странах Запада главное поле сражений за социализм; их рабочий класс должен выступить со спасительной революционной инициативой, единственно способной разорвать порочный круг — социализма в одной стране и бюрократического абсолютизма,— в плену которого очутилась русская революция.

Троцкому казалось почти немыслимым, что западный капитализм, уже ослабленный кризисами и спадами тридцатых годов, сумеет пережить грядущий катаклизм. Он не сомневался, что Гитлер предпримет попытку объединить Европу под властью германского империализма, но потерпит поражение. Однако объединить Европу необходимо, и сделать это — создать Соединенные Штаты Социалистической Европы — способна лишь пролетарская революция. Этот социальный переворот затронет не только Германию с ее марксистским наследием, не только Францию и Италию с их революционными традициями, но даже Северную Америку.

В предисловии к «Живым мыслям Карла Маркса», написанном в 1939 году, Троцкий отвергает политику «нового курса» Рузвельта и любые попытки оживить и реформировать капитализм как «реакционное и беспомощное шарлатанство»; подчеркивает актуальность «Капитала» применительно к нынешнему состоянию американской экономики и приветствует зарю новой эпохи марксизма в Соединенных Штатах. И в развитии марксизма «Америка в несколько прыжков сравняется с Европой, а затем оставит ее позади. Прогрессивный способ производства и прогрессивный общественный строй проложат себе путь в области теории. Лучшие теоретики марксизма появятся на американской земле. Маркс станет наставником передового американского рабочего».

Троцкий не оставил без внимания огромный революционный потенциал развивающихся стран, особенно Китая — он занимался этими вопросами больше, чем любой другой автор тридцатых годов. Но перспективы революционного движения в этих странах он подчинял перспективам революции на Западе: «Начавшись, социалистическая революция будет распространяться из страны в страну с неизмеримо большей силой, чем сейчас распространяется фашизм. По примеру и с помощью развитых стран в русло социализма войдут и отсталые страны». Доводя до крайностей логику классического марксизма, рассматривавшего «прогрессивную технологию и прогрессивную социальную структуру» как основу для социалистической революции, он невольно высветил несоответствие теории фактам. Если бы развитые индустриальные страны сыграли роли, отведенные им в теории классическим марксизмом, ни одна страна не оказалась бы более восприимчивой к марксизму и социализму, чем Соединенные Штаты.

Троцкий не предвидел и не мог предвидеть, что несколько десятилетий спустя основное русло социалистического движения образуют отсталые страны, а «развитой Запад» будет проводить политику его сдерживания и отбрасывания. И что, в частности, Соединенные Штаты, вместо того чтобы создать собственный, сверхсовременный вариант марксизма, превратятся в самую мощную антимарксистскую силу в мире [35].

Троцкий ожидал, что рабочий класс Запада поднимется так же, как в 1848, 1871, 1905 и 1917—1918 годах. Применяя традиционную марксистскую концепцию даже к Китаю, он недоверчиво взирал на «крестьянские армии» Мао Цзэдуна, опасаясь, что, подобно многим таким армиям в истории Китая, они могут превратиться в инструмент реакции и войти в конфликт с рабочими, если те не сумеют перехватить революционную инициативу. Вопреки предостережениям Чена Дусю, он считал, что китайский рабочий класс вновь обретет свой политический elan [36] и воспрянет как руководящая сила революции. Для Троцкого оставалось аксиомой, что в современной классовой борьбе руководящая роль должна принадлежать городу; идея повстанческого движения, завоевывающего город извне — из деревни — казалась ему абсурдной и реакционной. И на Западе, и на Востоке, утверждал он, революция будет пролетарской в истинном смысле слова, либо ее не будет вообще. Меньше всего он мог предвидеть ситуацию, сложившуюся во время и после второй мировой войны, когда ход классовой борьбы и на Западе, и на Востоке определялся, и в известном смысле искажался, сначала фактом союза между сталинской Россией и Западом, а затем фактом их антагонизма.

Исходя из своих предпосылок, Троцкий не мог не задаться вопросом: кто — какая партия — возглавит грядущие революционные битвы? Второй Интернационал, говорил он, превратился в гниющие подпорки старого режима. Третий — в орудие в руках Сталина, которое Сталин тут же выбросит, как только отпадет в нем нужда, либо использует, как предмет торговли, в своих сделках с капиталистическими странами. Сталин и его бюрократия опасались революции за рубежом, которая могла бы всколыхнуть советский рабочий класс и создать угрозу бюрократическому абсолютизму и системе привилегий. Таким образом, рабочие на пороге новой эпохи социальных потрясений остались без революционной марксистской партии, которая могла бы ими руководить. Отсутствием руководства объясняется череда поражений, понесенных ими в двадцатых и тридцатых годах; оставаясь без революционного руководства, они и впредь будут терпеть поражения, даже еще более катастрофические. Если марксизм не заблуждение, если рабочий класс есть движущая сила социализма, если ленинизм прав в том, что пролетариату не победить без руководящего «авангарда», то затянувшийся кризис руководства может быть преодолен лишь пу-

---

[35] Будут ли прогнозы Троцкого относительно «развитого Запада», и в частности США, выглядеть такими же нереальными к концу века, как в середине его, остается, разумеется, открытым вопросом.

[36] Порыв *(франц.)*. *(Прим. ред.)*

тем создания новой коммунистической партии и нового Интернационала.

Но в одной среде, а именно, в среде радикальной американской интеллигенции, особенно в литературных кругах, троцкизм в этот период делал успехи. Экономический кризис, подъем нацизма, гражданская война в Испании толкали многих американских интеллигентов к коммунистической партии; однако наиболее критически мыслящие умы отталкивал оппортунизм политики Народного фронта, заставлявший партию обхаживать Рузвельта и приветствовать «новый курс». Помимо того, московские процессы, двуличие и уродливые ритуалы сталинского режима вызывали у них шок и отвращение. Троцкизм казался им свежим ветром, разгоняющим затхлую атмосферу левых сил и открывающим новые горизонты. У литераторов находили отклик и драматический пафос борьбы Троцкого, и его красноречие, и литературный дар. Троцкизм стал чем-то вроде моды, которой суждено было оставить отпечаток на американской литературе. Среди писателей, особенно критиков, испытавших его влияние, были Эдмунд Уилсон, Сидней Хук, Джеймс Т. Фаррел, Дуайт Макдональд, Чарльз Маламуд, Филип Рахв, Джеймс Рорти, Гарольд Розенберг, Клемент Гринберг, Мэри Маккарти и многие, многие другие.

Центром этого «литературного троцкизма» стал журнал «Партизан ревью». Редактируемый Филипом Рахвом и Уильямом Филлипсом, журнал издавался под эгидой Клубов Джона Рида и — косвенно — Коммунистической партии. Однако редакторы, раздраженные вмешательством партии в литературные дела, настороженные ее политической непоследовательностью и потрясенные московскими процессами, работу над журналом приостановили. В конце 1937 года издание возобновилось, но изменило ориентацию; теперь «Партизан ревью» выступал за революционный социализм и против сталинизма. Редакция пригласила Троцкого писать для журнала. Вначале Троцкий отклонил приглашение, проявив сомнения в отношении данного литературного предприятия. «У меня сложилось общее впечатление,— писал он Дуайту Макдональду,— что редакторы «Партизан ревью» способны, образованны и умны, но им нечего сказать».

У руководства Социалистической рабочей партии мысль, что «Партизан ревью» может опереться на авторитет Троцкого, не вызывала восторга; со своей стороны Троцкий сомневался в серьезной приверженности этого издания делу революционного социализма. Большинство его авторов были знакомы с марксизмом и большевизмом только по сталинским извращающим интерпретациям — не заставит ли их сейчас разочарование в сталинизме разочароваться также в марксизме и большевизме? С другой стороны, он критиковал редакторов за слишком невыразительную реакцию на московские процессы и попытки сохранить дружественные отношения с «Нью мэссиз», «Нейшн» и «Нью рипаблик», либо защищавших процессы, либо занимавших по отношению к ним неопределенную позицию.

«Есть меры,— писал Троцкий Рахву,— для борьбы против ошибочной теории, и есть другие меры — для борьбы с эпидемией холеры. Сталин неизмеримо ближе к холере, чем к ложной теории. Борьба должна быть напряженной, неустанной, безжалостной. Необходим... элемент «фанатизма». Несколько позже на протяжении того же года, по мере того, как антисталинская линия «Партизан ревью» становилась более четкой, лед был сломан. Момент наиболее тесного сотрудничества журнала с Троцким наступил, когда Бретон и Ривера, вдохновленные Троцким, опубликовали на его страницах свой «Манифест» о свободе творчества и призвали к созданию Международной федерации революционных писателей и художников для отпора тоталитарным поползновениям против литературы и искусства.

Андре Бретон, французский поэт-сюрреалист, прибыл в Койоакан в феврале 1938 года. Он был давним и пылким поклонником Троцкого.

В Койоакане Бретон, Троцкий и Ривера уходили на долгие прогулки и совершали поездки за город, во время которых спорили, временами очень горячо, о политике и искусстве. Во Франции сюрреалисты и троцкисты (особенно Навиль, бывший сюрреалист) были друг с другом на ножах. Троцкий, однако относился к сюрреализму, как и к любому новому течению в искусстве, скорее благожелательно, хотя и нельзя сказать, что некритически: он принимал квазифрейдистскую сосредоточенность сюрреалистов на снах и подсознании, но скептически воспринимал «мистический уклон» в работах Бретона и его друзей. Как ни далеки были эти проблемы от нынешних забот Троцкого (визит Бретона совпал со смертью Лёвы и процессом Бухарина), он тем не менее много спорил с Бретоном и Риверой о коммунизме, искусстве, марксистской философии и эстетике. В ходе этих дискуссий и родилась идея «Манифеста», адресованного писателям и художникам, а также основания Международной федерации. «Манифест», в создании которого Троцкий принял участие, увидел свет на страницах «Партизан ревью» за подписями Бретона и Риверы[37]. Сам Троцкий следующим образом комментировал этот шаг в письмах Бретону и «Ревью»:

«Всем сердцем приветствую (писал он Бретону) Вашу инициативу создания Международной федерации истинно революционных и истинно независимых художников — и почему не добавить: истинных художников?... Наша планета превращается в грязную вонючую империалистическую казарму. Герои демократии... всеми силами пытаются походить на героев фашизма... Чем более диктатор невежествен и туп, тем более он считает себя призванным направлять развитие науки, философии и искусства. Другим существенным симптомом

[37] «Партизан ревью», осень 1938 г. Бретон утверждает что Ривера лишь подписал «Манифест», основной текст которого составил Троцкий считавший, однако, неудобным ставить свою подпись

загнивания современного общества являются стадное чувство и угодничество интеллигенции».

«Манифест» основывался на тех же идеях, что Троцкий высказывал в «Литературе и революции» пятнадцатью годами ранее, когда пытался предотвратить сталинский диктат над литературой и искусством. В этот раз он обрушился на «сикофантов сталинизма», «арагонов, эренбургов и других мелких ловкачей», на «господ (подобных Барбюсу), кто с равным энтузиазмом сочиняет биографии Иисуса Христа и Иосифа Сталина», и на Мальро, «лживость» которого (в его описаниях недавних событий в Германии и Испании) «тем более отвратительна, что он пытался придать ей художественную форму». Троцкий считал поведение Мальро «типичным для целой категории, почти для целого поколения писателей: столь многие из них лгут из так называемой «солидарности» с Октябрьской революцией — как будто революция нуждается во лжи». Необходимая часть борьбы за идеалы революции — это борьба за художественную правду и за неотъемлемую верность художника самому себе.

«В искусстве человек выражает... потребность в гармоничном и полноценном существовании... в котором ему отказывает классовое общество (из статьи Троцкого в «Партизан ревью»). Поэтому каждое истинно художественное произведение всегда выражает сознательный или подсознательный, активный или пассивный, оптимистический или пессимистический протест против реальности... Загнивающий капитализм не способен обеспечить даже минимальных условий, необходимых для развития тех направлений искусства, которые до известной степени отвечают требованиям нашей эпохи. Ему свойственна суеверная боязнь всякого нового слова. Угнетенные же массы живут своей собственной жизнью. Богемная художественная среда замкнута в собственных узких рамках... Художественные школы последних десятилетий — кубизм, футуризм, дадаизм, сюрреализм — сменяли одна другую, так и не сумев расцвести...

Найти выход из этого тупика одними художественными средствами невозможно. Это кризис всей цивилизации... Если современное общество не сумеет перестроиться, искусство погибнет так же неминуемо, как погибло греческое искусство вместе с рабовладельческой цивилизацией... Таким образом в нашу эпоху функции искусства определяются его отношением к революции.

Но именно здесь история уготовила искусству гигантский капкан. Целое поколение «левой» интеллигенции... обратило взор на Восток и связало... свою судьбу не столько с революционным рабочим классом, сколько с победившей революцией, что далеко не одно и то же. В победившей революции, помимо самой революции, существует еще и новый привилегированный слой... задушивший художественное творчество тоталитарной рукой... Даже при абсолютной монархии придворное искусство основывалось на идеализации, но не на фальсификации, тогда как в Советском Союзе официальное искусство — а никакого иного там не существует — разделяет судьбу официальной юстиции; целью его является прославление «вождя» и фабрикация официального героического мифа...

Стиль официальной советской живописи именуется «социалистическим реализмом» — только возглавляющий управление искусств бюрократ и мог придумать подобный ярлык. Этот реализм сводится к имитации провинциальных дагерротипных снимков третьей четверти прошлого века; а его «социалистичность» — к использованию приемов «под фотографию» для изображения событий, никогда не имевших места в действительности. Нельзя без ужаса и отвращения читать поэмы и романы или смотреть картины и скульптуры, в которых чиновники, вооруженные пером, резцом или кистью под присмотром чиновников, вооруженных револьверами, прославляют «великих и гениальных вождей», в которых нет ни одной искры величия или гениальности. Искусство сталинской эпохи останется ярчайшим свидетельством глубочайшего упадка пролетарской революции».

Эта проблема, указывал Троцкий, не ограничивается рамками Советского Союза:

«Под предлогом запоздалого признания Октябрьской революции «левая» интеллигенция Запада стала на колени перед советской бюрократией... Началась новая эра различных центров и кружков... неизбежных эпистол Ромена Роллана и субсидируемых изданий, банкетов и конгрессов (на которых трудно провести грань между искусством и ГПУ). Но, несмотря на широкий размах, это воениизированное движение не дало ни одного произведения искусства, способного пережить своего автора и его кремлевских вдохновителей.

Искусство, культура и политика нуждаются в новой перспективе. Без нее человечеству не пойти вперед... Но истинно революционная партия не может и не захочет «направлять» искусство, не говоря уж о том, чтобы командовать им... Только у невежественной и наглой бюрократии, обезумевшей от неограниченной власти, могли родиться подобные амбиции... Искусство может быть величайшим союзником революции лишь в той степени, в которой сохраняет верность себе».

Несмотря на столь воодушевляющие призывы, Международная федерация писателей и художников так и не состоялась. В Европе ее призыв к защите свободы творчества вскоре заглушили громы приближающейся войны, а в Америке расцвет «литературного троцкизма» оказался недолговечным. Как и опасался Троцкий, отвращение интеллигенции к сталинизму перерастало в реакцию против марксизма вообще и против большевизма.

В очередной раз мы можем проследить здесь странный цикл в эмоциях, возбуждаемых Троцким в среде его последователей — интеллектуалов. Большинство из них обращалось к нему с чувством величайшего почтения. Но постепенно его образ жизни и мышления выдавал в нем невыносимое моральное напряжение, он в самом деле оказывался «за пределами их восприятия». Они обнаруживали, что их ко-

роль Лир по-прежнему оставался самым жестким из революционеров. Он не пытался окружить себя свитой лирических поклонников, он пытался собрать бойцов для битвы за невозможнейшее из дел. Он стремился к тому, чтобы его последователи разделили его неприятие любой власти в мире: фашизма, буржуазной демократии и сталинизма; любой разновидности империализма, социал-патриотизма, реформизма и пацифизма; религии, мистицизма и даже светского рационализма и прагматизма. Он требовал от своих последователей «безоговорочно защищать Советский Союз», несмотря на Сталина, и атаковать Сталина с ненавистью, не уступающей его собственной. Сам не отступающий от своих принципов ни на йоту, он не терпел отступничества в других. Он требовал от своих сторонников несокрушимой убежденности, полного безразличия к общественному мнению, непоказной готовности к самопожертвованию и пылкой веры в пролетарскую революцию, чье дыхание он ощущал постоянно (в отличие от них). Словом, он полагал, что они слеплены из того же теста, что и он.

Они колебались; их чувства величайшего почтения к Троцкому уступали место сначала некоторой неловкости и сомнениям или же усталости, все еще смешанной с восхищением, затем — несогласию с ним, и, наконец, скрытой или явной враждебности. Один за другим «троцкиствующие» интеллектуалы расставались — сначала робко, потом сердито — с былой восторженностью и обращались к недостаткам Троцкого. Поскольку ничего нет хуже неудачи, они припоминали все его ошибки и просчеты, настоящие или вымышленные, какие могли припомнить, пока в конечном счете не объявляли его фанатичным и догматичным фантазером, либо приходили к выводу, что большой разницы между ним и Сталиным нет.

За этой устойчивой моделью разочарований и прерванных дружеских связей возникало растущее разочарование радикальной интеллигенции Запада в опыте русской революции во всех ее аспектах, включая марксизм. Здесь проявлялся один из периодических процессов политической трансформации, в силу которой радикалы и революционеры одной эпохи превращались в центристов или в консерваторов и реакционеров — другой. Мало кто из «троцкиствующих» литераторов тридцатых годов не оказался потом во главе антикоммунистических крестовых походов конца сороковых и пятидесятых. В это крестоносное движение они привнесли свое знание коммунизма, острое, хотя и одностороннее понимание его уязвимых мест и страстную ненависть, привитую им Троцким в надежде, что объектом ее будет не коммунизм, а сталинизм. (Разумеется, в антикоммунистических крестовых походах предстояло сыграть видную роль и бывшим сталинистам, никогда влияния троцкизма не испытавшим, но по большей части в амплуа скорее вульгарных доносчиков, нежели вдохновителей-идеологов.)

Истоки этой трансформации до известной степени кроются в путанице вокруг ряда несущественных противоречий. Зимой 1937—38 гг. Истмен, Серж, Суварин, Силига и другие подняли вопрос о роли Троцкого в подавлении кронштадтского мятежа 1921 года. Этот вопрос они поставили потому, что пытались определить точное место и время появления того фатального изъяна большевизма, из которого развился сталинизм. Таким изъяном, утверждали они, явилось подавление кронштадтского мятежа 1921 года — это был поворотный пункт, первородный грех, приведший к падению большевизма. Но разве не нес Троцкий ответственности за подавление мятежа? Не явился ли он в этом деле предвестником сталинского террора? Обвинителям тем легче было клеймить Троцкого, что они рисовали себе сверхидеализированную картину кронштадтского мятежа, превознося его как первый воистину пролетарский протест против «предательства революции». Троцкий отвечал, что их представления о характере мятежа не соответствуют действительности и что, если бы большевики не подавили восстание, они тем самым настежь открыли бы ворота для контрреволюции. Он принял на себя полную политическую ответственность за решение Политбюро по этому вопросу, которое он поддержал, и опроверг лишь утверждение, что лично руководил штурмом Кронштадта [38].

Полемика велась до странности и неразумно пылко.

Отнюдь не обязательно было принимать версию Троцкого, чтобы увидеть, как раздувают его оппоненты значение Кронштадтского восстания, вырывая его из общего исторического контекста и переплетения множества событий. Кронштадт, как прелюдия сталинизма, заслонил в их глазах фундаментальные факторы, вызвавшие к жизни сталинизм, такие, как поражение коммунизма на Западе, нищета и изоляция Советского Союза, усталость трудящихся масс, разрыв между городом и деревней, «логика» однопартийной системы и многое другое. Ожесточенность дискуссии вокруг этого, относительно давнего и туманного

[38] В письме Лёве (19 ноября 1937) Троцкий отмечает, что при обсуждении вопроса на Политбюро он выступил за штурм Кронштадта в то время как Сталин высказался против, мотивируя свою позицию тем, что мятежники сами сдадутся через две—три недели если их не трогать.

Любопытно, что ни в публичной полемике со Сталиным, ни в своей книге о нем Троцкий никогда не упоминает этот факт, хотя никогда не упускает случая обвинить Сталина в политической «мягкотелости» и колебаниях в проведении ленинской линии. Была ли причина в том, что в данном конкретном случае «мягкотелость» могла быть истолкована в пользу Сталина? Дискуссия вокруг Кронштадта продолжалась в «Нью интернэшнл» (Т р о ц к и й. «Шумиха вокруг Кронштадта», апрель 1938; С е р ж. «Письмо в редакцию» февраль 1939, и т. д.), а также в литературе (С и л и г а: «В стране Большой Лжи». С е р ж. «Записки революционера»).

Один из американских секретарей Троцкого Бернард Вольф, проживший в Койоакане несколько месяцев в 1937 г., позже написал роман «Смерть великого князя», построенный на идее, что совесть и жизнь Троцкого были искалечены чувством вины за подавление Кронштадтского восстания. К сожалению, роман столь же груб и примитивен художественно, сколь и неточен исторически.

события была такова, что Троцкий заметил: «Можно подумать, Кронштадтское восстание имело место не семнадцать лет назад, а только вчера».

Больше всего Троцкого возмущало, что его якобы доброжелатели сочли возможным допекать его Кронштадтским восстанием в самый разгар кампании против московских процессов. В то время как Троцкий осуждал казни жен и детей антисталинистов, Серж и Суварин обвиняли его в расстрелах заложников во время гражданской войны. Разве не играла эта «шумиха» на руку Сталину? И разве не видели они различий нравственного и политического характера между применением насилия в гражданской войне и нынешним сталинским террором? Или они не признавали за большевистским правительством 1918—1921 годов права защищаться и укреплять дисциплину?

«Не знаю... (писал Троцкий) были ли там (в Кронштадте) невинные жертвы... И не могу решать сейчас, столько времени спустя, кто должен был быть наказан, и каким образом... тем более что не располагаю сейчас соответствующими сведениями. Я готов признать, что гражданская война — отнюдь не школа гуманизма. Идеалисты и пацифисты вечно обвиняют революцию в «крайностях». Но суть вопроса в том, что «крайности» проистекают из самой природы революции, которая и есть «крайность» истории. Пусть те, кто хотят, отвергают (в своих журналистских статейках) революцию по этой причине. Я же ее не отвергаю».

Оппоненты обвиняли Троцкого в «иезуитской аморальности», то есть в вере в то, что цель оправдывает средства. Он ответил своим эссе «Их мораль и наша», агрессивным и красноречивым утверждением концепции коммунистической этики[39]. Открывается оно яростной инвективой в адрес тех «левых» демократов и анархистов, которые в период торжества реакции «выделяют вдвое больше моральных миазмов, чем обычно, подобно тому, как некоторые люди в два раза больше обычного обливаются потом от страха», но при этом проповедуют мораль не могущественным преследователям, а преследуемым революционерам. Он и в самом деле не признавал никаких абсолютных принципов морали. За пределами религии подобные абсолюты не имели смысла. Папы римские по крайней мере выводили их из божественного откровения; но откуда выводили свои вечные моральные истины его оппоненты, эти «мелкие светские попики»? Из «человеческой совести», «нравственной природы человека» и аналогичных общих понятий, представляющих собой не что иное, как метафизические истолкования все того же божественного откровения.

Мораль неотъемлема от истории и классовой борьбы и не обладает неким неизменным содержанием. Она отражает опыт и потребности общества и посему всегда должна соотносить средства с целями. Впечатляющий пассаж Троцкий посвятил «защите» иезуитов против их морализаторствующих критиков: «Орден иезуитов... никогда не проповедовал, что допустимы любые средства... даже преступные, если только они ведут к достижению «цели»... Подобную систему взглядов злонамеренно приписали иезуитам их противники-протестанты и отчасти католики, сами не испытывающие никаких нравственных сомнений при выборе средств для достижения своих целей».

Иезуитские богословы отстаивали трюизм, а именно, что использование любых средств, каковые сами по себе могут быть нейтральными в нравственном отношении, должно оправдываться, либо, наоборот, осуждаться в зависимости от характера цели, достижению которой они служат. Произвести выстрел — поступок нравственно нейтральный. Пристрелить бешеную собаку, спасая от нее ребенка,— доброе деяние. Застрелить человека — преступление.

«В своей практической морали иезуиты были нисколько не хуже любых других попов и монахов... напротив, превосходили их, во всяком случае — проявляли большую последовательность, смелость и проницательность. Они представляли собой воинственную, закрытую, строго централизованную и агрессивную организацию, грозную не только для врагов, но и для друзей». Так же как у большевиков, у них был свой героический период и были периоды упадка, когда из воителей церкви они превращались в бюрократов и, «подобно всем добропорядочным бюрократам, становились добропорядочными мошенниками». Но в свой героический период иезуиты так же отличались от рядовых церковников, как солдат церкви отличается от торгующих во храме. «У нас нет оснований идеализировать ни тех, ни других. И однако же, недопустимо смотреть на фанатика-воина глазами ленивого и тупого лавочника».

Мысль о том, что цель оправдывает средства, утверждал Троцкий, заложена в любой концепции морали, и не в последнюю очередь в том самом англосаксонском утилитаризме, с точки зрения которого обычно ведутся атаки на «аморальность» и иезуитов и большевиков. В той мере, в какой идеал «наибольшего счастья для наиболее возможного числа людей» предполагает моральным все, что способствует достижению поставленной цели, этот идеал совпадает с «иезуитской» концепцией цели и средств. И разве все правительства, даже самые «гуманные», объявляющие на время войн долгом своих армий истреблять врага в возможно больших количествах, не разделяют принципа, что цель оправдывает средства? Но ведь и цель тоже должна быть оправдана; цель и средство могут поменяться местами, ибо то, что сегодня выступает как цель, завтра может оказаться средством для достижения новой цели.

В глазах марксиста оправдана великая цель упрочения власти человека над природой и уничтожения власти человека над человеком. Посему оправдано и средство ее

[39] Троцкий заканчивал первый вариант эссе, когда Ривера принес ему весть о смерти Лёвы, и он посвятил работу памяти Лёвы. «Б. О.» № 68—69 1938 и «Нью интернэшнл», июнь 1938. Эссе также выходило отдельной брошюрой на многих языках.

достижения — социализм; оправданы и средства достижения социализма — революционная классовая борьба. Действительно марксисты-ленинцы подчиняют мораль интересам революции. Значит ли это, что все средства — даже ложь, предательство и убийство — допустимы, если дело касается революции? Все средства допустимы, отвечает Троцкий, «если действительно ведут к освобождению человечества», но диалектика цели и средств такова, что определенные средства к такой цели привести *не могут*. «Допустимы и обязательны лишь те и только те средства, которые укрепляют солидарность и единство революционных рабочих, пробуждают в них непримиримую ненависть к угнетению... заставляют осознать их исторические задачи, укрепляют мужество и дух самопожертвования... Следовательно, *не все* средства допустимы». Тот, кто утверждает, что цель оправдывает средства, утверждает также, что цель отвергает определенные средства, как несовместимые с ней. «Чтобы выросла пшеница, надо сеять зерно». Социализм не может быть достигнут ложью, обманом или поклонением вождям, унизительным для масс, как не может и быть навязан рабочим против их воли. Говоря словами Лассаля:

> Покажи не только цель, но и путь.
> Цель и путь срастаются так неотделимо,
> Что одно всегда изменяется вместе
> с другим.
> Новый путь создает новую цель.

Для революционной морали жизненно важны прямота и честность в отношениях с народными массами, потому что любая иная дорога неизбежно приведет к иной чем социализм цели. Большевики в свой героический период являлись «самой честной политической партией за всю историю». Разумеется, они обманывали врагов, особенно во время гражданской войны; но они вели себя честно в отношениях с трудящимися, чье доверие завоевали в такой мере, в какой это никогда не удавалось никакой другой партии. Ленин, отвергавший этические абсолюты, отдал всю жизнь делу угнетенных, проявил высочайшую идейную сознательность и бесстрашие и никогда в жизни ни разу не проявил ни малейшего высокомерия по отношению к рядовому рабочему, беззащитной женщине или ребенку. Что же до аморальности его собственных, Троцкого, приказов брать заложниками семьи белых офицеров, то он принимал на себя всю ответственность за эту меру, продиктованную необходимостью гражданской войны, хотя, насколько ему известно, ни один из этих заложников не был казнен. «Были бы спасены сотни тысяч жизней, не прояви революция с самого начала чрезмерное великодушие». Потомки, верил Троцкий, не осудят его поступков, как они не осудили беспощадность Линкольна во время Гражданской войны в США: «Жестокость северян и жестокость южан история мерила различными мерками. Рабовладелец, хитростью и насилием закрепощающий раба, и раб использующий насилие и хитрость, чтобы разбить цепи,— да только презренные евнухи посмеют сказать, что оба равны пред судом морали!»

Порицать Октябрьскую революцию и «аморальность большевиков», приписывая им ответственность за зверства сталинизма,— значит извращать истину. Сталинизм был продуктом не революции и большевизма, но пережитков старого общества — отсюда и безжалостная борьба Сталина против старых большевиков, борьба, в ходе которой российское первобытное варварство взяло реванш над силами и надеждами прогресса, одержавшими верх в 1917 году. Более того, сталинизм стал воплощением всей «лжи, жестокости и низости», составляющих вообще механизм классового господства и государства как такового. Апологеты классового общества и государства, в том числе и защитники буржуазной демократии, вряд ли, таким образом, имели основания испытывать чувства морального превосходства: сталинизм давал им посмотреть на себя в их собственное зеркало, пускай даже отчасти и кривое.

Из многих полемических откликов на эссе «Их мораль и наша» упоминания здесь заслуживает ответ Джона Дьюи [40]. Дьюи принимал взгляды Троцкого на взаимосвязь средств и целей и относительность исторического характера моральных суждений. Соглашался он и с тем, что «средства можно оправдать лишь целью...» и что «цель оправдана, если ведет к расширению власти человека над природой и ликвидации власти человека над человеком». Но он расходился с Троцким в том, что не видел причин, почему эта цель может быть достигнута исключительно или в основном средствами классовой борьбы — Дьюи считал, что для Троцкого, как и для всех вообще марксистов, классовая борьба есть самоцель. Он уловил «философское противоречие» в позиции Троцкого, с одной стороны, утверждавшего, что характер цели (то есть социализма) определяет характер средств, а с другой — выводившего средства из «исторических законов классовой борьбы», либо оправдывавшего их верностью этим законам. С точки зрения Дьюи, вера в *непреложные законы*, направляющие развитие общества, выглядела несостоятельной. «Убежденность, что законы истории определяют конкретные пути борьбы, тяготеет, как представляется, к фанатичной и даже мистической вере в определенные способы ведения классовой борьбы, исключающие любые другие пути... Ортодоксальный марксизм разделяет с ортодоксальной религиозностью и... традиционным идеализмом веру в переплетение человеческих целей с самоей структурой и тканью бытия — концепция, унаследованная, видимо, из гегелевских источников».

Выводы Дьюи задали тон почти всем нападкам на Троцкого, вскоре последовавшим со стороны его бывших друзей и сторонников — все метили в «гегелевское наследие марксизма», диалектический материализм и «религиозный фанатизм» большевизма. Макс Истмен, например, говорил об окончательном крушении «мечты о социализме». «Я считаю, что мы должны отказаться от этих утопических и абсолютных идеалов». Теперь марксизм воспринимался им не толь-

[40] Джон Дьюи. «Средства и цели», «Нью интернэшнл», август 1938.

ко как «древняя религия» или «романтические немецкие верования», но и как прародитель фашизма — так же, как и сталинизма. «Не забывайте, что и Сталин был социалистом, Муссолини тоже был социалистом. Сотни тысяч последователей Гитлера были социалистами или коммунистами...» Подобным же образом и Сидней Хук отказался от идеи пролетарской диктатуры и полностью разошелся с марксизмом, отдав предпочтение прагматическому либерализму. Как и Эдмунд Уилсон, и Бенджамен Столберг, и Джеймс Рорти, и другие [41].

Троцкий, с его сорокалетним опытом «идеологических» битв, мало что нашел оригинального или нового в этих аргументах. Должно быть, они напоминали ему работу Тихомирова «Почему я перестал быть революционером», почти классический образец отречения, оставленный старым народником, покинувшим ряды революционеров и примирившимся с существующим строем. С тех пор в каждом поколении, в каждом десятилетии усталые и разочаровавшиеся, выходя из схватки или переходя на другую сторону, пытаются ответить на этот вопрос.

Новым на этот раз был лишь накал разочарования — он соответствовал жестокости ударов, которые нанес сталинизм их вере и надеждам. Никогда еще никто не отшатывался от революционной борьбы с таким оскорбленным чувством и таким глубоким негодованием; никогда еще не было дела, которое казалось бы таким безнадежным, каким начинало казаться дело Троцкого покидающим его профессорам, писателям и литературным критикам. Они почувствовали, что, встав на сторону троцкизма, зря ввязались в гигантское, далекое, неясное и опасное дело русской революции, что оно вступает в конфликт с их образом жизни и идейным климатом, преобладающим в мире их университетов, редакций и литературных кругов.

Одно дело — позволить использовать свое имя Комитету в защиту Троцкого и протестовать против репрессий; совсем другое — подписывать манифесты Четвертого Интернационала и вторить призыву Троцкого превратить грядущую мировую войну в глобальную гражданскую. Больно задевало Троцкого то, что против него повернулись даже такие старые друзья, как Истмен и Серж. Он изливал все свое презрение на них и «им подобных»; как и другой великий полемист, не слишком щепетильный в выборе жертв, сохранял в своих текстах — как насекомых в янтаре — имена целого ряда писак, которых иначе давным-давно бы забыли. Вот пример подобной полемики, направленной против Суварина:

«Экс-пацифист, экс-коммунист, экс-троцкист, экс-демократ-коммунист, экс-марксист... почти экс-Суварин проявляет тем больше наглости в нападках на пролетарскую революцию... чем меньше знает, чего хочет. Этот человек любит... собирать и подшивать... документы, отрывки, вырезки и запятые; и обладает острым пером. Однажды он вообразил, что амуниции ему хватит до конца жизни. Затем пришлось усвоить, что надо еще и уметь думать...

В своей книге о Сталине, несмотря на обилие интересных цитат и фактов, он расписывается в собственном интеллектуальном убожестве. Он не понимает ни революции, ни контрреволюции. К историческому процессу он прилагает критерии мелкого резонера... Несоответствие критического склада и творческой импотенции ума разъедает его, подобно кислоте. Поэтому он постоянно находится в состоянии злобной раздражительности и, оценивая идеи, людей и события, без малейшего сомнения подвергает их сухому морализаторству. Как и все мизантропы и циники, он тяготеет к реакции. Но порвал ли он открыто с марксизмом? Ни о чем подобном мы не слышали. Он предпочитает двусмысленность — здесь он в своей стихии. В рецензии на мою брошюру («Их мораль и наша») он пишет: «Троцкий вновь сел на своего любимого конька классовой борьбы». Для вчерашнего марксиста классовая борьба — всего лишь «любимый конек Троцкого»! Он, Суварин, предпочитает сидеть на дохлой собаке вечной морали!»

В этих полемических экскурсах Троцкого принимали самое энергичное участие два его последователя — Джеймс Бернхэм и Макс Шахтман, которые резко обрушились на «отступников-интеллектуалов», разнося их в пух и прах за «сталинофобию» и «измену рабочему классу и марксизму». Но вскоре и эти двое покинули учителя и присоединились к «отступникам-интеллектуалам».

После дружбы, продолжавшейся два года, между Троцким и Риверой произошел разрыв. Ссора вспыхнула весьма неожиданно, сразу же после опубликования в «Партизан ревью» манифеста о свободе творчества. Летом Троцкий, рассчитывая на участие Риверы в учредительном конгрессе Четвертого Интернационала, писал его организаторам в Париж: «Вы должны пригласить его лично... и подчеркнуть, что Четвертый Интернационал горд видеть в своих рядах его, величайшего художника современности и неукротимого революционера. Мы должны проявить к Ривере не меньшее внимание, чем Маркс к Фрейлигграту и Ленин к Горькому. Как художник, он на голову выше Фрейлигграта и Горького и является настоящим революционером, в то время как Фрейлигграт был всего лишь сочувствующим мелким буржуа, а Горький — довольно двусмысленным попутчиком».

Поэтому Троцкий испытал жестокий удар, когда в конце года Ривера яростно обрушился на президента Карденаса, как «пособника сталинистов», и поддержал на президентских выборах его соперника генерала Альмасана из правых, обещавшего привести в повиновение профсоюзы и обуздать левых. Ривера тоже подхватил «вирус сталинофобии» (впрочем, он оказался настолько капризен, что несколько лет спустя с покаянием вернулся в лоно сталинизма).

Троцкий тщательно избегал вмешательства во внутренние политические дела Мексики: да и в любом случае он не мог иметь ничего общего ни с того сорта антисталин-

[41] Макс Истмен. «Является ли марксизм наукой?» Сидней Хук. «Политическая власть и свобода личности».

низмом, который теперь исповедовал Ривера, ни с его кампанией против Карденаса. Он пытался переубедить Риверу, но безуспешно. Поскольку же в глазах общественного мнения он был связан с художником теснейшими узами, лишь открытый разрыв с ним мог избавить Троцкого от ответственности за его политические причуды. В специальном заявлении Троцкий осудил позицию Риверы и объявил, что впредь не может испытывать никакой «моральной солидарности» с ним, ни даже пользоваться его гостеприимством. Тем не менее, когда на Риверу, «продавшегося реакции», обрушились сталинисты, Троцкий защищал его от обвинений в продажности и выразил неубывающее восхищение «гением, чьи политические заблуждения не могут бросить тень ни на его искусство, ни на личную честность» [42].

Разрыв с Риверой и решение покинуть Голубой Дом поставили Троцкого в затруднительное финансовое положение. Заработки его значительно сократились, что не имело особого значения, пока не требовалось платить за крышу над головой. Сейчас же приходилось изыскивать новые возможности заработков и одалживать у друзей деньги на содержание домочадцев [43]. Троцкий взялся за биографию Сталина, но дело шло медленно, потому что его часто отрывали от работы. Издатели, разочарованные тем, что он до сих пор не закончил книгу о Ленине, осторожничали с авансом[44]. Он подумывал о том, чтобы выпустить какую-нибудь популярную книжечку, которая могла бы стать бестселлером и освободила бы его от журналистской поденщины; но так и не смог заставить себя ее написать. Он вел переговоры с Нью-Йоркской публичной библиотекой и Гарвардским и Стэнфордским университетами о продаже своих архивов. Стоимость поместить их в безопасное место, Троцкий запросил за них до смешного малую сумму, но покупатели не торопились, и переговоры тянулись больше года [45].

Его акции резко пошли вниз даже в журналистике, и литературные агенты, случалось, пристраивали его статьи не без труда, хотя писал он по актуальнейшим вопросам, таким, как Мюнхенское соглашение, боеспособность советских вооруженных сил, американская дипломатия, роль Японии в грядущей войне, и т. п. [46].

Финансовые затруднения послужили причиной странной ссоры Троцкого с журналом «Лайф». В конце сентября 1939 года по инициативе Бернхэма один из редакторов «Лайф» посетил Койоакан и заказал Троцкому очерк-портрет Сталина и статью о смерти Ленина. (Троцкий как раз закончил главу из биографии Сталина, в которой утверждал, что Сталин отравил Ленина, и намеревался поделиться этой версией с журналом «Лайф».) Впервые он выступил на страницах «Лайф» 2 октября. И хотя публикация ограничивалась относительно безобидными воспоминаниями, она вызвала гнев просталинских «либералов», наводнивших «Лайф» бранными письмами. Редакция опубликовала некоторые из них к вящему раздражению Троцкого, заявившего, что эти письма являются продукцией нью-йоркской «фабрики ГПУ» и содержат клевету на него.

Тем не менее он послал в журнал вторую статью (о смерти Ленина), но «Лайф» отказался от ее публикации. Как ни парадоксально, возражения редакции носили вполне объективный характер: они сочли версию Троцкого об отравлении Ленина Сталиным неубедительной и требовали от него «меньше предположений и больше несомненных фактов». Троцкий пригрозил судебным иском за нарушение условий контракта и поспешил передать статью журналам «Сатердэй ивнинг пост» и «Кольерс», где ее также отвергли. В конце концов статью опубликовали на страницах «Либерти». Грустно, когда видишь, сколько времени унесла эта нервная и мелочная переписка в последний год его жизни. «Лайф» все же заплатил ему гонорар за отвергнутую статью. Эти деньги, наряду с некоторыми другими гонорарами, как он объяснял друзьям, «обеспечили» его в финансовом отношении «на несколько месяцев» и позволили продержаться еще некоторое время, продавая Архивы.

В феврале или марте 1939 года Троцкий арендовал дом по авениде Виена, на самой окраине Койоакана, где длинная улица переходила в пыльный каменистый пустырь, на котором ютилось несколько крестьянских хижин. Дом — старый, грубой постройки, но довольно крепкий и просторный — был огорожен прочными стенами от соседних участков и дороги. Не успел Троцкий обос-

---

[42] Статья Троцкого «Невежество — не оружие революции», написанная для «Тринчера Априста» 30 января 1939 г. (Архивы).

[43] Мне говорили, что кредитором Троцкого в этом и подобных случаях выступал один мексиканский издатель и книготорговец русского происхождения, потомок русских революционеров. Слышал я также и фантастические россказни о «финансовой стороне» жизни Троцкого в изгнании. Так, редактор ведущего американского журнала уверял меня, будто Троцкий снимал деньги со счета в большом американском банке, открытом Лениным на свое и Троцкого имя во время гражданской войны, когда не исключал возможности поражения большевизма и необходимости вновь вести революционную борьбу из-за рубежа. История была бы интересной, не будь она выдумкой.

[44] Архивы (закрытый раздел) содержат переписку Троцкого с издателями, подробные гонорарные ведомости, счета и другие документы, дающие представление о его финансовых затруднениях в 1939 г. Так, издательство «Даблдей» выплатило ему еще в 1936 г. авансом 5000 долларов за книгу о Ленине и сейчас требовало рукопись. Также в 1936 г. издательство выплатило ему 1800 долларов и небольшую сумму несколько позже — за книгу «Преданная Революция», но до 1939 г. доходы от продажи книги не покрыли аванса. Троцкий подписал договор на книгу «Сталин» с издательством «Харперз» в Нью-Йорке и с изд-вом «Николсон и Уотсон» в Лондоне в первой половине 1938 г., но еще до конца года «Харперз» отказало ему в выплате аванса по причине задержки с предоставлением части рукописи.

[45] В конечном счете Гарвардский университет заплатил за Архивы 15 000 долларов — ничтожную сумму за приобретенные ценности.

[46] Среди ряда статей Троцкого, отклоненных американскими и английскими редакторами как «малоинформативные», была и статья, написанная ранним летом 1939 г., где утверждалось что Сталин вот-вот заключит пакт с Гитлером.

новаться там, как пополз слух: «дом собирается покупать ГПУ». Чтобы упредить это, Троцкий был вынужден купить его сам, но для «первой в жизни сделки в сфере недвижимой собственности» пришлось залезать в долги. Ввиду постоянных угроз физической расправы со стороны сталинистов необходимо было — или так ему казалось — укрепить дом. Вскоре у ворот выросла сторожевая вышка, входные двери были надежно защищены, стены заложены мешками с песком, установлена сигнализация. Пятеро полицейских несли круглосуточную наружную охрану, восемь — десять троцкистов постоянно охраняли дом изнутри: находились они в доме безотлучно. Отбыв вахту у дверей, работали секретарями, принимали участие в различных домашних занятиях, особенно в дискуссиях, регулярно проводившихся по вечерам, если только приезд гостей не отодвигал их на дневное время.

Иногда гостями были политические беженцы из Европы, но чаще — американцы — радикальных взглядов педагоги, либеральные профессора, журналисты, историки, изредка конгрессмены и сенаторы и, разумеется, троцкисты. Обсуждалось все — от диалектики и сюрреализма до положения американских негров, от военной стратегии до сельского хозяйства в Индии или социальных проблем Бразилии и Перу. Каждый свежий человек служил Троцкому источником информации. Троцкий слушал, расспрашивал, делал заметки, спорил, снова расспрашивал — его любознательность и способность впитывать новые сведения казались беспредельными.

Беззаботность, с какой он принимал совсем чужих людей, вызывала у охранников тревогу, но поделать с этим они ничего не могли. Лишь когда любознательность Троцкого обратилась на его непосредственных соседей и он стал заглядывать в хижины на пустыре, интересуясь, «что там думают о земельной реформе», телохранители останавливали его. Они считали, что ему безопаснее совершать дальние поездки под их охраной, чем выскальзывать за калитку и бродить вокруг дома.

Выезды предпринимались внезапно и в обстановке строжайшей секретности. Ездил Троцкий обычно на машине в сопровождении Натальи, кого-либо из друзей и охранника. Проезжая по улицам Мехико, он был вынужден пригибаться и прикрывать лицо — в противном случае прохожие на тротуаре могли узнать его и встретить либо приветствиями, либо враждебными выкриками. Так же как и в Алма-Ате и на Принцевых островах, эти поездки были «военными экспедициями», с долгими переходами, подъемами в горы. Поскольку возможности охоты и рыбной ловли были ограниченны, у Троцкого появилось новое хобби — собирать редкие виды гигантских кактусов на крутых каменистых склонах гор. Он все еще обладал огромной физической силой, хотя из-за седой головы и глубоких морщин временами казался преждевременно состарившимся. Сохранил он и свою военную выправку, и самый крепкий из его охранников не мог угнаться за ним когда он взбирался по крутому склону, нагрузившись тяжеленным кактусом, с листьями острыми, «как штыки». «Однажды,— вспоминает секретарь,— мы провожали друзей в Тамазунгале, примерно в 380 километрах от Койоакана, надеясь найти там редкий вид кактуса. Найти нам ничего не удалось, но на обратном пути, в окрестностях Мехико, Л. Д. заметил заросли viznagas. Несмотря на то, что было уже темно, он решил остановиться и набрать полную машину этих кактусов. Стояла тихая благоуханная ночь, Л. Д. был в отличном настроении и быстро двигался, выкапывая кактусы при свете фар».

Значительно чаще спутникам Троцкого приходилось сопровождать его под палящим солнцем, когда он одолевал горные склоны; его фигура в голубой французской крестьянской блузе четко вырисовывалась на фоне скал, седые волосы развевал ветер. Наталья в шутку именовала эти вылазки «днями каторжного труда». «Он неистовствовал,— вспоминает она,— был первым в работе и последним уходил... Он испытывал как бы гипнотическое побуждение обязательно закончить начатое дело».

Со временем из-за постоянно усиливающихся угроз со стороны сталинистов даже эти вылазки становились все более и более рискованными; он оказался узником в своем полудворце-полутюрьме. Изменился и характер его физических упражнений и увлечений. Он пристрастился к разведению экзотических кактусов, а также кроликов и цыплят. Даже в этих меланхолических занятиях он сохранял присущие ему методичность и педантизм: каждое утро подолгу бывал во дворе, кормил цыплят и кроликов («строго по науке»), ухаживал за ними, чистил насесты и крольчатники. «Когда он бывал нездоров,— вспоминает Наталья,— кормить кроликов ему становилось трудно, но он не мог пропустить кормления, потому что жалел зверьков».

Каким далеким, каким бесконечно далеким было теперь его бурное, сотрясавшее мир прошлое, каким мучительным стало их с Натальей одиночество. Очень редко возникали лица или голоса из прошлого, да и те напоминали лишь о том, что былого не воротишь. В октябре 1939 года в Койоакан прибыли, наконец, Альфред и Маргерит Розмер, единственные оставшиеся в живых друзья Троцких со времен первой мировой войны. Они прожили на авениде Виена почти восемь месяцев, до мая 1940 года, и провели немало часов в дружеских беседах и воспоминаниях. Троцкий и Розмер погружались в архивы, вместе разбирали их, размышляли над старыми документами. Иногда к ним присоединялся Отто Рюле, еще один ветеран, тоже живущий в изгнании в Мексике.

Рюле, как известно, отличился в начале первой мировой войны, когда он и другой депутат-социалист, Карл Либкнехт, оказались единственными депутатами рейхстага, проголосовавшими против войны. Он был одним из основателей Коммунистической партии Германии и одним из первых порвавших с ней оппозиционеров. В эмиграции он посвятил свою жизнь изучению трудов Маркса и сторонился политической дея-

тельности, хотя и согласился участвовать в работе Комиссии Дьюи. После контрпроцесса он стал частым гостем в Голубом Доме, а затем и на авениде Виена. Троцкий, уважавший его познания, оказывал ему теплый дружественный прием и помогал, чем мог; вдвоем они подготовили книгу «Живые мысли Карла Маркса».

В первые дни войны память их, естественно, возвращалась к поре Циммервальда, когда все трое находились в революционной оппозиции к войне. Троцкий (автор Циммервальдского манифеста) предложил выпустить новый манифест, который символически подтвердил бы преемственность в позиции по отношению к обеим мировым войнам. Розмер всецело поддержал предложение, но, поскольку у Рюле были некоторые расхождения с ними, да и в любом случае он не желал быть втянутым в политическую деятельность, мысль о новом «Циммервальдском манифесте» пришлось оставить. Так далеко ушло прошлое, что не могло пробудить даже эха.

С Розмерами в Койоакан приехал Сева. Троцкий и Наталья обняли вновь обретенного внука. Минуло почти семь лет с той поры, как они отослали его с Принцевых островов. Все это время мальчик жил в Германии, Австрии и Франции, менял опекунов, школы и языки и почти напрочь забыл русский. Грандиозная трагическая эпопея его деда как бы нашла отражение в крохотном компасе его детства. Сева едва научился ходить, когда у него отняли отца; только он воссоединился с матерью в Берлине, как она покончила с собой. Затем внезапно и при таинственных обстоятельствах скончался Лёва, ставший ему вторым отцом, а он превратился в объект семейной распри; его похищали, прятали, снова похищали, пока, наконец, не привезли к деду, которого он почти не помнил, но которого был приучен обожать. И сейчас растерянный сирота тревожно разглядывал странный, переполненный людьми, похожий на укрепленную крепость дом, куда его привезли; дом, уже отмеченный печатью смерти.

За спинами самых желанных гостей—Розмеров—в дом проскользнула зловещая тень, тень Рамона Меркадера — «Джексона». Это был «друг» Сильвии Агелоф, американской троцкистки, принимавшей участие в учредительном конгрессе Четвертого Интернационала, проводившемся в доме Розмеров. Существует мнение, что именно тогда, или чуть позже, «Джексон» и был представлен Розмерам, а затем ненавязчиво искал их общества, с деланным бескорыстием оказывая им различные услуги и любезности. Розмер категорически отрицает это, утверждая, что познакомился с ним уже в Мексике, и версию Розмера подтверждает сам «Джексон»[47]

«Джексон» достаточно убедительно играл роль равнодушного к политике бизнесмена, спортсмена и любителя хорошо пожить; в Мексике во время визитов Розмеров он появился под «крышей» представителя нефтяной компании. Держался, однако, неприметно, а на протяжении многих месяцев даже не искал доступа в укрепленный дом на авениде Виена. Но все время готовился к выполнению своего ужасного задания.

«Сталин» была единственной и последней крупной книгой, над которой работал в те годы Троцкий. Опубликованная после его смерти, она состоит из семи завершенных глав и множества различных фрагментов, составленных, дополненных и сведенных редактором далеко не всегда в соответствии с манерой мышления Троцкого. Не удивительно, что книге не хватает зрелости и взвешенности, свойственных другим работам Троцкого. Но вероятно, даже если бы он и успел ее закончить и убрал бы многие сомнительные места и явные преувеличения, «Сталин» все равно бы остался самой слабой его работой.

Троцкий совершенно не отдавал себе отчета, что в известной степени унижает себя, выступая в роли портретиста своего врага и соперника. Он никогда не гнушался никакой литературной или журналистской работой, если считал, что способен осмысленно ее выполнить. Говорят, что взяться за биографию Сталина его заставило давление со стороны издателей и потребность в деньгах. Факты не вполне подтверждают это. Издатели были заинтересованы не меньше, а то и больше в обещанной им «Жизни Ленина». Если нужда в деньгах и сыграла роль в решении взяться сначала за книгу о Сталине, то все же первостепенное значение имели мотивы литературно-художественные. Троцкий стремился переосмыслить личность Сталина в новом и страшном свете репрессий; поглощенность этой задачей оказалась куда сильнее чувства гордости или тщеславия, способного заставить его отказаться от роли биографа Сталина.

Главный герой его книги, этот явивший, наконец, себя миру Супер-Каин, был до известной степени неведом даже ему самому. Он заново вглядывался в черты Сталина, копался в архивах, напрягал память в поисках эпизодов, случаев и впечатлений, ныне как будто обретавших иной смысл, иные аспекты. С неослабной подозрительностью вгрызался в каждый малоизвестный этап, каждую ступень карьеры Сталина и всюду обнаруживал все того же злодея. Да, заключал он, Каин «Большого Террора» был им (Каином, то есть) всегда — скрываясь под личиной и члена Политбюро, и большевика-подпольщика, и агитатора 1905 года, и даже студента Тифлисской духовной семинарии, и мальчика Сосо. Троцкий рисовал портрет зловещего, отталкивающего, чуть ли не гориллоподобного существа, крадущегося к самым вершинам власти. Секрет художественной силы этого портрета — грубого, неровного, в чем-то неправдоподобного — в накале страсти автора, вызвавшей к жизни образ этого устрашающего чудовища.

Нет сомнений, что даже здесь Троцкий обращается с фактами, датами и цитатами с присущей ему добросовестностью историка. Он проводит четкую грань между установленными фактами и предположениями

[47] А. Розмер. Как был убит Леон Троцкий, «La революсьон пролетарьен» № 20, ноябрь 1948 г. Также см. Заявление «Джексона» в книге А. Голдмана «Убийство Леона Троцкого» с. 11, 15, 25.

догадками, слухами, чтобы читатель мог сам «взвесить» обширнейший биографический материал и составить собственное мнение. Троцкий здесь настолько педантичен, что этот метод исследования и изложения материала приводит к повторам и становится утомителен. Вооруженный огромным арсеналом документов и цитат, он углубляется в пространную полемику с легионами льстецов и приближенных Сталина, не осознавая, сколь сомнительную честь он им этим оказывает.

Тем не менее, рисуя портрет, Троцкий широко и излишне часто пользуется предположениями, догадками и слухами. Любая сплетня годится, если содержит малейший намек на склонность к жестокости и предательству в характере юного Джугашвили. Он доверяет однокашникам Сталина, позже ставшими его врагами, когда те отмечают в своих воспоминаниях, написанных в изгнании тридцать и более лет спустя, что «радости и горести товарищей вызывали лишь саркастическую ухмылку» у мальчика Сосо; что «ему было чуждо чувство сострадания как к людям, так и к животным»; что «с самой юности осуществление планов мести стало для него целью, направлявшей все его действия». Троцкий ссылается на противников Сталина, изображающих его в юности и в зрелые годы чуть ли не провокатором, и, хотя сам этого обвинения не разделяет, все же придает ему «значимость», ибо оно показывает, на что считали Сталина способным его бывшие товарищи!

Нет нужды рассматривать многие примеры подобного подхода. Ярчайшим из них, разумеется, является уже упомянутая версия Троцкого об отравлении Сталиным Ленина. В феврале 1923 года, повествует Троцкий, парализованный и теряющий речь Ленин хотел покончить с собой и просил у Сталина яд — Сталин сам поделился этим с Троцким, Зиновьевым и Каменевым. Он вспоминает, какое странное выражение лица было у Сталина, когда он об этом рассказывал, и строит обвинения на следующих основаниях: Ленин «неожиданно» скончался годом позже и как раз тогда, когда Сталин находился в такой серьезной ссоре с Лениным, что «он, вероятно, решился ускорить его кончину». «То ли Сталин послал яд Ленину, давая понять, что врачи не оставляют никаких надежд на выздоровление, то ли прибегнул к более прямым методам — я не знаю. Но твердо убежден, что Сталин не мог пассивно выжидать, когда судьба его висела на волоске, а решение зависело от незаметного движения руки»[48]. И здесь Троцкий в поражающе новом контексте излагает многократно рассказанную им ранее историю о том, как Сталин ухитрился помешать ему приехать в Москву на похороны Ленина: «Он, вероятно, опасался, что я свяжу смерть Ленина с прошлогодним разговором о яде, запрошу мнения докторов о возможности отравления и потребую специального патологоанатомического исследования».

Как вспоминает Троцкий, вернувшись после похорон в Москву, он обнаружил, что врачи «колеблются в определении причин» смерти Ленина и что даже два-три года спустя Зиновьев и Каменев избегали каких бы то ни было разговоров на эту тему и на все расспросы Троцкого отвечали «односложно и отводя глаза». Однако Троцкий нигде не пишет, зародились ли у него подозрения на сей счет еще в 1924 году или они появились во время репрессий, после того, как Ягоду и кремлевских врачей обвинили в применении ядов. Если они зародились в 1924-м, почему он высказал их лишь в 1939-м? Почему даже после смерти Ленина он дал—не кому иному, как Максу Истмену,— такой отзыв о Сталине: «отважный и искренний революционер»?

Даже в своей разоблачительной биографии Троцкий все еще допускает, что, будь Сталин способен предвидеть, какими кровавыми конвульсиями окончится внутрипартийная борьба, он никогда бы ее не начал. Таким образом, Сталин 1924 года все еще предстает под его пером, в сущности, честным, хотя и недальновидным человеком, вряд ли способным отравить Ленина. Подобные противоречия заставляют предполагать, что, обвиняя Сталина в данном преступлении, Троцкий переносит опыт «Большого Террора» на 1923—1924 гг. Он заключает, что Сталин, этот палач всех учеников Ленина, безусловно был способен убить и самого Ленина, и убил его. Однако трудно не прийти к мысли, что «загадка» смерти Ленина, подозрения в нечистой игре и попытке Сталина воспрепятствовать вскрытию тела Ленина, что все эти составные части истории навеяны, скажем, историей смерти Лёвы.

Надо признать, личность Сталина ставит трудные проблемы перед любым биографом. Его характер, несомненно, играл важнейшую роль в репрессиях; перед биографом стоит задача проследить формирование этого характера и показать, сколь рано, на каких стадиях и до какой степени проявлялись его свойства и качества — задача, впрочем, мало отличная от той, что должен решать исследователь, изучающий жизнь преступника. Склонность к преступлению может быть заложена в данном характере достаточно рано, но ее нельзя отождествлять с действительностью.

Разумеется, глубокая подозрительность, скрытность, жажда власти проявлялись у Сталина задолго до его восхождения на вершину, оставаясь, однако, на протяжении многих лет лишь второстепенными его чертами. Имея их в виду, биограф не должен утрачивать чувства меры, не должен забывать о динамике развития личности и, что самое главное, о взаимосвязи обстоятельств и характера. У Троцкого Сталин недостоверен в той степени, в какой он предстает одним и тем же человеком и в 1936—1938-м, и в 1924-м; и даже в 1904-м. Чудовище не развивается и растет,— нет, оно с самого начала предстает почти полностью сложившимся. Любые положительные свойства и чувства, такие, как пытливость ума или определенная способность сострадать угнетенным, без чего ни один юноша не примкнет к преследуемой революционной партии, почти полностью отсутствуют. Возвышение Сталина внутри партии не обосновывается ни заслугами, ни достоинствами, что делает просто необъяснимой его партийную карьеру. Избрание в

[48] Троцкий. Сталин, с. 372—382.

ленинское Политбюро, участие в узком составе партийного руководства, назначение на пост Генерального секретаря предстают совершенно случайными. Троцкий сам подытоживает собственный подход к предмету одним предложением: «Процесс возвышения Сталина происходил где-то за непроницаемым политическим занавесом. В определенный момент его фигура во всеоружии власти внезапно сошла с кремлевской стены...» Но ведь даже из книги самого Троцкого явствует, что Сталин вышел на передний план отнюдь не подобным образом, что после Ленина и Троцкого он был самым влиятельным человеком в партийных кругах...

Как биограф, который в первую очередь является лидером оппозиции, Троцкий недооценивает Сталина. «Нынешнее официальное уподобление Сталина Ленину просто непристойно, — справедливо замечает он. И затем добавляет:—Если основой уподобления служит масштаб личности, то Сталина невозможно поставить в один ряд даже с Гитлером и Муссолини. Как бы ни был скуден «идейный» арсенал фашизма, обоим победоносным вождям реакции — и немецкой, и итальянской — не откажешь с первых шагов их движения ни в инициативе, ни в умении мобилизовать массы на борьбу и прокладывать новые пути в политических джунглях. О Сталине же ничего подобного не скажешь». «В поисках исторической параллели Сталину,— продолжает Троцкий,— мы вынуждены отбросить не только Кромвеля, Робеспьера, Наполеона и Ленина, но даже Муссолини и Гитлера. Мы приблизимся к пониманию Сталина на уровне Мустафы Кемаль Паши или, быть может, Порфирио Диаса». Отсутствие исторического масштаба и перспективы здесь явно бросаются в глаза.

Конечно, пером Троцкого руководит в подобных пассажах праведный гнев и отвращение к чудовищности культа Сталина. В диктаторе и самодержце, возвеличившем себя до уровня сверхчеловека, обожествившем себя деспоте, Троцкий увидел недочеловека, словно предсказав разрушение его памятников, вынос тела из Мавзолея, переименование улиц, площадей, города Сталинграда. Провидчески предсказывая все это, Троцкий напоминает, что обожествлен был и Нерон. но «после его смерти все статуи его были разбиты, а имя отовсюду стерто. Месть истории посильнее мести могущественнейшего из генеральных секретарей. Смею думать, это утешительно».

На пороге смерти, уготованной ему зловещим коварством Сталина, Троцкий уже предвкушает грядущую месть истории и свою загробную победу. Эту грядущую месть он облекает в слова, достаточно весомые, чтобы служить документом для суда потомков. В его глазах Сталин — символ гигантской пустоты, продукт эпохи, когда мораль старого порядка уже отмерла, а мораль нового еще не родилась.

«Государство — это я» — формула почти либеральная в сравнении с реальностями сталинского тоталитарного режима. Людовик XIV отождествлял себя одновременно и с государством, и с церковью — но только лишь в эпоху скоротечной власти. Тоталитарное государство заходит куда дальше цезаре-папизма... Сталин, в отличие от короля-солнца, имеет все основания сказать: «О б щ е с т в о — э т о я».

И вот как Троцкий сводит к единой формуле все трагические противоречия между Сталиным и старыми большевиками:

«Из двенадцати апостолов Христа предателем оказался один Иуда. Но, приди Иуда к власти, он объявил бы предателями остальных одиннадцать апостолов, а в придачу и меньших апостолов, которых Лука насчитывал семьдесят».

Комментарии Троцкого по поводу событий, приведших к войне, и его оценки, касающиеся перспектив войны и революции, могли бы послужить темой специальной монографии. Здесь явственнее, чем в каких-либо иных его работах, проступает поразительный контраст между четким и почти безошибочным анализом стратегических и дипломатических аспектов международного положения и туманными видениями грядущей революции. Троцкий рассматривал вторую мировую войну в основном как продолжение первой, как продолжение борьбы великих империалистических держав за передел мира. В период мюнхенского кризиса он видел «силу (и слабость) Гитлера в... его готовности прибегать... к шантажу и блефу, рисковать на грани войны»; в то же время старые колониальные державы, которым было что терять, но нечего выигрывать, страшились вооруженного конфликта. «Чемберлен отдал бы все демократии мира — которых немного и осталось — за одну десятую часть Индии».

Мюнхенское соглашение, по мнению Троцкого, как и победа Франко в Испании, вели к быстрейшему развязыванию войны, поскольку избавляли буржуазные правительства от страха перед революциями в Европе. К тому же самому вела и политика Сталина: продавая рабочее движение, «будто нефть или марганец», он так же помогал капитализму восстанавливать силы[49]. Решающую роль, однако, сыграет позиция Соединенных Штатов, поскольку ни Чемберлен, ни Сталин не решатся выступить против Гитлера, пока США будут оставаться в стороне. Но в качестве ведущей мировой империалистической державы США, сменяющие в этой роли Британию, не смогут и дальше проводить политику изоляционизма. Они жизненно заинтересованы в том, чтобы остановить экспансию германского и японского империализма и потому будут вынуждены вступить во вторую мировую войну «намного раньше, чем вступили в первую». Соединенным Штатам суждено также сыграть намного более существенную роль в заключении мира, ибо «если мир не будет заключен на базисе социализма, то условия мира будут продик-

[49] В статье, датированной 22 сентября 1938 г. Троцкий писал: «Можно быть уверенным в том, что советская дипломатия попытается теперь добиваться сближения с Германией... Компромисс, достигнутый над трупом Чехословакии... облегчает Гитлеру подготовку к войне. Полеты Чемберлена (в Мюнхен) войдут в историю, как символ дипломатических конвульсий охвативших раздеденную алчную и отчаявшуюся империалистическую Европу на пороге новой кровавой бани, ожидающей нашу планету»

тованы победившими Соединенными Штатами».

Нетрудно представить себе, какими громовыми обличениями встретил Троцкий германо-советский пакт, подписанный в августе 1939 года: организатор «Большого Террора» разоблачил себя как пособник Гитлера. С 1933 года Троцкий не уставал повторять: ничто так не устроит Сталина, как соглашение с Гитлером. Теперь, когда Красная Армия оказалась обезглавленной, Сталина загнал в объятия Гитлера страх перед собственной слабостью. «Сталин выступает в роли интенданта, обеспечивающего ведение Гитлером военных действий»,—заметил Троцкий в первые дни войны[50]. Но, добавил он, Сталин ставил целью не помогать Гитлеру в победе третьего рейха, а как можно дольше не давать втянуть в войну Советский Союз, в то же время обретая свободу рук в Прибалтике и на Балканах. Когда Гитлер и Сталин под аплодисменты Коминтерна делили Польшу, Троцкий заметил: «Польша воскреснет. Коминтерн — никогда». Яростно нападая на Сталина, обличая его беспринципность и цинизм, Троцкий, однако, не возлагал всю вину на него одного. Он вновь и вновь повторял, что «ключ к политике Кремля находится в Вашингтоне» и что для того, чтобы Сталин изменил курс, на Гитлера должна обрушиться мощь Соединенных Штатов.

Ту же мысль он высказывал в период «странной войны», зимой 1939—1940 гг.; избегая настоящего военного столкновения с Германией, Франция и Англия проводят своего рода «военную забастовку», направленную против Соединенных Штатов. Запад и Восток в равной мере помогли Гитлеру завоевать Европу. Правительства Польши и Чехословакии уже бежали во Францию. «Кто знает,— писал Троцкий 4 декабря 1939 года, за много месяцев до разгрома Франции,— не придется ли французскому правительству, вместе с правительствами Бельгии, Голландии, Польши и Чехословакии искать убежища в Великобритании?» Троцкий «ни на минуту» не допускал возможности победы нацизма, но считал, что «прежде, чем пробьет час поражения Гитлера, многие, очень многие будут истреблены в Европе. Сталин не хочет оказаться в их числе, потому и осторожничает, чтобы не порвать с Гитлером раньше времени».

После того как капитулировала Франция и почти вся Европа склонилась пред вооруженной мощью Гитлера, Троцкий клеймил Сталина и Коминтерн «за их долю вины в случившейся катастрофе». «Второй и Третий Интернационалы... обманули и деморализовали рабочий класс. После пяти лет пропаганды в пользу идеи коллективной безопасности и союза с демократиями внезапный переход Сталина в лагерь Гитлера захватил французский рабочий класс врасплох. Война вызвала страшную дезориентацию, настроения пассивного пораженчества...» СССР теперь очутился «на краю пропасти». Все территориальные приобретения Сталина в Восточной Европе мало что значили по сравнению с ресурсами и возможностями, которые получил Гитлер и которые он использует против Советского Союза.

Высказав все это, Троцкий с предельной твердостью заявил, что Советский Союз остается рабочим государством, имеющим право на безоговорочную защиту от всех своих капиталистических врагов, будь то фашисты или демократы. Он даже не отрицал прав Сталина торговаться с Гитлером, хотя считал, что советско-германский пакт не принес Советскому Союзу никаких ощутимых выгод; он бы предпочел советскую коалицию с Западом, но считал, что вопрос о том, с кем и против кого следует выступать Советскому Союзу, должен решаться исключительно на основе целесообразности: ни политические, ни моральные принципы в данном выборе не играют роли, ибо западные страны не в меньшей степени, чем третий рейх, воюют лишь за свои империалистические интересы.

Троцкий порицал Сталина не столько за выбор партнера и союзника, сколько за то, что Сталин необходимость выставлял как добродетель и провозглашал идеологическую солидарность с сиюминутным партнером. В настоящий момент Сталин и Молотов воспевают германо-советскую дружбу, «скрепленную кровью», а их подручные, попустительствуя зверствам Гитлера, заявляют, что Польше больше никогда не подняться; в то же время их пропагандисты типа Ульбрихта обрушивают весь свой «антиимпериалистический» пыл исключительно против западных государств. Это и есть, заключал Троцкий, «способ осуществления сталинизмом контрреволюционного влияния на международной арене», и в этом еще одна причина, почему советские рабочие должны устранить сталинизм силой. Но даже под властью Сталина, по-прежнему утверждал Троцкий, рабочее государство остается реальностью, которую надлежало защищать от любого внешнего врага и за которую следует бороться до конца.

Презирая сталинские «бюрократические методы» и «сделки с Гитлером», Троцкий признавал «в основном прогрессивный» характер социальных изменений на восточных польских землях. Он утверждал, что Сталин сверг там прежний режим только потому, что рабочее государство стало в Советском Союзе реальностью,— только это помешало ему договориться с польскими помещиками и капиталистами. Иными словами, революционная динамика сталинского государства отныне перелилась за границы СССР.

Однако, выступая с подобным заявлением, Троцкий противоречил сам себе. Разве не утверждал он, что сталинизм продолжает играть «двойственную», прогрессивную и реакционную одновременно, роль только внутри Советского Союза, но что «на международной арене» его роль «чрезвычайно реакционна», то есть направлена на сохранение капиталистического строя? Разве не это служило главным аргументом Троцкого в пользу создания Четвертого Интернационала? Он по-прежнему считал, что влияние сталинизма в международном плане остается контрреволюционным и что социальные преобразования на восточных землях Польши носили локальный характер. Троцкий подчеркивал, как мало значила экспро-

[50] Статья «Сталин—интендант Гитлера», помечена датой «3.00. 2 сентября 1939 г.» (Архивы).

приация помещиков и капиталистов на Западной Украине (и позже — в Прибалтике), если положить на другую чашу весов такие акции сталинизма, как деморализация французских рабочих, предательство испанской революции и помощь, оказанная Гитлеру. Снова и снова указывал он на два лица сталинизма — внешнее и внутреннее. Внутри СССР элементы пролетарского государства (общественная собственность, планирование, революционные традиции) давали о себе знать, даже несмотря на сталинский бюрократический деспотизм, и в той или иной мере связывали Сталину руки; в то время как на «международной арене» сталинизм не встречал подобного рода помех и мог преследовать лишь свои узкие интересы, беспрепятственно проявляя свой оппортунизм.

Эта аргументация — пусть она и содержала долю истины — не могла разрешить или хотя бы скрыть теоретическое и политическое затруднение, вставшее перед троцкизмом, затруднение, коему предстояло резко вырасти вследствие событий грядущего десятилетия. Насколько реальным было проведенное Троцким различие между внутренними (отчасти по-прежнему прогрессивными) и внешними (полностью контрреволюционными) функциями сталинизма? Могло ли какое-либо правительство или правящая группа на протяжении какого-то периода времени проявлять внутри страны один характер, а за рубежом — совершенно другой? Если Советское государство сохраняло качество пролетарского государства, как это могло не повлиять на его отношения с внешним миром? Как могло правительство государства рабочих оставаться постоянным фактором контрреволюции?

Троцкий и его последователи могли решить эту проблему одним из двух возможных путей. Либо объявить, что Советский Союз перестал быть государством рабочих, чем и объясняется контрреволюционный характер внешней и внутренней политики Сталина; в этом случае пришлось бы сделать вывод, что у марксистов нет абсолютно никаких причин продолжать «защищать Советский Союз». Либо признать, что сталинизм продолжает играть двойственную, амбивалентную (прогрессивную и реакционную) роль как за рубежом, так и внутри страны, что это соответствует противоречивому характеру сложившегося в СССР строя, совмещающего черты бюрократического деспотизма и пролетарского государства; в таком случае проблема имела бы для марксистов лишь одно решение: противостоять сталинизму, защищая в то же время Советский Союз.

Немалое число сторонников Троцкого пыталось найти выход из затруднительного положения, заявляя, что Советский Союз не является более рабочим государством, поскольку его бюрократия образовала новый класс, угнетающий рабочих и крестьян. Мысль эта, как известно, витала в воздухе еще с 1921 года, когда ее впервые высказала в Москве «рабочая оппозиция», и, хотя сам Троцкий всегда отвергал ее, никогда не переставала импонировать некоторым из его сторонников. В 1929 году они живо отреагировали на слова Раковского, написавшего, что Советский Союз уже переродился из пролетарского государства с бюрократическими извращениями в бюрократическое государство с остаточными элементами пролетарского. Троцкий с одобрением процитировал это высказывание (оттенявшее некоторые положения его «Преданной революции»), но не сделал из него никаких заключений. Некоторые из его последователей теперь задавались вопросом, что вообще могло сохраниться из «остаточных элементов» пролетарского спустя десять лет — и каких лет! Не смешно ли, спрашивали они, продолжать говорить о пролетарском государстве? Их укрепляли в этих мыслях некоторые заключения, намеки или брошенные вскользь замечания Троцкого. В «Преданной революции» он утверждал, что советские хозяйственники готовятся денационализировать промышленность и стать ее владельцами-акционерами; и иными словами — что сталинская бюрократия порождает новый класс капиталистов. Миновали годы, но признаков подобного развития событий не наблюдалось. Так не ошибся ли Троцкий? В его глазах новый буржуазный класс и новый капитализм должны были вылупиться из сталинской бюрократии, но разве сама эта бюрократия не являлась новым классом, вылупившимся после Октябрьской революции и уже полностью оперившимся?

Непосредственно перед войной бывший итальянский троцкист Бруно Рицци утвердительно ответил на этот вопрос в своей малозамеченной тогда, но имевшей значительное влияние книге «Бюрократизация мира», опубликованной в Париже. Рицци был подлинным автором идеи «управленческой революции», которую позднее, в значительно менее продуманных вариантах, отстаивали Бернхэм, Шахтман, Джилас и многие другие.

Рицци опирался на некоторые аргументы Троцкого, почерпнутые из «Преданной революции», чтобы опровергнуть всю его аргументацию в целом. Русская революция, утверждал Рицци, начавшаяся, как и французская, с целью уничтожить неравенства, всего лишь заменила одну систему экономической эксплуатации и политического угнетения другой. Троцкий, преследуемый призраком реставрации капитализма в СССР, просмотрел «бюрократический коллективизм», упрочившийся здесь как новая форма классового господства. Он отказывался считать бюрократию «новым классом», поскольку она не владела средствами производства и не извлекала прибыль. Но бюрократия, возражал Рицци, и владеет средствами производства, и извлекает прибыль, только делает это коллективно, а не индивидуально, как прежние имущие классы. «Эксплуататоры в советском обществе не присваивают прибавочную стоимость непосредственно, подобно капиталисту, который кладет в карман дивиденды своего предприятия; они делают это косвенным образом, посредством государства, собирающего в казну общенациональную прибавочную стоимость и распределяющего ее среди своих чиновников» [51].

Собственность на средства производства

[51] Бруно Рицци. Бюрократизация мира.

де-факто, собственность, осуществляемая посредством государства и собственность на само государство заменили буржуазную собственность де-юре. Эта новая ситуация является не бюрократической паузой или переходной фазой реакции, как считал Троцкий, но новым этапом развития общества, даже исторически необходимым этапом. Так же как феодализм сменился не свободой, равенством и братством, а капитализмом, так и капитализм сменился не социализмом, а бюрократическим коллективизмом. «Объективно» большевики были так же неспособны осуществить свои идеалы, как якобинцы — свои. Социализм по-прежнему остается утопией! У рабочих еще раз обманным образом отняли плоды их революции.

В той степени, продолжал Рицци, в которой бюрократический коллективизм делает общество более эффективным, а его экономику более продуктивной, чем капиталистическая, его торжество означает исторический прогресс. Таким образом, ему суждено вытеснить капитализм. Государственный контроль и планирование преобладают не только при сталинском режиме, но и при Гитлере, Муссолини и даже при Рузвельте. В различной степени сталинисты, нацисты и сторонники «нового курса» выступают как сознательные или бессознательные проводники одной и той же новой системы эксплуатации, призванной победить во всем мире. До тех пор, пока бюрократический коллективизм будет способен стимулировать общественную производительность, считал Рицди, он будет неуязвимым.

Рабочим остается делать лишь то, что они делали на ранних этапах капитализма: бороться за улучшение своей доли, вырывать уступки и реформы у своих новых эксплуататоров. Только тогда, когда новая система начнет приходить в упадок и тормозить процесс социального развития, они будут в состоянии возобновить борьбу за социализм с шансами на успех. Перспектива отдаленная, но отнюдь не нереальная: бюрократический коллективизм является последней формой угнетения человека человеком, столь близкой к бесклассовому обществу, что бюрократия, этот последний эксплуататорский класс, отказывается признавать себя имущим классом.

Троцкий, понимая, что идеи, выраженные Рицди, пускают корни среди троцкистов, рассмотрел их в своем эссе «СССР в войне», написанном в сентябре 1939 года. «Было бы чудовищной глупостью,— писал он,— порвать с товарищами, расходящимися с нами во взглядах на общественную природу СССР, коль скоро мы сохраняем согласие в части политических задач». Спор о том, является ли СССР пролетарским государством или не является, зачастую сводится к пустому сотрясению воздуха; заслуга Рицди хотя бы в том, что он «поднял его до высоты исторического обобщения». Он идентифицировал бюрократический коллективизм как новый общественный строй, в своих существенных чертах одинаковый за различными фасадами сталинизма, нацизма, фашизма и «нового курса». Уравнивание сталинизма с нацизмом (отвечал Троцкий) выглядело достаточно правдоподобно в дни пакта между Гитлером и Сталиным. Этот пакт, утверждали многие, лишь выявил родство обоих режимов — столь очевидное в их методах правления.

По мнению Рицди, является лишь вопросом времени, когда нацистские и фашистские (но также и рузвельтовское) государства доведут контроль над экономикой до логического завершения и национализируют всю промышленность. Возражая Рицди, Троцкий указывал, что, как бы ни были схожи методы правления Сталина и Гитлера, экономические и социальные различия двух режимов имеют качественный, а не просто количественный характер,— откуда и разделяющая их пропасть. Ни Гитлер, ни Рузвельт не выйдут из рамок «частичной национализации» — каждый из них ограничится лишь определенным вмешательством государства в капиталистические отношения. Один только Сталин осуществляет контроль над действительно послекапиталистической экономикой. Да, верно, рост бюрократии очевиден в разных странах и при разных режимах. Но бюрократический коллективизм, если он вообще существует как четко выраженный общественный строй, по-прежнему ограничивается рамками одной страны, где основывается на фундаменте, созданном социалистической революцией.

Поэтому опрометчиво, указывал Троцкий, говорить о какой-то «всеобщей тенденции», в силу которой бюрократический коллективизм становится истинным преемником капитализма. Будь это так, любая социалистическая революция, даже в наиболее развитой промышленной стране (или ряде таких стран) неизбежно приведет к установлению режима, подобному сталинскому. Это была точка зрения Рицди. Троцкий оспаривал этот взгляд, прибегая к эмпирическим доказательствам — показывая, как отсталость, нищета и изоляция России сыграли на руку сталинизму. Русская революция деформировалась под грузом неблагоприятных обстоятельств, но нет никаких причин полагать, что подобной деформации при любых обстоятельствах подвергнется любая социалистическая революция.

Сталинизм является не нормой нового общества, как считал Рицди, а исторической аномалией; не конечным результатом революции, но отклонением от революционного курса. Советская бюрократия остается всего лишь паразитическим наростом на теле рабочего класса — настолько опасным, насколько вообще может быть опасным подобный нарост,— но не самостоятельным организмом. Вопреки мнению Рицди, бюрократический коллективизм не является собой никакого исторического прогресса: Советский Союз обязан своим прогрессом коллективизму, но не бюрократии.

Сталинизм сохраняет жизнеспособность только до тех пор, пока Советский Союз заимствует, имитирует и ассимилирует превосходящую западную технику. Но как только эта стадия развития останется позади, требования социальной жизни станут куда более сложными, и тогда общественная инициатива вновь заявит о своих правах. Таким образом, впереди назревает принципиальный конфликт между бюрократией и общественной инициативой. Этот конфликт будет тем более глубоким, что в

отличие от послереволюционной французской буржуазии бюрократия «не является носителем новой экономической системы», которая не могла бы функционировать без нее. Напротив, для того, чтобы эффективно функционировать, новой системе придется высвободиться из удушающих тисков бюрократии.

Все теории бюрократического коллективизма строились на том положении, что рабочий класс проявил себя неспособным совершить социалистическую революцию, не оправдал надежд, возлагаемых на него марксизмом. Но и капитализм тоже показал свою неспособность к нормальному функционированию. Таким образом его неизбежно должна была заменить некая форма коллективистской экономики. Но поскольку рабочий класс не справился с этой задачей, ее решила бюрократия; на смену старому строю пришел не социалистический, а бюрократический коллективизм.' Троцкий соглашался, что суть спора именно в этом. Вопрос о том, является ли Советский Союз пролетарским государством или в этой стране возобладал бюрократический коллективизм,— второстепенный вопрос.

Сам он, говоря о «пролетарском государстве», имел лишь в виду, что какие-то его элементы и какие-то потенциальные возможности сохранились в общественной структуре Советского Союза — ему и в голову не приходило объявить сталинский режим «пролетарским государством» в обычном и политическом смысле слова. С другой стороны, можно говорить о «советском» бюрократическом коллективизме, но все же считать, что он включает и потенциал пролетарского государства. Главный же вопрос вот в чем: свидетельствует ли возникновение бюрократического социализма об органической неспособности рабочего класса построить социализм?

Невозможно отрицать ошибки, совершенные рабочим движением, равно как и пережитые им разочарования. Рабочие не сумели преградить путь к власти Муссолини, Гитлеру и Франко; допустили, чтобы народные фронты привели их к поражению и не смогли предотвратить две мировые войны. Что послужило причиной этих неудач? Ошибки руководства, то есть такие ошибки, которые в принципе можно исправить? Или неспособность рабочего класса управлять обществом и перестраивать его, свидетельствующая о его историческом банкротстве? Если руководство оказалось не на уровне, тогда, очевидно, надо создавать новое руководство, новые марксистские партии, новый Интернационал.

Но если виноват сам рабочий класс, то тогда придется признать ошибочность марксистских взглядов на капиталистическое общество и социализм, ибо марксизм провозгласил, что социализм либо будет создан рабочим классом, либо не будет создан вообще. Что же тогда такое марксизм — всего лишь еще одна «идеология», еще одна форма ложного сознания, заставляющая угнетенные классы и их партии верить, что они отстаивают собственные интересы, в то время, как на деле они лишь отстаивают интересы нового, а то и старого, правящего класса? Рассматриваемое с этой точки зрения поражение первоначального большевизма действительно выглядело бы явлением того же порядка, что и поражение якобинства — результатом столкновения утопии с новым общественным устройством,— и победа Сталина представлялась бы триумфом реальности над иллюзией и необходимым актом исторического прогресса.

Так, на исходе жизни Троцкий вопрошал самого себя о смысле и цели всей своей жизни и борьбы, да и не только своей — нескольких поколений борцов, коммунистов и социалистов. Неужели целый век революционных усилий обратился в пыль? Снова и снова размышлял он о том факте, что нигде, кроме России, рабочие капитализм не свергли. Снова и снова обозревал длинную и печальную цепь поражений, которые потерпела революция за период между мировыми войнами. И видел, какой напрашивается вывод: новые крупные неудачи поставят под вопрос всю марксистскую концепцию исторического развития.

Троцкий подтвердил свои марксистские убеждения, продемонстрировав не красочный оптимизм прежних лет, но проверенную в суровых испытаниях несгибаемую верность:

«...Главная задача нашей эпохи не изменилась просто из-за того, что не была решена... Марксисты не имеют ни малейшего права (если не считать «правами» разочарование и усталость) делать выводы, будто пролетариат утратил свою революционную энергию и должен отказаться от всех надежд...» Когда речь идет о глубочайших изменениях в экономических и культурных системах, двадцать пять лет весят на весах истории меньше, чем час в жизни человека. Что толку от человека, который из-за неудач, испытываемых в течение часа или дня, отказывается от цели, выношенной опытом... всей его жизни?

Если эта война, как мы твердо верим, приведет к пролетарской революции, то результатом ее будет свержение бюрократии в СССР и возрождение советской демократии на куда более развитой экономической и культурной основе, чем в 1918 году. Тогда и будет решен вопрос, является ли сталинская бюрократия «новым классом», или злокачественной опухолью на теле рабочего государства... Всем станет ясно, что в процессе мировой революции советская бюрократия была лишь эпизодическим рецидивом».

Было бы непростительно «поставить крест» на Советском Союзе из-за этого «эпизодического заболевания», тем самым перечеркнув всю историческую перспективу. Советский Союз — и пока что только он один — содержит в себе социоэкономическую структуру, на базе которой может быть возрождена советская демократия; вот что следует защищать. «Что мы защищаем в Советском Союзе? Не черты его сходства с капиталистическими странами, но именно те черты, которыми он отличается от них»; не привилегии и не систему угнетения, но элементы социализма. Такая позиция «отнюдь не означает ни сближения с кремлевской бюрократией, ни согласия с ее политикой, ни примирения с политикой союзников Сталина... Мы не правящая партия, мы партия непримиримой оппозиции... Мы осуществляем свои задачи... исключи-

тельно путем просвещения рабочих... объясняя им, что они должны защищать, а что свергать».

Этому спору суждено было продолжаться до конца мая 1940 года, то есть до вооруженного нападения на дом Троцкого. Джеймс Бернхэм, Макс Шахтман и другие американские троцкисты, члены Социалистической рабочей партии, придерживались взглядов, схожих со взглядами Рицци, хотя и не столь четко выраженных. С началом войны и подписанием пакта между Сталиным и Гитлером эти взгляды стремительно кристаллизовались. В начале сентября 1939 года Бернхэм направил в Национальный комитет СРП заявление, гласившее, что «СССР отныне невозможно рассматривать как пролетарское государство в каком бы то ни было смысле». До конца месяца Шахтман внес резолюцию, клеймящую советскую оккупацию Западной Украины и Белоруссии как «империалистическую»; отрицая все ее прогрессивные последствия, о которых говорил Троцкий, резолюция призывала партию отказаться от позиции защиты Советского Союза.

Бернхэм, профессор философии Нью-Йоркского университета, и Шахтман, популярный оратор партии, имели сильное влияние на троцкистскую интеллигенцию. До сих пор они выступали за революционное пораженчество в войне, какое бы буржуазное правительство — даже демократическое — ни развязало бы ее, и за защиту Советского Союза, с каким бы империалистическим лагерем он ни заключил бы союз. Легко было теоретически рассуждать в таком духе до начала войны, когда предполагалось, что Советский Союз будет союзником западных демократий. Положение изменилось с подписанием советско-германского договора и началом войны. Симпатии американцев, даже тогда, когда США еще оставались формально нейтральными, склонялись в пользу Англии и Франции. Германо-советский пакт вызвал у них яростное возмущение. Устоять перед таким напором эмоций было трудно даже троцкистам.

Бернхэм и Шахтман не могли не сознавать, что если они будут по-прежнему «защищать» Советский Союз, то навлекут на себя такую ненависть, какую им трудно будет вынести. Но для того, чтобы отказаться от «защиты» СССР, они должны были объявить, в марксистских терминах, что СССР больше не пролетарское государство, а такая же, как и другие, контрреволюционная держава, преследующая империалистические цели. Если Рицци еще утверждал, что бюрократический коллективизм является «исторической необходимостью» и до известной степени прогрессивен, то Бернхэм и Шахтман отказывали ему и в этих достоинствах. Логика спора вела их дальше: они доказывали, что и советская экономика не заключает в себе ничего прогрессивного. Прямо или косвенно они выступали против национализации промышленности и против национального планирования, рассматривая их как фундамент бюрократического коллективизма и тоталитарного рабства.

Постепенно дискуссия распространилась на все содержание марксистско-ленинской программы, включая вопросы диалектики и морали. Бернхэм, Шахтман и их последователи дошли до того, что стали отрицать всю программу пункт за пунктом. Фактически выдвигалась идея того самого «отступления интеллигенции», за которое они только что клеймили Истмена, Хука и других на страницах «Нью интернэшнл». Только теперь атакующие сами присоединились к отступавшим.

Еще критикуя Рицци, Троцкий высказал все, что имел сказать по данному вопросу. Разногласия с Бернхэмом и Шахтманом решались на куда более низком уровне политической мысли и стилистики. Данный спор в основном представляет интерес как свидетельство разочарования и пессимизма, охвативших сторонников Троцкого и, с другой стороны, как последнее выступление Троцкого против них — заключительная из всех полемик, которые ему когда-либо приходилось вести.

Все дискутируемые проблемы обострились к концу 1939 года, когда Сталин бросил свои армии на Финляндию. Троцкий в своих комментариях порицал Сталина за «глупое и некомпетентное» ведение финской войны, возмутившей мир и поставившей в трудное положение Красную Армию, потерпевшую ряд унизительных поражений. Тем не менее Троцкий утверждал, что действия Сталина в Финляндии имели целью укрепить обнаженный фланг Советского Союза против возможного нападения Гитлера. Это было законное стремление, и любое советское правительство, оказавшись в той же ситуации, что и Сталин (хотя отчасти Сталин сам эту ситуацию и создал), было бы, вероятно, вынуждено укреплять свои границы за счет Финляндии. Стратегическим интересам пролетарского государства следует отдавать предпочтение перед правом Финляндии на самоопределение.

Когда союзные страны ответили на вторжение Сталина в Финляндию кампанией за «поворот войны» и вооруженное вмешательство в пользу Финляндии, Троцкий еще более энергично призвал «защищать Советский Союз». Последовал вопль возмущения его недавних соратников: «Троцкий стал апологетом Сталина! Уж не хочет ли он заставить нас подпевать ему?! Нет, товарищ Троцкий,— отвечал Бернхэм.— Мы не станем драться на одной стороне с ГПУ за спасение кремлевской контрреволюции».

Эти слова прозвучали как эхо выступлений самого Троцкого, когда тот громил «Большой Террор» и призывал «каждого честного человека» разоблачить кровавые заговоры ГПУ и «выжечь каленым железом рак сталинизма» или когда обрушивался на тех «друзей Советского Союза», которые во имя высших интересов пролетарского государства были готовы простить Сталину его преступления. Правда, даже в пылу ожесточенной полемики Троцкий всегда подчеркивал, что при любых обстоятельствах он и его сторонники будут безоговорочно защищать СССР от всех внешних врагов. Но некоторые из его сторонников считали, что подобные заявления делаются для красного словца, и перепугались, когда поняли, что Троцкий имел в виду именно то, что говорил. Они обвиняли его в не-

последовательности, двуличии, даже предательстве. Они выдергивали непрочные нити из его высказываний и плели из них собственные теории.

Разве не говорил Троцкий, что на международной арене сталинизм выступает только как фактор реакции и контрреволюции? Как же может он теперь рассуждать о «прогрессивных и революционных последствиях» сталинской экспансии в Восточной Европе? Когда они напоминают о советском «новом классе» и бюрократическом коллективизме, Троцкий упрекает их в отходе от марксизма и объявляет смехотворными любые рассуждения о каком-либо способе эксплуатации в стране, где национализированы средства производства. Но разве не заявил он сам, что если в течение ближайших лет социализм на Западе потерпит неудачу, на смену капитализму придет бюрократический коллективизм как новая и универсальная система эксплуатации? Если бюрократический коллективизм возможен как новая универсальная система эксплуатации, почему он не возможен в качестве национальной системы СССР?

Заявив, что марксизм и социализм ждет банкротство, если рабочий класс Запада не свергнет капитализм к концу второй мировой войны, он ошеломил всех своих сторонников. Так много его пророчеств сбылось на их глазах, что и к этому они не были склонны отнестись легкомысленно. Наивные и правоверные из числа его сторонников несколько последующих лет искали на Западе признаки революции и жили ее миражами. Скептики и циники пришли к выводу, (кто раньше, кто позже), что банкротство марксизма и социализма уже очевидно на примере самого Троцкого и что эпоха бюрократического коллективизма уже наступила. Бернхэм первым поставил точки над «i». Он был «верным большевиком-ленинцем» и даже «заклятым врагом американского империализма» до тех пор, пока считал, что идет в ногу с историей. Но, убедив себя, при невольном содействии Троцкого, что историю на самом деле оседлал управленческий класс, он поспешил сбросить идеологический балласт марксизма и провозгласить грядущую «управленческую революцию». Шахтман согласился с прогнозами Бернхэма, но, будучи более убежденным марксистом, он сделал это скорее с сожалением, чем с радостью; кроме того, он попытался увязать свои новые взгляды с остатками прежних взглядов.

Теперь Бернхэм и Шахтман, вооруженные терминологией нового троцкизма из «Преданной революции», претендовали на защиту троцкизма от самого Троцкого. «В таком случае я не троцкист»,— отвечал, перефразируя Маркса, их учитель. Но чтобы ответить на их аргументы, он был вынужден, хоть и не прямо, дезавуировать свои собственные полемические преувеличения. «Товарищи крайне возмущены пактом между Сталиным и Гитлером,— писал он в частном письме.— Это понятно. Хотят отомстить Сталину. Очень хорошо. Но сегодня мы слабы и не можем немедленно взять Кремль. Тогда некоторые товарищи ищут чисто словесного утешения: лишают СССР звания пролетарского государства, как Сталин лишает ордена Ленина впавшего в немилость функционера. Мне, милый друг, это кажется ребячеством. Марксистская социология и истерика совершенно несовместимы». После всего, что пришлось вынести ему от Сталина, ничто не удручало Троцкого больше, чем сталинофобия, затуманившая головы его сторонников; до последнего вздоха предостерегал он их «от истерии» и призывал к объективному «марксистскому мышлению».

Американские троцкисты раскололись на «большинство», возглавлявшееся Джеймсом П. Кэнноном и разделявшее взгляды Троцкого, и «меньшинство», пошедшее за Бернхэмом и Шахтманом. Троцкий призывал их всех к взаимной терпимости: призывая «кэнноновцев» поактивнее вести дискуссию с Бернхэмом и Шахтманом, он в то же время предостерегал их, что агенты Сталина в их рядах будут стремиться раздувать ссору, и рекомендовал дать меньшинству возможность свободно выражать свою точку зрения и даже существовать в качестве организованной фракции СРП. «Если кто-либо выступит с предложением... исключить товарища Бернхэма,— предупреждал он,— я категорически выступлю против». Даже после того, как меньшинство провело свой Национальный съезд, Троцкий все еще рекомендовал большинству не использовать этот факт как предлог для исключений.

Меньшинство, однако, предпочло объявить себя новой партией, оставив за собой «Нью интернэшнл», «теоретический ежемесячник» СРП. Почти сразу же произошел раскол и во вновь образованной партии — с ней порвал Бернхэм, выступив со следующим заявлением: «Из всех основных положений, ассоциируемых с марксистским движением, будь то в его реформистском, ленинском, сталинском или троцкистском вариантах, фактически нет ни одного, которое я бы принимал в его традиционной форме. Я рассматриваю их либо как ложные, либо как устаревшие, либо как бессмысленные». Сенсационное признание со стороны того, кто еще недавно считался ведущим троцкистом. Всего лишь несколько недель назад Бернхэма и его друзей оскорбляло замечание Троцкого об их «немарксистском мышлении». «Что касается взглядов и интересов,— говорил теперь Бернхэм,— то уже несколько лет как я не вижу себе места в марксистской партии».

Так это или не так, пытался ли будущий автор «Управленческой революции» всего лишь придать своему идеологическому сальто-мортале более пристойный и не такой поспешный вид, или действительно лишь прикидывался все эти годы ревностным марксистом-ленинцем, никакая критика Троцкого в его адрес не могла бы так уронить его, как собственный автопортрет. Теперь Троцкому не жаль было расставаться с сомнительным апостолом, по отношению к которому в частных письмах он применял эпитеты, где самым мягким был «интеллектуальный сноб».

Он ожидал, что вслед за Бернхэмом последуют и другие: «Дуайт Макдональд не сноб, но глуповат... Выйдет из партии так же, как Бернхэм, но не сразу, потому что более ленив». Огорчил его разрыв с Шахтманом, к которому он питал слабость, хотя и раздражался его «шутовством», «по-

верхностностью» и т. д. Их отношения начались еще в 1929 году с визита Шахтмана на Принцевы острова; многие последующие встречи, письма и проявления преданности со стороны Шахтмана сблизили их. В нынешней фракционной борьбе Троцкий, разумеется, поддерживал Кэннона, но в личном плане куда больше тяготел к Шахтману. «Если бы я мог,— писал он ему в самый разгар полемики,— я бы немедленно вылетел в Нью-Йорк, чтобы двое или трое суток кряду говорить с Вами. Глубоко сожалею, что Вы не испытываете... необходимости прибыть сюда побеседовать со мной. Возможно, это не так? Я был бы очень рад».

Можно было бы сказать, что этот раскол разрушил Четвертый Интернационал, если бы такую призрачную организацию вообще можно было разрушить. Троцкий надеялся, что с уходом «мелкобуржуазных и карьеристских элементов» СРП крепче укоренится в американском рабочем классе. Этому не было суждено случиться: СРП осталась крохотной сектой, члены которой сохраняли ревностную приверженность букве учения, а позже и памяти Троцкого, но так и не сумели обрести политический вес; а ее соперники, группа Шахтмана, лишенная даже тех добродетелей, что годами могут спасать членов крохотной секты, все больше и больше отрекалась от «троцкизма», пока не рассыпалась и не исчезла совсем. Раскол повлиял на троцкистские группировки в других странах. Везде, особенно во Франции, очень многие в их рядах усвоили взгляды Бернхэма или Шахтмана.

Так на закате жизни Троцкий наблюдал в последний раз, как покатился вниз камень, с таким трудом затащенный им наверх по унылому склону горы.

27 февраля 1940 года Троцкий написал завещание. Он и раньше несколько раз составлял завещания, но только в юридических целях — чтобы Наталья и Лёва могли унаследовать доходы от публикации его книг. Нынешний документ был его настоящей последней волей. Каждая строка здесь пронизана ощущением приближающегося конца. Но завещание написано на случай естественной смерти или самоубийства — о смерти от руки убийцы Троцкий и не думал. «Мое высокое (и продолжающее расти) кровяное давление вводит моих близких в заблуждение относительно моего действительного состояния. Я сохраняю активность и работоспособность. Но конец, очевидно, близок».

На протяжении оставшихся Троцкому шести месяцев его здоровье, несмотря на обычные скачки, было не так уж плохо, чтобы оправдывать мрачные предчувствия. В приписке к завещанию, датированной 3 марта, он повторяет: «... в настоящее время я испытываю... всплеск духовной энергии из-за высокого кровяного давления; это ненадолго». Он подозревал, что страдает атеросклерозом в запущенной стадии и что доктора скрывают от него правду. Вероятно, он часто вспоминал Ленина и сразивший его продолжительный паралич; во всяком случае, он заявил, что скорее покончит с собой или, как он осторожно выразился, «пресечет... чересчур долгий процесс умирания», нежели будет терпеть подобную агонию. Все же он надеялся, что смерть настигнет его сразу, кровоизлиянием в мозг — «о таком конце можно было бы только мечтать».

Невольно он в известной мере построил свое завещание по образцу ленинского. Оба документа состоят из основного текста и постскриптумов, сделанных несколько дней спустя. Но содержание их отражает глубокие различия в характерах и обстоятельствах. Завещание Ленина носит абсолютно безличный характер. Он облек его в форму письма предстоящему съезду партии и ни словом, ни намеком не показал, что пишет, думая о скорой смерти. Хотя Ленина тоже одолевали мучительные вопросы, ему не нужно было превращать завещание в изложение своего кредо. Ибо он знал, что его взгляды и принципы и так хорошо известны. Ум его занят лишь кризисом большевизма (которому, знал он, даст толчок его смерть) и мерами и способами его предотвращения. Ленин высказал партии свое мнение о достоинствах и недостатках каждого из ее высших руководителей; предложил свой план реорганизации Центрального Комитета и рекомендовал переместить Сталина с поста Генерального секретаря. До последнего своего вздоха Ленин всем своим существом оставался вождем великого движения.

Завещание же Троцкого носит глубоко личный характер. Он замечает вкратце, что не видит нужды опровергать «глупую и злобную клевету» Сталина, поскольку на его чести революционера нет «ни одного пятна», и что новое «революционное поколение восстановит политическую честь» и его самого, и тысяч других жертв. Одной фразой он благодарит друзей и соратников, сохранявших ему верность в самые трудные его часы, но не дает им никаких советов: в завещании нет ни слова о Четвертом Интернационале. Добрая же половина текста посвящена Наталье: «Помимо счастья быть борцом за социализм, судьба подарила мне счастье быть ее мужем. На протяжении почти сорока лет нашей совместной жизни она оставалась неиссякаемым источником любви, великодушия и нежности. Ей выпали ужасные испытания... но я нахожу утешение в том, что она знала и счастливые дни».

Троцкий прерывает похвалу Наталье выражением символа веры: «На протяжении сорока трех лет моей сознательной жизни я был революционером, сорок два года из них я сражался под знаменем марксизма. Начни я сначала, я... постарался бы избежать тех или иных ошибок, но в основном течение моей жизни осталось бы прежним. Я умру пролетарским революционером, марксистом, диалектическим материалистом и, следовательно, непримиримым атеистом. Моя вера в коммунистическое будущее человечества — не менее пылкая, чем в годы моей юности, но более твердая».

Завершил завещание Троцкий следующими словами:

«Только что со двора подошла к окну Наташа и пошире открыла его, чтобы у меня в комнате было больше воздуха. Я вижу яр-

кую полоску травы у стены, ясное голубое небо над стеной и заливающий все солнечный свет. Жизнь прекрасна. Пусть грядущие поколения очистят ее от всего зла, угнетения и насилия и наслаждаются ею сполна».

В дополнение он завещал Наталье права на свои литературные произведения. Следующий абзац начинался такими словами: «Если умрем мы оба...». Но не дописал и оставил прочерк. В постскриптуме от 3 марта он снова заговорил о своей болезни и отметил, что они с Натальей не раз соглашались, что лучше покончить с собой, чем позволить старости превратить себя в развалину. «Я оставляю за собой право самому определить день своей смерти... Но при любых обстоятельствах... умру с непоколебимой верой в коммунистическое будущее. Эта вера в человека и в его будущее придает моему сопротивлению такую силу, какой не дала бы ни одна религия».

К тому времени Сталин решил, что больше не следует оставлять Троцкого в живых. Это может показаться странным. Чего, собственно, было ему еще опасаться? Разве не истребил он всех приверженцев Троцкого и даже их семьи, так что теперь уже неоткуда было взяться мстителю? И что мог одинокий Троцкий предпринять против него на другом конце света? Несколькими годами ранее Сталина, вероятно, еще пугала возможность того, что Троцкий способен встать во главе нового коммунистического движения за рубежом. Но разве не ясно было ему теперь, что Четвертый Интернационал не состоялся?

Факт остается фактом: Сталин не успокоился. Не мог заставить себя поверить, что террором и насилием добился поставленных целей, что старая большевистская Атлантида действительно исчезла с лица земли: пристально всматривался он в лица своих бесчисленных верноподданных, представляя себе, какая страшная ненависть, возможно, скрывается за их низкопоклонством. Кто мог знать, чем обернутся непредсказуемые потрясения грядущей войны для него, уничтожившего столько жизней, сломавшего столько судеб, посеявшего вокруг такое отчаяние и такое горе? А вдруг всплывет Атлантида с какими-то новыми обитателями, которые будут, однако, выказывать прежнюю непокорность? И даже если Четвертый Интернационал ничего не значит сейчас, кто может предвидеть, какие перемены внесут в политический ландшафт катаклизмы войны, какие сметут горы, какие холмики превратят в могучие вершины?

Сталин боялся всего того, на что надеялся Троцкий и что им обоим представлялось достаточно реальным. Живой Троцкий возбуждал страхи и не давал им утихнуть. Он оставался рупором Атлантиды, в его голосе по-прежнему звучали ее неумолимая страсть и ее боевой клич. На каждом критическом повороте истории — когда завершалась бессильная финская кампания, когда Гитлер оккупировал Норвегию и Данию, когда пала Франция — из-за океана доносились громовые раскаты его голоса, трубящего о последствиях этих бедствий, о просчетах Сталина, им способствовавших, о смертельной опасности, угрожающей Советскому Союзу.

Правда, его обвинения и предупреждения не достигали ушей советских людей. Но они появлялись на страницах американских, английских и других газет и, по мере того как война продвигалась на Восток, могли в сумятице и неразберихе отступлений и поражений проникнуть и туда.

В конце апреля 1940 года Троцкий обратился к «советским рабочим, крестьянам, солдатам и матросам» с воззванием, озаглавленным: «Вас обманывают». Говорят, листовку с текстом обращения провезли контрабандой в СССР сочувствующие троцкизму моряки; но вряд ли она достигла цели[52]. Как бы то ни было, каждая ее строка была взрывной. «Ваши газеты,— обращался Троцкий к советским рабочим и солдатам,— лгут вам в интересах Каина—Сталина и его растленных комиссаров, секретарей и гепеушников». «Ваша бюрократия кровожадна и безжалостна у себя дома, но труслива перед лицом империалистических держав». Бесчинства Сталина подрывают симпатии к СССР в глазах всего мира, ведут к его изоляции и играют на руку его врагам; эти бесчинства стали «главным источником опасности для Советского Союза».

Троцкий призывал рабочих и солдат «ни за что не отдавать мировой буржуазии национализированную промышленность и коллективистскую экономику, потому что на этом фундаменте еще возможно строительство нового счастливого общества». «Долг революционера — изо всех сил отстаивать каждое завоевание рабочего класса... демократические права, шкалу заработной платы и такие колоссальные достижения, как национализация средств производства и плановая экономика». Но народ сумеет воспользоваться этими «завоеваниями» Октябрьской революции только в том случае, если сумеет справиться со сталинской бюрократией, как справился с царской. Нет, Сталин не мог позволить Троцкому множить его призывы к мятежу.

Несколько бывших сотрудников ГПУ и иностранных коммунистов описали позже, как готовилась окончательная расправа с Троцким.

К концу испанской войны органы ГПУ, специализирующиеся по части «ликвидации троцкизма», были переведены в Мексику. Мексиканские сталинисты бросили все силы на возбуждение массовой истерии против «укрывшегося в Койоакане предателя». Изо дня в день они инкриминировали ему не только участие в заговоре против Сталина, но и в сговоре с американскими нефтяными магнатами против Карденаса, в подготовке всеобщей забастовки и фашистского переворота в Мексике. Тем не менее в начале 1940 года Москва обвинила руководство Мексиканской коммунистической пар-

[52] Я цитирую текст из Архивов, датированный 23 апреля 1940 г. Незадолго до гитлеровского вторжения в Норвегию ее покинул немецкий троцкист Вальтер Гельд, надеясь добраться до Америки через СССР и Японию. В пути, однако, он бесследно исчез. Почти наверняка его арестовали и казнили в СССР. Возможно, хотя и маловероятно, что он пытался донести до советских людей обращение Троцкого.

тии в «примиренчестве по отношению к троцкизму», в результате чего это руководство было смещено. Антитроцкистская кампания набирала новые обороты, и Троцкий сам подлил воды на мельницу врагов, совершив небольшую ошибку.

В самом конце 1939 года он согласился отправиться в США, чтобы дать свидетельские показания так называемой Комиссии Дайеса Палаты представителей, органу, занимавшемуся «расследованием антиамериканской деятельности» (в духе, предвосхищавшем охоту на ведьм, которой в пятидесятых годах руководил сенатор Маккарти). Сенатор Дайес, глава комиссии, потребовал запрещения Коммунистической партии США, обвинив ее в деятельности в пользу иностранного государства. Троцкий намеревался использовать трибуну Комиссии для разоблачения смертоносных акций ГПУ, нацеленных на убийство его самого и его сторонников. Но совершенно ясно предупредил, что выступит против запрещения коммунистической партии и призовет рабочих всего мира превратить мировую войну в мировую революцию. Из этих планов ничего не вышло, отчасти из-за резких возражений сторонников самого Троцкого, в частности Бернхэма, и отчасти из-за нежелания Комиссии Дайеса, предупрежденного о характере заявления, которое намеревался сделать Троцкий, заслушивать его. Да и американское правительство все равно отказало во въездной визе.

Игнорируя условия, на которых Троцкий намеревался предстать перед комиссией, сталинисты ухватились за самый факт его согласия, обвинив его в том, что он «интригует с Дайесом и нефтяными магнатами против мексиканского народа». 1 мая 1940 года двадцать тысяч одетых в форму коммунистов прошли по улицам Мехико с плакатами: «Троцкого — вон!» Троцкий ответил опровержениями, опубликовал свою переписку, касающуюся Комиссии Дайеса, и попросил мексиканские власти провести официальное расследование этого дела. Президент Карденас отверг выдвинутые сталинистами обвинения, но они тем не менее оставили след; и доброжелатели Троцкого задавались вопросом, не откажут ли ему в праве убежища, особенно если Карденас проиграет предстоящие выборы.

В это время убийца уже стоял у ворот дома на авениде Виена. Это был тот самый человек, который летом 1938 года представился американской троцкистке Сильвии Агелоф, участвовавшей в учредительном конгрессе Четвертого Интернационала, как Жак Морнар, сын бельгийского дипломата. Его настоящее имя до сих пор официально не установлено, хотя можно с полной уверенностью считать, что это был Рамон Меркадер, сын испанской коммунистки Каридад Меркадер, хорошо известной в своей стране во время гражданской войны,— между прочим, и своими тесными связями с ГПУ.

Встреча Морнара с Сильвией Агелоф в Париже была не случайной, она была тщательно подстроена. Агенты ГПУ к тому времени уже долго следили за Сильвией и ее сестрой: обе были троцкистками, а сестра Сильвии время от времени ездила в Койоакан в качестве курьера и помогала Троцкому разбираться с его бумагами и перепиской.

Что касается Сильвии, то она изучала философию у Сиднея Хука и психологию в Колумбийском университете, знала русский, французский и испанский языки и могла быть особенно полезной «Старику», который часто жаловался, что его работа «парализована» из-за отсутствия русской секретарши. Одинокая старая дева с малопривлекательной внешностью, она вдруг оказалась объектом ухаживаний со стороны симпатичного и обладавшего хорошими манерами Морнара. Она не устояла и провела с ним во Франции несколько месяцев, похожих на сон.

Время от времени его поведение озадачивало Сильвию. Он был настолько равнодушен к политике, что это производило впечатление лености ума, довольно неожиданной для «сына дипломата». Он поддерживал какие-то таинственные связи в среде коммерсантов и журналистов; даже само его происхождение оставалось для нее загадкой. Его рассказы о себе были довольно странными, порой даже непоследовательными. Щедро, словно из рога изобилия, он швырял деньги на пирушки и развлечения.

В феврале 1939 года Сильвия Агелоф вернулась в Штаты. В сентябре он приехал к ней в Нью-Йорк. И опять многое озадачивало ее. Он писал ей, что его посылают в Штаты корреспондентом одной бельгийской газеты, однако приехал с фальшивым канадским паспортом на имя Фрэнка Джексона, по его словам, для того, чтобы избежать военной службы в Бельгии.

Он утверждал, что никогда раньше не был в Нью-Йорке, однако отлично ориентировался в городе. На все недоуменные вопросы у него был готов правдоподобный ответ. При этом он не выходил из роли донжуана и любителя развлечений и поэтому не вызывал ни малейших политических подозрений. Единственное, в чем она имела основание упрекать его,— так это в легкомыслии и склонности к бахвальству. Она старалась повлиять на него, привить интерес к троцкизму, но он оказался совершенно непробиваемым в этом смысле и отвечал ей скучающим видом. И когда через некоторое время он объявил, что едет в Мексику в качестве не то торгового агента, не то управляющего импортно-экспортной фирмы, она не увидела в этом ничего особенного. Он попросил ее поехать с ним, и она сразу же согласилась.

Он приехал в Мексику в первой половине октября, она — в январе. И сразу же отправилась с визитом в обитель на авениде Виена — очевидно, она везла письма от американских троцкистов.

Вскоре она стала выполнять функции секретарши. «Джексон» обычно подвозил ее к авениде Виена на своей дорогой машине, а когда она кончала дела, поджидал ее у ворот. Он познакомился с охранниками и часто болтал с ними. И все же за несколько месяцев ни разу не отважился пройти внутрь. (Он по-прежнему делал вид, что

относится к политическим делам Сильвии со снисходительной улыбкой, но, исключительно ради того, чтобы доставить ей удовольствие, стал проявлять к ним чуть больше интереса.) У ворот он случайно столкнулся с Альфредом и Маргерит Розмерами, которые вскоре привыкли к нему, как к «любезному молодому человеку» и «мужу Сильвии». Он приглашал их обедать в Мехико и возил на прогулки по окрестностям.

В те часы, когда он якобы занимался своими торговыми делами, он встречался с людьми из ГПУ, от которых получал инструкции, и, по всей вероятности, со своей матерью, которая, по некоторым данным, находилась тогда в Мексике. Сильвия не имела ни малейшего представления об этих его встречах, он никогда не сводил свою «жену» и мать вместе. Лишь иногда он допускал ту или иную неловкость, которая на короткое время настораживала даже Сильвию. Так он дал ей адрес своего офиса, который оказался вымышленным. Он извинился за «ошибку» и дал другой адрес. Сильвия помнила, что такая же «ошибка» однажды уже имела место в Париже. Это вызвало у нее такое беспокойство, что она попросила Маргерит Розмер, женщину проницательную и наблюдательную, выяснить, в чем дело. Новый адрес оказался, однако, настоящим, и даже супруги Розмер сочли, что если в делах «Морнара-Джексона» и было что-то сомнительное, то это отнюдь не имело отношения к политике. Поэтому никто даже не попытался выяснить, что же это был за «офис». (Лишь много позднее обнаружилось, что этот «офис» использовался многими местными высокопоставленными сталинистами.)

Сильвии хватило осмотрительности не приглашать «Джексона» в дом Троцкого, она даже говорила ему, что визит ее мужа, приехавшего в Мексику по фальшивому паспорту, мог бы поставить Троцкого в неловкое положение. И, уезжая в марте в Нью-Йорк, она взяла у «Джексона» торжественное обещание, что он никогда в ее отсутствие не войдет в дом на авеню Виена. Однако вскоре после этого он все же оказался в стенах дома.

Розмер заболел, и «Джексона» попросили отвезти его во французскую больницу в Мехико, потом — привезти обратно, купить лекарства и т. д. Так случай помог ему выполнить поставленную перед ним задачу но из осторожности он даже послал Сильвии письмо, в котором оправдывался и объяснял, почему «нарушил свое обещание». И хотя он все больше и больше сближался с домом и окружением Троцкого, до личного знакомства оставалось еще три месяца.

Складывается впечатление, что к тому времени «Джексон» еще не предназначался на роль непосредственного убийцы. Задание состояло скорее в том, чтобы провести рекогносцировку, выяснить расположение комнат в доме, систему его защиты, уточнить, какой у Троцкого распорядок дня, собрать любую другую информацию, которая может оказаться полезной для подготовки вооруженного нападения, осуществить которое должны были другие.

Возглавить же эту операцию должен был Давид Альфаро Сикейрос, бывший друг Риверы, знаменитый художник, коммунист и лидер мексиканских шахтеров. Годом ранее он вернулся из Испании, где во время гражданской войны командовал несколькими Интербригадами. Он покидал поле сражения, только когда у него оставалось два-три десятка бойцов. Тот факт, что столь выдающийся художник, к тому же герой, согласился или даже сам вызвался убить Троцкого, весьма красноречиво характеризует мораль сталинизма в те годы. Впрочем, сводить политические счеты с револьвером в руке было в Мексике национальным обычаем. В искусстве Сикейроса революция и террор неразделимы, в нем самом было много от латиноамериканского пирата. В Испании он вступил в тесный контакт с ГПУ и, по некоторым данным, с семьей Меркадер.

Несмотря на все его заслуги, коммунистическая партия иезадолго до того вынесла ему серьезное порицание за нарушения в использовании партийных денег. Сикейрос был угнетен этим и жаждал восстановить свою репутацию, ему хотелось совершить какой-то яркий самоотверженный поступок, чтобы доказать свою преданность партии. Он разработал план вооруженного налета на дом Троцкого, для осуществления которого собрал людей, воевавших под его началом в Испании, и мексиканских шахтеров[33].

На авениде Виена ожидали такого налета. Местные сталинистские газеты обрушивали на Троцкого яростные нападки. Читая их, он замечал: «Люди могут так писать только тогда, когда им не терпится сменить перо на пулемет». По настоянию американских последователей Троцкого дом был превращен в крепость: двери снабдили мощными засовами, по натянутой колючей проволоке пустили электрический ток, провели систему сигнализации, установили пулеметы. Было увеличено число охранников. Около дома постоянно дежурили десять мексиканских полицейских. Внутри часовые у ворот несли вахту круглые сутки, кроме того, в караульном помещении постоянно были наготове четыре-пять человек. Конечно, кое-кто из охранников — совсем молодых американцев из средних слоев, только что из колледжа — мало годились для такого дела. Но выхода не было — из тех немногих рабочих, что входили в троцкистскую организацию, редко кто мог позволить себе оставить работу, семью и приехать в Койоакан. Люди постоянно менялись — после нескольких месяцев тоскливого однообразия телохранители расслаблялись, их бдительность притуплялась, и приходилось набирать новых. Поэтому у ворот подчас оказывались неопытные новобранцы.

Роберт Шелдон Харт, которому выпало дежурить в ночь рейда Сикейроса, приехал из Нью-Йорка 7 апреля. За полтора месяца его пребывания в Койоакане у его товарищей и у самого Троцкого сложилось впечатление о нем как о преданном, добром, но до-

---

[33] Генерал Л. А. С. Саласар «Убийство в Мексике». (Некоторыми подробностями относительно характера и личности Сикейроса я обязан одному американскому литератору, который близко знал его в тридцатые годы.)

вольно доверчивом и безответственном человеке[54].

Много позднее его коллеги вспоминали, что он быстро сдружился с Морнаром — «Джексоном» и часто проводил с ним время в городе. Очевидно, безопасность Троцкого зависела теперь от множества случайных обстоятельств. Впрочем, эти обстоятельства были не совсем случайны, ибо они отражали предельно неблагоприятные условия, в которых он оказался, крайнюю малочисленность и скромные возможности его сторонников.

23 мая Троцкий целый день напряженно работал, лег поздно, но заснуть не мог, пока не выпил снотворного. Около четырех часов ночи его разбудил грохот, похожий на пулеметную стрельбу. От усталости и навалившейся сонливости он сначала подумал, что это мексиканцы на улице отмечают с петардами какой-то шумный религиозный или национальный праздник. Но «разрывы гремели совсем близко, прямо в комнате, рядом со мной и над головой. Запах пороха становился все более сильным... на нас напали!»[55] Наталья уже вскочила с постели и прикрыла его своим телом. Через мгновение она под градом пуль заставила его лечь на пол, в угол между кроватью и стеной, он потащил ее за собой, и она упала, снова прикрыв его собой. И пока невидимые стрелки продолжали вести огонь с разных сторон, через окна и двери, они молча и неподвижно лежали в темноте. Было сделано, вероятно, около 200 выстрелов, около сотни пуль упали на кровать и около нее, в стенах и дверях впоследствии насчитали свыше семидесяти пробоин. Стоило Наталье чуть приподняться, он снова тянул ее вниз, и опять они лежали не шелохнувшись, дышали пороховой гарью и не могли понять, где же охранники и полицейские.

Внезапно из-за стены донесся пронзительный крик: «Деда!». Нападавшие ворвались в Севину спальню. «Крик ребенка,— вспоминал позже Троцкий,— это самый тяжелый момент той ночи». «Услышав крик,— рассказывала Наталья,— мы похолодели». Затем наступила тишина. «Они похитили его»,— прошептал Троцкий.

Словно в кошмарном сне Наталья увидела силуэт человека, высвеченный вспышкой взорвавшейся в детской комнате зажигательной бомбы — «обтекаемая каска, блестящие пуговицы, удлиненное лицо». Человек остановился на пороге между спальней Троцких и детской, как бы проверяя, нет ли где признаков жизни. Ничего не заметив, он на всякий случай дал еще одну очередь по кроватям и скрылся. Теперь стрельба гремела во дворе, детская горела. Севы там не было. В отблесках пламени на полу была видна тонкая дорожка крови, ведущая во внутренний дворик. «Затем все стихло... Невыносимая тишина»,— вспоминала Наталья. «Куда же мне тебя спрятать? — думала она.— Напряжение, сознание безнадежности лишили меня последних сил. В любую минуту они могут вернуться, чтобы покончить с ним». Что же произошло с остальными домочадцами, секретарями, охранниками, Розмерами, полицейскими? Все они погибли?..

«Вокруг простиралось ночное безмолвие, похожее на безмолвие могилы, самой смерти... Внезапно раздался тот же голос, голос нашего внука, но на этот раз он доносился из внутреннего дворика и казался совсем другим — звонким, смелым, веселым: «Альфред! Маргерита!» Он вернул нас к жизни». Сева тоже спасся, спрятавшись под кровать. Он думал, что дед с бабкой погибли, и, не дожидаясь конца стрельбы, с пораненным пальцем ноги выбрался наружу в поисках Розмеров[56].

Через несколько минут все собрались во внутреннем дворике. Никто не погиб и не получил серьезных ранений. Охранники все еще пребывали в сильном шоке и даже не посмотрели, что с полицейскими, которые стояли на улице. Троцкий рванулся туда и увидел, что полицейских обезоружили и связали. Короткие, торопливые, возбужденные рассказы: около четырех часов более двадцати человек в военной и полицейской форме внезапно напали на полицейских и без единого выстрела обезоружили их. Затем нападавшие под командой «майора» подошли вплотную к воротам. Один из них заговорил со стоявшим на посту внутри Робертом Шелдоном Хартом. Тот моментально отпер ворота. Нападавшие ворвались во двор и, застав других охранников врасплох, обезоружили их. Затем они установили пулеметы напротив спальни Троцкого и открыли огонь.

Очевидно, им надо было убить Троцкого и его семью — в других они ни разу и не выстрелили. Все это продолжалось двадцать минут. Будучи убеждены, что ни Троцкий, ни его жена, ни внук не могли уцелеть, нападавшие скрылись, напоследок кинув зажигательные гранаты в дом и мощную бомбу во внутренний дворик, которая, к счастью, не взорвалась. Несколько нападавших уехали в двух машинах Троцкого, которые всегда стояли во дворе наготове, с ключами в замках зажигания. Шелдон исчез вместе с нападавшими. Видевшие его полицейские показали, что никакого сопротивления с его стороны не последовало, и двое нападавших вывели его, крепко держа за руки.

Первыми эмоциями были облегчение и радость по поводу «чудесного спасения»; а у Троцкого нашло выход и свойственное ему чувство иронии. Его забавляло, что такая серьезная и тщательно подготовленная операция окончилась жалкой неудачей только потому, что он, Наталья и ребенок, абсолютно беззащитные, сделали единственное, что было в их силах,— спрятались под кроватями. Сталин и его агенты были посрамлены. Не было ни малейшего сомнения в том, ради кого, по чьему наущению и прямому приказу была организована эта

[54] Троцкий вспоминал, что вскоре после приезда Шелдона он увидел, как тот отдает ключ от главных ворот одному из работавших в доме строителей. Троцкий предупредил его, что этого не следует делать, и добавил: «Если будете продолжать в том же духе, то в случае нападения погибнете первым» (высказывание Троцкого о Шелдоне от 15 июля 1940 года. Архивы).

[55] Рассказ Троцкого об этом случае, записанный 8 июля 1940 г. был напечатан уже после его смерти в «Четвертом Интернационале» за август 1941 г. под заголовком «Сталин добивается моей смерти».

[56] Наталья Седова. «Vie et Mort de Leon Trotsky», с. 309—310.

операция. Но к радостному возбуждению и торжествующей иронии примешивалось недоумение. Как хорошо нападавшие были знакомы с внутренним расположением и системой охраны этой маленькой крепости — они даже знали, что могут воспользоваться автомобилями своей жертвы! Каким образом Шелдон без колебаний впустил их? Он был излишне доверчив и ненадежен, но, судя по всему, прежде чем открыть ворота, он говорил с кем-то, кому доверял и чей голос знал.

Кто же это мог быть? Быть может, нападавшие перелезли во двор через высокий забор и проволоку с высоким напряжением? Зачем они тогда увезли Шелдона, которого наверняка собираются убить?

Не прошло и получаса, как на место происшествия прибыл шеф мексиканской тайной полиции полковник Саласар. Вот как он описывает свой визит[57]: «Я спросил Троцкого, который тут же вышел вместе с женой... (он) был в пижаме, поверх которой накинул халат. Они дружелюбно со мной поздоровались... и держались на удивление спокойно. Можно было подумать, что ничего не случилось... Троцкий улыбался, глаза за стеклами очков в черепаховой оправе — чистые и ясные, острый и проницательный взгляд, ироничный, саркастичный, чуть-чуть мефистофельский. Волосы... почти седые... были немного взъерошены—откинуты со лба назад, несколько выбившихся прядей с боков...» «Разительный контраст» между Троцким и Натальей: «Он выказывает твердость и властность... лицо с энергичными, совсем не старческими чертами; она мила, кротка и почти безропотна». Но оба держались невозмутимо и с «полным самообладанием», что показалось шефу полиции неестественным. У него сразу же возникло подозрение: «Да было ли действительно покушение или все это просто розыгрыш?» Выслушивая в кабинете Троцкого его подробный и точный, излагаемый «без малейшего волнения» рассказ о том, что только что с ним произошло, Саласар опять подумал: «Столько нападавших, столько оружия, даже бомбы — а у них ни царапины. Очень странно!»

Они вышли в сад, где росли тщательно ухоженные кактусы и все имело такой же мирный вид, как обычно. Полковник спросил Троцкого, не подозревает ли он кого-нибудь в «организации покушения». «Конечно, подозреваю!— ответил тот самым решительным тоном.—Пойдемте...» Он положил руку мне на плечо и неторопливо повел к кроличьим клеткам... Остановился, посмотрел вокруг, как бы убеждаясь, что мы одни, затем поднес руку к губам, словно хотел предупредить, какую тайну он мне доверяет, и тихо, но с твердой убежденностью сказал: «Организатор нападения — Иосиф Сталин, при посредстве ГПУ».

Теперь полковник был убежден, что Троцкий морочит ему голову. «Я изумленно посмотрел на него... Мое изначальное подозрение превратилось в уверенность. Я снова сказал себе: «Это розыгрыш! Вне всякого сомнения». И когда Троцкий посоветовал ему кое-кого допросить из «наиболее видных» местных сталинистов, которые могли бы много чего рассказать об этой операции, Саласар пришел к выводу, что «старый революционер пытается отвлечь мое внимание от истинной версии». Первым делом он приказал арестовать трех человек из домашней прислуги — кухарку, горничную и плотника, а затем двух помощников Троцкого — Отто Шюсслера и Чарльза Корнелла. Такое направление расследования породило самые невероятные слухи. Говорили, например, что нападение организовал Диего Ривера, что налетчики ворвались в дом с криками «Да здравствует Альмасан!» (Его кандидатуру в президенты Ривера поддерживал против Карденаса.) Другие утверждали, что Троцкий и его последователи сами подстроили нападение с целью навести тень на сталинистов и тем самым дискредитировать их[58].

Любопытно, что шеф тайной полиции никакой враждебности по отношению к Троцкому не испытывал. Но профессиональному солдату и полицейскому, далекому от тех политических страстей и той борьбы, конец которым призвана была положить операция, все это дело действительно представлялось в высшей мере загадочным. Он только что насчитал в стене над кроватью Троцкого семьдесят три пулевые пробоины, и «чудесное спасение» казалось ему еще менее объяснимым. Размышляя о спокойствии Троцкого и Натальи, он приходил к выводу, что, будучи ветераном многих гражданских войн в Мексике, не встречал никого, кто держался бы столь хладнокровно после столкновения с такого рода опасностью[59]. Точность показаний Троцкого и его ироничный тон казались ему неестественными и тем более подозрительными. (Только в последующие несколько месяцев, когда ему по службе пришлось часто общаться с Троцким, он понял, что «противоестественные» хладнокровие, мужество и ирония были обычными для этого человека). Происшедшее — даже по мексиканским стандартам — было настолько крупным скандалом, что Саласару трудно было поверить, чтобы за ним могли стоять сталинисты, сторонники Карденаса (хотя он его и недолюбливал). Поведение охранников Троцкого также вызвало у него сомнения: почему они были столь странно пассивны? Почему ни в кого из них ни разу не выстрелили?

Саласар не сомневался, что Шелдон был в сговоре с нападавшими и скрылся с ними по собственной воле. Троцкий решительно утверждал, что Шелдон — их жертва, а не сообщник, но ничем доказать этого не мог. В рассуждениях Саласара имелось зерно истины — налет невозможно было осуществить без помощи кого-либо из окружения Троцкого или, по меньшей мере, кого-либо, имеющего тесные связи с его домом. Кто же это мог быть? Этот вопрос неизбежно должен был теперь оказаться в центре их внимания и повысить их бдительность.

---

[57] Саласар, там же, с. 6—10.

[58] Саласар, там же, с. 18—25. Не только мексиканские просталинские газеты, но даже и нью-йоркский «Нейшн» опубликовал сообщение с намеками на то, что сам Троцкий или его близкие подстроили нападение. «Что за низкая, гадкая порода эти «радикалы» из «Нейшн»,— заявил Троцкий (18 июня 1940 г. Архивы).

[59] Там же, с. 10—11 и 100.

Через неделю после налета Троцкий, возмущенный подозрениями относительно его самого и Риверы, заявил президенту Карденасу протест против ареста двух его помощников[60]. Сославшись на известную ему информацию (полученную, в частности, от Рейсса и Кривицкого) о действиях ГПУ во многих странах, он потребовал, чтобы судья или полиция допросили нынешнего и бывшего Генеральных секретарей Мексиканской коммунистической партии, а также Сикейроса и Ломбардо Толедано. Президент распорядился немедленно освободить помощников Троцкого. Но и после этого расследование какое-то время шло по неверному пути, и Троцкий был вынужден постоянно опровергать выдвигаемые против него обвинения, защищать своих соратников и доказывать невиновность Роберта Шелдона Харта. «Будь Харт агентом ГПУ,— говорил он,— он спокойно мог бы меня убить» и без этого шумного и специального налета. Тем временем полиция задержала несколько нападавших, которые подтвердили, что их предводителем был Сикейрос. Сам же Сикейрос скрылся[61]. Наконец, 25 июня люди Саласара обнаружили на маленькой ферме недалеко от Мехико закопанный в земле труп Шелдона Харта. Эту ферму арендовали два известных художника-сталиниста.

В четыре утра, ровно через месяц и один день после налета, Саласар приехал к Троцкому, чтобы сообщить эту новость. Охранники отказались разбудить Троцкого, и тогда он повез одного из них на ферму, чтобы опознать тело.

«Мы приехали,—рассказывает Саласар,— к подножию холма на заре. Земля была сырая, и подниматься было очень трудно. Тело лежало на носилках около дома, где я его оставил... Отто... моментально узнал своего товарища.

Когда мы приехали в Сан-Анхель, уже совсем рассвело. Труп положили во дворе. Вскоре после этого приехал генерал Нуньес и приказал обмыть тело, а также усилить охрану в связи с тем, что известие о найденном трупе распространилось по городу и начали собираться толпы зевак. Закончив формальности, генерал уехал. Внезапно толпа заволновалась.

«Троцкий!» «Троцкий!»

Это был действительно он. Пробило десять утра. Старый русский изгнанник подошел к трупу. Он выглядел печальным и подавленным. Он долго стоял и смотрел на своего бывшего помощника, глаза его были полны слез. Этот человек руководил великой революцией, пережил кровавые сражения, видел, как один за другим бесследно исчезали его друзья и родные. Его не испугал налет, едва не стоивший ему, его жене и внуку жизни. Сейчас он молча плакал»[62].

Однако окончательно роль Харта в операции пока не прояснилась. Саласар продолжал утверждать, что Харт был агентом ГПУ, которое ликвидировало его из опасения, что он попадет в руки мексиканской полиции и многое расскажет. Это предположение частично подкреплялось показаниями очевидцев, которые видели, как Харт без всякого сопровождения или охраны свободно расхаживал по ферме и даже гулял в ее окрестностях. Троцкий отвечал, что Харт стал восьмым его помощником, умершим насильственной смертью, и что все известное ему и его американским товарищам о Харте противоречит версии Саласара[63]. Он послал родителям погибшего трогательные соболезнования и повесил мемориальную табличку в память «Боба». Напротив этой таблички вскоре предстояло появиться и могиле самого Троцкого.

После 24 мая в «маленькой крепости» на авениде Виена сгустилась атмосфера обреченности. Каждый день, каждую неделю ждали нового нападения. То, что он еще жив, казалось Троцкому причудой судьбы. Он просыпался утром и говорил Наталье: «Видишь, этой ночью они нас не убили, а ты все недовольна». Раз или два он печально добавил: «Да, Наташа, нам отсрочили исполнение приговора»[64]. Он по-прежнему был активен и энергичен, вмешивался в полицейское расследование на каждом его этапе, ходил в суд, отвечал на бесконечные клеветнические измышления, высказывал свое мнение по поводу капитуляции Франции и заявления Молотова в поддержку третьего рейха, продолжал дискуссию о положении негров США, о тактике революционного пораженчества и т. д. Группа американских друзей, посетивших его в первой половине июня, умоляла его «уйти в подполье», скрыться под чужим именем, согласиться на то, чтобы его тайно вывезли в Соединенные Штаты. Они были уверены, что там смогут спрятать его в безопасном, никому не известном месте. Он отказывался их слушать. Он говорил, что не может работать крадучись и трясясь за свою жизнь — он должен стоять перед врагами и друзьями в открытую, должен вынести эту адски-темную ночь до конца[65].

С большой неохотой Троцкий подчинился друзьям и мексиканским властям, которые призывали его еще более надежно укрепить оборону дома — возвести более высокие стены, новые наблюдательные вышки, установить бронированные двери и стальные ставни на окнах. Он должным образом инспектировал «фортификационные работы», подавал свои советы, но в итоге с отвращением пожимал плечами. «Это напоминает мне мою первую тюрьму,— сказал он своему секретарю Джозефу Хэнсену.— Двери точно так же лязгают... Это не дом, это

---

[60] Письмо Троцкого президенту Карденасу от 31 мая 1940 г. (Архивы).

[61] Сикейрос был арестован 4 октября 1940 г. (уже после убийства Троцкого). Он не отрицал своего участия в майской операции, но утверждал, что компартия не имела к этому никакого отношения, что его целью было не убийство Троцкого, а оказание «психологического воздействия» и протест против пребывания Троцкого в стране. Освобожденный под залог, Сикейрос на несколько лет исчез из Мексики. (Саласар, там же, с. 184.)

[62] Саласар, там же с. 76—77.

[63] Троцкий составил список своих секретарей и помощников, ставших жертвами сталинского мщения: Глазман, Бутов, Блюмкин, Сермукс, Познанский, Клемент и Вулф. Заявление от 25 июня 1940 г. в Архивах.

[64] Наталья Седова. «Так это было», Б. О. № 85, март 1941; «Как это произошло» («Четвертый Интернационал», май 1941 г).

[65] Из рассказанного мне одним из тех, кто предлагал Троцкому эти варианты.

средневековая тюрьма». «Однажды,— рассказывает Хэнсен,— он заметил, как я разглядываю новые вышки. Он улыбнулся своей теплой, доверительной улыбкой: «Высокоразвитая цивилизация — вот и приходится нам возводить такие сооружения»[66]. Он действительно был словно смертник, ожидающий в своей камере последнего дня. С той только разницей, что он был полон решимости наилучшим образом использовать каждый оставшийся час, и его не покидали ирония и чувство юмора.

Он ездил в машине на прогулки по грязным каменистым сельским дорогам и мысленно возвращался к русским дорогам времен гражданской войны. В последнюю такую поездку, пишет Хэнсен, он дремал больше обычного, словно страшно устал и словно это была первая за долгое время возможность отдохнуть. Откинувшись на сиденье, он проспал от Куэрнаваки почти до Амекамекки, где вулканы Попокатепетль и Икстаксиуатль — Спящая Женщина — собирают вокруг своих белых вершин огромные пушистые облака... Мы остановились около старинного имения с высоченными мощными стенами. Старик с интересом их рассматривал. «Хорошие стены, но средневековые. Как наша с тобой тюрьма». Словом «средневековое», которое от него часто можно было услышать, он выражал не только отвращение к своему заточению, но и ощущение, что вместо ожидаемого века прогресса и торжествующей гуманности мир возвращается к диким жестокостям средних веков. И сам он, окружая себя башенными стенами и бастионами, участвовал в этом всеобщем движении вспять.

Когда после налета друзья подарили ему пуленепробиваемый жилет, он их поблагодарил, но не мог скрыть неудовольствия. Жилет он куда-то убрал и сказал, что пусть его лучше надевает охранник, дежурящий на наблюдательной вышке. Его помощники постоянно предлагали обыскивать всех посетителей на предмет спрятанного оружия и возражали, когда он в одиночку принимал незнакомцев в своем кабинете.

«Он не мог вынести, чтобы обыскивали его друзей...— вспоминал Хэнсен.— Безусловно, он понимал, что это в любом случае бесполезно и даже может породить у нас ложное чувство безопасности... агент ГПУ... все равно нашел бы способ нас перехитрить». Он хмурился, когда кто-нибудь из телохранителей пытался присутствовать при его беседах с посетителями, тем более что некоторые из посетителей приходили к нему с проблемами личного характера и не могли говорить откровенно в присутствии охранника».

28 мая, через несколько дней после налета, убийца впервые столкнулся с Троцким лицом к лицу. Произошло это совершенно случайно. Розмеры покидали Мексику и должны были сесть на корабль в Веракрусе. «Джексон» предложил подвезти их на машине, сказав, что ему все равно надо ехать туда по делам. Он приехал за ними рано утром, и его попросили подождать во дворе, пока они соберутся. Войдя во двор, он наткнулся на Троцкого, который кормил кроликов. Не отрываясь от своего занятия, Троцкий пожал гостю руку. «Джексон» держался очень скромно и дружелюбно, не стал разглядывать великого человека, не пытался завязать разговор или просто потоптаться вокруг него. Он прошел в комнату к Севе; подарил мальчику игрушечный катер и объяснил, как он действует. По совету Троцкого Наталья пригласила его позавтракать вместе с хозяевами и Розмерами[67].

По возвращении из Веракруса «Джексон» недели две не показывался на авениде Виена. Он появился 12 июня буквально на несколько минут — сказать, что едет в Нью-Йорк, свою машину оставляет у охранников, так что они могут пользоваться ею в его отсутствие. Он вернулся в Мексику через месяц и три недели не приходил на авениду Виена, пока Троцкие 29 июля не пригласили его вместе с Сильвией на чай. Это был самый долгий визит — он продолжался чуть более часа. Как явствует из подробных записей, которые вели охранники, между 28 мая и 20 августа он входил в ворота всего десять раз, а Троцкого видел лишь дважды или трижды. Этого было достаточно, чтобы познакомиться с обстановкой, примериться к жертве и окончательно доработать план действий. Он держался в высшей степени неназойливо, любезно и безобидно. Приносил скромный букет цветов или коробку конфет для Натальи—«подарок от Сильвии». Предложил как опытный альпинист сопровождать Троцкого в прогулках по горам. Однако внимание на этой идее не концентрировал и не напоминал о ней. В разговорах с охранниками он по-свойски упоминал фамилии известных троцкистов из разных стран, пытаясь создать впечатление, что он — свой человек в Движении; походя упоминал о своих пожертвованиях на партийные нужды. Однако в присутствии Троцкого и Натальи он держался почти застенчиво, как и подобало постороннему, который только-только становился «сочувствующим».

Это было время, когда среди американских троцкистов произошел раскол. Сильвия стала на сторону Бернхэма и Шахтмана, но на авениде Виена она по-прежнему была желанной гостьей, и только когда их с «Джексоном» приглашали на чай, за столом разгорались горячие споры. «Джексон» в них не участвовал, но давал понять, что поддерживает Троцкого и согласен с тем, что Советский Союз — это государство трудящихся и его следует защищать, невзирая ни на что. С помощниками он был не столь сдержан и рассказывал им о своих горячих спорах с Сильвией. При этом он благоразумно старался не переигрывать — Троцкий предупреждал своих сторонников, что провокаторы в их рядах непременно станут проявлять trop de zèle[68] и будут пытаться обострить разногласия. «Джексон» вел себя поиному, он лишь мягко пытался подтолкнуть Сильвию на верные позиции.

И все-таки даже этот непревзойденный актер (впоследствии в течение двадцати лет заключения ему удавалось противостоять всем попыткам следователей, судей, врачей

[66] Джозеф Хэнсен. «С Троцким до конца» («Четвертый Интернационал», октябрь 1940 г.).

[67] Хэнсен, там же.

[68] Чрезмерное усердие (*франц.*) (*Прим. ред.*)

и психоаналитиков установить его личность и связи),—даже он по мере приближения определенного ему срока начал нервничать. Из Нью-Йорка, где он, вероятно, получил последние инструкции, «Джексон» вернулся подавленный. Обычно жизнерадостный и веселый, он стал нервным и мрачным, спал с лица: у него начался тик, дрожали руки. Целыми днями он валялся в постели, замыкался в себе, молчал, почти не разговаривал с Сильвией.

Временами на него находили приступы шумного веселья и болтливости, которые пугали секретарей Троцкого. Он хвастался своими альпинистскими подвигами и своей физической силой. Говорил, что может «расколоть огромный кусок льда одним ударом ледоруба». За обедом он с необыкновенной сноровкой разделывал цыпленка, демонстрируя «хирургическую точность движений». (Свидетели этих «показательных выступлений» через несколько месяцев вспоминали его слова о том, что он хорошо знал Клеменца, чей труп был найден расчлененным именно с такой «хирургической точностью».)

Он рассказывал о «финансовой гениальности» своего «босса»-коммерсанта и предлагал провернуть через него разные биржевые операции с целью укрепить финансовое положение Четвертого Интернационала. Наблюдая однажды с Троцким и Хэнсеном за «фортификационными работами» на авениде Виена, он заметил, что все это бессмысленно, потому что «в следующий раз ГПУ будет действовать совсем другим способом». В ответ на вопрос, что это за способ, он только пожал плечами.

Обитатели дома вспомнили об этих и подобных им эпизодах лишь три-четыре месяца спустя, когда их зловещий смысл стал ясен. А пока они замечали за «Джексоном» лишь некоторые присущие его характеру отклонения от нормы, не более того. Только у Троцкого, так мало его знавшего, возникли скверные предчувствия. Но он даже оправдывал «Джексона», пусть не слишком настойчиво, когда кто-то с негодованием сказал, что, будучи в Нью-Йорке, тот даже не зашел в тамошнюю штаб-квартиру троцкистов. Что ж, отвечал Троцкий, муж Сильвии, конечно, легкомысленный тип, и едва ли он принесет особую пользу Движению но, возможно, он все-таки изменится к лучшему, да и партии нужны разные люди. Но разговоры «Джексона» о его «боссе», «финансовом гении», биржевых спекуляциях, которые он намеревался предпринять для финансирования «Движения», его настораживали.

«Эти короткие беседы,— вспоминала Наталья,— мне очень не нравились; Льву Давыдовичу они тоже были неприятны». «Что это за богатый «босс»?—спросил он меня.— Надо выяснить. Он ведь может оказаться каким-нибудь темным дельцом, да еще фашиствующим. Пожалуй, лучше не принимать у себя больше мужа Сильвии...» В свое время он порвал с Молинье, у которого тоже были свои «финансовые планы», однако при этом ни на мгновение не сомневался в его политической искренности и даже теперь был готов простить ему его грехи. Но в «Джексоне» он почувствовал нечто зловещее — не связан ли он с фашистами? И все-таки, несмотря на эти неясные предчувствия, он не хотел оскорблять его своим недоверием, не убедившись прежде, что оно имеет под собой какие-то реальные основания[69].

«Джексон» появился 17 августа и сообщил, что написал статью, обращенную против Бернхэма и Шахтмана, а также содержащую замечания по поводу ситуации в оккупированной немцами Франции. Он попросил Троцкого взглянуть на рукопись и высказать свои соображения. Ему удалось задеть чувствительную струну своей жертвы — стремление наставлять и просвещать своих товарищей и последователей. Троцкий посчитал себя не вправе отказать и, хотя и без большой охоты, пригласил «Джексона» в свой кабинет. Там они вдвоем обсуждали статью. Минут через десять Троцкий вышел, обеспокоенный и встревоженный. Его подозрения неожиданно укрепились; он сказал Наталье, что видеться с «Джексоном» больше не желает. Его расстроила не статья, представлявшая собою набор нескладных и туманных банальностей, а поведение автора. В кабинете он устроился прямо на письменном столе и так и просидел все время беседы, нависая над головой Троцкого, пока тот просматривал рукопись. При этом он не снял шляпу, а пальто все время держал в руках, прижимая к себе.

Троцкого не только раздражала невежливость гостя; он снова чувствовал какой-то подвох. У него складывалось ощущение, что этот человек отнюдь не тот, за кого себя выдает. Он сказал Наталье, что по своей манере держаться «Джексон» «совсем не похож на француза» — а представлялся он бельгийцем, выросшим во Франции. Кто же он на самом деле? Необходимо это выяснить. Наталья была в растерянности — ей казалось, Троцкого «что-то насторожило в «Джексоне», но к окончательному выводу он пока не пришел, вернее, не спешил с этим». При этом смысл сказанного не мог не тревожить — если «Джексон» действительно обманывает их относительно своей национальности, то почему он это делает? И не обманывает ли он их также и в чем-то другом? Но в чем именно? Все эти вопросы, должно быть, не выходили у Троцкого из головы, ибо спустя два дня он изложил свои соображения Хэнсену, словно желая убедиться, что не одинок в своих сомнениях. Однако интуиция и инстинкт самосохранения жертвы не поспевали за действиями убийцы — Троцкий поделился с Хэнсеном своими смутными подозрениями всего лишь за день до покушения[70].

Встреча 17 августа была для «Джексона» генеральной репетицией. Ему удалось заманить Троцкого в кабинет для разговора наедине, заставить его читать рукопись, удалось расположиться у него над головой. На эту генеральную репетицию он пришел во всеоружии — ледоруб, кинжал и пистолет были спрятаны в пальто, которое он не выпускал из рук. В кармане у него, вероятно, уже лежало письмо, якобы объясняющее мотивы его действий,— текст был напечатан

[69] Наталья Седова. «Vie et Mort de Leon Trotsky», с. 319.

[70] Наталья Седова, там же, и В. О. № 85, 1941; «Четвертый Интернационал», май 1941 г.

заранее, а в день покушения ему оставалось лишь поставить число и подпись.

В этом письме он отрекомендовался «преданным последователем» Троцкого, готовым служить ему «до последней капли крови» и приехавшим в Мексику по заданию Четвертого Интернационала. Встреча с Троцким была для него «осуществлением мечты», писал он. Однако в Мексике его поджидало «великое разочарование»: человек, которого он считал истинным вождем рабочего класса, на поверку оказался преступником-контрреволюционером, который призывал его «отправиться в Россию для организации покушения на разных людей и в первую очередь на Сталина». Он обнаружил, что Троцкий состоит в заговоре с «некоторыми лидерами капиталистических стран» — «его часто посещал консул крупной иностранной державы», заговор направлен одновременно против СССР и Мексики[71]. Цель письма состояла в том, чтобы даже сама смерть Троцкого подтверждала все сталинские обвинения. Только ввиду пакта, заключенного между Сталиным и Гитлером, утверждение, что Троцкий—сообщник Гитлера, было заменено намеком, будто он состоял на службе американского империализма. Даже трюк с «разочаровавшимся последователем» был не нов. Такие же «разоблачения» «разочаровавшегося троцкиста» были написаны и от имени Клемента рукою его же убийцы. Верхом же гнусности во всей этой стряпне стало утверждение «Джексона», будто Троцкий требовал от него «бросить жену», так как она стала сторонницей Шахтмана, но он, «Джексон», не мог ни жить, ни ехать в Россию без Сильвии.

Подделка была грубой, но для людей доверчивых сходила. Да и у кого достало бы времени и терпения тщательно анализировать ее в такой момент — в период между капитуляцией Франции и немецкими воздушными налетами на Англию, когда вопрос стоял о жизни и самом существовании стольких людей и целых государств.

И вот настал последний день — вторник, 20 августа. Все, кто позднее вспоминали о нем, говорили о необыкновенной тишине и покое, царивших в доме вплоть до рокового часа. Ярко светило солнце. Старик словно излучал спокойствие, уверенность и энергию. Проснувшись в семь утра, он на сей раз воздержался от своей мрачной и ставшей уже привычной шутки — «Видишь, ночью нас опять не убили»; вместо этого он сказал жене: «Давно я не чувствовал себя так хорошо». И добавил, что снотворное оказывает на него прекрасное действие. «Это не снотворное,—отвечала она,—а хороший сон и отдых». «Да-да, конечно»,— согласился он. Ему не терпелось засесть за работу. Он быстро оделся. И энергичным шагом отправился во внутренний дворик кормить кроликов. По указанию врача он все воскресенье провел в постели, к кроликам выйти не мог и вот теперь целых два часа старательно кормил их и чистил клетки. За завтраком он опять сказал Наталье, что самочувствие и настроение у него самые прекрасные. Он рвался снова взяться за свою «несчастную книгу» о Сталине, работу над которой отложил после майского нападения, так как все время отнимали у него участие в расследовании и текущая полемика. Теперь он уже сказал относительно налета все, что хотел, следствие продвигалось в правильном направлении, и он надеялся, что его больше не будут отрывать от работы. Но прежде чем засесть за книгу о Сталине, он хотел написать «важную статью» — не для большой буржуазной прессы, а для скромных троцкистских изданий. Он с энтузиазмом поговорил об этой статье и ушел в кабинет.

Утренняя почта порадовала его. Ему наконец удалось поместить свои архивы в безопасное место. Телеграмма из библиотеки Гарвардского университета подтверждала их получение. Судьба архивов вызывала известное беспокойство из-за того, что благодаря усилиям то ли ГПУ, то ли ФБР доставка их задерживалась. Двумя днями ранее Троцкий попросил своего американского адвоката и соратника Альберта Голдмана принять меры, если ФБР попытается сунуть нос в его бумаги. «Лично мне скрывать нечего,—писал он,— но в моих письмах упомянуты многие люди». Он передал архивы в Гарвард на условии, что часть их будет закрыта до 1980 года[72]. Но задержки в пути оказались не столь серьезными, и теперь с этим все было улажено. Он написал на своем характерном английском несколько коротких, добрых, живых писем американским троцкистам[73]. Интересовался здоровьем одного из них, недавно вернувшегося домой после работы секретарем в Койоакане. Благодарил за присланный ему словарь американского сленга и обещал тщательно изучить его, чтобы понимать разговоры своих телохранителей за обедом. Послал приветствия двум товарищам, которые попали в тюрьму за организацию забастовок и вот-вот должны были выйти на свободу. И затем приготовился наговорить в диктофон свою последнюю статью[74].

Из предварительного наброска статьи следует, что он стоял на распутье, пытаясь либо видоизменить свою прежнюю точку зрения, либо выработать новую. До недавних пор он, как и Ленин во время первой мировой войны, поддерживал идею «революционного пораженчества», указывая, что задача пролетариата—не защищать свое империалистическое отечество—будь оно демократическим или фашистским, а стараться превратить войну в революцию. Однако теперь, когда нацисты захватили почти всю Европу, а в английском и американском рабочем классе усиливались антифашистские настроения, он понимал бесполезность простого повторения старых формул. «Нынешняя война, как мы уже неоднократно отмечали, является продолжением прошлой войны. Но про-

[71] Полный текст «Признания «Джексона» опубликован в «Убийстве Льва Троцкого» Альберта Голдмана, с. 5—8.

[72] Троцкий — Голдману, 17 авг. 1940 г. (Архивы. Закрытый раздел). Эта часть архива содержала его переписку с последователями. В тот момент, когда почти вся Европа была под контролем гестапо либо ГПУ, он считал своим долгом обезопасить таким образом своих корреспондентов.

[73] «Последние письма Троцкого» («Четвертый Интернационал», октябрь 1940 г.).

[74] ...Последняя статья Троцкого. Там же.

должение—это отнюдь не повторение, /а/ развитие, углубление, обострение». Соответственно, продолжение ленинской политики 1914—1917 годов не должно сводиться к простому повторению, а быть «развитием, углублением». Ленинская идея революционного пораженчества вооружила большевистскую партию иммунитетом против лозунгов буржуазного патриотизма. Но вопреки широко распространенному мнению, «она не могла овладеть массами, которые были против иностранного завоевателя». Большевики приобрели поддержку масс не столько благодаря их «отказу защищать буржуазное отечество», сколько благодаря позитивным аспектам их революционной пропаганды и деятельности. Марксисты-ленинцы должны осознать это и в отношении к нынешней войне, заключал он, критикуя группу Шахтмана и пацифистов среди троцкистов, которые выступали против воинской повинности в США. В написанном несколькими днями раньше письме он высказал свои суждения относительно результатов опроса общественного мнения, которые свидетельствовали, что 70 процентов американских рабочих поддерживают воинскую повинность.

«Мы стоим на той же позиции, что и 70 процентов рабочих. Мы считаем, что вы, рабочие, хотите защищать... демократию. Мы... хотим идти дальше. Тем не менее мы готовы защищать демократию вместе с вами, только при условии, что это — настоящая защита, а не предательство на манер Петена». В этой статье он постоянно переходил от Франции, униженной и обремененной «предательским дряхлым бонапартизмом», к совершенно иной ситуации в Америке. Но у него уже не оставалось времени развить эти зарождающиеся идеи — голос в диктофоне остался единственным свидетельством его последней, незавершенной попытки нащупать иной, новый курс.

В час дня приехал его мексиканский адвокат Риго и посоветовал без промедления ответить на нападки в «Популар», газете Толедано, которая обвинила его в клевете на мексиканские профсоюзы. Троцкий опасался, что это снова втянет его в жаркую полемику с местными сталинистами, но согласился, что медлить с ответом нельзя, и отложил «на несколько дней» статью о революционном пораженчестве. «Я сам перейду в наступление и обвиню их в наглой клевете»,— сказал он Наталье. Он был настроен воинственно и оптимистично. Еще раз он сказал ей, что чувствует себя превосходно.

После короткого дневного отдыха Троцкий снова уселся за стол и приступил к выпискам из газеты. «Он прекрасно выглядел,— вспоминает Наталья,— и был совершенно спокоен». Незадолго до этого она заметила, что он стоит во внутреннем дворике под палящим солнцем с непокрытой головой. Она поспешила найти его белую кепку, чтобы защитить голову. Сейчас она время от времени осторожно, чтобы не беспокоить его, приоткрывала дверь в кабинет и видела его сидящим «в обычной позе, склонившегося над столом». Стоя на цыпочках и не входя в комнату, современная Ниоба в последний раз нежно смотрела на единственного оставшегося у нее любимого человека.

В начале шестого он пошел кормить кроликов. Выйдя на веранду, Наталья увидела рядом с ним «незнакомую фигуру». Человек подошел поближе, снял шляпу, и она узнала «Джексона». «Опять пришел,— пронеслось у нее в голове.— Зачем он стал приходить так часто?»—спрашивала она себя. Его вид и поведение вновь оживили недоброе предчувствие. Его лицо было серо-зеленоватого оттенка, движения нервные и резкие; он конвульсивно прижимал к себе пальто. Она внезапно вспомнила, как он хвастал, что даже зимой не носит пальто и шляпу, и спросила, почему он так оделся в столь солнечный день. «Может пойти дождь,— ответил он; потом пожаловался на страшную жажду и попросил стакан воды. Она предложила ему чаю. «Нет-нет, я очень поздно обедал, и еда стоит у меня здесь,—показал он на свое горло,—даже дышать мешает». Он не мог сосредоточиться и, казалось, не понимает того, что ему говорят. Она спросила, внес ли он исправления в свою статью. В ответ он, прижимая одной рукой пальто, другой показал ей несколько отпечатанных на машинке страниц.

Довольная тем, что мужу не придется напрягать глаза над неразборчивой рукописью, она вместе с «Джексоном» направилась к клеткам. Когда они подошли, Троцкий обернулся и сказал ей по-русски, что, по словам «Джексона», сейчас должна подойти Сильвия, а завтра они оба уезжают в Нью-Йорк, и потому Наталье, вероятно, следует пригласить их на прощальный ужин. Она ответила, что «Джексон» только что отказался от чая и плохо себя чувствует. «Лев Давыдович внимательно посмотрел на него и сказал с легким укором в голосе: «У вас что-то неважно со здоровьем, у вас больной вид. Это нехорошо»[75]. На мгновение воцарилось неловкое молчание. Загадочный человек ждал с напечатанными листками в руке. И Троцкий, посоветовавший ему переделать статью, посчитал, что обязан посмотреть на результат его труда.

«Льву Давыдовичу очень не хотелось бросать кроликов, и статья его совершенно не интересовала,— вспоминает Наталья.— Но он переборол себя и спросил: «Так говорите, надо посмотреть, что вы там поправили?» Он не спеша запер клетки, снял рукавицы, отряхнул свой синий пиджак и молча медленно направился со мной и «Джексоном» к дому. Я проводила их до кабинета, дверь закрылась, а я вошла в соседнюю комнату». Когда они входили в кабинет, в мозгу Троцкого мелькнула мысль: «Этот человек может меня убить». Во всяком случае именно это он сказал Наталье через несколько минут, когда уже лежал на полу, истекая кровью. Однако подобные мысли, должно быть, иногда возникали у него, когда малознакомые люди приходили к нему в одиночку или группами. Он старался не позволять страху и мизантропии делать его существование невыносимым и теперь подавил в себе этот последний слабый проблеск инстинкта самосохранения. Он прошел к столу, сел и склонился над текстом.

Он едва успел пробежать первую страницу, как страшный удар обрушился на него. «Я куда-то положил пальто,— давал потом показания «Джексон»,— вынул ледоруб, за-

[75] Наталья Седова, там же

крыл глаза и со всей силы ударил его по голове».

«Джексон» был уверен, что после такого сокрушительного удара смерть наступит моментально и сам он успеет скрыться, прежде чем кто-либо поймет, что произошло. Однако Троцкий издал «страшный, пронзительный вопль». «Никогда не забыть мне этот крик»,— говорил впоследствии убийца[76]. С пробитым черепом, с залитым кровью лицом, Троцкий вскочил и стал судорожно швырять в убийцу всем, что попалось под руку — книгами, чернильницами, даже диктофоном, и затем набросился на него. Прошло всего три или четыре минуты. Услышав страшный крик, Наталья и охранники вскочили на ноги, но прошло еще несколько мгновений, прежде чем они поняли, откуда он исходит, и ринулись в кабинет. В этот момент там шла смертельная схватка, последняя в жизни Троцкого. Он бился, как тигр. Сцепившись с убийцей, он укусил его за руку и вырвал у него ледоруб. Убийца не ожидал такого отпора и настолько растерялся, что не ударил еще раз, не вытащил пистолет или кинжал. Теряя силы, Троцкий неимоверным усилием воли не дал себе упасть у ног противника и, шатаясь, попятился назад. Когда Наталья влетела в комнату, он стоял с бессильно опущенными руками, прислонившись к косяку двери между столовой и верандой. На залитом кровью лице необыкновенно ярко блестели его голубые глаза; очков на нем не было. «Что случилось?—спросила я.—Что случилось?» Я обняла его... Он не отвечал. Моей первой мыслью было, не упало ли что-нибудь на него с потолка — ведь в кабинете шел ремонт. И почему он стоит тут?» Спокойно, без злости, горечи или печали, он произнес: «Джексон». Произнес так, словно хотел сказать: «Ну вот и все». Он сделал несколько шагов — я его поддерживала — и медленно опустился на пол»[77].

«Наташа, я люблю тебя». Он произнес это так неожиданно, так серьезно, почти резко, что я, ослабевшая от шока, едва не лишилась чувств». «Никто, никто,— шептала она,— никто больше не пройдет к тебе без обыска». Она осторожно подложила ему под разбитую голову подушку, на рану положила кусок льда, вытерла кровь со лба и щек. «Ничего не говорите Севе»,— сказал он. Ему было трудно говорить. Речь становилась нечеткой, но он, казалось, не замечал этого. «Знаешь, уже там,— он глазами показал на дверь в кабинете,— уже там я почувствовал, я понял, что он хочет... он хотел... меня... еще раз... но я ему не дал». Он говорил «тихим, мягким, дрожащим голосом» и словно с удовлетворением повторил: «но я ему не дал». Наталья и Хэнсен стояли около него на коленях, он повернулся к Хэнсену и заговорил с ним по-английски. Она «изо всех сил пыталась понять, что он говорит, но не смогла».

«Это конец»,— сказал он помощнику по-английски и спросил, что же конкретно произошло. Он был убежден, что «Джексон» выстрелил в него, и недоверчиво отнесся к словам Хэнсена, что его ударили ледорубом и что рана не опасная. «Нет-нет,— отвечал он, показывая на сердце,— я чувствую, что на этот раз у них получилось». Когда же ему снова сказали, что рана не очень опасная, он слабо улыбнулся одними глазами, словно ему было смешно, что кто-то пытается успокоить его, скрыть от него правду. Он не отпускал рук Натальи и прижимал их к губам. «Не оставляйте ее,— продолжал он по-английски,— мы были вместе много-много лет». «Конечно»,— обещал Хэнсен. «Старик исступленно жал нам руки, в глазах у него выступили слезы. Наталья в слезах склонилась над ним, целовала рану»[78].

Тем временем охранники в кабинете навалились на убийцу и били его рукоятками револьверов. Оттуда слышались его стоны и всхлипы. «Скажите им, чтобы не убивали,— с трудом произнес Троцкий,— его нельзя убивать, его надо заставить говорить». Охранники рассказывали, что под ударами «Джексон» повторял: «У них на меня что-то есть, они посадили в тюрьму мою мать... Сильвия ни при чем». Когда же они попытались выяснить у него, кто посадил в тюрьму его мать, он отрицал, что это ГПУ, и утверждал, что «не связан с ГПУ».

Когда приехал врач, левую руку и ногу Троцкого уже парализовало. Одновременно с полицейскими вошли санитары с носилками. Наталья вся сжалась. Она вспомнила, как Лёва умер в больнице, и не хотела, чтобы увозили мужа. Он тоже не хотел, чтобы его забирали. И только когда Хэнсен пообещал, что охранники поедут с ним, он ответил: «Поступайте, как считаете нужным». Словно понимая, что ему самому уже больше ничего не придется решать. Пока его укладывали на носилки, он снова прошептал: «Пусть все, что у меня есть, перейдет к Наталье... Не оставляйте ее»[79].

У ворот охранники с запоздалой бдительностью остановили санитаров. Они опасались еще одного нападения и не позволяли увозить Троцкого, пока сам шеф полиции генерал Нуньес не организует сопровождения. «Я видел,— вспоминает санитар,— что жена раненого накрыла его большим белым платком. Сеньора всхлипывала и обеими руками поддерживала ему голову. Сеньор Троцкий ничего не говорил и не стонал. Нам показалось, что он умер, но... он еще дышал»[80]. Сквозь строй полицейских носилки пронесли к карете «скорой помощи». В это время другая машина «скорой помощи» приехала за убийцей.

«Петляя в потоках машин, обгоняя их, карета «скорой помощи» неслась по грохочущему городу, сквозь его суету и шум, мимо ярких вечерних фонарей и броских витрин. Беспрестанно выли сирены, резко сигналил полицейский эскорт на мотоциклах. С невыносимой мукой в сердцах и растущей с каждой минутой тревогой везли мы раненого. Он был в сознании». Правой рукой он постоянно водил вокруг, словно стараясь найти ей место, затем коснулся одеяла, таза с водой и, наконец, прижал ее к жене. Склонившись над ним, она спрашивала, как он. «Уже лучше». Потом он жестом подозвал Хэнсена и шепотом дал указания, как вести расследование. «Это политическое покушение... Он из ГПУ... или фашист...

[76] Саласар, там же, с. 160.
[77] Наталья Седова, там же.
[78] Хэнсен, там же.
[79] Хэнсен, там же.
[80] Саласар, там же, с. 102—103.

Скорее, из ГПУ... но, возможно, ему помогало гестапо...» (Почти одновременно в другой машине убийца передал охранникам свое письмо с объяснением «мотивов» и сказал, что к этому преступлению гестапо не имеет никакого отношения.)

Когда Троцкого выносили из машины, у больницы уже собралась большая толпа. «Среди них могут быть враги,— беспокоилась Наталья.— Где же наши друзья? Надо прикрыть носилки». Через несколько минут он уже лежал на узкой больничной койке, и врачи исследовали рану. Медсестра принялась состригать ему волосы, и он, улыбнувшись стоявшей у изголовья Наталье, напомнил ей, что как раз вчера они хотели пригласить парикмахера. «Вот видишь,— усмехнулся он,— и парикмахер появился». Потом с почти закрытыми глазами он обратился к Хэнсену со своим обычным вопросом: «Джо, у вас... есть с собой... блокнот?» Он вспомнил, что Хэнсен не понимает по-русски, и с большим трудом продиктовал несколько предложений по-английски. Его голос был едва слышен, слова сливались. Вот что, если верить Хэнсену, он услышал: «Я близок к смерти от руки политического убийцы... ударил меня в моем кабинете. Я дрался с ним... мы... начали... говорить о французской статистике... он ударил меня... передайте нашим друзьям... Я уверен... в победе... Четвертого Интернационала... Действуйте». Начиная диктовать, он, очевидно, надеялся успеть и рассказать о покушении, и сделать политическое завещание. Но, почувствовав, что силы оставляют его, он оборвал рассказ о покушении и поспешил дать своим сторонникам последние напутствия.

Сестры начали готовить его к операции. Ножницами разрезали пиджак, рубашку и жилет, сняли часы. Когда они стали снимать последние одежды, он сказал Наталье, «отчетливо, но очень серьезно и печально»: «Я не хочу, чтобы они меня раздевали... Я хочу, чтобы это сделала ты». Это были его последние слова, которые она слышала. Раздев его, она наклонилась и прижалась губами к его губам. «Он поцеловал меня в ответ. Еще раз. И еще раз. И еще. Так мы простились»[81].

В тот же вечер, примерно в полвосьмого, он впал в кому. Пятеро хирургов сделали ему трепанацию черепа. Глубина раны была около семи сантиметров. Правая теменная кость оказалась раздробленной, ее осколки вошли в мозг, была повреждена мягкая оболочка, часть мозгового вещества омертвела. Он «перенес операцию поразительно хорошо», но в сознание не пришел. Более двадцати часов он боролся со смертью. Наталья, «с выплаканными глазами, сцепив руки», круглые сутки сидела около него в ожидании его пробуждения. Вот что запомнилось ей в эти последние часы: «Его приподняли, и голова упала на плечо. Руки безжизненно повисли, как на тициановском «Снятии с креста». Вместо тернового венца на голове у умирающего была повязка. Черты лица сохраняли чистоту и достоинство. Казалось, он еще вот-вот может распрямиться и снова стать хозяином своей судьбы...»[82].

Смерть наступила 21 августа 1940 года в 7.25 вечера. Вскрытие выявило мозг «необычайных размеров», весом около тысячи двухсот восьмидесяти граммов, и «сердце тоже было очень большое»[83].

22 августа, в соответствии с мексиканскими традициями, огромная похоронная процессия медленно двигалась за гробом с телом Троцкого по главным улицам города, потом по рабочим кварталам, где собрались оборванные, босые, молчаливые толпы. Американские троцкисты хотели перевезти тело в США, но госдепартамент отказал в визе даже покойному. За пять отведенных для прощания дней мимо гроба прошли около 300 тысяч человек. Все это время на улицах гремела «Gran Corrido de León Trotsky»[84], сочиненная неизвестным автором баллада в народном стиле.

27 августа тело было кремировано, а прах погребен во дворе «маленькой крепости» в Койоакане. Над могилой поставили белую надгробную плиту, над которой взвился красный флаг.

Наталья прожила в этом доме еще двадцать лет, и каждое утро ее взор устремлялся к белой плите во дворе.

---

[81] Наталья Седова, там же.

[82] Наталья Седова, там же.

[83] Саласар, там же, с. 110.

[84] «Большая песнь о Леоне Троцком» *(исп.) (Прим. ред.)*

«Правда» посвятила всему этому несколько строк, сообщив, что Троцкий убит «разочаровавшимся последователем».

Критика

СЕРГЕЙ БЕЛОВ

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ АССОЦИАЦИИ — «ПОПРАВКА-22» ДЖОЗЕФА ХЕЛЛЕРА

Первое знакомство советского читателя со знаменитым романом-дебютом Джозефа Хеллера состоялось в 1967 году, когда «Воениздат» выпустил его под названием «Уловка-22», вызвав немалое неудовольствие наших специалистов по художественному переводу. В статье М. Ф Лорие (сб. «Мастерство перевода», вып. 7, 1970) убедительно показано, как искрометная, остроумная проза Хеллера превратилась в нечто серое и косноязычное. Перевод, весьма смахивавший на контрольную работу по английскому на первом курсе иняза, изобиловал ошибками и пропусками (по причине наличия мест «сомнительных» с точки зрения нравственности, идеологии и т. п.).

Так, собственно, «Воениздат» работал всегда. Пока ведущие столичные издательства предавались сомнениям (можно ли издавать, не нагорит ли за идеологическую ошибку, не погодить ли?), «Воениздат» смело брался за дело. Издавал с купюрами, с ошибками и стилистическими огрехами, торопливо, словно под артобстрелом, но все-таки издавал. Не трусил. Затем проходило время, и когда выяснялось, что от появления очередной «сомнительной» книги мир не рухнул и нравственные устои не пошатнулись, смелели и другие издательства. Так, роман Джеймса Джонса, впервые переведенный в «Воениздате» под несколько загадочным наименованием «Отсюда и в вечность», был затем издан в ином уже переводе и под человеческим названием «Отныне и вовек» в «Радуге», а позже воспроизведен полумиллионным тиражом деловыми людьми из издательства «Правда», обожающими именно переиздавать сделанное другими — никаких неприятностей и сплошные прибыли! Воениздатовская «Уловка-22» возродилась через два десятилетия как «Поправка-22» в томе, поделенном между Хеллером и Сарояном серии «Библиотека литературы США» в издательстве «Радуга»[1], и можно предположить, что вскоре очередное издательство, наделенное запасами бумаги и любовью к переизданиям, размножит «Поправку-22» «настоящим тиражом», не чета мизерным 50 000 «Радуги».

О новом переводе книги Хеллера, сделанном А. Кистяковским,— теперь уже, увы, покойным,— можно, наверное, спорить. Бесспорно одно: перевод сделан ярко, вдохновенно, из любви к тексту, а не потому, что «деньги платят», с желанием передать дух хеллеровского романа. Кто читал его в оригинале, тот поймет, что задача была непростой.

О «Поправке-22» у нас уже писалось, и не раз, причем квалифицированно и по делу. Место книги в литературном процессе США, ее антивоенный пафос — об этом говорилось вполне убедительно. Об одном лишь не было сказано ни слова (да и не могло быть сказано в те годы). О том, что, размышляя о проблемах своей родной страны и никакой другой, американский писатель точно указал на проблемы, имеющие самое непосредственное отношение и к нашей действительности, особенно того периода, что ныне именуют застойным. Под этим ракурсом посмотрим на роман. А нужно ли все это перетолковывание Хеллера на наш лад, усомнится, быть может, читатель. Зачем оно? Да затем, что за долгие годы единомыслия мы разучились сами на себя смотреть не то что сатирически, а даже юмористически, даже невиннейшие шутки привыкли печатать в рубрике «иностранный юмор». Пристрастились писать

[1] Уильям Сароян. Человеческая комедия. Роман Избранные рассказы. Из автобиографии Джозеф Хеллер. Поправка 22 Роман Библиотека литературы США М «Радуга» 1988 Текст цитируется по этому изданию, кроме тех случаев, когда автор настоящей статьи и переводчик расходятся в трактовке романа.

больше оды, вот и приходится обременять Хеллера дополнительной «общественной нагрузкой» и. о. советского сатирика. Бюрократы разных стран — родственные души. Хеллер пишет об Америке, а мы видим себя.

Вообще, занимаясь литературой США второй десяток лет, я, признаться, не до конца уверен в существовании Америки. Попасть туда, поездить по стране, узнать, чем она живет,— об этом в прежние времена не приходилось и мечтать. Впрочем, я тут не одинок. До последних пор немногие из моих коллег-американистов могли похвастать личным знакомством с изучаемой страной. А потому нет-нет да закрадывалось сомнение: вдруг никакой Америки нет в помине, вдруг это остроумная мистификация. Вдруг книжки «американских писателей» создаются в английской редакции «Радуги» или «Прогресса», а зловредный «Голос Америки» — продукт нашего Гостелерадио, озабоченного поддержанием нашего боевого, патриотического духа?

А если всерьез, то слишком долго мы читали и разбирали зарубежные книги примерно в той же манере, что и зарубежные критики. Мы на все лады ругали изъяны западной демократии, величая ее псевдодемократией, горевали о жалком уделе личности на Западе. Подчас нелегко было отличить текст советского критика от статьи иностранного литэксперта в «Нью-Йорк таймс бук ревью» или «Таймс литерари саплмент». Мы охотно и со знанием дела обсуждали произведения, которые никто и не собирался переводить на русский язык. Анализ был вполне точен — и в то же время таилось в этом нечто абсурдное.

В таком положении дел были свои резоны. В известном смысле размышлять о «капреализме» (да-да, таковой существует, и только удивляться приходится, что наши теоретики не пользуются этим полезным термином) было легче, нежели о «соцреализме». Можно было не только хвалить то, что нравилось, но и ругать то, что не нравилось, невзирая на табели о рангах — роскошь, доступная далеко не всем специалистам по отечественной литературе. Можно было подробно разбирать вещь зарубежного автора (предварительно написав пару «установочных фраз» для соблюдения идеологического ритуала), не опасаясь, что, выявив сокровенную суть и основной (когда и потайной) смысл книги, ты тем самым подведешь ее создателя под монастырь, выболтав то, о чем лучше бы умолчать. Впрочем, это все о книгах, у нас не переводившихся. Когда разбирались зарубежные книги, переведенные на русский язык, приходилось как раз проявлять осторожность и не касаться взрывоопасных проблем — никаких аналогий с нашей жизнью. Вообще, переводные книги (как и отечественные), по мысли наших ответственных работников, не должны вызывать у советского читателя «нежелательных ассоциаций» (то есть самостоятельной работы читательского сознания). Приветствовались вещи, вызывающие «правильную реакцию», то есть безысходную скуку. А потому переводили и печатали зачастую не тех, кого интересно было читать, но тех, кого н у ж н о было издавать. Из высших соображений.

Но поскольку ныне времена иные, то — исключительно в виде эксперимента — попробуем проверить, в чем именно перекличка между воображаемой страной хеллеровской фантазии и нашей повседневностью, способна ли «Поправка-22» вызывать именно «нежелательные ассоциации».

С первых страниц «Поправки-22» вырисовывается противник, с которым Хеллер сражается не на жизнь, а на смерть. Это клише и стереотипы повседневного сознания. Штампы речи и мысли. То, что в силу своей частой повторяемости порой кажется разумным, но при более внимательном изучении оказывается глупостью и фарсом.

Есть в романе эпизод на первый взгляд проходной, не связанный с основной идеей: «Капеллан согрешил, и грех обернулся для него истинным добром. Здравый смысл подсказывал ему, что лгать и уклоняться от выполнения долга грешно. С другой стороны, всем было известно, что грех — это зло, а от зла нелепо ждать добра. И однако, оно обернулось добром — он чувствовал себя прекрасно. Следовательно, исходя из элементарной логики, ложь и уклонение от велений долга нельзя было называть грехами. Чудесное прозрение мгновенно вооружило капеллана богатейшим арсеналом безукоризненных защитных силлогизмов... Свершилось истинное чудо. Ему теперь ничего не стоило преобразить бессилие в смирение, алчность — в бережливость, леность — в умеренность, грубость — в прямоту, богохульство — в мудрость, неправду — в истину, порок — в добродетель, жестокость — в патриотизм, а садизм — в справедливое правосудие. Для таких преобразований не требовалось ума, их мог совершить кто угодно. Тут нужна была лишь строго безнравственная последовательность...» Этот внезапно открытый персонажем закон «единства противоположностей», зависящий от произвола тех, у кого есть сила и власть, занимает важное место в хеллеровском государстве.

Хеллер, впрочем, не первооткрыватель этого закона. В сказке Салтыкова-Щедрина «Дикий помещик» читаем: «Видят мужики: хоть и глупый у них помещик, а разум ему дан большой. Сократил он их так, что некуда носу высунуть; куда ни глянут — все нельзя, да не позволено, да не ваше!» Великий сатирик здесь подстерег и уличил сущность (глупость) в жульничестве, в подлоге, когда она выставляет себя как «большой разум», хотя на самом деле тут налицо большая и неподотчетная власть болвана.

В «Поправке-22» старик-итальянец из римского борделя будет мучительно напоминать пилоту Нетли его респектабельного отца — «по абсолютнейшему несходству»: «Отец Нетли свято верил, что честь превыше всего, и мог ответить на любой вопрос, а у гнусного старикашки явно не было ничего святого, но зато имелась уйма безответственных вопросов» Почему же герою мерещится сходство? А потому, что «гнусный старикашка», циник и эгоист, по своей с у щ н о с т и родной брат американского бизнесмена, только у последнего волчья хватка прикрыта бархатными манерами да красивыми фразами. В подставленном Хеллером зеркале видимость лицезреет свою

истинную суть. Антонимы оказываются синонимами.

Хеллер готов переопределять старые как мир понятия. Попавшему под трибунал курсанту Клевинджеру председатель суда объясняет, что такое справедливость: это «молча коленом в пах, под покровом ночи с финкой на склад, где хранятся боеприпасы, снизу в челюсть и по башке нежданно, втихую. Удавить, чтобы победить». Справедливость — это право сильного и безжалостного. Справедливость — это несправедливость.

Отсюда недалеко и до лозунгов Ангсоца из романа Дж. Оруэлла «1984»: «Свобода — это рабство», «Война — это мир» и «Незнание — сила». Хеллер и Оруэлл, каждый по-своему, описывают дьявольскую диалектику общества, где «истина» утверждается административно-принудительными методами. Тоталитарные режимы имеют неодолимую слабость к благородным понятиям, словно надеясь, что сказанное или начертанное слово волшебным образом изменит реальность в нужном направлении. Так у Оруэлла функционируют министерство Правды (фабрикующее ложь), министерство Изобилия (имеющее дело с нищетой), министерство Мира (занимающееся войной) и министерство Любви (где царит смерть). Смело жонглируя понятиями и определениями (кто посмеет одернуть тех, кто всегда прав?), тираны небезуспешно создают такой контекст, в котором любое понятие или явление может превращаться в собственную противоположность: деспотия будет объявлена свободой, демократия, напротив, «псевдодемократией», индивидуальный каприз — истиной в последней инстанции.

Работая над «Поправкой-22», Хеллер вовсе не имел в виду нас. Возможно, существование нашей страны было для него такой же гипотезой, как для меня существование США. Но нам не привыкать к лихим кульбитам логики и здравого смысла. Мы хорошо помним, как негодяи и палачи существовали в ранге «спасителей человечества», как вожди народа в одночасье обращались во врагов народа, как целые народы росчерком пера уменьшались до размеров одной преступной единицы. Сталин был большим знатоком и любителем такой диалектики. М. И. Калинин, по воле последнего, оказался не только «всесоюзным старостой», но и «мужем врага народа» (нелепое сочетание, точно отражающее нелепую реальность) и, стало быть, без пяти минут врагом. Сам же Калинин, совсем в духе хеллеровского абсурда, в свое время поставил свою подпись под указом о переименовании Твери в Калинин... Об отце одного из персонажей, незадачливого майора Майора, Хеллер скажет, что тот зарабатывал на жизнь «невыращиванием люцерны»: «чем больше люцерны он не сеял, тем больше денег получал — и бережливо вкладывал каждый незаработанный цент в покупку новых земель, чтобы не выращивать еще больше люцерны».

Юмористический штрих? Отчасти Но за ним вырисовывается нешуточная проблема, когда недействие тождественно действию. Ситуаций, когда недеятельность (псевдодеятельность) ценится куда больше, чем деятельность, в нашей жизни немало. Так, философам, писателям, общественным деятелям порой платят именно за то, чтобы они не думали, не писали, не совершали того, что могли бы (и должны бы по совести и таланту), но вместо этого имитировали бы мысль, поступок, гражданское чувство. Не знаю, как в Америке, но у нас с избытком издавались псевдокниги, ставились лжеспектакли, защищались антидиссертации («Л. П. Берия — верный соратник великого Сталина»), функционировали квазинаучные учреждения и органы неуправления. Подобное «невыращивание люцерны» награждалось орденами, деньгами, дачами, пайками, загранпоездками. Это устраивало очень многих, да вот беда — долго так продолжаться не могло, ибо экономика не выдерживала, социальные конструкции ржавели и угрожали обвалиться. Как ни крути, невыращенной люцерной скотину не накормишь.

Любопытно, что, совпадая порой в выводах с Оруэллом, Хеллер мыслил как бы поверх политики, не думал о смысле и содержании понятий «капитализм», «социализм» и пр., и тем не менее «Поправка-22» запечатлела некоторые тревожные тенденции в развитии технологического общества XX века. Увидев свет в 1961 году, роман столь же актуален и сегодня, в 1989-м. Человечеству, по Хеллеру, угрожают две беды — диктатура бюрократии и война. Оба эти начала взаимосвязаны, поощряют друг друга, направлены против человека, грозят ему уничтожением, если не физическим, то нравственным. Эту мрачную перспективу остро ощущает главный герой романа летчик Йоссариан. Вторая мировая война кажется ему воплощением вселенского абсурда, подтверждением того, что мир свихнулся окончательно и бесповоротно.

«Безумному, безумному, безумному миру» этот Кандид из ВВС США противопоставляет «свой личный абсурд». После смерти погибшего у него на руках летчика Снегги он снимет военную форму — на ней кровь друга, которую не отмыть,— и будет расхаживать по базе нагишом. Он будет передвигаться задом наперед, с пистолетом в руках: опасность подстерегает его со всех сторон, ибо весь мир, по его словам, сговорился уничтожить его, Йоссариана. Многие сочтут его психом, и лишь доктор Стаббз произнесет типичную хеллеровскую фразу: «Этот псих — единственный здесь разумный человек».

Сам Йоссариан не имеет ничего против того, чтобы считаться безумцем. Так даже лучше: раз он не в своем уме, его обязаны списать. Тут-то он и узнает о Поправке-22, учитывающей его случай. Согласно этой поправке, списать человека, освободить его от боевой службы можно лишь на основании его личного заявления. Но таковое будет означать, что он в здравом уме (коль скоро печется о своем благополучии) и, стало быть, годен к службе.

Не раз в романе персонажи будут ссылаться на Поправку-22, приводя ее в различных формулировках. Но главное не форма, а суть: одни в этом мире приказывают, другие подчиняются, и первые могут делать с последними все, что им позволяется, а им позволяется все. Поправка-22 не существует на бумаге, и тем не менее это основ-

ной закон общества, в котором нет законов (или где они принимают формы, выгодные властям). Это палочка-выручалочка бюрократов, деляг, респектабельных жуликов. Ставить под подозрение ее законность — значит навлечь на себя подозрения в неблагонадежности.

Йоссариан воюет скверно. Поднимаясь в воздух, он преследует одну-единственную цель — приземлиться живым и потому не очень заботится, куда падают его бомбы. Зато отменно сражаются его начальники — в основном друг с другом — за чины, награды, место под солнцем. Генерал Долбинг вынашивает планы уничтожения коварного врага, каковым является другой генерал — Дридл. Полковник Кошкарт постоянно увеличивает необходимое число боевых вылетов, чтобы обратить на себя внимание и получить генеральскую звезду. Мечтает стать генералом и писарь Уинтергрин, рядовой экс-первого класса и самый влиятельный человек на острове Пьяноса, где расположил свою военно-символическую авиабазу Хеллер.

Спокойно относится к генеральскому званию разве что Мило Миндербиндер. Этот зав. офицерской столовой из всего извлекает барыши и постепенно забирает в руки огромную власть. Благодаря его деловым операциям летчики уже не столько воюют с врагом, сколько перевозят на самолетах финики, артишоки, лес, баранину, сталь, кожи и т. д. Миндербиндер поставил войну на деловую основу, сделал ее разновидностью частного предпринимательства. Критики — и наши и американские — писали, что в образе Мило дана злая карикатура на капиталиста-монополиста. Возможно. Лично у меня — что поделать! — он вызывает ассоциации с нашими родными монополистами, представляющими как государственные, так и кооперативные организации. Начав как частный предприниматель, Мило быстро спелся с правящей верхушкой на Пьяносе и, взвинтив цены на продукты, до нитки обобрал всех летчиков. Закупив слишком много хлопка и не зная, как сбыть его с рук, он придумал гениальное изобретение — хлопок в шоколаде, лакомое блюдо, вызывающее, правда, у всех тошноту, в том числе и у самого изобретателя. Но это не беда, потреблять его будут другие. Увы, мы давно уже питаемся этим самым шоколадным хлопком — то в виде псевдоколбасы (каковую пора бы продавать в отделе канцтоваров), то лжесыра и других злых пародий на продукты, предметы быта, услуги. Что поделать — приходится брать что дают.

За американцами издавна установилась репутация деловых людей, умеющих добиваться успеха. Но кроме деляг Миндербиндера и Кошкарта Хеллер знакомит нас с полковником Каргилом, энергичным и бездарным администратором. Он был настолько никуда не годным работником, что фирмы, которым нужно было для уменьшения налогов потерпеть убытки, заручались его услугами. «Ему платили огромные гонорары, потому что существенные убытки вовсе не всегда легко достижимы... Однако полковник Каргил справлялся с любыми трудностями и мог довести до краха любую фирму».

Виноват, но у меня этот пассаж вызывает ассоциации с подвигами наших славных организаторов (дезорганизаторов) производства, которые кочевали, да и сейчас, наверное, кочуют по руководящим постам — с угольной промышленности на искусство, а оттуда — на сельское хозяйство и повсюду оставляют за собой руины, разваливают все подряд — и получают за это ордена. Вспоминается очередной начальник Щедрина: как ни старался бедняга «к славе отечества» действовать, все сплошь «ко стыду» оного получалось.

Наивные люди полагают: чем больше человек знает и умеет, тем выше он котируется, тем легче ему преуспеть. Это в обществах, где все подчинено прибыли. В обществах, где все подчинено погоне за убытками, чем меньше ты знаешь и умеешь, тем безоблачней твое будущее.

Головокружительную карьеру делает у Хеллера лейтенант Шайскопф, быстро дослуживаясь до генерала. Он ничего не умеет, если не считать проведения марш-парадов. Тут он непревзойденный специалист. Но, попав на передовую, он с огорчением узнает, что марш-парадов не будет. Однако ему идут навстречу и разрешают марш-парады... отменять. Удивленные летчики однажды читают сообщение: назначенный на такое-то число марш-парад не состоится. Начальству идея кажется плодотворной. Ведь это означает, что в случае чего можно такой парад и устроить, так что пусть летчики радуются, что до поры до времени их оставили в покое.

Здесь верно уловлен давний прием бюрократии, система «негативных благ». Не обязательно в виде поощрения давать людям то, чего у них нет. Лучше пригрозить отобрать — и милостиво не отбирать...

Появление Шайскопфа на Пьяносе в ранге полковника приводит в восторг его начальника — генерала Долбинга, ведь «теперь... он имел право добиваться пополнения своего штата двумя добавочными майорами, четырьмя добавочными капитанами, шестнадцатью добавочными лейтенантами и бесчисленным множеством добавочных писарей, письменных столов, сейфов, автомобилей и прочего насущного инвентаря, что должно было неимоверно повысить его престиж и убойную силу, потребную для решающего сражения с генералом Дридлом».

Неплохая иллюстрация к истории мировой бюрократии, если таковая когда-нибудь будет написана. Тут действуют, похоже, универсальные законы, хотя каждая страна, социальная система вносят свои нюансы. Особенно хорошо плодятся разнообразные главначпупсы в застойных социальных заводях. С ними нелегко справиться: они прекрасно размножаются, но сокращаются зато с трудом. А как их сократить, если они в огне не горят и в воде не тонут? За ошибки с них не взыщешь: они ошибок не совершают, так как ничего не делают. Ошибаются как раз те, кого они опекают. А потому сократить легче настоящего работника (он, мол, всегда где-нибудь устроится), чем бюрократа, который держится мертвой хваткой за свое место. Именно потому, что без него он просто не существует.

В отличие от «неблагонадежного» Йоссариана хеллеровские бюрократы в отношении к войне проявляют высокую сознательность

и идейность. Они за войну. Ведь это шанс сделать карьеру. Главное — занять такие позиции, где можно расти, но нельзя погибнуть. Йоссариан — плохой патриот. В отличие от капитана Гнуса, который заставляет летчиков по три-четыре раза на дню произносить клятву верности и подписывать снова и снова присягу на вечную преданность, а также петь государственный гимн перед завтраком, обедом и ужином, Гнус симпатизирует Адольфу Гитлеру, который сделал так много «для искоренения антиамериканской деятельности в Германии». Поистине, патриотизм — последнее убежище негодяя, как говаривал старинный остроумец.

Пока друзья Йоссариана вылетают на боевые задания — и один за другим погибают,— их патриоты-начальники преуспевают. Мило в погоне за сверхприбылью подрядился разбомбить собственный аэродром своими же силами — и получил от немцев неплохое вознаграждение. Авиация бомбит своих — убедительный символ мира, который и впрямь сильно не в своем уме.

В конце книги происходит трогательное объединение всех деловых людей. Полковник Кошкарт, поторговывавший помидорами, выращенными на «секретных» плантациях в горах Пьяносы, Уинтергрин, спекулировавший краденными зажигалками, и Мило объединяются в мощный синдикат с Мило во главе.

Одно тревожит этих бизнесменов: как быть с подвигами, с боевыми вылетами, которых у них кот наплакал (Мило, например, засчитана за боевой вылет корректировка огня по родному аэродрому, а Кошкарту — пролет над вражеской территорией по пути на черный рынок). Они приходят к мудрому решению. Отныне боевые вылеты пилотов будут засчитываться их начальству. Одним, стало быть, «смерть и раны», другим — «честь и слава». Кошкарт, Уинтергрин, Каргил, Шайскопф, Миндербиндер действуют на манер «мерзавцев» из «Современной идиллии» Салтыкова-Щедрина. Когда очередной градоначальник вознамерился «великий вред» учинить, созвал он «мерзавцев» и спросил, что надобно делать.

«И ответили ему «мерзавцы» единогласно:

— Дотоле, по нашему мнению, н а с т о я щ е г о вреда не получится, доколе наша программа вся, во всех частях, выполнена не будет. А программа наша вот какова. Чтобы мы, мерзавцы, говорили, а прочие чтобы молчали. Чтобы наши, мерзавцев, затеи и предложения принимались немедленно, а прочих желания чтобы оставлялись без рассмотрения. Чтобы нам, мерзавцам, жить было повадно, а прочим всем чтоб ни дна, ни покрышки не было. Чтобы нас, мерзавцев, содержали в холе и в неженье, а прочих всех — в кандалах. Чтобы нами, мерзавцами, сделанный вред за пользу считался, а прочими всеми если бы и польза была принесена, то таковая за вред бы считалась. Чтобы об нас, об мерзавцах, никто слова сказать не смел, а мы, мерзавцы, о ком вздумаем, что хотим, то и лаем! Вот коли все это неукоснительно выполнится, тогда и вред настоящий получится».

Здесь точно начертана программа бюрократов всех времен — жить себе в удовольствие, причиняя окружающим «настоящий вред», подаваемый как «великое благо».

Что же касается полководцев Хеллера, приписывающих себе чужие вылеты, то вспоминается статья А. Ваксберга в «Литературной газете», где, среди прочего, было рассказано о славном фронтовом прошлом Г. Алиева, который в начале войны обзавелся справкой о плохом здоровье, поступил трудиться в НКВД, а когда отгремели залпы войны, стал значиться ее участником. Свежи в памяти и чужие награды, присвоенные Л. Брежневым за псевдоподвиги на войне.

Итак, начальству — чужие вылеты и чужие ордена. А прочим сидеть да помалкивать. Недаром на политзанятиях, что велись на Пьяносе, во избежание осложнений вопросы разрешалось задавать только тем, «кто никогда не задавал вопросов» (подслушал, подслушал негодяй-автор наши семинары!). Впрочем, осложнений все равно не избежать, ибо все, кто не относится к военно-бюрократической элите Пьяносы, находятся под подозрением. Недаром снова и снова возникает на страницах «Поправки-22» кафкианская тема процесса. Если капеллана временно отпустят, предупредив, что он впредь будет под неусыпным надзором соответствующих органов («достоверно известно», что он крепко виноват, надо лишь выяснить, в чем конкретно), то Клевинджеру в вину вменяется нарушение всех армейских законов вообще (плюс «подрывная пропаганда классической музыки»), и он выслушает приговор суда, где адвокат — лейтенант Шайскопф, прокурор — лейтенант Шайскопф и один из судей — лейтенант Шайскопф. Читатели в США, может, и подивились буйной фантазии Хеллера, но в свете нашей истории, изобилующей «отдельными нарушениями законности», это выглядит бледновато. Жизнь умеет перещеголять искусство по части фантасмагории.

Смех испокон веков считался привилегией личности, ее последним оружием в борьбе с могучими оппонентами, будь то Система в целом или очередной важный барин (он же «слуга народа»). Но в «Поправке-22» Система выказывает неплохие юмористические способности. Нет нужды, что ее функционеры поодиночке — унылые бездари, она в целом — злой насмешник. Если человек значился в списках экипажа разбившегося самолета, он безусловно мертв. Напрасно доктор Дейника будет доказывать, что он жив-здоров. Бедняге придется повторить участь персонажа из повести Ю. Тынянова «Подпоручик Киже». Вряд ли Хеллер читал эту вещь. Просто у бюрократов разных эпох схожие методы.

У хеллеровских «мерзавцев» на руках все козыри. От них зависит, получит то или иное событие статус факта или будет признано «миражом». Заупрямившегося Йоссариана будут уговаривать «помириться» с начальством. Его даже готовы отправить домой с почетом как героя, защитившего командиров от нацистского убийцы и получившего ранение. Если же он будет упорствовать в неповиновении, в ход пойдет иная версия: его обвинят «в попытке изнасиловать невинную девушку, махинациях на черном рынке, саботаже и выдаче за деньги военных тайн врагу».

Обе версии не имеют ничего общего с реальностью. Йоссариана чуть не отправила на тот свет девица его погибшего друга Нетли, для которой Йоссариан стал символом войны. Неплохой авторский ход, напоминающий, чего стоят наши концепции происходящего.

Не желая вступать в сделку с начальством (и совестью), но и не собираясь продолжать воевать, Йоссариан принимает решение дезертировать. «Отныне я буду думать только о себе!» — провозглашает он. Когда же честный и порядочный майор Дэнби напомнит, что идет война с нацизмом и надо помнить об идеалах, Йоссариан отвечает: «Стоит мне увидеть, что к идеалу присосались типы вроде Долбинга с Шайскопфом... и он для меня сразу тускнеет». Йоссариан убежден, что любой благородный порыв, как и любая трагедия, используется проходимцами как средство наживы, а враг не тот, на кого укажет начальство, а тот, кто хочет твоей погибели, «независимо от того, на чьей стороне воюет».

Тут затронута серьезнейшая мировоззренческая проблема. Вообще относительно Йоссариана у нашей критики единства не было. Кому-то он показался ничтожным эгоцентриком, кому-то, напротив, героем, храбро противостоящим дурной Системе.

Мне кажется, дело гораздо сложнее. Хеллеру его герой нравится, причем настолько, что, теряя чувство меры, он принимается всерьез обосновывать правильность его позиции (чего, слава богу, создатель бравого солдата Швейка не делал). Другое дело, что за мучениями Йоссариана мне лично видится нечто, напоминающее рефлексии о нашей интеллигенции 60-х—70-х годов. Если начальство плохо, если те, кто узурпировал право говорить от имени народа, погрязли в коррупции, греют руки на доверчивости или беспомощности масс, то означает ли это, что все разговоры о служении общему благу в такой ситуации фикция, ловушка для простаков? И если да, то нет ли в таком ответе слишком простого и удобного выхода для личности, чувствующей себя ущемленной?

Социальная демагогия, неподотчетность и безответственность руководства брежневской поры вызывали у многих чувство протеста, которое было некуда направить. Написать статью? На здоровье, только ее не опубликуют в первоначальном виде. и редактор — нередко твой друг и единомышленник в нерабочее время — будет посмеиваться над твоей наивностью или сердиться, что ты ставишь его под удар. Любишь печататься — люби и правку принимать. Тут абзац ушел, там пол-абзаца, эпитет — и от замысла ничего не осталось, а твои издатели довольны — и на статью похоже, и неприятностей никаких.

Голос благоразумия тем временем нашептывал, что плетью обуха не перешибешь, что лучше не высовываться, а жить-поживать, относясь к происходящему как к цирку или скверному анекдоту. В конце концов годы сталинского террора позади, настала, мол, эпоха «сталинизма с человеческим лицом» — можно на досуге рассуждать с достаточной степенью свободы, хоть и потихонечку, а в служебное время делать свое дело «от и до», и если судьба уберегла тебя от больших подлостей, можешь гордиться своей незапятнанностью.

Кто хотел приспособиться — приспособился. А теперь вот отвыкать нелегко. Когда сейчас с трибун и в печати провозглашается такое, что недавно еще и не снилось сверхлибералу, когда в кулуарах и на кухнях не хохочут над передовицами, а на полном серьезе упоенно их пересказывают, когда как ветром сдуло анекдоты, что заменяли нам и сатирическую литературу, и публицистику, то оказывается, что грош цена былому «неучастию» и умению легко во всем распознавать липу, если воспользоваться словечком Холдена Колфилда, кумира иронизирующих и «все понимающих» интеллектуалов.

Йоссариан не желает делать карьеру в общепринятом смысле. Но он преследует «частный интерес» по-другому — в сфере личных удовольствий. При всех скидках на условность и юмористические преувеличения изображения трудно отделаться от впечатления, что война мешает герою жить в свое удовольствие. Мировая катастрофа не дает ему «чай пить», если вспомнить формулу одного из персонажей Достоевского.

Понятно, что Хеллер восславляет эротическую раскованность и лихие загулы героя как противовес иссушающему миру бюрократии. Согласен с автором предисловия к тому Сарояна/Хеллера Г. Анджапаридзе: «При всех своих изъянах и недостатках он живой, страдающий человек — в отличие от человекообразных корнов, кошкартов и миндербиндеров». Но одной раскованности маловато, чтобы всерьез считаться личностью, и сам же Хеллер в своем следующем романе, трагикомическом «Что-то случилось» показал недостаточность гедонистически-эгоцентрического мироощущения.

Понимая, похоже, недостаточность концепции «спасительного дезертирства» с фронта второй мировой войны, Хеллер затем не раз скажет в интервью, что, работая над романом, он думал об американском обществе времен «холодной войны», войны в Корее и маккартизма, о тех тенденциях, что привели к новой войне во Вьетнаме. Это, конечно, так. Но то, что вторая мировая война стала лишь фоном и материалом для разговора об иных (пусть весьма важных) вещах,— лишнее доказательство, что для США она не была главной войной, и в этом смысле Хеллер — «типичный представитель» своего общества. Зато он ярко и беспощадно показал, как в недрах бюрократии, которая тоталитарна и деспотична по своей сути, вызревает «военная ситуация», готовая перейти в необъявленную и кровавую войну Системы против народа. Нам, к несчастью, слишком знакома такая война, но по-настоящему о ее причинах, о жертвах, ею принесенных, мы начинаем говорить лишь сейчас. Она может принимать формы открытого террора, как при Сталине, или быть «холодной войной», как при Брежневе, но суть в общем-то та же.

Ни за что ни про что угодивший под трибунал Клевинджер с удивлением отмечает, что его судьи прямо-таки сгорают от жгучей ненависти к нему: «Эти трое носили ту же форму, что и Клевинджер, говорили на его языке, жили там же, где он, однако,

вглядевшись в их безжалостные лица, сведенные судорогой непреложной враждебности, он внезапно понял, что нигде на свете— ни во вражеских танках, подлодках и самолетах... ни среди знаменитых зенитчиков из дивизии Германа Геринга, ни в мюнхенских пивных, где собираются за кружкой пива поганые потатчики фашизма,— словом, нигде в мире не найдутся люди, которые будут ненавидеть его сильнее, чем эти».

Знакомо ли это чувство нам?

Все ли наши лютые враги живут исключительно за кордоном?

Откуда эта жестокость?

Неустанно борясь за мир во всем мире, сумеем ли мы уберечь себя от этой страшной домашней войны?

Хеллер написал горькую, отчаянную и в то же время безудержно смешную книгу, лишний раз напомнив, какой волшебной силой наделены юмор и ирония, сколь многое им подвластно. Когда истинность того или иного суждения ставится под сомнение с помощью рациональных аргументов, в ответ можно выдвинуть контраргументы того же порядка. Иронический комментарий играючи разрушает то, над чем старательно трудился неулыбчивый интеллект, он строит систему координат, где логика уже не спасает: известно, как нелегко приходится в споре, когда оппонент, вместо того чтобы «всерьез» вам противоречить, иронически с вами соглашается. Вот так иронически поддакивает поправке-22 Джозеф Хеллер, старательный копиист «сущностей», современной жизни, снова и снова призывающий нас убедиться, какими гротесками оборачиваются его «зарисовки с натуры».

В последнее время стали поговаривать, что интерес к зарубежной литературе у нас слабеет, что мы открыли у себя такие богатства, что нам не до словесности Запада с ее мелкотемьем, из пальца высосанными конфликтами и стилистическими виньетками, не оплодотворенными большой трагической мыслью. Хорошо, что происходит реабилитация репрессированной русской культуры, что не в «самиздате», а вполне официально публикуется то, что ранее хранилось за семью печатями, словно Кащеева смерть (да, впрочем, настоящее искусство и есть погибель для всевозможных наших Кащеев). Но значит ли, что теперь, на радостях, западную литературу надлежит предать забвению? Ответ, думается, самоочевиден. Другое дело, что отбирать для публикации на русском языке надо бы то, что реально интересно, созвучно нашим исканиям и проблемам и вызывает разнообразные «нежелательные ассоциации».

Резонанс

На анкету «ИЛ» отвечают писатели русского зарубежья

Вопросы

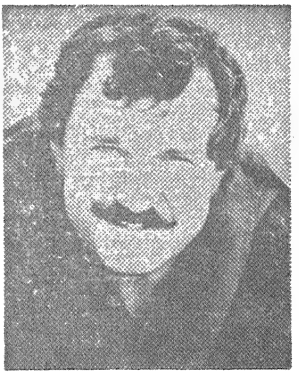
1. Как Вы оцениваете феномен «литературы русского зарубежья»: замкнутая ли это система, часть ли советской литературы или она принадлежит культуре страны, в которой живет писатель?

2. Что из написанного Вами — в Советском Союзе или в эмиграции — наиболее Вам дорого?

3. Что, на Ваш взгляд, было самым ярким событием в мировой литературе последних лет?

4. Следите ли Вы за литературной жизнью в СССР? Какие из недавних публикаций привлекли Ваше внимание?

ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ



О себе.*

Аксенов Василий Павлович (1932). Казань. Основные произведения, опубликованные за годы эмиграции с 1980-го:

Романы — «Ожог», «Остров Крым», «Бумажный Пейзаж» «Скажи Изюм».

Повести — «Стальная Птица», «Свияжск» Сборник рассказов «Право на остров» Сборник пьес «Аристофаниана с лягушками» Книга об Америке «В поисках Грустного Бэби»

В настоящее время являюсь профессором Университета «Джордж Мэйсон» по части русской литературы и творческого письма

1. Значение «Литературы зарубежья» для общероссийской культуры трудно переоценить. Во времена идеологического давления на литературу лишь эта группа остается на поверхности, метрополия же погружается в трясину оцепенения или, как сейчас говорят, «застоя», откуда, впрочем, иногда тоже поднимаются весьма радужные пузыри — человеческая природа неистребима.

Во времена ослабления идеологического давления «Литература зарубежья» и «Литература метрополии» могут получить возможность взаимовлияния и взаимообогащения. Кто кому больше дает — это уже особая тема.

В той стране, что дала мне приют, то есть в США, можно быть эмигрантским писателем и в то же время входить в какой-то поток местной культуры. Журналисты иногда называют меня «советским писателем, живущим в Вашингтоне». Я не возражаю хотя бы потому, что отношу себя к людям с самоиронией.

2. До сих пор самой важной для себя вещью я считаю роман «Ожог», хотя, возможно, с чисто профессиональной, романистской точки зрения я написал что-то и получше после него. «Ожог» был завершен в 1975-м в Москве и опубликован в 1980-м в мичиганском издательстве «Ардис». Особое значение он имеет для меня, потому что как бы подвел черту под затянувшейся и наскучившей «литературно-оттепельной молодостью», выразил неврастению моего поколения русских, а также потому — и это, возможно, главное,— что он очень красив.

3. В мировом масштабе центр литературной страсти (или просто даже страсти к сочинительству) давно уже сместился в Восточную Европу, хотя человечество этого как бы не замечает. Феноменальная настойчивость славяно-еврейского творческого начала! В масштабах страны самым ярким событием последнего десятилетия представляется мне возникновение литературной группы альманаха «Метрополь». Подчерки-

* Биографические справки составлены самими участниками анкеты в том виде и объеме, в каком это счел уместным каждый из них.

Окончание. Начало см. в «ИЛ», № 2.

ваю — сам факт возникновения, но не дальнейшее развитие этой истории.

4. Конечно, вы понимаете, что те «новинки», которые появились в последнее время на страницах советских журналов, для литераторов зарубежья давно уже новинками не являются. Несколько перевернув Хлебникова, можно вспомнить: «Новаторы от Вержболова, что ново там, то здесь не ново...» Бурного взлета нового литературного поколения, подобного «шестидесятникам», пока еще гласность не породила.

Насколько позволяет время, я слежу за советской периодикой, читаю «Литгазету», «Огонек», «Новый мир»... Ну, и конечно же «Крокодил».

Впереди нынче публицистический жанр, он и вызывает наибольший интерес зарубежного читателя — статьи Селюнина, Шмелева, Виноградова, Стреляного, Ивановой... В «Юности» как-то попалась подборка совсем новых для меня, необычных поэтов. Я знаю много русской прозы еще по самиздатским временам, а из совсем новой, опубликованной, дольше всех задержал внимание «Капитан Дикштейн» Михаила Кураева.

ЕФИМ ЭТКИНД

О себе.

Эткинд Ефим Григорьевич (род. 1918). Окончил Ленинградский университет. Участник Отечественной войны. Доктор филологических наук (защищал диссертацию в 1965 году). В апреле 1974 года лишен докторской (и даже кандидатской) степени, профессорского (и даже доцентского) звания, уволен из Педагогического института им. Герцена, исключен из Союза писателей; обвинение сформулировано в Справке КГБ: «...поддерживал контакты с Солженицыным и оказывал ему помощь в проведении враждебной деятельности... Поддерживал близкие отношения с Бродским ... автором стихов идеологически вредного и ущербного содержания... Демонстрируя свои отношения с Бродским, Эткинд тем самым стремился показать себя в глазах писателей и начинающих литераторов человеком с «независимыми» взглядами. Эткинд выступал на суде в защиту Бродского, отстаивая, по его словам, «право таланта на свободный образ жизни». (Следует еще несколько более мелких обвинений.)

(Этот любопытный документ целиком опубликован в книге Е. Эткинда «Записки незаговорщика», Лондон, 1977, с. 115—122).

В октябре 1974 года был вынужден уехать на Запад. Тогда же стал профессором Парижского университета. В июне 1976 года защитил докторскую диссертацию в Сорбонне.

Автор книг «Поэзия и перевод» (1963), «Об искусстве быть читателем» (1964), «Семинарий по французской стилистике» т. I и II (1960, 1964), «Разговор о стихах» (1970), «Бертольт Брехт» (1971), «Русские поэты-переводчики от Тредиаковского до Пушкина» (1973), «Материя стиха» (1978), «Кризис одного искусства. Опыт поэтики поэтического перевода» (1982—по-французски), «Очерк истории советской поэзии. 1917—1984» (1984—по-немецки). «Иосиф Бродский: суд над поэтом» (1988), «Симметрические композиции у Пушкина» (1988). Составитель антологий на русском, французском («Русская поэзия», 1983) и немецком (то же, 1981 и 1987) языках.

1. *Существуют ли две (или более) русских литературы?* Вопрос отнюдь не праздный, если помнить, что имеется несколько французских литератур (кроме главной — бельгийская, швейцарская, канадская), по крайней мере четыре немецких (германская плюс австрийская, швейцарско-немецкая, советско-немецкая), множество испанских (латиноамериканские страны) и английских (плюс американская и австралийская). А русская — разделилась ли она? Мой ответ категоричен: нет, не разделилась.

Первая эмиграция — начальных революционных лет — была огромной: Россию покинули сотни тысяч ее обитателей, они рассеялись по миру. В Европе образовалось несколько российских очагов: Берлин, Прага, Белград, Париж; шла постоянная перегруппировка зарубежно-русского населения — в пользу Парижа, позднее в пользу США. Однако второй России не возникло нигде. Не возникло и другой страны с господствующим русским языком. Второй русской нации не родилось. Тому несколько причин. Во-первых, времени прошло слишком мало; нескольких десятилетий для формирования нового национального единства недостаточно. Во-вторых, многочисленных эмигрантов из СССР ничего не объединяло — кроме брани по их адресу со стороны Москвы. Политического единства у них не было; достаточно вспомнить о том, как в Париже между двумя войнами воевали друг с другом монархическая газета «Возрождение» и демократическая — «Последние новости». Обе они были русскими газетами, но по-разному смотрели на все без исключения — внутри России и вне ее границ. Глядя из Москвы и Ленинграда, мы порой представляли себе, что существует такой зверь: эмиграция. Белая, фашиствующая, мечтающая об истребительной войне против нас. Надо было прожить длительное время на Западе, чтобы понять: миф об эмиграции — один из аспектов сталинского мифа о вездесущем враге. Публицистические сочинения П. Милюкова, И. Бунакова-Фундаминского или Н. Бердяева представляют точки зрения, непохожие на ожесточенно-озлобленную позицию «Возрождения». Не существовало единой «эмиграции»; были русские писатели и мыслители, политики и артисты, жившие в разных странах мира и думавшие каждый по-своему о прошлом и будущем России. Поэтому и не могло быть «замкнутой системы» западнорусской литературы.

Часть ли это советской литературы?— спрашивает журнал. Вопрос поставлен некорректно. Советская — определение не столько национальное, сколько политическое; разумеется, В. Ходасевич, М. Цветаева, И. Бунин, Г. Иванов, М. Алданов, М. Осоргин, К. Бальмонт, Б. Поплавский, И. Одоевцева, Вяч. Иванов, Б. Зайцев, И. Шмелев, А. Ремизов к советской литературе не принадлежали. Однако они не принадлежали и к литературе «антисоветской»; речь идет о выдающихся художниках, и для каждого из них политика была реальностью, однако периферийной. Цветаева писала о Пастернаке, авторе политических поэм о лейтенанте Шмидте и 1905 годе: «Ни одна великая тема, ни один великий день современности не прошли мимо моего спящего столпника. Он отозвался на все. Но — как отозвался? Из глубин своей неповторимой, безнадежно лирической сущности...»

Иначе говоря, у Пастернака вечное много выше временного. Более поздняя формула Пастернака: «...вечности заложник У времени в плену» справедлива на все времена.

Нас долго приучали видеть в искусстве продукт классовой борьбы и считать все вечное, надклассовое — вредным идеализмом. С такой точки зрения эмиграция, которая скопом считалась социально-чуждой и политически-враждебной, представляла собой литературный лагерь, никакого отношения к русской литературе в СССР не имевший, Маяковский писал, обращаясь к Горькому, в 1926 году:

...Вы
в Европе,
где каждый из граждан
смердит покоем,
жратвой,
валютцей!
Не чище ль
наш воздух,
разряженный дважды
грозою
двух революций!

Как всегда, стих блестящий: чего стоит одна только рифма: «валютцей-революций»! Однако именно рифма и содержит столкновение мнимых противоположностей; с одной стороны, презренные ложенности буржуазного мира, с другой — величие социалистической действительности. «...каждый из граждан смердит покоем, жратвой, валютцей!..»

Каждый: куда как гнусно — от души считали «идеологи пролетариата» в 1926 году; ведь это буржуазное болото, распад, гниение. В том же стихотворении о Шаляпине сказано:

Вернись
теперь
такой артист
назад
на русские рублики —
я первый крикну:
— Обратно катись,
народный артист Республики!..

Так в ту пору относились к русским людям на Западе — и кто: Маяковский! И к кому: к Горькому и Шаляпину. В стихотворении о Шаляпине Маяковский бросит ставшую крылатой страшноватую фразочку: «... тот, кто сегодня поет не с нами, тот против нас». *Поет не с нами* — это ведь сказано даже не о Вертинском или Игоре Северянине (и о них не следовало бы), а о Федоре Ивановиче Шаляпине, признанном теперь гордостью России.

Эмиграция первой волны была в основном классовой. Эмиграция — но не литература. Литература была и осталась русской. Общенациональной. Неразделимой ни на пролетарскую и буржуазную, ни на интеллигентскую и дворянскую, ни на восточнорусскую и западнорусскую. Судьба писателей складывалась по-разному, это не меняло лицо русской литературы. Многолетняя политическая эмиграция Герцена и Огарева, жизнь Гоголя в Италии или Тургенева во Франции не привели к возникновению второй и третьей русской литературы.

В отношении так называемой «третьей волны» дело обстоит еще проще: эта «эмиграция» нисколько не классовая и в большинстве своем даже не политическая, а — культурная. Если только слово «эмиграция» в данных обстоятельствах соответствует — я в этом сомневаюсь. Оно, вероятно, может быть применено к отъезду десятков тысяч евреев в семидесятые годы — в Израиль и США. Евреев вынудили искать себе «историческую родину» — это оказалось следствием того, что истинное отечество большинства из них, Россия, от них отказывалось; евреев тяжко травмировало физическое истребление в 1952 году Антифашистского еврейского комитета, свирепая «кампания против космополитизма» и, наконец, дело «убийц в белых халатах», которое было провоцировано в последний год сталинской диктатуры,— евреи уезжали, вытесняемые властями, которые делали, казалось, все от них зависящее, чтобы стимулировать массовую эмиграцию евреев. Эмиграция — тяжкий удел, но он все же лучше, чем депортация.

А русские писатели уезжали не от своей страны — они хотели одного: быть писателями, заниматься литературой, которая в СССР была для них закрыта или постепенно закрывалась. Один из лучших русских прозаиков наших дней, Фридрих Горенштейн, живет в Западном Берлине; в Советском Союзе ему удалось напечатать всего один рассказ, «Дом с башенкой» — в журнале «Юность»; на Запад он привез сундук рукописей: романы, рассказы, пьесы, сценарии. После того как роман Горенштейна «Псалом» (1984) вышел по-французски в издательстве «Галлимар», журнал «Nouvel observateur» опубликовал статью под заглавием: «Не он ли Достоевский двадцатого века?» Каждая новая книга Горенштейна изумляет и русских и нерусских читателей, критиков, авторов. Если бы Фридриха Горенштейна печатали дома, зачем бы он стал вести мучительное существование в чуждой ему языковой среде? Разве уехали бы Виктор Некрасов, Александр Галич, Андрей Синявский, Иосиф Бродский, Наум Коржавин, Александр Солженицын? Разве принадлежат к какой-нибудь иной, не русской литературе писатели одного и того же поколения — Владимир Войнович, Василий Аксенов, Анатолий Гладилин, Георгий Владимов, Феликс Розинер, Саша Соколов? Почему автобиографическая трилогия Льва Копелева должна была выйти за границей, а ее автор — оказаться в Кёльне, лишенным советского гражданства?

Почему Александр Галич должен был, чуть не плача от бессилия, петь итальянцам и французам:

...Попробуйте в цехе найти чувака,
Который бы мыслил не то!
Мы мыслим как наше родное ЦК,
И лично...
Вы знаете — кто!

Слушатели, даже знавшие русский язык, не понимали. Да и не могли понять. Не понимали даже старики-эмигранты. Они спрашивали: «Это что такое — чувак?» «И лично...— это в каком смысле?» Галич пел в Венеции, вслушивавшиеся в каждое его слово итальянские слависты потом спрашивали: «При чем там бараны или овцы? И почему в песне говорится о каких-то магазинах?» Потом я сообразил, что за овцы; песня «Больничная цыганочка» начинается словами:

А начальник все спьяну о Сталине
Все хватает баранку рукой
А потом нас коиечно доставили
Санитары в приемный покой...

Кто же в Венеции знает, что баранка — это не овца?

А «магазины» — это вот что:

Не то он зав, не то он зам,
Не то он печки-лавочки,
А что мне зам! Я сам с усам,
И мне чины до лампочки,
Мне все чины да ветчины
До лампочки.

Что ни слово, то — для чужих — неразрешимая загадка. Надо ли удивляться тому, что эмигрант Галич писал:

Не жалею ничуть, ни о чем, ни о чем
не жалею.
Ни границы над сердцем моим не вольны.
Ни года!
Так зачем же я вдруг при одной только
мысли шалею,
Что уже никогда, никогда...
Боже мой, никогда!..

Эта песня названа «Опыт ностальгии». Дело, однако, не в ностальгии — как и у Цветаевой, не в ней дело («Но если по дороге куст Встает, особенно — рябина?..»): трагедия — в отрыве писателя от его читателей и певца — от слушателей, трагедия — в искусственно созданной трещине между поэтом и его народом, или, если угодно, между народом и его поэтом. Какая уж тут «замкнутая система — литература зарубежья»!

2. В *1970 году в Детгизе вышла моя книжка*, адресованная детям: «Разговор о стихах». Позднее из нее выросла большая работа, в основном написанная в Ленинграде, но опубликованная уже в Париже — «Материя стиха». Я сознаю, что вторая куда ценнее первой — она солидна и академически серьезна, снабжена библиографиями и указателями, содержит всякого рода теоретические рассуждения о методике, поэтической этимологии и конфликтах художественной формы (впрочем, в предисловии я назвал свой метод — «Структурализм с человеческим лицом»). Как бы то ни было, давняя детская книжка мне дороже. Может быть, потому, что тогда, почти двадцать лет назад, диалог с читателем был абсолютной реальностью; озаглавливая книжку «Разговор о стихах», я еще не знал, что и в самом деле получится *разговор* — письма детей и учителей, выступления на читательских конференциях и обсуждениях были частью диалога, который автором был едва начат, а продолжен — другими. «Материя стиха» — как почти всякая книга, выходящая в иноязычном мире, осталась монологом. Автор получил несколько писем, дождался ученых рецензий (в основном американских); но разве так должна жить книга о русском слове? «Разговор о стихах» мне дорог прежде всего как разговор с теми, к кому я обращался и чью реакцию мне, как я потом понял, удалось предугадать. Тютчев был прав: «... нам сочувствие дается, Как нам дается благодать». В иноязычной среде на долю автора книги, посвященной русскому стиху, может выпасть успех, но благодать его не осенит.

3. *Едва ли я буду оригинален, если скажу:* присуждение Нобелевской премии Иосифу Бродскому. Впервые высшую премию получает русский поэт — за стихи. Пастернака в 1958 году увенчали в связи с романом «Доктор Живаго», прочие лауреаты были прозаиками: Бунин, Шолохов, Солженицын. Да и вообще поэтов избирают редко — из более чем 80 лауреатов их всего 6 или 7 (один из последних — поляк Чеслав Милош). Это соображение придает оценке Шведской академии еще более серьезный характер.

К тому же Иосиф Бродский далек от модернизма и моды: ему чужд верлибр, ему несвойственно «автоматическое письмо» сюрреалистов, еще столь распространенное в западном мире. Бродский — философский поэт классической школы. В свое время Пушкин сказал о Баратынском: «Он у нас оригинален, ибо мыслит». Долгое время было модно не считать мысль достоинством поэзии. Шведская академия остановила свой выбор на блестящем современном поэте, который мыслит и помнит традицию мировой культуры. Это и само по себе знаменательно. Кое-кто пытался дискредитировать Нобелевскую премию Бродского, утверждая, что она — политическая. Однако судилище над поэтом имело место четверть века назад — не слишком ли долго ждали стокгольмские академики?

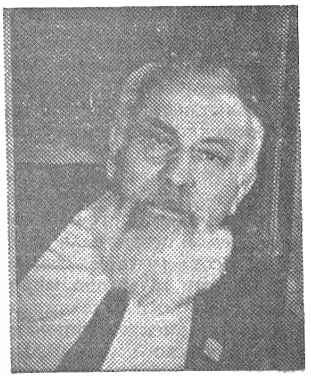
4. *Ярких публикаций за последние два года столько*, что перечислить их немыслимо. Из недавно написанного замечательна публицистика; утверждать это стало общим местом. Помимо всеми называемых Н. Шмелева, Ю. Карякина, Ю. Афанасьева, назову Б. Сарнова (статья в «Вопросах литературы» прошлого года — «Время собирать камни») и С. Шведова (тот же журнал, 1988, № 5 — «Литературная критика и литература читателей»). Статья социолога С. Шведова открывает неведомые (хотя и угадывавшиеся) стороны советской реальности: так, за 5 брежневских и послебрежневских лет Ю. Бондарев издавался 50 раз (тираж — около 6 миллионов), Г. Марков — 32 раза (4 миллиона), А. Чаковский — 40 раз (4 миллиона)... С. Шведов цитирует часто повторяемое утверждение: «СССР — самая читающая страна в мире», но замечает: «...самый читающий народ читает отнюдь не то, что сам выбирает, а то, что издают для него наибольшими тиражами...», и хуже всего то, продолжает он, что у рядовых читателей «начинает складываться впечатление, будто другой литературы не бывает» (с. 16)

Один французский критик пишет о советских книгах минувшей эпохи: «Такую литературу можно позволять себе выпускать при партийно-государственной монополии. Как может быть, чтобы за пять лет разошлось 14 миллионов таких унылых, злобных, старомодных, примитивно-морализующих томов?» В прежнее («брежнее») время с избалованными властью литературными генералами никто не конкурировал. Теперь образуется настоящее «рыночное» соревнование; посмотрим, как будут чувствовать себя графоманы перед лицом таких книг, как «Жизнь и судьба» В. Гроссмана, «Зубр» Д. Гранина, «Ночевала тучка золотая» А. Приставкина, «Факультет ненужных вещей» Ю. Домбровского, как повести и рассказы Платонова, Булгакова, Пильняка, Замятина.

В самом деле, как это может быть? Сегодня российские газеты задают себе такой вопрос и пытаются — по мере сил — на него ответить. Мы уже убедились, что короткий ответ немыслим: феномен литературы порожден системой в целом. Может быть, наиболее убедительный и глубокий анализ системы дан в романе В. Гроссмана «Жизнь и судьба» — честь и хвала журналу «Октябрь» за его публикацию, которую, впрочем, компрометируют странные купюры — вроде главы 32-й части II, которая снята целиком; это глава об антисемитизме (см. «Октябрь», 1988, № 3, с. 81), впрочем, позднее опубликованной отдельно в № 9,— якобы благодаря некоему читателю, приславшему текст этой главы в письме, адресованном редакции (не надо бы так стандартно-примитивно обманывать нас!).

Приведу в заключение вопрос В. Гроссмана — вопрос, до сих пор ожидающий сколько-нибудь полноценного ответа: «...процессы ведьм, костры инквизиции, казни еретиков, дым, смрад, кипящая смола. Как связать все это с Лениным, со строительством социализма, с великой войной против фашизма?» (см. «Октябрь», 1988, 4, с. 124).

ЛЕВ КОПЕЛЕВ



О себе.

Копелев Лев Зиновьевич. Родился 9.4.1912 года в Киеве. Отец агроном. В Киеве жили до 1926 года. Семилетнюю школу закончил в Харькове в 1927 году. Три года был «разнорабочим», потом преподавателем в школе малограмотных. С 1930 по 1934 год работал на харьковском паровозном заводе им. Коминтерна, сперва станочником, потом в заводской многотиражке. Одновременно учился в университете на философском факультете. В 1935 г. отца перевели в Москву 1935—1938 годы — студент немецкого факультета Института иностранных языков, 1938—1941 годы—аспирант и преподаватель Института истории, философии и литературы (ИФЛИ). Защитил диссертацию в мае 1941 г. С августа 1941 до апреля 1945-го — в действующей армии: инструктор по работе среди войск противника. (С марта 1943 г.— майор.) Награды: «Отечественная война II степени». «Красная Звезда». В апреле 1945 г. арестован, обвинение: «пропаганда буржуазного гуманизма и жалости к противнику, клевета на командование Красной Армии и т. п.». В декабре 1946 г. решением Военного трибунала МВО оправдан, однако по протесту прокурора в мае 1947 г осужден по статье 58 п. 10 на три года. Опять протест прокурора — осужден на десять лет.

В сентябре 1956 г. реабилитирован и восстановлен в партии.

Работал с 1957 до 1961 г. в Полиграфическом институте, преподавал историю зарубежной печати. С 1961 до 1968 года старший научный сотрудник Института истории искусств.

Весной 1968 г. исключен из КПСС и уволен из института за то, что писал письма Правительству и в ЦК КПСС, доказывая, что уголовное преследование инакомыслящих не только бесчеловечно и незаконно, но и приносит тягчайший ущерб государству. В 1977 г. исключен из Союза писателей.

В 1980 г. мы с женой—Р. Орловой — выехали в ФРГ на один год по приглашению Генриха Бёлля и Академии языка и литературы (Дармштадт), которая присудила мне премию Фридриха Гундольфа, ежегодно присуждаемую зарубежному германисту. Мы вылетели из Москвы 12 ноября 1980 года с обратными билетами на 12 ноября 1981 года. Однако уже 12 января 1981 года Брежнев подписал указ Верховного Совета, лишавший нас советского гражданства. Весной 1981 года нам с женой предоставлено гражданство ФРГ. В том же году Кёльнский университет удостоил меня звания почетного доктора философии, а Союз книготорговцев и издателей ФРГ присудил мне Премию мира.

С 1982 года я руковожу научно-исследовательской группой «Вуппертальский проект» при Бергском университете (г. Вуппераль). Наша группа и привлекаемые ею авторы исследуют историю того, как русские и немцы узнавали друг о друге, какие возникали предрассудки и «образы врагов» и как они преодолевались в духовных связях. Нами уже издано три тома работ по материалам до XVIII века: запланировано еще не менее пяти томов.

Публикации (книжные):

Ярослав Гашек и его Швейк. Москва «Знание», 1958 г.

Сердце всегда слева. Статьи и заметки. Москва, «Совпис», 1962 г.

«Фауст» Гёте. Москва, «Худлит», 1962 г.

Брехт. Жизнь и творчество. Москва, «Мол. гвардия», 1966 г.

Зарубежные издания (книжные):

На русском языке в издательстве «Ардис» опубликованы три книги воспоминаний — «И сотворил себе кумира», «Хранить вечно», «Утоли моя печали», сборник статей и писем «Вера в слово», историческое эссе «Держава и народ». В издательстве «Хроника пресс» (Нью-Йорк) сборник эссе «О правде и терпимости», сборник очерков «На крутых поворотах короткой дороги». В издательстве «Оверсиз» (Лондон) — «Святой доктор Федор Петрович» (Ф. П. Гааз).

Книги воспоминаний изданы на многих языках в разных странах и в ФРГ неоднократно переиздавались. По-немецки изданы: сборники литературоведческих работ: «Две

эпохи русско-немецких литературных связей», «Родственные и отчужденные» и «Ветер веет, где хочет», «Поэт пришел с берегов Рейна»,— книга о Гейне, сборники статей, эссе, интервью — «В стремлении к правде», «Слова становятся мостами».

В соавторстве с Генрихом Бёллем «Почему мы друг в друга стреляли», в соавторстве с Генрихом Бёллем и Генрихом Формвегом «Антикоммунизм на Востоке и на Западе». В соавторстве с Раисой Орловой «Мы жили в Москве» (издано по-русски издательством «Ардис») и «Борис Пастернак» (по-немецки).

1. Понятие «замкнутая система» к явлениям духовной жизни, и особенно художественного творчества, по-моему, вообще неприменимо. Поэты и писатели в разные эпохи бывали изгнанниками, эмигрантами. (Алкей, Овидий, Байрон, Гейне, Герцен, Мицкевич). В нашем столетии в эпоху мировых и гражданских войн многие писатели оказались вдали от своих стран (Набоков, Бунин, Томас и Генрих Манн, Брехт, Зегерс, Назым Хикмет). И сейчас еще не убывает число литераторов-изгнанников: Чеслав Милош, Павел Когоут, Томас Венцлова и другие — чехи, поляки, турки, латиноамериканцы и т. д.

Русское литературное зарубежье после 1917 года, пожалуй, самое многочисленное. В 70—80-е годы «третьей волной» эмиграции унесены на Запад Аксенов, Амальрик, Бродский, Владимов, Войнович, Галич, Горбаневская, Гладилин, Горенштейн, Довлатов, Зиновьев, Коржавин, Максимов, Некрасов, Синявский, Соколов, Солженицын, Эткинд и др. Они продолжали писать и публиковать — кто более, кто менее успешно.

Иные давние и недавние эмигранты убеждены, что литература зарубежья решительно противоположна всей «официальной» или «легальной» литературе, которая, мол, только и существует в современной России. С этим я не могу согласиться. Противоположность мировоззрений и личных судеб Герцена и Достоевского, Чехова и Блока ведь не разводила их по разным «замкнутым системам». Хорошие и плохие русские стихи, романы, повести, публицистика создаются в Москве, Ленинграде, Вологде, Киеве, Минске так же часто или так же редко, как в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке. События последних двух лет однозначно и неопровержимо доказывают, что Бунин, Цветаева, Набоков, Ходасевич принадлежат к той же литературе, что и Горький, Твардовский, Шолохов, Паустовский; а многие книги Ахматовой, Булгакова, Платонова, Пастернака, Гроссмана, Мандельштама ведь тоже еще недавно издавались только за рубежом.

2. Из моих работ мне важнее всего три книги воспоминаний («И сотворил себе кумира», «Хранить вечно», «Утоли моя печали») и статья «Держава и народ». Все это было написано еще дома.

3. Романы: Василий Гроссман «Жизнь и судьба», Умберто Эко «Имя розы».

4. «Литературную газету» и журналы «Знамя», «Новый мир», «Дружбу народов», «Огонек» мы выписываем. Некоторые журналы («Литобозрение», «Вопросы литературы», «Нева», «Октябрь» и др.) добываем в библиотеках, у знакомых. Все это я читаю запойно, куда внимательнее и увлеченнее, чем когда-либо раньше.

Из недавних публикаций мне особенно близки и важны: «Софья Петровна» Лидии Чуковской, «Ночевала тучка золотая» Анатолия Приставкина, «Факультет ненужных вещей» Ю. Домбровского, рассказы Фазиля Искандера, Татьяны Толстой, Людмилы Петрушевской, стихи В. Корнилова, О. Чухонцева, статьи и очерки А. Адамовича, Ю. Афанасьева, Л. Аннинского, Л. Баткина, А. Вакссберга, Н. Ивановой, Ю. Карякина, Д. Лихачева, А. Нуйкина, А. Стреляного, А. Сахарова, Ю. Черниченко и многие письма читателей в «Литгазете», «Огоньке» и других изданиях.

РАИСА ОРЛОВА

О себе

Орлова Раиса Давыдовна. Я родилась 23 июля 1918 года в Москве. Кончила школу-девятилетку, филологический факультет ИФЛИ (1935—1940) Работала в ВОКСе — Всесоюзном обществе культурных связей с заграницей — референтом англо-американского отдела, зав. американским отделом. Закончила аспирантуру ИМЛИ (1947—1951). Кандидат филологических наук. Заведовала кафедрой литературы Учительского, а потом Педагогического института в Таллине (1951—1953), работала ст. преподавателем МОПИ (1953—1955).

В «Иностранной литературе» работала сначала консультантом, потом зав. отделом критики, потом зав. отделом информации (1955—1961). Уйдя со штатной работы, оставалась референтом по литературе США.

С 1942 по 1980 год — член КПСС. С 1959 по 1980 год — член Союза писателей СССР Исключена из КПСС и из Союза за то, что подписала письмо в защиту А. Д. Сахарова, высланного в Горький.

В 1980 году выехала с мужем Л. Копелевым в ФРГ по приглашению Генриха Бёлля на один год. Однако 12 января 1981 года указом Президиума Верховного Совета лишена советского гражданства за «поведение, недостойное советского гражданина». С тех пор живу в Кёльне. Я замужем, у нас четыре дочери, шестеро внуков У меня—сестра, брат

В Москве опубликовала 6 книг, больше 200 статей, посвященных преимущественно американской литературе.

Книги, изданные в Москве:

«Внуки дяди Тома борются», 1962; «Потомки Гекльберри Финна». Очерки современного американского романа». 1964; «Мартин Иден» Джека Лондона». 1967: «Гарриет Бичер-Стоу. Очерк жизни и творчества». 1971: «Поднявший меч...» повествование о Джоне Брауне в серии «Пламенные революционеры», 1975.

Книги, изданные на Западе:

«Последний год жизни Герцена», 1982; «Воспоминания о непрошедшем времени: 1984 (также на нем. и англ. яз.); «Двери открываются медленно». 1984 (также на нем. яз.); «Хемингуэй в России». 1985; «Мы жили в Москве», 1956—1980, 1988 (также на нем яз. совместно с Л. Копелевым); «Письма из Кёльна о книгах из Москвы», 1987 (на нем. яз.); Предисловие к переписке В. Пастернака с О Фрейденберг. 1986 (нем. яз.); послесловие к I т. «Записок об Анне Ахматовой», Лидии Чуковской, 1987 (на нем. яз.). Статьи и рецензии о советских книгах.

1. Никогда специально не занималась «литературой зарубежья», читала многие книги, конечно далеко не все. Думаю, что это отнюдь не замкнутая система, это часть и неотъемлемая часть русской литературы. Не говорю уже об А. Солженицыне, но и книги таких разных писателей, как В. Аксенов, И. Бродский, Г. Владимов, В. Войнович, Ф. Горенштейн, С. Довлатов, Н. Коржавин, С. Соколов, В. Некрасов, А. Синявский,— часть русской литературы. Есть и литераторы, которые начали писать на языке страны, в которой живут,— о них слышала, но сама их книг не читала. Феномен Бродского — некоторые эссе, замечательные, написаны по-английски,— как и феномен Набокова, уникален.

Я знала с институтских лет, но когда стояла перед домами, на которых памятные доски, только живя на Западе, ощутила: «Мертвые души» написаны в Риме, многие романы Тургенева — в Германии, «Идиот» начат в Женеве, а закончен во Флоренции. Это тоже одна из традиций нашей классики. Мечтаю о таком времени, о таких возможностях для писателей, живущих здесь и там.

2. Не мне судить о моих книгах. Дороже, пожалуй, «Поднявший меч», «Последний год жизни Герцена», «Двери открываются медленно». Всего же важнее — задуманное, еще не написанное.

3. «Кассандра» Кристы Вольф, «Имя розы» Умберто Эко, «Повороты времени» Артура Миллера, «Женщины на берегах Рейна» Г. Бёлля, «Жизнь и судьба» В. Гроссмана.

4. «Следите» и «привлекли внимание» — совершенно не те слова. Живу, дышу, существую тем, что читаю. Начинаю с каждого номера «Огонька», глотаю в толстых журналах статьи Ю. Черниченко, А. Стреляного, Н. Шмелева, В. Селюнина, А. Нуйкина, А. Ваксберга, Ю. Карякина, О. Чайковской, все необыкновенно важные документы, мемуары.

Из новых художественных произведений вершина — «Ночевала тучка золотая» А. Приставкина, стихи В. Корнилова. Те, что возвращаются из «запасников», почти все прочитала в разные времена в рукописях, но «Жизнь и судьбу», «Реквием», «Доктора Живаго», «Котлован», «Софью Петровну», «Крутой маршрут» перечитываю и сейчас, пытаясь осмыслить роль этих книг сегодня в контексте советских журналов. Безмерно радуясь тому, что сейчас они доступны всем советским читателям.

Очень важен и документальный роман Д. Гранина «Зубр» (дважды перечитала) — важен крупным историческим характером, поставленными вопросами, во многом неразрешенными, да и, вероятно, неразрешимыми.

ИРИНА ОДОЕВЦЕВА

О себе

Одоевцева Ирина Владимировна. Свое первое стихотворение я написала сразу после революции, еще до знакомства с Н. Гумилевым и Г. Ивановым. Вдохновила меня прелестная девушка на углу Бассейной с пачкой революционных газет в руках. Вопреки прогнозам домашних мой поэтический опыт со строкой о «девушке-герое» был напечатан в газете «Эхо».

Сегодня невозможно себе представить, насколько та наша жизнь была пронизана стихами. Казалось, в них нуждались все и читались они повсюду. Когда в 1922 году мы с Г. Ивановым очутились за границей, где люди жили, безусловно, богаче и легче, то отсутствие интереса к поэзии почувствовали сразу. «Раз вы так,— подумала я,— буду писать прозу». И написала роман «Ангел смерти» (1924), имевший большой успех. В моей писательской биографии есть и политический роман «Оставь надежду навсегда» (1949), в котором среди прочего я описала смерть Сталина и реакцию народа на это событие. Март 53 года подтвердил мои прогнозы.

Я счастлива, что к моему поэтическому сборнику «Двор Чудес» (1922), изданному в Петербурге, спустя 66 лет прибавилась еще одна моя книга, напечатанная в России, на сей раз в Москве, «На берегах Невы».

1. Нет понятий «эмигрантская» и «русская» литературы. Есть одна — великая — русская литература. Ужасно, когда писатели, пишущие по-русски, лишены возможности читать друг друга. Где бы ни вышла книга, написанная по-русски, она должна быть прочитана в России.

Было бы ошибкой считать мое возвращение только желанием дожить отпущенный мне срок на родине. Нет, я вернулась в

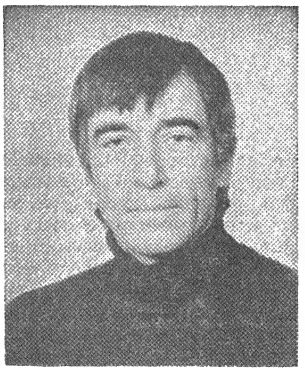
для того, чтобы связать, соединить нас, творивших вдали, с теми, кто не покидал своей страны.

2. Два тома моих воспоминаний: «На берегах Невы» (1967) и «На берегах Сены» (1983). Мне кажется, что в них я смогла дать «временное бессмертие» целому ряду замечательных русских писателей, живших на родине и в эмиграции,— давно ушедшим и безвременно погибшим. Сегодня, когда книга «На берегах Невы» доступна и советскому читателю, я вправе считать, что многим моим героям помогла вернуться на родину.

3. Мне сложно ориентироваться сегодня в литературе, так как по состоянию здоровья я на многие годы вышла из строя. Но все-таки я хотела бы выделить «Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицына.

4. Прежде всего публикации о репрессиях сталинского времени. Меня, естественно, не могла оставить равнодушной поэтическая антология «Русская муза XX века» Евгения Евтушенко в «Огоньке».

САША СОКОЛОВ



О себе.

Соколов Саша (Александр Всеволодович, род. в 1943 г. в Оттаве) — канадский русскоязычный писатель. С 1946 по 1975 год жил в СССР. Затем — в Австрии, США и Канаде. Автор романов «Школа для дураков» (1975), «Между собакой и волком» (1980, «Палисандрия» (1985).

1. Системы нет. Есть ряд достаточно разобщенных писателей, работающих в иной действительности. При всех своих социально-экономических плюсах иная действительность (здесь и далее делюсь только американским опытом) для нормального литературного процесса, как мы его понимаем, «мало оборудована». Тут не услышишь жарких читательских дискуссий, не засвидетельствуешь ажиотажа у входа в зал, где состоится поэтический вечер (свободных мест всегда достанет) и редко увидишь в частном доме библиотеку с числом томов, превышающим число комнат в том же доме. По крайней мере птица долетает до середины Гудзона гораздо чаще. В иной действительности не издается мудрых толстых ежемесячников, где осмыслялись бы отношения между читателем и писателем, находили бы отражение судьбы и тревоги зарубежных литератур, утолялись бы боли писательской совести и обсуждались тонкости ремесла. Тиражи серьезной прозы низки, тиражи поэтических сборников малы смехотворно. Если верно, что «поэт в России больше, чем поэт», то в Америке — явно меньше. Для читающей, а лучше сказать — почитывающей публики изящная словесность имеет смысл и значение только в политическом контексте. Да и не очень изящная тоже. Чтобы добиться благорасположения пресловутого среднего американца, в доме которого приблизительно пять комнат, писатель должен быть ему социально-политически близок, любезен. Следует научиться играть и в интеллектуальные поддавки. Боже вас упаси от какого-нибудь авангарда, эксперимента — или что там у вас? Творите проще. Проще пареной репы, если угодно. Кому угодно — те так именно и поступают. Им, решившим соответствовать требованиям рынка, воздалось по делам: произведения их стали частью здешней культуры. Застойно сказать, люди эти, порвав с социалистическим реализмом, скатились в канаву капиталистического примитивизма. Другие писатели поглядели и, грешным делом, засомневались: а является ли весь этот бизнес культурой в том смысле, о коем бессонно кипелось в краю отцов, по «красивым уютам» прокуренных кухонь, замшелых парадных подъездов, подвальных худмастерских? И вот, мучась этим довольно проклятым вопросом эмигрантского бытия, соответствовать не торопятся, творят как творится, по усмотренью сердец. Однако на что же они рассчитывают? Что, кроме застарелой привычки переводить бумагу, движет данными перьями? Может, мнятся им лучшие времена? Ведь, слышно, те на подходе. Скорей бы уже наступали. Или они уже здесь? То есть — там, у нас, вернее, у них, на старом, на тысячелетнем дворе, где, наверное, крутится та же пластинка. Как томительна эта неопределенность, не правда ли? Только как бы то ни было, полагать, что сочинения сих упрямцев — часть советской литературы, мне кажется, преждевременно. Хотя бы потому, что многие из них никогда на родине не печатались. Сомневаться же, что лучшие стихи, проза, публицистика нашего зарубежья принадлежат истории русской словесности, оснований нет.

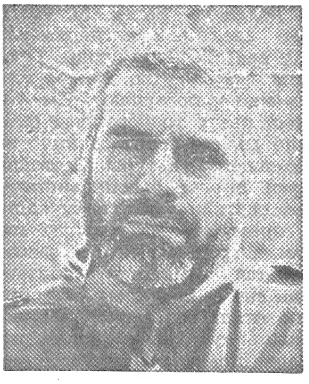
2. Письма друзьям и подругам юности. Насколько я сейчас понимаю, там было немало удачных гипербол.

3. Публикация в сан-францисском издательстве «Уайр-пресс» книги стихов, название которой я перевел бы как «Цветосполох» или просто — «Сполох» («Flash Bloom»). Автор ее — известный греческий пи-

сатель Нанос Валаоритис (Nanos Valaoritis), живущий в Соединенных Штатах. Подобно целому ряду других литераторов-эмигрантов из Европы он пишет не только на родном, но и на английском. Все шестьдесят стихотворений, вошедших в сборник,— английские оригиналы. Духовный наследник Андре Бретона и Жака Превера, с которыми подружился он в предвоенном Париже, Нанос Валаоритис и в этой книге остается самим собой: одним из наиболее оригинальных и вдохновенных поэтов позднего, но по-прежнему цветущего сюрреализма. Муза Н. Валаоритиса весела, эйфорична, но целомудренна. Раскованность ее ненавязчива, гротеск — изыскан, эротика — в рамках приличия. Словом, гречанка. А книга — мировая.

4. Да, но не только по изданиям метрополии. Журналы русского зарубежья по-прежнему помещают то, что по тем или вовсе другим причинам не помещается на страницах журналов советских. Не так давно благодаря прекрасному альманаху «А-Я», выходящему во Франции, я с досадным и непростительным опозданием открыл для себя драгоценную прозу Евгения Харитонова. Надеюсь, этого молодого, верней, навсегда уже молодого писателя признают скоро и дома. Из напечатанного за последнее время в Союзе очень интересно было читать эссе Н. Ивановой, критические статьи В. Ерофеева, повести А. Битова, рассказы Т. Толстой, Е. Попова, Н. Шмелева, поэзию Б. Чичибабина, В. Соколова, А. Парщикова. Впрочем, за всеми не уследишь.

СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ



О себе.

Довлатов Сергей Донатович. Родился в эвакуации, в городе Уфе 3 сентября 1941 года. После войны жил в Ленинграде. Окончил школу, занимался в Ленинградском университете. Образование среднее. С 1962 по 1965 год служил в Советской Армии, в охране исправительно-трудовых лагерей, что и послужило толчком к сочинительству. После демобилизации был два года литературным секретарем Веры Пановой, затем работал как журналист в многотиражных газетах, а также — в «Советской Эстонии» и в пионерском журнале «Костер». Много лет писал рассказы и повести, опубликовать которые не удавалось, за исключением нескольких миниатюр в «Крокодиле» и двух обтекаемых компромиссных сочинений в «Юности» и «Неве», в связи с чем автор до сих пор испытывает ощущение болезненной неловкости.

В 1975 году был рассыпан набор моего прозаического сборника, подготовленного к печати таллиннским издательством «Ээсти раамат». Последующие три года были отмечены крушением всех творческих надежд и в результате мои рассказы оказались на Западе. Вслед за ними уехали в том же направлении сначала моя жена и дочь, а потом и мы с матерью и собакой Глашей.

Наша семья обосновалась в Нью-Йорке, где участвовал в создании еженедельной эмигрантской газеты «Новый американец», а затем в течение двух лет был ее главным редактором. Здесь же в Америке были изданы по-русски и по-английски все мои книги, среди которых несколько выделяются в положительном смысле — «Зона», «Компромисс», «Наши», «Чемодан» и «Иностранка».

1. Разговоры о единстве или двойственности русской литературы всегда казались мне надуманными, риторическими. Русская литература едина и неделима уже постольку, поскольку единым и неделимым остается наш родной язык, сложные и мучительные взаимоотношения с которым — удел писателя, где бы он ни находился, вне зависимости от каких-либо границ, за исключением синтаксических и пунктуационных. Строго говоря, каждый из нас живет не в Москве или в Нью-Йорке, а в языке и в истории.

2. В СССР я много лет писал рассказы и повести, но опубликовать их мне не удавалось. Впоследствии они были изданы на Западе по-русски и по-английски.

Из одиннадцати моих русских книг я с наименьшей неловкостью перечитываю «Зону», «Наших», «Компромисс», «Чемодан» и «Иностранку». «Компромисс» и «Зона» вышли по-английски в издательстве «Альфред Кнопф», а «Наши», «Чемодан» и «Иностранка» выйдут в течение двух лет по контракту с издательством «Вайденфельд энд Николсон».

Наиболее сносной из всех моих книг я считаю повесть «Чемодан». Один не очень требовательный критик писал, что она смешная и печальная.

3. Самым ярким событием в мировой литературе последних лет я считаю присуждение Нобелевской премии Иосифу Бродскому с последующей публикацией его стихов на родине. И существенно для меня не то, что премия досталась эмигранту, моему двойному земляку — по Ленинграду и Нью-Йорку и, наконец, моему старому знакомому, а то, что ее удостоился художник созидательного, позитивного направления, не формалист или декадент, а неоклассик, равно далекий как от любой идеологии, так и от холодного новаторства, прямой потомок Пушкина в отечественной литературе, мастер, творчество которого есть пример высокой духовности и чистого эстетизма.

4. В последние годы я, к сожалению, вообще читаю маловато, а для собственного

удовольствия — тем более, может быть, потому, что слишком много пишу, и не всегда то, чего бы мне хотелось. Тем не менее я все же читаю советские журналы, и среди того, что я прочитал, мне больше всего понравилась история о том, как из метро вышел караван верблюдов и проследовал вдаль, а в это время в толпе начала рожать женщина, и ребенка почему-то назвали Ахметом... Заглавие и фамилию автора я, к стыду своему, забыл, но, по-моему, это изящная и многозначительная история.

Кроме того, мне очень понравились рассказы Вячеслава Пьецуха и «Человек в пейзаже» Андрея Битова.

Моими любимыми советскими писателями остаются — Фазиль Искандер, Венедикт Ерофеев, Грант Матевосян и прозаик исключительного своеобразия, ленинградец Валерий Попов.

АЛЕКСЕЙ ЦВЕТКОВ

О себе.

Цветков Алексей Петрович. Родился 2 февраля 1947 года в городе Станиславе (ныне Ивано-Франковск) на Украине в семье военнослужащего. Закончил среднюю школу в г. Запорожье. Учился на историческом факультете, журналистики МГУ, работал переводчиком, газетным литсотрудником в Сибири и Казахстане, рабочим сцены, ночным сторожем. В 1975 году эмигрировал в Соединенные Штаты.

После эмиграции работал уборщиком, сторожем, дворником в Нью-Йорке, заместителем редактора газеты «Русская жизнь» в Сан-Франциско. В 1978 году поступил в аспирантуру Мичиганского университета по специальности «русский язык и литература». В 1983 году защитил диссертацию на тему «Язык Андрея Платонова» и получил докторскую степень. С 1981 по 1985 год преподавал русский язык и литературу в колледже Дикинсон в Пенсильвании. В настоящее время — сотрудник радиостанции «Голос Америки».

В Советском Союзе опубликовано несколько стихотворений — в «Юности» (в произвольно обрезанном и искаженном виде), «Неделе» и кое-какой областной и многотиражной печати. За рубежом опубликованы многочисленные подборки стихов в журналах «Континент», «Время и мы», «Двадцать два» «Эхо» «Семь дней» и др. В издательстве «Ардис» в Мичигане вышли три книги стихов: «Сборник пьес для жизни соло» (1978) «Состояние сна» (1981) и «Эдем» (1985).

1. Литература зарубежья — система замкнутая постольку, поскольку она мнит себя лагерем борьбы за что-то в оппозиции к чему-то. Замкнутость эта, впрочем, относительная, потому что нуждается в притоке энергии извне, погибая в противном случае тепловой смертью.

Не выдавая свое мнение за единственно возможное, я предпочитаю видеть в литературе искусство, способ создания эстетических ценностей. Слишком легко, вооружившись против набега на твою авторскую территорию, забыть, потом сложить оружие. Слишком просто, убив дракона, стать драконом самому. Данте в «Божественной комедии» свел счеты со всеми врагами и обидчиками, но мы его любим не только за это. Толстой в «Анне Карениной» думал дать отпор пороку, но порок торжествует и поныне, совсем не в ущерб шедевру литературы. Но это случаи наиболее счастливые, неравное противостояние великого таланта мелкому уму. В целом в искусстве действует принцип Невского-Эйзенштейна (первоначально сформулированный более значительным историческим лицом): взявший меч — от меча погибнет.

Вопрос о причастности советской литературе сформулирован, на мой взгляд, неловко. Если понимать под советской литературой всю искусственную совокупность нынешних национальных литератур народов Советского Союза, я вряд ли вправе выступать, допустим, от лица литовских писателей зарубежья. Если же это русская литература после семнадцатого года, то мечтается все же посмертно встать на одной полке скорее с Баратынским и Мандельштамом, чем с Жаровым и Асеевым. Если же говорить просто о русской литературе, то можно ответить утвердительно, что система открытая, и притом несамовозобновимая, потому что не бывает второго поколения эмигрантских писателей. Родина русской литературы — в России, которая одна в состоянии ее порождать. С другой стороны, у нас всегда будет какой-нибудь Гоголь в Риме.

И последнее: в Америке ныне здравствуют три писателя — нобелевских лауреата, Милош, Зингер и Бродский, для которых основной язык — не английский. Здесь жили и работали Шолом Алейхем, Томас Манн, Герман Брох и Владимир Набоков. Всего этого не вычеркнуть из американского культурного пейзажа.

2. Исключительно неудобно отвечать на такой вопрос. Даже если уступишь щекочущему тщеславию и скажешь: вот это, дескать, дорого и то,— тут же соображаешь, что ни того, ни этого адресуемая аудитория по большей части в глаза не видела, а как объяснить слепому, почему синий цвет тебе милее красного? Но тщеславию лучше не уступать, а о написанном лучше судить читателям, потому что оно отдано им и перестало принадлежать мне. Нельзя спрашивать повара, какой из исполненных омлетов ему дороже, но сам он вправе искать благодарности во взгляде едока и видеть в ней

меру своего успеха. Я волей обстоятельств работаю в плотно изолированной кухне и признательный взгляд едока ловлю редко.

Я могу лишь сказать, что благодарен судьбе за неожиданную возможность выжить и не оставить ремесла, которым не то что не прокормиться, но и не понравиться серьезным людям, руководящим этой жизнью. И всего дороже, конечно, то, что еще исполнится, потому что, может быть, будет лучше прежнего. Поэтому я больше всего люблю мои переводы великого Вергилия, павшего в русской литературе от рук ученых графоманов, но которого я надеюсь воскресить. И еще едва начатый роман, мемуары римского офицера, жившего, как и я, в эпоху странного стечения обстоятельств.

3. Мировой литературы, по-моему, нет. Живя на Западе, я тщетно пытался отыскать в мировой литературе любимого мной Гоголя, но он там почти отсутствует, он стоит подстрочным примечанием к Чехову или еще печальнее, к Тургеневу, Пастернак прославлен слезоточивым романом, а стихи ему прощены, как баловство. Советский читатель знаком с забвенными и вгоняющими в сон кирпичами Роберта Музиля, а его великий современник Брох дошел в бессмысленных обрывках. Абсурд усугубляется ежегодными нобелевскими спектаклями, воздвигающими шеренгу гениев от Сюлли Прюдома, через Реймонта и к какому-нибудь Канетти, тогда как шальное попадание по Бродскому наводит на мысль, что жюри приняло его за кого-то другого, спутало с кем-то попроще.

Круг моего чтения ограничен русской, англоязычной и латинской литературой. В последней за полторы тысячи лет отметить почти нечего. Лучшее за отчетные годы из найденного мной на английском языке — это В. С. Найпол, англичанин-тринидадец-индус, с которым русский читатель уже отчасти знаком, но пока не знает самых блестящих его романов, таких как «Дом для господина Бисуаса», «Партизаны» и особенно «Излучина реки». Это также американец Томас Пинчон. Но мы говорим здесь о периоде лет в двадцать пять, потому что в литературе, даже мировой, меньших промежутков не бывает. Каждый год многое пишется и издается, оценивается, идет под нож, на оклейку оконных рам, и это справедливо. Возвращаясь к любимой мной римской литературе — я рад, что она была так давно и что так мало уцелело.

То же и в русской литературе. Я не буду говорить общих мест об Иосифе Бродском, одном из бесспорных флагманов поэзии этого века, который почти в одиночку вернул нашему языку его былую славу. Впрочем, не в одиночку, конечно, потому что в еще большей мере этот панегирик адресован пленнику безвестности Саше Соколову, автору трех пока закрытых для советского читателя — надеюсь, уже ненадолго — романов, в которых он не только заново открыл язык, но, если вчитаться, подвел странный итог всей классической русской литературе. И еще к числу таких же ошеломляющих сюрпризов отнесу уже вовсе не ведомого Юрия Милославского, автора романа «Укрепленные города» и сборника рассказов «От шума всадников и стрелков», в числе которых,— на мой взгляд, бесспорные шедевры этого почти погибшего жанра. Мне кажется, что благодаря этим людям русская литература наконец встала вровень себе самой, бывшей, и для меня нет больше чести, чем мерцать вспомогательным светилом в этом блистательном созвездии.

Вот, собственно, чем представляется мне мировая литература, и я не намерен сверять этот список с нобелевским, несмотря на случайное совпадение.

4. Многое радует, но многое и огорчает.

Радует, прежде всего, сама атмосфера, в которой журналы борются за тиражи публикациями Набокова, Платонова. Но хочу обратить внимание: Набоков уже увидел свет в переплете, а ведь иные из нас еще живы. С живыми-то как же?

Радуют некоторые новые (для меня, по крайней мере) имена. Но их, в сущности, не так много: В. Маканин, Т. Толстая, С. Каледин, Л. Петрушевская. Много, наверное, и не бывает. Основной писательский отряд как бы бросился сносить определенное свыше к сносу и воздвигать одобренное к постройке. Что-то слишком знакомое в этом процессе. Хочется напомнить им доэйзенштейновское: довлеет дневи злоба его.

Огорчает обстановка в поэзии. Все новые и молодые — мои ровесники, в прежние годы нас в таком возрасте полагалось уже отстреливать. Да и тех печатают урывками, со стыдливым румянцем: есть-де и такая поэзия. Вот уж дудки: поэзия только такая и есть, а не то, что вы раньше думали!

Но я все же приберегу окончательный суд на будущее.

Д. ЗАТОНСКИЙ

Вынос кривых зеркал

«Кто не с нами, тот против нас». Лозунг этот мы повторяли так долго, так упорно, что превратили в символ веры. И положили в основу идеологической карты мира: здесь — «мы», там — «они», а посередке — пропасть. «Мы» светлы, «они» черны; «мы» всегда правы «они» всегда неправы. Оттого для нас «они» на одно лицо, как на одно лицо в глазах японского посла при дворе кайзера Вильгельма были все немцы.

Впрочем, среди черных кое-кто казался еще чернее. Иноверцев предпочитали еретикам: скажем, Троцкий всегда был грешнее Черчилля. Даже какого-нибудь парижского таксиста из бывших кавалергардов мыслимо еще было сделать (если тосковал он по России) симпатичным персонажем советского романа; большевику же Федору Раскольникову многие так и не простили, что он остался «там», что не вернулся принять мученическую смерть.

Сам факт невозвращенчества или эмиграции рассматривался как «измена». Стоило бросить его на чашу весов, и все причины, все конкретные обстоятельства, к отъезду, даже к изгнанию приведшие, просто переставали существовать. Да и кого могли они заботить, если целью было создание «образа врага», с оригиналом не более сходного, чем отражение в кривом зеркале?

Публикация материала «На анкету «ИЛ» отвечают писатели русского зарубежья» — одна из попыток кривое зеркало убрать. Правда, уже появлялись воспоминания и

репортажи, посвященные фигурам русского литературного зарубежья. Состоялось несколько писательских встреч (в Копенгагене, в Лиссабоне, в Барселоне); там Г. Бакланов, В. Дудинцев, С. Есин, Ф. Искандер, А. Ким, Ю. Карякин, Г. Матевосян и другие получили возможность пообщаться с коллегами из зарубежья. Но широкий читатель о смысле этих бесед узнал лишь столько, сколько сочла нужным сообщить наша пресса. Получили, наконец, слово и отдельные литераторы-эмигранты: И. Бродский, Л. Копелев, Е. Эткинд, В. Войнович, Г. Владимов — шаг новый и примечательный.

Здесь предлагается не более или менее субъективно окрашенный рассказ о писателях зарубежья, не конспективное изложение их мыслей, а прямые высказывания, или, так сказать, «документы». И речь идет не о двух-трех лицах, а почти обо всех громких именах. Недостает лишь И. Бродского и А. Солженицына. Журнал обращался и к ним. Но с первым из-за постоянных его разъездов связаться не удалось, второй на письмо не ответил. Жаль, но ничего не поделаешь.

Вернемся, однако, к тому, что наличествует. А. Синявский и Г. Владимов, В. Войнович и Н. Коржавин, Е. Эткинд и Л. Копелев размышляют на страницах «Иностранной литературы» на этот раз над о д н и м и и т е м и ж е вопросами. И это особенно существенно, ибо позволяет проследить за их «лица необщим выраженьем» и одновременно убедиться, что в главном почти все они между собою согласны.

Литературоведы (Синявский, Эткинд) отвечают на анкету обстоятельнее, солиднее свою точку зрения обосновывают; поэты и прозаики, как им и приличествует, более лапидарны, импрессионистичны, субъективны. Но ни манера изложения, ни тем более литературные вкусы, разумеется, одной лишь цеховой принадлежностью не диктуются. Скажем, Синявскому (а он ведь пишет и прозу) ближе классика XX века: Булгаков, Ходасевич, Ахматова, Цветаева; Владимову же — Василий Гроссман, А. Битов. Ю. Домбровский, Д. Гранин. Что же до А. Зиновьева, то он не может назвать ни одну советскую книгу последних лет, которая произвела бы на него сильное впечатление.

О вкусах не спорят. И все же боюсь, что пером Зиновьева водили обида и, возможно, неудовлетворенное тщеславие, по-человечески, быть может, понятные, но явно не по адресу направленные. Зиновьев, однако, скорее исключение, чем правило.

В силу ряда причин зарубежье, конечно, стоит не н а д нашей литературной «схваткой», но в некотором роде в н е ее. Порой это ведет к непониманию ситуации или даже вызывает такое, как у Зиновьева, как у Аксенова, недоверие. Однако и стояние в н е подчас способно обернуться благом: ведь тот, кто активно участвует в повседневных спорах, рискует оказаться слишком в них «заигранным».

Кто риск этот учитывает, думается, поймет, почему Н. Коржавин напомнил нам о той значительной роли, которую «деревенская проза» сыграла в деле «восстановления исторической правды и развития общественного самосознания». Слушая непримиримые проповеди В. Белова, мы уже готовы об этом позабыть. А Коржавин помнит. И смотрит на Распутина или Астафьева примерно так, как мы сегодня смотрим на Достоевского, то есть учитывая всю непростоту ситуации, все «за» и «против».

Но пойдем дальше. «В стране, что дала мне приют, то есть в США, можно быть эмигрантским писателем и в то же время входить в какой-то поток местной культуры. Журналисты иногда называют меня «советским писателем, живущим в Вашингтоне». Я не возражаю хотя бы потому, что отношу себя к людям с самоиронией»,— так высказался В. Аксенов. Но только он, пожалуй, взглянул на свою принадлежность к нашей литературе «с самоиронией». Больше никто, включая Зиновьева, сомнений не выразил. А многие еще и приложили усилия к тому, чтобы обосновать, что двух русских литератур нет и быть не может.

Среди людей, не спешащих выносить кривое зеркало, найдутся, наверное, и такие, что истолкуют эту позицию как «их» стремление примазаться к «нашей» великой культуре. Но ежели некто бежал из страны физически (а именно так смотрят на дело блюстители «образа врага»), то какой ему резон возвращаться туда духовно? Куда последовательнее вообразить, будто всю культуру ты увозишь с собой. Тем более что известны исторические прецеденты: я имею в виду исход немецкой антифашистской литературы.

Спору нет, человек меняется. Возможно, некоторым из наших эмигрантов поначалу и самим было невдомек, чем все для них обернется. И они горячились, колебались, допускали ошибки, всем нам свойственные. Но все в непростых их судьбах объяснять заблуждениями, тем паче, сводить к «предательству» — значит быть либо слепцом, либо лжецом. Ведь в большинстве своем писатели русского зарубежья оказались «там», потому что не желали мириться с тем, что творилось «здесь». Теперь и мы осуждаем эпоху застоя. Отсюда как будто следует, что эмигранты — часто невольные — нас просто-напросто «обогнали»? Нет, к такому выводу я не склоняюсь: слишком противоречив наш мир, слишком неповторима каждая человеческая жизнь. Я лишь призываю всегда и твердо помнить, что долгие годы правда вовсе не была на нашей стороне. В противном случае нам ничего не нужно было бы перестраивать.

Но довод этот далеко не каждому представляется неопровержимым. С. Рожновский, автор статьи «Размолвки и выстрелы» («Советская Россия» от 21 дек. 1988 г.), не согласившись со мной, что переводить книги Генриха Бёлля нам в 70-е годы мешали «разного рода привходящие обстоятельства», присовокупил: «Я не могу считать привходящим обстоятельством тот шквал пропагандистского и дипломатического обстрела, который обрушился на нашу страну в конце 70-х годов в связи с деятельностью так называемых диссидентов. Подстрекаемый ложными «друзьями», Г. Бёлль оказался вовлеченным в эти акции по сути чужих ему людей».

Для С. Рожновского «наша страна» — понятие, как видим, константное: какой была, какой она себя сознавала еще при Брежневе, а может, и при Сталине, такой и осталась. Ни тебе покаяния, ни нового мышления. Кто тогда ходил в «отщепенцах», тот «отщепенец» и сегодня. Оттого Рожновский и не намерен разбираться в том, чем же был вызван им упомянутый «шквал». В самом ли деле поведением диссидентов или нашей тогдашней противоправной на него реакцией? И чтобы не разбираться, не стесняется выдавать Бёлля за этакого недалекого простачка, которого втянули в акции, ему изначально чуждые.

На роль бёллевского искусителя избран Л. Копелев. Публичный донос Рожновского по достоинству оценили «Московские новости», «Огонек». Им сочиненное даже соотносили с печально известным «письмом» Нины Андреевой, и не только потому, что оба текста увидели свет на полосах «Советской России». К уже высказанному о Рожновском мне почти нечего добавить. Разве лишь то, что, шельмуя Копелева, он посягал на большее, чем личные честь и достоинство. Рожновский целился во все литературное зарубежье, в самое идею диалога и сближения с ним, наконец в стремление убрать кривые зеркала.

А диалог все-таки состоялся.

◆

Из зарубежной печати

УОЛТЕР ЛАКЁР

«Купить в Москве книгу...»

«Энкаунтер» (Великобритания)

Купить в Москве книгу, как, впрочем, и большинство других товаров в этой столице дефицита, нелегко. Вашингтонцы в Роквилле, а лондонцы — на Черинг-кросс-роуд имеют гораздо больший выбор публикаций современных русских авторов. Тем не менее поиски нужной книги в Москве — весьма занятное времяпрепровождение, полное неожиданностей. На днях я шел по Кузнецкому Мосту (а на этой улице книжных магазинов больше, чем на Черинг-кросс), увидел очередь и, наученный многолетним опытом, немедля встал в конец ее, хотя, как и многие впереди меня, понятия не имел, «что́ дают». Оказалось, «давали» первую советскую книгу об... очередях!

В Советском Союзе всегда существовал настоящий книжный голод, и сегодня он сильнее, чем когда-либо. Десятилетиями бывшие ортодоксальными и скучными, ныне почти все газеты или журналы предлагают читателям что-нибудь любопытное. Много лет «Правду» достаточно было пролистать в неделю раз; теперь же дня не хватает прочитать все интересные публикации. Поскольку многие советские писатели страдают многословием, их статьи нередко насчитывают 30 и более страниц. Но есть и другая причина столь заметного книжного голода: русские издавна серьезнее нас относятся к литературе, для них это не просто развлечение

Тому, кто не подписан на газеты и журналы, купить их нелегко, правда, подписаться, по разным причинам, тоже непросто. В отель, где я жил, газеты привозили к восьми утра, и чтобы наверняка заполучить хотя бы одну или две, мне приходилось за четверть часа до того уже ждать у киоска «Союзпечати» (это государственное агентство, владеющее монопольным правом распространения прессы). Когда подходила моя очередь, я просил у киоскерши по экземпляру всех изданий, включая спортивные, сельскохозяйственные и т. д.— и она без малейшего удивления выполняла эту просьбу; почти вся очередь покупала такие же «наборы». За самый популярный еженедельник пришлось заплатить вдвое больше цены, указанной на обложке, но советские газеты дешевы, и я не стал спорить. Все газеты раскупаются за час. Но вот где и как раздобыть ежемесячные журналы? Это оказалось труднее всего, и в ответ на расспросы чего я только не услышал — кто сочувствовал, а кто и потешался. Толстые литературные журналы, как мне объяснили, почти недоступны; журналы потоньше достать можно, но для этого надо либо проявить немало смекалки и настойчивости, либо свести знакомство с кем-нибудь из киоскеров.

Есть еще один вариант — отправиться на методичные, тщательные поиски, что я и делал утро за утром. Продавщица в киоске на Курском вокзале долго копалась в своем хозяйстве и наконец извлекла литературный журнал под названием «Ашхабад», изданный в столице Туркмении; он у нее имелся в неограниченном количестве по вполне понятной причине — читать это совершенно невозможно. Я предположил, что в киосках на колхозных рынках спрос на высокоинтеллектуальные журналы должен быть не так велик, и оказался отчасти прав. На одном из рынков мне достался статистический ежемесячник, содержавший прелюбопытные откровения относительно того, какого рода информация раньше утаивалась, но уж теперь непременно будет напечатана. На другом рынке я приобрел журнал «Советская музыка», а на третьем — «Советский воин». На обложке музыкального журнала красовалась репродукция картины Марка Шагала; однако военный журнал поместил статью, в которой утверждалось, что советским патриотам не нужна еврейская символика Шагала и что Иосиф Бродский — живущий в Нью-Йорке Нобелевский лауреат из России — вообще не поэт. Еще на одном колхозном рынке я ухитрился найти «Человек и закон», популярный журнал по правовым вопросам, а также еженедельник «Семья», в котором обычно разбираются отношения между родителями и детьми и между полами. В Ленинграде я облюбовал было журнал «Наш современник» — один из двух основных правых ежемесячников, которому в свое время здорово досталось за то, что лозунг на обложке «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» сменил на «Россия — Родина моя». Однако купить его я мог лишь при условии, что в придачу приобрету все номера за 1987 год, что я и сделал бы, не испугай меня, если перефразировать Кундеру, «невыносимая тяжесть».

Итак, имея автомобиль и массу свободного времени, все-таки можно собрать ряд интересных публикаций — именно поэтому в крупнейших посольствах в советской столице есть специальный сотрудник, практически весь день занимающийся покупкой книг и периодики. А в публикациях встречается, пожалуй, больше информации и любопытных новостей, чем в иных дипломатических беседах.

В Советском Союзе, видимо, на самом деле есть нехватка бумаги, что, впрочем, ни-

Продолжая публикацию откликов зарубежных наблюдателей на события общественно-литературной жизни в СССР, редакция намерена дать критический обзор этих выступлений. Приглашаем читателей принять участие в обсуждении.

когда не мешало издательствам печатать массовым тиражом пропагандистские материалы или же романы и сборники стихов бездарных, но высокопоставленных писателей с обширными связями — все это пылится на полках книжных складов, магазинов и библиотек. Журнал «Гласность» опубликовал скандальные статистические данные об этой литературе, читать которую некому и незачем.

Издательства, за немногими исключениями, и в своих планах, и в деятельности, более консервативны, чем литературные журналы. В «Роман-газете», ежемесячно публикующей относительно свежий роман в дешевом массовом издании (от одного до двух миллионов экземпляров), за последние годы не появлялось ни одного автора вне лагеря неосталинистов и «патриотов». С недавних пор кое-что со скрипом начало меняться — но это, скорее, политическая перестраховка, чем действительно новая позиция. «Роман-газета» побоялась бы и близко подойти к «Детям Арбата» Рыбакова — книге о сталинских чистках, которая является не столько литературным шедевром, сколько произведением огромного воспитательного значения. По сообщению одного литературоведческого журнала, проведшего опрос общественного мнения, роман Рыбакова по спросу намного опередил все остальные книги, опубликованные за последние два года; он вполне мог бы разойтись миллионными тиражами. В самом деле, книга вышла в одном из издательств тиражом 1 200 000 экземпляров, была распродана за несколько дней, и теперь ее можно купить лишь на валюту в одном-единственном магазине — на Кропоткинской улице.

Официального перечня бестселлеров нет, однако из бесед с директорами издательств, библиотекарями, из разрозненных данных печати вырисовывается общая картина. Фактически нет изменений в списке постоянных бестселлеров: вот уже более века впереди идет «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма. Список самых читаемых современных советских писателей много лет в одиночестве возглавляет Валентин Пикуль, практически неизвестный за пределами России. Он — автор серии исторических романов, прославляющих подвиги царской армии и — правда, реже — русских дипломатов дореволюционного периода. Герои у него всегда русские, злодеи — иностранцы. Похоже, для Пикуля и его читателей исторического материализма не существует вообще. Я думаю, его книги могли бы пользоваться не меньшим успехом и в царской России.

Кроме того, сегодня больше всего читают тех, кого не публиковали ранее (например, некоторые произведения Платонова и Булгакова), ну и, разумеется, разоблачения сталинской эпохи («Белые одежды» Дудинцева о лысенковщине), Гранина, Рыбакова, Приставкина (последний пишет о преследовании целых народов) и других.

Роман Рыбакова подвергся резким нападкам со стороны правых критиков, однако после публикации его в трех номерах «Дружбы народов» тираж этого прежде весьма скучного журнала увеличился в четыре раза и достиг 800 тысяч [1]. Но он все же не догнал «Новый мир», у которого уже свыше миллиона подписчиков, что, по справедливому замечанию его главного редактора, следовало бы занести в Книгу рекордов Гиннесса. За последние два года «Новый мир» напечатал несколько прекрасных романов, как новых, так и старых, наряду с весьма острыми и широко обсуждаемыми статьями о положении советского общества и советской экономики.

У рупоров правых дела обстоят хуже, за одним заметным исключением — журнал «Москва» обязан своим успехом оригинальной идее публиковать по частям отрывки из «Истории государства российского» Николая Михайловича Карамзина. Этот труд — прекрасно написанное, романтически-сентиментальное, промонархическое и консервативное по духу повествование о прошлом России. Впервые он был опубликован более 160 лет назад, после революции его не переиздавали по идеологическим соображениям, а сейчас определенно наблюдается голод по истории, поданной а-ля Вальтер Скотт. Помимо этого только что вышел сборник отрывков из Карамзина (тиражом 500 тысяч экземпляров), а вскоре будет опубликовано и все собрание в 11 томах, опять-таки тиражом в сотни тысяч экземпляров.

Вряд ли культурная пропасть между Западом и Востоком могла бы быть шире. В то время как в учебных планах исторических факультетов в Америке и Западной Европе важное место занимает история общества (и в первую очередь социалистического), нередко опирающаяся на марксизм, русские, на своем нынешнем постмарксистском этапе, предпочитают романы о великих людях и их блистательных подвигах.

Не всем газетам пошел на пользу читательский бум. Печатный орган профсоюзов «Труд» остался на прежнем уровне [1], несколько пришла в упадок «Правда» — такова цена, заплаченная за слишком официозный характер их публикаций, наводивших скуку на читателей. С другой стороны, почти на тридцать процентов возросло число подписчиков газеты «Известия», свободнее печатавшей острые материалы. Есть и еще одна категория изданий, потерявших часть своих подписчиков,— это журналы и газеты, освещающие зарубежные события: «Новое время», «Иностранная литература» и «За рубежом». Сегодня советских людей намного больше волнует внутренняя жизнь страны, чем какие-либо события в Вашингтоне, Париже или Лондоне. «Иностранная литература» попыталась сохранить читателей, публикуя из номера в номер «Улисса», но даже Джеймс Джойс — слишком слабое средство, когда в периферийных журналах появляются Кафка и Оруэлл.

Особую пикантность литературной жизни придает полемика между левыми и правыми, а также то обстоятельство, что наиболее заметный вклад в открытое обсуждение экономических, социологических и исторических проблем внесли именно литературные журналы, а не специальные изда-

[1] Здесь и далее автор статьи оперирует данными 1988 г. Тиражи периодических изданий на 1989 г. приведены, в частности, в «Литературной газете» от 18.01.1989 г.

ния, которые в целом почти не изменились. Они настолько противятся любым попыткам пересмотреть советскую историю, что редакционная коллегия одного из них, «Вопросы истории» (официального органа советских историков), была некогда реорганизована по инициативе Центрального Комитета — еще одна «революция сверху». Правые образовали шаткий союз консерваторов антикоммунистического толка и неосталинистов. Неосталинистов не слишком заботит культ икон и «деревенских старушек», но с русскими националистами и «патриотами» их определенно роднит резкое неприятие, в частности, либералов, евреев и всех, настроенных прозападно.

На мой взгляд, за последние два года правые журналы не напечатали ни одного хоть сколько-нибудь заметного литературного произведения; похоже, они с головой ушли в борьбу с рок-музыкой и алкоголизмом. Тем не менее многие статьи, как мне показалось, почитать стоит, ибо в них сквозит крайняя разочарованность, обида и тоска по утерянному раю. Правые открыто сомневаются в успехе перестройки. Основные их доводы сводятся к следующему. В экономическом производстве нам никогда не догнать западноевропейцев и японцев. Но это и не важно — ведь у нас есть «духовные ценности», чего нет у всех остальных, да и вообще у нас другая шкала ценностей.

Одну из наиболее примечательных по своей ожесточенности нападок на десталинизацию и движение за политические реформы предпринял В. Горбачев — заместитель главного редактора «Молодой гвардии», органа неосталинистов. Именем коммунизма старого образца он заклеймил упадничество и вещизм либералов и в целом разрушение ими всего того, что всегда было свято для истинных партийцев. Несколько недель спустя «Московский литератор», орган московского отделения Союза писателей СССР, опубликовал попавший в редакцию текст письма, которое Горбачев (редактор, а не Генеральный секретарь) написал в профсоюз и в котором заявлял о своей безукоризненной политической благонадежности, а также о слишком малой площади своей квартиры и о том, что если ему как можно скорее не предоставят большую, то он покончит с собой или совершит какой-нибудь иной акт отчаяния. Подобное заявление произвело не слишком хорошее впечатление, ибо, хотя Горбачеву (страдающему клаустрофобией редактору) в определенном смысле можно посочувствовать, у многих его коллег квартиры ничуть не просторнее, да и не к лицу так себя вести человеку, ратующему за скромность в быту и возврат к прежней высоконравственной идее аскетизма. В конце концов, где-нибудь под Москвой у него наверняка есть дача.

Самый интересный журнал сегодня, по-моему, иллюстрированный еженедельник «Огонек», тираж которого составляет 1,75 млн. экземпляров, но вполне мог бы быть увеличен в три-четыре раза, и все было бы распродано. Это удивительное достижение, ибо интеллектуальный уровень высок, и письма читателей не уступают статьям. «Огонек» представляет собой оплот антисталинизма и в этом идет настолько далеко, насколько позволяет существующая политическая ситуация. Тем не менее я должен заметить, что при изучении общественного мнения не следует сбрасывать со счетов литературные журналы крайне правых. В кругах московской интеллигенции особого веса они не имеют, но за пределами столицы и среди многочисленных бюрократов они находят вполне реальную поддержку. Сегодня эти журналы могут открыто выражать «неортодоксальные» взгляды, что до недавних пор считалось крамолой и за что авторы могли бы иметь большие неприятности. Так, начали раздаваться голоса, что марксизм — это «чуждая нам идеология», порой делается акцент на «сионистских» источниках марксизма. Органы печати крайне правых не смеют пока открыто нападать на Ленина, но здесь можно пуститься на хитрость — осуждать Льва Троцкого, подразумевая под ним Ленина; советские люди уже давно привыкли читать между строк.

Судя по публикациям журналов крайне правых, Сталин обладал многими качествами, достойными восхищения. Да, он совершал ошибки, но это еще одно доказательство пагубного влияния Троцкого и других «безродных космополитов». По словам правых, именно Троцкий разработал и ввел административно-командный стиль руководства, а Сталин позднее лишь перенял его. Основная ответственность за коллективизацию сельского хозяйства лежит не на Сталине, а на Яковлеве — народном комиссаре по сельскому хозяйству, настоящая фамилия которого (sapienti sat [1]) была Эпштейн. Что касается чисток, то здесь главный злодей — Мехлис; ответ за разрушение стольких исторических памятников должен держать Каганович; а в разгроме советской генетики виноват не Лысенко, как принято считать, а два космополита — Презент и Деборин.

Справедливости ради надо сказать, что подобные утверждения подверглись беспощадной критике со стороны «либеральных» журналов. Однако еще многие по-прежнему верят таким утверждениям — ведь в этой стране уже давно существует слепая вера в злодейские диверсии «таинственной вражеской руки». В сталинский период эту веру систематически внушали людям, но она существовала и до того, и после.

Какова же степень свободы советских публикаций в условиях гласности? По сравнению с ситуацией трехлетней давности произошли огромные изменения. И все же, до положения времен царской России еще очень и очень далеко. Сейчас сократилось число запретных тем, предварительная цензура действует лишь для случаев, связанных с безопасностью страны. За прошедший год был открыт доступ к 3 500 книгам, ранее находившимся под запретом. Но если присмотреться повнимательнее, то выясняется, что в этот список входят в основном книги попавших в опалу старых большевиков и некоторые издания, оказавшиеся в спецхранах по недоразумению, например, учебники грамматики и русского языка. Во всяком случае, они составляют лишь малую толику общего количества книг, изъятых из употребления. При таких темпах знакомство советских читателей со всеми ранее зап-

[1] Умный поймет (*лат.*).

рещенными авторами и произведениями может растянуться на десятилетия. Согласно недавней статье в «Советской культуре», все еще закрыт доступ к половине всех источников по истории советского периода. Из читательских писем узнаешь, что отдельные тома зарубежных энциклопедий по-прежнему изымаются из широкого пользования и доступны только при наличии специального допуска. Это даже отдаленно не напоминает положение в дореволюционной России, где «Капитал» без особых сложностей прошел цензуру, ибо являлся «важным вкладом в экономическую науку». Ницше, впрочем, смогли опубликовать лишь после революции 1905 года, но это исключение. После принятия конституции 1905 года увидели свет многие большевистские издания. В то время «Правду» не раз закрывали, но уже на следующий день она выходила под другим названием.

Стремление наверстать упущенное — Nachholbedarf, как говорили в послевоенной Германии,— судя по всему, огромно, и рукописям, ожидающим публикации, несть числа. С января по апрель 1988 года «Новый мир» опубликовал «Доктора Живаго» Бориса Пастернака; «Октябрь» в это же время печатал роман «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана; в марте—апреле в «Дружбе народов» появился «Чевенгур» Андрея Платонова; в апреле—мае «Знамя» предложило читателям роман Замятина «Мы».

Старались не отставать и периферийные литературные журналы: в Латвии был напечатан Джордж Оруэлл, в журнале «Волга» — Владимир Набоков, а по соседству с ним в журнале «Дон» и менее пикантное западное блюдо «День всех святых» Агаты Кристи.

Совсем недавно ленинградская «Нева» напечатала знаменитый «контрреволюционный» роман Артура Кёстлера «Слепящая тьма» в превосходном переводе покойного Андрея Кистяковского. В своем предисловии историк д-р Чубинский подчеркнул непреходящую ценность мастерства Кёстлера в художественном воссоздании событий. Кроме того, он тонко подметил, что в романе Кёстлера раскрыт лишь один, и притом далеко не самый жестокий, из дьявольских способов морального и физического разрушения человеческой личности, практиковавшихся во времена сталинского террора.

Тем не менее и теперь, в условиях гласности, при обсуждении политических вопросов не допускаются высказывания, отличные от марксистско-ленинских положений — разве что в особых случаях под патриотическими лозунгами. Но мне просто грех жаловаться. Впервые за много лет в Москве происходит столько интересного, и надо ценить то, что пока это есть.

Перевод с английского А. ВОЛКОВА

ХЕЛЕН фон САХНО

Обратная сторона медали

Трудности молодых советских писателей в эпоху перестройки

«Зюддойче цайтунг» (ФРГ)

Литературные премьеры в Советском Союзе происходят в так называемых «толстых журналах» — литературных изданиях, тиражи которых способны вызвать головокружение. Поэтому необычайно возрастает значение их главных редакторов в переломные времена, как, например, Твардовского в эпоху «оттепели», Бакланова, Залыгина и других в эпоху перестройки.

Владимир Лакшин, в свое время сотрудник Твардовского по «Новому миру», а сейчас заместитель Бакланова в выступающем за реформы московском журнале «Знамя» хорошо это сознает, когда пишет: «Вся живая жизнь литературы концентрируется у нас в толстых журналах. Эта своеобразная традиция характерна по преимуществу для нашей страны. Очень редко привлекает к себе внимание книга, которая прежде не появилась бы в журнале».

Во время пребывания у власти Хрущева на удобренной «оттепельной» эйфорией почве возникли прежде всего на периферии, но также в Москве и Ленинграде десятки новых литературных журналов, среди них «Юность», «Дружба народов», «Наш современник», «Москва», «Нева», иногда со сказочными начальными тиражами. Евтушенко и Вознесенский, Аксенов и Войнович, Ахмадулина, Битов и Казаков, то есть «громкие» и «тихие» таланты «оттепели», были в таком же выигрыше, как и писатели-«деревенщики». В семидесятые годы на литературную сцену вместе с поколением «сорокалетних» успела вступить плеяда писателей (например, Маканин, Киреев, Курчаткин), которых в память умершего великого «урбаниста» Юрия Трифонова произвольно окрестили «Московской школой». Впрочем, когда потом в брежневском климате застоя и кумовства функционеры Союза писателей начали определять границы дозволенного, новаторская искра окончательно угасла. Даже тот, кто тогда «пробился», например Вячеслав Пьецух, должен и сегодня бороться за право быть напечатанным.

Олег Попцов, председатель комиссии по работе с молодыми литераторами, секретарь правления Московской писательской организации, знает, о чем он говорит, когда пишет в «Литературной газете»: «Им уже крепко за сорок, а книг всего-навсего две, и это в лучшем случае. И не потому, что они не одарены. Их буквально душит наша издательская практика: книга издается 5—7 лет. И сейчас выходят книги, написанные порой 10 лет назад. Ситуация мне напоминает вокзальный перрон, на который прибыло три поезда а транспорт, чтобы развести пассажиров, не пришел Начинается столпотворение, отношения между всеми осложняются, но прежде всего между рядом стоящими». Но как обстоит дело сейчас, когда существует такая готовность к риску, какой не было десятилетиями?

Сергей Чупринин, один из светлых умов литературно-критической перестройки, пишет об этом так: «...массированная, обвальная публикация в периодике, во-первых, так называемого «литературного наследия» и, во-вторых, так называемой «политической беллетристики» почти перекрыла современным прозаикам путь на журнальные страницы... Одни — имеются в виду прежде всего «рядовые» читатели — безоглядно радуются происходящему, считая, что «серятиной» под видом «свежатины» их и так уже кормили предостаточно и что ради долгожданной встречи с Пастернаком и Платоновым, Замятиным и Набоковым, Тендряковым и Гроссманом можно отложить свидание со своими современниками. Другие — я говорю о критиках, вообще о людях с аналитическим складом ума — тревожатся, поскольку понимают, что нельзя, разбирая старые завалы, тут же громоздить новые и что противоестественна, наконец просто опасна, для нормального функционирования культуры ситуация, в которой рукописи современных авторов обречены на «конкуренцию» с текстами, чье место по справедливости давно уже и в школьной программе, и в «Библиотеке всемирной литературы»...

Чем одарила нас в нынешнем году «Дружба народов»? «Чевенгуром». Что напечатано в «Новом мире»? «Доктор Живаго». Благодаря чему взвинтила свой тираж «Москва»? Благодаря «Истории государства Российского». Что появилось в «Октябре»? «Жизнь и судьба». Почему мы встаем в очередь за «Уралом»? Потому что там «Дар». Чем запомнилась «Молодая гвардия»? Тем, что она ничего и отдаленно похожего на эти произведения не напечатала...»

Иначе говоря, «толстые журналы» заняты тем, что систематически заполняют «белые пятна» в литературе. Поскольку советские литературные архивы пока неисчерпаны, поскольку поток эмигрантской литературы, прошлой и настоящей, равно как и отечественный «самиздат», только набирает силу, поскольку спросом пользуются и преданные некогда проклятию западные авторы (например, «Слепящая тьма» Кёстлера), а интерес к политическим документам постоянно возрастает, можно себе представить, какая образуется пробка. Более того, если молодому автору удается прорваться, это еще не значит, что он сможет удержаться на поверхности. «Мореплаватель» Олега Базунова, «Смиренное кладбище» Сергея Каледина, «Капитан Дикштейн» Михаила Кураева долго не находили отклика, какого они заслуживали: Каледин [1] — уже немолодой (литературная поговорка: у нас молод тот, кто еще не напечатан!) — потому что он пишет слишком красиво; Каледин — потому что его герои мыслят и действуют асоциально; Кураев — потому что Кронштадский мятеж у него причудливо отчужден.

Спросом пользуются идеологически «горячие», воюющие, публицистически направленные, взрывчатые тексты. Эстетический плюрализм ковыляет позади политического, примером тому — поистине сказочный успех «Детей Арбата» Рыбакова. Не хватает новых издательств на независимой, кооперативной основе, новых журналов и литературных альманахов, которые могли бы рассосать «пробку» и не подчинялись бы Союзу писателей, ибо далеко не все «толстые журналы» симпатизируют перестройке...

Немногим лучше обстоит дело с приемом неудобных талантов в Союз писателей. «Когда в писательском сообществе я,— саркастически пишет Олег Попцов,— слышу страстную речь, что никакой молодой талантливой прозы, поэзии и критики у нас нет, я сочувствую не молодым, а оратору: он просто не может скрыть своего страха перед возможной творческой конкуренцией». Эти люди, как правило, последовательны. «Они буквально на рельсы ложатся, чтобы не допустить вступления талантливых молодых в писательский союз».

В результате создается впечатление, что мертвым, изгнанным и живущим на чужбине чуть ли не лучше. «Московские новости» поместили на целую полосу похвалу «Ивану Денисовичу» Солженицына, а Залыгин вовсе не считает сенсацией давно распространяющиеся слухи о возможной публикации «Ракового корпуса»: «Не исключено. Совсем не исключено. Кстати, хочу сказать: к нам поступает очень много предложений от эмигрантов разных поколений. Многое отклоняем, но кое-что публиковать будем».

К числу таких книг принадлежит, хотя и не в «толстом» «Новом мире» (тираж 1 250 000), а в тонкой «Юности» (тираж 3 100 000) объявленная публикация «Необыкновенных приключений солдата Ивана Чонкина» Войновича [2], а также уже опубликованные «Городские прогулки» умершего в парижской эмиграции Виктора Некрасова или анонсированная на 1989 год хроника «Как судили Иосифа Бродского» [3]. Конца пока не видно.

Перевод с немецкого М ХАРИТОНОВА

---

[1] Видимо, в газете опечатка, надо: Базунов. *(Прим. перев.)*

[2] «Юность», 1988, № 12; 1989, № 1, 2.

[3] «Как судили поэта», «Огонек», № 49, 1988. *(Прим. ред.)*

Авторы этого номера

МИГЕЛЬ ОТЕРО СИЛЬВА (MIGUEL OTERO SILVA; 1908—1985) — венесуэльский романист, поэт, эссеист. Лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» и национальных литературных премий. Многие романы М. Отеро Сильвы переведены на русский язык: «Лихорадка», «Мертвые дома», «Город в саванне», «Пятеро, которые молчали» («ИЛ», 1965, № 3), «Когда хочется плакать, не плачу» («ИЛ», 1972, № 7), «Лопе де Агирре, Князь Свободы» («ИЛ», 1981, № 9, 10). В «ИЛ» печатались также фрагменты поэмы «Моя жизнь течет в море» (1969, № 10). Роман «И стал тот камень Христом» издан в ряде стран Латинской Америки. Публикуемый перевод выполнен по изданию «La piedra que era Cristo». Bogotà, Colombia, Editorial la Oveja Negra, 1984.

ТАДЕУШ РУЖЕВИЧ (TADEUSZ RÓŻEWICZ; род. в 1921 г.) — польский поэт, прозаик, драматург, эссеист. Лауреат Государственных премий ПНР. Автор двадцати сборников стихов, нескольких книг прозы, пьес. Многие произведения Т. Ружевича переведены в европейских странах и США. На русском изданы: сборник избранных стихов «Беспокойство» (М., 1963), «Избранное» куда вошли проза, поэмы, пьесы (М., 1979) «Стихотворения и поэмы» (М., 1985). В разные годы стихи и рассказы Т. Ружевича печатала «Иностранная литература» (1956, № 8; 1967, № 2; 1969, № 7; 1978, № 5).
Перевод пьесы «Западня» сделан по изданию T. Różewicz. «Pułapka», Warszawa. Czytelnik, 1982.
Переводы стихов — по тексту двухтомного собрания стихотворений («Poezja», t. 1—2, Kraków, WL, 1988).

ИСААК ДОЙЧЕР (ISAAC DEUTSCHER; 1907—1968) — английский публицист, историк, эссеист. Родился в Польше, в 30-е годы эмигрировал в Англию, где принял британское подданство. Приобрел известность как специалист-советолог. Автор ряда книг, среди них: «Сталин. Политическая биография» («Stalin. A Political Biography», 1949), «Еретики и ренегаты» («Heretics and Renegades», 1955), «Великое состязание. Россия и Запад» («The Great Contest: Russia and the West», 1960), «Не еврейский еврей» («The non-Jewish Jew», 1968), биография Троцкого в трех томах: «Вооруженный пророк» («The Prophet Armed. Trotsky: 1879—1921», 1954), «Разоруженный пророк» («The Prophet Unarmed. Trotsky: 1921—1929», 1959). Вниманию читателя предлагается последняя глава из третьего тома трилогии «Пророк в изгнании» («The Prophet Outcast. Trotsky: 1929—1940», London, Oxford, University Press, 1963).

БЕЛОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ (род. в 1949 г.) — советский литературный критик. Автор книги «Современный американский роман о войне» (1987), а также статей по англоязычным литературам XX века, публиковавшихся в журналах, в том числе в «Иностранной литературе».

Переводчики

БЫЛИНКИНА МАРГАРИТА ИВАНОВНА — литературовед и переводчик, кандидат филологических наук. Автор монографии «Особенности испанского языка в Аргентине» (1968). В ее переводе опубликованы романы Карлоса Фуэнтеса «Смерть Артемио Круса» («ИЛ» 1965, № 7—8), «Старый гринго» («ИЛ», 1988. № 3), М. Отеро Сильвы «Когда хочется плакать, не плачу», М. А. Астуриаса «Сеньор президент» (ч. II) и «Зеленый папа», А. Карпентьера «Превратности метода» (совместно с Ю. Дашкевичем, «ИЛ», 1977, № 9—10), а также произведения А. Варелы, Х. Кортасара, Х. Рисаля, Л. Ландинеса и др.

ЩЕРБАКОВА ИРИНА СЕРАФИМОВНА — советский переводчик с польского. Пьесы польских драматургов в ее переводе публиковались в журнале «Театр», вошли в репертуар московских и др. театров — «Танго» С. Мрожека, «Мост» Е. Шанявского, «Смерть в рассрочку» Я. Красиньского, «Прощай, Иуда» И. Иредыньского, «Подонки» Я. Гловацкого и др.

БРИТАНИШСКИЙ ВЛАДИМИР ЛЬВОВИЧ (род. в 1933 г.) — советский писатель, переводчик, полонист. Автор книг стихов, прозы, статей и очерков о польской литературе. За переводческую деятельность удостоен польской премии «ЗАИКС». В «Иностранной ли

тературе» печатались его статьи и переводы из поэзии Я. Ивашкевича, Т. Ружевича, З. Херберта, С. Е. Леца, Т. Боровского и др.

ЗАРАХОВИЧ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. в 1946 г.) — советский переводчик с английского. В его переводе изданы роман П. Устинова «Крамнэгел» («ИЛ», 1981, № 8—10) и сборник рассказов «День состоит из сорока трех тысяч двухсот секунд» («Библиотека «ИЛ», 1985), роман И. Уоллеса «Документ Р.», фрагменты книг Сью Таунсенд «Тайный дневник Адриана Моула» («ИЛ», 1986, № 4), «Тяжкое отрочество Адриана Моула» («ИЛ», 1988, № 7) и др.

ЗЛОБИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ (род. в 1959 г.) — советский журналист-международник, переводчик с английского языка. Автор ряда материалов и переводов, публиковавшихся в периодической печати, в том числе в «Иностранной литературе».

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Впервые на русском языке рассказы еврейского, американского писателя ИСААКА БАШЕВИСА ЗИНГЕРА, лауреата Нобелевской премии по литературе.

Фрагменты книг ЙОЖЕФА МЕЛИУСА, венгерского писателя, живущего в Румынии. Эти книги — «Кафе «Транзит» и «Западное кафе» — своеобразная смесь путевых заметок, воспоминаний, свободных размышлений о жизни, о европейской культуре.

Поправка. В № 1 на стр. 153 ~~строки 5 и 6 снизу~~ следует читать:

Мне плоть не помеха, коль скоро я бог.
Лечу я на небо... Прощай же, дружок!

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Ч. Т. АЙТМАТОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

С. С. АВЕРИНЦЕВ, А. М. АДАМОВИЧ, Н. А. АНАСТАСЬЕВ (первый зам. главного редактора), **О. С. ВАСИЛЬЕВ** (зам. главного редактора), **Л. Н. ВАСИЛЬЕВА, Т. П. ГРИГОРЬЕВА, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Я. Н. ЗАСУРСКИЙ, Г. П. ЗЛОБИН, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, В. С. ПЕРЕХВАТОВ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ** (отв. секретарь), **Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора).

Художественный редактор **Е. Н. Черняев.** Технический редактор **Е. П. Поляков.**

Адрес редакции: 109017 Москва, Ж-17, Пятницкая ул., д. 41, тел. 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР». Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 28.12.88. Подписано в печать 24.02.89. Формат 70×108¹/₁₆. Печать высокая. Бумага книжно-журнальная. Усл. печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,8. Уч.-изд. л. 28,92

Тираж 420 000 экз. (1-й завод: 1 — 350 000 экз.) Зак. 4328.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Метафизическое видение. 1984—1988 гг. Дерево, графит, клей, зола, свинец.

Цена 1 руб. 80 коп.

Индекс 70394